Тетради по консерватизму

ISSN 2409-2517

[№ 3 2018]

Михаил Никифорович Катков

фонд ИСЭПИ
Институт социально-экономических и политических исследований

Альманах

[Сентябрь 2018 г.]

фонд ИСЭПИ
Институт социально-экономических и политических исследований

Катков
Михаил Никифорович

[сентябрь 2018 г.]

Тетради по консерватизму

№ 3 2018 г.

Москва
Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ)
2018

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по отраслям 23.00.00 – Политология, 07.00.00 – Исторические науки и археология, 09.00.00 – Философские науки.

Рекомендовано к печати
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционный совет
Д.В. Бадовский, А.Д. Воскресенский, А.А. Иванов,
М.А. Маслин, Б.В. Межуев, А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов (гл. редактор),
Е.Н. Мощелков, Л.В. Поляков (председатель), С.В. Перевезенцев, М.В. Ремизов,
А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников, А.А. Ширинянц

Тетради по консерватизму: Альманах. – № 3. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2018. – 434 с.

Очередной номер альманаха «Тетради по консерватизму» посвящен 200-летию со дня рождения яркого консервативного публициста своей эпохи – М.Н. Каткова. В качестве редактора общественно-политической газеты «Московские ведомости», а также общественно-литературного журнала «Русский вестник», Михаил Никифорович не только стал одним из основоположников русской политической журналистики, но и сыграл важную роль в формировании самосознания русского общества, реагируя с государственническо-охранительных позиций на все ключевые вопросы и вызовы своего времени.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 67506.

© АНО «Средство массовой информации Альманах “Тетради по консерватизму”», 2018
© Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2018

Содержание

Леонид Поляков
Слово к читателю
9

Раздел первый

Катков: автономия мысли

М.А. Маслин
К вопросу об «охранительном национализме» М.Н. Каткова
13

В.В. Ванчугов
Искушение умозрением: философские штудии Михаила Каткова
25

И.Н. Тяпин
Преломление учения Г. Гегеля в философско-исторических воззрениях М.Н. Каткова
37

М.Ю. Чернавский
Русская историософия М.Н. Каткова: опыт диалектического консерватизма
48

А.Э. Котов
Был ли Катков православным консерватором?
59

Раздел второй

Катков: свободное слово

О.С. Кругликова
Газета М.Н. Каткова «Московские ведомости» (1863–1887 годы): к вопросу об истоках и характере политического влияния
71

Д.А. Бадалян
Журналист, общественное мнение и власть: издания М.Н. Каткова в «царских обозрениях» 1860–1866 годов
89

Е.В. Перевалова
М.Н. Катков-журналист: борьба за привилегии или служба по совести?
119

Е.В. Перевалова
«Редактор-исполнитель»: Николай Алексеевич Любимов
136

Раздел третий

Катков: философия имперской государственности

Е.С. Холмогоров
Национализм центростремительного движения
Политическая метафизика Михаила Каткова
151

Э.А. Попов, И.В. Велигонова
Гражданское общество и государственная власть: новационные социальные технологии М.Н. Каткова
201

А.Л. Трофимова (Брутян)
Эволюция социально-политических взглядов М.Н. Каткова
213

А.Ю. Полунов
Проблема «власть и общество» в воззрениях русских консерваторов (к вопросу о взглядах М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева)
222

И.В. Лукоянов
М.Н. Катков и внешняя политика Российской империи в царствование Александра III (1880-е годы)
232

М.И. Рухмаков, А.В. Богомаз
Сильное государство и сильная личность: философско-правовое учение М.Н. Каткова
245

Раздел четвертый

Катков: национальный вопрос

А.Ю. Минаков
Критика М.Н. Катковым идеологии «украйнофильства»
255

А.Д. Гронский
«Польский вопрос» глазами М.Н. Каткова и современность
261

Г.Н. Лебедева
Остзейский вопрос в публицистике М.Н. Каткова
274

Г.Н. Лебедева
«Исповедь русского народа» и несостоявшийся политический панславизм во второй половине XIX века
287

С.М. Санькова
Национальная внешняя политика в представлении М.Н. Каткова
299

Раздел пятый

Катков: реформы vs революция

А.А. Ширинянц
М.Н. Катков в эпоху крестьянской реформы 1861 года
319

А.И. Любжин
Образовательные пилотные проекты эпохи Александра II
326

игумен Виталий (Уткин)
Михаил Никифорович Катков и борьба вокруг церковного характера начальной народной школы
334

О.А. Хвостова
М.Н. Катков и И.С. Тургенев в спорах о Базарове
348

И.В. Логвинова
М.Н. Катков и И.С. Тургенев
356

К.А. Соловьев
Любимов против течения. Политическая философия контрреволюциии
359

Раздел шестой

Катков: один на один

Л.Е. Шапошников
М.Н. Катков и славянофилы
367

А.А. Тесля
Иван Аксаков vs Михаил Катков: I-я половина 1860-х годов
376

А.О. Мещерякова
Политический союз поэта и журналиста: Ф.И. Тютчев и М.Н. Катков в период польского восстания
385

А.В. Репников
Михаил Катков и Лев Тихомиров: созвучия и диссонансы
393

Раздел седьмой

Прикосновенный запас: из неопубликованного и непрочитанного

О.Л. Фетисенко
«Демагог» об «оппортунисте» (Речь С.Ф. Шарапова на могиле Каткова в контексте «раскола в консерваторах»)
403

Н.В. Котрелев
Из неизданного и несобранного Владимира Соловьева: Письмо М.Н. Каткову, 20 июля 1886 года; письмо М.М. Стасюлевичу, до 2/14 сентября 1886 года
411

А.А. Чемакин
Малоизвестная статья П.Б. Струве об истории русской журналистики
421

Раздел восьмой

Самодержавие и Россия: было и прошло?

Заседание Консервативного клуба, состоявшееся в Фонде ИСЭПИ 17 июля 2018 года, в день 100-летия мученической кончины царской семьи
429

Слово к читателю

На 2018 год пришлось много юбилейных дат. И одна из них – 200 лет со дня рождения Михаила Никифоровича Каткова. В ряду великих представителей русской культуры (художественной, интеллектуальной, научно-технической, государственно-правовой) он занимает – пока – не самое заметное место. И весьма символично, что даже могила его не сохранилась, поскольку кладбище при Алексеевском монастыре в Красном селе было уничтожено в эпоху тотальной реконструкции Москвы в 30-х годах XX века.

Символика эта идет дальше еще и в том смысле, что стирание памяти о Каткове в большевистскую эпоху сочеталось с одновременным возведением его в статус «махрового реакционера», архимракобеса, безоговорочного апологета империи – «тюрьмы народов» и проповедника абсолютного самодержавия. То есть в образ «идеального врага» и воплощение всего того, с чем в 1918 году вышли бороться блоковские «Двенадцать»: «Пальнем-ка пулей в Святую Русь – в кондовую, в избяную, в толстозадую!».

По принципу «от противного» такое отношение к Каткову в советский период национальной истории можно было бы считать его несомненной заслугой и серьезным поводом для посмертной «реабилитации». В виде, например, включения этой фигуры в пантеон особо чтимых и даже широко читаемых представителей «золотого века» России. Однако не всё так просто. Потому что даже у современного непредвзятого обитателя русской культурной Вселенной (не говоря уже о ее почитателях) сразу же возникает два вопроса: за что Каткова чтить и что у Каткова читать?

По первому вопросу напрашивается скорый ответ: хотя бы за то, что именно в его «Русском вестнике» печатались Достоевский, Толстой, Тургенев, Лесков. Или, например, за пассаж в письме к Цензурному комитету от 1858 года, в котором он предупреждает: «…с грустью мы должны сознаться, что будущность нашего отечества не обещает добра, если продлится эта система отчуждения мысли, этот ревнивый и недоброжелательный контроль над нею».

Но, с другой стороны, тот же Катков двадцать лет спустя публикует в своих «Московских ведомостях» статью под названием «НАШЕ ВАРВАРСТВО – в нашей иностранной интеллигенции»! А в другой статье провозглашает и вообще самоубийственный (в глазах «интеллигенции) тезис: «Русская земля есть Русское государство, а Русское государство есть Русская земля».

Это последнее заявление действительно дорого обошлось Каткову. Самый выдающийся представитель «нашей иностранной интеллигенции» XIX века – Владимир Сергеевич Соловьев в своей непримиримой борьбе против «русского национализма»

отвел Каткову особую ступень в лестнице «вырождения» славянофильства. «Главные фазы» этого «умственного движения» таковы: «Поклонение народной добродетели, поклонение народной силе, поклонение народной дикости – вот три нисходящие ступени нашей псевдопатриотической мысли». Каткову здесь отведено промежуточное и, по сути, ключевое место в роли поклонника «народной силы».

Соловьев метафорически называет Каткова «Немезидой» старших славянофилов, замечая при этом, что поклонники «народной дикости» конца 80-х годов позапрошлого века, находящие идеал русского человека и царя в Иоанне IV Грозном, сами оказались для Каткова «Немезидой». За этой метафорой стоит вполне четкая и, как обычно, аргументированная логика соловьевского анализа. Даже в журнально-публицистической полемике Соловьев пускал в ход всю свою необозримо гигантскую эрудицию, придавая эмоциональному спору с экзистенциальным оппонентом/врагом интеллектуальную фундаментальность.

Стоит отметить, правда, что в случае с Катковым Соловьев строго разделил «личное» и «публичное». Пусть в сноске, но все же он отметил: «Я знаю, что он в частной жизни искренне держался христианского благочестия. Но до этой личной религии нам так же мало дела, как и до того, что он был добрым начальником для своих друзей. То, что он проводил в своей публичной деятельности, не имело ничего общего с христианскою религией, а было лишь явным национально-государственным исламом».

Читатель, разумеется, понимает, что «ислам» у Соловьева – это всего лишь риторический оборот, вовсе не обязывающий понимать дело так, что Катков предлагал исламизировать Россию. «Ислам» для него – просто способ характеристики веры Каткова в «Государство» как абсолютную силу, перед которой человек должен покорно преклониться. А потому Катков – в сравнении, например, с А.С. Хомяковым, братьями Киреевскими, братьями Аксаковыми – уже своего рода «декадент». Классические славянофилы были русскими «националистами» лишь потому, что считали русский народ подлинно христианским. А Катков в соловьевской версии – «народопоклонник» лишь потому, что русский народ создал великое Государство. И с этим Государством – абсолютной монархией – слит нераздельно.

Итак. На сегодня у нас есть две фазы отношения к Каткову: советское осуждение его как воплощения всех «мерзостей царизма» и соловьевское суждение о нем как переходной фигуре от возвышенно-фантазерского славянофильства к псевдопатриотическому обскурантизму. Очевидно, пришла пора переходить в третью фазу и открывать аутентичного Каткова. Не потому, что «лучше поздно, чем никогда». А потому, что никогда не поздно.

Катков: автономия мысли

Раздел первый

М.А. Маслин
К вопросу об «охранительном национализме» М.Н. Каткова

В.В. Ванчугов
Искушение умозрением: философские штудии Михаила Каткова

И.Н. Тяпин
Преломление учения Г. Гегеля в философско-исторических воззрениях М.Н. Каткова

М.Ю. Чернавский
Русская историософия М.Н. Каткова: опыт диалектического консерватизма

А.Э. Котов
Был ли Катков православным консерватором?

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-13-24

Михаил Маслин

К вопросу об «охранительном национализме» М.Н. Каткова

Наследие Михаила Никифоровича Каткова, известнейшего в XIX веке политического публициста-консерватора, в современный период впервые становится предметом объективного изучения, свободного от обвинений в распространении угрозы «русского национализма» (по канонам советской идеологии, тягчайшего греха!), причем в форме «шовинизма и бешеного черносотенства» (В.И. Ленин), что однозначно воспринималось в советское время как табу на публикацию сочинений Каткова и как запрет на упоминание самого его имени. Соответственно, подвергались остракизму такие советские исследования на тему «социалистических по форме, но национальных по содержанию культур», которые отклонялись от «пролетарского» и «социалистического» интернационализма в сторону «буржуазного национализма». Но этот «ласковый остракизм», как оказалось, нисколько не мешал выработке националистических этнократических идеологий, имевшихся во всех национальных республиках СССР (кроме РСФСР). К чему привело «табу» на русский национализм с одновременным подспудным пестованием этнического антирусского национализма, хорошо известно на примере гражданских войн на территории бывшего СССР. Вот пример упомянутого табу. Если взять самый тиражный советский учебник по истории русской журналистики, выдержавший много изданий и рекомендованный Министерством высшего и среднего образования СССР, то можно убедиться в том, что творчество самого плодовитого публициста, газетчика и журналиста XIX века там вообще не упоминается, а его тексты никак не рекомендуются. Этот «обдёрганный» учебник под общей редакцией проф. А.В. Западова не отметил даже редакторство М.Н. Каткова в старейшей российской газете «Московские ведомости», выпускавшейся Императорским Московским университетом [1].

Необходимой предпосылкой к освоению и научному истолкованию обширного наследия М.Н. Каткова стало опубликование шеститомного собрания его сочинений, подготовленного А.Н. Николюкиным и Т.Ф. Прокоповым [3], создающее основу для «растабуирования» катковского национализма и внушающее надежды на грядущее опубликование полного научного собрания сочинений русского консерватора. Ранее вышла из печати подборка ряда текстов М.Н. Каткова [21], опубликованы исторические монографии, специально посвященные Каткову и его влиянию на идеологию русского национализма [4–7]. Тем самым отечественная гуманитаристика встает вровень с мировой, где не существует никакой отягощенной «безнациональным интернационализмом» терминологической «аллергии» на национализм и где исследования по данной проблематике давно стали развитым направлением гуманитаристики на стыке истории, политологии и философии [8–12 и др.]. Важным подспорьем для научного анализа истории русского национализма

Маслин Михаил Александрович, доктор философских наук, заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: mmaslin@yandex.ru

является антология «Национализм: Pro et Contra», выпущенная издательством Русской христианской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге [13]. Эта обширная антология объемом около 60 п.л. включает сочинения по «русскому вопросу» Н.М. Карамзина, Ф.В. Ростопчина, С.Н. Глинки, А.С. Шишкова, С.С. Уварова, И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, Ф.М. Достоевского, А.А. Киреева, И.И. Фуделя, А.С. Суворина, М.О. Меньшикова, а также тексты таких современных аналитиков русского национализма как В.В. Кожинов, И.Р. Шафаревич, В.Л. Махнач, М.В. Ремизов, Е.С. Холмогоров, П.В. Святенков и др. В составе антологии, разумеется, есть статьи и М.Н. Каткова: «Значение национальной политики для России», «"Национальная партия" в России». М.Н. Катков наряду с И.С. Аксаковым справедливо назван здесь крупнейшим идейным вождем пореформенного русского национализма [14, с. 19].

Блестящие сравнительные характеристики этих «идейных вождей» русской патриотической печати принадлежат К.Н. Леонтьеву. Разумеется, Леонтьев не употреблял словосочетание «русский национализм», поскольку рассматривал «национальную политику» в качестве «орудия всемирной революции». Сравнение заключалось в оценке того, кто «на практике» лучше «служил славянофильскому идеалу», и пальму первенства Леонтьев без колебаний отдает Каткову, несмотря на то, что последний никогда не позиционировал себя в качестве славянофила. Речь идет о сравнительных характеристиках двух мировоззрений, характеров и темпераментов, о романтике и мечтателе, с одной стороны, и о волевом и строгом государственнике – с другой: «Он [Катков – *М.М.*] отличался от них [славянофилов – *М.М.*] особенно тем, что не ходил далеко за туманными идеалами, а брал то, что есть под рукою. – Не мечтал "о будущем", а с жаром в лучшее время своей деятельности (с Польского восстания, 62–63 г., и до кончины) старался сделать пользу тому государственному порядку, который *есть*. – И.С. Аксаков был последовательнее и неизменнее; его статьи возвышали помыслы; но все, что он предлагал *делать сейчас* – было некстати. – Катков менялся и казался непоследовательным; но у него было великое чутье *времени и срока*. – Напр<имер>, Аксаков был за большую свободу печати; – он воображал (именно воображал), что эта свобода – сама по себе имеет нечто целительное; *это неправда*. – Вред от этой вольной болтовни неимоверно сильнее пользы. – Катков, сам вначале стоявший за большую свободу печати, – скоро отступился от нее; – *понял* то, чего Аксаков понять никак уже не мог; потому что взирал на человечество и особенно на русское человечество – слишком *морально*. – Он, видимо, слишком верил в хорошие качества русского народа, русского племени, – русского духа. – Катков, видимо, *не очень-то* в них верил (и был прав! Какая польза в приятном самообмане, *на поприще политическом?).* Катков верил в силу и будущность *Государства* русского; и для *укрепления* его не слишком разбирал средства (страх – так страх! Насилие так насилие; цензура – так цензура; виселица – виселица и т.д.)» [25, с. 304]. Видимо, Леонтьев несколько «перехлестывает», приближая Каткова к своему собственному суровому идеалу «византизма», где государство должно быть «свирепым». Но в целом образ Каткова, вышедший из-под его пера, выглядит замечательной художественно-философско-политической обрисовкой. В леонтьевском описании даже сомнительный комплимент Каткову – «гениальный московский самодур» («я талантливое самодурство очень люблю») выглядит психологически достоверным [25, с. 304].

Колоссальная публицистическая активность Каткова, фактического основателя русской политической журналистики, редактора ежедневной газеты «Московские ведомости» (посмертно было выпущено 25 томов ее передовых статей, написанных собственноручно Катковым), а также редактора «Русского вестника», одного из самых известных «толстых журналов», вызывала неприязнь в разных сегментах русской общественности, в первую очередь в кругах либеральных и радикальных. Причина, по которой Каткова принимали

едва ли не за прямого проводника правительственной политики, заключалась в том, что «Московские ведомости» обладали в Москве монопольным правом на публикацию объявлений некоторых государственных институций. Таких как Правительствующий Сенат, Московское казначейство и др. В действительности же передача «Московских ведомостей в аренду Каткову не была инициативой правительства, как полагали его недруги.

Газета, до того как ее возглавил Катков, содержалась на скудные бюджетные деньги, а инициатором сдачи газеты в аренду выступил ее владелец – Московский Императорский университет. Катков был назначен редактором не по какому-то правительственному распоряжению, а вследствие того, что теперь называется тендером. Причина была финансовая, а не политическая; редактор-арендатор предложил ряд практических нововведений, которые существенно повысили тираж. Предприимчивый редактор увеличил объем газеты, в три раза увеличил цену подписки, ввел литературный отдел и стал помещать отчеты о публичных университетских мероприятиях [2, с. 18]. Кроме того, надо разъяснить, что газета не имела никаких привилегий в виде послабления цензурного контроля. Так, за публикацию письма-некролога И.С. Тургенева на смерть Н.В. Гоголя, вызвавшего огромный всплеск внимания читателей газеты (1852), Катков был подвергнут допросу и поставлен под надзор полиции, снятый лишь в 1856 году [2, с. 18]. Обвинения в «привилегиях» «Московских ведомостей» Катков решительно отводил, разъясняя, что газета не выполняет, говоря по-современному, каких-либо лоббистских функций по отношению к какой-либо группе из властвующих элит. В статье «Привилегия “Московских ведомостей”» (1869) Катков подчеркивал, что «мы ни с одним из правительственных лиц не находимся в каких-либо особенных сношениях и что мы никогда не принадлежали ни к какой партии… привилегированность нашего положения разве только в том заключается, что никто и не пытался обратить нашу газету в свой орган» [3, т. 3, с. 902]. Отповедь Каткова имела в данном случае вполне конкретный адрес, она носила не «оборонительный», а «наступательный» характер. Обвинения «Московских ведомостей» в «привилегиях» исходили от руководителей газеты «Весть», близкой к кругам столичной бюрократии и имевшей подмоченную репутацию, поскольку газета была замечена в пропольской пропаганде и в том, что она «получает субсидии от польских помещиков Западного края» [3, т. 3, с. 903]. Попутно Катков добавляет, что подкуп является одним из самых распространенных способов коммуникации политических партий в Европе, включая подкуп прессы, и задается риторическим вопросом: «Много ли насчитывается органов в европейской печати, которые остаются недоступны посторонним влияниям и сохраняют во всей чистоте и силе свою независимость?» [3, т. 3, с. 903].

Последовательный курс «Московских ведомостей» и «Русского вестника» на защиту национальных интересов России особенно ярко проявился в период отстаивания этими изданиями государственной целостности России в период после польского восстания 1863 года. Весьма показательна полемика с «Колоколом», начавшаяся еще в 1862 году статьей, в которой М.Н. Катков назвал А.И. Герцена «свободным артистом», который «воображает себя представителем русского народа» (имя Герцена было запрещено называть по цензурным соображениям). Полемика по «польскому вопросу» была одним из высших достижений катковской журналистики, поскольку в ее ходе редактору «Московских ведомостей» удалось подорвать симпатии к «вольной русской прессе» Герцена, распространившиеся в русском обществе в пользу освобождения крестьян накануне выхода в свет «Положения» от 19 февраля 1861 года. Соответственно, это привело к увеличению тиража катковских изданий. Патриотическая позиция Каткова не была «заказной», она отражала убеждения самого Каткова, их принципиальность заключалась в осуждении и отвержении польского этнического национализма под демагогическими лозунгами «вашей и нашей свободы». В действительности, как показал Катков в «Московских ведомостях» от

14 июня 1863 года, «Польское восстание не есть восстание народа, а восстание шляхты и духовенства». Как представляется, Катков «переиграл» такого крупного полемиста как Герцен в печатных сражениях по «польскому вопросу» и после этой полемики репутация «Колокола» пошла на убыль. Объяснение в том, что в этой полемике «Колокол» «спасал честь русской демократии», тогда как Катков «спасал честь русского государства». Каткову удалось повернуть «польский вопрос», подогревавшийся в европейских изданиях и в либеральной печати, в сторону «русского вопроса». В дальнейшем по мере «затухания польского пожара» Катков не оставлял свою критику либеральных оправданий антирусского этнического национализма и раскрывал ее технологию, заключавшуюся в подборе ссылок на некие периодически предъявляемые «исторические права». В статье "Анализ исторических корней", предлагаемый г. Пыпиным для решения польского вопроса» (1886) он развенчивает ложную аргументацию А.Н. Пыпина относительно «исторических корней» польской государственности, которая включала «владение в течение многих веков южнорусскими землями» и мечту о «восстановлении Польши "от моря до моря" и в границах 1772 года» (составившую, как показала история и в XX, и в XXI веках, практически неизменную константу польского этнического национализма). Причем Катков заметил, что «г. Пыпин постоянно строго различает «южнорусские земли», или «Украйну» от русских земель [3, т. 3, с. 638]. Это различение выглядело у Пыпина не только как оправдание польского национализма, но и как потакание украинскому этническому национализму, тогда еще существовавшему в виде мирного областничества и украинофильства. Вполне современно, включая термин «русский мір», используемый М.Н. Катковым, выглядят следующие строки: «Нет, она [Россия – *М.М.*] не забыла, что русские земли, на которые претендует давно отшедшая из міра живых Польша, были искони русскими, что в этих землях родилась и впервые объединилась русская народность. Нам предлагают забыть весь Киевский период нашей истории, чтобы в угоду сумасбродам признать исторические основания за их мечтой о Польше от моря до моря» [3, т. 3, с. 639].

Либеральный писатель Р.И. Сементковский, выпустивший вскоре после смерти Каткова его биографию в популярной серии Ф. Павленкова «Жизнь замечательных людей», написанную в резко критических тонах, не без удовольствия перечислил те презрительные и насмешливые прозвища, которыми награждала Каткова современная ему публицистика: «громовержец Страстного бульвара», «будочник русской прессы», «жрец мракобесия», «проповедник сикофанства», «русский Менцель» и даже «Герцог Альба» [22, с. 4]. В отдельных случаях, когда новопровозглашенные философские идеи шли вразрез с общественным мнением, у их авторов возникало даже желание обвинить в их непризнании «катковские происки ретроградной Москвы». Так было, например, в 1887 году. Владимир Соловьев в разгар так называемого теократического периода его творчества, когда он разрабатывал учение о «вселенской теократии», испытав разочарование в своих первоначальных надеждах (близких к славянофилам) на русский народ как на носителя будущего религиозно-общественного возрождения для всего христианского мира, решился прочесть в Москве (в пользу нуждающихся студентов) две лекции на тему «Славянофильство и русская идея». Славянофильски настроенная московская публика приготовилась прослушать лекцию «аксаковского» направления, но была разочарована, и Соловьев был не понят и не поддержан. Лектор, встреченный, по словам присутствовавшего в аудитории Л.И. Поливанова, «шумными рукоплесканиями», был провожден «гробовым и мрачным молчанием». В сердцах Соловьев написал следующие строки:

Город глупый, город грязный,
Смесь Каткова и кутьи,
Царство сплетни неотвязной,
Скуки, сна, галиматьи [14, с. 241].

Здесь надо заметить, что В.С. Соловьев никогда не подвергал критике солидную философскую компетентность М.Н. Каткова. Он использовал имя Каткова только как символическое «пугало», столь распространенное среди интеллигенции. Интеллигенцию Катков не любил, считал ее виновницей такого явления как нигилизм; именно ему принадлежит словосочетание «гнилая интеллигенция», которое в исполнении В.И. Ленина, хотя и в другом контексте, звучало уже нецензурно (что, впрочем, нисколько не отменяет фонетическое первенство Каткова, чьи словесные обороты глубоко вошли в русский язык и употреблялись впоследствии уже бессознательно, без всякой ссылки на первоисточник). Г.П. Федотов, автор знаменитой статьи «Трагедия интеллигенции» (1926), симпатизировавший скорее интеллигенции, чем Каткову, был обязан именно последнему своим описанием двух коренных черт интеллигенции, а именно «идейности» и «беспочвенности». Под идейностью имелась в виду идейность заемная, европейская, а беспочвенность означала оторванность от русского народа. Вся аргументация этой типологии, можно сказать, полностью основана на катковском понимании феномена интеллигенции.

К сказанному надо добавить, что в сознании Соловьева Катков, видимо, фигурировал не только как «пугало»; у него была возможность по достоинству оценить философские познания Каткова, в первую очередь в области истории античной философии. На примере работы Каткова «Очерки древнейшего периода греческой философии» он назвал ее автора «выдающимся писателем», отводя от него несправедливую критику со стороны С.Н. Трубецкого, недооценившего М.Н. Каткова как своего предшественника-антиковеда [15, с. 293]. Соловьев оставил «Несколько личных воспоминаний о Каткове», где выразил благодарность редактору «Русского вестника» за опубликование в 1877–1880 годах своей докторской диссертации «Критика отвлеченных начал» и вспомнил «трагикомический эпизод», связанный со своей командировкой от «Московских ведомостей» в Турцию на театр военных действий в 1876 году, которая могла бы закончиться гибелью молодого корреспондента. Надлом в отношениях Каткова и Соловьева произошел после знаменитой соловьевской лекции, на которой он обратился после убийства Александра II к новому царю с просьбой проявить христианские чувства и простить преступников. Ближайший сотрудник М.Н. Каткова, Н.А. Любимов, по этому поводу обратился к Соловьеву со следующими словами: «Михаил Никифорович, который вас так всегда любил, глубоко огорчен и со слезами говорил мне, что ваша речь – оскорбление народного чувства, дерзкий вызов целому обществу...» [24]. После этого эпизода «добрые отношения» с Катковым прекратились, вследствие чего Соловьев понял, «что для Каткова предполагаемое мнение народа, т.е. личное мнение Каткова о мнении народа, – было высшим критерием истины и добра» [24].

Нет сомнения в том, что Катков имел основательную философскую выучку, в том числе в Германии; он сформировался в атмосфере «философского пробуждения» 30–40-х годов XIX века и прошел мировоззренческую эволюцию, обычную для членов славянофильских и западнических кружков того времени. Подобно Н.В. Станкевичу, М.А. Бакунину, А.И. Герцену он начинал свои философские увлечения с Гегеля, но по мере отталкивания от радикализирующихся русских гегельянцев эволюционировал в сторону философии откровения и мифологии Шеллинга по аналогии со славянофилами И.В. Киреевским и А.С. Хомяковым. Катков не без оснований позиционировал себя как ученика Шеллинга; есть легенда о том, что он был настолько «своим» в его семье, что едва не стал женихом дочери философа. В дальнейшем Катков не стал на позиции интеллигентского большинства, верящего в демократию и стремящегося «вернуть свой долг народу»; не примкнул он ни к славянофилам, ни к западникам и выбрал позицию консервативного меньшинства, всецело устремленного к укреплению христианских и национально-государственных устоев.

В определенном смысле М.Н. Катков считал И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, А.И. Кошелева, а также славянофильские издания, например, газету «День», своими конкурентами по «русскому вопросу», о чем он писал следующее: «Им [славянофилам, – *М.М.*], очевидно, казалось, что мы вмешиваемся в их специальность и отбиваем у них Россию, которую они считают изобретением и достоянием своего кружка» [3, т. 4, с. 460]. Однако Катков не мог признать славянофилов «монополистами» по решению столь важного для России крестьянского вопроса. Он был готов признать, что Ю.Ф. Самарин сыграл значительную роль в написании Положения 19 февраля 1861 года, при этом замечая, что в этой подготовке принимали участие широкие круги общественности, настроенной отнюдь не только по-славянофильски. Славянофилы много потрудились в так называемых редакционных комиссиях по крестьянскому делу, но ведь нельзя забывать, что окончательное решение принадлежало императору Александру II Освободителю: «Вся сила Положения 19 февраля заключается в том, что в нем осуществились основания, предположенные в Высочайших рескриптах» [3, т. 4, с. 464]. Славянофильская защита общинного землевладения и круговой крестьянской поруки в период после Крестьянской реформы, согласно Каткову, является в действительности защитой помещичьей архаики и помещичьего права, а не позицией «ревнителей свободы и благосостояния». Эти институты являются продолжением крепостного права, а вовсе не «палладиумом и святыней русского народа». Еще большее неприятие вызвало у Каткова восприятие народных начал и всего общего строя русской цивилизации как цивилизации иной, чем европейская. Катков дает остро ироничную критическую оценку таких взглядов на примере философских взглядов Н.Н. Страхова. В статье, опубликованной в «Русском вестнике» в 1863 году, Катков высказался против напечатанной в журнале М.М. и Ф.М. Достоевских «Время» статьи Н.Н. Страхова «Роковой вопрос» (под псевдонимом «Русский»). В этой статье Страхов демонстрирует, по словам Каткова, «какое-то особого рода славянофильство» соединенное с «давно умершей и похороненной гегелевской философией».

Пафос кабинетного ученого, пытавшегося осудить польское восстание с позиций туманной философии, привел к противоположному результату: журнал «Время» был закрыт по «высочайшему повелению», поскольку цензура разглядела в статье не осуждение, а, напротив, оправдание польского мятежа. В.В. Розанов значительно позднее, в 1890 году, в переписке с Н.Н. Страховым указал автору «роковой статьи», включенной в состав книги «Борьба с Западом в нашей литературе» (1883), на то, что Катков совершенно правильно понял эту статью, ее «невозможно было понять иначе, чем понял Катков… Таким образом, статья Ваша могла и должна была послужить теоретическим оправданием для польского мятежа» [23, с. 237]. При всем своем глубоком уважении к Страхову (которого Розанов с полным основанием считал своим покровителем) он написал ему, что эта статья должна восприниматься именно по-катковски, таким образом, что польское восстание следовало бы понимать как некое «столкновение цивилизаций» – европейской (в лице Польши) и русской (в лице России). Это был тот случай, когда благие намерения привели к обратному результату. Рассуждения Страхова о русской цивилизации как «народной, коренной, здоровой», как «цивилизации будущего» выглядели как пустые патриотические фантазии. Конечно хорошо, рассуждает Катков, что русский мыслитель «любит свое отечество», хотя он любит его как-то «необыкновенно»: «Он не просто уверен в будущности России, но уверен в чем-то таком, что превыше всякого разумения и ускользает от всякой оценки: он уверен, что если теперь Европа напирает на нас своею цивилизацией, то Россия в последствии времени победит эту цивилизацию» [3, т. 3, с. 119]. Такие и подобные им заявления русского национализма Катков называл «русопетскими», в действительности же, полагал он, «Европейская цивилизация не считает нас своими врагами. Напротив, европейская цивилизация ожидает нашего содействия, и нет сомнения, что это содействие чем далее,

тем будет значительнее и благотворнее. Европа нуждается в нас; могущественная, крепкая, самостоятельная Россия незаменима в системе целого мира… Мы имеем все элементы великой, могущественной, столько же всемирной, сколько народной цивилизации. Но мы найдем эти элементы и воспользуемся ими только тогда, когда перестанем искать их» [3, т. 3, с. 123].

Надо подчеркнуть, что никто не «заказывал» Каткову эту полемику со Страховым и тем более никаких «доносов» на Страхова от Каткова никуда не поступало (Катков не занимался доносами «наверх», напротив, его кабинет на Страстном бульваре нередко посещали с просьбами крупные начальники). Для того чтобы стать «китом политической прессы» (Д.П. Святополк-Мирский), необходим был тяжелый, изматывающий труд журналиста-поденщика, требующий огромных организационных, интеллектуальных и волевых усилий, поскольку уповать на внимание публики можно было, только сделавшись этим самым «китом», каждодневным защитником национальных интересов. Этот путь был выбран самим Катковым, увидевшим в нем свое призвание, хотя, как известно, после защиты магистерской диссертации он стал профессором по кафедре философии Московского университета и мог идти по жизни более спокойной стезей, чем тернистый путь редактора подцензурного ежедневного издания. Начало его профессорства пришлось на период известных правительственных гонений на преподавание философии в российских университетах, инициатором которых был министр народного просвещения князь П.А. Ширинский-Шихматов. Преподавание философии в 1850 году поручалось вести не светским профессорам, а лицам духовного звания, и существенно ограничивалось, согласно вошедшему в историю афоризму министра, известному в передаче А.В. Никитенко: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Однако, как представляется, правительственные гонения на философию в чем-то помогли Каткову найти свою «сродность» и направили его талант в ту область, для которой он был как бы и предназначен, чего нельзя сказать о его неудачном профессорстве.

Сохранились свидетельства студентов о том, что лекции, читавшиеся Катковым, были непонятны для восприятия, хотя их нельзя было назвать «глупыми и пустыми» (Б.Н. Чичерин). Среди слушателей его лекций был знаменитый впоследствии философ права Б.Н. Чичерин, который писал в своих воспоминаниях о Московском университете: «Катков читал уже второй год. Предшествовавший нам курс слушал его в течение двух полугодий, и никто из слушателей не понял ни единого слова из всего того, что читал профессор, так что, когда наступил экзамен, он всем должен был поставить по 5, ибо студенты вовсе не были виноваты в том, что отвечали совершеннейшую чепуху. То же самое повторилось и с нами… Кто бы мог подумать, что этот непонятный профессор, этот туманный философ со временем сделается живым и талантливым журналистом» [16, с. 396–397]. Очевидно, Катков принадлежал к той категории творческих личностей, которые «лучше пишут, чем говорят».

Происхождение наиболее резкой части антикатковских прозвищ объясняется главным образом общей расстановкой идейно-политических симпатий и антипатий в русской публицистике. Д.П. Святополк-Мирский, прекрасный знаток истории идей в России и автор, по определению В.В. Набокова, «лучшей истории русской литературы на любом языке, включая русский» приводит следующее объяснение общей нелюбви к литераторам консервативного склада: «В политической жизни радикалы оставались оппозицией. В литературе же они были большинством, а оппозицией были, наоборот, сторонники существующего порядка. Консервативные писатели имели значительное влияние на правительство, но читателей у них было меньше, чем у радикалов» [17, с. 360]. Сходные мысли высказал Валентин Распутин в предисловии к сборнику сочинений консервативного публициста, русского националиста М.О. Меньшикова, расстрелянного в 1918 году. В России так повелось,

подчеркивает писатель, что «ежели “общество”, то само собой “передовое”, т.е. стоящее “впереди” громоздкой и отсталой России и вне ее, ей противостоящее и против нее направленное, а ежели “патриоты”, “охранители”, то непременно “обскурантисты”, “реакционеры” и “сторожевые псы”…». Духовный и общественный переворот произошел в России значительно раньше февраля 1917-го. Цензура глаз не спускала с изданий Каткова и Аксакова, Суворина и Ширапова, боясь охранительного переусердствования, но эти же глаза боязливо закрывала на либеральную и революционную печать, изощрявшуюся в издевательствах, угрозах и низких приемах опорочивания всего, что служило России» [18, с. 16].

Если катковское «пугало» было придумано интеллигенцией, то все же существовали некоторые особенности характера и личности Каткова, которые были предпосылками для формирования этого образа. Мемуаристы отмечают, что Катков действительно выказывал выдающиеся интеллектуальные способности, «замечательное литературное дарование и большое расположение к философским занятиям» (И.И. Панаев), но в то же время был человеком авторитарного склада, резким и задиристым, совершенно не терпевшим иных мнений, о чем говорит, например, его столкновение в молодости с М.А. Бакуниным, едва не закончившееся дуэлью. Отмеченные черты характера Каткова, как видится нам, наложили свой отпечаток на то, *что* Катков вкладывал в круг понятий, связанных с национальной проблематикой в широком смысле этого слова. Эти понятия в конечном счете определялись у Каткова тем, насколько они способствуют функционированию государственного организма, его цельности, слаженности, подчиненности верховной монархической власти. Вне всякого сомнения, этот тип национализма нельзя назвать иначе чем национализм «охранительный». Назвать его в современной терминологии «гражданским» или «политическим» национализмом вряд ли возможно. Ведь гражданского общества в европейском смысле в России не существовало, не существовало и политических партий, и Катков был категорически против того, чтобы принимать участие, по его словам, в «игре философских школ» (к которой он имел отношение в молодые годы), а равным образом и в «игре в политические партии». Отвечая на вопрос, поставленный в одной из своих программных статей под названием «К какой принадлежим мы партии?» (1862), Катков писал: «Мы никогда не искали чести принадлежать к какой-нибудь из наших партий, мы никогда не соглашались быть органом какого-нибудь кружка… Не только к этим шутовским партиям, но и партиям сериозным, если б они когда-нибудь образовались у нас, мы не могли бы примкнуть… У всякого своя натура и свое призвание, как у человека, так и у журнала. Всякий может быть полезен только в пределах своей натуры и по своим средствам» [3, т. 1, с. 32].

Еще раз подчеркнем, что волевая натура Каткова, его фантастическая трудоспособность, авторитет, общественное признание, также как и нажитая собственным трудом финансовая независимость, позволяли Каткову быть «только в пределах своей натуры» и вне политической партийности. Если провести несложный контент-анализ и посмотреть на катковскую стилистику формулировки национальных задач и интересов «в пределах его натуры», то нельзя не увидеть многократного «прикладывания» местоимения «мы» (на самом деле это «Я» самого Каткова) ко всем темам, связанным с его пониманием национализма. Катков стремился быть рупором общественного мнения «от своего имени» (в его текстах это «Мы»), вовсе не желая «войти во власть» и занять место какого-либо начальника. Он стремился к тому, чтобы *давать советы власти и влиять на нее* и таким образом «служить в печати государству». Здесь термин «бюрократический национализм» [19, с. 20], прилагаемый к национализму катковского типа, требует определенного разъяснения. Дело в том, что Катков не идентифицировал себя и позицию своей печати с государственной бюрократией и считал, что нелегкое дело служения государству в печати в целом ряде случаев требует борьбы с «чрезмерным развитием бюрократической системы

в России». «Как раз столкнешься с интересами, которые пользуются привилегиями власти, но не всегда правдиво и честно к ней относятся, не всегда служат ей должным образом, не всегда бывают способны понимать и исполнять ее требования и нередко вредят ее делу вместо того, чтобы служить ему. Если общественное слово видит это, то оно обязано сказать; оно изменит своему долгу, оно поступит нечестно, оно поступит подло, если не скажет» [3, т. 2, с. 473].

Здесь Катков отмечает необходимость влияния печати и общественного мнения на формирование того, что позднее классическая социология в лице Вебера и Дюркгейма определит как «идеальную бюрократию», как особый слой профессиональных управленцев и необходимое звено государственного управления и государственной службы. Этот слой крайне нужен, однако его наличное состояние вовсе не отвечает требованиям к «идеальной бюрократии», явно не соответствующим национальным интересам России. Катков высказывался, в частности, против «чрезмерного развития военно-бюрократических порядков» по немецко-прусскому образцу. Отличительная черта бюрократической системы состоит в том, что она противоречит живым национальным интересам, поскольку «Она ведет постоянную ожесточенную борьбу со всеми живыми общественными силами, стараясь все вытянуть в один строй и все подвести под общий уровень» [3, т. 2, с. 222].

Из сказанного выше следует, что определение «бюрократический национализм» по отношению к Каткову, употребляемое в научной литературе [20, с. 176], является, на наш взгляд, неточным. Более адекватными и соответствующими содержанию его редакторской и журналистской миссии, является определение «охранительный» (государственный) национализм. Оно связано с сохранением и отстаиванием существования тысячелетней монархической государственности, являющейся главнейшей формой сохранения вековых устоев русского народа: «Единая, безусловно свободная и бесспорная власть есть великое благо русского народа, завещанное ему предками и добытое их трудом и кровью… С самодержавной властью Русского Государя неразрывно соединено самое существование России. Незыблемая и свободная верховная власть, какая Богом дарована Русскому Государю, всего вернее обеспечивает народное благо и всего лучше может способствовать ему» [3, т. 2, с. 441]. Общее государственническое, охранительное направление национализма Каткова отнюдь не означало отсутствие в нем элемента «этничности», понятого, однако, не в «племенном», а в социокультурном смысле. Необходимой органической опорой национальной государственности является Православная Церковь: «Национальная Церковь в России есть Церковь Православная... Но из этого отнюдь не следует, чтобы люди, исповедующие веру, не признаваемую русской национальной, не могли быть русскими» [21, с. 206]. Катков был против отождествления «русского» и «православного», он утверждал, что «истинное значение нашей Церкви состоит не в том, чтоб быть национальной. Связывать ее с какой-либо народностью значило бы унижать и бесславить ее. Она признает себя вселенской, и в этом ее истинный характер» [21, с. 205]. В целом же Каткова вполне устраивало наличное состояние Церкви в синодальный период, подчиненное по отношению к государству.

Катков был профессиональным лингвистом, защитившим магистерскую диссертацию «Об элементах и формах славяно-русского языка», многие его статьи посвящены славяно-русскому измерению отечественной культуры. Особенно подчеркивал Катков роль и значение кирилло-мефодиевской традиции, выделяя то обстоятельство, что славянский перевод Библии положил духовную основу самого существования в истории русского народа, вот почему, писал он, «так называемый церковный язык есть существенная стихия русского. Церковно-славянское слово принадлежит к истории русского слова и есть как бы его первоначальное состояние» [3, т. 4, с. 671]. Отсюда Катков настаивал на

необходимости преподавания в гимназиях церковно-славянского языка, открывающего путь к познанию русской культуры и Священного Писания, наряду с другими классическими языками, латинским и древнегреческим, в свою очередь создающими предпосылки к освоению европейской культуры. В то же время церковно-славянский язык, прежде всего евангельское книжное слово, образовавшееся под влиянием древнегреческой грамматики, было доступно для всех славян: «Что язык Кирилла и Мефодия был вразумителен для всех славян, это доказывается тем, что первоучители легко и удобно переходили со словом проповеди от одного славянского племени к другому» [3, т. 4, с. 671–672]. Катковская ориентация на классицизм в образовании, многократно подвергавшаяся критике с разных сторон, вместе с тем, в его понимании, не сводилась к некоей архаизации культуры и языка. В статье «К вопросу о переводе Св. Писания со славянского языка на русский» (1870) Катков говорил о необходимости использовать перевод славянской библии на современный русский язык и распространение этого перевода в миссионерских целях, имея в виду то, что «Истинная цель переложения – приблизить Священное Писание к народному разумению» [3, т. 4, с. 673]. Необходимо принять во внимание, однако, что в современном мире «Славянские племена разошлись слишком далеко» и чаемое панславистами племенное единство следует считать утопией, хотя бы потому, что среди славян есть не только православные, но также и католики: «Ни государственного, ни церковного единства славянский мір не представляет» [3, т. 4, с. 507]. Тем более несостоятельны упования на политический панславизм, который существовал не в России, а на Западе в виде мифа о «русском дирижизме панславизма», то есть мнимого стремления соединить все славянские народы под эгидой царя (что в действительности никогда не входило в планы русского самодержавия). Цель этого мифа в том, чтобы «Запугивать Европу незримыми кознями русского панславизма… чернить Россию в глазах Европы, навлекать на все русское ненависть и презрение просвещенного міра» [3, т. 4, с. 509]. Но если племенной и политический панславизм являются в понимании Каткова утопиями, то он приветствовал духовное и культурное единение славянства, проявленное на Славянском съезде 1867 года в Москве, восхищаясь славянским «единством в многообразии»: «Какое разнообразие! И болгар и серб из Турции, первый еще согбенный под ярмом, а последний уже стоящий прямо; и серб из Венгрии, и хорват, и далматинец, и славонец, перемешанные с немцами и италиянцами… и русский из-за Карпат, живущий под мадьярскою управой, и русский из Галиции, подавляемый поляками… и русский России, государства, самого громадного и одного из самых могущественных на земном шаре; и чех с моравом, игравший некогда столь значительную роль в судьбах Европы, чех, которому так много обязана Германия развитием своей культуры… и словак, столь близкий к чеху и столь близкий к нам…» [3, т. 4, с. 507–508].

В заключение можно сделать вывод о том, что возрождающийся ныне интерес к консервативному наследию М.Н. Каткова, в особенности к его «охранительному» национализму, направленному на сохранение государственной целостности и могущества российской государственности, имеет не только историческое значение. Понятийный круг катковского национализма, его отрицание национализма этнического типа может рассматриваться как противоядие против распада российской государственности и как противодействие ее растворению в безнациональном глобализме, чреватом утратой цивилизационной идентичности. Наконец, яркими свидетельствами катковского национализма и его особого публицистического стиля являлись авторские передовицы в «Московском вестнике», которые без всякого преувеличения можно назвать краткими энциклопедиями по россиеведению, содержавшими беспрецедентно широкий охват материалов обо всем общеинтересном в русской жизни, включая политику, науку, литературу и искусство, церковную жизнь, историю, музыку, театр, библиотечное и музейное

дело, промышленность и сельское хозяйств. Они являются во многом непревзойденными примерами политической журналистики, основанной на сочетании высокого интеллектуализма, обширных познаний в области русской и европейской культуры с простотой и доходчивостью формы изложения.

Литература

1. История русской журналистики XVIII–XIX веков / под ред. проф. А.В. Западова. М., 1973.
2. *Прокопов Т.Ф.* Россия… в ней два императора: Александр II и Катков: Вехи судьбы охранителя консервативной государственности // *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. / под общ. ред. А.Н. Николюкина. СПб., 2010. Т. 1.
3. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. СПб., 2010–2012.
4. *Санькова С.М.* Государственный деятель без государственной должности: М.Н. Катков как идеолог государственного национализма: Историографический аспект. СПб., 2007.
5. *Санькова С.М.* Михаил Никифорович Катков. В поисках места (1818–1856). М., 2008.
6. *Тесля А.А.* Первый русский национализм… и другие. М., 2014.
7. *Котов А.Э.* Птенцы гнезда Каткова. СПб., 2013.
8. *Геллнер Э.* Нации и национализм. М., 1991.
9. *Смит Э.Д.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004.
10. *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998.
11. *Андерсон Б.* Воображаемые общества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
12. *Хюбнер К.* Нация: от забвения к возрождению. М., 2001.
13. Национализм: Pro et Contra: Антология. СПб., 2017.
14. *Соловьев С.М.* Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М., 1997.
15. *Соловьев В.С.* Разбор книги кн. Сергея Трубецкого «Метафизика в древней Греции» / [В.С. Соловьев] // Собр. соч. Владимира Сергеевича Соловьева: в 10 т. 2-е изд. СПб., 1910–1914. Т. 6 (1886–1894).
16. Московский университет в воспоминаниях современников (1755–1917). М., 1989.
17. *Святополк-Мирский Д.П.* История русской литературы с древнейших времен по 1925 г. М., 2008.
18. *Распутин В.* На круги своя // *Меньшиков М.О.* Выше свободы: Статьи о России. М., 1998.
19. *Котов А.Э.* Бюрократический национализм Михаила Каткова // Вопросы национализма. 2014. № 17.
20. *Котов А.Э.* «Средство борьбы и суррогат политики»: политическая публицистика М.Н. Каткова и его последователей // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1.
21. *Катков М.Н.* Имперское слово. М., 2002.
22. [*Сементковский Р.И.*] М.Н. Катков, его жизнь и литературная деятельность: биографический очерк Р.И. Сементковского. СПб., 1892.
23. *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов и К.Н. Леонтьев. М., 2001.
24. *Соловьев В.С.* Несколько личных воспоминаний о Каткове [Электронный ресурс] // Консерватизм: pro et contra: Антология. СПб., 2016 / Режим доступа: http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_sergeewich/text_1897_vosp_o_katkove.shtml
25. *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб., 2012.

Аннотация. Статья посвящена анализу концепции национализма Михаила Каткова (1818–1887), основоположника русской политической журналистики. Раскрыты его философско-политические основания, личностно окрашенная специфика, выявлены принципиальные философские отличия данной разновидности национализма от национализма этнического типа.

Ключевые слова: русский национализм, государственный национализм, монархизм, этнический национализм, радикализм, либерализм, интеллигенция.

Mikhail Maslin, PhD in Philosophy; Head, Russian Philosophy History Department, Philosophy Faculty, Lomonosov Moscow State University; Professor Emeritus. E-mail: mmaslin@yandex.ru

On the Issue of "Protective Nationalism" of M.N. Katkov

Abstract. The article is devoted to the analysis of the conception of nationalism of Mikhail Katkov (1818–1887), the founder of Russian political journalism. The author reveals its philosophical and political foundations and discloses the principal philosophical differences between this kind of nationalism and its ethnical variety.

Keywords: Russian Nationalism, State-oriented Nationalism, Monarchism, Ethnical Nationalism, Radicalism, Liberalism, Intelligentsia.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-25-36

Василий Ванчугов

Искушение умозрением: философские штудии Михаила Каткова

Поучившись в Преображенском сиротском училище, затем около года в Первой Московской гимназии, в 1831 году Катков оказался среди пансионеров профессора М.Г. Павлова. Окончив пансион в 1834 году, семнадцатилетний Катков поступил в Московский университет. Годом ранее среди своекоштных студентов оказался Иван Тургенев, с которым у Каткова в будущем будет несколько пересечений по философской части.

В это время в России происходят существенные изменения в области просвещения, особенно в сфере высшего образования. В марте 1832 года заместитель Ливена Уваров делает набросок письма, чтобы представить императору свои соображения относительно принципов внутренней политики, где немаловажную роль должно было сыграть и его ведомство: чтобы отечество усиливалось и благоденствовало, следует придерживаться трех «великих государственных начал» – «национальной религии», «самодержавия» и «народности». Эта триада повторилась и в отчете о ревизии Московского университета, представленном императору 4 декабря 1832 года, где Уваров сообщил о необходимости наличия у нас «правильного, основательного» образования, которое следует соединить «с глубоким убеждением и теплою верою в истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности». В марте следующего года, когда Уваров вступил в полное управление министерством, в «циркулярном предложении» для попечителей всех учебных округов сообщалось, что общая их обязанность состоит в том, чтобы народное образование «совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности» [1, с. XLIX; см. также 2, стлб. 838]. Уваров выразил уверенность, что каждый профессор и наставник, проникнувшись одним и тем же чувством «преданности трону и отечеству», использует все свои силы и дарования, чтобы сделаться «достойным орудием правительства и заслужить полную доверенность оного»; что всяк на своем месте доведет преподавание вверенной ему науки или ремесла до совершенства, «посвящая всего себя на образование юношества» [1, с. L]. Таковы были отныне критерии истинного просвещения для тех, кто служит отечеству: образование юношества в духе «охранительных начал», изучение всего и вся таким образом, чтобы прошедшие высшую школу оставались приверженцами «православия, самодержавия и народности» всю свою сознательную жизнь.

Но пребывание Тургенева в Московском университете было непродолжительным. Он приступил к занятиям в октябре 1833 года, прослушал общеобразовательный курс и сдал переходные экзамены в конце мая – начале июня 1834 года, переведен на второй курс, однако затем перешел в Петербургский университет, на словесное отделение философского факультета. Тем временем Катков в 1834–1835 годах обучался на словесном от-

Ванчугов Василий Викторович, доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заместитель главного редактора портала «Русская idea». E-mail: vanchugov@gmail.com

делении, а после преобразования по Уставу 1835 году – на 1-м (историко-филологическом) отделении философского факультета Московского университета[1].

Кафедра философии в это время пустовала. Еще в 1821 году профессор философии Брянцев умер, а кафедра, где он с 1795 года читал курс логики и метафизики, так и оставалась вакантной, поскольку министерство никого не утверждало, несмотря на то, что еще в 1822 году Совет университета избрал Давыдова на кафедру, и попечитель Оболенский представил его на утверждение высшему начальству. В 1824 году прошение повторили, о чем Давыдов напомнил новому министру народного просвещения Шишкову в письме от 16 июня 1825 года, сообщив, что Совет снова просит позволить ему чтение, хотя бы «логики и истории философии, которые по Уставу университета и правилам для производства в ученые степени постановленным, предписаны и которые в других университетах ныне преподаются» [3, с. 291].

По представлению попечителя учебного округа Писарева, Шишков дал согласие на преподавание философии, но при условии контроля со стороны попечителя округа и использовании рекомендованных правительством учебных пособий. В итоге была назначена пробная лекция, для которой Давыдов выбрал тему «О возможности философии как науки», с которой и выступил в Большой аудитории 12 мая 1826 года, в присутствии должностных лиц университета и высокопоставленного ревизора из столицы – флигель-адъютанта графа Сергея Строганова, которому рекомендовали обратить внимание на «вредный образ мыслей», господствующий между студентами и особенно воспитанниками Благородного пансиона, на систему преподавания наук в университете и на «благонамеренность самих наставников».

Однако Давыдов не удержался от призыва изучать философию по новейшим трудам европейских и русских ученых, дав ссылки на труды Шеллинга и его последователей, в частности на сочинения профессора Галича, отстраненного к тому времени от чтения лекций в Петербургском университете за пропаганду «вольномыслия». Так что флигель-адъютант нашел лекцию «вредной», и преподавание философии в университете было признано нежелательным. Из Петербурга поступило приказание Шишкова: «Учинить немедленное распоряжение о прекращении преподавания профессором Московского университета Давыдовым логики и истории философии», от попечителя Московского учебного округа А.А. Писарева потребовали докладной об образе мыслей и нравственности профессора Давыдова и поручительства за него. В итоге Шишков доложил императору о произведенной проверке и предложил оставить Давыдова в университете, но избрав его на другую должность. После того как Николай I с этим предложением согласился, 6 октября 1827 года Давыдов вынужден был перейти на физико-математическое отделение, где стал читать курс математики. Через три года руководство университета сделало доклад в министерство о разрешении читать в университете курс философии, однако одобрения снова не получило.

Так что знакомиться с философией любознательным студентам приходилось из других источников. Тургенев в своей «Автобиографии» указывал, что среди прочих слушал М.Г. Павлова, «последователя шеллинговской философии, читавшего по ней физику». Также можно было многое узнать о философии благодаря «кружку» Н.В. Станкевича, к которому Катков примкнул осенью 1837 года. В это время он также сблизился с В.Г. Белинским. «Начинаю сходиться с Катковым, – сообщал тот в письме Бакунину, – и ценить его – чудесный малый!» [4, с. 84]. В следующем письме тому же адресату 1 ноября 1837 года

[1] В 1835 году был принят новый «Общий устав Императорских Российских университетов», согласно которому в университетах восстанавливался философский факультет в составе двух отделений: историко-филологического, на котором была кафедра философии (остававшаяся вакантной) и физико-математического.

Белинский сообщал, что Катков «читает “Эстетику” Гегеля и в восторге от нее, хочет перевести для журнала все введение. Славный малый – он далеко пойдет, потому что уже и теперь у него убеждение в мире с жизнию. Голова светлая, сердце чистое – вот Катков». Чуть позже (письмо М.А. Бакунину 14 августа 1838 года) он добавляет, говоря о «сближении с действительностью», что Катков «сколько мог, удовлетворил этой жажде Гегелем».

Вернувшись осенью 1837 года с Кавказа в Москву, Белинский приютил у себя на квартире М. Бакунина, приехавшего из своего имения Прямухино, и вдвоем они занялись постижением основных положений философии Гегеля. Этот момент Белинский описал в письме к Станкевичу осенью 1839 года следующим образом: от знакомства с философией религии и права Гегеля им открылся новый мир, где «сила есть право, и право есть сила». Это дало духовное освобождение, Белинский понял и идею падения царств, и законность завоевателей, что нет произвола и случайности, вследствие чего «кончилась моя тяжкая опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде». В итоге Белинский «раскланялся с французами». Внес определенный вклад в освобождение и Катков, который «передал мне, как умел, а я принял в себя, как мог, несколько результатов “Эстетики”. – Боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир!.. Слово “действительность” сделалось для меня равнозначительно слову “бог”».

Ну а что интересного было тем временем в Петербургском университете, куда уехал Тургенев и где кафедра философии функционировала в штатном режиме? Психологию, логику и философию там читал немец Адам Фишер, поступивший на русскую службу. Именно он первым ввел идеи Уварова в состав отечественного любомудрия, изложив осенью 1834 года свой философский «символ веры» в программной речи «О ходе образования в России и об участии, какое должна принять в нем философия». «После сказанного мною, – заявил ординарный профессор Фишер на торжественном собрании в университете 20 сентября, обращаясь к аудитории на французском, – думаю, нельзя уже сомневаться, чтоб основания эти не были: священное уважение к религии, непоколебимая верность монарху и безусловное повиновение существующим законам» [5].

Летом 1836 года Тургенев держал выпускные экзамены на звание кандидата, но, получив по курсу всеобщей истории у профессора И.П. Шульгина низкий балл (21/2), удостоился звания только действительного студента. По новому уставу, высочайше утвержденному 26 июля 1835 года, философский факультет объединял филологическое и математическое отделения с четырехлетним курсом обучения вместо прежнего трехлетнего, что дало Тургеневу возможность продлить курс обучения еще на год, получив на это «изустное разрешение» ректора Петербургского университета И.П. Шульгина. Тургенев подал прошение о допуске его к выпускным испытаниям, которые выдержал и получил степень кандидата. В мае 1838 года он отправился на корабле в Европу. В «Литературных и житейских воспоминаниях» (Баден-Баден, 1868) он пояснял этот отъезд следующим образом: «Окончив курс по филологическому факультету С.-Петербургского университета в 1837 году, я весною 1838 года отправился доучиваться в Берлин. Мне было всего 19 лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей. Из числа тогдашних преподавателей С.-Петербургского университета не было ни одного, который бы мог поколебать во мне это убеждение; впрочем, они сами были им проникнуты» [6, с. 7].

Тем временем, в том же 1838 году, университетский курс окончил и Катков, с отличием. Одновременно в «Московском наблюдателе», возглавляемом Белинским, он поместил перевод статьи Г. Рётшера «О философской критике художественного произведения» [7]. В письме Н.В. Станкевичу 8 ноября 1838 года Белинский обозначает важность проделанной Катковым работы: «Читал ли ты статью Рётшера “О критике ху-

дож. произведения"? Она переведена в "Наблюдателе" Катковым, переведена чудесно, и мы кое-что уразумели из нее. Статья важная – и я таких не писывал; только трудна для пониманья». И далее, пользуясь случаем, – критический обзор двух изданий (Полное собрание сочинений Д.И. Фонвизина. Издание второе. Москва, 1838. «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» сочинение М. Загоскина. Издание пятое. Три части. Москва, 1838) [8] – Белинский указывает читателям того сочинения, которое перевел Катков: сущность и значение «философской критики» – это критика абсолютная, задача которой – найти в частном и конечном проявлении общего, абсолютного; ее суду могут подлежать только произведения вполне художественные, то есть такие, в которых все необходимо и все конкретно, и все части органически выражают единое целое, – конкретную идею.

В редактируемой Краевским газете «Литературные прибавления к "Русскому инвалиду"» (1838, № 43) появилось «Объявление об издании журнала "Отечественные Записки" на 1839 год», из которого следовало, что вместо приостановленного журнала «Отечественные записки» П.П. Свиньина начинается издание нового журнала под прежним названием. 1 января 1839 года первая книжка обновленных «Отечественных записок» вышла в свет. Преобразованные «Отечественные записки» стали объемистым ежемесячником, каждая книжка журнала была разбита на восемь отделов: «Современная хроника России», «Науки», «Словесность», «Художества», «Домоводство, сельское хозяйство и промышленность вообще», «Критика», «Современная библиографическая хроника», «Смесь». Среди авторов вскоре оказался и Катков.

Начал он с перевода статьи Варнгагена фон Энзе о Пушкине [9]. Работа немецкого критика, историка, публициста, дипломата на прусской государственной службе К.А. Фарнгагена фон Энзе «Сочинения Александра Пушкина» была опубликована в журнале "Jahrbticher fur wissenschaftliche Kritik" («Ежегодник научной критики», 1838), вскоре прочитана в России, переведена и опубликована в журнале «Сын Отечества» (1839). По мнению Каткова, это был «какой-то жалкий, неверный перевод» (редактора Н.А. Полевого). Все это побудило Каткова обратиться к А.А. Краевскому с просьбой поместить в его журнале «Отечественные записки» свою версию, чтобы «указать истинную точку зрения на нашего великого поэта» и «познакомить нашу публику с современным состоянием критики в Германии» [10, с. 53]. В предисловии Каткова («От переводчика») особо подчеркивался факт высокой оценки Пушкина в журнале, основанном самим Гегелем: «Статья, которую вы будете читать теперь, напечатана в берлинском журнале "Jahrbiicher fur wissenschaftliche Kritik", в журнале, основанном Гегелем, тем величайшим философом, который объял и повершил стремления разума. Этот журнал издается теперь достойными учениками бессмертного учителя – и в этом журнале выговорено иностранцем полное торжественное сознание величия нашей родины, произнесена достойная оценка нашего Пушкина. В лице Гегеля подает нам руку Германия, в лице Германии – вся Европа, целое человечество. Слышите ли? – Нас уже не называют учениками и подражателями... Слышите ли? – К нам взывают наши учители как равные к равным» [11, с. 4].

Затем последовал отклик на «Песни русского народа, изданные И. Сахаровым» (Пять частей. Санкт-Петербург, 1838–1839), опубликованный в «Отечественных записках» [12] с многочисленными вкраплениями из немецкого: «естественная поэзия (Naturpoesie)», «в народах, находящихся, как говорят немцы, im Werden, в том состоянии развития, когда они только становятся тем, чем будут со временем»; «во внутренней жизни русского человека не было того, что так превосходно выражается немецким словом Behaglichkeit»…

Среди основных тем отзыва – соотношение общего и частного, способы представления духа, манифестации духа в национальном сознании, так что здесь можно встретить такие обороты речи: «Русь, начавшая себя чувствовать цельным организмом, перестает

уже дробить свой идеал и выражать его в целости многих отдельных лиц: она сосредоточивает и совокупляет его весь – в одном лице великого монарха».

Белинский, который в это время находился в состоянии «примирения с действительностью» и приступил к «бородинскому циклу», отвечая на высокую оценку Краевским в письме от 17 июля 1839 года рассуждений Каткова по поводу «Песен русского народа», писал из Москвы («1839. Августа 19 дня»): «Статья Каткова прекрасна по содержанию и не совсем удовлетворительна по форме: он в ней похож на одного из тех богатырей, осиленных и заброшенных собственною силою, о которых он говорит в своей статье. Словом, его статье недостает прозрачности; много повторений и растянутостей; но содержание так богато, так сочно, мест поэтических так много, что статья все-таки прекрасна, несмотря на все недостатки». А Галахов, вспоминая о журнальном сотрудничестве с Катковым, отметил другое качество: «Уже из первых вступительных строк виден в авторе ученик профессора Павлова, в пансионе которого он обучался. Они живо напоминают мне университетские лекции естествознания, отличавшиеся предпочтением умозрения эмпиризму и синтетическим способом изложения – от общих основ к частным выводам, что мы, студенты, называли “павловщиной” [13, с. 98].

Верно и другое замечание Галахова: тот же характер критического приема остался и в суждении об «Истории древней русской словесности» Максимовича, профессора Киевского университета (1839) [14] – и здесь Катков «отправляется от общего к частному: прежде чем рассматривать новый факт научной литературы, он предварительно считает необходимым изложить свое собственное понимание предмета, – решить вопрос: при каких условиях «словесность» может быть названа «литературой» [13, с. 102].

Ключевая тема в этом рассуждении Каткова – самосознание, и выражен оптимизм в отношении наших возможностей: русский язык имеет достаточные силы, преимущественно пред всеми другими европейскими языками, поскольку в состоянии «принять в свои речения все богатство понятий германской философии, с различением малейших оттенков в них».

К осени 1839 года Тургенев возвращается в Петербург, затем объявляется в Москве, снова отъезд за границу. «В Берлине я пробыл (в два приезда) около двух лет, – отмечал он в «Литературных и житейских воспоминаниях». – Из числа русских, слушавших университетские лекции, назову: в течение первого года – Н. Станкевича, Грановского, Фролова; в течение второго – столь известного впоследствии М. Бакунина. Я занимался философией, древними языками, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера» [6, с. 8]. Тургенев слушал его лекции по истории философии, по логике и метафизике и брал у него частные уроки по философии. Сохранились конспекты лекций Вердера по гегелевской философии и по чистой метафизике, составленные Тургеневым в 1840 году. Окончание лекций Вердера в Берлинском университете его студенты отметили прощальной серенадой. Впереди была первая лекция Шеллинга в Берлинском университете, И среди слушателей окажется Катков.

Чтобы заручиться средствами на эту поездку, он перевел вместе с Панаевым один из куперовских романов. Рассчитывал он, кроме того, на гонорар за перевод «Ромео и Джульетты». Но его надежда сбылась лишь отчасти, и он уехал за границу, как сообщал Панаев в своих воспоминаниях, имея в кармане не более двухсот рублей ассигнациями. Из Гамбурга он напишет матери и брату: «Для меня эта поездка необходима, без нее я не мог бы сделаться совершенным человеком» [15, с. 149].

В 1841 году в «Отечественных записках» появляется сообщение Каткова из Берлина: «Берлинские новости (Из письма к редактору “Отеч. Записок”)» [16] Берлин называется сердцем всей умственной жизни, всех духовных движений Германии, а его университет – палладиумом славы и величия, куда вскоре должен прибыть Шеллинг, благодаря которому современники снова увидят человека, представляющего высшие интересы человечества.

Вскоре Катков слушает лекции Шеллинга. «Шеллинговы лекции имеют для меня великое значение, – сообщал он в письме к матери и брату. – У меня открылись глаза на многое, на что прежде были закрыты; много предчувствий моих уяснились и большая часть сомнений и вопросов моих получили по крайней мере более определенный вид» [15, с. 169–170].

Также он выбрал для слушания логику в изложении Вердера, затем обратился к истории новой философии. Изучение логики, как он признавался, «вместе и дьявольски трудно, и божественно легко». Благодаря ей ему открылось, что венец философии и всякого развития, начало и конец вселенной есть личность, абсолютная субъективность; все что существует – природа и история, – есть степени ее развития, момент ее целости; но она прежде всякого развития и истории – через них только приходит к себе. Цель философии и цель логики – проследить развитие чистой мысли, и изучение логики – это «сообщение с Творцом, высшее священнодействие».

Благодаря же лекциям Шеллинга у него открылись глаза на многое, на что прежде были закрыты; много предчувствий уяснилось, большая часть сомнений и вопросов получили более определенный вид. Он так много трудился над этими лекциями, что теперь владеет «лучшею тетрадью в Берлине, так что у меня со всех сторон выпрашивают ее для изучения, где всех цветов и гегелианские профессоры; но, по правде сказать, не хочется давать, пусть бы сами ходили, записывали и трудились» [15, с. 146–170]. Из воспоминаний литератора и переводчика на немецкий язык произведений русских авторов Ф. Боденштедта мы узнаем также, что Катков не только слушал лекции Шеллинга в университете, но и бывал у него дома, «где был принят весьма радушно и часто посещал его. ...немецким языком разговорным и письменным Катков владел... в совершенстве» [17, с. 62].

Тем временем в Москве Погодин и Шевырев при поддержке Уварова издают журнал «Москвитянин». Здесь появляется статья Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы», опубликованная в первом номере журнала «Москвитянин» [18], в которой он вещал о двух силах, сошедшихся лицом к лицу в «современной истории», – это Запад и Россия. «Увлечет ли он нас в своем всемирном стремлении? Усвоит ли себе? <...> Или устоим мы в своей самобытности?» – вот вопросы, на которые хочет ответить критик нового журнала. Обозревая современное состояние культуры Италии, Англии, Франции и Германии, Шевырев везде видит упадок. В литературе остались лишь «великие воспоминания» – Шекспир, Данте, Гете, во Франции «болтливые журналы» угождают «испорченному воображению и вкусу народа», «рассказывая о всяком изысканном преступлении, о всяком процессе, безобразящем историю нравственности человеческой, о всякой казни, которая расцвеченным рассказом может только породить в читателе новую для нее жертву». В Германии «разврат мысли» выразился в том, что философия отошла от религии – это «Ахиллова пята» «нравственного и духовного бытия» Германии. В противоположность Западу русские «сохранили в себе чистыми три коренные чувства, в которых семя и залог нашему будущему развитию», – это «древнее чувство религиозное», «чувство государственного единства», связь «царя и народа» и «сознание нашей народности». Эти «три чувства» – иначе выраженная «формула» Уварова («православие, самодержавие и народность»). Но больше всего читатель обратил внимание на «гниение Запада» и необходимость мер предосторожности: «В наших дружеских тесных сношениях с Западом мы имеем дело с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атмосферой опасного дыхания. Мы целуемся с ним, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства».

Во втором номере появилась статья Давыдова «Возможна ли у нас германская философия?» [19]. «Учиться, учиться надобно прежде, – отечески наставляет соотечественников Давыдов, – и потом философствовать». А пока, предлагает несостоявшийся профессор философии, утешимся тем, что после трудов во имя народного просвещения

наступит время, когда наш будущий Шеллинг или Гегель воссоздаст свою философию, более прочную и надежную, нежели философия германская.

Таким вот «русским Шеллингом», также вжившимся и в роль Гегеля, планировал стать Катков. «По всему складу мысли и деятельности Каткова, – отмечал П.В. Анненков («Замечательное десятилетие (1838–1848)»), – с первых же его шагов за границей, все яснее оказывалось, что он гораздо более занят мыслию водворить в своем отечестве новые основы положительного созерцания и верования, какие он открыл в позднейшей философии «Откровения» Шеллинга, чем призванием работать на просветление загрубелой русской общественной среды, прямо и непосредственно, как того требовало время» [20, с. 378].

Первая лекция Ф.В. Шеллинга в Берлинском университете целиком напечатана в «Отечественных записках» [21]. Чуть позже редактор «Отечественных записок» заявил: «Мы надеемся сообщить читателям обстоятельнейшее известие о духе и содержании лекций Шеллинга, обещанное нам нашим берлинским корреспондентом, постоянно посещавшим эти лекции в продолжении всего семестра» [22]. Но этого не последовало. Из-за отсутствия средств и обремененности долгами Катков не мог более оставаться за границей и принимает решение вернуться в Россию.

По возвращении на родину Катков не примкнул ни к одному из двух направлений, явно оформившихся к тому времени, – ни к западникам, ни к славянофилам. Прибыв в Москву, он признался в письме к А.Н. Попову в Берлин: «С интересами, которые теперь, сколько я мог заметить, господствуют в Петербурге и Москве, я нахожу в себе мало сочувствия. Только и слышишь, что Гоголь, да Гегель, да Гомер, да Жорж Занд. <...> Я здесь молчу и только слушаю: там слышишь, что Россия гниет; здесь, что Запад околевает, как собака на живодерне; там, что философия цветет теперь в России и надо бы держать ее как можно далее от жизни, заключить ее в формулы, чтобы толпа не смела в нее вмешиваться; здесь, что философия – морска-сука, что она есть не более, как выражение немецкого филистерства» [23, с. 481].

Со стороны прежних друзей и союзников также можно отметить заметное охлаждение. В письме к А.А., В.А., Н.А. и Т.А. Бакуниным (<22>–23 февраля 1843. Петербург) как всегда радикальный Белинский сообщал: «Воротился г. Катков – то-то дрянь-то! Это воплощение раздутого самолюбия. Ну, да черт с ним – он не стоит, чтоб и говорить о нем» [24, с. 536]. «К<аткова> ты видел, – писал Белинский В.П. Боткину 6 февраля 1843 года. – Я тоже видел. Знатный субъект для психологических наблюдений. Это Хлестаков в немецком вкусе. Я теперь понял, отчего во время самого разгара моей мнимой к нему дружбы меня дико поражали его зеленые стеклянные глаза. Ты некогда недостойным участием к нему жестоко погрешил против истины; но – честь и слава тебе – ты же хорошо и поправился: ты постиг его натуру – попал ему в самое сердце. Этот человек не изменился, а только стал самим собою. Теперь это – куча философского <...>: бойся наступить на нее – и замарает и завоняет» [25, с. 528].

Закончив в мае 1841 года слушание цикла лекций в Берлинском университете, Тургенев вернулся в Россию. С октября 1841 года он обосновался в Москве, где готовился к магистерским экзаменам и посещал литературные кружки и салоны. «Я только что вернулся из Берлина, – вспоминал Тургенев о той поре, – и был весь, так сказать, пропитан философией Гегеля, которую изучал в течение трех семестров под руководством профессора Вердера. В Москве существовало тогда несколько домов, в которых чуть не каждый вечер происходили словесные препиранья о предметах важных... и ненужных – о предметах отвлеченных и философских, и политических <…> Поспоривши всласть, ратоборцы разъезжались – до следующего вечера. В числе их были, как водится, первые теноры, простые баса и хористы; были также и гости без речей. Покойный А.С. Хомяков играл роль

первенствующую, роль Рудина. Всё это мне было на руку – недаром же я жил в Берлине, изощрялся в диалектических тонкостях, а потому я, хоть и не в передних рядах, однако высвистывал свою партию тоже. Помню мое первое столкновение с самим великим Алексеем Степанычем: внутренно я робел, но самолюбие меня поддержало. О победе, разумеется, не могло быть речи, но и позорного поражения не потерпел: около полутора или двух часов <старался> <потщился> я разъяснить – частью Х<омяков>у, частью самому себе, каким образом дух (Geist) посредством понятия (Begriff) самого себя ставит или сажает (setzt sich) как природу (Nature). Ни до чего, кажется, не договорился, но и не уступил. Чего же еще было желать? Я попал в цех словоизвергателей, выражаясь щедр<ински>м языком» [26, с. 286].

В апреле и мае 1842 года Тургенев успешно держал в Петербурге магистерские испытания, надеясь получить профессуру… в Московском университете! Ответы были признаны «хорошими» по латинской словесности и «очень хорошими» по греческой словесности и философии. Афанасий Фет, который в 1838 году поступил в Московский университет, сначала на юридический факультет, затем – на историко-филологическое (словесное) отделение философского факультета, – рассказывал, что впервые увидел Тургенева в стенах Московского университета, беседующего с профессором Степаном Петровичем Шевыревым: «Так как появление его меня нисколько не заинтересовало, то в памяти моей не удержалось ни одного слова из их непродолжительной беседы; помню только что молодой человек о чем-то просил профессора, и самое воспоминание об этой встрече, вероятно совершенно изгладилось из моей памяти, если бы по уходе его Степан Петрович не сказал: “Какой странный этот Тургенев: на днях он явился со своей поэмой «Параша», а сегодня хлопочет о получении кафедры философии при Московском университете”» [27, с. 152].

Однако для получения степени магистра, позволявшей претендовать на должность, требовалась еще и диссертация, которая так и не была написана Тургеневым. В итоге осенью 1844 года он подал прошение на имя министра внутренних дел Л.А. Перовского о поступлении на службу в Министерство внутренних дел.

А Катков тем временем напомнил о себе графу С.Г. Строганову (попечителю Московского учебного округа с 1 июля 1835 года). Тот дает ему совет не прерывать ученой карьеры (Катков готов был к любой службе, лишь бы гарантированно получать жалованье) и написать магистерскую диссертацию для получения профессуры. Катков охотно принимает этот совет и в 1845 году защищает диссертацию об «Элементах и формах славяно-русского языка» [28], после чего назначается адъюнктом по кафедре… философии. Ничего философического в той диссертации не было, но по Уставу 1835 года, согласно пункту 76, для получения звания адъюнкта надлежало «по крайней мере иметь степень магистра.

Из письма к А.Н. Попову от 23 июля 1846 года (тот уже в Петербурге) узнаем, что Катков прочитывает новые работы по философии (преимущественно по истории философии) французских авторов, у которых он находит «много дельного и основательного», в отличие от немцев: «Я прочитываю теперь новые работы французов по философии и преимущественно по истории философии. Много дельного и основательного; они далеко опередили теперешнюю толпу газентромпетеров. Их мысль шире, свежее; в ней больше положительности; у них развивается также и смысл для уразумения высших вопросов; а у немцев, кажется, он теряется все более и более в их распухшей фразе, в их филистерской бесцельности» [23, с. 484]. И далее от Каткова следует вопрос: «Что слышно о Шеллинге? Я не имею о нем почти никаких сведений» [23, с. 484].

Хотя кафедра философии возобновляет свою работу, получив законного адъюнкта, объем предметов представлен пока еще не в полном объеме. Согласно «Отчету», в продолжение 1847/1848 академического года в университете преподавали учебные

предметы, назначенные Уставом 26 июля 1835 года, «кроме философии, восточных языков, технологии и архитектуры, за неимением преподавателей» [29, с. 8]. Но далее все же сообщалось, что адъюнкт Катков преподавал для студентов 1-го отделения философского факультета 2-го курса и юридического факультета того же курса, логику по 3 часа в неделю; для студентов 1-го отделения философского факультета 1-го курса психологию, «придерживаясь преимущественно руководства Бенеке» [29, с. 12].

Константин Александрович Манн, окончивший университет в 1850 году, признавался, что «ни один профессор не оставил в университете так мало следов своими лекциями, как он. Впрочем, по не зависящим от него обстоятельствам <…> он читал не тот предмет, к которому готовился: вместо философии – логику и, по видимому, если судить по легкости, с которой он относился к нашим ответам на экзаменах, сам не придавал большого значения своим лекциям. На нас же студентов лекции его производили впечатление “тяжелого, бесполезного бремени, и запутанное отвлеченное изложение их не возбуждало ни малейшего интереса”» [30, с. 328]. Петр Иванович Бартенев, студент университета с 1847 по 1851 год, вспоминая 1849/1850 учебный год, сообщал, что «Катков читал редко психологию, логику и историю философии, все три предмета очень смутно и неудобопонятно, притом по целым месяцам он не являлся на кафедре по нездоровью. Это был сухой, бледный, чахоточный человек. Мы думали, что он не проживет долго» [31, с. 69]. Из воспоминаний Бартенева мы также узнаем, что главное положение курса психологии Каткова, излагаемого по системе Бенеке, состояло в том, что «человек является на свет столь же наг душою, как и телом, и что все ее дальнейшее развитие зависит от внешних впечатлений и силы в восприятии их» [32, с. 489–490], а на втором курсе Катковым было прочтено «лишь несколько лекций “об истории философии по Шеллингу с его тремя началами”» [32, с. 490]. Пытаясь довести преподавание курса до полного объема, Катков ведет работу по сбору историко-философского материала: в 1851 и 1853 годах в издававшемся в Москве периодическом научном сборнике «Пропилеи» будут опубликованы его «Очерки древнейшего периода греческой философии» [33][1]. Однако к тому времени он уже не сможет их использовать в педагогическом процессе.

7 ноября 1849 года Ширинский-Шихматов в противодействие революционным волнениям в Европе распорядился приостановить во всех университетах преподавание государственного права европейских стран, однако решено было пожертвовать не только этим предметом. В докладной записке императору Ширинский-Шихматов сообщал, что теория познания, метафизика, история философии, нравоучительная философия должны быть изъяты из преподавания в высших учебных заведениях, ибо дисциплины эти по разным причинам способны породить сомнения в истинности Божественного откровения и посеять смуту в головах юношества, а потому не соответствуют видам правительства и не обещают благоприятных последствий. Особенно примечательно здесь пояснение относительно «истории философии или критического разбора философских систем»: «Хотя преподавание их и могло бы быть допущено, – заметил Ширинский-Шихматов, – в видах предупреждения молодых слушателей от заблуждений, с условием, однако, чтобы опровержения были сильнее доказательств, над которыми трудились великие, хотя и заблуждавшиеся мыслители; но как это условие редко может быть выполнено совершенно удовлетворительно, а всякое в столь важном деле упущение оставит по необходимости в неопытных умах семя заблуждения, способное со временем произвести горькие плоды, то гораздо полезнее и безопаснее вовсе не касаться философских систем». А вот логика и опытная психология показались необходимыми и полезными всякому образованному человеку, а потому решено было их сохранить в преподавании, с требованием возложить чтение этих

[1] В 1853 году «Очерки» вышли в Москве и отдельной книгой.

дисциплин исключительно на профессоров богословия. И Николай I с предложениями согласился.

Преподавание логики и опытной психологии в университетах возложили на профессоров богословия или законоучителей, назначаемых на эти должности по согласованию Министерства народного просвещения с духовным ведомством Православного вероисповедания. В Киеве вместо Новицкого поставлен был профессор богословия и протоиерей И.М. Скворцов, в Харькове вместо Протопопова – профессор богословия и протоиерей П.И. Лебедев, в Петербурге вместо Адама Фишера – профессор богословия Райковский, в Москве вместо адъюнкта философии Каткова – профессор богословия и протоиерей Терновский.

Так Катков потерял кафедру философии. Как пояснял С.М. Соловьев («Мои записки для детей моих, а если можно, и для других»), «бездарный, сухой, но умный и добросовестный» Терновский «со слезами отмаливался от новой кафедры, выставлял свою совершенную неприготовленность к ней», но в свете высочайшего повеления старик должен был взяться за логику и психологию. Для вознаграждения профессоров философии, потерявших свои кафедры, Ширинский-Шихматов создал новую кафедру – педагогики, но Катков не получил этой кафедры, поскольку в это время «подбился к Назимову Шевырев и получил сильное влияние как преподаватель христианский». Кафедра педагогики была поручена Шевыреву, который оставил за собою и кафедру словесности, а Катков остался без места.

Пытаясь найти себе место, Катков обратился к Строганову. С 1847 года тот уже не попечитель Московского учебного округа, всего лишь почетный член Московского университета – вышел в отставку вследствие разлада с министром С.С. Уваровым, назначен был членом Государственного Совета. Сохраняя влияние и обладая связями, он «возбудил во мне мысль искать место цензора… Я было сделал ему на это некоторые возражения, но он отвечал, что я имею все права на это место, по крайней мере не меньшие, нежели приват-доцент в киевском университете по упразднении кафедры философии, Гогоцкий, которому министр обещал там это место» [23, с. 492, 28 октября 1850 г.]. Но в итоге Катков сделался редактором «Московских ведомостей» и чиновником особых поручений при Министерстве народного просвещения.

Так закончился философский этап творческой биографии М.Н. Каткова. Далее начнется политический, преимущественно в публицистическом формате, однако философские темы и проблемы будут оставаться в центре его внимания, что также требует основательного историко-философского исследования.

Литература

1. Циркулярное предложение г. Управляющего Министерством народного просвещения начальствам учебных округов о вступлении в управление министерством // Журнал Министерства народного просвещения (ЖМНП). 1834. Ч. 1. С. XLIX–L.
2. Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 1. СПб., 1866.
3. Прошение И.И. Давыдова министру народного просвещения А.С. Шишкову // Русские профессора: университетская корпоративность или профессиональная солидарность. М., 2012.
4. *Белинский В.Г.* Письмо М.А. Бакунину от 21 сентября 1837 г. / В.Г. Белинский // Собр. соч.: в 9 т. М., 1982. Т. 9.
5. *Фишер, Адам*. О ходе образования в России и об участии, какое должна принять в нем философия // ЖМНП. 1835. Ч. 5. № 1.
6. *Тургенев И.С.* Литературные и житейские воспоминания / И.С. Тургенев // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1983. Т. 11.
7. *Рётшер Г.* О философской критике художественного произведения: пер. с нем. М.Н. Каткова // Московский наблюдатель. 1838. Ч. XVII. Май. Кн. 1, 2; Июнь. Кн. 1, 2.

8. *Белинский В.Г.* Критика (Статья первая) // Московский наблюдатель. 1838. Ч. XVIII. Июль. Кн. 2. Отд. III.

9. *Фарнгаген фон Энзе К.А.* Сочинения Александра Пушкина: пер. с нем. М.Н. Каткова // Отечественные записки. 1839. Т. 3. № 5. Приложение. С. 1–36.

10. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. / под общ. ред. А.Н. Николюкина. СПб., 2010. Т. 1.

11. *Катков М.Н.* От переводчика // Отечественные записки. 1839. № 5.

12. *Катков М.Н.* Песни русского народа, изданные И. Сахаровым… // Отечественные записки. 1839. Т. IV. С. 1–92.

13. *Галахов А.Д.* Воспоминания о журнальном сотрудничестве М. Каткова в 1839 и 1840 годах // Исторический вестник. 1888. № 1.

14. *Катков М.Н.* История древней русской словесности. Сочинение Михаила Максимовича. Книга первая. Киев. 1839 // Отечественные записки. 1840. Т. 9. № 3–4. Отдел «Критика». С. 37–68.

15. [*Катков М.Н.*] Из писем М.Н. Каткова к матери и брату // Русский вестник. 1897. № 8. Август.

16. *Катков М.Н.* Берлинские новости (Из письма к редактору «Отеч. Записок») // Отечественные записки. 1841. Т. 16. № 5–6. Отдел «Смесь». С. 111–116.

17. *Боденштедт Ф.* Воспоминания о пребывании в России в 1841–1845 гг. // Русская старина. 1887. Май.

18. *Шевырев С.П.* Взгляд русского на современное образование Европы // Москвитянин. 1841. № 1. С. 219–296.

19. *Давыдов И.И.* Возможна ли у нас германская философия? // Москвитянин. 1841. Ч. 2.

20. В.Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977.

21. Первая лекция Шеллинга в Берлине // Отечественные записки. 1842. Т. XX. № 2. С. 65–70.

22. Отечественные записки. 1842. Т. XXII. Отд. VII. Смесь.

23. [*Катков М.Н.*] Письма М.Н. Каткова к А.Н. Попову (1843–1857) // Русский архив. 1888. № 8.

24. *Белинский В.Г.* Письмо к А.А., В.А., Н.А. и Т.А. Бакуниным от <22>–23 февраля 1843 г. / В.Г. Белинский // Собр. соч.: в 9 т. М., 1982. Т. 9.

25. *Белинский В.Г.* Письмо В.П. Боткину от 6 февраля 1843 г. / В.Г. Белинский. Собр. соч.: в 9 т. М., 1982. Т. 9.

26. *Тургенев И.С.*<Семейство Аксаковых и славянофилы> / И.С. Тургенев // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1983. Т. 11.

27. *Фет А.А.* Из моих воспоминаний // И.С. Тургенев в воспоминаниях современников: в 2 т. М.: Худ. лит., 1983. Т. 1.

28. Об элементах и формах славяно-русского языка: Рассуждение, написанное на степень магистра кандидатом М. Катковым. М.: Университетская типография, 1845.

29. Отчет о состоянии и действиях Императорскаго Московскаго Университета за 1847–1848 академический и 1848 гражданский годы. [М., 1849].

30. [*Манн К.А.*] Воспоминания К.А. Манна // Исторический вестник: Историко-литературный журнал. СПб., 1917. Т. CXLVII.

31. *Бартенев П.И.* Воспоминания / публ. [вступ. ст. и примеч.] А.Д. Зайцева // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ; Рос. Архив, 1994.

32. *Бартенев П.И.* Комментарии к письмам М.Н. Каткова А.Н. Попову // Русский архив. 1888. Кн. 2.

33. *Катков М.Н.* Очерки древнейшего периода греческой философии // Пропилеи. Изд-е П.М. Леонтьева. 1851. Кн. 1; 1853. Кн. 3.

Аннотация. В статье представлен ранний период творческой эволюции Каткова – изучение философии, увлечение творчеством Шеллинга, возобновление деятельности кафедры философии Московского университета.

Ключевые слова: философия, гегельянство, шеллингианство, университет, кафедра, образование, идеология.

Vasily Vanchugov, PhD in Philosophy; Professor, Department of History of Russian Philosophy, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University; Deputy Editor-in-Chief, Site politconservatism.ru. E-mail: vanchugov@gmail.com

The Temptation of Speculation: Philosophic Studies of Mikhail Katkov

Abstract. The article is devoted to the early period of Katkov's creative evolution - the study of European philosophy in general, and Schelling in particular, as well as the recommen of the department of philosophy of Moscow University.

Keywords: Philosophy, Hegelianism, Schellingism, University, Department, Education, Ideology.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-37-47

Игорь Тяпин

Преломление учения Г. Гегеля в философско-исторических воззрениях М.Н. Каткова

Михаил Никифорович Катков принадлежит ко второму поколению русской консервативной мысли, пришедшему на смену М.М. Щербатову, Н.М. Карамзину, С.С. Уварову, М.П. Погодину. Именно к этому времени была преодолена эклектичность, столь свойственная воззрениям русских консерваторов XVIII – первой половины XIX века [19, с. 111], то есть русский политический (охранительный) консерватизм четко отделил себя от либерализма, в том числе славянофильского, «консервативного западничества», аристократическо-олигархических устремлений (что не означало, разумеется, полной теоретической изоляции от других политических течений); его непоколебимыми принципами стали приверженность самодержавию (которое противопоставлялось западноевропейскому абсолютизму и восточному деспотизму) и официальному православию, а характерными чертами методологии социального познания – умеренный иррационализм и приверженность органической теории (использование которой было обусловлено необходимостью противодействия основным постулатам механицизма, являющегося объяснительным принципом либеральной социальной философии).

Поскольку апеллирование к прошлому как ресурсу общественного развития выступает фундаментом практически всех консервативных социальных доктрин, то о характере, степени глубины и упорядоченности мировоззрения М.Н. Каткова следует судить в первую очередь именно на основе реконструкции его исторических представлений. И здесь Катков (в противовес доминирующей в дореволюционной либеральной и советской библиографии точке зрения) выступает как мыслитель, а не просто публицист, писавший на злобу дня, и (тем более!) не беспринципный карьерист, конъюнктурно менявший оценки, предавший либерально-западнические идеалы молодости. В лице М.Н. Каткова необходимо видеть философа, пусть и не оставившего «академического» наследия, мировоззренческие принципы которого, сложившиеся не столько во времена юношеских контактов с кружком Н.В. Станкевича и сотрудничества с «Отечественными записками», сколько немного позже – в период жизни за границей и последующего сближения с А.С. Хомяковым, сохранялись в неизменности на протяжении всей оставшейся жизни. Примечателен тот факт, что еще в 1839 году он писал в «Отечественных записках»: «Если нам дорога слава нашей России, то мы без замедления, чистосердечно и искренне, должны избрать своим лозунгом те три великие слова: православие, самодержавие и народность, которые изрекло правительство во благо нам и во благо народа и которые должны быть запечатлены в сердце каждого истинно русского» [12, с. 88]. Твердые мировоззренческие основы удерживали Каткова в рамках одного политического и философского направления, не позволяя мыслителю, при всей его природной страстности, надолго «заноситься в стороны».

Тяпин Игорь Никифорович, доктор философских наук, кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры философии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (ВоГУ). E-mail: i.n.tyapin@mail.ru

Переходя к рассмотрению оснований исторической концепции М.Н. Каткова, которая, как полагает В.К. Кантор, сложилась еще до 1840 года [4, с. 187], следует констатировать очень значительное влияние на него (наряду с концепцией Ж. де Местра о национальном разуме) идей Г. Гегеля и Ф. Шеллинга [20, с. 119–120, 141]). «Красной нитью» через многие его произведения проходит мысль об эволюции человечества в целом и отдельных народов как развитии сознания и самосознания, духовной культуры. Это влияние проявляется в первую очередь в диалектическом подходе к осмыслению действительности, что особенно заметно при рассмотрении им проблем государства, прогресса, социального развития [25]. Причем влияние Гегеля было, пожалуй, приоритетным. Катков до сих пор нередко считается шеллингианцем [3], однако его ранние публикации в «Отечественных записках» недвусмысленно говорят о том, что первоначально он встал на сторону Гегеля против Шеллинга [24, с. 115]. Возможно, по мере своей эволюции «вправо» Каткову показалось неудобным слыть сторонником Гегеля – знамени русских радикалов 1840-х годов. А.И. Герцен, к примеру, называл Каткова двояко: и «старый гегелист», и «старый шеллингист» [24, с. 115]. Кроме того, Шеллинг, в отличие от Гегеля, так и не создал обширной и систематизированной философии истории, ограничившись здесь фрагментами некоторых статей и высказываниями на лекциях.

При внимательном анализе работ М.Н. Каткова перед нами довольно откровенно проступает теория Гегеля о последовательном саморазвитии абсолютного духа, хотя данного термина мыслитель и не употреблял, используя иногда только слово «дух». Он пишет, что дух равен самому себе, он везде один и тот же, «как в отдельном человеке; так и в отдельном народе, так и в целом человечестве, как в зерне развития, так и в различных циклах своей жизни – действует он по одним и тем же законам, творит одни и те же миры, изводит из себя одно и то же содержание. Каждый период развития духа есть повторение предыдущего периода, и вместе – отрицание его… он сбрасывает с себя одну форму для того, чтобы открыться в другой, достойнейшей, он переходит с низшей ступени на высшую для того, чтобы виднее и явственнее показать существо свое» [12, с. 14].

В соответствии с гегелевской схемой развития абсолютного духа (правда, с примесью шеллингианского культа искусства), Катков определяет ход социального развития. «Поэзия, – пишет он, – ознаменовывает первое пробуждение народа к исторической жизни, искусство и знание сопутствуют его развитию и служат самым лучшим выражением силы и свойства развития. Народы самые практические отличались высоким и сильным развитием умственной и художественной деятельности, которая, по-видимому, была совершенно чужда текущих вопросов и дневных интересов, но которая в самом-то деле была совершенно необходима для успехов жизни» [8, с. 63]. Сквозь всю жизнь Катков пронес мнение о том, что основные законы природы и истории одни и те же для всех стран и народов, полемизируя с крайними сторонниками локально-исторического подхода, в частности Н.Я. Данилевским. По его мнению, искусство «всегда будет могущественным союзником национального прогресса», и, в частности, реформы Александра «помогут русскому творчеству в искусстве стать твердою ногой на высоком уровне и вступить в состязание с величайшими нациями истории» [15, с. 23–24].

В рамках органического подхода, неотъемлемой составляющей консервативного миропонимания, Катков писал об «организме народа», придя к выводу, что «его [народа – *И.Т.*] организм принадлежит к царству духа, а не к царству внешней природы; следственно и жизнь его не есть жизнь естественная, какою живут отдельные предметы природы: она должна иметь духовное свойство и в своем развитии принимать духовные определения» [12, с. 11]. Катков определял «народ» в духе своей романтической теории, подчеркивая, что он «не есть осязаемое органическое существо, такое же, например, как отдельный человек, как всякий предмет природы; он не поставлен перед нашими эмпи-

рическими взорами как особый предмет, сам собою втесняющийся в сферу наших представлений; он не дан нам непосредственно… Но, относя к народу слова “живет” и “развивается”, мы даем ему значение органического, особого существа» [12, с. 10]. При этом мыслитель отмечает: «Если видеть в народе только случайное сборище людей, занимающих известное пространство, и больше ничего, то искать в нем жизни и развития было бы точно нелепо… Народ есть органическое, живое существо, но *чисто духовное, а не чувственное* [курсив мой – *И.Т.*]» [12, с. 10]. Здесь, кстати, можно провести аналогию с призывами А.С. Хомякова к восстановлению органических начал России, понимаемых как «возрождение духа».

Как и Гегель, Катков уделяет огромное внимание политическому развитию этноса, которое, по его мнению, не обязательно должно тесно зависеть от литературного, научного и т.п. развития: «Мы можем указать на народы, отличающиеся большим образованием, но лишенные политического духа, лишенные той организации, которой условливается правильное развитие политической жизни, – народы надломленные и ничтожные в политическом отношении, при всем блеске их литературного и ученого образования» [8, с. 164]. По словам Каткова, государство не является чем-то непосредственно данным в жизни народа. Ссылаясь на Т. Гоббса, он пишет, что «установление государства явилось результатом войны всех против всех» [6, с. 2].

Как полагает А.С. Брутян, логика образования государства в катковской аргументации такова: ход образования государства состоит в «собирании и сосредоточении власти. Покоряются независимые владения, отбирается власть у сильных, и все, что имеет характер принудительный, подчиняется одному верховному над государством началу…» [1, с. 52]. Кроме того, «государство вооружено не против свободы, которая только в ограде его и возможна; оно вооружено против других государств, как вне, так и внутри его. Власть по природе своей не может терпеть государства в государстве, и ее прямое назначение пресекать и возбранять все, что имеет такой характер» [1, с. 52]. Получается, что для Каткова путь восхождения государства есть путь отбирания власти. Эту чрезвычайно важную мысль он озвучит открыто в ходе рассуждений о характере мировой и русской истории.

Таким образом, его «гегелевский» взгляд на государство как высшую форму общественной организации сочетается с глубоким диалектизмом в понимании роли государства и его взаимоотношений с так называемым гражданским обществом в решении философско-исторической проблемы субъекта исторического процесса. «Жизнь народа и его призвание, – пишет Катков, – не исчерпывается делом государственной нужды… Чем производительнее творчество мысли среди народа, чем выше подъем духа в его избранных представителях, чем обильнее и плодотворнее раскрываются в нем дары Божии, тем возвышеннее становится его положение в мире, и тем он любезнее и дороже для человечества» [7, с. 404].

Столь же глубокую диалектичность демонстрирует Катков в рассуждениях о прогрессе, особенно при рассмотрении его политического аспекта: «Чем дальше продвигается история, чем более развивается политическая жизнь, тем более сближаются и связываются между собою интересы охранительные и преобразовательные», и «лишь только то и может преобразовываться, что держится крепко и не теряет почвы» [5, с. 70]. По его мнению, общественное развитие в целом не может быть истолковано строго прямолинейно и однозначно, ибо прогрессивным и жизнеспособным является только то, что сохраняет историческую преемственность, не отрывается от национальных традиций, не теряет ни одного из существенных элементов прошлого. При этом, как отмечает В.А. Твардовская, Катков неоднократно высказывался в том смысле, что «история не идет назад» [22, с. 269]. Выдающейся по глубине диалектизма мыслью является его требование поиска «элемен-

тов прогресса в самой действительности» [10, с. 127], за которым стоит понимание связи настоящего и будущего, действительности и возможности.

Трактуя монархическую власть как объединительное начало в государстве, видя в «собирании» власти и сосредоточении ее в одних руках один из главных показателей исторического прогресса в смысле процесса становления и развития государственности, определяя идеальную цель монарха и государства в «карамзинском духе» – как «исполнение заветов истории и путей Провидения», Катков вплоть до последних лет жизни формулирует и с разных сторон аргументирует тезис о том, что государство является завершением общества и обеспечивает его свободу [16, с. 205]; оба субъекта сосуществуют как части единого целого, не подавляя друг друга и не смешиваясь друг с другом.

В связи с монархическими убеждениями М.Н. Катков отступает от свойственной ему диалектичности лишь в вопросе о соотношении революционных и эволюционных форм общественно-исторического развития. Он не желал замечать никаких позитивных сторон социальной революции. На протяжении всего периода журналистской деятельности парадигмой государственного развития для него выступала только политическая эволюция как истинное выражение легитимного исторического процесса, а революция, с его точки зрения, – это всегда политическая катастрофа, отрыв от исторической почвы, насилие над реальными условиями жизни и в итоге отказ от общественного прогресса. Таким образом, в своем неприятии революции Катков пошел дальше Гегеля, который, уделив в «Лекциях по философии истории» этой теме вообще немного места, высказывался менее резко, признавая, например, всемирно-исторический характер Великой Французской революции [2, с. 447]. Как бы выражая свою антиреволюционную максиму, Катков писал: «…общество, развиваясь, может из всякого падения подниматься с новыми силами, но падение не может быть его целью; оно не может сознательно приготовлять их под видом прогресса» [9, с. 840]. Отсюда и мнимая «англомания» М.Н. Каткова, обвинения в которой он упорно отрицал, считая невозможным любые попытки перенести чуждые формы на иную почву, будь то конституция или новые политические институты власти. Просто Англия интересовала его как страна, избежавшая революционных потрясений в XIX веке, и у которой можно поучиться умению проводить преобразования без революций.

Публицистический характер большинства работ М.Н. Каткова привел к тому обстоятельству, что ряд аспектов историософской концепции мыслителя раскрывается в рассуждениях о частных проблемах России.

М.Н. Катков утверждал, что хотя в мире существуют всеобщие законы истории, Россия, как и все в нем, имеет свои индивидуальные особенности, которые не противоречат общим законам и предопределяют дальнейшее ее развитие как исторически сложившейся целостности [18, с. 493]. А поскольку Россия имела собственную историю с характерными особенностями, которые определяют ее будущий ход развития, следовательно, ошибочно считать ее недостаточно развитой. Россия является вполне зрелой страной, с глубокими непоколебимыми инстинктами и историческими традициями, которые происходят из ее природы. Катков критиковал западничество, которое пропагандирует идею о незрелости России и является для нее пагубной силой. По этой причине он выступал против распространения западных идей, подчеркивая, что в своих представлениях мы живем все время вне России, и эта двойная жизнь рождает ужасный хаос в наших мыслях и в нашей реальной жизни. Все, что говорится на другом языке, переходит в головы русских, и они постоянно переносятся из российского образа жизни на далекие земли [18, с. 493–494]. Это приводит к недостатку понимания русскими значения своего исторического прошлого для судеб мира.

М.Н. Катков заявлял, если так можно выразиться, об иной цивилизационной принадлежности России по отношению к Европе. За много лет до Р. Киплинга он писал:

«Будем верны заветам истории: Востоку – восточное, Западу – западное» [17, с. 249]. В своем анализе русской истории Катков исходил из выделения Западной и Восточной цивилизации, при этом противопоставляя Россию только Западу. Лучше всего данную позицию подтверждает следующая катковская цитата, казалось бы, посвященная конкретной религиозно-политической проблеме: «Ни в чем не должны мы [то есть Россия – *И.Т.*] уступать ни католическим державам, ни папе; им ни в чем не должны уступать мы ни на Западе, ни на Востоке» [14, с. 424]. В связи с этим возможно предполагать, что Катков относил Россию к Восточной цивилизации, однако в работах мыслителя не обнаруживается ответа на вопрос, как он определял ее географические границы и культурные особенности. По крайней мере можно с уверенностью утверждать наличие здесь идейной связи с мнением С.С. Уварова о Востоке как прародине человечества и месте хранения высших духовных ценностей.

В приведенных суждениях М.Н. Каткова отразился произошедший в русской консервативной мысли середины второй половины XIX века переход от позиции диалога культур России и Запада в пользу убеждения о принципиальной невозможности его осуществления, коренящейся в асимметричности оснований двух цивилизаций (Д.И. Иловайский, сближавший исторические судьбы России и Западной Европы, являлся, скорее, исключением в консервативном лагере). На личном опыте этот перелом пережил в середине XIX столетия Ф.И. Тютчев, который в ходе работы над проектом установления подлинного мира между Россией и влиятельными европейскими державами признал абсолютную теоретическую противоположность духовной эволюции современного ему Запада традициям отечественной культуры, «историческому принципу» русского национального существования [23, с. 63].

Часто обращаясь к проблеме «Россия и Запад», М.Н. Катков полемизировал и со сторонниками другой крайности – абсолютно полного отрыва российской истории от европейской, текущего развития России – от развития Запада. Полемизируя с Н.Я. Данилевским, видевшим Россию и в настоящем, и в будущем «не причастной ни к европейскому добру, ни к европейскому злу», он проводил мысль об общности проблем исторического развития России и Запада в Новое время и влиянии европейских дел на ход российской истории.

На историю древней Руси М.Н. Катков смотрел достаточно мрачно, она ему рисовалась почти в тех же красках, что и П.Я. Чаадаеву, с той лишь разницей, что он связывает пробуждение русского народа с Петром I. Еще в юности, полемизируя с апологетами политики обособления России от Запада, Катков провозглашал следующее: «Только с Петра возникла Россия, могучее исполинское государство; только с Петра русский народ стал нациею, стал одним из представителей человечества, развивающим своею жизнью одну из сторон *духа* [курсив мой – *И.Т.*]; только с Петра вошли в его организм высшие духовные интересы, только с него начал он принимать в себя содержание развития человечества. А до Великого у нас не было ни искусства, в собственном смысле этого слова, ни науки» [12, с. 8]. Никакой трагедии в разрыве, возникшем после петровских реформ между образованным слоем русского общества и народом, Катков не видел. Ничего подобного славянофильскому делению русской истории на «московский» и «петербургский» периоды у него нет. Правда, в русском народе допетровской эпохи М.Н. Катков признавал великие созидательные силы, поскольку тот создал грандиозное государство, великую монархию. Самодержавие российское, по его мнению, есть порождение русского народа, и в этом величайшая историческая народная заслуга, поскольку именно самодержавие ввело в Россию европейскую цивилизацию, помогло ей войти в круг мировых держав. «Кто же, – восклицал он в ответ крайним западникам, – после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплотна? Кто будет жаловаться, что он во все время своего продолжитель-

ного существования ничего не совершил, ничего не породил?.. Разве ничего не значило породить эту неодолимо-мощную и внутри и вне, эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, ее создавшего? Какое государство, укажите, может сравниться с нею по объему и могуществу и по изумительной силе ассимилирования?» [12, с. 36]. Творческая потенция имеется только у самодержавия, которое европейской культурой вдохнуло жизнь в огромный государственный организм, созданный народом. Отсюда проистекает и критика конституции в собственно политических рассуждениях Каткова, ибо «писанные» конституции (в отличие от «естественной» английской конституции, вытекающей из британского духа и традиций) лишены, по его мнению, связи с исторически сложившимися условиями жизни страны и народа [18, с. 488–492]. Характеризуя современную ему Россию как зрелую страну, мыслитель был уверен, что она не нуждается в подобной конституции именно в силу своей исторической зрелости [18, с. 495].

Необходимо отметить, что обращение М.Н. Каткова к идее народа, народного духа вовсе не было «народопоклонством» «старого» славянофильства. «Он имел мужество освободить религию народности от всяких идеальных прикрас и объявить русский народ предметом веры и поклонения не во имя его проблематических добродетелей, а во имя его действительной силы», – писал о Каткове даже такой противник российского традиционализма, как В.С. Соловьев [21, с. 468]. Для Каткова эта народная сила, на которую он уповал и в которой видел сущность национального духа, проявляется непосредственно и стихийно в самые критические моменты российской истории.

Основной чертой отечественной истории, по М.Н. Каткову, было то, что она постоянно являла отсутствие равновесия сил «движения» и «упора», то есть прогресса и традиции: они всегда действовали порознь. По этой причине все прошедшие преобразования оказались малоплодотворными. «Мы забываем, – писал он, – что наш народ из всех известных народов преимущественно отличается силою упора… Ни один народ так крепко не отстаивал своей старины, ни один народ не оказывал такого упорства в охранении своего обычая; ни один народ не содержит в себе такой силы охранительного начала, как русский» [14, с. 577]. При этом, отдавая дань народным массам, Катков полагал, что главной исторической силой русской государственной жизни было все-таки поместное дворянство – «живая принадлежность русского народа, то сословие его, которое находится в теснейшей связи с его государственной жизнью» [11, с. 52–53]. Подобно Ж. де Местру, он видел преимущество этого класса не в его особых правах, а в полном слиянии его интересов с интересами национально-государственными. Не учитывая разнообразия путей формирования дворянства как на Западе, так и в России, Катков утверждал, что русское дворянство не имеет ничего общего с феодальным дворянством других стран, будучи не побежденным противником монархии, а созданным ею же служивым сословием, открытым всякому посредством государственной службы. По его мнению, «дворянство не есть преграда между Престолом и народом, напротив, оно служит органической между ними связью. Монархическое правление возможно и без дворянства, но тогда оно является грозною, напряженною правящей диктатурой…» [11, с. 46–47]. Русское общество представляло, таким образом, единую, охваченную чувством патриотизма, консервативную силу, которая готова к действию, но до сих пор была лишена этой возможности в силу нарушения диалектического единства противоположных сил.

В рамках темы нации у М.Н. Каткова яркое выражение находит и другая гегелевская идея – о так называемых исторических и неисторических народах. Как и у Гегеля, под народом как субъектом исторического процесса Катковым подразумеваются не любые этнические группы, а только крупные национальные общности (германская, британская и т.п.). Правда, в отличие от Гегеля и других европоцентристов, отечественный мыслитель относит русских к народам, которые обладают особой национальной идеей, выполняют опре-

деленную историческую миссию, участвуя тем самым в самопознании абсолютного духа. Русская национальность для М.Н. Каткова – это мировая национальность, несущая в себе миссию объединения всех славянских народов. Россия, считал он, одна среди славянских государств достигла политического могущества, благодаря ей славянская раса не исчезла из истории [18, с. 484]. «Множество разнообразных племен, населяющих наше отечество, – уверял Катков, – должны вполне, умственно и нравственно, подчиниться русской народности, как подчинены они российскому государству» [8, с. 72]. По его мнению, для этих племен русская народность есть единственный путь к человеческому образованию, а русское слово имеет всемирную силу, служащую прекрасным орудием развития [8, с. 72]. Более того, русификацию народов Азии и Восточной Европы М.Н. Катков считал выражением национальной идеи. По его мнению, «национальная идея не есть случайность; она не есть выдумка «московских демагогов», будто бы как-то навязанная ими правительству, в чем хотят уверить нас известные партии… Те же самые идеи, которые естественно рождаются в настоящее время во всяком здравомыслящем и добросовестном уме, высказывались и за сто лет перед сим и почти в тех же самых выражениях, что и ныне. Не думаете ли вы, что, например, слово обрусение родилось только сегодня?» [8, с. 211]. В подтверждение он ссылался на идеи Екатерины II и правительства Александра I, содержащие предложения о скорейшем обрусении Финляндии, Прибалтики, Украины и других территорий империи.

Единство русских наблюдалось, по мнению М.Н. Каткова, и в собственно этническом аспекте. Осуждая начавший развиваться в 1860-х годах украинский сепаратизм, он писал: «Русская народность несравненно менее, чем какая-либо другая великая народность в Европе, заключает в себе резких оттенков… В России несравненно менее розни в языке, чем где-нибудь, и менее чем где-нибудь рознь эта значительна… Наиболее резкую особенность встретите вы в малороссийском и белорусском говоре. Но почему это? Заселены ли эти места какими-либо особыми народностями, случайно присоединившимися к русской и вошедшими в состав его государства? Нет, здесь искони жил русский народ, здесь началось русское государство, здесь началась русская вера, и здесь же начался русский язык. Здесь впервые родилось историческое самосознание русского народа, здесь явились первые памятники его духовной жизни, его образования, его литературы. Южное и северное, западное и восточное народонаселения России с самого начала сознавали себя как один народ... Но монголы и литва разрознили на некоторое время русские народонаселения, и юго-западная часть нашего народа, подпавшая под польское иго, долго страдала, долго обливалась кровью», но «отстояла себя» [8, с. 143–144]. Выходит, что для Каткова Киевская Русь и Московское государство – это два последовательных этапа в политической истории одного и того же народа. Не заметив никакой разницы в этническом облике населения двух государств, принадлежащих к разным историческим эпохам, он внес в свою концепцию отечественной истории существенный дефект.

Принципиальное отличие, которое стоит между Западом и Россией, М.Н. Катков нашел именно в области высшей государственной власти. «Противоположность между нами и Западом, – утверждал он, – в том состоит, что там все основано на договорных отношениях, а у нас на вере. Такое слияние царя с народом и взаимная их принадлежность друг другу вели к тому выводу, что всякая царская служба была службой государственной и всякая государственная служба – царской, то же самое были и обязанности» [8, с. 41–42]. Он заявлял, что «никто так не ошибается насчет России, как те, которые называют ее демократической страной. Напротив, нет народа, в котором демократические инстинкты были бы слабее развиты, чем в народе русском» [8, с. 41]. «В понятиях и чувстве народа, – подчеркивал Катков, – Верховная власть есть начало священное. Чем возвышеннее и священнее это начало в понятиях и чувстве народа, тем несообразнее, фальшивее и чудовищнее то воззрение, которое хочет видеть в разных административных властях как

бы доли Верховной власти» [8, с. 200]. Самодержавие есть главный результат всемирно-исторической деятельности русского народа. «Монархическое начало, – полагал Катков, – росло одновременно с русским народом. Оно собирало землю, оно собирало власть, которая в первобытном состоянии бывает разлита повсюду, где только есть разница между слабым и сильным, большим и меньшим. В отобрании власти у всякого над всеми, в истреблении многовластия состоял весь труд и вся борьба русской истории» [8, с. 44]. Конституционный строй не подходит России не в силу политической отсталости, а по причине превосходства над Западом. Катков пришел к выводу, что почти все европейские страны были созданы и приобрели свою силу благодаря абсолютной монархии. Конституционное государство есть нечто низшее по сравнению с ней, стадия политического упадка этноса и цивилизации. Так, например, Францию четыре года «полной свободы» привели к самому жалкому анархическому состоянию внутренней и бессильно одинокому положению внешней политики» [16, с. 21].

В данных рассуждениях М.Н. Каткова проступает хотя бы один общественно-исторический закон, который восходит еще к идеям Аристотеля, а в отечественном консерватизме будет впоследствии более четко сформулирован Л.А. Тихомировым. Это закон последовательной смены форм правления – монархии, аристократии и демократии – как фаз (стадий) витков спирали. Согласно ему, в своем развитии цивилизация преодолевает немонархические формы, шлифуя монархию, высшей разновидностью которой выступает российское самодержавие. Отказ от монархии, по мнению Каткова, знаменует собой начало «нового варварства», возвращения к эпохе переселения народов [13, с. 233–234]. В данном заявлении также заметно влияние гегелевской философии истории. Ведь русское самодержавие для Каткова – это то же самое, что прусская монархия для Гегеля, то есть высший и последний этап истории человечества, при котором возможны и оправданы только количественные изменения, любой же качественный переход будет регрессом.

Здесь стоит вернуться к ранее упомянутой гегелевской идее, целиком воспринятой М.Н. Катковым, о том, что гражданское общество может нормально развиваться только в сильном, абсолютистском государстве. Мыслитель исподволь применил ее и к анализу истории России, в контексте дискуссий со славянофилами. Дело в том, что противоположность славянофильскому делению русской истории на «московский» и «петербургский» периоды проявляется у Каткова и в вопросе о самоуправлении. Он решительно не соглашался с тем, что Петр I разрушил прежнее соединение самодержавной власти с самоуправляющимся народом, осуществлявшееся через земские соборы. По его мнению, Петр только укрепил прежние основы, ибо «Русская земля есть русское государство, а русское государство есть Русская земля» [8, с. 399]. М.Н. Катков вообще скептически относился к реальным возможностям общественной автономии в чистом виде (без участия государства), ссылаясь при этом на опыт либеральной Англии, где, если разобраться, речь может идти в тот период не о самоуправлении, а об управлении местных землевладельцев («сельских джентльменов»). И вновь не составляет труда заметить влияние Гегеля, утверждавшего, что «…нигде нельзя найти так мало действительно свободных учреждений, как именно в Англии» [2, с. 453]. В российских земских соборах XVI–XVII веков Катков не видел никакой силы, которая ограничивала бы бюрократию и могла улучшить самодержавие. «Петр Великий не отменял земских соборов… по той простой причине, что такого учреждения вовсе не имелось. Земские соборы никогда не были учреждением. Они созывались случайно… и все они наперечет… Мы не видим, почему полагают, что со времен Петра Великого произошел в этом отношении перерыв» [8, с. 408–409]. Мыслитель полагал, что и до Петра, и после него в России был реализован гегелевский идеал: абсолютистское государство защищает сферу гражданских отношений.

Не желая разделять мир веры и мир политики, отсчет российской политической истории М.Н. Катков фактически начинает с принятия православия и утверждает историческую преемственность России по отношению к Византии: «Русский царь есть более чем наследник своих предков: он преемник Кесарей восточного Рима, устроителей Церкви и ее Соборов, установивших самый символ христианской веры. С падением Византии поднялась Москва и началось величие России. Вот где тайна той глубокой особенности, которой Россия отличается среди других народов мира» [8, с. 43]. Причем место «павшей Византии» российское государство «заслужило» «по изволению Промысла» [15, с. 833]. Вообще Катков весьма часто обращался к идее божественного происхождения российского самодержавия как неотъемлемой естественно-органической части русской жизни, ее главной национальной традиции, не стесняясь подчас использовать «аргументы», родившиеся в XVII–XVIII столетиях, а то и в Средние века. Так, для него «Русский Царь есть не просто глава государства», он является помазанником Бога [17, с. 228], исторический долг которого заключается в поддержании неограниченной власти. По существу, он открыто озвучил идею божественного промысла как основы всей политической истории, в том числе российской.

Развитое в немецкой классической философии учение о существенной роли религии в процессе общественного, в том числе национального, развития в тех или иных вариантах затем было подхвачено русской философией. Так, Гегель при анализе европейской истории Нового времени, точнее, причин того, что Германия избегла революционных потрясений, подобных французским, стремился превознести германский протестантизм, вступивший, по его мнению, в союз с просвещением (в отличие от французского католицизма), так что в результате «в Германии все в светских делах уже было улучшено благодаря реформации: такие пагубные институты, как обязательное безбрачие, бедность и леность уже были отменены, не существовало никакого мертвого богатства церкви и никакого направленного против нравственности принуждения, являющегося источником и причиною пороков; не существовало ни той невыразимой несправедливости, которая возникает благодаря вмешательству церковной власти в светское право, ни другой несправедливости, выражающейся… в произволе государей…» [2, с. 445]. По Каткову же, борьба за истребление многовластия в России оказалась успешной во многом благодаря особому характеру православной церкви, которая отреклась от земной власти и никогда не вступала в соперничество с государством, а следовательно, «не внесла в нашу жизнь начала двоевластия, которым определяется история Запада и в котором заключается все его отличие от Востока» [17, с. 249]. «Русский народ не может изменить Православной Церкви; в ней душа его, в ней святыня его народности. В ней он возрос, в ней он воспитан, ею утверждена его самостоятельность, и в ней вся его будущность» [14, с. 423]. По его мнению, христианство настолько вошло в плоть русского народа, что «между Евангелием и русской натурой есть какое-то соответствие (conformite), и даже трудно решить, что принадлежит собственно вере и что – народному темпераменту» [8, с. 483]. Русские принадлежат к числу немногих народов, которые «сохранили идею святости; это высокое чувство, столь чуждое народным массам Запада, у русских стало народным и живым вместе со всем, что оно имеет высокого и необычного у нас» [8, с. 483].

Таким образом, философско-исторические идеи М.Н. Каткова представляли собой весьма устойчивую в содержательном плане, хотя и не сконцентрированную систему, возникшую как результат творческого применения наследия немецкого идеализма классического периода, в первую очередь философии Г. Гегеля, к актуальным на то время проблемам российской действительности. Катков не только напрямую использовал целый ряд моментов гегелевской концепции, но и воспринял «дух» философии истории великого немецкого мыслителя. Здесь прежде всего имеется в виду методология исследования, отличительными чертами которой явились субъективизм диалектического анализа исторического процесса (так

что гениальные догадки сочетались с историческим мифотворчеством), а также понимание исторического развития как единства динамики государственного, религиозного, социально-гражданского и этнического начал. Соединение же основанных на наследии Гегеля построений с идеями и принципами, выработанными отечественной консервативной философией, по существу, превратило концепцию Каткова в историческое средство обоснования русского государственного (политического) национализма, где важнейшими являются следующие положения: 1) основное содержание истории общества составляет единая эволюция духовной культуры и политической организации; 2) Провидение, непостижимое человеком до конца, выбирает определенные народы и регионы для внесения вклада в развитие основных форм культуры и распространения новаций на основе самопознания и раскрытия заложенной самобытности; 3) относительный исторический прогресс в основном обеспечивается культурной преемственностью крупных монархических государств, ибо только монарх в принципе способен выразить волю Провидения; 4) политическая эволюция Западной цивилизации в направлении отхода от абсолютизма – это свидетельство ее кризиса, что в свою очередь предоставляет России исторический шанс стать проводником божественной воли в деле нравственного совершенствования земного бытия человечества.

Литература

1. *Брутян А.Л.* Социально-политические взгляды М.Н. Каткова: дис. … канд. полит. наук / 23.00.01. М., 1999. 147 с.
2. *Гегель Г.* Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000. 477 с.
3. *Едошина И.А.* Катков как мыслитель // Литературоведческий журнал. 2013. № 32. С. 74–92.
4. *Кантор В.К.* М.Н. Катков и крушение эстетики либерализма // Вопросы литературы. 1973. № 5. С. 174–212.
5. *Катков М.Н.* Виды на entente cordiale с «Современником» // Русский вестник. 1861. Т. 34. № 7. С. 60–94.
6. *Катков М.Н.* Заметки // Современная летопись. 1857. Январь. Кн. 1. С. 2–14.
7. *Катков М.Н.* Заслуга Пушкина // Русский вестник. 1899. Т. 261. Кн. 5–6. С. 403–409.
8. *Катков М.Н.* Имперское слово. М.: Москва. 2002. 503 с.
9. *Катков М.Н.* К какой принадлежим мы партии // Русский вестник. 1862. Т. 38. № 2. С. 840–842.
10. *Катков М.Н.* Кое-что о прогрессе // Русский вестник. Литературное обозрение и заметки. 1861. Т. 35. № 10. С. 107–127.
11. *Катков М.Н.* О дворянстве. Москва.: Печ. А.И. Снегиревой, 1905. 63 с.
12. *Катков М.Н.* Песни русского народа, изданные И. Сахаровым. Критика // Отечественные записки. 1839. Т. IV. Отд. VI. С. 1–92.
13. *Катков М.Н.* Русская сельская община // Русский вестник. 1858. Сентябрь. Т. 17. Кн. 1. С. 228–246.
14. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1863 год. М.: Изд-во С.П. Катковой, 1897. 785 с.
15. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1872 год. М.: Изд-во С.П. Катковой, 1897. 838 с.
16. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. М.: Изд-во С.П. Катковой, 1898. 632 с.
17. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1883 год. М.: Изд-во С.П. Катковой, 1898. 627 с.
18. *Катков М.Н.* Что нам делать с Польшей // Русский вестник. 1863. Т. 44. С. 465–508.
19. *Осипов И.Д.* Аксиология российского консерватизма // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России (от истоков к современности). Вып. 1. СПб., 2004. С. 106–118.
20. *Полякова Н.В.* Ж. де Местр и политическая философия русского консерватизма второй половины XIX в. (М.Н. Катков, Ф.И. Тютчев): дис. … канд. филос. наук / 09.00.10. СПб., 1996. 212 с.
21. *Соловьев В.С.* Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1989. 688 с.
22. *Твардовская В.А.* Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Катков и его издания). М.: Наука, 1978. 279 с.
23. Т*ютчев Ф.И.* Россия и Запад. М.: Институт русской цивилизации, 2011. 592 с.
24. Философия Шеллинга в России / под общ. ред. В.Ф. Пустарнакова. СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. 526 с.
25. *Чернавский М.Ю.* Консервативная и либеральная интерпретация гегелевской диалектики в русской политической философии // Вестник Московского университета. Сер. 12. 2008. № 4. С. 63–76.

Аннотация. Статья посвящена реконструкции философско-исторических воззрений М.Н. Каткова на основе анализа его публицистических работ конца 1830-х – 1880-х годов. Устойчивость и упорядоченность историософского мировоззрения Каткова были обусловлены приверженностью основным постулатам и методологическим принципам философии истории Г. Гегеля. Творческий характер интерпретации М.Н. Катковым гегелевского учения был направлен не только на обоснование незыблемости и закономерности сословно-абсолютистской системы, но и на формирование образа России как зрелого, прошедшего все стадии диалектического развития цивилизационного субъекта – носителя всемирной исторической миссии.

Ключевые слова: философия истории, консерватизм, российская цивилизация, гегельянство, органическое развитие, диалектика, государственный национализм.

Igor N. Tyapin, PhD in Philosophy and History, Professor, Department of Philosophy, Vologa State University. E-mail: i.n.tyapin@mail.ru

The Interpretation of G. Hegel's Doctrine in the Philosophical and Historical Conceptions of M.N. Katkov

Abstract. The article is devoted to the reconstruction of the philosophical and historical views of M.N. Katkov on the basis of the analysis of his publicism in 1830s–1880s. The stable and ordered views of Katkov on the philosophy of history were mainly explained by his commitment to the core postulates and methodological principles of Hegel's philosophy of history. The creative nature of Katkov's interpretation of Hegel's doctrine was aimed not only to justify the inviolability and regularity of the class-absolutist system, but also to form the image of Russia as the mature civilization subject that had passed all the stages of dialectical development, and represented the world historical mission.

Keywords: Philosophy of History, Conservatism, Russian Civilization, Hegelianism, Organic Development, Dialectics, State Nationalism.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-48-58

Михаил Чернавский

Русская историософия М.Н. Каткова: опыт диалектического консерватизма

Проблема философских оснований политических идеологий продолжает оставаться ключевой в процессе сущностного анализа социально-политической мысли. В свою очередь, вопрос о том, что выступает скрытой пружиной социального развития, как происходит возникновение нового социального качества – является одной из главных проблем, стоящих перед всеми политическими идеологиями. Данный вопрос вписывается в более общую проблему о взаимосвязи старого и нового, неизменности и изменений, традиций и новаций.

Политические идеологии вобрали в себя различные модели исторического развития. Либерализм ориентируется на физико-механистическую модель исторического прогресса, которая предполагает строго детерминированное развитие от менее совершенных к более совершенным социальным формам. Консерватизм в целом солидаризируется с христианской доктриной инволюции как исторической деградации человеческой природы, предполагающей «второе пришествие» и «конец времен». Революционные идеологии взяли на вооружение диалектический метод с его идеей возникновения нового социального качества как революционного «снятия» предыдущих социальных форм, насыщенных противоречиями, которые перешли в стадию антагонистических противоположностей. Переориентация естественнонаучной картины мира с физики на биологию породила широкое использование моделей социального биологизма как в консерватизме, так и в национализме.

Гегельянство в России

В истории идеологий просматриваются попытки творческого развития методологической базы идеологий, в частности, русская консервативная мысль на волне увлеченности философией Г.В.Ф. Гегеля породила феномен диалектического консерватизма. Диалектическое представление о динамике исторических изменений предполагает, что развитие есть плод постоянной борьбы противоположностей, постоянное «движение вперед от несовершенного к более совершенному». Причем несовершенное есть «нечто такое, что в то же время содержит в себе свою собственную противоположность, так называемое совершенное как зародыш, как стремление». В процессе развития противоречивое единство раздваивается на противоположности, борьба и столкновение между которыми ведет к «снятию» противоречия, благодаря чему происходит «жизнь настоящего духа», представляющая собой «кругообращение ступеней». В процессе развития дух «с одной стороны,

Чернавский Михаил Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры «Общественные процессы, СМИ и рекламные технологии» Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). E-mail: chernavsky14@mail.ru

разрушает определенность своего бытия, с другой стороны, постигает его общее начало и благодаря этому дает своему принципу новое определение» [1, с. 105, 125, 124].

По мысли немецкого философа, развитие характеризуется стадиями тезиса («абстрактная, или рассудочная сторона»), антитезиса («диалектическая, или негативно разумная сторона»), синтеза – («спекулятивная, или позитивно разумная сторона»). Развитие «исходит из самого себя, из внутреннего неизменного принципа, из простой сущности, существование которой как зародыша сперва оказывается простым, но затем благодаря его развитию в нем появляются различия, которые вступают во взаимодействие с другими вещами, и таким образом в них происходит состоящий в непрерывных изменениях жизненный процесс» [1, с. 103-104.].

Исходя из крайне этатистского представления о том, что «государство – это мир, созданный духом для себя» [2, с. 310], Гегель наделяет понятие монарха «субстанциальным единством», которое «состоит в том, что оно не выведено, а полностью н*ачинающееся из себя*» [2, с. 320]. Монарх есть синтезный выразитель противоположных начал всеобщего (государственного) и особенного (социально-группового). Власть государя рассматривается как содержащая в себе «три момента тотальности»: «*всеобщность* государственного устройства и законов»; «совещание в качестве отношения *особенного* ко всеобщему» и «момент последнего *решения* в качестве самоопределения, к которому возвращается все остальное и от которого оно берет начало действительности» [2, с. 316]. Групповые различия и разнонаправленность социальных интересов «отдельных сословий, властей и корпораций» объединяются внутри государственного целого, венчаемого монархом. В целях иллюстрации своей мысли Гегель говорит, что с социальными группами дело обстоит так же как «с желудком в организме; он также полагает себя для себя, но одновременно снимается, приносится в жертву и переходит в целое» [2, с. 316].

Философский метод Гегеля, а именно идея революционного «снятия» противоположностей и поиск внерелигиозных начал власти и государства, дистанцировала от немецкого философа консервативных и привлекла к нему революционно настроенных мыслителей. Затем, на этапе развития своей системы, с надеждой глядя на деятельность прусского короля Фридриха Вильгельма III, Гегель абсолютизировал институт прусской конституционной монархии как высший этап в развитии принципа свободы. Тем самым немецкий философ продемонстрировал консервативную направленность своей системы, что привлекло на его сторону определенную часть консервативно настроенных (как правило, теологически ангажированных) мыслителей.

Практически сразу после смерти Гегеля в 1831 году его философское наследие интерпретировалось с позиций, которые условно можно обозначить как консервативная и либерально-революционная. Консерватизм заостряет внимание на гегелевской системе, которая предполагает неминуемое завершение развития в высшей точке, в которой «абсолютная идея познает саму себя» и чему в общественно-политическом развитии человечества соответствует, по Гегелю, прусская монархическая система. Либеральное и революционное сознание акцентирует внимание на методе в гегелевской философии, который носит реформаторско-революционный характер, предполагая появление нового социального качества в результате снятия противоречий в рамках старой общественной системы. Данный тезис согласуется с одним из главных либеральных принципов о поступательном развитии истории от низших ступеней к высшим. Философское наследие Гегеля в преломлении к западной общественно-политической мысли получило, как принято считать, правую, консервативную, и левую, революционную, интерпретации. Под влиянием политической лексики времен Великой Французской революции Давид Штраус классифицировал гегельянцев на правых и левых. К правым гегельянцам относят К.Ф. Гёшеля, К. Конради, И.Э. Эрдмана, Г.А. Габлера, К. Дауба, К.Л. Михелета, Ф.К. Мархайнеке, К. Фишера. К лево-

му гегельянству причисляют Б. Бауэра, Д.Ф. Штрауса, М. Штирнера, Л. Фейербаха, А. Руге, К. Маркса.

Отголоски консервативного, либерального и революционного подходов к пониманию гегельянства не просто присутствовали в русской философской мысли, но и составляли идейный стержень, своеобразную отправную точку практически всех политико-философских концепций XIX века. Русская политическая мысль в зависимости от своих идеологических установок акцентировала внимание на тех или иных составных частях гегелевской диалектической триады. Социалистическая и коммунистическая политическая мысль делала акцент на идее революционного снятия тезиса антитезисом, рассматривая социальную революцию как необходимый элемент социального прогресса.

Политические экстраполяции идей Гегеля в России явились следствием распространения идей европейского рационализма, завершающим и самым ярким звеном в развитии которого стала гегелевская философия. Политические «превращения» диалектики Гегеля подкреплялись верой в то, что мир политики есть некая систематизированная, упорядоченная целостность, характер устройства и принципы развития которой являются прозрачными, принципиально постижимыми для человеческого разума.

Иллюстрацией возможности использования диалектического метода Гегеля в радикальном, принципиально антиконсервативном духе может служить политическая философия К. Маркса, послужившая основой для революционно-социалистической интерпретации гегелевской диалектики (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Идеологи анархизма исходили из ценности диалектического отрицания, трактуя его крайне позитивно как необходимое разрушение прежнего государственного строя, основанного на насилии и деспотизме, с последующей перспективой образования свободных общественных ассоциаций (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин).

Сторонники «консервативного прочтения Гегеля» в русской общественной мысли абсолютизировали момент диалектического «синтеза», рассматривая самодержавную монархию как высшее проявление русской истории. В наиболее последовательной форме экстраполировать гегелевские идеи в плоскость философии русского консерватизма удалось М.Н. Каткову.

Гегельянская историософия русского консерватизма

Михаил Никифорович Катков (1818-1887) является одной из самых значительных консервативных фигур России второй половины XIX столетия. Львиную долю творческого наследия М.Н. Каткова составляют статьи «на злобу дня», характеризующие частные, эмпирические вопросы политико-культурного и социально-экономического развития России. Однако русский публицист сформулировал и философские основы своих социально-политических воззрений. Речь идет прежде всего о статье «Песни русского народа» (1839), а также о ранних статьях Каткова в журналах «Отечественные записки», «Русский вестник», «Современная летопись», «Московские ведомости», где в самом общем виде были обозначены его философские взгляды. Политическая же позиция Каткова окончательно выкристаллизовалась в консервативном ключе, задав тон всей его публицистике в цикле статей 1863 года, публиковавшихся в редактируемой Катковым газете «Московские ведомости».

Статья Каткова «Песни русского народа» появилась в 1839 году. В ней достаточно молодой публицист обозначил свои взгляды по всем ключевым философским вопросам, а именно – изложил свое понимание общественного развития, идею о специфике России, мысли о характере формирования русского государства, затронув также вопрос о сущности власти. Статья производит впечатление достаточно зрелой в философском плане работы, написана она была «по горячим следам» полученного Катковым европейского образования и

в связи с этим пестрит заимствованиями из концепций ряда европейских философов, прежде всего Г.В.Ф. Гегеля. Главная мысль статьи заключается в приложении к анализу генезиса народной жизни системы развития Гегеля. Однако наряду с прямыми идейными заимствованиями Каткову удалось не только консервативно интерпретировать гегелевскую философию, но и высказать ряд положений из арсенала консервативной мысли.

Общефилософские взгляды Каткова вытекают из его понимания процесса развития, которое характеризуется русским публицистом как раскрытие, развертывание того, что «сжато и сосредоточено в безразличном единстве», причем развитию подвержено только то, что уже «дано непосредственно как сущность предмета», то есть происходит определение отдельных частей, составляющих «сущность предмета» [3, с. 11, 12]. Причем сущность растения скрыта в семени, а значит, «качеством семени определяется и качество самого растения» [3, с. 11, 12]. Проявление сущности – начальная стадия развития, «самая непосредственная ступень развития, в которой заключаются все последующие ступени» [3, с. 11, 12]. Сущность есть «зерно», в котором кроются все те части, которые постепенно выводятся развитием, «пока не истощится их запас, пока то, что существовало идеально, не проявится во всей полноте, не станет действительным предметом» [3, с. 12]. При этом между сущностью предмета, предположим, растения, и самим предметом, то есть растением, «такое же отношение, какое между семенем растения и самим растением» [3, с. 12].

Катков исходит из традиционного для консервативного сознания принципа о доминировании целого над частью. С точки зрения русского публициста, в каждом отдельном предмете части, «составляющие его и единство этих частей, связующее их в одно целое, соприкасаются взаимно и взаимно друг друга условливают» [3, с. 11]. Под единством частей живого существа Катков понимает живой, целостный «организм», а следовательно, стремление разрушить единство предмета равносильно рассыпанию его на части, то есть его умертвлению [3, с. 11].

Экстраполируя принципы развития органического мира на закономерности индивидуального и социального развития, Катков отмечает, что своеобразным семенем, ядром развития народа, его сущностью является народный дух. Причем если, по мысли Гегеля, развитие есть процесс самосознания абсолютной идеи, что на социальном уровне последовательно выражается в стадиях семьи, гражданского общества и государства, то, по мнению Каткова, народ в своем развитии тоже проходит три стадии: *семейные отношения*, то есть природно-естественное, примитивное состояние жизни народа, при котором люди «слиты с природой» и руководствуются «животными ощущениями» [3, с. 17]; *общественные отношения*, когда зарождается «духовный организм» будущего народа [3, с. 12]; и *духовная деятельность* – высшая форма бытия народа, при которой жизнь народа «обращается на самую себя», происходит народное созерцание жизни и мира, появляются наука, мифология и поэзия [3, с. 13]. В народе на этом этапе развития пробуждается «самосознательный и свободный дух», народ становится «сосудом божественного слова», он стал способен «принять в себя откровение божества», быть «проявителем той идеи, для коей призван в мире» [3, с. 13]. Катков характеризует эту стадию по-гегельянски, считая, что на этом этапе дух становится «совершенно свободным, отрешенным от всех цепей, абсолютным: здесь существо его светло и прозрачно, здесь он углубляется в бесконечность своего существа и блаженствует ею» [3, с. 16].

Катков подчеркивает крайне важную для консервативной философии мысль о связи индивидуального развития человека и социального развития народа, при котором индивиду, как и народу, свойственно чувство «особенности, стремление к независимости и самостоятельности» [3, с. 18], когда людьми движет «инстинктивное сознание того, что сокрыто в тайниках их существа» [3, с. 42]. В народе начинает проявляться его самобытно-субъективный дух, что вы-

ражается в появлении общественного сознания, выливается в формы самобытной социальной жизни и, как результат, приводит к возникновению «разумного государства» [3, с. 18].

Но кроме гегелевского шаблона в статье просматриваются мотивы позднейшей деятельности Каткова как публициста, то есть консервативная составляющая его взглядов. В статье он мимоходом обрисовал картину русской истории, которая видится ему как процесс самопознания русского народа. Из небытия и мрака русской истории силами народа вырастает солнце монархии, то высшее, что удалось создать народу в ходе своего внутреннего духовного развития. Далее Катков заявляет, что монархия есть высшая форма духовной деятельности человека. «Солнце озарило дивное зрелище, озарило дивную монархию, какой еще не видало человечество. Откуда, как возникла она? Каким чудом так внезапно, так неожиданно из хаоса и мрака явился этот исполинский организм, атлетически сложенный, раскидавшийся своими мощными членами во все концы мира? Каким чудом, вдруг, без труда и развития, сочленилось и образовалось это ужасающее своим громадным объемом целое» [5, с. 27–28]. Однако это целое появилось в результате тяжкого труда и длительного развития. На создание монархии был направлен весь ход русской истории: «Все дело русской истории состояло в постепенном заготавливании и потом в постепенном сооружении из этих материалов великого здания» [5, с. 28].

Провозгласив самодержавие делом рук народа, Катков создает панегирик русскому народу, величайшая историческая заслуга которого состоит в создании самодержавия: «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто будет жаловаться, что он во все время своего продолжительного существования ничего не совершил, ничего не породил?.. Разве ничего не значило породить эту неодолимо-мощную и внутри и вне, эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, ее создавшего? Какое государство, укажите, может сравниться с нею по объему и могуществу, и по изумительной силе ассимилирования?» [3, с. 36]. Отсюда Катков делает вывод, что творческий потенциал находится теперь только у самодержавия, которое европейской культурой благодаря деяниям Петра Великого вдохнуло жизнь в огромный государственный организм, созданный народом, а это значит, что никакой борьбы и сопротивления против такого «полезного» государства быть не может.

Петр Великий, по мысли Каткова, начал собой новый, светлый период русской истории. Россия в подлинном смысле слова возникает только с Петра, только с Петра русский народ стал нацией, одним из представителей человечества. Именно с деятельностью Петра в организм русского народа вошли высшие духовные интересы. До Петра же «у нас не было ни искусства, в собственном смысле этого слова, ни науки» [3, с. 8].

Представления Каткова о природе и происхождении российской монархии строятся на анализе истории Рима, Византии, Киевской, Московской и Петровской Руси. Консервативно-монархические воззрения русского публициста вбирают в себя теорию Филофея «Москва – третий Рим» и триаду С.С. Уварова «Православие, самодержавие, народность». Идея самодержавной монархии была, по Каткову, во всей полноте юридической основы первоначально выработана в Риме. Весь республиканский период Римской истории был посвящен тому, чтобы в отдельности вырабатывать до полного совершенства все специальные органы государственной власти, которые затем соединились в руках императора в одно гармоническое целое.

Однако этому материальному целому не доставало живительного духа, не доставало христианства. Лишь в Византии римское самодержавие стало самодержавием православным, оно было одухотворено тесным союзом с Церковью Христовой. Таким образом, в Византии самодержавие достигло полного юридически-церковного совершенства. Союз самодержавия с православием является основным отличием русского самодержавия от западного абсолютизма. Уже в Риме наметился разрыв светской и духовной власти. Римская церковь весьма рано

стала проявлять свои притязания на чисто светскую власть. Наступил разрыв между первосвященником и императором. В Средние века в Византии союз самодержавия с церковью крепнет, а когда по различным причинам наступает период падения Византийской империи, идея православного самодержавия передается во всей ее чистоте вместе с христианством в Киев.

Идее православного самодержавия, выработанной в Византии, не доставало, однако, подходящей народной почвы для полного ее практического осуществления. Почва эта дана была ей в России. Здесь идея православного самодержавия получает новую жизнь благодаря тому, что она осуществляется уже не на почве одряхлевшего эллинизма, а на девственной почве русского народа, тонким чутьем своим понявшего истинную сущность православного самодержавия и создавшего в течение веков вместе со своими святителями, князьями и царями самобытное Русское государство. Это государство, закалившись в тяжкой борьбе с восточными и западными врагами, возросло ныне в могущественную и несокрушимую Российскую империю.

Множество народов России, говорящие каждый на своем языке и имеющие свои обычаи, чувствует свое единство с Россией в единстве верховной власти. Власть царя, по Каткову, является цементирующей основой Российского государства. Русский народ так глубоко усвоил сущность идеи православного самодержавия, что научная система ее, в начале недоступная его простому уму, впоследствии стала для него излишней. Римское самодержавие, византийское православие и русская народность соединились в одно гармоническое, неразрывное целое, но произошло это не сознательным, а стихийным, инстинктивным путем.

В то время как западные государственные идеи были облечены в стройную, цельную и наукообразную форму, русская государственная идея не была выражена в готовой научной форме, что приводило к мысли о ее полном отсутствии. Однако существование идеи русской государственности скрыто в инстинктивных чувствах народа, а научные формы, доступные человеческому рассудку и разуму, менее понятны народу, а значит, в них нет никакой надобности.

При этом именно русский народ, по мнению Каткова, всегда был силен своим патриархальным духом, своею единодушною преданностью монарху, чувством своего безусловного, абсолютного единства с царем, а значит, политически самый зрелый народ – русский, так как идея самодержавия изначально заложена в его сознании. Отсюда следует вывод, что России необходимо дорожить неограниченным единодержавием своих царей как основной причиной достигнутого ею государственного величия и рассматривать самодержавие как залог своего будущего преуспевания.

Единодержавие оказалось столь благотворным для России, так как оно и само по себе, и в глазах всего русского народа находилось в единении с православной церковью. Поэтому царь должен быть не только самодержавным, но и православным в высшем, религиозном значении этого слова. Только в этом случае он может составлять одно духовное целое со своим народом, органически сливаясь с ним и составляя неотъемлемую часть его, как голова составляет часть человеческого тела.

Польский вопрос и идея самодержавия

Обозначенные философско-политические взгляды Каткова нашли свое практическое выражение в его публицистике 1863 года – года наибольшей славы Каткова, принесшей ему известность не только в России, но и на Западе. 1 января 1863 года Катков вторично начал редактировать «Московские ведомости», а 10 января в Польше произошло вооруженное нападение на русские войска, послужившие сигналом к общему восстанию. С первых дней вооруженного мятежа «Московские ведомости» и другие издания Каткова («Русский вест-

ник», «Политические обозрения») заняли предельно четкую позицию, выступив против каких бы то ни было уступок восставшим, против какого бы то ни было расширения их политических и национальных прав. При этом если раньше в статьях Каткова встречались мысли о правах народностей на самостоятельное развитие, то теперь Катков доказывал, что право народности на самостоятельность только потому, что она – народность – есть предрассудок, поскольку далеко не все народы способны управлять сами собой.

Другие газеты высказывались по поводу польского мятежа довольно неопределенно или вовсе безмолвствовали. Обсуждение польских событий считалось запретным плодом. Катков же находился в исключительном положении, что позволяло ему безбоязненно высказываться в патриотическом ключе. Голос Каткова был одинок, однако в качестве голоса независимой печати, выступившего с необычайной смелостью в обсуждении вопроса первостепенной государственной важности, не мог не произвести впечатления как в самом обществе, так и в правительственных сферах.

Общественный резонанс катковских статей по польскому вопросу был вызван также тем, что Польша в значительной части русского общества внушала к себе сочувствие. На Польшу как часть Европы смотрели в качестве обновителя русской жизни, с Западом традиционно были связаны симпатии русских либеральных интеллигентов. Польша представлялась до некоторой степени представительницей начал западной жизни. При таком настроении общественного мнения польское восстание истолковывалось как справедливое стремление к свободе. Даже правительство колебалось в своих решениях относительно проводимой по отношению к Польше политике и долгое время, еще до восстания, надеялось предупредить возможные выражения недовольства мирными средствами с опорой на механизм политических соглашений.

Подобная политика дала повод сепаратистски настроенным полякам надеяться на восстановление стародавней Польши. Но в правительственной среде и особенно между администраторами, близко знакомыми с тогдашним настроением умов в Польше, существовали сильные сомнения относительно благотворного влияния примирительных мер. Поэтому после того, как в Польше вспыхнул вооруженный мятеж, когда поляки предприняли попытку обезоружить и вырезать русские войска, лица, настаивавшие на необходимости решительных и жестких мер, приобрели как влияние в правительстве, так и поддержку в глазах общества, в котором пробудилось патриотическое чувство.

Именно в этот момент Катков заговорил в духе патриотизма: «Кровь опять льется в семейном споре двух братских племен, соединенных под одним скипетром. Теперешний взрыв будет иметь для нас последствия грозы, очищающей атмосферу. Но что будет с Польшей? Здравый смысл показывает, что не Царство Польское нужно России, а Россия нужна Царству Польскому. Только в соединении с Россией может оно сохранить свою национальную самостоятельность» [4, с. 33]. Сначала Катков обсуждает польский вопрос с достаточно умеренных позиций. Так, он признает за Польшей право на самоопределение, но только в соединении с Россией. 14 января Александр II на воскресном разводе Измайловского полка заявил: «Я не хочу обвинять в том весь народ польский, но вижу во всех этих грустных событиях работу революционной партии, стремящейся повсюду к ниспровержению законного порядка» [4, с. 37].

Катков же более глубоко вскрыл причины мятежа, признав мятеж результатом воздействия идей польского патриотизма, и именно в патриотизме проявляется сила поляков. Но патриотизм этот особого рода, он носит характер страсти, и потому он слеп, в этом его несчастье, слабость и несостоятельность. Катков справедливо указывает на то, что большинством поляков завладел псевдопатриотизм под влиянием революционной партии. Этот псевдопатриотизм увлек за собой большинство народа. Голос же высокообразованных поляков, не подверженных влиянию, бессилен [4, с. 59]. Несостоятельность польского

патриотизма проявляется также в том, что он лишен нравственности, суть которой такова: «каждый подданный обязан жертвовать своею жизнью за отечество» [4, с. 60].

Правило это распространяется и на народы, составляющие единое государство. Русский же патриотизм – нравственен, так как главным для русского народа является готовность жертвовать всем ради сохранения государства. Создание польской народностью своего государства подорвет не только российскую государственность, но и принесет несчастье польскому народу, так как, «по удачному выражению Гизо, Польша постоянно служила средством для других государств, но не была целью» [4, с. 113]. А так как Польша никогда не займет в Европе место России, она никогда не сделается великой державой во многом из-за противодействия европейской дипломатии, которая сейчас оказывает ей посильную помощь в установлении собственной независимости, то «не выгоднее ли полякам отложить несбыточные надежды на Европу и чистосердечно помириться с нами, как с теми из своих соседей, которые менее других опасны для их национальности?» [4, с. 114].

В случае получения Польшей части политических прав она попытается восстановиться в прежнем объеме Польского королевства, что приведет к катастрофе для польской нации ввиду противодействия этому процессу со стороны России и западных держав. Более того, по мнению Каткова, попытки Польши добиться выхода из состава России приведут к утрате последней статуса великой державы. С восстановлением военно-политической самобытности Польши Россия перестанет быть и европейской державой и станет державой азиатской. Интересно, что, как заметил сам Катков, подобная мысль прозвучала на заседании французского сената 17 марта: «Россия вмешивается в чуждое для нее политическое движение, которое отвлекает ее от развития своей деятельности в другой части света – в Азии» [4, с. 115–116]. Отсюда следует вывод русского публициста, что если иностранцы восхищаются подобными предположениями, и они в какой-то мере основательны, значит русский народ «не может допустить и мысли о полном восстановлении польской конституции 1815 года» [4, с. 115–116].

Таким образом, Катков стремился обосновать мысль о том, что дарование Польше самостоятельности будет гибельно для польского народа и повлечет за собой гибель для России: «Хотим ли мы удовлетворить нынешним притязаниям польского патриотизма и пожертвовать ему существованием России? В таком случае надобно нам выводить из Царства Польского войска, отступать все далее и далее к Уральскому хребту и готовиться к мирной кончине. Всякое наружное угождение национальному чувству в Царстве Польском станет гибелью и для Польши, и для России» [4, с. 177]. Это значит, что существующая ситуация выгодна только Западным странам, которые осуществляют дипломатическое вмешательство во внутренние дела России в целях лишения ее статуса великой державы.

31 марта был обнародован царский манифест, в котором подтверждалась неприкосновенность уже дарованных Польше учреждений, равно как и намерение правительства приступить к их дальнейшему развитию, то есть «все остается так, как будто бы ничего и не было: реакции нет, но нет и унизительных и пагубных для России уступок». Далее Катков призывает показать Европе, в каком единственном смысле русское чувство понимает этот манифест и предупредить иные толкования» [4, с. 151–152].

В таком ключе Катков рассуждал до первой половины апреля, но затем в его рассуждениях вдруг произошел перелом в сторону радикализации взглядов. Он начинает высказываться за жесткие репрессивные меры в отношении Польши и превращается в ярого проповедника установления диктатуры. Еще вчера он высказывался за сохранение национальных прав и советовал относиться по возможности снисходительно к родственному народу, вовлеченному в мятеж революционными элементами. Сегодня же он вдруг изменяет тон и требует самых крутых мер по отношению к тому же родственному народу. Дело в том, что 17 апреля в первый раз выяснилось, что Муравьев будет назначен на важный пост

в восставших губерниях. 1 мая Муравьев становится Виленским генерал-губернатором. Это назначение ознаменовало собой коренную перемену в правительственной системе. После этого назначения Катков становится горячим сторонником подавления восстания железной рукою.

Летом 1863 года окончательно созрел план коренных законодательных и административных реформ по отношению к Польше. Главное внимание было направлено на установление такого политического и социального строя, который в будущем предотвращал бы возможность новых потрясений. Катков получил возможность ссылаться на конкретный пример образцовых, с его точки зрения, действий по усмирению повстанцев. К тому же русский публицист утверждал, что в Польше необходимо прекратить параллельное существование гражданских и военных властей и установить на время мятежа военную администрацию, которая покончит с восстанием.

Катков критикует нерешительность действий и указывает на то, что подобная политика может привести Россию к полномасштабной европейской войне: «Быть или не быть войне, это зависит от того, будет или не будет в скором времени прекращен мятеж в Царстве Польском» [4, с. 177]. При этом сама возможность войны во имя целостности Российской империи публициста нисколько не пугает, более того, он всерьез рассматривает такую войну как возможный вариант развития событий: «Война – несчастье, которое нельзя накликать на себя, но от которого бегают только народы вырождающиеся» [4, с. 233].

Катков различает два типа войны. Первая ведется открыто и честно, вторая ведется подземными кознями, революциями и мятежами, хотя внешне она выражается в форме благовидной дипломатической переписки. Русский публицист нисколько не сомневается, что русский народ предпочтет первый вид войны [4, с. 232]. Поступающие в огромном количестве патриотические заявления от граждан с выражением поддержки позиции Каткова по польскому вопросу послужили основанием для его утверждений о том, что общество подняло голову и готово защищаться в тот момент, «когда придут грабить его дом и резать его детей» [4, с. 235–236]. Статьи Каткова этого периода проникнуты решимостью встретить врага, опираясь на силу народа и силу армии, которая вооружена лучше, чем когда-либо. «Стоит только взглянуть на лица наших солдат, – отмечает публицист, – чтобы успокоиться духом». Вся беда России и русских, по мысли Каткова, состоит в том, что «мы слишком привыкли считать себя слабыми и сами не ценим наших сил по достоинству» [4, с. 235–236].

Касаясь отношений с западными странами, Катков еще более резко настаивает на том, что польский вопрос – внутреннее дело России и вмешательство в него иностранных держав стало бы нарушением всех международных норм, в частности, положений Венского трактата, по которому постановляется неразрывная связь Царства Польского с Россией. Так, Катков достаточно резонно замечает: «Возможно ли было бы обращаться к Англии по поводу Ионических островов, которые постоянно были недовольны своим положением, – возможно ли было бы обращаться к Англии даже с самыми вежливыми запросами об этих островах, даже с самыми учтивыми советами как устроить их, хотя Венский трактат давал другим державам большее право на это, чем на вмешательство в польские дела? Наконец, принимали ли относительно нас западные державы в 1830 году [во время более ранних попыток вооруженного мятежа в Польше – *М.Ч.*] этот оскорбительный и настойчивый тон, который сочли они возможным принять теперь?» [4, с. 233].

Данные свидетельства указывают на то, что Катков не просто был выразителем мнения определенной части общества, но, находясь вне правительства, диктовал ему определенную программу поведения, побуждающую к решительным практическим действиям. В этой связи не является случайным тот факт, что М.Н. Муравьев, осознавая ра-

стущее влияние Каткова, обратился к нему с предложением о сотрудничестве, на которое публицист тут же с готовностью откликнулся. Имеет смысл даже утверждать, что Муравьев был практическим реализатором подавления польского мятежа, а Катков – идейным и духовным вдохновителем данной акции правительства по наведению государственного порядка в Польше.

Интересны доводы Каткова, относящиеся ко времени силового подавления польского мятежа. Польское государство он расценивает как государство без народа, в котором общественное мнение определяет оторвавшаяся от народного корня шляхта. Русский же народ, руководимый высшими помыслами сохранения единой Российской империи, сохраняет под крылом России Польшу исключительно в интересах защиты своего и польского народа. Идя на борьбу с русскими, поляки тем самым, по мнению Каткова, идут на свою гибель: «Обладание Царством Польским до смерти надоело каждому русскому, и только сами поляки виноваты в том, что Русские, скрепя сердце, принуждены биться с ними» [4, с. 245].

После того как Царство Польское было занято русскими войсками и в нем было введено военное положение, что, по сути дела, означало подавление мятежа, Катков вскрывает причины восстания и усматривает в русском народе определенные черты, которые и привели к данному мятежу. Публицист упрекает русский народ в мягкости и чрезмерной уступчивости, в нежелании применить сразу силу и в отказе от строгого следования закону. Подобная уступчивость приводит впоследствии к пролитию еще большей крови, чем та малая, которой старались избежать: «Вместо того, чтобы открыто и твердо исполнить то, что велит долг, мы стараемся в ущерб делу, на нас возложенному, показаться любезными и гуманными, и когда возвращаемся к исполнению своего долга, то естественно подпадаем упреку в двуличности и иезуитизме» [4, с. 301].

Корень всех бед русского народа Катков усматривает в его чувстве неуважения к закону, которое сидит в крови народа, накладываясь при этом на его уступчивость и доброту. В результате это приводит к плачевным результатам: «Русских в Западном крае совсем запугали, и они уже не того совестились, что не исполняют своего долга, а того, что исполняют его». Подобный образ действий, по Каткову, имеет свой корень «вовсе не в либерализме или гуманности, а в недостатке уважения к закону, в том недостатке, которым страдаем все мы Русские от Немана до Камчатки» [4, с. 301].

Взгляды Каткова по отношению к польскому вопросу во время восстания являются ярчайшей страницей деятельности русского консерватора и отражают политические установки и идейные ориентиры публициста. Эти базовые идейные принципы в течение последующего двадцатичетырехлетия будут корректироваться и дополняться, но уже не свернут с той магистральной линии, которая наметилась в его статьях по поводу польского восстания.

Философские взгляды М.Н. Каткова основаны на преломлении элементов диалектического метода Г.В.Ф. Гегеля применительно к развитию форм народной жизни, на идее о взаимосвязи индивидуального и социального самосознания, на принципе народно детерминированной русской монархии. Катков отстаивал идеи государственного единства России, доминирования русского государственнического патриотизма над всеми видами местечковых национализмов и ориентации на более решительное и последовательное использование правительством силовых методов решения проблем.

Консервативная концепция М.Н. Каткова являет собой пример адаптации диалектических установок в плоскость русского консервативного сознания. Русский консерватизм при этом обретал новые творческие установки на заимствование не только христианско-религиозных и биологических, но и диалектических моделей развития.

Литература

1. *Гегель Г.В.Ф.* Философия истории. СПб., 1993.
2. *Гегель Г.В.Ф.* Философия права. М., 1990.
3. *Катков М.Н.* Песни русского народа // Отечественные записки. 1839. Т. IV. Кн. VI.
4. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 г. М., 1897–1898.
5. *Неведенский С.* Катков и его время. СПб., 1888.

Аннотация. В статье анализируются диалектические аспекты консервативной концепции М.Н. Каткова. Диалектический консерватизм рассматривает динамику социального (семья – общество – дух) и исторического (самодержавие (Рим) – православие (Византия) – народность (Россия)) становления русского народа. Апогеем социального синтеза становится самодержавие. Идея самодержавия как антитеза сепаратистским тенденциям была выработана Катковым в контексте реакции на мятеж 1863 года в Царстве Польском.

Ключевые слова: консерватизм, гегельянство, диалектика, тезис, антитезис, синтез, этатизм, монархия, самодержавие, православие, народность, патриотизм.

Mikhail Y. Chernavsky, PhD in Philosophy; Professor, “Social Processes. Mass Media and Marketing Technologies” Department; Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (the First Cossack University). E-mail: chernavsky14@mail.ru

Russian Philosophy of History of M.N. Katkov the Experience of Dialectical Conservatism

Abstract. The article analyzes the dialectical aspects of the conservative concept of M.N. Katkov. Dialectical conservatism considers the dynamics of social (family-society-spirit) and historical (autocracy (Rome) – Orthodoxy (Byzantium) – nationality (Russia)) formation of the Russian people. Autocracy becomes the apogee of social synthesis. The idea of autocracy as an antithesis to separatist tendencies was developed by Katkov in the context of the reaction to the rebellion of 1863 in the Kingdom of Poland.

Keywords: Conservatism, Hegelianism, Dialectics, Thesis, Antithesis, Synthesis, Statism, Monarchy, Autocracy, Orthodoxy, Nationality, Patriotism.y, patriotism.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-59-67

Александр Котов

*Был ли Катков православным консерватором?**

Само определение консерватизма с незапамятных времен является предметом споров. Можно бесконечно отделять «истинный» консерватизм от «ложного», «творческий традиционализм» от «реакционного охранительства» или признать относительность определений и классификаций, рассматривая их лишь как набор оптических инструментов, удобный конкретному исследователю для решения конкретных задач.

Исходя из этого и не претендуя на принципиальную новизну, мы предпочитаем рассматривать консерватизм в предельно широком смысле: как комплекс различных идеологий, делающих акцент на принципе институциональной или ценностной преемственности. Следовательно, употребляя термин «консерватизм», мы всегда должны его конкретизировать, добавляя соответствующее прилагательное и как бы подтверждая тем самым правильность известного леонтьевского тезиса о том, что либерализм «везде один», «охранение» же всегда «имеет характер более или менее обособляющий» [6, с. 7].

В рамках западной политической культуры речь, как правило, идет о преемственности конфессиональной, сословной или национальной. В русском консерватизме XIX века преобладало тяготение к национальному принципу – не случайно большинство консерваторов причисляло себя тогда к «русской партии». Среди отечественных консерваторов, разумеется, встречались и сторонники сословного консерватизма (такие, как В.Д. Скарятин), и церковные традиционалисты (подобные Т.И. Филиппову), и мыслители, сочетавшие церковность с сословностью (как это делал К.Н. Леонтьев). Однако Скарятин – во многом стараниями М.Н. Каткова – был «выброшен» с консервативного «корабля». Леонтьев же независимо от нашего нынешнего к нему отношения при жизни пользовался авторитетом лишь в узком кругу «гептастилистов».

Принадлежность Каткова к какому-либо из направлений консерватизма с самого начала была предметом дискуссий: даже славянофилы видели в нем лишь самолюбивого оппортуниста, меняющего свои взгляды в зависимости от обстоятельств. После выхода в 1858 году катковской статьи «Русская сельская община» И.С. Аксаков возмущенно писал Самарину: «Статья вышла и, написанная умно, бойко, хлестко, – производит эффект. Ее докторальный тон, – magister – dixi! – высокомерие, дерзость действуют повелительно на читателя. Позиция, которую теперь занял и занимает “Русский вестник”, очень для него выгодна и очень невыгодна для нас. Он вырывает у нас плоды победы, он – в глазах публики – является журналом славянофильским, стоящим за славян и за народность, но “без крайностей и увлечений славянофилов!” – говорит публика. Так что все те, которые – не

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Дневник А.В. Богданович (1879–1890 гг.)» № 171-00021.

Котов Александр Эдуардович, доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: a.kotov@spbu.ru

сочувствуя раболепству перед Западом, – готовы были пристать к нам и участвовать в наших изданиях, – охотно переходят на его сторону, тем более, что у него 7000 подписчиков. На будущий год, без сомнения, будет, ибо успех и значение “Русского вестника” выросли громадно <…> Было б очень приятно обресть в “Русском вестнике” нового союзника и сомышленника, но возмутительно то, что – повторяя мнения “Беседы” и “Сельского благоустройства”, он выдает их за свои, давно и всегда ему принадлежавшие, и нас же учит, нам же и толкует и удивляется нашей бестолковости!.. Положение наше становилось очень невыгодным. Приходилось переносить спор в область расчетов самолюбия, т.е. спорить о том, кому именно принадлежит мысль, кто у кого украл и т.д. – Ну а об этом спорить было бы стыдно. Между тем, чувствовалось, что между убеждениями “Русского вестника” и “Русской беседы” сходство более внешнее, но обличать это было еще затруднительнее…». Впрочем, углубляться в сущность внутренних различий Иван Сергеевич не стал, ограничившись лишь указаниями на катковскую интеллектуальную нечистоплотность: «Удивительное дело этот “Русский вестник”! Я всегда привык считать Каткова человеком добросовестным, но нельзя не заметить какой-то странной ловкости в его действиях. Журнал начинает свое существование статьями Чичерина, который был тогда самым модным явлением, блестящим метеором. Это дает разом ход, блеск и интерес “Русскому вестнику”, который нигде ни разу не оговаривается о несогласии своем с Чичериным, и только тогда, когда метеор стал бледнеть и тухнуть, выпроводил его за дверь, без церемоний… Он ратует теперь за народность, открывает, будто Америку, глубокий смысл русской общины – и ругает нас, уверяя, что мы хотим от нее отречься и что мы, не поняв смысла общины, повторяем об ней рабски слова нашего учителя Гакстгаузена! – Словом, у него такой прием: помещать у себя всякое модное мнение, не заявляя о его противоречии с убеждениями редакции, и, когда мода проходит, выступить против него с своим мнением» [1, с. 70].

Катковский оппортунизм был притчей и в иных – сановно-петербургских – языцех. Как известно, до 1887 года «московский громовержец» поддерживал тесные отношения с петербургским салоном генерала Е.В. Богдановича. Однако последний был со скандалом уволен со службы после своей поездки в Париж, воспринятой обществом как первый шаг к заключению русско-французского союза, а Государем – как грубое вмешательство неуполномоченного лица в сферу компетенций самого императора. Катков, по слухам бывший инициатором поездки Богдановича, отрекся от генерала – и с этого момента стал злейшим врагом супруги последнего, А.В. Богданович.

Дневник генеральши свидетельствует о пристальном внимании последней к публикациям, посвященным смерти Каткова. Так, читая «Гражданин», она отметила: «Меня неприятно поразила статья в “Записной книжке”, где говорится о людях и деятелях умерших, как Аксаков, Катков, Герцен и Бакунин, что будто они жили, деливши мысли друг с другом, что бывали размолвки, но они проходили, а живая связь всегда оставалась между ними. Кто знавал, как мы, Каткова, в этом может вполне усумниться. Катков не терпел противоречий, никого никогда не любил, кроме себя, и никого никогда не признавал. Он делил людей на ему нужных и ненужных» [1а, л. 10 об.]. Заинтересовала А.В. Богданович и вышедшая в том же году книга С. Неведенского (С.Г. Щегловитова) «Катков и его время». Впрочем, судила она об издании скорее по рецензии из либеральных «Новостей»: «Модестов зло разбирает книгу, написанную якобы почитателем Каткова, который приводит в ней письма Каткова к Краевскому, где Катков называет его своим благодетелем и откровенно сознается, что потерял веру в будущее и его единственная мечта устроиться у какого-нибудь туза или тузика, по особым поручениям. Затем говорится, как Катков менял свои убеждения, не терпел противоречий, был оппортунистом в полном смысле этого слова… Когда я читала вслух эту статью Е<вгению> В<асильевичу>, я чувствовала, что у меня еще не улеглось чувство неприязни к этому человеку. Он стал, как живой, передо мной. Как часто

я его видела искательным с теми, кто был ему нужен, а когда переставал быть ему нужен тот же самый человек видел в нем равнодушного холодного слушателя, который изредка удостаивал его ответа на горячую речь. Умел Катков быть любезным, когда этого хотел, особенно когда это ему это было нужно. Он не прощал Е<вгению> В<асильевичу>, что он был в хороших отношениях с "Голосом". Помню, когда однажды Лорис во дни своего величия обедал у нас с Краевским, Катков, когда узнал об этом, очень разгорячился и стал упрекать Е<вгения> В<асильевича>, что он эту дрянь принимает, но Е<вгений> В<асильевич> тогда его оборвал и сказал, что он не скрывал своих отношений к "Голосу" так же, как свои отношения к нему. Это была бурная сцена, но Катков, чувствуя, что Е<вгений> В<асильевич> ему нужен, и видя, что он не добьется его разрыва с Краевским, укротил свой гнев. По-прежнему, несмотря на угрозу, что не будет у нас бывать, приходил к нам ежедневно» [1а, л. 21–21 об.].

Зато одобрила генеральша ответ В.П. Мещерского на некролог «Русского дела», написанный, очевидно, мечтавшим о роли нового Каткова С.Ф. Шараповым: «Там говорится, что будто Каткову печать обязана свободным словом. Мещерский это опровергает и говорит, что Катков сумел только лучше других пользоваться этой свободой. Тоже говорит, что Катков всегда стоял за русскую промышленность. Мещерский опровергает и это также и говорит, что последнее время он стоял за жидов. – Можно сказать, еще нет года и 6 недель, а престиж Каткова сильно, сильно упал. Что значит эгоизм? Он его погубил, друзей он не оставил, последних перед смертью возмутил своими выходками» [1а, л. 46].

Впрочем, все катковское «приспособленчество» исчезало, когда дело касалось вещей, для Михаила Никифоровича действительно принципиальных. Е.М. Феоктистов так описывал борьбу редактора «Московских ведомостей» за учебную реформу: «Могу сказать положительно, что ничего подобного Каткову я не встречал и не встречаю в нашем обществе. Кажется, этот человек состоит только из одних нервов: уже и прежде, когда овладевала им всецело какая-нибудь мысль, он только и жил, и дышал ею одною, и это качество, которое иные называют не иначе как фанатизмом, не только не притупилось, но сделалось еще сильнее, чем когда-нибудь. По приезде он сказал нам, что страдает обыкновенным своим недугом – бессоницею; бессонница не покидала его все время, пока он находился здесь; от Маркевича, у которого он поместился, я слышал, что иногда, в течение целой недели, – буквально, без всякого преувеличения, – он не смыкал глаз. Все ночи напролет ходил он из угла в угол по своей комнате, поглощенный мыслью, которая не давала ему покою. Иногда собиралось у него довольно многочисленное общество; старались вовлечь его в разговор, обращались к нему с вопросами, но если эти вопросы не относились к делу, которое исключительно его занимало, он едва отвечал на них или даже вовсе оставлял без ответа. Но стоило лишь коснуться речи об училищной реформе: Катков делался неузнаваем! Им овладевал лихорадочный интерес, он мог говорить об этом предмете по нескольку часов сразу, убеждал, доказывал, спорил… Несколько раз приходилось мне от него слышать, что ему самому было загадкой, как он еще не свалился в постель от пережитых им волнений, и я вполне этому верю. Стоило только взглянуть на него, чтобы убедиться, что он влагал всю душу в задуманные преобразования, что он действительно страдал от встречавшихся препятствий» [18а, л. 20–21].

Употребленные Феоктистовым термины «реформа» и «преобразования» не слишком вяжутся с привычным нам образом консерватора – хотя и не противоречат формуле отца английского консерватизма Э. Бёрка: «сохранять и одновременно реформировать». Но были ли последствия катковских реформ консервативными даже в широком смысле этого слова? По мнению многих современников, деятельность Каткова либо провоцировала революционные настроения, либо сама по себе носила революционный характер. Так, в 1880 году Н.П. Гиляров-Платонов писал: «Ужасающие выходки революционной шайки

должны быть на большую половину поставлены в вину “Московским ведомостям” <…> Разумеется, не они подуськивали Соловьева и его братию, но они отлично распахивали почву, рассеивали недовольство и озлобляли публику, так что публика под конец пассивно относилась к злодействам <…> Возмущаюсь не по либеральной фразе политикой, которую проповедывают “Московские ведомости” для внутренних дел. Жалко, напротив, что либеральная фраза, праздная оппозиция получает в обществе незаслуженный авторитет, благодаря душительному направлению “Московских ведомостей”, которым общество не может же сочувствовать» [2, с. 194].

Н.С. Лесков в своем знаменитом и не опубликованном А.С. Суворину некрологе вслед за публицистами газеты «Весть» упрекал московского редактора в непоследовательном отношении к дворянству: по его мнению, Катков «одной рукой, по сю сторону Вислы, поддерживал дворянство, эту миражную опору трона, а другой, по ту сторону той же самой Вислы, натравлял на всякого пана и шляхтича оравы самой разнузданной черни только потому, что и эти стервятники жаждали урвать перо от крыла ненавистного Каткову одноглавого польского орла» [7, с. 261].

Д.И. Иловайский возлагал на пропагандируемую Катковым классическую систему образования ответственность за падение общественного интереса к национальной истории: «Во время своих поездок <…> я имел возможность, между прочим, наблюдать за постепенным упадком интереса к отечественной истории и древностям, по преимуществу там, где инспекторские и директорские места перешли в руки славян-классиков или где являлось сочетание западного славянина с немцем… В некоторых… чисто русских или даже древнерусских городах, известных своими замечательными памятниками, имевших в прежнее время в своем педагогическом составе людей, научно занимающихся этими памятниками, теперь я не встретил никакого к ним интереса. От заведений веяло каким-то иным, чуждым духом». Догматическому катковскому «классицизму» историк противопоставлял практический западный опыт: «После наполеоновского погрома Германии немцы начали свое национальное возрождение главным образом с того, что принялись усердно изучать свое прошлое и в самых школах сильно подняли историческое преподавание. Каких результатов они достигли, всем известно» [4, с. 55–56].

Наконец, неоднозначными были отношения публициста с государственной властью. Если в борьбе с П.А. Валуевым в 1866 году Катков все же опирался на другой центр принятия решений – надзаконную власть самодержца, – то историю с несостоявшимся в 1887 году предостережением за передовую статью № 66 «Московских ведомостей», посвященную переговорам между Россией и Германией, в Государственном совете расценили как «полное господство анархии». «Катковцам» в этой ситуации удалось скорректировать даже суверенную волю монарха. Александр III был возмущен критикой своей внешней политики: «В высшей степени неприличная статья. Вообще Катков забывается и играет роль какого-то диктатора, забывая, что внешняя политика зависит *от меня*, что я отвечаю за последствия, а не г. Катков. *Приказываю* дать Каткову первое предостережение за эту статью и вообще за все последнее направление, чтобы угомонить его безумие и что всему есть мера». Е.М. Феоктистов вспоминал: «На другой день собрал я совет Главного управления печати и предложил ему вопрос о предостережении “Московским ведомостям”. Не лишнее заметить, что все члены Совета, обыкновенно столь сдержанные и осторожные, высказывали сильное неудовольствие, один за другим говорили они против задуманной меры, высказывая, что не следует идти далее негласного уведомления Каткову». Столкнувшись с противодействием чиновных единомышленников Каткова и прежде всего К.П. Победоносцева, император уступил и ограничился словесным выговором, который для Каткова стал лишь поводом для получения аудиенции [18а, л. 9–11 об.].

Т.И. Филиппов отмечал по этому поводу в письме К.Н. Леонтьеву: «Анархическая выходка Каткова меня не удивила: мне очень хорошо известно притворство его охранительного исповедания, которое он принял как parties pris, и потом построил на нем свое position sociale. Он проповедует самодержавие только своим ближним, а сам признает его лишь до той поры, пока Власть идет с ним по одному пути. Лживая изворотливость, с которою он проводил раздельную черту между Правительством и ведомством, достойна омерзения» [21, с. 412].

Отношение значительной части консервативных кругов к Каткову наиболее емко и образно сформулировал К.Н. Леонтьев: «...пуговку-то электрическую на Страстном бульваре сам Господь вовремя прижал! <…> Теперь надо собирать на памятник, на который и я с радостью пожертвую по мере сил. – Suum cuique! Надо бы представить его как бы в виде трибуна с подъятой десницей и угрожающим перстом, а кругом худых и злых псов, змей и т.п. гадов, отступающих в бессильном ожесточении перед его гением. – Великий был все-таки человек М<ихаил> Н<икифорович>!» [6, с. 890].

Прославляя печатно Каткова как защитника сильного государства, в частных письмах Леонтьев многократно критиковал не только катковский оппортунизм и манеру вести дела, но и его идейные воззрения: «бессословность», симпатии к болгарским «филетистам». Играло здесь свою роль и свойственное мыслителю «эстетическое понимание истории»: «…сам Катков с годами стал не только ужасно неприятен характером, по свидетельству даже всех служащих у него в редакции, но сверх того... я не знаю как сказать... как-то сер... Мне все кажется, что и с него и со всех его вещей в его кабинете надо долго сметать пыль. Впрочем, и направление его, чем дальше, тем серее» [5, с. 77].

Таким образом, в отзывах современников М.Н. Катков предстает перед нами не как консервативный романтик и не как ностальгирующий по сословным привилегиям «реакционер» старой школы. Превратив печать в инструмент политической борьбы, Михаил Никифорович стал первым русским политиком нового типа – во многом схожим с В.И. Лениным. Не случайно Гиляров-Платонов отмечал в Каткове «явление небывалое, беспримерное, положение исключительное <…> постоянное соединение государственного деятеля и публициста в одном лице» [3, с. 522]. Сходным с ленинским характером было и свойственное Каткову сочетание политического оппортунизма с фанатической одержимостью своим рожденным из немецкой философии теоретическим замыслом.

Роднит Каткова с Лениным и своеобразный культ личности, распространившийся среди следующего поколения консервативных публицистов. Так, в 1889 году «Московские ведомости» поминали своего умершего редактора следующими словами: «Все, что он создал, все, чему он посвящал самые горячие заботы свои, все, за что он ратовал своим пламенным словом, – все это растет, цветет, развивается вокруг нас и уже приносит те чудные плоды, которые покойный предвидел своим зорким оком и предвещал своим мощным глаголом… Мы все окружены идеями Каткова, мы живем и дышим ими, – одного только Каткова нет!» [14].

В целом для правильного понимания катковских взглядов целесообразно разделять *ситуативные оценки* (менявшиеся в зависимости от политических обстоятельств) и *постоянные мировоззренческие установки.* К первым относятся полемические выступления, посвященные судам, земствам, университетской автономии, экономике и роли государства в экономике, взаимоотношениям с Францией и Германией. К мировоззренческим же «константам» следует отнести прежде всего приверженность публициста к классической античной и европейской культуре, а также связанные с ней чувство формы и эстетическое преклонение перед созидающим, упорядочивающим могуществом государственной власти. Наконец, постоянным и неизменным идеологическим «базисом» являлся центральный элемент катковской программы – пропаганда «народной» или «национальной» внутренней и внешней политики.

Катков постоянно подчеркивал национальный русский характер Российского государства – разумеется, понимая «русскость» предельно широко. Катковский национализм имел свои особенности, отличавшие его от воззрений позднейших сторонников сильного национального государства. Государство было для «московского громовержца» единственным субъектом национальной истории. «Народную политику» проводить могло только оно.

Главным субъектом этой политики для московского публициста был даже не самодержец, – которому на словах, разумеется, воздавалось должное, – но «правительство» (в тогдашнем смысле слова), а в конкретных случаях и на местах – назначенные последним «национально ориентированные» чиновники. Монархия же в катковской модели становилась не результатом божественного помазания, но производным от воли народа. Ближайший сподвижник Каткова Н.А. Любимов в своем знаменитом памфлете «Против течения» утверждал, что монархическая власть «есть результат и завет истории», «присутствия исторического сознания в народе, которое не должно смешивать с коллективным разумом революционной теории» [8, с. 401].

Поэтому катковскую идеологию целесообразно охарактеризовать как бюрократический национализм – в том смысле, что при ее практическом применении государственная бюрократия становилась единственной свободной в своих действиях национальной силой и единственной инстанцией, определявшей чью-либо принадлежность к нации. Этой характеристике, на наш взгляд, не противоречат многочисленные антибюрократические выступления «Московских ведомостей» в 1860–1870-х годах. Обвинения в адрес «петербургской бюрократии» во время польского восстания или защита университетской автономии от посягательств А.В. Головнина были для Каткова лишь средствами борьбы – как за решение национальных задач, так и за усиление своего личного влияния.

Основой «национальной политики» централизованных европейских государств, согласно Каткову, была унификация по признаку единства языка и лояльности национальному государству: «чтобы быть русским в гражданском смысле этого слова, достаточно быть русским подданным» [10]. Религия и этничность отходили здесь на второй план, так как создавали вероятность появления той или иной формы автономии, нарушавшей гомогенность национального организма. Катков последовательно защищал последнюю, критикуя любые попытки ее нарушения: национальную автономию Польши и Финляндии, автономию университетов, аристократические привилегии польских или остзейских дворян, еврейскую черту оседлости или попытки освободить православие из синодального «пленения».

Именно в этом идеологическом контексте и следует рассматривать отношение М.Н. Каткова к политической роли Православной церкви. Тема эта не раз привлекала внимание исследователей. На фоне целого ряда публикаций выделяется статья Е.В. Переваловой, посвященная защите Православия в катковских изданиях. В этой работе содержится, пожалуй, самый полный обзор катковских выступлений на церковные темы, однако делается довольно смелый вывод о том, что в целом эти выступления отличаются «подлинно православным пониманием рассматриваемых вопросов» [15, с. 80].

Не все современники согласились бы с подобным заключением – достаточно вспомнить таких известных сторонников церковного традиционализма, как Т.И. Филиппов и К.Н. Леонтьев, именовавших Каткова «московским опричником» и сравнивавших его с Феофаном Прокоповичем [20, с. 225]. Особенно острое неприятие «пророков византизма» вызывали публикации катковских изданий, посвященные греко-болгарскому церковному расколу, где Катков явно предпочитал болгарских «филетистов» греческим защитникам церковного единства.

Не менее показательна в этом отношении и борьба Каткова за русификацию католического богослужения, в процессе которой Михаил Никифорович оказался одним из первых националистов, отделивших национальность от религии. В отличие от Ф.М. До-

стоевского, утверждавшего, что «неправославный не может быть русским», и в отличие от К.Н. Леонтьева, считавшего, что для России полезна не русификация инородцев, но их личное обращение в православие при сохранении национального своеобразия, Катков был готов признать русским любого российского подданного – в том числе католика, протестанта и иудея [12].

Схожим образом смотрел Катков и на еврейский вопрос. Приветствуя русификацию иудейского религиозного обихода, «Московские ведомости» характеризовали его так: «замечательное движение, начавшееся в среде одесского еврейского общества и затем распространившееся везде, где только живут евреи, получившие современное образование». Публицист настаивал на том, что «следует и католикам, и евреям дать возможность быть русскими <…> Есть огромный вред для государства в таком насильственном отождествлении терпимых религиозных верований с политическими национальностями, которым нет места в России» [11].

Даже в 1884 году, по свидетельству В.С. Соловьева, Катков не отказался от «преобразования католической иерархии в России через замену епископов-поляков хорватами и чехами» [17, с. 123]. Отмечая падение религиозности «образованных классов», Катков утверждал, что «с религиозной точки зрения лучше, чтобы человек исповедовал какую-нибудь веру, чем оставался без всякой веры, или, как наши нигилисты, полагал свою религию в духе отрицания и с бессмысленным фанатизмом служил этому божеству», а потому «чем принимать папского нунция, лучше не изгонять русских людей, ставших членами хотя и чуждой нам, но признаваемой нами церкви». В качестве примера такого русского человека московский публицист приводил В.С. Печерина [9], который, впрочем, сразу же открестился от непрошенного апологета, сообщив своим читателям: «Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше: если бы я был на их месте, я бы действовал, как они действуют, лишь бы только Бог даровал мне их долю энергии и веры» [16].

Говоря о Православной церкви, М.Н. Катков подчеркивал: «Православная церковь есть наша народная церковь, и такою она должна остаться» [9]. По меткому замечанию О.Л. Фетисенко, «в концепции Каткова Церкви отводилось пусть самое почетное, но – очевидно – в стороне находящееся место. Церковь мыслилась как *свободная* (государство на нее не „давит“, а только „охраняет“), но *безвластная*, от всякого вмешательства в дела государства твердой рукой отодвинутая» [19]. Таким образом, Церковь для Каткова превращалась действительно в атрибут народности – нечто *желательное*, но не обязательное для того, чтобы принадлежать к нации. Самостоятельная же и выступающая в качестве политического субъекта Церковь представлялась Каткову одним из воплощений главного зла в национальной жизни – «государства в государстве». В «политической нации» *такого не должно было быть* – независимо от того, каким образом это «малое государство» выделяется из большого: с помощью дискриминации или, наоборот, предоставления привилегий.

Таким образом, отнести М.Н. Каткова к носителям идеологии православного консерватизма, на наш взгляд, не представляется возможным. В данном случае мы говорим не о личной религиозности Каткова (в зрелом возрасте соблюдавшего, по многим свидетельствам, все церковные таинства и обряды), но о его воззрениях на роль Церкви в жизни общества и государства. В связи с последними любопытна формулировка, сочувственно цитируемая из французской брошюры весной 1887 года: «Подобно сосудам, которые пропитаны еще испарившимися благовониями, русская литература, равно как и русская душа, часто бывает пропитана чувством исчезнувшей веры. Из народа как от земли поднимается до холодных литературных слоев нечто в роде религиозного испарения» [13]. Здесь, разумеется, речь шла о светских и в большинстве своем либеральных писателях – но сам этот образ «религиозного испарения», на наш взгляд, отражал воззрения редактора «Русского

вестника» на социальную роль религии. Он перекликается со многими другими случайными оговорками и проговорками – и с интересом Каткова к спиритизму [18, с. 151–152], и со свидетельством А.В. Богданович. В 1888 году, продолжая переживать из-за «предательства» уже умершим Катковым своего мужа, Александра Викторовна записала, что Катков «нашел» «много нигилизма» в Екклесиасте [1б, л. 10]. Разумеется, генеральша могла не понять мысли бывшего профессора философии или вырвать ее из контекста, но *в устах светского националиста* она звучит вполне естественно.

Литература

1. *Аксаков И.С.* Письмо Ю.Ф. Самарину. 2 октября 1858 г. // Переписка И.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина (1848–1876). СПб., 2016. С. 68–72.

1а. *Богданович А.В.* Дневник. Июнь – октябрь 1888 г. // РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Ед. хр. 240.

1б. *Богданович А.В.* Дневник. Октябрь – декабрь 1888 г. // РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Ед. хр. 241.

2. Г*иляров-Платонов Н.П.* Письмо К.П. Победоносцеву. 27 октября 1880 г. // Разумевающие верой: Переписка Н.П. Гилярова-Платонова и К.П. Победоносцева (1860–1887). СПб., 2011. 508 с.

3. *Гиляров-Платонов Н.П.* М.Н. Катков / Н.П. Гиляров-Платонов // Сборник сочинений: в 2 т. Т. 2. М.: Изд-е К.П. Победоносцева, 1900. С. 520–526.

4. *Иловайский Д.И.* По вопросам преподавания истории // Мелкие сочинения, статьи и письма. 1857–1887 гг. М.: Типогр. М.Г. Волчанинова, 1888. С. 3–93.

5. *Леонтьев К.Н.* Моя литературная судьба. 1874–1875 года / К.Н. Леонтьев // Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. Т. 6. Кн. 1: Воспоминания, очерки, автобиографические произведения 1869–1891 годов. СПб., 2003. С. 72–139.

6. *Леонтьев К.Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника» / К.Н. Леонтьев // Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. Т. 7. Кн. 2. СПб., 2006. С. 7–107.

7. *Лесков Н.С.* На смерть Каткова // *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: М.Н. Катков: pro et contra. СПб.: Росток, 2012. С. 261–264.

8. Л*юбимов Н.А. [В. Кочнев].* Против течения // Русский вестник. 1882. № 1. С. 313–402.

9. Московские ведомости. 1863. № 168. 2 августа

10. Московские ведомости. 1866. № 142. 7 июля.

11. Московские ведомости. 1866. № 175. 19 августа.

12. Московские ведомости. 1871. № 36. 16 марта.

13. Московские ведомости. 1887. № 103. 15 апреля.

14. Московские ведомости. 1889. № 198. 20 июля.

15. *Перевалова Е.В.* Защита православия в изданиях М.Н. Каткова: журнале «Русский вестник» и газете «Московские ведомости» // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2016. № 4. С. 71–81.

16. *Печерин В.С.* Apologia pro vita mia: Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим. СПб.: Нестор-История, 2011. 861 с.

17. *Санькова С.М.* Государственный деятель без государственной должности. СПб.: Нестор, 2007. 298 с.

18. *Твардовская В.А.* Идеология пореформенного самодержавия. М.: Наука, 1978. 279 с.

18а. *Феоктистов Е.М.* Заметки из слышанного и виденного // ОР ИРЛИ. Ф. 318. Ед. хр. 9121.

19. *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб.: Пушкинский дом, 2012. 784 с.

20. *Филиппов Т.И.* Письмо К.Н. Леонтьеву 1 июня 1882 г. // Пророки византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891). СПб.: Пушкинский дом, 2012. С. 225–228.

21. *Филиппов Т.И.* Письмо К.Н. Леонтьеву 24 марта 1887 г. // Пророки византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891). СПб.: Пушкинский дом, 2012. С. 412–414.

Аннотация. Принадлежность М.Н. Каткова к тому или иному направлению была предметом дискуссий еще при жизни публициста. И славянофилы, и большинство мемуаристов (в том числе близко его знавшая А.В. Богданович) считали редактора «Московских ведомостей» оппортунистом. Это лишь отчасти соответствует действительности – Катков был скорее одним из первых политиков нового типа, сочетавших в себе политический оппортунизм с одержимостью своим теоретическим замыслом: созданием политической русской нации, в формировании которой этничность и религия не играли значимой роли. Позиция Каткова по ряду принципиальных конфессиональных вопросов своего времени (русификация католичества, греко-болгарский раскол), а также его отдельные высказывания свидетельствуют о невозможности причислить публициста к числу защитников политической субъектности Православной церкви.

Ключевые слова: консерватизм, национализм, Православие, церковь, М.Н. Катков, А.В. Богданович.

Alexander E. Kotov, PhD in History, Associate Professor, St. Petersburg State University. E-mail: a.kotov@spbu.ru

Was Katkov an Orthodox Conservative?

Abstract. The affiliation of M.N. Katkov with one of the schools of thought was the subject of discussion even inter vivos of the publicist. Both Slavophiles and the majority of the memorialists (even A.V. Bogdanovich closely acquainted with Katkov) considered the editor-in-chief of “Moscow Vedomosti” an opportunist. That was only partially true as Katkov was rather a politician of the new type combining political opportunism with the obsession with his theoretical conception namely creating Russian political nation in the forming of which ethnicity and religion played no significant role. Katkov’s views on some of the principal confessional issues of his time (Russification of Catholicism, Greco-Bulgarian schism) as well as some of his comments, testify to the fact that he can’t be ranked among the supporters of political subjectivity of the Orthodox Church.

Keywords: Conservatism, Nationalism, Orthodoxy, the Church, M.N. Katkov, A.V. Bogdanovich.

Катков: свободное слово

Раздел второй

О.С. Кругликова
Газета М.Н. Каткова «Московские ведомости» (1863–1887 годы): к вопросу об истоках и характере политического влияния

Д.А. Бадалян
Журналист, общественное мнение и власть: издания М.Н. Каткова в «царских обозрениях» 1860–1866 годов

Е.В. Перевалова
М.Н. Катков-журналист: борьба за привилегии или служба по совести?

Е.В. Перевалова
«Редактор-исполнитель»: Николай Алексеевич Любимов

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-71-88

Ольга Кругликова

Газета М.Н. Каткова «Московские ведомости» (1863–1887 годы): к вопросу об истоках и характере политического влияния

Феномен Каткова как «государственного деятеля без государственной должности» неоднократно привлекал к себе внимание исследователей, причем оценки его деятельности и трактовки его мотиваций диаметрально менялись. Характер колебаний отношения исследователей к Каткову в зависимости от политической конъюнктуры эпохи и находящихся в распоряжении ученых документальных материалов исчерпывающе описан в подробном историографическом очерке С.М. Саньковой [33]. Однако вопрос об истинном положении Каткова в общественно-политической жизни современной ему России остается открытым. Де-юре отставной профессор и редактор непопулярной у широкого читателя газеты, де-факто Катков являлся одной из самых влиятельных фигур внутренней и внешней политики России 1870–1880-х годов – в этом отношении разногласий между исследователями нет. Как нет и всестороннего представления о том, каковы были истоки и практические механизмы этого исключительного политического влияния.

Богатый материал для исследования этого вопроса представляет мемуарное и эпистолярное наследие высших государственных чиновников и общественных деятелей этой эпохи, а также делопроизводственные бумаги Третьего отделения ОЕИВК. В приватных записях и засекреченных донесениях можно найти информацию о тех скрытых пружинах бюрократической машины, которые заставляли ход государственных дел подчиняться влиянию не наделенного формальной властью человека, в то время как материалы газетных публикаций и открытые официальные документы показывают лишь внешний пласт общественно-политической жизни эпохи. Рассмотрим биографию и общественную деятельность Каткова через призму этих специфических источников.

Умеренный либерал и неумеренный англоман…

Катков, как и большинство русского образованного общества, встретил с ликованием начало либеральной эпохи Александра II, искал себе общественного поприща, которым стало издание в 1856 году общественно-политического журнала «Русский вестник», объединившего на время (до 1862 года) все литературные силы либерального фронта. В 1856–1858 годах задиристый журнал неоднократно навлекал на себя гнев цензуры, в декабре 1858 года цензору фон Крузе грозило даже отстранение от должности за пропуск нескольких статей, наделавших много шума [25, т. 2, с. 98–99]. Яростный поборник парламентаризма британского образца, Катков придал журналу выраженный флер англомании, так что современники в шутку называли его «Вестминстерским вестником». Третье отделение, еще за юношеские литературные опыты на страницах «Отечественных записок»

Кругликова Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики СПбГУ. E-mail: oskruglikova@yandex.ru

включившее Каткова в список неблагонадежных лиц, укрепилось в своем недоверии к журналисту за первые годы его редакторства. Впрочем, консолидация на основе умеренного либерализма в редакции «Русского вестника» была недолгой [13, 16]. Конфликт между сотрудниками набирающего популярность журнала привел к расколу редакции – ее покинули радикально настроенные Б.Н. Чичерин и Е.Ф. Корш, Катков же остался полновластным идейным лидером издания.

В целом подобный конфликт между редакторами и сотрудниками был типичным для русской журналистики XIX века: публицистам хотелось прежде всего высказать свою общественную позицию, а редактору-издателю – избежать цензурных преследований и сохранить журнал. Однако в данном случае причины противостояния были более серьезные: судьба «Русского вестника» в значительной мере отразила судьбу всего либерального течения русской общественной мысли в период внутреннего размежевания этого разнородного идейного направления. Идеологическое давление Николаевского времени, равно исключавшее возможность практического влияния на общественное мнение и государственную политику для представителей всех идейных течений, делало противостояние режиму универсальной объединяющей платформой для всей мыслящей интеллигенции. Теперь же, когда открывались реальные перспективы общественной деятельности, вчерашние единомышленники, «дружившие против» ненавистной обоим третьей стороны, становились оппонентами, а порой и врагами. На поверку оказалось, что юношеский умеренный либерализм Каткова был, собственно, критикой политики Николая I, впрочем, и ее со временем Катков тоже станет считать хотя и не всегда удачной в выборе средств, «но правильной в своей цели».

Под «единодержавным» руководством Каткова «Русский вестник» стремительно эволюционировал вправо, возглавил полемику русской подцензурной печати с Герценом [18, 35], вступил в конфронтацию с «Современником». Некогда считавшийся идеологически опасным журналист уже рассматривался цензурой как человек благонамеренный. Однако окончательная трансформация идейной позиции произошла уже в 1863 году когда Катков приобрел на правах аренды газету «Московские ведомости».

Тот факт, что передача газеты в аренду Каткову совпала по времени с переходом его на государственнические промонархические позиции, заставлял и современников и исследователей подозревать журналиста в том, что его преданность трону была не бескорыстной, а хорошо оплачиваемой [35], тем более что «Московские ведомости» имели важную привилегию – право на публикацию казенных объявлений. Однако эти обвинения не имели под собой серьезных оснований: инициатором отдачи газеты в аренду являлся Московский императорский университет, которому принадлежало издание. При выборе арендатора из числа конкурирующих за это право лиц университет руководствовался исключительно соображениями материальной выгоды. Арендный контракт был составлен таким образом, что прибыль от государственных объявлений не составляла значимого дохода для арендатора. Никаких доказательств вмешательства властей в ход объявленного тендера и составление условий с арендатором обнаружить не удалось [17].

«Оказал неоценимые услуги правительству…»

Укрепление промонархических позиций Каткова в большей степени связано с политическим контекстом времени. Событиями, определявшими политическую повестку в начале 1863 года, было восстание в Польше и разгоревшаяся в связи с ним дипломатическая война против России. Европейские державы уже неоднократно использовали польский вопрос для давления на Россию. Еще во времена Крымской войны страны антироссийской коалиции предпринимали попытки формирования польских воинских соединений для войны с Россией, в начале же 1860-х годов крупные колониальные державы и прежде все-

го Франция поддерживали активные сношения с польским революционным комитетом и обещали ему не только дипломатическую поддержку, но и прямое военное вмешательство в случае выступления польских революционеров. Вскоре после начала восстания России были предъявлены ультиматумы со стороны трех держав – Англии, Франции и Австрии – с требованием скорейшего разрешения польского вопроса удовлетворением всех политических требований восставших.

Русское правительство оказалось с тяжелейшем кризисе: на фоне дестабилизации во внутренней политике, вызванной периодом реформ, оно не могло решиться на стремительное и суровое подавление военных выступлений повстанцев, хотя сила, безусловно, была на стороне империи, и в прямом военном противостоянии полякам не на что было надеяться. Но власть не имела политической опоры для решительных действий – в обществе стремительно развивалось антиправительственное движение и крепла оппозиция. Колоссальное внешнеполитическое давление осложняло ситуацию, тем более что армия русская, несколько лет назад потерпевшая сокрушительное поражение от объединенных военных сил Европы, находилась в процессе полной системной модернизации, рассчитанной на длительный период и бывшей в самом начале. Военный министр Д.А. Милютин на прямой вопрос государя о боеспособности армии в этот переходный период вынужден был дать неутешительный ответ [22]. Правительству, в сущности, не из чего было выбирать: европейская война была почетной гибелью в бою, а уступки требованиям иностранцев – позором и политическим самоубийством.

Редактор «Московских ведомостей» принял непростое решение: невзирая на то, что он был критически настроен в отношении многих внутриполитических процессов эпохи, служить интересам национальной государственности в кризисный момент. Деятельность Каткова в период Польского восстания в научной литературе освещена весьма подробно [18, 35]. С первых дней восстания Катков безусловно и уверенно требует его скорейшего подавления, убеждает общество в том, что европейские угрозы – не более чем политический блеф, остро полемизирует с нелегальной эмигрантской прессой, бьет тревогу по поводу наметившихся в результате восстания тенденций к сепаратизму в других окраинах Российской Империи. Но главное – он проводит широкую пропагандистскую кампанию по консолидации общественных сил внутри страны. Провозгласив, что «энергия и единодушие, с каким выскажутся русские люди против планов, несогласных с жизненными интересами России, могли бы оказать немалое влияние на дальнейший ход событий», Катков не только поддерживал, но отчасти инициировал волну патриотических выступлений, нашедшую свое выражение в массовой подаче верноподданнических адресов. Катков принял активное участие в составлении некоторых из них (от московского дворянства, от Московского Императорского университета, и от старообрядцев-беспоповцев) [19] и спровоцировал дальнейшее развитие этого общественного движения, нагнетая ура-патриотический ажиотаж вокруг подачи адресов. Увлеченная патриотической волной общественность консолидировалась вокруг трона, правительство получило пусть временную, но столь необходимую единодушную поддержку народа.

Полезная правительству деятельность Каткова привлекла к себе внимание многих высокопоставленных чиновников. С ним вступает в переписку министр внутренних дел П.А. Валуев, с ним сближаются братья Милютины и министр народного просвещения А.Н. Головнин, через посредство Ф.И. Тютчева Катков взаимодействует с министром иностранных дел А.М. Горчаковым. Для Каткова польское восстание стало началом восхождения от отставного университетского профессора до «глашатая воли народной», не стеснявшегося давать советы не только правительству, но и российским самодержцам. Даже А.И. Герцен, его яростный оппонент, будет иронично называть его сотрудников «правительствующая редакция “Русского вестника”» [5, с. 112].

Однако принципиально важно отметить, что в ходе этого восхождения система взаимоотношений журналиста с властью не сводилась к идеологическому диктату чиновников по отношению к изданию. Катков стремился одновременно сохранить и благорасположение высших сфер, и свободу идеологического маневра, хотя и министр внутренних дел, и министр народного просвещения желали завладеть пером Каткова и популярностью его издания для решения своих политических задач.

В одном из писем летом 1863 года П.А. Валуев предлагает журналисту, чтобы избежать возможных искажений информации, поступающей от корреспондентов редакции, обращаться напрямую к министру за сведениями по любому интересующему его вопросу. В последующих письмах он неоднократно повторяет свое предложение сообщать «точные сведения и благонадежные» [23, с. 412]. Катков не отказывается напрямую от предложенного сотрудничества, но и не прибегает к нему[1]. Уговоры министра воспользоваться перепиской с ним как источником достоверной информации продолжаются и в последующих письмах: «Если о чем хотите справиться, пишите просто: правда ли то и то, в полстраницу. Обещаю в той же pagina fracta скорые и определительные ответы» [23, с. 412].

Головнин находил возможным со стороны государственной казны сделать уступку газете в плате за рассылку номеров подписчикам по почте. Катков от этого предложения отказался. Так как министр вторично обратился к издателю с предложением посодействовать газете, Катков указал на то, что редакции было бы удобнее, если бы им было предоставлено право при рассылке издания самостоятельно заделывать пост-пакеты и отправлять их на железнодорожную станцию, минуя газетную экспедицию. Причем сам Катков не ходатайствовал об уменьшении платы газеты почтамту, а только об устранении организационного неудобства.

Министр народного просвещения отправил ходатайство в почтовое ведомство, предложив со своей стороны не только пойти навстречу изданию, но и снизить плату газеты почтамту в связи с выполнением редакцией самостоятельно данного вида работ. Однако почтовое ведомство отказало. Прибыв в Москву и лично беседуя с Катковым, министр народного просвещения предложил редактору открыть в «Московских ведомостях» специальный педагогический отдел, который снабжался бы регулярно статьями по вопросам организации системы образования в Российской Империи. Имея в виду наличие такого отдела, министерство народного просвещения закупало бы ежегодно более 2000 экземпляров газеты. Это было уже очевидным предложением «спонсорства» со стороны министерства, причем предложением исключительно выгодным – более 2000 гарантированных подписчиков. Однако Катков и от этого предложения отказался [24].

Редактору «Московских ведомостей» важно было сохранить свою независимость, и хотя от прямой конфронтации с министрами он уклонялся, но его газета, не стесняясь, критиковала деятельность обоих ведомств. Некоторое время министры не теряли надежды приручить строптивца Каткова. Это создавало серьезную проблему для чиновников цензурного ведомства. Уже в августе 1863 года поступали множественные замечания цензоров на статьи «Московских ведомостей», ибо «Катков рубит с плеча направо и налево» [25, т. 2, с. 450]. Однако высокое начальство долго оставляло его критические выходки без внимания – в октябре 1863 года А.В. Никитенко отмечает в дневнике, что «Головнин не хочет, чтобы Каткову отвечали с некоторую силою на его нападки на министерство народного просвещения, против которого он ратует свирепо и ругательно» [25, т. 2, с. 469]. Потворство министров поставило в неловкое положение цензоров, так что к началу 1864 года отношения Каткова с цензурой носили почти коми-

[1] Переписка Каткова и Валуева сохранилась не полностью, писем Каткова всего 8, писем же Валуева – 30, поэтому содержание отсутствующих писем Каткова можно лишь отчасти восстановить по ответам Валуева.

ческий характер: «Сегодня в заседании Совета по делам печати, – пишет Никитенко, – между прочим, была доложена ругательнейшая статья «Московских ведомостей» на Петербург. Я при этом случае сказал, что о Каткове Совет ничего не может постановлять: пусть министр ведается с ним, как считает за удобнейшее, а Совет был бы только смешон, выслушивая и бесплодно занося в свои протоколы то, чему он противиться и чего остановить не в состоянии» [25, т. 2, с. 496]. Катков благосклонно принимал реверансы министров в свой адрес, но поддерживать в печати был готов только те идеи, которые разделял по своему искреннему убеждению.

Впрочем, терпение высших чиновников тоже было не беспредельно, и Валуев начал раздражаться тем, что у Каткова «нечто вроде idée fix насчет необходимости исключительного положения для “Московских ведомостей” [10, с. 180]. К началу 1866 года недовольство Валуева достигло апогея – отчаявшись наладить отношения с Катковым, министр решился дать газете три предостережения, и издание было приостановлено. Этот эпизод весьма подробно описан в научной литературе: Катков отказался публиковать полученные предостережения, оплатил все необходимые штрафы, и, будучи официально отстранен от редакторства, временно передал газету своему другу и коллеге Н.А. Любимову, но не пошел на компромисс с министром. Правительство было заинтересовано в том, чтобы прекратить развернувшуюся в прессе шумиху вокруг скандального противостояния министра и журналиста, и благодаря личному вмешательству Александра II, возвратившего Каткову право издания газеты, последний не только отстоял свое право рассуждать о министерских делах, но и получил разрешение в дальнейшем обращаться с письмами напрямую к государю [8, 14].

Ситуация развернулась в пользу Каткова еще и потому, что конфликт с цензурой разразился накануне покушения Каракозова на Александра II. На фоне этого события борьба либерального министра (причем именно того, в чьей непосредственной компетенции находились вопросы безопасности государя) с лучшим изданием охранительно-монархического крыла выглядела весьма симптоматично, что немедленно нашло отражение в эпиграмме, принадлежавшей перу В.П. Мещерского:

Дня накануне рокового,
Мишурным рвеньем возгоря,
Предостерег. Кого? Каткова!
А не предостерег царя… [21, с. 43–44]

Готовность Каткова отстаивать свое мнение в споре с правительством и цензурой нашла позитивную оценку даже среди журналистов следующих поколений, в том числе в либеральной среде. Влас Дорошевич, сравнивая в своих воспоминаниях поведение Каткова и Суворина в аналогичных ситуациях столкновения с цензурой, отдает несомненное предпочтение Каткову, который «имел в нужную минуту находчивость и смелость: – Не подчиниться. И не платить наложенного на него штрафа. Отстаивая свою самостоятельность. И.С. Аксаков на предостережение за “недостаток патриотизма” ответил громовой статьей. <…> Это были издатели газет. Суворин безмолвно подчинил “Новое время” распоряжению» [12, с. 604]. Катков сумел поставить себя таким образом, что в дальнейшем чиновники, пытавшиеся снискать его дружбу и поддержку, не рисковали обращаться за пропагандой тех мер, которые, как они знали, не мог бы искренне одобрить Катков. «Выдающиеся способности Каткова как писателя-публициста, его популярность заставляли иногда руководителей министерства финансов и внутренних дел прибегать к помощи пера Каткова, чтобы популяризировать те меры, и начинания их, которые, как они знали, совпадали с его личными взглядами» [23, № 8, с. 289].

«Катков отождествляется с общественным порядком…»

Постоянно менялось и отношение чиновников Третьего отделения к некогда внесенному в списки неблагонадежных умеренно-либеральному журналисту. В 1863 году Катков – воплощенное общественное мнение, причем общественное мнение, выгодное правительству, основанное на идее консолидации вокруг трона перед угрозой внешнего врага и внутренних революционных потрясений, мнение, которое необходимо охранять от пагубных влияний. Контакты и беседы Каткова – предмет живейшего интереса Московского обер-полицмейстера, который следил за ними по поручению шефа жандармов генерала А.Л. Потапова. После того как 1 мая 1863 года Каткова посетил переводчик британского посольства Томас Митчелл, обер-полицмейстер отправил начальству успокоительное донесение о том, что в результате беседы с иностранным агентом, имевшим целью изменить враждебное отношение Каткова к Англии как к одной из сторон, умышленно разжигающих Польское восстание, журналист своего патриотического настроения не изменил, и иностранец отбыл восвояси, не достигнув успеха [11].

В дальнейшем идея правительства бдительно следить за изменением политических позиций как самого редактора «Московских ведомостей», так и его оппонентов, укреплялась и развивалась. Чиновники Третьего отделения, делавшие из перлюстрируемых писем лиц, заподозренных в неблагонадежности и поставленных под негласный надзор полиции, выписки для докладов начальству, очевидно, имели предписание отслеживать любые негативные высказывания в адрес Каткова, как высказывания, косвенно оскорбляющие само правительство.

Их внимание привлек фрагмент из письма чиновника особых поручений при Виленском генерал-губернаторе И.А. Забелина из Вильно от 5 сентября 1866 года к Ивану Белюстину в Калязин Тверской губернии: «Ни один поляк не мог столько навредить Русскому делу, сколько подлец Катков. Это беснующееся самолюбие, которое при крайней ограниченности сведений местных хочет управлять целою Россиею». И.А. Забелин в 1866 году возглавлял редакцию старейшей литовской газеты «Виленский вестник». В его письме содержится также любопытное указание на то, что власти негласно ограничивали прессу в стремлении к полемике с изданием Каткова: «Мне запрещено писать против Каткова, против его нелепых фантазий об обрусении жидов и поляков посредством русского языка» [5, л. 5].

Наиболее резкие высказывания порой влекли за собой дальнейшие разбирательства и меры со стороны властей. Одним из таких поводов к разбирательству стала выписка из письма за подписью П. Рат. из Женевы от 16 сентября 1870 года к Васильеву, отставному полковнику, в Варшаву: «…весьма прискорбно, что гг. Катков и ему подобные вместо того, чтобы указывать все то, что нам следует заимствовать полезного от устройств по всем отраслям Германии <…> своим в сущности бесполезным писанием раздражают национальности внутри и дерзко задевают соседей. <…> Хранит нас Господь от влияния журналистики, герои коей, вместо добросовестного разъяснения, готовы повергнуть все в хаос, лишь бы иметь больше подписчиков» [4, л. 3]. На выписке сделана пометка рукой управляющего Третьим отделением от 28 сентября 1870 года: «Господину начальнику Варшавского жандармского округа, секретно: “Прошу Ваше Превосходительство приказать выяснить негласно и сообщить мне, кто может быть П. Рат”» [4, л. 3 и 3 об.]. В поступившем ответе с пометкой «секретно», сообщалось, что П. Рат. это генерал-лейтенант Петр Алексеевич Ратов, на деятельность которого отныне было обращено бдительное око полиции [4, л. 4].

Необходимо отметить, что смелость и решительность во взаимодействии с властями Каткову придавала та действительно всенародная популярность, которую он приобрел

в период польского восстания. Характер восстания был таков, что провозглашенные вначале требования социальных преобразований постепенно уступили место территориальным притязаниям. Даже сочувствовавшая полякам русская либеральная интеллигенция не была готова поддерживать требования отделения от империи нескольких крупных губерний и раздражалась внешнеполитическим давлением на русское правительство. Здоровый инстинкт национального самосохранения способствовал сплочению перед «польской угрозой», а Катков с его пламенными призывами к единению в борьбе становился все более популярен. Но единодушие слабело по мере умиротворения восстания, и вскоре единству общественного мнения по ключевым политическим вопросам пришел конец. А вместе с тем шла к закату и исключительная популярность Каткова в обществе.

Вера Каткова в силу влияния печатного слова на массы была поколеблена, но опыт взаимодействия с чиновно-бюрократической средой указал на возможность иного пути участия в государственных делах. Отныне Катков пытается подкреплять влияние изданий на общество влиянием издателя на правительство. Тираж газеты в это время неуклонно падает (как отмечает Е.М. Феоктистов: «“Московские ведомости” только во время польского восстания 1863 г. имели обширный круг читателей, впоследствии же число их подписчиков не превышало 6000 на всю Российскую Империю!» [37, с. 151]), но политическое влияние редактора только растет.

По мере укрепления придворных и чиновных связей Каткова отношение к нему общества меняется. В мае 1863 года Совет Императорского Московского университета уведомляет попечителя Московского учебного округа о том, что университетскими профессорами было принято решение почтить Каткова званием Почетного члена университета. В представлении профессора Полунина говорилось: «Михаил Никифорович Катков учился в Московском Университете и со славою занимал в нем кафедру философии. Оставив кафедру, с неменьшею славою подвизается на литературном поприще, и своими литературными трудами оказывает существенную услугу отечеству и делает честь месту своего воспитания» [6]. Однако уже в декабре 1863 года члены Академии наук упорно сопротивляются навязываемому им президентом Академии избранию Каткова членом-корреспондентом. Никитенко с удовлетворением отмечает: «От Каткова мы кое-как отделались, представив причину, что комплект членов-корреспондентов полон и нет вакансий, хотя, собственно говоря, это не причина» [25, т. 2, с. 487]. Все более резко выраженная консервативная платформа издания сужает круг преданных читателей.

В 1865 году, в период нарастающего конфликта с Валуевым, Каткову снова удается привлечь симпатии значительной части общества, но эти симпатии являлись лишь оборотной стороной общественного недовольства министром. Московское дворянство подносит Каткову серебряную чернильницу с дарственной надписью «в изъявление удовольствия за патриотическое направление его литературных трудов» [1], а Московский университет поддерживает в конфликте с цензурой [25, т. 2, с. 5].

Но уже в начале 1870-х годов чиновники Третьего отделения делают следующую выдержку из письма Л. Мейна из Москвы от 5 марта 1872 года к К.А. Бильбасову: «Его [Каткова – *О.К.*] уже многие поняли в Москве. Подняться ему в общественном мнении невозможно, и он, конечно, сознавая это, махнул рукою и играет “во всю”. Он себе шею не сломит, людей этого рода презирают, но берегут» [4, л. 10]. Далее автор письма с удовлетворением отмечает, что подписка на «Московские ведомости» падает и снижается общий интерес к газете: «Пусть хоть общественное презрение выскажется открыто, раз в печати всему и всем затыкают рот» [4, л. 10].

Хотя от «Московских ведомостей» отхлынули люди, настроенные либерально, однако среди оставшегося узкого круга постоянных поклонников были преимущественно люди влиятельные. Родственные с Катковым по образу мыслей консерваторы-преобразователи,

которые, как правило, и являлись ключевыми действующими лицами мелкой и крупной политики 1880-х годов, черпали в «Московских ведомостях» аргументацию для своей идеологической позиции. Не совсем прав Никитенко, который в феврале 1872 года записал в дневнике по поводу приостановки газеты А.А. Краевского «Голос», что теперь прекратилась последняя независимая газета в России, ибо «“Московские ведомости” считать нечего, потому что они превратились в правительственную газету» [25, т. 3, с. 328]. «Московские ведомости» не превратились в правительственную газету в том смысле, что не стали рептильным изданием, по определению лояльным ко всему, что бы ни исходило от спонсирующего их ведомства. Катков избрал противоположный путь. Тонко используя связи редактора в среде высшего чиновничества и популярность издания у высокопоставленных читателей, «Московские ведомости» пытались сами создавать то правительство, с которым они совпадали бы во мнениях, и которое могли бы поддерживать, не поступаясь принципами.

Министр без портфеля

Во второй половине 1870-х годов Катков действительно оказал прямое влияние на ряд кадровых решений в верхах. Например, смещение с поста министра финансов Н.Х. Бунге и замена его И.А. Вышнеградским современниками всецело относилась на счет деятельности редактора «Московских ведомостей». Как вспоминал С.Ю. Витте, «Катков, как представитель крайне консервативного направления, вел войну против тогдашнего министра финансов Бунге, человека очень почтенного, либеральных взглядов… Нападая на Бунге, Катков вместе со всей крайней консервативной партией, которой он руководил, должен был выставить какого-нибудь своего кандидата. Вот он и выставил Вышнеградского» [3, с. 276].

Важно отметить и еще один момент – каждое такое назначение было вкладом Каткова в свое политическое будущее. Как отмечал Витте, «назначению Вышнеградского во многом содействовал Катков, и так как, по-видимому, Вышнеградский был до определенной степени обязан Каткову, то он, когда сделался министром финансов, относился к Каткову очень бережно» [3, с. 276]. Особенно яркой иллюстрацией работы этого принципа является состоявшееся не без участия Каткова назначение Д.А. Толстого министром народного просвещения. Катков давно был лично знаком с вновь назначенным министром, правда, его журнал «Русский вестник» конфликтовал с Толстым как с Обер-прокурором синода [19], но редактор «Московских ведомостей» никогда не гнушался временной коалицией с прежними противниками, если это было необходимо в интересах дела. Проведенная Толстым гимназическая реформа, в сущности, была исполнением директив Каткова, бывшего истинным ее разработчиком и вдохновителем. По мнению Е.М. Феоктистова, исключительное влияние Каткова на министра объяснялось прежде всего полной беспомощностью Толстого в порученном ему деле: «…у него не было собственных идей, и он жадно уцепился за человека, который стоял перед ним с вполне готовою программой» [37, с. 180]. Влияние Каткова на Толстого для современников было не только очевидным фактом, но и поводом для острословия. Никитенко называет Каткова «повелителем» Толстого, и фиксирует в дневнике такой случай: «Во время прений в комиссии Государственного совета о классицизме и реализме, когда граф Толстой, защищая классицизм, выходил из себя и непомерно его восхвалял, Чевкин по окончании чтения обратился к Толстому и сказал: “Вы, граф, не дочитали всего, что Катков говорит об этом”» [25, т. 3, с. 319].

Когда Катков получил необходимое ему влияние на министра народного просвещения, перед ним встала еще одна задача – отстоять «послушного» министра перед нападками оппозиции и критикой общества. Назначение Толстого и его первые шаги под

руководством Каткова по внедрению классицизма не вызвали одобрения общественности. Будущий министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов писал о Д.А. Толстом: «Личность эта, стоявшая в продолжение пятнадцати лет во главе одной из важнейших отраслей государственного управления, сотворила больше зла для России, чем все остальные деятели, даже вместе взятые» [9, с. 452].

Не только люди либеральных взглядов, но даже и приверженцы консервативных убеждений, уважавшие графа Толстого лично, зачастую не одобряли его деятельности как министра и обер-прокурора. «Я должен сказать, – пишет князь В.П. Мещерский, – что назначение графа Толстого министром народного просвещения и обер-прокурором Святейшего синода было одною из крупнейших ошибок царствования Александра II, ибо вряд ли можно было подыскать для этих двух должностей менее подходящего человека. <…> его недостатки и духовные особенности мирились со всякою деятельностью, со всякою должностью, за исключением тех двух, на которые он был назначен» [20, с. 555].

Такое всеобщее недовольство назначением Толстого должно было привести к его неизбежному скорому падению, однако он продержался на своих постах вплоть до 1880 года и во многом благодаря неустанной деятельности Каткова, положившего целью сохранить «послушного» министра как можно долее у власти.

Переписка Каткова с Александром II и Александром III (как в статусе цесаревича, так и по восшествии на престол) по вопросам образования довольно обширна. И одна из немаловажных ее тем – стремление подчеркнуть достоинства Толстого как личности, как министра, как верного государева слуги.

В письмах своих Александру II Катков многократно предостерегает его от того, чтобы подлаживаться под общественное мнение, агитирующее против министра народного просвещения, ибо в смутную эпоху люди склонны «хотеть чего сами не знают, требовать, чего не хотят, и действовать вопреки самим себе» [15, л. 15]. Общественное мнение, признает Катков, настроено против нынешнего министра, оппозиция резонно полагает, что смещение Толстого остановит дело реформы. Однако реформа одобрена Государем, и прислушиваться к общественному мнению излишне – у державы может быть лишь один хозяин. Опасаясь быть обвиненным в личной заинтересованности в судьбе министра, Катков пишет: «Я не имею никаких личных пристрастий к графу Толстому. Сблизился я с ним лишь в интересах дела, которому и он и я служим; в личных же моих к нему отношениях я имел бы скорее повод чувствовать себя недовольным и даже оскорбленным. Но Боже меня сохрани руководиться в деле общей пользы какими-либо личными соображениями» [15, л. 19].

Попытка Каткова влиять на изменение не только гимназического образования, но и принципов устройства университета, вызвала сопротивление московской профессуры. В 1879 году сложилась конфликтная ситуация вокруг переизбрания ректора Московского императорского университета Н.С. Тихонравова. Совет университета высказался подавляющим большинством (35 против 12) за то, чтобы оставить Н.С. Тихонравова в этой должности. Однако сложно было рассчитывать на то, что это решение совета будет беспрепятственно утверждено попечителем Московского учебного округа Н.П. Мещерским. Попечитель, бывший горячим сторонником классицизма, симпатизировал Каткову, а ректор Тихонравов не только имел заслуженную репутацию человека либеральных убеждений и противника преобразования университета в пользу классической системы, но и последовательно вел с издателем тяжбу, возникшую в связи с финансовыми недоразумениями между университетом и «Московскими ведомостями». Предполагая возможность противодействия со стороны попечителя утверждению избранного ректора, московский генерал-губернатор В.А. Долгоруков обратился с особой запиской к министру внутренних дел А.П. Валуеву и даже просил последнего препроводить эту записку государю [27, л. 2].

В записке генерал-губернатор пишет: «Между попечителем и ректором не существует должного согласия по делам Университета… Отсутствие надлежащей доли самоуверенности, слабость характера, бестактность и ограниченность необходимых дарований в деле управления поставили попечителя в нравственную зависимость от советов и указаний Каткова». Катков же, «пользуясь постоянным к нему обращением попечителя, имеет большое влияние на учебные учреждения Московского учебного округа».

Сетуя на то, что Катков сильно настроен против Тихонравова из-за существующей между университетом и редакцией финансовой тяжбы, Долгоруков высказывал опасения, что попытка давления на совет университета со стороны попечителя и неутверждение любимого и студентами и коллегами профессора Тихонравова может спровоцировать студенческие волнения и иметь опасные политические последствия: «нет сомнения, что Каткову желалось бы при посредстве попечителя провести в ректоры вместо Тихонравова кого-либо из своих сторонников, что при нерасположении к ним прочих профессоров а равно и студентов грозило бы опасными для спокойствия Университета проявлениями общего неудовольствия» [27, л. 5]. В итоге инцидент разрешился мирно, но представляется весьма симптоматичным для оценки роли Каткова сам факт секретной переписки на столь высоком уровне.

Реформа образования была особенно ненавистна молодежи, для которой уже в середине 1870-х годов Катков сделался символом всего общественного зла. Уволенный за участие в студенческих беспорядках из Технологического института Н.П. Гончаров, близкий по кругу своих знакомств к группам нечаевцев и чайковцев, в 1871 году издал несколько нелегальных листков под общим названием «Виселица». Называя в них реформу классического образования «подлыми проектами гнусного творца», Гончаров пишет, что газетной критикой и полемикой Каткова «не проберешь, он опять победил, и опять его козни обращены в закон… С этим рабом, висельником и подлецом надо сражаться другим образом. – Он двенадцать лет уже торжествует и почти правит русской землей. Он загубил десятки тысяч людей Сибирью, оставив на долю множества семей печаль и нищету. Он вследствие этого разбогател, обзавелся лицеем и теперь издал для нашей молодежи классически-безнравственные законы образования. Он пойдет и еще дальше, если наконец не убьют этой гадины… Да будет это маленькое кровопускание началом наших грядущих событий» [2, с. 162]. В начале 1872 года за напечатание и распространение этих листовок Гончаров предстал перед Петербургской судебной палатой и был осужден на шесть лет каторги и вечное поселение в Сибири [2, с. 160]. Интересно, что в ходе самого процесса одним из главных, с точки зрения обвинителя, доказательств покушения обвиняемого на самые важнейшие основы государственного порядка, были именно агрессивные выпады в адрес Каткова, в то время как защитник настаивал на том, чтобы расценивать их как косвенное подстрекательство к убийству частного лица, и подчеркивал, что Катков не занимает государственной должности, следовательно, не является государственным человеком и формальным носителем высшей власти [31].

Н.П. Гиляров-Платонов, один из сотрудников «Русского вестника» в 1860-х годах, а впоследствии редактор московской ежедневной газеты «Современные известия», по поводу дела Гончарова писал К.П. Победоносцеву: «Время странное!.. Какая чепуха! Катков отождествляется с общественным порядком…». Размышляя в другом письме тому же адресату о причинах изменения отношения общества к Каткову, Гиляров-Платонов писал: «Перед обществом была дилемма: революционная дерзость вызывала омерзение, но не меньшее и идеалы «Московских ведомостей». Всякому свойственно иметь убеждения, но защита во что бы то ни стало Толстого, которую вели “Московские ведомости” <…> притом под эгидою цензуры, воспрещавшей возражения, – это, воля Ваша, роль уже бесчестная» [32, с. 194].

В 1880-х годах Катков действительно находится «под эгидой цензуры» – власть предпочитала выяснять отношения с издателем «Московских ведомостей» вне стандартной схемы взаимодействия с прессой, указывая на промахи публициста в приватном режиме. Так, например, министр внутренних дел Д.А. Толстой писал 21 января 1885 года Е.М. Феоктистову: «Потрудитесь написать М.Н. Каткову, что Государь находит несправедливым обвинение Московскими ведомостями Министра Финансов в ведении переговоров с Ганземаном о заключении займа, так как никаких займов министр не предполагал, потому и не было никаких переговоров» [36, л. 33].

Дружеская переписка с Катковым была для высокопоставленных чиновников как источником возможной поддержки, так и источником потенциальной опасности: в специфике бюрократического мира с его интригами и карьерной борьбой излишняя открытость в беседах с журналистом могла грозить неприятностями. 17 ноября 1882 года Н.А. Любимов в письме предостерегает Каткова: «Феоктистов умоляет, что случится узнать через него, не делать прозрачным в печати. Он очень встревожен был намеком на Reptilien Fond в Вашей статье, т.к. об этом у него разговор был только вдвоем с Толстым. Боялся, не повредило бы ему» [26, л. 17].

В переписке Е.М. Феоктистова с К.П. Победоносцевым содержится описание показательного случая, произошедшего в 1886 году. Е.М. Феоктистов обратился к патрону за разъяснениями, приложив к своему обращению следующее письмо Каткова: «С самого начала, то есть с 1863 года как “Московские ведомости” поступили в мои руки, ежегодно от Министерства Двора возобновлялись подписки на доставление их в кабинет его величества. Обыкновенно требование это поступало в начале или в половине декабря. Теперь мы уже в конце года, а требования нет и, по всему вероятию, не будет. Это, конечно, не помешает мне посылать «Московские ведомости» прежним порядком по тому же адресу. Но я опасаюсь скандала: не будет ли этот экземпляр возвращен мне при отзыве, что посылать газету на имя е<го> в<еличества> не требуется? Это, конечно, не останется без огласки, последствия которой едва ли будут хорошие, если не для меня и не для газеты, то для дела, которому она служит. Это было бы странное désaveu после грамоты, данной мне в этом году[1]. Но от <И.И.> Воронцова <-Дашкова> или от его приспешников все может статься. Не знаю, как поступить, чтобы предупредить подобный исход. Самому мне неловко обращаться к кому-нибудь за советом» [29, с. 507].

В ответном письме Е.М. Феоктистову Победоносцев иронично замечает: «Узнаю <М.Н.> Каткова в этой записке. Ему чудятся тут черные козни, а это, по всей вероятности, – или канцелярское небрежение или канцелярская экономия». И далее обер-прокурор Синода проясняет тот канцелярский механизм, который позволял Каткову обращать такое пристальное внимание самых высокопоставленных лиц и даже Государя на содержание своих статей: «Высылал бы газету по-прежнему. Чтоб узнать в чем дело, надо бы спросить маленьких людей в придворных канцеляриях, а больших совестно и спрашивать о таком обстоятельстве. Я убежден, что никакого умысла тут нет. Да и газеты не кладутся на стол государю, какие бы то ни было, а на “Моск<овские> вед<омости>” обращается его внимание извне, по поводу разных статей» [29, с. 507]. Важно отметить указание на то, что внимание государя на статьи газеты обращается «извне», то есть представителями как раз той чиновной среды, с которой активно взаимодействовал Катков, и, несомненно, в том числе и в своих собственных видах, то есть с целью отстоять с помощью аргументации Каткова предлагаемые им правительственные меры.

Подробности работы этого механизма отражены и в переписке Н.А. Любимова с Катковым. Любимов в письме из Петербурга от 30 октября 1882 года пишет: «Статья “Мо-

[1] Катков говорит в данном случае об ордене Св. Владимира второй степени, пожалованном ему за содействие укреплению в умах истинных начал русской государственной жизни.

сковских ведомостей" о параллели с республиканской Францией особенно понравилась Ивану Давыдовичу [Делянову – *О.К.*]. Он спрашивал Константина Петровича [Победоносцева – *О.К.*], послал ли тот государю. Константин Петрович случайно не получил номера "Московских ведомостей" в тот день. Иван Давыдович прислал свой экземпляр» [26, л. 16]. Любимов же пишет Каткову 20 января 1884 года: «О впечатлении, произведённом статьей 12 января, кое-что слышал. Победоносцев немедленно с письмом послал статью Государю. Государь выразился графу Толстому: я рад, что есть здравомыслящий человек в России» [26, л. 43].

Статус «министра без портфеля», закрепившийся за Катковым в середине 1880-х годов, порождал и некоторые двусмысленные эксцессы в чиновничьей среде. Любимов в одном из писем пересказывает Каткову забавный случай, произошедший в кругах высшей петербургской бюрократии: «Вопрос о комиссии прошений рассматривался в особом совещании из гр. Толстого, Победоносцева, Островского и одного сенатора на Г. – забыл фамилию; кажется, еще Рихтера. Спрашивают: – зачем попал Островский? Отвечают: – он друг Каткова. Анекдот говорил мне Иван Давыдович [Делянов – *О.К.*]» [26, л. 104].

Влияние Каткова на решение некоторых вопросов государственной политики стало настолько очевидным, что возникла идея, покончив с двойственной неопределенностью положения Каткова по отношению к власти, придать его влиянию официальный статус, сделав Михаила Никифоровича членом Государственного Совета. Слухи о его назначении распространились благодаря публикации заметки в «Новом времени», откуда многие столичные издания заимствовали информацию. Развивая эту тему, пресса породила целый ворох несуществующих назначений – с легкой руки газетчиков кандидатами в состав Государственного Совета оказались также писатели А.Н. Островский и И.С. Тургенев. Основываясь на сведениях, данных в газетных публикациях, редактор и совладелец Международного телеграфного агентства А.А. Краевский поспешил передать депешу об этих назначениях заграничным изданиям, за что и имел впоследствии неприятное объяснение с министром внутренних дел Игнатьевым [7, л. 4].

Слухи дошли и до Государя – из доклада великого князя Михаила Николаевича. Император немедленно повелел напечатать официальное правительственное сообщение следующего содержания: «В некоторых повременных изданиях сообщены были слухи о предполагавшемся будто бы назначении редактора "Московских ведомостей" тайного советника Каткова членом Государственного Совета и даже о том, будто бы он отказался от высокого сего назначения. Оба эти слуха лишены всякого основания» [7, л. 2]. Это правительственное сообщение, однако, не было напечатано незамедлительно, так как содержание его насторожило предусмотрительного и искушенного в играх с общественным мнением министра внутренних дел. Граф Игнатьев решил повременить с публикацией сообщения и справиться дополнительно у Государственного секретаря Е.А. Перетца, стоит ли давать правительственное сообщение именно в такой редакции. Замешательство было вызвано, во-первых, тем, что «Тайный советник Катков именуется в сообщении редактором "Московских ведомостей", а Главным управлением по делам печати утвержден по его просьбе редактором две недели назад г. Петровский» [7, л. 3], а во-вторых, беспокойством о том, чтобы «опровергая слухи о назначении члена Государственного Совета, правительственное сообщение не впадало бы само в односторонность». Министр полагал, что «когда в обществе обретаются <…> слухи о назначении нескольких лиц членами Государственного Совета, представляется неудобным ограничиться опровержением лишь об одном из них, т.к. это публикою будет принято за косвенное подтверждение слухов об остальных». После того, как Государственный секретарь передал эти соображения министра великому князю, тот в свою очередь тоже оказался в замешательстве. Предложенная редакция опровержения была утверждена лично Государем. Изменить ее можно было только после

вторичного доклада, однако вопрос был слишком малозначителен для того, чтобы дважды обращать на него внимание императора. Но и доводы министра были также существенны. Михаил Николаевич в этой ситуации почел за лучшее все же опубликовать опровержение о назначении Каткова, не касаясь слухов об Островском и Тургеневе, однако, чтобы не допускать прямой ошибки в сообщении, предложил просто изъять из текста слова «редактор “Московских ведомостей”». В такой редакции сообщение и появилось в «Правительственном вестнике».

Любопытна реакция на эти слухи К.П. Победоносцева. В письме Игнатьеву от 20 января 1882 года он писал: «Сегодня читаю в “Новом времени”, что Каткова назначают членом Государственного Совета, а в городе слышу разговоры, что статья внушена Вами. Я старый приятель Каткова, но признаюсь, что такого назначение не одобрил бы, если бы меня спросили. Прежнего Каткова правительство потеряет, а нового не приобретет» [28, с. 359].

«Принимает тон, несоответственный с его положением…»

В 1886 году активная критика внешнеполитического курса со стороны Каткова раздражила уже не чиновников, а самого государя, и разгневанный Александр III потребовал дать «Московским ведомостям» третье официальное предостережение. Однако и здесь власть решила, смирив первый порыв гнева, не вступать в открытое противостояние с Катковым. Имевший на государя большое влияние Победоносцев убеждал Александра III, что такой шаг даст слишком много козырей в руки противодействующей правительственному курсу либеральной партии, и последствия его будут масштабны и труднопредсказуемы: «Телеграф разнесет это известие по всем концам мира. Это будет замечательное политическое событие. Оно будет истолковано в смысле поворота нашей политики. Оно отразится на бирже. Оно вызовет торжественные демонстрации во всех крупных городах и, между прочим, со стороны враждебных России партий. Внутри России произойдет крайнее недоумение и смущение». Рассудив, что обер-прокурор справедливо опасается разрушительных последствий от цензурного преследования Каткова, государь ограничился выговором журналисту в личной беседе. При этом важно отметить, что даже в ходе этой личной беседы Катков не открыл государю, кто из представителей Министерства иностранных дел был источником сведений, опубликованных в вызвавшей недовольство статье.

Хотя необходимо отметить, что и сам Победоносцев к этому времени считал, что «Катков забывается, и принимает тон, несоответственный с его положением», однако вину за это обер-прокурор возлагал в большей степени на чиновников, которые «поставили его в положение ненормальное и вскружили ему голову», создав такое положение дел, в котором «всякий забудется» [34, с. 218–219]. Далее обер-прокурор Синода так рассуждает о творческой биографии Каткова: «Вся сила Каткова в нерве журнальной его деятельности, как русского публициста и притом единственного, потому что все остальное – мелочь или дрянь, или торговая лавочка. Но зачем было делать из Каткова государственного человека?.. Этим его испортили и вывели его из пропорции. Он писал превосходные статьи, но можно было им радоваться, а не делать из них государственного события» [34, с. 220].

Разразившая в марте 1887 года история с приостановкой «Московских ведомостей» была не только результатом самоуверенной горячности Каткова, но и следствием сложной игры придворных интриг. Обрушившееся на публициста недовольство государя и перспектива возможной утраты благорасположения высших сфер фатально подействовали на состояние здоровья Каткова, давно и неизлечимо болевшего. Катков тяжело переживал свою опалу, протекавшую на фоне очевидного злорадства его политических врагов. К.П. Побе-

доносцев, уговаривая государя сменить в отношении Каткова гнев на милость, обращал внимание монарха на то, что «Катков едва ли долго продержится» [34, с. 220].

Действительно, на фоне этих событий болезнь получила стремительное развитие, уже в июле 1887 года Катков был при смерти. Н.А. Любимов с тревогой писал 15 июля К.П. Победоносцеву: «До сих пор нет вести о каком-либо знаке внимания сверху к нашему великому умирающему... Это жаль в интересе самой власти, находившей в таланте и авторитете Михаила Никифоровича такую поддержку. Жаль тем более, что перипетии последнего времени имели сильнейшее влияние на развитие болезни Михаила Никифоровича. Хорошо ли будет потом вспомнить, что Катков умер как бы в забвении сверху?» [34, с. 246–247]. Каткова не стало спустя пять дней после этого письма, 20 июля 1887 года Император направил телеграмму с соболезнованиями вдове. Телеграмма в обществе была воспринята как знак примирения власти со строптивым публицистом, как писал И.Д. Делянов в письме Победоносцеву, «все русские люди и приверженцы самодержавия как-то ободрились» [34, с. 248]. В телеграмме, обращаясь к вдове, государь назвал смерть Каткова «вашей и нашей утратой», а о заслугах покойного выразился так: «Сильное слово его, одушевленное любовью к отечеству, возбуждало сердца и укрепляло мысль в смутные времена» [34, с. 247].

По смерти Каткова в 1887 году его биография стала предметом идеологической борьбы, как и его репутация при жизни. Соратники и поклонники покойного публициста поспешили увековечить память о нем в работах откровенно апологетического характера. Рассказ Н.А. Любимова изначально не претендовал на объективность изложения и уже в названии заявлял отношение автора к персонажу. В книге, озаглавленной «М.Н. Катков и его историческая заслуга. По документам и личным воспоминаниям Н.А. Любимова», речь с первой главы шла об изложении «борьбы и побед великого публициста, жизнь которого богата умственными и нравственными подвигами» [19, с. 16], а сам текст носил эмоциональный задушевный характер, который автор, не обинуясь, объяснял тем, что «немного было в жизни у меня людей столь дорогих и близких как Катков и Леонтьев, немного, думаю, более меня близких было и у них» [19, с. 17].

Труд правоведа С.Г. Щегловитова, опубликованный им под псевдонимом С. Неведенский, был на первый взгляд отстраненной попыткой взвешенного анализа творческой биографии Каткова. Книге даже был предпослан латинский эпиграф «без гнева и пристрастия», автор определял жанр своего труда как «исследование», но на деле его изложение тоже было запечатлено духом несомненной симпатии к своему персонажу.

Однако политические оппоненты Каткова, разумеется, не могли согласиться с сугубо позитивной оценкой роли публициста и стремились преподнести публике свой взгляд на роль Каткова в русской журналистике и государственной политике. Для Биографической библиотеки Ф. Павленкова либеральный петербургский журналист, сотрудник, а в будущем редактор журнала «Нива» Р.И. Сементковский подготовил очерк о Каткове. В своем произведении Сементковский стремился доказать, что журналистская деятельность Каткова была бесплодна, а предшествовавший ей сорокалетний период жизни ничем не примечателен, что Катков был карьеристом от литературы, человеком поверхностных мнений, и просто «ловким малым», прославившимся по воле случая.

Цензор счел, что очерк Сементковского полон сведений, «фальсифицирующих выдающуюся личность Каткова», нацеленных на то, чтобы доказать, что деятельность его «не может представлять никакого интереса ни с научной точки зрения, ни в смысле развития и расширения вынесенного нами государственного опыта» [39, л. 44]. Петербургская цензура книгу запретила, основываясь на выводах цензора о том, что очерк этот есть ловко задуманный ход врагов государственного порядка, нацеленный на распространение «шаткости» в народе, и «если условленная фальсификация значения и заслуг исторических

деятелей наших на любом поприще влечет за собою извращение разумения и – сказать ли – частичную фальсификацию нашей отечественной истории, – то с этой точки зрения становится обязательным желать и просить, чтобы рассмотренный «очерк» г. Сементковского не был дозволен к печати» [39, л. 44].

Издатель Ф.Ф. Павленков сделал попытку провести книгу через Дерптское отделение цензуры, проигнорировав решение цензуры петербургской. Благодаря этому маневру книга попала книгопродавцам и часть тиража успела разойтись, прежде чем спохватилось Главное управление по делам печати. Оставшийся тираж был арестован и препровожден в столицу, где и хранился до 22 октября 1910 года, когда по представлению министра внутренних дел император снял арест с издания и приказал возвратить конфискованные экземпляры наследникам Павленкова. Власть и после смерти Каткова долгие годы трепетно охраняла память влиятельного публициста-государственника от критических посягательств со стороны его идейных оппонентов.

Тот факт, что даже во время правления Николая II в государственной политике России чувствовалось мощное влияние идей Каткова, неоднократно подчеркивает в дневнике А.А. Половцов. В записи от 15 августа 1898 года он пишет: «Государь исполнен благих намерений; при словесном докладе соглашается со всем тем, что ему говорят, но когда вслед за тем ему представляют письменные доклады, то на этих докладах являются совсем иного смысла резолюции, внушаемые отголосками Каткова, Толстого, Делянова» [30, с. 212]. Много позже, в 1906 году, размышляя о причинах кризисного состояния империи, он отметит, что главным виновником сложившегося положения считает Александра III, чья политика формировалась «вследствие назидания Победоносцева, Каткова и К°» [30, с. 532].

Заключение

Истоки специфического положения Каткова в политической картине России второй половины XIX века напрасно искать в особом характере его издательской деятельности и уж тем более не стоит приписывать его огромное политическое влияние уникальному публицистическому дарованию. Литературные способности в обществе второй половины XIX века могли дать известность, создать репутацию, принести неприятности, обернуться ссылкой, но прямого влияния на ход государственных дел оказать не могли.

Безусловно талантливый публицист, самобытный мыслитель и прагматичный политик, Катков только на заре своей общественной деятельности поддался обаянию всесилия общественного мнения. Уже к середине 1860-х годов он сетует на шаткость мнений и неуправляемость общественных инициатив. Отсутствие консолидации и антиправительственная направленность политической публицистики, чреватые дестабилизацией государства, приводят Каткова к идее, характерной для многих политиков «державников», – в интересах общего блага общественным мнением можно и должно пренебречь. «Московские ведомости» отныне – не газета для общества, а газета для правительства, инструмент давления на бюрократический мир, а не убеждения широких масс.

Газета имела узкий круг высокопоставленных читателей, которые черпали в передовицах Каткова аргументацию для своих действий или проверяли направление общего политического движения верхов, сообразовывая с ним свой личный политический курс. Газета была сердцем определенной бюрократической партии, в которой многие были обязаны Каткову своим продвижением наверх, другие дорожили его расположением как гарантией стабильности своего общественного положения. Главное, что эти практические вершители судеб государства видели в Каткове своего идейного вождя и вдохновителя, а падение тиража и беснующаяся ненависть большинства читающей публики не имели зна-

чения. В сущности, начиная в 1870-х годов настоящим полем деятельности Каткова была не публицистика, а бюрократическое закулисье, и это был его осознанный выбор.

Другой знаменитый консервативный публицист – И.С. Аксаков – гордился тем, что, имея по рождению и семейным связям обширные придворные знакомства, гораздо более весомые, чем Катков, он, в отличие от последнего, ко двору почти не ездил и взаимодействий с чиновным миром не искал. Аксакова всецело занимал мир идей, его целью было влиять на духовное состояние будущих поколений, поэтому его орудием была политико-философская публицистика. А Катков заботился, как умел, о пользе сегодняшнего дня и буднях имперской государственности, так что этот инструмент для него оказался непригоден. Об этом пишет в одном из писем их современник К. Леонтьев: «Он [Аксаков. – *О.К.*], видимо, слишком верил в хорошие качества русского народа, русского племени, – русского духа. – Катков, видимо, не очень-то в них верил. <…> Катков верил в силу и будущность Государства русского; и для укрепления его не слишком разбирал средства…». Леонтьев сравнивает Каткова с энергичным военачальником, который «ввиду наступающего неприятеля, не находит возможным “убеждать” высокими речами заробевших бунтующих солдат; некогда! Он разбивает сам рукой голову одному, бьет по лицу другого; – ругает третьего; – ласково ободряет остальных и кратко взывает к их патриотизму. – И.С. Аксаков во время пожара читает благородную лекцию о будущей пользе взаимного страхования в любви. – Бог с ним в такую минуту» [38, с. 304].

Вероятно, поэтому не удавалось и возродить политическое влияние «Московских ведомостей» после смерти Каткова, и не в бедности публицистического дарования Л.А. Тихомирова или С.Ф. Шарапова тут было дело, а в том, что красота и аргументированность «громовых» передовиц сами по себе не имели значения, если не подкреплялись умелой интригой.

Литература

1. Весть. 1865. 23 декабря.
2. «Виселица» – революционные листовки о Парижской Коммуне: подпольная печать 70-х годов / предисл., публ. коммент. С. Валка. «Периодические листки» Н.П. Гончарова // Литературное наследство. М., 1931. Т. 1. С. 162.
3. *Витте С.Ю.* Воспоминания: в 3 т. Т. 1 (1849–1894): Детство. Царствования Александра II и Александра III. Таллинн; М.: Скиф-Алекс, 1994.
4. Выдержки из писем некоторых лиц // ГАРФ. Ф. 109 (Третье отделение). Оп. 1. Д. 1969.
5. *Герцен А.И.* Собр. соч.: в 30 т. / под ред. В.П. Волгина. М.: Изд-во Академии наук СССР. 1956. Т. 17.
6. Дело об избрании Статского Советника Каткова в почетные члены Университета // ЦИАМ. Ф. 418 (Московский Императорский университет). Оп. 32. Д. 154.
7. Дело о правительственном сообщении // РГИА. Ф. 1162. Оп. 1. ОдГС 1882 г. Д. 8.
8. *Деревягина Е.В.* К цензурной истории «Московских ведомостей» М.Н. Каткова // Просветительская миссия журналистики. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С. 62–74.
9. Деятели отечественной истории: Биографический справочник / сост. А.П. Шикман. М.: Наука, 1997. С. 452.
10. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел / под ред. П.А. Зайончковского. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. Т. 2.
11. Донесение Московского обер-полицмейстера генералу Потапову от 1 мая 1863 г. // ГАРФ. Ф. 109 (Третье отделение). Оп. 38. Д. 23. Ч. 84. Л. 81–83.
12. *Дорошевич В.М.* Воспоминания. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
13. *Кантор В.* М.Н. Катков и крушение эстетики либерализма // Вопросы литературы. 1973. № 5. С. 23–35.
14. *Кантор Р.М.* Кризис «Московских ведомостей» в 1866 г. СПб., 1922. 9 с.
15. *Катков М.Н.* Письмо Александру II // РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 705.
16. *Китаев В.А.* От фронды к охранительству: Из истории русской либеральной мысли 50–60-х гг. XIX века. М.: Мысль, 1972. 288 с.
17. *Кругликова О.С.* Передача газеты «Московские ведомости» на правах аренды М.Н. Каткову в 1863 г. (политический контекст и финансовые условия контракта) // Вестник СПбГУ. 2007. Сер. 9. № 4-2. С. 248–255.
18. *Кругликова О.С.* Публицистика и общественная деятельность М.Н. Каткова. Публицист и власть. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 208 с.

19. *Любимов Н.А.* Катков и его историческая заслуга. СПб.: Общественная польза, 1889. 356 с.

20. *Мещерский В.П.* Мои воспоминания. М.: Захаров, 2003.

21. *Мещерский В.П.* Письма в Тверитино // «Русский вестник». 1897. № 8.

22. [*Милютин Д.А.*] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина, 1863–1864 / под ред. Л.Г. Захаровой. М.: Росспэн, 2003.

23. М.Н. Катков и П.А. Валуев в их переписке // Русская старина. 1915. № 8, 9.

24. *Неведенский С.* Катков и его время. СПб., 1889. 567 с.

25. *Никитенко А.В.* Дневник: в 3 т. М.: Захаров, 2005.

26. Переписка Н.А. Любимова с М.Н. Катковым // ГАРФ. Ф. 1718 (Катков). Оп. 1. Д. 6.

27. Переписка с московским генерал-губернатором Долгоруковым министра внутренних дел П.А. Валуева об утверждении в должности ректора Московского Университета Тихонравова // ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 1238.

28. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки / сост. М.Н. Покровский. М.: Гос. изд-во, 1923.Т 1.

29. *Победоносцев К.П.* Письма к Е.М. Феоктистову // Литературное наследство. Т. 22–24. М., 1935.

30. *[Половцов А.А.]* Дневник государственного секретаря А.А. Половцова: в 2 т. Т. I. 1883–1886 гг. Т. II. 1887 -1892 гг. / ред., биогр. очерк и коммент. П.А. Зайончковского. М., 1966.

31. Правительственный вестник. 1872. № 47.

32. Разумевающие верой: Переписка Н.П. Гилярова-Платонова и К.П. Победоносцева (1860–1887). СПб.: Росток, 2011.

33. *Санькова С.М.* Государственный деятель без государственной должности: М.Н. Катков как идеолог государственного национализма: Историографический аспект. СПб.: Нестор, 2007. 298 с.

34. Тайный правитель России: К.П. Победоносцев и его корреспонденты: письма и записки, 1866–1895. М.: Русская книга, 2001.

35. *Твардовская В.А.* Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Катков и его издания). М., 1978. 367 с.

36. *Толстой Д.А.* Письма Е.М. Феоктистову // ОР ИРЛИ РАН. Ед. хр. 9108.

37. *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы: Воспоминания // За кулисами политики (Е.М. Феоктистов. В.Д. Новицкий. Ф. Лир. М.Э. Клейнмихель). М.: Фонд Сергея Дубова, 2001.

38. *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский дом, 2012. 782 с.

39. Цензорский рапорт о рукописи Р.К. Сементковского // Дело о рассмотрении рукописей разных авторов / РГИА. Ф. 776. Оп. 20. Д. 1192.

Аннотация. В статье рассматривается феномен влияния редактора газеты «Московские ведомости» М.Н. Каткова на ход внутриполитических процессов пореформенной России. В основе исследования лежат воспоминания и переписка высокопоставленных чиновников этого времени (П.А. Валуева, А.И. Головнина, Е.М. Феоктистова, К.П. Победоносцева, Д.А. Толстого и др.), а также делопроизводственные документы политической полиции и цензурного ведомства. На основании анализа этих документов автор приходит к выводу о том, что начиная с 1870-х годов Катков не заботится о популярности своего издания у широкого читателя, а преимущественно ориентируется на расширение своих личных связей в сфере высшей бюрократии. «Московские ведомости» становятся популярны среди узкого круга чиновничества, которое черпало в передовицах Каткова аргументацию для своих действий или проверяло направление общего политического движения верхов, сообразовывая с ним свой личный политический курс. Газета была сердцем определенной бюрократической партии, в которой многие были обязаны Каткову продвижением наверх и дорожили его расположением как гарантией стабильности своего общественного положения. Этим во многом объясняется феномен исключительного политического влияния редактора малопопулярной и малотиражной газеты.

Ключевые слова: М.Н. Катков, «Московские ведомости».

Olga S. Kruglikova, PhD in Philosophy, Associate Professor, History of Journalism Department, St. Petersburg State University. E-mail: oskruglikova@yandex.ru

M.N. Katkov's Newspaper «Moskovskye Vedomosti» (1863–1887) – the Origins and the Gist of Political Influence

Abstract. The article examines the activity of the editor of the newspaper "Moskovskye Vedomosti", M.N. Katkov, especially the phenomenon of his exceptional political influence in the post-reform Russia. The research is based on the memoirs and correspondence of high-ranking officials of this time (P.A. Valuev, A.I. Golovnin, E.M. Feoktistov, K.P. Pobedonostsev, D.A. Tolstoy, etc.), as well as the reports of the political police and the censorship. Analyzing these documents, the author comes to the conclusion that since the 1870s Katkov did not pay attention to the task of expanding his publications' popularity with the general readers, but mainly focused on expanding his personal contacts in the sphere of higher bureaucracy. «Moskovskye Vedomosti» became very popular with the limited audience, consisting of officials, who relied on Katkov for the reasoning of their actions and verified the direction of the general political movement of the upper classes in order to conform with it their personal political course. The newspaper was the focal center of the certain bureaucratic party and a lot of its members owed there career promotion to Katkov and valued his sympathy as the guarantee of their social position stability. This largely explains the phenomenon of exceptional political influence of the editor of the unpopular newspaper with limited circulation.

Keywords: M.N. Katkov, "Moskovskye Vedomosti".

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-89-118

Дмитрий Бадалян

Журналист, общественное мнение и власть: издания М.Н. Каткова в «царских обозрениях» 1860–1866 годов

Эпоха великих реформ (среди которых не первое, но и не последнее место заняла цензурная реформа 1865 года) стала и эпохой споров об общественном мнении, эпохой его поисков, формирования, борьбы за него. Если при Николае I это выражение легче всего было встретить в документах III отделения (ведь и создавали его для наблюдения «за мнением общим и духом народным» [1, с. 6]), то в первые же годы правления Александра II об общественном мнении заговорили все: западники и славянофилы, либералы и консерваторы, публицисты и чиновники [см. 2, с. 6–15]. Они спорили: возможно ли общественное мнение в самодержавной стране, и если да, то кто же его выражает?

Началось все с тоста в честь общественного мнения, произнесенного К.С. Аксаковым 26 ноября 1855 года на торжественном обеде, посвященном 50-летию сценической деятельности М.С. Щепкина [3, с. 566]. Спустя два года тот же К.С. Аксаков, провозгласив в газете «Молва»: «Общественное мнение есть великое благо и великая сила», несколькими строками далее заявил: «Естественно, что общественное мнение драгоценно для правительства, которому нужно знать, чего желает и как думает страна, им управляемая» [4, с. 381][1]. Однако власть, имевшая к тому времени немалый опыт тайного наблюдения за общественным мнением[2], пока еще плохо понимала, как иначе можно узнать и оценить это самое мнение. Власть имела органы цензуры, осуществлявшие надзор за всей печатной продукцией, власть использовала «официозы» – частные издания, поддерживаемые государственными учреждениями и проводившие их позицию, но ни одному чиновнику еще не поручали простого мониторинга прессы. Из дневника А.В. Никитенко известно, что при министре народного просвещения А.С. Норове (вышедшем в отставку 23 марта 1858 года) для императора начали составлять обозрения книг «с целью знакомить государя с нашими лучшими литературными и учеными произведениями» [6, с. 55]. Получается, для почти сорокалетнего Александра II готовили краткие пересказы беллетристики и ученых трудов, привлекших внимание публики (или отдельного министерского чиновника?). О выступлениях публицистов пока не было и речи.

[1] Из этого не следует, что славянофилы придавали обществу и общественному мнению исключительное значение. Хомяков, который считал задачей своего круга воспитание общества, еще в 1848 году утверждал: «…у нас правительство самодержавно, это прекрасно; но у нас общество деспотическое: это уж никуда не годится» [5, с. 391].

[2] Первые из подготовленных III отделением ежегодных отчетов так и назывались «Краткий обзор общественного мнения…» или «Картина общественного мнения…». Так, «Картина общественного мнения в 1830 году» утверждала: «…все писатели имеют своих многочисленных сторонников, которые взирают на них, как на оракулов общественного мнения, повторяют их рассуждения и усваивают их мировоззрение» [1, с. 66].

Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российской национальной библиотеки. E-mail: dmit.bad@gmail.com

Наконец, в декабре 1858 года, на исходе четвертого года своего правления, император распорядился о составлении для него обзоров русской журналистики. Можно было бы сказать, что это знаменательное событие: власть впервые заинтересовалась выражаемой через прессу реакцией общества на события текущей жизни, на обсуждаемые им проблемы и коллизии. Можно было бы… если бы это оказалось действительно так. Что же это были за обозрения?

1860–1862

Самые первые из приготовленных по распоряжению Александра II обзоров русской журналистики не сохранились или пока не выявлены, а вот «царские обозрения» – так позднее стали их называть – за 1860 год известны и заслуживают подробного рассказа.

Всего в 1860 году было подготовлено 12 обозрений [7, 8], в каждом излагалось содержание от четырёх до восьми публикаций современной прессы. Первое, что бросается в глаза, – частое внимание к беллетристике. В них представлен десяток новинок изящной словесности: «Накануне» и «Первая любовь» И.С. Тургенева, сатира Н. Щедрина (М.Е. Салтыкова) «Скрежет зубовный»[1], комедия Н.А. Островского «Старый друг лучше новых двух», два романа Н.Д. Хвощинской (выступавшей под псевдонимом «В. Крестовский») и т.д.

Вот, например, как рассказывалось об увидевшем свет в «Русском вестнике» романе «Накануне»: «Г. Тургенев в новой своей повести выводит на сцену трех молодых людей: бойкого, красивого, талантливого художника; человека, приготовляющегося к ученой карьере, горячо преданного науке, полного самого возвышенного самоотвержения; наконец “булгарина” с очень ограниченными познаниями, с умом обыкновенным, несколько дикого в обществе, но одаренного сильною волею и подчиняющего всю свою жизнь одной идее, одной цели: любви к своей родине. Поставленная между ними девушка отдается душою последнему, оставляет свое семейство, жертвует уважением общества и бесстрашно кидается в новую жизнь, полную тревог и опасностей, потому что избранный ею молодой человек при начале восточной войны оставляет Россию, чтобы принять участие в освобождении Булгарии» [7, л. 37–37 об.].

Резонно предположить, что обозрения 1859 года, служившие своего рода переходом от описания литературных новинок к обзорам журналистики, содержали еще более подобных пересказов сюжетов.

За весь 1860 год императору было указано на 67 публикаций, появившихся в девяти изданиях[2]. Среди них только две газеты: московский еженедельник «Наше время» (в нем было отмечено три публикации)[3] и ежедневные «Санкт-Петербургские ведомости» с одной представленной из них статьей. Среди оставшихся журналов, подчеркнем, не было ни одного консервативного издания. Впрочем, таковых в ту пору выходило крайне немного.

Наибольшее количество представленных государю публикаций имели либеральные журналы: издаваемые А.А. Краевским и С.С. Дудышкиным «Отечественные записки» (11) и «Библиотека для чтения» (7) редактируемая сначала А.В. Дружининым, затем А.Ф. Пи-

[1] На этот раз Салтыков печатался на страницах «Современника» (1860. № 1), но в 1856–1858 годы он отдал свои «Губернские очерки» и ряд других произведений для публикации в «Русском вестнике» [см. 9, с. 46–48], а в 1861 году выступил со статьей «Где истинные интересы дворянства?» в «Современной летописи» (1861. Октябрь. № 42. С. 1–2).

[2] За одну публикацию мы считали отдельно представленные в обозрении части статей, печатавшихся с продолжением.

[3] Далее число отмеченных в «царском обозрении» публикаций того или иного издания может указываться цифрой в скобках.

семским, а также социалистический «Современник» (7), где еще годом ранее руководившие отделами публицистики и критики Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов потеснили редактора Н.А. Некрасова, оставив за ним только общее руководство и беллетристику. Вслед за ними шло «Русское слово» (5), редактором которого с середины 1860 года стал Г.Е. Благосветлов, превративший журнал из умеренно-либерального в социалистический.

Однако и на фоне этих четырех изданий как бесспорный лидер выделялся тогда еще двухнедельный журнал «Русский вестник». Из него императору в течение года представили 27 публикаций! Журнал этот создал и с 1856 года выпускал М.Н. Катков, прежде в течение пяти лет служивший редактором принадлежавших университету «Московских ведомостей». Однако он решительно оставил эту газету, как только представилась возможность учредить собственное издание с ясно выраженной либеральной позицией[1].

В 1858–1860 годах в журнале Каткова печатался Г.В. Вызинский, экстраординарный профессор Московского университета, «ежедневно посещавший редакцию “Русского вестника”, тесно связанный с нею» и при этом, как вспоминал Е.М. Феоктистов, «яростный поляк, только и мечтавший о полной независимости Польши» [11, с. 228, 229]. В скором будущем он эмигрирует и станет сотрудником секретариата князя В. Чарторыйского, дипломатического представителя польского национального правительства. В ту пору «Русский вестник» печатал на своих страницах статьи Н.А. Добролюбова [12] и эмигранта кн. П.В. Долгорукова [13]. Наконец, сам Катков в 1859 году ездил в Лондон к А.И. Герцену в надежде договориться об издании совместной газеты, а в марте 1861-го принимал у себя дома Н.Г. Чернышевского.

Все это неудивительно, если вспомнить, что в канун Крестьянской реформы либеральные настроения охватили значительную часть русского общества. В это время процесс дифференциации политических направлений только начал развиваться (а активизировался он с начала 1860-х годов). Однако как можно объяснить столь явное внимание «царских обозрений» к журналу Каткова?

Оказывается, очень просто: с середины января 1860 года, сразу после утверждения должности «редактора литературных обозрений», ее занял чиновник особых поручений П.К. Щебальский [14, л. 1][2]. До этого, в 1854–1858 годах, бывший полковник-артиллерист, он служил полицмейстером Москвы и присутствующим в Управе благочиния. В то время Щебальский вошел в круг ближайших сотрудников Каткова и стал одним из авторов «Русского вестника»[3], где продолжал печататься и далее. На службу в Министерстве народного просвещения Щебальский был принят в ноябре 1858 года по протекции Ф.И. Тютчева [16, с. 309][4].

Вероятно, составитель «царских обозрений» выбирал для представления императору то, что у него самого вызывало интерес, и такое пристрастие выливалось в лоббирование журнала Каткова. Среди обозрений 1860 года нет ни одного, в котором не шла бы речь минимум об одной публикации «Русского вестника», а максимальная их «концентрация» составила пять отзывов из восьми, имеющихся в обозрении [7, л. 36–54]. По всей

[1] В.А. Твардовская справедливо указала на явный дворянско-олигархический компонент в идеологии Каткова того времени [10, с. 68, 74, 78].

[2] Так, судя по делопроизводственным документам. Однако если судить по переписке Щебальского, те же обязанности он выполнял уже с начала 1859 года [15, с. 358–359].

[3] Перечень публикаций Щебальского 1856–1860 годов в журнале Каткова см. [9, с. 45–46].

[4] Учитывая активное содействие Тютчева газете Каткова в 1863–1866 годах [см. 17, с. 528–568], было бы заманчиво увидеть в протекции, оказанной поэтом (а в то время председателем Комитета цензуры иностранной), сложную комбинацию, направленную на поддержку московского журналиста. Однако сближение Тютчева и Каткова (а возможно, и их первое знакомство) произошло позднее, в апреле 1859 года [18, с. 49]. Возможно, Щебальский, к тому времени многократно бывавший в доме у Тютчева, послужил посредником в налаживании отношений между ним и Катковым.

видимости, и московская газета «Наше время» попала в обозрения потому, что там печатался Щебальский [19, 20].

Пристрастие Щебальского проявилось еще и в том, что сам, будучи историком, он и государю предлагал обратить внимание на множество исторических статей, очерков и мемуаров (включая опубликованные в «Русском вестнике» работы С.М. Соловьева, М.И. Семевского, Н.В. Путяты и записки Л.Н. Энгельгардта). Описания их составляют почти треть общего числа. Обращение к проблемам текущего дня – собственно публицистика – насчитывает около половины отзывов. Причем изложение таких статьей занимало обычно куда более места, чем пересказ сюжетов литературных новинок.

Обозрения 1860 года показывают, что и их коронованный адресат, и те, кто готовил их для него, не считали, что единственная задача обозрений – представить обсуждаемые обществом проблемы. Иначе бы в них не попали, к примеру, рассказы об очерке «Г-жа Рекамье» Евгении Тур (Е.В. Салиас-де-Турнемир) или повести Кохановской (Н.С. Соханской) «Гайка».

Отметим и один факт, характеризующий позицию Каткова. После того как в 1859 году была запрещена газета «Парус», а одним из оснований к тому Главное управление цензуры назвало статью М.П. Погодина о внешней политике России, чиновник особых поручений Щебальский 28 февраля 1859 года увещевал ее автора: «Поверьте, что слов здесь боятся больше, чем идей. Посмотрите на “Русский вестник”: если б он заговорил о том, о чем всегда говорит тоном, который вы употребили, давно мы пели бы по нем панихиды, – а при известной ловкости выражений он еще слава Богу здравствует» [15, с. 360]. Вот эта «известная ловкость», которой и прежде, и после этого пренебрегал пытавшийся издавать «Парус» И.С. Аксаков, являлась отличительной чертой Каткова. Однако описать ее пределы – какие компромиссы позволял себе московский издатель, а на какие не соглашался – занятие чрезвычайно трудное. Всестороннее, учитывающие различные ракурсы и аспекты исследование отношений Каткова и власти еще ждет своего автора. Для его осуществления необходимо собрать большой ряд источников – личного происхождения и делопроизводственных. Здесь же мы попытаемся, главным образом, представить те данные, которые содержат «царские обозрения» как новый источник для рассмотрения этой проблемы.

Вероятно, обзоры печати 1861 года готовились так же, как и в 1860 году: их по-прежнему поручали Щебальскому с двумя внештатными помощниками. Однако «царские обозрения» за тот год (переживший смену двух министров просвещения) не сохранились. Для Каткова год крестьянской реформы – 1861-й – отмечен тем, что именно тогда он начал еженедельный выпуск «Современной летописи» в качестве отдельного приложения к своему теперь уже ежемесячному журналу.

3 января 1862 года только что приступивший к управлению Министерством народного просвещения А.В. Головнин представил Александру II обзор прессы, в котором рассказывалось о четырех публикациях. Из них две – посвященные дворянскому и крестьянскому вопросам – увидели свет в «Современной летописи» [21, л. 1–5]. С этого момента принципы создания обозрений заметно изменились. Теперь их составители лишь изредка обращали внимание на исторические материалы и еще реже – на беллетристику. Готовили эти обозрения тот же Щебальский и чиновник особых поручений П.И. Капнист. Литератор и выпускник Московского университета, он только в 1859 году перебрался в столицу. К «Русскому вестнику», где лишь однажды напечатали небольшое его стихотворение [22], Капнист не был близок. Затем к ним присоединился еще один человек из окружения Каткова, неоднократно выступавший со страниц «Русского вестника», Е.М. Феоктистов [14, л. 1 об.–2]. В недавнем прошлом московский журналист[1], он спустя два десятилетия станет главой цензурного ведомства.

[1] Перечень публикаций Феоктистова 1856–1860 годов в журнале Каткова см. [9, с. 39–40].

В 1862 году обозрения поначалу представляли императору три (изредка четыре) раза в неделю, затем два и один раз в неделю. И, наконец, пять-шесть раз, включая выходные. Такие обозрения рассказывали об одной-двух, реже трех публикациях. Иногда в них вклеивали вырезки с фрагментами печатного текста.

В тот год в «царских обозрениях» было представлено свыше 40 изданий. Если их бесспорным лидером была выходившая в столице ежедневная либеральная газета «Северная пчела» (80 публикаций), то следом за ней шла еженедельная «Современная летопись» (76), а журнал «Русский вестник» (26) находился на восьмой позиции, но был первым среди ежемесячных изданий [21, 23–25[1]].

Читая «царские обозрения», Александр II изредка оставлял на них свои пометы. Так, 6 марта он отметил карандашом сообщение: «Парижский *корреспондент* в “Современной летописи” (№ 9) порицает закрытие французским правительством лекций профессора Ренана, вследствие беспорядков, произведенных клерикалами и студентами республиканской партии». Рядом император написал: «Кто редактор? и кто корреспондент?» [21, л. 98 об.].

Это весьма примечательно в свете растиражированных заявлений о том, что «благодаря двум докладным запискам на имя министра нар<одного> просвещения Е.П. Ковалевского о цензуре К<атков> привлек внимание Александра II, после ознакомления с рядом передовых статей “Совр<еменной> летописи” удостоившего его в 1862 высочайшей аудиенции» [26, с. 510][2].

Вероятно, речь шла о записках, поданных Катковым в Московский цензурный комитет летом 1858 года и в марте 1859 года[3]. Но даже если это не так, министром народного просвещения гр. Ев. П. Ковалевский являлся с 23 марта 1858 года по 28 июня 1861 года, и позднее у него не было ни причин, ни возможности устраивать Каткову аудиенцию у императора. Более того, как видно из процитированных слов Александра II, в марте 1862 года он еще не знал, кто является редактором популярного политического еженедельника.

Головнин, запросив Московский цензурный комитет о парижском корреспонденте «Современной летописи», не дожидаясь ответа, 9 марта представил императору краткую биографическую справку о Каткове, добавив, что того «близко знают гр. Блудов и граф Строганов» [30, л. 96–98 об.][4] (но не гр. Ев. П. Ковалевский!).

Важно отметить, что к этому времени и сам Головнин не только не был знаком с Катковым, но и не считал важным знакомиться с ним. Катковские издания тогда никак не интересовали управляющего министерством. Когда же в начале мая 1862 года издатель «Русского вестника» и «Современной летописи» приехал в Санкт-Петербург и – подчеркнем – сам выразил желание увидеться с руководителем министерства, как рассказывал познакомивший их К.С. Веселовский, Головнин, обычно приветливый и утонченно-любезный, в этот раз принял на себя «вид какой-то напускной важности». В итоге, вспоминал непременный секретарь Академии наук: «Представление было не длинное и ограничилось обычным в этих случаях обменом фраз» [31, с. 397]. Михаил Никифорович, конечно же, оказался разочарован такой встречей. Очевидно, Головнин тогда еще не понимал, кто такой Катков, чтобы уделять ему особое внимание.

[1] В составе последнего дела находится обозрение за 14 июля 1862 года [25, л. 130–132 об.].

[2] О том же см. [27, с. 231]. Д.И. Олейников и В.А. Твардовская выразились несколько лаконичнее: «…в 1862 К<атков> впервые принят имп<ератором> Александром II и получил доступ в правит<ельственные> сферы» [28, с. 523].

[3] См. о них [29, с. 75–116].

[4] Добавим, что в 1861 году Каткову с одобрения гр. Д.Н. Блудова было предложено стать редактором «Санкт-Петербургских ведомостей», но он сверх меры затянул с ответом на это предложение [31, с. 395–396].

1862. Катков vs Герцен

Имя Герцена как государственного преступника было запрещено употреблять в печати, не дозволялась также критика на непропущенные цензурой произведения. Однако именно в 1862 году такое положение стало постепенно меняться, и оказались возможны споры с «беглым апостолом революции». С подсказки самого Герцена, эти споры стали интерпретироваться историками как изначально организованная властью кампания[1]. Причем инициированная и организованная именно Головниным. Такую версию выдвинул в 1904 году М.К. Лемке, хотя термин «кампания» он не употреблял [33, с. 141–155]. В соответствии с этим подходом антигерценовские выступления Каткова 1862 года стали представлять как результат его соглашения с правительством[2]. Однако неизвестно ни одного делопроизводственного источника, указывающего, что именно Головнин положил начало противостоянию с Герценом в русской печати.

Еще в 1897 году кн. Н.П. Мещерский, обращаясь к событиям 1862 года, утверждал: Головнин «успел убедить правительство, что допущение в печати гласного возражения на герценовские произведения представляло величайшую опасность, что для блага России требовалось, чтоб имя Герцена вовсе не являлось в печати» [34, с. 5]. С возражениями на эти слова тут же откликнулся бывший председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета и друг Головнина В.А. Цеэ. По его воспоминаниям выходит, что именно он, Цеэ, вместе с Головниным внедрил в сознание властей мысль о необходимости открытой борьбы с Герценом в прессе [35, с. 274–277] (вслед за ним тезис о ключевой роли Цеэ повторили Рудаков [36, с. 526–527] и Стаферова [37, с. 157]).

Между тем, идея публичной полемики с герценовским изданием уже несколько лет обсуждалась во властных сферах [33, с. 141; 38, с. 93–94]. Цеэ, прежде служивший в Государственном контроле, был назначен на новую должность только 10 марта 1862 года и был уволен с нее 24 мая 1863 года [39, с. 372; 40, с. 986]. Поэтому то, что обсуждалось и делалось до него в сфере цензуры, и то, что происходило за пределами его компетенции он мог представлять главным образом со слов Головнина. Вопрос же об организации кампании против Герцена, если бы таковой обсуждался, не мог быть решен без ведома императора, а также переговоров с начальником III отделения и министром внутренних дел.

Лемке, а за ним и другие историки легко приняли тезис о решающей роли Головнина в организации борьбы с Герценом, не имея никаких тому документальных подтверждений. Между тем, существует источник, который позволяет сделать совершенно иной вывод. Это записка Цеэ, представленная им 27 мая 1862 года Головнину, который затем передал извлечение из нее министру внутренних дел П.А. Валуеву[3].

[1] По поводу только-только начинавшейся полемики с ним в прессе Герцен заявил: «Почти все владеющие пращею в русской журналистике, явились один за другим на высочайше разрешенный *тир* и побивают нас…» [32, с. 220]. Слова эти увидели свет в «Колоколе» 15 августа (3 августа по юлианскому летоисчисления) 1862 года, через неделю после появления из печати «Заметки для издателей “Колокола”» Каткова и еще до знакомства с нею Герцена.

[2] Так, В.Г. Чернуха писала, что издателю «Русского вестника» и «Современной летописи» «предложили начать полемику» с Герценом и «он с готовностью за это взялся» [2, с. 151].

[3] О последнем обстоятельстве говорит содержание извлечения: его составила часть, непосредственно касающаяся Валуева, так как в ней обсуждалась возможность полемики с «Колоколом» в «Северной почте», официальном издании Министерства внутренних дел. Хранящееся в фонде Валуева Рукописного отдела ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН извлечение представляет собой записку без заглавия, выполненную писарским почерком с незначительной карандашной правкой, вероятно, рукой Головнина. В описи РО ИРЛИ авторство записки было приписано Головнину, а сама она озаглавлена «Мысли о “Колоколе”» [41]. Извлечение опубликовано Е.П. Федосеевой по копии, хранящейся в ОР РНБ [см. 42, с. 680–681].

Записка Цеэ была составлена в связи с обсуждением содержания готовившегося в то же время доклада Валуева «О принятии некоторых мер для противодействия путем печати нынешнему направлению литературы и общественному настроению умов». Позднее министр внутренних дел сообщил императору, что свою записку он готовил «по предварительному соглашению» с Головниным и заведующим делами Совета министров [43, л. 5].

Извлечение из записки Цеэ служит ответом на предложение об открытой полемике с герценовским изданием. Автор записки, а вслед за ним и Головнин рассуждали таким образом: «…для точного и положительного опровержения какой-нибудь мысли надобно представить ее ясно и полно на суд читателя <…>. Следовательно, при таком способе действий придется почти целиком перепечатывать в “Северной почте” статьи лондонского журнала <…> но если делать это часто, что, без сомнения, потребует самое свойство и направление “Колокола”, то не будет ли это тождественно допущению этого журнала к всеобщему чтению в России?» [42, с. 680].

По сути, Головнин (пользуясь аргументами своего друга и подчиненного) отговаривал Валуева от вступления в систематическую борьбу с революционной пропагандой. Быть может, он имел в виду какие-то иные конкретные меры противостояния Герцену? Нет, в заключение он убеждал, что «лучший способ парализовать пагубное влияние “Колокола” и подобных ему журналов есть постепенное неуклонное удовлетворение законным и справедливым желаниям общества и твердое направление современной литературы к успокоению умов» [42, с. 681].

Итак, из записки следует: это не Головнин, а министр внутренних дел Валуев (который в 1862 году готовился принять цензуру в свое ведение) предлагал активно использовать прессу в борьбе с Герценом. Однако он не был в том последователен, и аргументы, выдвинутые председателем Санкт-Петербургского цензурного комитета и управляющим Министерством народного просвещения, возымели силу: ни в «Северной почте», ни в прочей русской прессе развернутого изложения актуальных на тот момент герценовских статей не появлялось. Начавшаяся вскоре полемика с издателем «Колокола» зачастую имела абстрактный характер, то есть речь велась о его позиции в целом. Исключение делалось только для статей более чем десятилетней давности, вроде «С того берега», и именно в покровительствуемой Валуевым газете «Наше время» (о чем см. далее).

Записка же Валуева была представлена 5 июля в Совете министров, и 12 июля 1862 года министр внутренних дел передал ее для резолюции Александру II [43, л. 5]. Судя по воспоминаниям гр. Д.А. Милютина, никаких конкретных мер борьбы с герценовской пропагандой в этой записке не предусматривалось и, скорее всего, имя «беглого апостола революции» в ней не упоминалось, словно оно растворилось в более широком понятии «неблагонамеренное направление»[1]. И хотя никаких других равных по влиянию издателю «Колокола» «неблагонамеренных» журналистов власти не видели, они вели себя так, будто боялись упоминать его имя. Тем не менее, делая шажок за шажком, вскоре власти неожиданно для себя оказались в состоянии войны с Герценом.

То, что действительно сделал Головнин для борьбы с лондонским эмигрантом, – обратил внимание на две полемизирующие с ним брошюры Д.К. Шедо-Ферроти (барона

[1] Подлинник этой записки неизвестен. В мемуарах Д.А. Милютина ее содержание резюмируется таким образом: «Статс-секретарь Валуев не находил для того иных средств, кроме следующих трех предложений: во-первых – подтвердить цензорам, чтобы усугубили строгость; во-вторых – поставить в обязанность всем министрам, в ведении которых издаются официальные журналы, помещать в этих изданиях статьи в разъяснение мер, принимаемых или предположенных правительством для улучшения разных отраслей администрации и законодательства; и в-третьих – внушить частным редакторам повременных изданий более справедливое и благонамеренное направление. Вот все, что было придумано в такое время, когда обстоятельства требовали энергических мер. Особенно третий из приведенных пунктов бросается в глаза своей наивностью» [44, с. 359–360].

Ф.И. Фиркса), которые были напечатаны в Берлине в августе и декабре 1861 года [45, 46][1]. Через полтора месяца службы в должности управляющего министерством, около 10 февраля, Головнин получил от императора разрешение на продажу второй, отпечатанной на двух языках брошюры Шедо-Ферроти («Письмо А.И. Герцена к русскому послу в Лондоне…») [47, л. 1]. Затем, после повеления Александра II о пересмотре запрета на другие произведения этого автора, Комитет цензуры иностранной 18 марта отменил наложенный на них запрет, однако Головнин не знал об этом до конца мая [48, л. 2–3].

Когда же 4 мая 1862 года петербургский владелец книжного магазина П.П. Крылов попросил разрешения на переиздание второй брошюры Шедо-Ферроти, он получил решительный отказ Головнина, который при этом заявил, что точно также он ответил на просьбы московских книгопродавцев [49, л. 1–2]. (Вышедшие же в Берлине в 1862 году четыре новых издания этой брошюры продавались в России беспрепятственно.) Насколько эффективна была эта брошюра для борьбы с революционной пропагандой, позднее рассказывал С.Г. Щегловитов: «почитатели Герцена» покупали ее из-за содержащихся в ней статей последнего. Страницы с текстом своего кумира они вырывали прямо в магазине [50, с. 142].

21 апреля Московский цензурный комитет попросил у Головнина разрешения на публикацию в газете «Наше время» полемического письма Б.Н. Чичерина к Герцену 1858 года, прежде увидевшего свет в «Колоколе» [51]. Переадресовав эту просьбу императору и получив его ответ, Головнин уже 23 апреля дал согласие на печать [52, л. 1–2; 30, л. 257; 42, с. 684–685]. Теперь для выхода письма в свет не существовало никаких препятствий, да и оно было уже набрано (вместе с просьбой о печати в Петербург отправили корректурные листы), однако его публикация в газете не состоялась. Возможно, сам автор решил пойти менее заметным и скандальным путем: напечатал это письмо-статью лишь в составе сборника, увидевшего свет осенью того же года [53, с. 9–19].

26 апреля управляющий министерством снова обратился к императору с просьбой. На этот раз – позволить распространение напечатанной в Берлине «брошюры цензора Елагина», то есть изданного в 1859 году сборника «Искандер Герцен»[2]. При этом Головнин добавлял: «…на том же основании, что и распространение брошюры Шедо-Ферроти» [30, л. 255; 42, с. 683]. И это лишний раз показывает: никакого четкого планы борьбы с Герценом Головнин императору не представлял, он лишь ссылался на предыдущий случай как на прецедент.

О том же двумя годами позже свидетельствовал и Катков: «Г. Шедо-Ферроти, кажется, думает, что в 1862 году было разрешено писать о г. Герцене в России. Это не совсем точно. В России пропущена была его брошюрка из-за границы, но по внутренней цензуре не было сделано никакого распоряжения о том, чтобы пропускать что-либо относящееся к этому предмету. Тем не менее, когда эта брошюрка появилась в русских книжных лавках, мы сочли и себя вправе заговорить» [54][3].

Никак не связано с Головниным появление в «Вятских губернских ведомостях» от 21 апреля давней речи Герцена. Она представляла собой выступление на открытии Вятской публичной библиотеки в 1837 году и увидела свет без ведома столичных властей[4]. В ней будущий революционер заявлял, что именно своим правителям Россия обязана раз-

[1] Подробнее см. [33, с. 142–150].

[2] Изданный на средства П.Д. Дягилева с предисловием Н.В. Елагина сборник из четырех анонимных статей, направленных против деятельности Герцена, включал три статьи Елагина и одну – П.С. Казанского.

[3] Катков подразумевает здесь, что выпущенные заграницей издания подлежали рассмотрению Комитетом цензуры иностранной, а издания, выходящие в Москве, – ведению Московского цензурного комитета, который подчинялся Главному управлению цензуры.

[4] Цензурой местных ведомостей должна была заниматься губернская администрация [55, с. 34–43]. Однако речь Герцена появилась в печати, вероятно, помимо ее ведома [56, с. 141].

витием просвещения и славил тогдашнего государя за учреждение большого числа подобных библиотек [57]. Спустя более полмесяца после публикации этой речи, с разрешения председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета, ее перепечатала на своих страницах петербургская газета «Северная пчела» [58][1]. Первоначальная же публикация была представлена в «царском обозрении» 11 мая [23, л. 18–18 об.]. Губернские власти об этом, разумеется, не могли знать и, как указывает В.Б. Помелов, публикация речи Герцена стоила редактору неофициальной части газеты Н.И. Золотницкому «увольнения с поста редактора и ссылки в слободу Кукарка» (Вятской губернии) [56, с. 141].

Стремясь из управляющего министерством стать полноправным министром, Головнин старался демонстрировать эффективность принимаемых им мер, чему должны были служить «царские обозрения», а также отдельные публикации, которые время от времени он передавал императору. Однако при этом новый управляющий вел себя весьма двойственно. Даже если у него была программа действий в отношении к печати (что весьма сомнительно), он неминуемо запутался в противоречиях: с одной стороны, желание слыть поборником прогресса и реформ (отсюда его теплые отношения с социалистическим «Современником»), с другой – непреложная воля императора. Представляя ее, Головнин на первом же заседании Главного управления цензуры заявил: «…государю угодно, чтобы цензура усилила свою бдительность и строгость против периодической литературы» [6, с. 254]. Воля монарха требовала противостоять системе «неблагонамеренной литературы», по сути революционной пропаганды, сформированной в первую очередь Герценом.

В то же самое время в русском обществе существовал слой, для которого и Герцен, и Головнин казались «своими». Через месяц с небольшим после того как последний приступил к обязанностям министра, 30 января (11 февраля) 1862 года И.С. Тургенев из Парижа обращался к издателю «Колокола»: «…прошу тебя убедительно, не трогай пока Головнина. За исключением двух, трех вынужденных и то весьма легких уступок, всё что он делает – хорошо. <…> Я получаю очень хорошие известия о нем. Не беспокойся; если он свихнется, мы тебе его “представим”, как говорят мужики, приводя виновных для сечения в волость» [59, с. 334][2]. Действительно, вскоре Головнин проявил готовность «легализовать» прежде уже публиковавшиеся в России произведения Герцена, включая «Письма из Франции» 1847 года: не позднее 12 апреля он обнадежил издателя Д.Е. Кожанчикова, что выхлопочет разрешение на их печать [61, с. 273]. Однако вскоре Кожанчиков за связь с Герценом и В.И. Кельсиевым попал под следствие и, хотя на «процессе 32-х» он был оправдан, издание не состоялось.

Отношение Головнина к государственному преступнику не покажется удивительным, если вспомнить, что годом ранее, в апреле 1861 года, точно также как Тургенев заступался за нового руководителя ведомства просвещения, С.С. Громека ходатайствовал за гр. П.А. Шувалова, незадолго перед тем вступившего в должность начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III отделением. Громека просил Герцена пощадить графа, который, добавлял он, «боится и уважает общественное мнение, т.е. вас» [62, с. 116, 118]. Как резонно предположила В.А. Чернуха, делалось это по просьбе самого Шувалова [2, с. 15].

[1] Цеэ рассказывал, что цензор газеты не решился пропустить эту перепечатку, и тогда редактор газеты П.С. Усов обратился за разрешением к нему и немедленного его получил [35, с. 275].

[2] Ф.Ф. Воропонов, оказавшийся летом 1862 года на съезде уездного дворянства, позднее вспоминал: «Проникали в эту среду и передавались из рук в руки также нумера лондонского “Колокола”, возбуждавшие интерес не только у либералов, но и у иных крепостников, у которых временами проскальзывали даже мысли о конституции <…> Герценом восхищались и такие помещики, которые год спустя переносили свои хвалы на деятельность Муравьева в Вильне» [60, с. 25].

В таком раздвоенном состоянии вряд ли можно было найти идеи для полемики с журналистом-эмигрантом, статьями которого зачитывались тогда все «просвещенные» люди, включая высших чиновников и членов Государственного совета. Так, Н.П. Мещерский вспоминал о периоде рубежа 1850–1860-х годов: «…при очевидном содействии петербургских канцелярий, этот “Колокол” пользовался услугами почты. Только нежелавший его не получал (мнимо тайными путями). <…> Рассказывали, что о нем часто была речь при Дворе, что как-то, на разводе, Государь громко поздравил одного генерала с тем, что он попал в “Колокол”…» [34, с. 5]. Сенатор К.Н. Лебедев писал: «Шедо-Ферроти уверяет, что “Колокол” порядочные люди не читают. Это не справедливо. Его читают двор, министры и многие, правда, морщась» [63, с. 408]. Талант Герцена был бесспорен, а что ему могло противопоставить окружение Головнина и его подчиненные?

Знаком новой, меняющейся эпохи стали пока еще единичные случаи появления имени Герцена в периодической печати. К примеру, в «царском обозрении» 12 мая Александру II сообщили об «отрывках из собрания вотских молитв», которые в 1838 году были записаны и опубликованы Герценом в «Вятских губернских ведомостях», а в 1862 году снова опубликованы этой газетой и 6 мая перепечатаны в «Русском листке» (№ 18. С. 153–154). Никакого контрпропагандистского эффекта эта перепечатка не имела, тем не менее на нее посчитали нужным обратить внимание монарха [23, л. 20–20 об.].

В этой-то ситуации появилась нашумевшая статья Каткова в «Русском вестнике». Однако прелюдией к ней послужили публикации в «Современной летописи». 19 апреля там в рассказе о брошюре Шедо-Ферроти впервые был назван по имени его оппонент: «Москва читает письмо г. Герцена, известного русского “réfugié”, к русскому посланнику в Лондоне и комментарии на это письмо г. Шедо-Ферроти» [64, с. 29][1]. Очевидно, здесь редактор еженедельника воспользовался возможностью рассказывать о содержании издания, на совершенно законном основании распространяемого в России.

Почти месяц спустя, 17 мая, в финале своей передовой статьи Катков заявил об анархическом состоянии общественного мнения, при котором сохраняется возможность «агитировать кому вздумается, какому-нибудь свободному артисту»: действуя от имени русского народа тот «вербует себе приверженцев» и «высылает их на разные подвиги, которые кончаются казематами или Сибирью», при этом сам находится «в безопасности, за спиною лондонского полисмена» [65, с. 13]. Разумеется, Герцен, чей «Колокол» еще с апреля метал критические стрелы в издателей «Русского вестника» и «Современной летописи», узнал себя и не оставил этой статьи без ответа [66, с. 123–126; см. 67, с. 396–397]. В это время и в последующие дни мая противостояние с беглым социалистом приобрело небывалую остроту и напряженность. Ведь результаты революционной пропаганды стали ощутимы как никогда прежде. В мае 1862 года получила распространение «Молодая Россия» – прокламация, авторы которой первыми заявили: их цель «революция кровавая и неумолимая» [68, с. 144]. И вслед за тем сразу в нескольких местах Петербурга вспыхнули катастрофические по масштабам пожары, про которые тут же заговорили, что это дело рук студентов-нигилистов.

С повсеместных толков о пожарах и начиналась новая статья Каткова, в которой он снова рассуждал о réfugiés (из них по имени был назван на этот раз лишь Н.П. Огарев). Статья эта не могла не уязвить Герцена. Ведь говоря о «русских агитаторах, проживающих комфортабельно за морями», ее автор восклицал: «…разве то, что они делают, не те же поджоги? Или они так невинны, что не понимают, к чему клонятся их манифесты? Или

[1] Réfugié – эмигрант, беглец (*фр.*). На титуле еженедельника не указывалась точная дата выхода, а только год и месяц. Исследователи часто датируют номера согласно числу и месяцу, указанным в начале передовых статей и в цензурных разрешениях, однако они, как правило, приходятся на среду, а «Современная летопись» выходила по четвергам.

они думают, что возбуждать стихийные страсти <…> не значит поджигать, особенно когда проповедники живут весело в сторонке и еще менее обыкновенных поджигателей рискуют своею особой?» [69, с. 12].

Реакцию высшего московского общества на эту, вероятно, публикацию Н.М. Мещерский описывал со слов Каткова: «Михаил Никифорович мне рассказывал, что вслед за появлением первой его статьи о Герцене ему пришлось быть на каком-то торжестве. “Вхожу я и вижу, что для официального мира я какой-то очумленный. Все бегут от меня, и прежде всех и дальше всех убежал – жандармский полковник…“» [34, с. 5].

Еще более шокирующее впечатление статья Каткова должна была произвести на столичное общество, передовой частью которого стремился представить себя новый управляющий министерством, усиленно создававший себе репутацию либерального деятеля. Феоктистов свидетельствовал: «Головнин искренно преклонялся пред теориями, процветавшими у нас в шестидесятых годах, хотя, с другой стороны, к этому примешивался и расчет: теории эти имели большой успех в среде нашей жалкой интеллигенции, а ему очень хотелось заручиться ее расположением. Он <…> думал найти эту опору в тогдашнем настроении так называемого “общественного мнения”» [11, с. 87][1]. Поэтому и Шедо-Ферроти в протежируемой Головниным брошюре прежде чем вступить в полемику с Герценом, поспешил рассыпаться в комплиментах ему[2]. Катков же вступил не в полемику, а в бескомпромиссную борьбу.

Из трех упомянутых статей Каткова в «царские обозрения» попала только вторая, в которой шла речь о демонстративной отставке мировых посредников. Составитель обозрения старательно пересказал ее, а финальную часть, где разговор неожиданно переходил на «свободного артиста», представил в вырезке – без комментариев или объяснений. Может быть, готовивший ее чиновник поступил так специально, дабы не раздражать министра и в надежде, что государь прочтет и оценит важное место? На такое предположение наводит ситуация со следующей статьей, увидевшей свет 7 июня. В ней недавние пожары и их возможная связь с эмигрантами-революционерами стали уже основной темой.

Появление столь резкой статьи вынуждало управляющего министерством выразить по ее поводу свою позицию. Однако это могло привести его к открытой конфронтации с кумиром «прогрессивного» общественного мнения. Вероятно, чтобы обдумать свое положение и ближайшие действия, Головнину потребовалось несколько дней. Не поэтому ли составитель «царских обозрений» в этой ситуации не стал обращать взор монарха на целящие в Герцена публикации «Современной летописи»? Как бы ни симпатизировали Каткову двое из троих готовивших обозрения, а их деятельностью руководил и ее результаты представлял монарху именно управляющий министерством. Вскоре, однако, сам Головнин передал императору вырезку со статьей Каткова о réfugiés. И тот по прочтении оставил надпись: «Весьма хорошая статья. Кем она написана?» [25, л. 104][3]. 21 июня Головнин сообщил Александру II, что ее автор – Катков.

Однако и это известие не упрочило имя Каткова в памяти императора. Вскоре ему сообщили о двух публикациях в 26-м номере «Современной летописи», которые вызвали

[1] Такая позиция руководителя министерства вполне согласуется с суждением Н.П. Мещерского: «“Колокол” был сильным орудием для воздействия на правительство. Действительно, влияние в то время Герцена было изумительно» [34, с. 5]. О либеральных амбициях Головнина см. [37, с. 76–92].

[2] Комментаторы собрания сочинений Герцена говорили о брошюрах Шедо-Ферроти: «По существу это была инспирированная правительственными кругами попытка завоевать Герцена, убедить его в возможности и необходимости “для блага России” вступить на путь сотрудничества с правительством Александра II» [70, с. 402].

[3] См. [71, с. 841] Цветков датировал резолюцию императора 12 июня. Однако ни лист с автографом Александра II, ни страница с вырезкой, переданная ему от Головнина, не имеют никакой даты. «12 июня» указано на записке Головнина, следующей за этими бумагами в составе конволюта с «всеподданнейшими записками» [25, л. 107].

его недовольство. И после второй, рассказывающей о проектах представительства в Пруссии, государь снова поинтересовался: кто редактор издания? [29, с. 13; 71, с. 841][1]. Получается, к концу июня монарх все еще не помнил, кто руководит этим еженедельником.

Уязвившая Герцена статья «Современной летописи» о réfugiés, вызвала его новый возмущенный выпад на страницах «Колокола». Тогда, в ответ на него, в июньском номере «Русского вестника» появилась катковская «Заметка для издателя “Колокола”». Так, выходящий в России журнал впервые посвятил Герцену отдельную публикацию.

В ней Катков прямо заявил, что его противник – безответственный честолюбец, принявший «тон пророка», стремящийся стать «генералом от революции» и в то же время исполненный «пустого и бессмысленного радикализма», находясь в безопасности, он «издали поджигает революционные страсти». Обвиняя Герцена в демагогии, редактор «Русского вестника» восклицал: «…было ли сказано в его писаниях хоть одно живое слово по тем реформам, которые у нас совершались, по тем вопросам, которые у нас возникали?». Катков утверждал: «Единственная сила, на которую он опирался, есть ничто иное как бессилие нашей общественной цивилизации, бессилие нашего общественного мнения, бессилие нашей казенной науки и тот внутренний разлад, который господствует между мыслию и жизнию» [72, с. 501–503].

Совершенно неожиданно Герцен встретил равного себе по силе таланта и по остроте мысли[2]. «Заметка для издателя “Колокола”» оказалась, пожалуй, единственным за всю «кампанию» 1862 года антигерценовским памфлетом, вошедшим в анналы истории. По крайней мере ни о какой другой адресованной Герцену публикации так не вспоминали и не спорили. И хотя весь XX век, начиная с Лемке и вплоть до конца столетия, исследователи старательно акцентировали внимание на недостатках «Заметки» и выражали сомнение во влиянии ее на читателей-современников, уже столь постоянный интерес историков заставляет усомниться в их правоте.

О том, как была подготовлена публикация «Заметки», существуют две противоречащие одна другой версии. Основаны они по меньшей мере на двух различных источниках.

Первый из них был введен в научный оборот апологетом Герцена, бывшим членом партии социалистов-революционеров Лемке. Это письмо председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета к некоему его провинциальному приятелю «Казимиру Яковлевичу». Из него следовало, что, во-первых, Катков написал «Заметку» не по собственной инициативе, а отвечая желанию «двора», который через Московский цензурный комитет заявил, что хочет увидеть «что-нибудь солидное» в «Русском вестнике» как «в лучшем тамошнем издании»; во-вторых, что власть искала и могла найти себе союзников только с помощью подкупа, пусть и не совсем явного. Иными словами: Катков опубликовал «Заметку» потому, что таким образом рассчитывал получить право на аренду с 1863 года газеты «Московские ведомости» [74, с. 454–455].

Однако аренду этой газеты Катков и П.М. Леонтьев получили в результате конкурса, итоги которого подводила комиссия, состоящая из профессоров Московского университета, чьей собственностью и являлось издание. Подробнее всего это показано в исследовании О.С. Кругликовой [75, с. 248–255]. Добавим только: можно предположить, что кто-то

[1] Добавим, что ранее в «царском обозрении» от 23 июня раздражение императора вызвала статья «Современной летописи» (№ 25) о петербургских пожарах. Составитель обозрения, не вполне точно пересказывая эту публикацию, писал: «Между тем “Journal de St. Petersbourg” как бы склоняется в пользу того, что не только политических, но и никаких поджогов не было». Рядом, на полях, Александр II отметил: «Это не справедливо и не *следовало пропускать*, тем более, что цензуре не может не быть известно, что поджоги были и что несколько лиц за то арестовано и над ними производится следствие» [23, л. 88].

[2] О непосредственной реакции на «Заметку» самого Герцена, который при первом ее чтении оказался обескуражен и даже подавлен, см. в воспоминаниях Н.М. Павлова [73, с. 322–323].

из профессоров голосовал под давлением Головнина, но в таком случае и Катков должен был отслужить министру оказанную ему услугу. Однако в последующей своей деятельности новые издатели «Московских ведомостей», наоборот, показали небывалую степень независимости.

Из «письма Цеэ» не видно, что его автор знаком с субординацией, принятой в системе государственного управления. Председатель столичного цензурного комитета не мог всерьез ссылаться на указания некоего абстрактного «двора». Ведь распоряжения Московскому цензурному комитету отдавал непосредственно руководитель Министерства народного просвещения, а тот напрямую подчинялся императору и никому другому. И, как мы видели, Головнин отнюдь не считал «Русский вестник» не то что лучшим московским изданием, но и вообще достойным его внимания. И Александр II не мог запомнить, кто редактирует «Современную летопись», являющуюся приложением к «Русскому вестнику».

В этом же «письме» рассказывается, что Катков «написал статью и в черновике прислал ее сначала Феде». Лемке поясняет: речь идет о члене Главного управления цензуры бар. Ф.А. Бюлере [74, с. 455]. Однако в действительности эту должность барон занимал только до 10 марта 1862 года, и подчеркнем: в Главном управлении цензуры он представлял интересы Министерства иностранных дел [39, с. 114], то есть был вовлечен в тонкости цензурной политики менее других. Лемке не пытался объяснить, почему помогать Каткову должен был именно Бюлер, а, например, не давний знакомый журналиста по Московскому университету И.Д. Делянов. Он, правда, в тот момент тоже оставил должность члена Главного управления, но имел в цензурном ведомстве прочные связи, и про него-то известно, что он долгие годы выступал союзником Каткова [см. 76, с. 101].

Наконец, Лемке не объясняет, каким образом «подлинник письма» Цеэ, который историк видел у И.И. Шамшина (но который так и остался неизвестен!), оказался у этого человека. Лемке представил его как друга покойного А.А. Серно-Соловьевича. Последний – человек весьма неуравновешенный, больной психически и в результате болезни покончивший с собой. Оба они – и Серно-Соловьевич, и Шамшин – являлись деятельными участниками «Земли и воли», подпольной организации, которая в 1861 года в целях провокации крестьянских бунтов фабриковала и распространяла отпечатанные в типографии у Герцена «золотые грамоты», а в 1863 году вынашивала план убийства Каткова. После этого хочется спросить: были ли причины, которые помешали бы таким людям отказаться от подделки документа, призванного скомпрометировать власть и Каткова?

Что еще вызывает подозрение в этом «письме»: к своему провинциальному приятелю его автор хотя и обращается на «ты», но по имени и отчеству, а вот о бароне и сенаторе говорит самым панибратским образом «Федя». Последнее обстоятельство – нонсенс не только для крупного столичного чиновника, но для человека, ощущающего свою принадлежность к дворянскому кругу.

Лемке потому и отнесся к этому «письму» с полным доверием, что оно выдавало за действительное то, во что очень хотелось верить и революционерам-подпольщикам, и ему самому. Ведь никаких иных мотивов выступить против Герцена, с точки зрения его сторонников, не было и быть не могло у «нормального» журналиста и еще недавнего либерала.

Второй источник – мемуары Феоктистова. Конечно, и их не стоит воспринимать как абсолютно точное свидетельство. Однако в отношении того, что важно для нашего сюжета, у их автора не было особой причины лукавить. Феоктистов сообщает: Головнин оказался изумлен и озадачен статьей Каткова, проявившего в его глазах ненужную и непонятную ему решительность. Согласно воспоминаниям, на вопрос управляющего министерством об этой статье, Феоктистов заметил: публикация его не удивила, так как в ней выражено то, что не раз он слышал от ее автора. Катков «всегда считал деятельность Герцена в высшей степени пагубною». В ответ Головнин «с ядовитою улыбкой» заявил: «Он мог думать это,

<…> но другое дело высказывать свои мысли так откровенно; Катков наживет себе немало врагов. Смелый он человек!» [11, с. 90]. Головнин, верно оценивал обстановку в обществе, где «Заметка», по свидетельству симпатизировавшего ее автору Н.М. Павлова, «не встретила ни малейшего сочувствия» [73, с. 319].

Трудно представить, чтобы в тех обстоятельствах подобная статья могла пройти цензуру без ведома главы министерства. Да Феоктистов этого и не утверждает. Он лишь подчеркивает: разговор о «Заметке» тот завел с ним «на другой день после того, как пришла в Петербург книжка “Русского вестника”, в которой была напечатана знаменитая статья Каткова о Герцене» [11, с. 90]. Из этого не следует, что сама статья не могла попасть к каждому из собеседников ранее: к руководителю министерства через Московский цензурный комитет[1], а к Феоктистову, которого позднее называли «петербургский агент и информатор М.Н. Каткова» [77, с. XXI], – от самого автора. И произошло это, вероятно, не позднее 24 июля.

Лемке уверяет, что июньский номер вышел в свет 18 июля [33, с. 161] (отметим: 12 июля статья еще не была закончена, но исправлявший должность председателя Московского цензурного комитета А.Г. Петров знал, что она готовится, и уже опасался пропустить ее [71, с. 842]). На самом деле, этой датой отмечено лишь цензурное разрешение издания. На печать и брошюровку тиража журнала в московской типографии, а затем на доставку его в Санкт-Петербург и рассылку через экспедицию столичного почтамта потребовалось еще несколько дней. А.И. Бенни, откликнувшись на эту статью в номере «Северной пчелы» от 29 июля, заявил, что «только что получил последнюю (июньскую) книжку “Русского вестника”» [78][2].

Головнину после знакомства с содержанием «Заметки» еще необходимо было время, чтобы осмыслить ситуацию, прозондировать (не слишком ли она резка?) или, наоборот, подготовить почву в отношении этой статьи. И уже 26 июля он передал ее полный текст императору. Причем сделал это день в день с подачей «царского обозрения», которое целиком было посвящено одной только этой статье. Не мог же управляющий министерством в принципиально важном случае демонстрировать меньшую оперативность, чем его подчиненные.

Что способствовало или кто способствовал тому, чтобы Головнин занял более определенную антигерценовскую позицию, в полной мере представить трудно. С уверенностью можно лишь сказать: в таком деле он не мог обойтись без консультации с III отделением[3]. Его начальнику кн. В.А. Долгорукову управляющий министерством показал статью прежде, чем передал ее императору. Князь не только поддержал публикацию «Русского вестника», но и предложил организовать ее перепечатку в других изданиях. Это видно из записки Головнина, вместе с которой 26 июля он представлял «Заметку» императору: «По желанию князя В.А. Долгорукова я сделал распоряжение, чтоб превосходная эта статья была перепечатана в газетах, имеющих большое число подписчиков» [25, л. 155]. Впрочем, как видно из воспоминаний Цеэ, еще в первой половине мая и Долгоруков не считал полезным вести с Герценом открытую полемику [35, с. 275–276].

Однако возникает вопрос, насколько внимательно Александр II читал эту статью? После первого ее представления он не оставил ни на записке Головнина, ни на полях пу-

[1] Спустя 35 лет Цеэ вспоминал: «…была прислана из Москвы председателем тамошнего цензурного комитета М.П. Щербининым запрещенная им весьма резкая статья М.Н. Каткова против Герцена, в которой он называл его “генералом от революции”. Головнин тотчас же разрешил эту статью и дал Каткову возможность продолжить борьбу с этим, в то время значительным авторитетом» [35, с. 277].

[2] Название статьи метило в Каткова: «Поскребите русского англомана и найдете татарина (*фр.*).

[3] Рудаков рассказывал: «“Чтобы знать, в каком духе писать, – читаем в письме А.В. Головнина к В.А. Цеэ, от 4 мая 1862 года, – надо раз в неделю видеться с Потаповым”, который тогда состоял начальником штаба корпуса жандармов и управляющим третьим отделением» [40, с. 966].

бликации никаких помет. Спустя два дня, 28 июля, управляющий министерством передал императору номер газеты «Сына отечества» от того же числа, в котором была перепечатана «Заметка» Каткова [79]. При этом Головнин пояснял «Я выбрал этот журнал, потому что он имеет 19 000 подписчиков» [25, л. 171]. И снова – никакой видимой реакции, никаких помет, говорящих о впечатлении императора. Единственное, что можно сказать: так не относятся к заказной или давно ожидаемой статье!

Впрочем, последовавшие перепечатки «Заметки» позволяют заключить, что император поддержал ее. После этого и Цеэ, давний приятель Головнина, добавил толику своего участия: 30 июля цензорам Санкт-Петербургского цензурного комитета им было предписано, чтобы они не пропускали «ни одной статьи против заметки Каткова на Герцена, не показав предварительно» председателю комитета [80, л. 135–136][1]. На следующий день, 31 июля, Головнин обратился с письмом к редактору «Русского вестника»: «Я должен отдать справедливость Вашим изданиям, что они более всех других содействуют мне в домогательстве большего простора печатному слову как образчику просвещенного направления» [82, с. 273–274].

Как отметил Н.М. Павлов, «именно после этой статьи началось *сильное* и общепризнанное *сильным* положение Каткова» [73, с. 319]. Вскоре же, 15 августа, по просьбе Головнина, Делянов написал редактору «Русского вестника», чтобы пригласить его или соиздателя журнала П.М. Леонтьева приехать в столицу «хотя на полчаса для объяснения с ним» [82, с. 274].

Только в августе деятельность Головнина против Герцена приобрела хотя бы некоторые черты организованной кампании. Началась она с перепечаток катковской статьи. Помимо «Сына отечества», статья появилась в «Северной пчеле» [83] и «Домашней беседе» [84]. Подчеркнем: это были отнюдь не самые массовые издания. Тираж «Северной пчелы» составлял пять тысяч экземпляров, в то время как у «Санкт-Петербургских ведомостей» – восемь тысяч [33, с. 192]. Редактору последней газеты А.А. Краевскому Головнин еще 26 июля предложил опубликовать эту статью. Тот сразу же обратился за разрешением к автору. Однако Катков ответил отказом, мотивируя тем, что перепечатка будет воспринята как сделанная по внушению правительства [38, с. 100; 50, с. 99–100; 33, с. 164]. В исследовательской литературе говорится также о перепечатке «Заметки» в “Journal de St.-Peterburg” [85, с. 130]. Однако таковой в этом издании нам обнаружить не удалось. К тому же обширная полемическая статья совершенно не соответствовала концепции информационной газеты, выходившей на французском языке и являвшейся официальным органом Министерства иностранных дел.

«Заметка» Каткова послужила стимулом для обсуждения деятельности Герцена и самого автора в других изданиях. Некоторые из таких публикаций попадали в «царские обозрения». Позднее, когда в конце года по поручению Головнина Капнист готовил «Краткое обозрение направления периодических изданий», он постарался затушевать значение «Заметки», поставив в один ряд с нею публикации трех других изданий. Появление же в прессе имени беглого социалиста «после четырнадцати лет молчания о нем» Капнист связал с «Северной пчелой», которая 9 мая перепечатала вятскую речь Герцена [86, с. 75] (участие в борьбе с ним «Современной летописи» было вообще проигнорировано).

Из «Краткого обозрения» видно, что «Заметка» не давала Головнину покоя и спустя месяцы после ее появления. В сравнении с ней куда скромнее и заурядней выглядели заказные статьи. Если 26 июля управляющий министерством в записке к императору

[1] Усов, а за ним Лемке, процитировав это распоряжение, датировали его 30 июня, когда «Заметка» еще не была написана [81, с. 66; 33, с. 161]. В изданном по инициативе Головнина «Сборнике статей, недозволенных цензурою в 1862 году» (СПб., 1862) оказалось четыре статьи с критикой в адрес «Заметки» Каткова (т. 2, с. 242–321, 329–332).

называл катковскую публикацию «превосходной», то на исходе года в «Кратком обозрении» убеждал: «Несмотря на все литературное достоинство и ум этой “Заметки для издателя «Колокола»”, впечатление, произведенное ею, теряло значительную долю своей силы потому, что в тоне ее многие слышали раздражительность и отсутствие спокойного рассуждения» [86, с. 76–77]. «Краткое обозрение» утверждало, что статьи «Г. Герцен и г. Огарев» в газете «Наше время» «не менее, если не более способствовали к подрыву во мнении масс авторитета г. Герцена» [86, с. 77]. Добавим, однако, что эти статьи, также как и брошюра Шедо-Ферроти, не смогли обойтись без банальных комплиментов своему визави. Именно их имел в виду Катков, когда в середине августа писал в «Современной летописи» об «одной московской газете»: «…там при каждом указании на несостоятельность политических тенденций г. Герцена, постоянно и тщательно выставляется на вид его даровитость» [87, с. 18].

Какие же издания приняли участие в антигерценовской «кампании»? Вспомним, что помимо консервативной «Домашней беседы», вероятно, по собственной инициативе, перепечатавшей катковскую «Заметку», ее поместили на своих страницах либеральные петербургские газеты «Сын отечества» и «Северная пчела». Если судить по «Краткому обозрению», публикации этих двух и московской газеты «Наше время» и составили всю «кампанию». И хотя Головнин первым доложил императору о задуманных перепечатках, окончательные результаты их выглядят, словно по-чиновничьи выполненное поручение. Управляющий министерством ограничился лишь тремя подконтрольными власти частными газетами[1].

Главная, не вызывающая сомнений часть «кампании» – это отмеченный в «Кратком обозрении» цикл анонимных статей «Г. Герцен и г. Огарев (Русская литература за границей)», печать которого растянулась со 2 августа по 13 января 1863 года [88]. Появление его, очевидно, заслуга не Головнина, а курировавшего газету Валуева. И это еще одно свидетельство того, что в противостоянии с редактором «Колокола» министр внутренних дел вел себя несколько последовательнее и решительнее, чем руководитель Министерства народного просвещения.

И хотя в «Нашем времени» встречались иные упоминания или намеки на Герцена, говоря о статьях, «порицавших направление и деятельность издателя “Колокола”», автор «Краткого обозрения», помимо анонимного цикла, назвал только 113-й, 135-й и 188-й номера этой газеты [86, с. 6, 78]. Самая заметная в них публикация была подготовлена, по всей видимости, не по инициативе властей. Это пришедшее от С. Макова из Херсонской губернии «Письмо провинциала к редактору “Нашего времени” (По поводу статьи о русских агитаторах)» [89]. В одном ряду с ним оказалась статья, клеймившая «возмутительные сочинения» (то есть прокламацию «Молодая Россия»), которые «даже Герцена называют отсталым». Однако помимо этой реплики его имя здесь не упоминалось [90][2]. В 135-м но-

[1] Газета Н.Ф. Павлова «Наше время», как известно, в 1862 году стала официозом Министерства внутренних дел [2, с. 101–106]. Редактируемая А.В. Старчевским газета «Сын отечества» в это время так же являлась официозом, периодически обслуживающим интересы Министерства народного просвещения. О преференциях, получаемых газетой в результате оказываемых ею услуг, говорит «всеподданнейшая записка» Головнина от 6 июля 1862 года. Управляющий министерством сообщал императору: «Завтра же призываю редактора “Сына отечества”, получившего уменьшение пересылочной платы, чтоб потребовать от него целого ряда благонамеренных статей» [25, л. 124]. Отношения власти с «Северной пчелой», возможно, в то время были не так прямолинейны, как у официоза, и ее редактор лишь уступал оказываемому на него давлению. Так, 11 сентября 1862 года Валуев предложил Головнину предупредить Усова, что «если и впредь в его газете явится какая-либо статья одинакового с прежним направлением, то издание будет на время прекращено» [42, с. 686]. Однако с марта 1864 года Усову с ведома императора стали выдавать «пособие» от 500 до тысячи рублей в месяц [43, л. 16].

[2] Выбор на эту статью, вероятно, пал, так как прежде в «царском обозрении» Александр II отметил возле ее изложения, что признает ее «действительно благонадежною» [23, л. 47].

мере никаких указаний на Герцена вообще не обнаружено, а внимание Капниста он привлек, скорее всего, откликом на произошедшее в Варшаве покушение на великого князя Константина Николаевича [91].

В той же части «Краткого обозрения» его автор ссылался на номера двух столичных газет – «Сын отечества» (№ 197) [86, с. 79][1] и «Северная пчела» (№ 151, 156, 157, 168) [86, с. 6]. Перечень номеров последней представляется весьма поверхностным и неточным: ряд статей, касавшихся Герцена, в него не попали[2], а с другой стороны, трудно понять, почему в нем оказался 156-й номер, где никаких связанных с Герценом публикаций не обнаружено. Впрочем, и в остальных номерах связь с «неисправимым социалистом» весьма относительная: в передовых статьях 151-го и 157-го номеров его имя не упоминается, а речь идет о поджоге, «Молодой гвардии» [94] и исполнении приговора В.А. Обручеву за распространение «одного секретного издания» (прокламации «Великорусс» № 2) [95].

О Герцене однажды было сказано лишь в передовой статье 168-го номера, но так, что возникает уверенность: ее анонимный автор (это был Н.С. Лесков) выгораживает журналиста-эмигранта, отделив его самого от неких недобросовестных его сторонников: «…наши демагоги есть воплощенная ложь. Они имеют много сходного с теми корреспондентами Герцена, которые содействовали распространению слуха о лживости многих сведений, сообщаемых его заграничными журналами» [96].

Очевидно, «Краткое обозрение», представляло своего рода отчет о деятельности Министерства народного просвещения в сфере печати[3]. Материалом для него служили «царские обозрения» и готовилось оно в спешке с явной небрежностью. По крайней мере это можно уверенно утверждать относительно публикаций, связанных составителем с противостоянием Герцену. Из них в обозрениях не был отмечен лишь 156-й номер «Северной пчелы», вероятно, оказавшийся в этом ряду случайно.

Действуя из своих интересов, Головнин стремился в «Кратком обозрении» подвести императора к той же мысли, которую внушал читателям и Герцен: против него организована и развернута в прессе целая кампания! Спустя десятилетия, руководствуясь иными соображениями, ту же версию стал развивать Лемке, а за ним – советские историки. Их интерпретации выглядели так, словно Герцен не впервые за годы манипулирования мнением читателей получил заметный отпор, а подвергся организованной травле.

Когда за развитие темы антигерценовской «кампании» взялся Лемке, он снова сослался на приведенные в «Кратком обозрении» номера трех газет, не добавив ни их точных выходных данных, ни заглавий публикаций. Однако он пополнил перечень публикаций еще четырьмя номерами (тоже без точных выходных данных): 136-м и 248-м «Нашего времени» и 112-м и 197-м «Северной пчелы» [33, с. 163]. Действовал он так же неаккуратно, как и прежде него Капнист. В 248-м номере находится пятая из шести статей цикла «Г. Герцен и г. Огарев» в 136-м ничего связанного с Герценом, не обнаружено. В 212-м номере «Северной пчелы» – вводная анонимная заметка (Лескова) к публикации «Заметки» Каткова [97], а в 197-м имя Герцена не упоминается.

[1] Здесь имелась в виду публикация [92].

[2] Например, передовые статьи Н.С. Лескова, о которых см. [93, с. 301–303].

[3] Поэтому в нем настойчиво проводились мысли о «прочности нравственных убеждений большинства журналов и газет» и о «благоприятном для правительства влиянии журналистики нашей, в 1862 году, на общественное мнение» [86, с. 6]. Начальник III отделения, напротив, в своем отчете утверждал «В нашей литературе господствует исключительно революционное направление» [85, с. 171]. И потому Долгоруков подчеркивал заслугу Каткова и Леонтьева: они – «первые в России выступившие печатным, резким словом против несбыточных пагубных теорий Герцена. Посыпавшиеся на помянутых издателей злые нападки со стороны либеральных российских журналов доказывают меткость удара, нанесенного пропаганде, и, вместе с тем, солидарность с оною большой части литературного нашего общества» [1, с. 593].

Вернемся к Головнину, который наверняка имел рычаги давления на редактора «Северной пчелы» и воспользовался ими. Но каков оказался результат?

И.П. Видуэцкая из посвященных лондонскому эмигранту пяти статьей Лескова в этой газете лишь в трех увидела выступления «против Герцена», а еще в одной – «“защиту” Герцена от нападок молодого поколения, обвинявшего его в отсталости» [93, с. 303, 305]. Если же учесть шестую статью Лескова, где упомянут издатель «Колокола» (в № 168), окажется, что и она в его пользу. Видуэцкая подчеркивала, что в выступлениях «Северной пчелы» «не было той открытой враждебности, которая пронизывала заметку Каткова, статью Павлова и заметку М.З. в “Сыне отечества”» [93, с. 315]. В результате этой «кампании» 15 августа «Современная летопись», обвинив «Северную пчелу» в низкопоклонстве перед Герценом, сравнила ее с грибоедовским Молчалиным, готовым кланяться всем, даже «собаке дворника, чтоб ласкова была», и та вступила в полемику уже с изданием Каткова [87, 98][1].

Трудно сказать, что именно желал увидеть в «Северной пчеле» Головнин, но не такими статьями дискредитируют опасного государственного преступника. И нельзя же любое критическое упоминание того или иного имени считать частью кампании в прессе!

В итоге к результатам организованной кампании мы можем отнести помимо трех или даже двух перепечаток «Заметки», цикл из шести статей «Г. Герцен и г. Огарев» и статью «Несколько слов по поводу одного нового вопроса» в «Сыне отечества». Таким образом, начиная с 28 июля в течение трех недель вышли в свет шесть антигерценовских публикаций: две – в «Сыне отечества», две – в «Нашем времени», одна – в «Северной пчеле» и одна – в «Домашней беседе». На этом для почти всех читателей «кампания» закончилась, лишь в «Нашем времени» в сентябре появилось еще две публикации и по одной в ноябре и январе следующего года. Читатели «Санкт-Петербургских ведомостей» или «Московских ведомостей» или десятков иных газет могли узнать об этой «кампании» только понаслышке.

Характерно и такое обстоятельство… Головнин, стремясь придать «царским обозрениям» более концептуальный, обобщающий характер, с середины 1862 года стал передавать царю тематические обозрения, содержащие «рассуждения в пользу принятых правительством мер» или извлечения «из статей, направленных в пользу христианства и отличающихся своим нравственным содержанием» [23, л. 115, 129] и тому подобные. Среди них есть одно, подготовленное 7 августа обозрение, предлагающее извлечения «из статей, которые направлены против всяких революционных движений и отзываются с негодованием о теориях, проповедывающих идеи насильственных преобразований и анархии» [23, с. 200][2]. Однако сотрудники Головнина не составили ни одного сугубо антигерценовского обозрения.

Катков, действуя на свой страх и риск, без поддержки, а отчасти и вопреки настроению властей, вышел победителем. Его «Заметка» ознаменовала новую фазу борьбы с революционной пропагандой. В то же время она явилась дебютом автора как крупного общественно-политического деятеля. Именно с нее начался закат популярности Герцена в России (вскоре, в пору Польского восстания 1863 года, безвозвратно разрушенной им же самим). Еще одним ее результатом можно считать представление Каткова и Леонтьева 30 ноября 1862 года Александру II во время его пребывания в Москве. И речь здесь идет не об аудиенции, как пишут современные энциклопедии, а о кратком знакомстве, состоявшемся на балу в Большом Кремлевском дворце, где августейшей чете представляли еще немало московских профессоров и чиновников. Знакомство это заключалось в обмене несколькими фразами о

[1] Ответная статья газеты Усова в содержании номера имела название «Об отношениях “Северной пчелы” к г. Герцену и его “собачкам”».

[2] В этом обозрении рассмотрены публикации «Современной летописи» (№ 31), «Нашего времени» (№ 166) и «Северной пчелы» (№ 212). С Герценом были связаны лишь две последние.

том, что император и императрица читали «Русский вестник» и желают его издателям успеха [50, с. 160–161; 29, с. 12][1]. Отметим, что в том году император уже приезжал в Москву и пробыл в ней с вечера 18-го по 24 августа, то есть вскоре после публикации «Заметки» [100, 101]. Однако тогда и речи не возникло об аудиенции ее автору.

В конечном счете куда важнее той недолгой встречи в ноябре было первое знакомство власти (да и самого общества!) с возможностью мобилизации невидимого общественного мнения, с возможностью противостояния тому, что еще вчера считалось непреложной и несокрушимой силой.

1863–1866

С 1863 года Катков возглавлял, по сути, издательский дом. В его распоряжении были две типографии (Московского университета и «Типография Каткова и К°») и три издания. Во-первых, это выходившие шесть раз в неделю «Московские ведомости», на которых и сосредоточилось внимание самого Каткова. Затем «Современная летопись», теперь превратившаяся в воскресное приложение к этой газете. И, в-третьих – ежемесячный «Русский вестник», который под руководством Н.А. Любимова все более становился типичным литературным журналом.

Помещая объявление о начале издания «Московских ведомостей» под новой редакцией, Катков провозглашал: «Общественное мнение стало в нашем отечестве бесспорною силой. Влияние его оказывается на всем; везде оно присутствует и действует. С его усилением возросло значение печати, тем более, что у нас она служит почти единственным органом заявления общественных интересов» [102, с. 1]. События последующих трех-четырех лет подтвердили правоту Каткова, с той лишь поправкой, что порой он сам, как позднее отметил Феоктистов, «создавал общественное мнение, которому приходилось следовать за ним» [11, с. 74]. События эти довольно подробно описаны. Тем не менее взглянем на них в связи с представлявшимися в то время «царскими обозрениями».

В январе 1863 года подготовка обозрений была передана Министерству внутренних дел. Валуеву же теперь было подчинено и цензурное ведомство. Произошло это одновременно со вспыхнувшим в Польше восстанием. Не удивительно, что оно оказалось главным предметом обсуждения русской прессы. В это время «царские обозрения» представлялись Александру II по три, а потом по два раза в неделю. При этом рукописный текст иногда сопровождался вырезками фрагментов публикаций. Готовил эти обозрения один чиновник особых поручений Капнист [14, л. 2 об.]. Став сотрудником Валуева, он уделял меньше внимания официозным изданиям, а публикации официальной газеты Министерства внутренних дел «Северная почта» и вовсе не попадали в обозрения. Передача «царских обозрений» в ведомство Валуева, вероятно, в любом случае способствовала смене приоритетов с демонстрации «успехов» на освещение общественного мнения, но события в Польше ускорили этот процесс. Власть действительно стали интересовать положение общества и его настроения.

За весь 1863 год в «царских обозрениях» были отмечены 80 публикаций «Московских ведомостей». Это максимальный показатель среди всех газет. Для сравнения скажем что из только что созданной при поддержке Головнина газеты А.А. Краевского «Голос» императору было представлено 44 публикации, из газеты военного ведомства «Русский инвалид» – 23, а из арендуемых Е.Ф. Коршем у Академии наук «Санкт-Петербургских ведомостей» – 20.

[1] Позднее Катков вспоминал «несколько милостивых слов», услышанных от них в тот день [99, с. 619].

Третьим по частоте цитируемости изданием оказался аксаковский «День» (38), но, в отличие от других, он выходил еженедельно. «Современная летопись» и «Русский вестник» имели по 13 откликов. При этом либеральные «Отечественные записки» имели 11, а некрасовский «Современник», возобновивший выпуск с февраля, – 6 откликов [103, 104].

В 1863 году Катков оказался первым, кто в своих статьях призвал к решительному подавлению восстания, первый, кто перед угрозой европейской войны стал будить притихшую русскую дипломатию и вселять в нее уверенность. Н.П. Мещерский вспоминал о том времени: «Россия безмолвствовала, те же, которые говорили, а главное – Петербург, подавали Европе большие надежды на успех» [34, с. 14]. Чтобы действовать против течения, нужны были союзники, а между тем новой редакции газеты приходилось сталкиваться с прежней проблемой – цензурой.

24 февраля 1863 года, подавая императору подготовленное накануне обозрение печати, Валуев приложил к нему письмо председателя Московского цензурного комитета и корректуру запрещенной статьи Каткова. Поддержав запрет, министр объяснял: «... подобная статья, при всей ее благонамеренности, могла бы быть пропущена для “Русского вестника”, но не для “Московских ведомостей”, имеющих обширный круг читателей между простым народом» [43, л. 11]. Этот случай – лишь один из целого ряда. Е.В. Перевалова, обращаясь к событиям весны 1863 года, утверждает: «Председатель Московского цензурного комитета М.П. Щербинин и цензуровавший “Московские ведомости” цензор А.Г. Петров неоднократно пытались воспрепятствовать появлению в газете ряда материалов, ссылаясь на распоряжения из Петербурга» [105, с. 166].

В этой ситуации, чтобы добиться успеха, нужно было, чтобы тебе не мешали те, от кого зависит печать. 26 марта Катков обратился с письмом к Валуеву, который пять лет назад, будучи Курляндским гражданским губернатором, печатался в его журнале [106, 107]. Тот ответил предложением поддерживать доверительную переписку. Министр внутренних дел писал: «Я готов, в пределах возможного давать вам *конфиденциально* ответ на каждый вами мне предлагаемый вопрос, и желаю в свою очередь, иметь возможность обращаться к вам конфиденциально же» [108, с. 295].

Среди причин, которые подвигли министра к такому шагу, несомненно, было желание иметь мощный ресурс для влияния на общественное мнение. Понимая его роль, Валуев еще прежде, осенью 1861 года, наладил тесные отношения с выпускаемой в Москве Н.Ф. Павловым газетой «Наше время». Однако за год деятельности в качестве официоза, это издание не завоевало себе серьезной репутации, тем более что в обществе стало известно о субсидиях, полученных им от Министерства внутренних дел. Оставшееся без поддержки министра «Наше время» в июне 1863 года прекратило свой выпуск. Во влиянии на прессу Валуев проигрывал коллеге-сопернику, министру народного просвещения, который сделал ставку на другой официоз – газету А.А. Краевского «Голос». Это петербургское издание, начав выпуск в январе 1863 года, все более и более завоевывало читательскую аудиторию.

Что общего было между Валуевым и Катковым? Очень немногое, если исключить их одинаковый в ту пору пылкий интерес к представительству и земскому самоуправлению. Весной Валуев приветствовал статью Каткова «Что нам делать с Польшей?», вторая часть которой была посвящена идее представительства, по сути – завуалированного парламентаризма. В этой статье Катков убеждал, что представительство – ничто иное как правильно организованная сила общественного мнения. Издатель «Русского вестника» заявлял, а Валуев в своем дневнике повторял за ним: «Общественное мнение есть великая сила нашего времени. Но сила эта может хорошо действовать только тогда, когда она группируется вокруг какой-нибудь правильной и законной организации» [109, с. 73; 110, с. 341]. Вот эту самую «организацию» и должно было, по мысли обоих, создать дворянство, но это

уже оставалось за пределами статьи. Представительство – это то, что примиряло обоих в разговорах о Польше. Не случайно В.Г. Чернуха указывала: «...и тот и другой считали, что решение польского вопроса состоит в создании в России центрального представительного учреждения, тогда представительные учреждения в Царстве Польском будут совершенно органичны» [2, с. 153].

Трудно представить, чего бы добился тогда Катков, если бы не его отношения с министром внутренних дел, который отнюдь не был сторонником решительного подавления восстания и развития в Западном крае русской народности. В то же время И.С. Аксаков, избегавший компромиссов с властями и обращавшийся к ним лишь в крайних случаях, в письме к Валуеву 12 апреля вынужден был жаловаться на цензуру, запретившую в 14 номерах его газеты «День» 9 передовых статей и еще 18 иных публикаций. Аксаков просил у министра разрешения напечатать передовую для готовившегося 15-го номера и восклицал: «…наступили такие события, что молчать в виду опасностей, грозящих нашему отечеству, молчать, имея в своем распоряжении литературный орган, – позор и преступление!» [111, л. 1–1 об.]. Однако 15-й номер «Дня» вышел без передовой, впрочем, как и следующий 16-й. Стоит ли удивляться, что Аксаков, который летом 1862 года пережил приостановку своей газеты и пылко возмущался действиями Головнина, теперь утверждал: «Никогда цензура не доходила до такого безумия, как теперь, при Валуеве. Она получила характер чисто инквизиционный» [112, с. 427].

Катков обеспечил положение дел, при котором невозможное аксаковскому «Дню» прощалось «Московским ведомостям». И не поэтому ли стало возможно то, что «с мая 1863 газета усилила критику политики пр<авительст>ва в Польше и применявшиеся властями методы подавления восстания»? [113, с. 306]. «Московские ведомости» не стали официозом Министерства внутренних дел, да и ни чьим иными официозом. Заручившись поддержкой (пусть и временной) Валуева и ряда министров, Катков умело влиял на правительство, призывая его к бескомпромиссной борьбе с взбунтовавшейся польской шляхтой и к твердости перед давлением западных держав. «Общественному мнению Европы», на которое ссылался в послании к Александру II английский премьер-министр Г.Д.Т. Пальмерстон, Катков противопоставил русское общественное мнение, во многом им самим организованное и сплоченное. Один из ближайших помощников Каткова вспоминал по поводу отношения его к Польскому восстанию: «Он раскрыл глаза обществу на события, вывел само правительство из ослепления и увлек его за собою» [29, с. 218].

Было ли безусловное лидерство «Московских ведомостей» в «царских обозрениях» обеспечено заинтересованностью Валуева в их редакторе? Вряд ли. Во-первых, личный интерес императора к катковской газете в то время стал таким, что вместе с императрицей они читали ее и помимо обозрений. Во-вторых, внимание к газете было обеспечено необыкновенной популярностью ее у читателей, включая и чиновничество: в 1863 году тираж «Московских ведомостей» составил 12 тысяч экземпляров [113, с. 306]. Хорошо известны слова русского посла во Франции барона А.Ф. Будберга о том, что в разгар противостояния с европейскими державами он, получая почту из России, «принимался прежде всего не за депеши нашего министерства, а за “Московские ведомости”; je preferais toujours l’original à la copie[1]» [11, с. 50]. В этих условиях издание не нуждалось в лоббировании.

Из представленных в 1863 году монарху 80 публикаций «Московских ведомостей» 50, то есть 63% прямым образом касались событий в Царстве Польском. Еще ряд публикаций были связаны с этими событиями косвенно. Например, статьи о школьном образовании в Западных губерниях или о роли флота в случае войны. Очевидно, интерес к этим темам был вызван именно восстанием и реакцией на него европейских держав. С учетом

[1] Я предпочитал всегда оригинал копии (*фр.*).

таких публикаций «польская тема» составляла в представленных императору статьях Каткова и его корреспондентов свыше 75%. В «Современной летописи» с «польской темой» были связаны 7 публикаций из 13. В «Русском вестнике» – 5 (основу их составила полемика, начатая статьей Каткова «Польский вопрос»).

Теперь коронованный читатель не спрашивал, кто редактор этих изданий, и оставлял возле статей Каткова не такие пометы, как годом ранее. Например, 8 июня Александр II прочитал вырезку из передовой 116-го номера «Московских ведомостей»: «Русский народ нельзя упрекнуть в равнодушии к отечеству. Он силен своим патриотизмом, и газета графа Росселя[1] сказала правду, что нет в мире народа, столь патриотического, как народ русский. Когда речь идет о спасении отечества, мы готовы на всякие жертвы. Мы непобедимы в торжественные минуты нашей истории. Но будничную жизнь государства никакой народ не может принимать живо к сердцу, а высшие классы нашего общества призванные стоять на ежедневной страже против изменнической крамолы, страдают полнейшим равнодушием к этим будничным делам. Враги наши знают это и на это рассчитывают» [103, л. 121–121 об.; см. 114].

На листе с этой вырезкой император оставил два слова карандашом: «Много правды!» [103, л. 121 об.]. Самое примечательное, что эти слова написаны возле фразы о «полнейшем равнодушии».

Обмен мнениями в письмах, а также редкие личные встречи с разговорами по несколько часов между Валуевым и редактором «Московских ведомостей» продолжались около полутора лет и иссякли в ноябре 1864 года. В этом году Головнин инспирировал подготовку и издание за границей книги Шедо-Ферроти «Que fera-t-on de la Pologne?» («Что мы будем делать с Польшей?») [115], имевшей целью оправдать компромиссную политику, проводимую великим князем Константином Николаевичем в качестве наместника Царства Польского. «Московские ведомости», которые еще прежде критиковали деятельность наместника за пассивность, выступили против игнорирующей национальные интересы работы Шедо-Ферроти. Затем Катков пошел на открытый конфликт с Головниным, публично заявив, что год назад тот предлагал ему выпустить отдельным изданием статьи по польскому вопросу из «Московских ведомостей» и «Русского вестника», а часть тиража приобрести и распространить за счет министерства. Тогда Катков разглядел в этом форму подкупа и отказался. После этого Головнин, оказавшись в центре скандала, был вынужден оправдываться [см. 2, с. 154; 116, с. 339–341]. Как тут не вспомнить слова Феоктистова, подчеркивавшего: «Никто не любил так много толковать об общественном мнении, как Головнин, и никто менее его не был чуток к этому мнению и не отличался большею неспособностью действовать на него»! [11, с. 104].

Борьба Каткова с Шедо-Ферроти продлилась до конца сентября 1864 года. Наконец, когда 3 октября Александру II представили обозрение, в котором сообщалось, что «Московские ведомости» (№ 212) в ответ на заявление газеты “Indépendans Belge” от 4 октября «снова приводят прежнее указание на сочувствие “правительственного лица, стоящего во главе управления учебными заведениями” и рассуждают о неудобствах обращения у нас памфлета Шедо-Ферроти», император оставил возле него указание: «Впредь подобную полемику на брошюру Шедо-Ферроти не допускать» [117, л. 212 об.].

Головнин и поддержавший его Валуев искали способ подорвать влияние «Московских ведомостей», но так, чтобы сделано это было чужими руками. С октября 1864 по начало 1865 года вокруг газеты шла напряженная борьба, ее выступления обсуждали на Совете министра по делам книгопечатания, затем в Комитете министров. Отношение цензуры к

[1] Рассел Джон (Russel John, 1792–1878), лорд, государственный деятель, член либеральной партии, в 1859–1865 годах министр иностранных дел Великобритании. Имеется в виду лондонская газета «Дэйли ньюс».

газете стало строже. Одно время оба издателя были готовы отказаться от ее аренды, что грозило скандалом, ненужным ни министру внутренних дел, ни императору. Заручившись поддержкой Московского университета, Катков и Леонтьев попросили передать ее цензуру из ведомства Валуева университету. Это им не позволили, но и никаких репрессий к газете не было применено, а после вступления в действие Временных правил о печати 1865 года, издание избавилось от предварительной цензуры.

До этого времени, то есть в 1864 году «Московские ведомости» продолжали лидировать по числу публикаций, представляемых в «царских обозрениях», – 91. «Голос» Краевского уступал им с заметным отрывом (70), тому в свою очередь уступал «Русский инвалид» (55 и еще 3 в «Прибавлениях к “Русскому инвалиду”»). У «Современной летописи» за год было отмечено 16, у «Русского вестника» – 13 публикаций. Для сравнения скажем, что некрасовский «Современник» имел 10 откликов [117].

Положение дел изменилось в 1865 году. Большую часть этого года обозрения готовили для императора, как прежде, раз в 3–4 дня. Однако с 30 октября стали представлять их ежедневно. Безусловно, это говорит о повышении роли прессы и общественного мнения в глазах императора. Причем с того же дня в конце каждого обозрения стали помещать «приложения» – страницы с вырезками из рассмотренных в нем статей. Очевидно, интерес Александра II к содержанию предлагаемых его вниманию публикаций стал пристальнее, и он желал иметь возможность непосредственно знакомиться с их ключевыми фрагментами.

Если сначала составлением обозрений занимался только Н.Ф. Щербина, то в ноябре к нему присоединились Б.М. Маркевич, Ф.Н. Смирный и В.Я. Федоров [14, л. 3 об.]. Отметим, что Маркевич был близким знакомым, корреспондентом и информатором Каткова (позднее, в 1870 году, он руководил петербургским отделением редакции «Московских ведомостей»). Но о каком-либо особенном, выходящем за рамки служебных обязанностей, его участии в подготовке обозрений сказать трудно.

В этот год в «царские обозрения» вошли отклики на около 45 отечественных изданий. В отличие от предыдущих лет в их число входили 6 газет на немецком и одна на французском языках. Такое внимание к немецкоязычной прессе можно объяснить более острым обсуждением положения в Остзейских губерниях (Валуев, отстаивавший интересы немецких дворян, и здесь оказался оппонентом «Московских ведомостей»).

Главное же изменение заключалось в составе основных изданий, представляемых императору. Теперь их лидером стала либеральная газета: «Голос» (117). У «Московских ведомостей» было отмечено 115 публикаций, и следом за ними шла еще одна столичная либеральная газета «Санкт-Петербургские ведомости» (112). Была ли такая смена лидеров вызвана усилившимся в тот год напряжением между цензурой и катковским изданием? Вряд ли. Во-первых, «Голос» Краевского действительно развивался и завоевывал среди русских читателей (в первую очередь либерально настроенных) новые позиции. Во-вторых, об этом, забегая вперед, скажем, свидетельствуют и результаты следующего, 1866 года, когда отношения Валуева и Каткова отнюдь не стали лучше.

Хотя императору более чем прежде предлагали читать отклики на «Современную летопись» (35), «Русский вестник» (15) оказался в тени принадлежащих Краевскому «Отечественных записок» (25) и некрасовского «Современника» (16) [118, 119].

Кризис, долгое время назревавший в отношениях редактора «Московских ведомостей» и министра внутренних дел, разразился в середине 1866 года. До этого публикации катковской газеты не раз обсуждали на Совете Главного управления по делам печати и 26 марта газете вынесли первое предостережение (по новым правилам третье предостережение влекло приостановку издания на срок до 6 месяцев). Поводом для этого послужила передовая от 19 марта, в которой Катков заявил, что «мысль о государственном

единстве России» имеет «неутомимых и ожесточенных противников в сферах влиятельных» [121, с. 175].

В передовой статье номера 3 апреля Катков отказался печатать «несправедливое» предостережение и продемонстрировал свою готовность прекратить издание газеты. На следующий день, 4 апреля, произошло покушение Д.В. Каракозова на Александра II. В этот и в предыдущий день в «царских обозрениях» речь шла о более ранних публикациях «Московских ведомостей». И только в обозрении за 5 апреля вслед за пересказом реакции столичных газет на неудавшееся покушение появилось сообщение о той самой передовой Каткова. Приведем его почти полностью:

«“Московские ведомости” (№ 69), по поводу объявленного им первого предостережения, сопоставляют в шуточном тоне это официальное распоряжение с полемическими статьями журнала “Revue des Deux Mondes” и “Современника”, направленными против них же. Затем редакция газеты превратно истолковывает закон о предостережении, утверждая, что предостережение данное “Московским ведомостям” не действительно, пока оно не будет напечатано в этом повременном издании. <…> Поэтому газета открыто объявляет, что ненапечатанное ею в установленный законом срок предостережение она не намерена и впредь печатать и что редакция готова “платить штраф до той поры, пока по истечении трех месяцев не будут по закону прекращены «Московские ведомости»”. Далее статья говорит, что “характер, тон, и направление этого повременного издания измениться не могут, пока оно остается в руках нынешней редакции”. Желая же доказать пользу и непредосудительность своего направления, газета заявляет, что она преследует “известные доктрины встречающие у нас сочувствие в некоторых правительственных сферах, – доктрины, клонящиеся к тому, чтобы раздробить Россию на отдельные государства и превратить ее в такое же сомнительное существование, какое представляет собой Австрия”. Здесь статья повторяет те же самые идеи, выраженные в № 61 “Московских ведомостей”, которые именно вызвали первое предостережение этой газеты. Затем, говоря об известной книге Шедо-Ферроти, вышедшей в свет в 1864 году, статья выражает убеждение, что эта вредная книга, “пасквиль на Россию и на ее правительство”, – “была не только приобретена правительственным ведомством, но и рассылалась по учебным заведениям, как бы в руководство для преподавания последней главы новейшей истории” (№ 5). Далее, разобщая органическую связь правительственных лиц с Верховною властью, редакция “Московских ведомостей” с сарказмом говорит: “при всем уважении, которое подобает правительственным лицам, мы не можем считать себя их верноподданными и не обязаны сообразоваться с личными взглядами и интересами того или другого из них”» [122, л. 209–210 об.].

В следующие дни обозрения не раз возвращались к ситуации вокруг своевольной газеты. Так, в обозрении от 25 апреля сообщалось: «Поступок “Московских ведомостей”, отказавшихся напечатать данное им предостережение, обращает на себя внимание других периодических изданий и не находит в них одобрения. Все издания, говорит “Голос” (№ 112), получившие в свою очередь предостережения напечатали их как того требовал закон, только “Московские ведомости” отказались повиноваться закону, как будто закон этот не для них писан» [122, л. 342].

Спустя месяц после начала истории с вынесенным, но не опубликованным предостережением министр внутренних дел принял решение: 6 мая Совет Главного управления по делам печати провел в один день два заседания, на каждом из которых вынес газете Каткова по новому предостережению. Сделано это было, чтобы без промедления приостановить издание газеты. С 9 мая, когда сообщение о вынесенном наказании было официально передано издателям, «Московские ведомости» перестали выходить, пока 19 мая не увидели свет под временной редакцией Н.А. Любимова. Он формально руководил выпуском газеты немногим более месяца: с 99-го по 131-й номер.

Покушение Каракозова заставило Александра II по-иному взглянуть на некоторых своих приближенных и обратить взор к тем, кто способен был противостоять развитию революционных настроений. После того как 25 мая монарх выехал в Москву, начальник III отделения гр. П.А. Шувалов по его поручению встретился с Катковым. В результате их общения 20 июня состоялась аудиенция у императора. Ее результатом стало то, что издатели «Московских ведомостей» получили право заключить с университетом новый арендный контракт. Согласно ему, газета обязывалась в будущем публиковать полученные предостережения, а издатели имели возможность в случае такого предостережения отказаться от издания. Однако прежнее, вынесенное министром внутренних дел, предостережение так и не было напечатано в газете. 25 июня возобновилось издание «Московских ведомостей» под руководством Каткова и Леонтьева [2, с. 166–170].

Такой исход дела означал поражение Валуева, и, вероятно, в качестве компенсации уязвленному самолюбию министра в октябре 1866 года император присвоил ему чин действительного тайного советника.

Повлияла ли столь напряженная борьба государственного деятеля и журналиста на упоминания его изданий и в первую очередь газеты в «царских обозрениях»? В целом нет. Неудивительно, что чиновники Министерства внутренних дел многократно останавливали внимание монарха на развивавшейся полемике с «Московскими ведомостями» петербургских газет «Весть», «Голос» и других и что они регулярно пересказывали публикации оппонентов Каткова. Однако те же самые чиновники почти постоянно обращались в обзорах печати к статьям «Московских ведомостей». Если говорить о точных цифрах, в 1866 году в «царских обозрениях» газета Каткова была отмечена более, чем какое-либо иное издание, – 193 раза. Следом за ней шли ежедневные петербургские газеты: «Голос» (172), «Санкт-Петербургские ведомости» (138), «Весть» (124) и «Биржевые ведомости» (122). В обозрениях также рассказывалось о 29 публикациях «Современной летописи» и 25 – «Русского вестника», который немного уступал журналам «Отечественные записки» (27) и «Современник». Последний в 1866 году имел 18 откликов [123–127], но был закрыт после выхода пятого номера.

Такое внимание к своенравному, отнюдь не сервильному изданию говорит, во-первых, об отношении власти, которая стала искать в выступлениях прессы отражение реальной ситуации в обществе и всерьез интересоваться этой ситуацией (а министр внутренних дел не был здесь исключением). И, во-вторых – о прочном авторитете «Московских ведомостей». Собственно, то же с долей едкости утверждал Феоктистов, когда, рассказывая о Каткове середины 1860-х годов, заявлял: «Правительство боялось его и вместе с тем заискивало в нем» [11, с. 91].

В 1860-х годах Катков-журналист проявил себя как прагматик, который относился к общественному мнению отнюдь не столь восторженно, как когда-то в 1855-м К.С. Аксаков. Для него это был скорее сложный инструмент. Он научился использовать мнение общества, словно энергию, которую можно вырабатывать, аккумулировать и направлять. Однако при этом Катков был не политтехнологом, а по-настоящему независимым журналистом: чтобы добиваться успеха, он должен был верить в то, что проповедовал и к чему призывал.

Не без участия Каткова начиная с рубежа 1850–1860-х годов получил развитие важный, но еще не вполне осмысленный и оцененный процесс: власть впервые стала учиться замечать, изучать и ценить общественное мнение. На это потребовалось по меньшей мере несколько лет. Причем не самых простых и спокойных. Потребность в обозрениях периодической печати чувствовалась императором все более и более, и с октября 1865 года после десяти лет правления Александр II стал ежедневно читать подборку публикаций основных русских газет и журналов. Свой урок после проигранного противостояния с Кат-

ковым извлек и Валуев. В начале 1867 года министр внутренних дел впервые распорядился о подготовке для него специальных «министерских обозрений» печати. Такие обозрения составляли информационные материалы, а также касающиеся правительственных лиц и учреждений, требующие принятия мер, вмешательства в ситуацию [128, с. 37; 129, с. 202]. Для власти это был важный, но все же запоздалый шаг. Запоздалым он оказался и для Валуева: в 1868 году он был отправлен в отставку с поста министра.

Литература

1. Россия под надзором: отчеты III отделения, 1827–1869 / сост. М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова. М.: Российский фонд культуры, 2006. 703 с.
2. *Чернуха В.Г.* Правительственная политика в отношении печати 60–70-е годы XIX века. Л.: Наука (Ленингр. отд-е.), 1989. 207 с.
3. *Гриц Т.С.* М.С. Щепкин: Летопись жизни и творчества. М.: Наука, 1966. 871 с.
4. *Аксаков К.С.* [Передовые статьи газеты «Молва»] / К.С. Аксаков // Эстетика и литературная критика / сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. В.А. Кошелева. М.: Искусство, 1995. С. 362–395.
5. *Хомяков А.С.* Письма к графине А.Д. Блудовой / А.С. Хомяков // Полн. собр. соч.: в 8 т. М.: Университетская типография, 1900. Т. 8: Письма. С. 390–410.
6. *Никитенко А.В.* Дневник: в 3 т. Т. 2: 1858–1865 / подгот. текста и примеч. И.Я. Айзенштока. М.; Л.: Гослитиздат, 1955. 652 с.
7. Обозрения произведений, помещенных в периодических изданиях, составленные Главным управлением цензуры для представления Александру II. Ч. I. 1860 год // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 5086.
8. Обозрения произведений, помещенных в периодических изданиях, составленные Главным управлением цензуры для представления Александру II. Ч. II. 1860 год // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 5087.
9. «Русский вестник»: указатель авторов (1856–1862). Л–Я / сост. В.С. Маслов, Г.П. Талашов. Л.: ЛГУ, 1990. 59 с.
10. *Твардовская В.А.* Политическая программа «Русского вестника» на рубеже 1850-х – 1860-х годов // Освободительное движение в России: Межвузовский научный сборник. Вып. 4. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1975. С. 62–78.
11. *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы // За кулисами политики / Е.М Феоктистов, В.Д. Новицкий, Ф. Лир, М.Э. Клейнмихель / сост. А.А. Либерман. М.: Фонд Сергея Дубова, 2001. С. 9–254.
12. [*Добролюбов Н.А.*] Мысли об учреждении открытых женских школ // Русский вестник. 1858. Т. 14. Апрель. Кн. 1. Современная летопись. С. 218–231.
13. [*Долгоруков П.В.*] Из Парижа // Русский вестник. 1860. Т. 25. № 1–2. Январь. Кн. 1–2. Современная летопись. С. 3–12.
14. По составлению литературных обозрений для Его Императорского Величества. 1865–1868 годы // РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 73.
15. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 16. СПб.: Типогр. М.М. Стасюлевич, 1902. 602 с.
16. Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Кн. 2: 1844–1860 / сост. Т.Г. Динесман и др. М.: ООО «Литограф»; Музей-усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева, 2003. 406 с.
17. *Гачева А.Г.* «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется…»: Достоевский и Тютчев. М.: ИМЛИ РАН, 2004. 640 с.
18. *Федосеева Т.В.* Федор Тютчев и Михаил Катков в литературной и общественной жизни России 1860-х годов // Литературоведческий журнал. 2013. № 32. С. 44–73.
19. *Щебальский П.К.* Журнальные вопросы // Наше время. 1860. 24 января. № 2. С. 22–23; 21 февраля № 6. С. 88–90; 27 марта. № 11. С. 173–176; 3 июля. № 25. С. 394–398.
20. *Щебальский П.К.* Виленский университет и иезуиты // Наше время. 1860. 31 января. № 3. С. 41–44.
21. Извлечения из газет и журналов, представленные государю императору в январе, феврале, марте и апреле 1862 года // ОР РНБ. Ф. 208. Д. 112.
22. *Капнист П.И.* Посвящено А* // Русский вестник. 1859. Т. 24. Ноябрь. Кн. 2. С. 506.
23. Извлечения из газет и журналов, представленные государю императору в мае, июне, июле и августе 1862 года // ОР РНБ. Ф. 208. Д. 113.
24. Извлечения из газет и журналов, представленные государю императору в сентябре, октябре, ноябре и декабре 1862 года // ОР РНБ. Ф. 208. Д. 114.
25. Всеподданнейшие докладные записки статс-секретаря Головнина с мая по сентябрь 1862 года // ОР РНБ. Ф. 208. Д. 100.
26. *Ванеян С.С.* Катков Михаил Никифорович // Русские писатели 1800–1917: биографический словарь. Т. 2: Г–К. М.: Большая российская энциклопедия; Фианит, 1992. С. 506–513.
27. *Плященко М.Н.* Катков Михаил Никифорович // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 2010. С. 231–234.
28. *Олейников Д.И., Твардовская В.А.* Катков Михаил Никифорович // Отечественная история: энциклопедия: в 5 т. Т. 2: Д–К / редкол.: В.Л. Янин и др. М., 1996. С. 522–524.
29. *Любимов Н.А.* Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга. По документам и личным воспоминаниям Н.А. Любимова. СПб.: Типогр. т-ва «Общественная польза», 1889. 356 с.

30. Всеподданнейшие докладные записки статс-секретаря Головнина с января по май 1862 года // ОР РНБ. Ф. 208. Д. 98.

31. *Веселовский К.С.* Эпизод из истории «С.-Петербургских ведомостей». Воспоминания непременного секретаря Императорской Академии наук К.С. Веселовского // Русский архив. 1893. Кн. 7. С. 391–398.

32. *Герцен А.И.* Журналисты и террористы / А.И. Герцен // Собр. соч.: в 30 т. / гл. ред. В.П. Волгин. Т. 16: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1862–1863 годов. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 220–226.

33. *Лемке М.К.* Эпоха цензурных реформ. 1859–1865 годов. СПб.: Типо-литогр. «Герольд», 1904. VIII, 512, IX, с.

34. *Мещерский Н.П.* Воспоминания о Каткове. Письма в Тверитино // Русский вестник. 1897. Т. 250. Август. С. 1–49.

35. *Цеэ В.А.* А.В. Головнин и его отношение к А.И. Герцену // Русская старина. 1897. Ноябрь. С. 273–277.

36. *Рудаков В.Е.* Последние дни цензуры в Министерстве народного просвещения (Председатель СПб. цензурного комитета В.А. Цеэ) // Исторический вестник. 1911. Т. 125. № 8. С. 502–533.

37. *Стаферова Е.Л.* А.В. Головнин и либеральные реформы в просвещении (первая половина 1860-х гг.). М.: КАНОН+, 2007. 511 с.

38. *Громова Л.П.* А.И. Герцен и русская журналистика его времени. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1994. 153 с.

39. Цензоры Российской империи, конец XVIII – начало XX века: Биобиблиографический справочник. СПб.: Российская национальная библиотека, 2013. 480 с.

40. *Рудаков В.Е.* Последние дни цензуры в Министерстве народного просвещения (Председатель СПб. цензурного комитета В.А. Цеэ) // Исторический вестник. 1911. Т. 125. № 9. С. 962–987.

41. [*Цеэ В.А.*] Мысли о «Колоколе». Копия, б. д. // РО ИРЛИ. Ф. 559. Д. 67.

42. Из истории борьбы самодержавия с изданиями Герцена / сообщ. Е.П. Федосеевой // Литературное наследство. Т. 63. М., 1956. С. 677–694.

43. *Валуев П.А.* Всеподданнейшие доклады Александру II // РО ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Ф. 559. Д. 21.

44. *Милютин Д.А.* Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина 1860–1862 / под ред. Л.Г. Захаровой. М.: Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова; Рос. арх., 1999. С. 558.

45. Lettre à monsieur Herzen, par D.K. Schedo-Ferroti. Berlin, 1861.

46. Письмо А.И. Герцена к русскому послу в Лондоне с ответом и некоторыми примечаниями Д.К. Шедо-Ферроти = Lettre de M. Hertzen à l'Ambassadeur de Russie à Londres, avec réponse de M. Schédo-Ferroti. Berlin, 1861.

47. Предложение Комитету цензуры иностранной о разрешении распространения изданной в Берлине брошюры Lettre de M. Herzen a l'ambassadeur de Russie avec une replique de D. K. Schedo-Ferroti. Февраль 1862 года // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 5946.

48. О пересмотре и разрешении запрещенных ранее сочинений Д.К. Шедо-Феррори (барона Фиркса). Март – декабрь 1862 года // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 5991.

49. По отношению министра внутренних дел о запрещении книгопродавцу Крылову перепечатать брошюру «Письмо А.И. Герцена к русскому послу в Лондоне с ответом Д.К. Шедо-Ферроти». 4–9 мая 1862 года // РГИА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 99.

50. *Неведенский С. [Щеголовитов С.Г.]* Катков и его время. СПб.: Типогр. А.С. Суворина, 1888. XIV. 570 с.

51. *Ч.* [*Чичерин Б.Н.*] <Письмо к издателю «Колокола»> // Колокол: Прибавочные листы к «Полярной звезде». 2-е изд. London, 1858. 1 декабря. Лист. 29. С. 236–239.

52. По представлению Московского цензурного комитета о разрешении поместить в газете «Наше время» письмо к А.И. Герцену. 24 апреля 1862 года // РГИА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 80.

53. *Чичерин Б.Н.* Несколько современных вопросов. М.: К.Т. Солдатенков, Типогр. В. Грачева и комп., 1862. 265 с.

54. [*Катков М.Н.*] Москва, 4-го сентября // Московские ведомости. 1864. 5 сентября. № 195. С. 2.

55. *Патрушева Н.Г.* Организация цензурного надзора в провинции во второй половине XIX – начале XX в. // История книги и цензуры в России: Вторые Блюмовские чтения: материалы междунар. науч. конф., посвящ. памяти А.В. Блюма, 21–22 мая 2013 г. СПб.: Ленинградский государственный университет, 2014. С. 34–43.

56. *Помелов В.Б.* Деятельность А.И. Герцена по развитию просвещения и культуры в Вятской губернии: К 200-летию со дня рождения // Вестник Вятского государственного университета. 2012. № 1. С. 139–145.

57. Речь, сказанная при открытии Вятской публичной библиотеки А. Герценом 6-го декабря 1837 года // Вятские губернские ведомости. 1862. 21 апреля. № 16. Отд. второй. Часть неофициальная. С. 119–120.

58. Речь А. Герцена, сказанная им при открытии вятской публичной библиотеки, 6-го декабря 1837 года // Северная пчела. 1862. 9 мая. № 124. С. 494.

59. *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма: в 13 т. Т. 4: 1860–1862. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 733 с.

60. *Воропонов Ф.Ф.* Сорок лет тому назад: По личным воспоминаниям // Вестник Европы. 1904. № 7. С. 5–42.

61. Д.Е. Кожанчиков – Герцену / публ. Л.Р. Ланского // Литературное наследство. Т. 62: Герцен и Огарев. Кн. II. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 273.

62. С.С. Громека – Герцену / публ. Е.Л. Рудницкой // Литературное наследие. 1955. Т. 62: Герцен и Огарев. Кн. II. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 105–122.

63. Из Записок сенатора К.Н. Лебедева // Русский архив. 1911. № 3. С. 375–422.

64. *Пановский Н.М.* Что делается в Москве // Современная летопись. 1862. [19 апреля]. № 16. С. 29–31.

65. [*Катков М.Н.*] Москва, 16-го мая // Современная летопись. 1862. [17 мая]. № 20. С. 11–13.

66. *Герцен А.И.* Дурные оружия / А.И. Герцен // Собр. соч.: в 30 т. / гл. ред. В.П. Волгин. Т. 16: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1862–1863 годов. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 123–126.

67. *Белявская И.М. и др.* Комментарии // *Герцен А.И.* Собр. соч.: в 30 т. / гл. ред. В.П. Волгин. Т. 16: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1862–1863 годов. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 341–482.

68. Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / ред. Е.Л. Рудницкая. М.: Археографический центр, 1997. 570 с.

69. [*Катков М.Н.*] Москва, 6 июня // Современная летопись. 1862. [7 июня]. № 23. С. 11–13.

70. *Антонова Н.Н. и др.* Комментарии // *Герцен А.И.* Собр. соч.: в 30 т. / гл. ред. В.П. Волгин. Т. 15: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1861 года. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 283–458.

71. *Цветков К.Н.* Добровольный ответ на «Вынужденное объяснение» Н.М. Павлова // Русское обозрение. 1895. Т. 35. Октябрь. С. 835–851.

72. *Катков М.Н.* Заметка для издателя «Колокола» / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина: о литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010. С. 491–506.

73. *Павлов Н.М.* Полемика Каткова с Герценом. Эпизод из шестидесятых годов // Русское обозрение. 1893. Май. С. 308–324.

74. *Лемке М.К.* [Комментарий к «1915. По поводу крепких слов г. Каткова и слабости генерала Потапова»] // *Герцен А.И.* Полн. собр. соч. и писем / под ред. М.К. Лемке. Т. 15: 1862 г. Пг.: Гос. изд-во, 1920. С. 421–461.

75. *Кругликова О.С.* Передача газеты «Московские ведомости» на правах аренды М.Н. Каткову в 1862 г. (Политический контекст и финансовые условия контракта) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика, 2007. Вып. 4. Ч. II. С. 248–255.

76. *Господарик Ю.П.* Иван Давыдович Делянов // Высшее образование в России. 2002. № 3. С. 101–118.

77. *Оксман Ю.Г.* Е.М. Феоктистов и его воспоминания // *Феоктистов Е.М.* Воспоминания Е.М. Феоктистова: За кулисами политики и литературы. 1848–1896 / ред. и примеч. Ю.Г. Оксмана; ввод. статьи А.Е. Преснякова, Ю.Г. Оксмана. Л.: Прибой, 1929. С. XVI–XXIX.

78. *А.Б.* [*Бенни А.И.*] Grettez (l'anglomane) russe et vous trouverez le tartare // Северная пчела. 1862. 29 июля. № 203. С. 809.

79. [*Катков М.Н.*] Заметка для издателя «Колокола» // Сын отечества. 1862. 28 июля. № 180. С. 1415–1418.

80. Предписания и распоряжения председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета, принятые к руководству. 1 января 1862 – 28 января 1863 года // РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 1.

81. *Усов П.С.* Из моих воспоминаний // Исторический вестник. 1883. Т. 12. Апрель. С. 57–84.

82. *Китаев В.А.* От фронды к охранительству: Из истории русской либеральной мысли 50–60-х гг. XIX в. М.: Мысль, 1972. 288 с.

83. [*Катков М.Н.*] Заметка для издателя «Колокола» // Северная пчела. 1862. 7 августа. № 212. С. 845–847.

84. [*Катков М.Н.*] Герцен, Искандер тож // Домашняя беседа для народного чтения. 1862. 11 авг. № 32. С. 103–117.

85. *Герасимова Ю.И.* Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х – начала 1860-х гг. М.: Книга, 1974. 208 с.

86. [*Капнист П.И.*] Краткое обозрение направления периодических изданий и газет и отзывов их по важнейшим правительственным и другим вопросам за 1862 год. СПб.: Типогр. Ф. Персона, 1862. 87 с.

87. [*Катков М.Н.*] Москва, 15 августа // Современная летопись. 1862. [16 августа.] № 33. С. 17–21.

88. Г. Герцен и г. Огарев (Русская литература за границей) // Наше время. 1862. 2 авг. № 166. С. 661; 5 авг. № 169. С. 673–674; 2 сент. № 189. С. 753–754; 12 сент. № 196. С. 781–782; 16 нояб. № 248. С. 289–290; 1863. 13 янв. № 11. С. 41.

89. *Маков С.* Письмо провинциала к редактору «Нашего времени» (По поводу статьи о русских агитаторах) // Наше время. 1862. 1 сент. № 188. С. 751–752.

90. Москва, мая 30-го // Наше время. 1862. 30 мая. № 113. С. 449.

91. Москва, июня 24-го // Наше время. 1862. 24 июня. № 135. С. 537.

92. *М.З.* Несколько слов по поводу одного нового вопроса в русской публицистике // Сын отечества. 1862. 17 авг. № 197. С. 1549–1550.

93. *Видуэцкая И.П.* Лесков о Герцене // Проблемы изучения Герцена / отв. ред. Ю.Г. Оксман. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 300–320.

94. [*Лесков Н.С.*] [С.Петербург, четверток, 7-го июня 1862 г.] // Северная пчела. 1862. 7 июня. № 151. С. 601.

95. [*Лесков Н.С.*] [С.Петербург, среда, 13-го июня 1862 года] // Северная пчела. 1862. 13 июня. № 157. С. 625.

96. [*Лесков Н.С.*] [С.Петербург, воскресенье, 24-го июня 1862 года] // Северная пчела. 1862. 24 июня. № 168. С. 669.

97. [*Лесков Н.С.*] «Колокол» и «Русский вестник» // Северная пчела. 1862. 7 августа. № 212. С. 845.

98. [*Лесков Н.С.*] [С.Петербург, вторник, 28-го августа 1862 года] // Северная пчела. 1862. 28 августа. № 232. С. 925–926.

99. *Катков М.Н.* [Письма] Александру II (1866–1879) / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5: Энергия предприимчивости. СПб.: Росток, 2012. С. 618–635.

100. О путешествиях Государя Императора // Санкт-Петербургские ведомости. 1862. 21 августа. № 181. С. 779.

101. Из Москвы // Санкт-Петербургские ведомости. 1862. 28 августа. № 187. С. 803.

102. *Катков М.Н., Леонтьев П.М.* Об издании «Московских ведомостей» в 1863 году // Современная летопись. 1862. [25 октября] № 43. С. 1–3.

103. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Январь – июнь 1863 года // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 1.

104. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Июль – декабрь 1863 года // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 2.

105. *Перевалова Е.В*. «Московские ведомости» М.Н. Каткова в 1863–1864 гг. – политический официоз или орган независимого общественного мнения? // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 4 (36). С. 163–179.

106. *Гуфэйзенберг Х.* [*Валуев П.А.*] Письмо к редактору (По поводу вопроса о поземельной собственности и общинном пользовании землею) // Русский вестник. 1857. Т. 12. Ноябрь. Кн. 2. Современная летопись. С. 101–115.

107. [*Валуев П.А.*] Об изменении быта крестьян Остзейских губерний // Русский вестник. 1858. Т. 13. Январь. Кн. 2. С. 303–321; Февраль. Кн. 1. С. 455–484.

108. Михаил Никифорович Катков и граф Петр Александрович Валуев в их переписке. (1863–1879 гг.) / сообщ. В. Мустафин // Русская старина. 1915. Т. 163. Август. С. 279–300.

109. *Катков М.Н*. Что нам делать с Польшей? / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор. СПб.: Росток, 2011. С. 47–81.

110. *Валуев П.А*. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел: в 2 т. / ред., введ., биогр. очерк и коммент. П.А. Зайончковского. Т. 1: 1861–1864 гг. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 422 с.

111. *Аксаков И.С*. Письма П.А. Валуеву в связи с запрещением цензурой некоторых статей газеты «День». 12 апреля 1863 – 27 января 1864 года // РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 474.

112. *Аксаков И.С*. Письма к Н.П. Гилярову-Платонову (1862–1886) // Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3: Письма 1857–1886 гг. М.: Русская книга, 2004. С. 426–448.

113. *Исхакова О.А*. «Московские ведомости» // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 2010. С. 305–309.

114. [*Катков М.Н.*] Москва, 30-го мая // Московские ведомости. 1863. 30 мая. № 116. С. 1.

115. *Schédo-Ferroti D.K.* [*Fircks de Th.*] Études sur l'avenir de la Russie. Huitième étude: Que fera-t-on de la Pologne? Berlin; Bruxelles; Leipzig, 1864. 311 p.

116. *Перевалова Е.В*. М.Н. Катков и А.В. Головнин: к истории взаимоотношений // Вопросы теории и практики журналистики. 2017. Т. 6. № 3. С. 330–346.

117. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Январь – декабрь 1864 г. // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 3.

118. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Январь – октябрь 1865 г. // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 4.

119. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Ноябрь – декабрь 1865 г. // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 5.

121. *Катков М.Н.* № 61. Москва, 19-го марта / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1866 год. М.: Изд-е С.И. Катковой, 1897. С. 173–175.

122. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Март – апрель 1866 // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 7.

123. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Январь – февраль 1866 // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 6.

124. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. 1–14 мая, 12–30 сентября 1866 года // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 8.

125. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Октябрь 1866 г. // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 9.

126. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Ноябрь 1866 г. // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 10.

127. Доклады по периодической печати министра внутренних дел Александру II. Декабрь 1866 г. // РГИА. Ф. 1470. Оп. 1. Д. 11.

128. *Чернуха В.Г.* Главное управление по делам печати в 1865–1881 гг. // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века: Сб. научных трудов. Вып. 6. СПб.: Российская национальная библиотека. 1992. С. 20–40.

129. *Гринченко Н.А., Патрушева Н.Г.* Центральные учреждения цензурного ведомства (1804–1917) // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века: Сб. научных трудов. Вып. 14. СПб.: Российская национальная библиотека. 2008. С. 185–302.

Аннотация. Царские обозрения – специфическая разновидность делопроизводственных источников – представляют собой обзоры периодической печати, которые готовились для императора, начиная с рубежа 1850-1860-х годов. На основе этих обозрений, а также других архивных источников, рассмотрена деятельность М.Н. Каткова – издателя и публициста, его роль в мобилизации общественного мнения и эволюция отношений с различными представителями власти в 1860–1866 годах. Особое внимание уделено деятельности Каткова в публицистической борьбе с А.И. Герценом, которую прежде представляли как часть кампании в прессе, организованной властью в 1862 году.

Ключевые слова: М.Н. Катков, царские обозрения, журналистика, публицистика, А.И. Герцен, А.В. Головнин, П.А. Валуев, цензура, общественное мнение.

Dmitrii Aleksandrovich Badalian, Candidate of Science in History, Senior Researcher, National Library of Russia. E-mail: dmit.bad@gmail.com

Journalist, Public Opinion and Authorities: M.N. Katkov's Periodicals in the 'Tsar's Reviews' in the Years of 1860–1866

Abstract. The 'Tsar's Reviews' (*Tsarskiye Obozreniya*), a specific kind of records sources, are the surveys of periodical press prepared for the emperor starting from the turn of the 1850s and 1860s. On the basis of these reviews, as well as other archival sources, the author studies M.N. Katkov's publishing and journalistic activities, his role in the mobilization of public opinion and relations with various government officials in the period of 1860–1866. Special attention is paid to Katkov's activities in the publicistic struggle against A.I. Herzen, that was previously interpreted as part of the campaign organized by the authorities in 1862.

Keywords: M.N. Katkov, Tsar's Reviews, Journalism, Publicism, A.I. Herzen, A.V. Golovnin, P.A. Valuev, Censorship, Public Opinion.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-119-135

Елена Перевалова

М.Н. Катков-журналист: борьба за привилегии или служба по совести?

Михаил Никифорович Катков – одна из самых противоречивых и неоднозначных фигур в отечественной журналистике второй половины XIX века. У единомышленников публицистический дар «трибуна со Страстного бульвара» (как нередко называли Каткова), его смелая и бескомпромиссная позиция, патриотическое одушевление его передовых статей вызывали безоговорочное одобрение и восхищение, но конкуренты и политические оппоненты с завидным постоянством намекали на «особые заслуги» Каткова перед правительством, на «исключительное положение» и «особые условия», созданные для его изданий в обмен на оказанные им услуги политическому истеблишменту, упрекали журналиста в «изворотливости», «угодливости», умении следовать «конъюнктуре момента» и «держать нос по ветру», «в неблаговидных инсинуациях из личной корысти» [9, с. 270]. В адрес издаваемых Катковым «Московских ведомостей» неоднократно звучали обвинения, что они, «не погрешая против силы слова и доводов, умели ладить с бюрократизмом, знали, в какой час надо промолчать, кому следует воскурить фимиамом восхвалений, и кого можно задеть больно и смело» [11, с. 79]. Распространенное среди современников мнение о Каткове как о «лейб-гоф-обержурналисте» [23, с. 353] нашло продолжение в либеральной дореволюционной и советской историографии, в которой господствовало убеждение, что его выступления в печати зависели от политической конъюнктуры, а позиция редактируемых им «Московских ведомостей» и «Русского вестника» менялась в зависимости от отношений с верховной властью. С целью дать более объективную оценку Каткову-журналисту и публицисту в данной статье сделана попытка рассмотреть характер его отношений с представителями высшей администрации – А.В. Головниным, министром народного просвещения в 1861–1866 годах, П.А. Валуевым – министром внутренних дел в 1861–1868 годах, его преемником на этом посту – А.Е. Тимашевым, шефом жандармов и начальником Третьего отделения в 1866–1874 годах П.А. Шуваловым, главой русского внешнеполитического ведомства А.М. Горчаковым.

Журналистская и редакторская деятельность Каткова пришлась на вторую половину 1850-х – 1880-е годы – весьма сложный для отечественной журналистики период. С одной стороны, с началом царствования Александра II значительно расширился диапазон информации, появилась возможность публичного обсуждения и обмена суждениями по вопросам как внутренней, так и внешней политики, с другой – постоянные изменения границ гласности, появление новых законов и постановлений относительно печати, чередование лиц, в чьи непосредственные обязанности входил контроль за соблюдением цензурных

Перевалова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Московского политехнического университета, Институт издательского дела и журналистики. E-mail: helenpv@yandex.ru

установлений и т.д., – все это усложняло работу редакторов и журналистов, которым приходилось прилагать немало усилий, а зачастую и прибегать к определенным уловкам и приемам, чтобы обеспечить «цензурную безопасность» своих изданий. На журналистику существенное влияние стали оказывать политические группировки и комбинации в правительстве, представлявшие заметное явление в политической жизни России в годы правления Александра II, а затем и при Александре III. В императорском окружении в разные периоды большую роль играли такие государственные деятели, как П.А. Валуев, Д.А. и Н.А. Милютины, А.В. Головнин, П.А. Шувалов, М.Т. Лорис-Меликов, Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев и др., вокруг каждого из которых возникали «партии» – круг приближенных лиц, объединенных общим видением ситуации, схожими политическими взглядами, ориентацией на ту или иную политическую программу. Каждая «партия» стремилась усилить свое воздействие на императора и склонить его к принятию тех государственных решений и к одобрению тех законов, которые, по мнению ее лидера, были наиболее правильными[1]. Между «партиями» всегда существовали скрытые, как правило, конфликты, редко приводящие к открытому противостоянию, но от этого не менее ожесточенные. Высокопоставленные государственные чиновники, понимая, насколько значительное влияние на общественное мнение может оказывать пресса, стремились использовать в своих интересах авторитет печати, подчинить ее себе, использовать в борьбе против своих политических оппонентов и т.п. Если в годы николаевского царствования власть стремилась взять журналистику под свой контроль и применяла в основном запретительные меры, то в 1860–1880-х годах государственные деятели «новой формации» искали более тонкие и изощренные приемы воздействия на прессу. Со своей стороны, журналистам волей-неволей приходилось с этим считаться, приноравливаться к меняющимся обстоятельствам, искать поддержку среди влиятельных лиц в правительстве, от мнений, настроений и влияния которых зачастую во многом зависела судьба их изданий.

К началу 1860-х годов Катков приобрел известность как один из самых талантливых журналистов России. Его журнал «Русский вестник», в котором обличительные очерки М.Е. Салтыкова-Щедрина, П.И. Мельникова-Печерского, проза И.С. Тургенева, стихи А.Н. Майкова, А.А. Фета, А.К. Толстого соседствовали с политическими обозрениями, остро актуальными статьями Н.Х. Бунге, В.П. Безобразова, С.С. Громеки, В.И. Вернадского, И.К. Бабста и других видных публицистов, «занял <...> первое место» в русской журналистике» [30, с. 161]. Авторитет Каткова еще более усилился в 1863 году, с переходом в его руки одной из старейших газет России – «Московских ведомостей», которую в результате острой конкурентной борьбы он (совместно с П.М. Леонтьевым) арендовал у Московского университета сроком на двенадцать лет и в считанные месяцы сумел превратить из полупровинциального издания в одну из самых влиятельных российских газет, по содержанию и внешнему виду не уступающую лучшим образцам западноевропейской ежедневной периодики. Это не могло остаться незамеченным представителями властных структур, которые почти сразу попытались заручиться поддержкой Каткова в надежде со временем превратить его издание в правительственный официоз.

Первым такую попытку предпринял министр народного просвещения А.В. Головнин – креатура и «серый кардинал» великого князя Константина Николаевича. Едва заняв свой высокий пост, он в разговорах с близкими редакции «Московских ведомостей» лицами начал высказывать свое расположение в адрес Каткова, подчеркивая, что «совершенно разделяет» его образ мыслей и т.п. [31]. Правда, первая встреча, состоявшаяся

[1] Безусловно, надо принять во внимание, что влияние партий было значительно слабее в годы правления Александра III, который, в отличие от своего отца, обладал более решительным и твердым характером, имел более четкое представление о внутри и внешнеполитическом курсе страны и потому был менее подвержен влияниям со стороны.

в мае 1862 года, явно не поспособствовала возникновению симпатии и доверия между журналистом и министром: высокомерная и надменная манера общения Головнина сразу произвела самое невыгодное впечатление на Каткова, который по окончании визита прямо и коротко сказал: «А не нравится мне ваш Головнин» [7, с. 397]. Министр быстро понял свою ошибку, постарался ее исправить, и вскоре между ними завязалась переписка, в ходе которой высокопоставленный чиновник настойчиво старался уверить журналиста в своем намерении «доставить более свободы слову» [8, 31 августа 1862 г.]. В доказательство своей лояльности Головнин разрешал к публикации некоторые статьи Каткова, поначалу не пропущенные Московским цензурным комитетом, в том числе лично дал разрешение на публикацию в «Русском вестнике» ранее не пропущенной московской цензурой «Заметки для издателей “Колокола”» [29, с. 277]. Заметим, что в данном случае цели министра и публициста совпадали: они оба понимали, что нейтрализовать влияние А.И. Герцена, популярность которого в среде российской интеллигенции достигла в тот период кульминации, можно лишь путем гласного обсуждения. Благодаря Головнину запрет на упоминание в печати имени «лондонского агитатора» был снят, и Катков стал едва ли первым журналистом, которому было позволено вести полемику с «Колоколом». Примечательно, что в частных письмах Каткову министр не забывал подчеркивать, что сделал это вопреки противодействию своего окружения, тем самым давая понять, насколько существенна его личная заслуга [8, 31 августа 1862 г.]. С этой же целью – продемонстрировать свою «особую роль» в деле аренды «Московских ведомостей» – министр осенью 1862 года писал Каткову о том, что в его ведомство «поступило предложение с надбавкой 10 тысяч рублей в год, но в уважение приняты опытность, знание и известность новых редакторов. Вследствие этого не нужно представлять дело ни в Сенат, ни в Комитет министров» [8, 1 октября 1862 г.], на основании чего можно предположить, что газета попала в руки Каткова и Леонтьева не в результате честной конкурентной борьбы, а при помощи «закулисного» посредничества высокопоставленного чиновника. Однако в архивных документах до сих пор не найдено никаких свидетельств, подтверждающих факт предложения «с надбавкой в 10 тысяч», и весьма вероятно, что такого предложения и не существовало, а министр народного просвещения лишь хотел таким образом продемонстрировать свое «особое благорасположение» редактору, чтобы тот почувствовал себя «облагодетельствованным».

Спустя несколько месяцев, в июне 1863 года, когда передовые статьи Каткова по польскому вопросу превратили «Московские ведомости» в один из самых авторитетных печатных органов России, Головнин перешел к более решительным действиям. Для начала он, рассчитывая, как видимо, польстить авторскому самолюбию Каткова, написал ему, что его газета «заслужила честь второго издания» и может считаться «лучшим материалом для истории нашей эпохи» [8, 4 июня 1863 г.]. Столь комплиментарная оценка «Московских ведомостей», в которых решительно критиковалась примирительная политика и распоряжения патрона Головнина – великого князя Константина Николаевича, наместника в Царстве Польском, весьма показательна. Как представляется, Головнин имел намерение не только использовать «Московские ведомости» как транслятор позиции своего министерства, но и, возможно, добиться более лояльного отношения газеты к великому князю. С этой целью спустя несколько дней он обратился к самому надежному, как ему казалось, аргументу – деньгам и сделал весьма откровенную попытку подкупить журналиста. В письме от 7 июня 1863 года министр уже прямо и строго конфиденциально предложил Каткову напечатать особой брошюрой статьи по польскому вопросу, с тем чтобы 1200 экземпляров будущего сборника было закуплено министерством для рассылки в учебные заведения, русским подданным за границу и секретарям российских посольств [8, 7 июня 1863 г.]. Позже товарищ министра барон А.П. Николаи, действовавший по поручению А.В. Головнина, предлагал издателям и другие льготы: сокращение оплаты почтовых расходов в сумме

двух рублей с каждого экземпляра, открытие педагогического отдела, закупка 2–2,5 тыс. экземпляров газеты для рассылки по учебным заведениям. Реализация этих предложений существенно облегчила бы финансовое положение издателей, ежегодно обязанных выплачивать университету 74 тыс. рублей арендных денег, так как только экономия на почтовых расходах могла составить от 8 до 15 тыс. рублей в год. К сожалению, ответное письмо Каткова не сохранилось, но, вероятно, он отвечал в тех же выражениях, в каких уже неоднократно писал министру: благодарил его за доверие, но при этом отказывался от всего, что публикой могло быть истолковано как «начало целого ряда материальных выгод и преимуществ», подчеркивал, что будет «строго охранять нашу личную независимость и избегать всего, что может дать пищу клеветам и перетолкованиям относительно характера нашей общественной деятельности» [16]. Журналист явно не доверял Головнину, видел в нем человека неискреннего и даже опасного и догадывался, что, предлагая столь явные материальные выгоды, министр в свою очередь ожидает лояльности со стороны его газеты, на что недвусмысленно указывало обязательное условие строгой секретности. Осторожный Катков не желал рисковать репутацией и связывать себя какими-либо обязательствами перед Головниным, особенно в ходе начавшейся на страницах «Московских ведомостей» активной дискуссии по проекту гимназической реформы, во взглядах на которую между ним и министром имелись существенные отличия.

Безусловно, Головнин не мог не почувствовать себя уязвленным отказом журналиста, но сумел в тот момент ничем не обнаружить своей досады и даже выразил Каткову «глубокое сожаление» от того, что тот «не признает возможным издать особой книгой прекрасные статьи, разбросанные в разных периодических изданиях, и которые, не будучи своевременно собраны, пропадут для будущего» [8, 27 июня 1863 г.]. Однако дальнейшие шаги министра были направлены на противодействие «Московским ведомостям» и диктовались, во всей вероятности, стремлением защитить великого князя от нападок газеты, а также желанием «поставить на место» строптивого журналиста, осмелившегося отказаться от столь явно предлагаемой ему «поддержки». Он попытался использовать против Каткова его же собственное оружие – публицистику, инициировав издание в 1864 году в Брюсселе книги барона Ф.И. Фиркса “Etudes sur l’avenir de la Rassie” («О будущем России»), которая должна была стать своего рода оправданием политики великого князя в Польше и вызовом «Московским ведомостям». Этот литературный поединок закончился блестящей победой московского публициста, который в «громовых», по отзывам современников [19, к. 2, с. 85], передовых статьях, напечатанных без согласования с цензурой, указал на опасность, исходящую от националистических сил в Царстве Польском и угрожающую целостности Российской империи, и доказывал, «что политика русского правительства может не иначе удовлетворять своему назначению, как принимая все более и более национальный характер» [15, 1864, № 195, 5 сентября]. В этих же статьях Катков предал огласке вышеперечисленные предложения Головнина, продемонстрировав тем самым широкой общественности двуличие и лицемерие министра. Публичные обвинения, брошенные в адрес государственного сановника, произвели «большой скандал» в обществе [23, с. 463], статьи «Московских ведомостей» читали и комментировали во всех петербургских гостиных, что не могло не остаться без ответа со стороны Головнина, который, объединившись с П.А. Валуевым, добился согласия императора рассмотреть вопрос о «Московских ведомостях» на заседании Комитета министров. Лишь благодаря энергичной поддержке со стороны военного министра Д.А. Милютина, министра иностранных дел А.М. Горчакова, министра государственных имуществ А.А. Зеленого, председателя Комитета иностранной цензуры Ф.И. Тютчева и др. деятельность Каткова как руководителя газеты была признана непредосудительной. Очевидную роль в принятии благоприятного для него решения сыграла деятельная поддержка со стороны читательской аудитории и руководства Московского

университета, которое решительно заявило о нежелании менять редактора газеты и даже выступило с инициативой об изъятии «Московских ведомостей» из общей цензуры и возложении цензурной ответственности на редакторов и на университет [25]. «Выходка Ваша против некоторого правительственного лица наделала здесь много шуму, – писал Каткову из Петербурга Ф.М. Толстой. – Не будь за вами стотысячной армии читателей – то Вас бы скушали без приправы» [26]. До конца пребывания Головнина на посту министра (его отставка состоялась в апреле 1866 года) Катков на страницах газеты неотступно критиковал инициированное министерством разделение гимназий на классические и реальные, яростно полемизировал с поддерживаемой министром газетой «Голос», которую прямо обвинял в получении негласных субсидий от правительства [15, 1865, № 187, 26 августа; 1865, № 195, 7 сентября] и т.д.

Если отношения Каткова с Головниным изначально складывались достаточно напряженно и между ними никогда не существовало доверия и симпатии, то, напротив, с министром внутренних дел П.А. Валуевым редактор «Московских ведомостей» достаточно быстро нашел общий язык. Валуев предпринял попытку сблизиться с Катковым почти одновременно с Головниным, но делал это не столь прямолинейно и откровенно, а в более осторожных и деликатных выражениях. Имея собственный опыт в публицистике и понимая, какое значение для творческого человека имеет возможность высказать свою точку зрения заинтересованному собеседнику, он в марте 1863 года обратился к Каткову с весьма необычной для высокопоставленного чиновника просьбой: «Просьба в том, чтобы Вы всегда с той же самой откровенностью сообщали мне Ваше мнение; предложение – в том, чтобы Вы заключили со мной договор, “pactum”, насчет дальнейшего обмена мыслей и мнений» [3, с. 1–2, 29 марта 1863 г.]. В обмен министр предлагал «в пределах возможного, давать *конфиденциально* [выделено автором письма – *Е.П.*] ответ на каждый Вами мне предлагаемый вопрос, и желаю, в мою очередь, иметь возможность обращаться к Вам, *конфиденциально* [выделено автором письма – *Е.П.*] же, для осведомления о вашем взгляде на те вопросы, по которым мне хотелось бы узнать Ваше мнение» [3, с. 1–2, 29 марта 1863 г.]. Каткова не могло не насторожить поставленное министром условие конфиденциальности переписки, о которой по желанию Валуева мог быть осведомлен лишь П.М. Леонтьев, но его, безусловно, заинтересовала возможность получения свежей и достоверной информации «из первых рук». Между ним и Валуевым завязалась оживленная переписка, в ходе которой, министр, как видимо, стремился вызвать журналиста на обмен мыслями, обращался к нему за советами, словно бы демонстрируя этим свое доверие к нему и уважение к его профессиональному опыту. Круг обсуждаемых вопросов был весьма обширен: о реорганизации центрального и местного самоуправления, о представительских учреждениях, о национальной политике и т.д. В течение всего 1863 года тон и содержание переписки носили весьма откровенный и доверительный характер, обоих участников сближало сочувствие проводимым реформам и умеренно-либеральный образ мыслей, хотя их взгляды на происходящее во многом не совпадали. По образному выражению самого Валуева, «та линия, которая в динамике или, пожалуй, в артиллерии, называется директрисой, – у нас общая, но полеты снарядов более или менее уклоняются, вправо или влево, хотя и направлены к одной цели» [4, с. 406–408, СПб., 29 июля 1863 г.]. Так, в национальном вопросе Валуев являлся сторонником предоставления окраинам империи широкой автономии, тогда как Катков, напротив, отстаивал цельность и неделимость государства как политического организма, допуская сохранение местных особенностей, свободы вероисповедания, употребления местных языков в местных школах и учреждениях лишь при условии обязательного преподавания русского языка как государственного. Различным было их отношение к ситуации в Финском и Остзейском краях: Валуев, как политик и дипломат, принимал во внимание сильное влияние при дворе крупных остзейских помещиков – и потому не пре-

пятствовал германизации прибалтийских территорий, тогда как Катков неоднократно пытался выступать против «онемечивания» края, отстаивая распространение русского языка и языков народов, его населяющих: эстов, латышей, литовцев.

Желая добиться доверия Каткова, Валуев разрешил предоставлять сразу в министерство, на его личное усмотрение статьи, не пропущенные Московским цензурным комитетом. Катков не преминул воспользоваться данным ему правом и, как свидетельствуют его письма, не раз обращался к министру с просьбой разрешить публикацию в «Московских ведомостях» статей, которые в обычном порядке вряд ли были бы пропущены цензурой или подлежали бы длительной процедуре согласований. Несомненно, страстность, резкость тона, присущая публицистическим выступлениям Каткова, непререкаемость, с которой он высказывал свою позицию, раздражали министра, однако он нередко шел навстречу публицисту. «Я не раздражителен подобно вам, не абсолютен, не односторонен, не упорен подобно Вам – Вы можете печатать статью. Я ей не мешаю, – примирительно писал Валуев Каткову, подчеркивая свою лояльность по отношению к его газете. – Если Вы недовольны Московской цензурой (едва ли Вы к ней справедливы), – на петербургскую, кажется, Вам не следует сетовать» [3, с. 23–24, 26 декабря 1863 г.]. Однако вскоре в их отношениях наступило охлаждение: журналиста раздражала весьма двусмысленная тактика Валуева, который зачастую отдавал официальное распоряжение Московскому цензурному комитету сделать административное внушение редактору «Московским ведомостей» и – одновременно – в частной переписке с ним – прямо-таки едва ли не извинялся за те или иные действия московских цензоров, попутно упрекая его в нежелании проявить «благоразумие» и «сговорчивость». «Я писал М.П. Щербинину[1] о необходимости с некоторой разборчивостью пропускать в печать финансовые статьи вообще, но никогда не выражал желания “сохранять над Вами строгий и бдительный надзор цензуры”, – конфиденциально сообщал Валуев Каткову. – Вы очень хорошо знаете, что Ваше независимое, но благородно-полезное направление одинаково признается и публикой, и правительством; но доколе есть цензура, нельзя же с нею никогда не встречаться. Без взаимной сговорчивости трудно сговариваться» [3, с. 4–6, 4 июня 1863 г.]. Можно предположить, что Валуев стремился сохранить видимость своего строгого отношения к «Московским ведомостям» и одновременно угодить Каткову. «Разве Вам не известно, что нас упрекают ежедневно в несправедливости, в пристрастности к Вам, в отклонении от Вас всяких цензурных граней, крепко содержимых для других в указанной целости? – отвечал Валуев на пространное (на 12 страницах!) послание Каткова, в котором тот упрекал министра в двусмысленности распоряжений относительно его газеты. – Неужели Вы думаете, что в отношении к Вам я придаю значение моим официальным сообщениям через посредствующие лица, тогда как эти сообщения опережены моими прямыми, личными, вполне доверчивыми и откровенными сообщениями? Мне кажется совершенно ясным, что я должен по временам констатировать для других и перед другими, что я исполняю свою официальную обязанность в отношении к “Московским ведомостям”» [3, с. 11–13, 23 августа 1863 г.].

Описанный выше характер отношений Валуева – тонкого и расчетливого политика – со всей очевидностью свидетельствует о стремлении министра осуществить применительно к «Московским ведомостям» так называемые покровительственные меры. Видимость строгого цензурного вмешательства не позволила бы газете лишиться доверия публики, а перепадавшие на ее долю «милости» в виде некоторых цензурных послаблений – со временем могли превратить ее во влиятельный и авторитетный инструмент воздействия правительства на общественное мнение.

Возможно, будь редактором «Московских ведомостей» человек более покладистый и сговорчивый, министру удалось бы осуществить свое намерение. Но прямолинейный и

[1] Щербинин М.П. – председатель Московского цензурного комитета в 1860–1865 годах.

неуступчивый Катков решительно не желал принимать предлагаемые ему «двойные стандарты», понимая, насколько уязвимо положение его газеты при подобных отношениях с министром. «Что значат эти всевозможные облегчения, которые рекомендуются Валуевым относительно нас? Это так неопределенно, что успокаиваться на такой формуле было бы детством с нашей стороны», – с негодованием писал он В.П. Боткину [17]. Реальной гарантией независимости своей газеты Катков считал отнюдь не благорасположение высокопоставленного чиновника, а закон, единый для всех, кто имеет отношение к периодической печати и позволяющий даже при сохранении предварительной цензуры «обходиться без разрешения со стороны цензора и самим отвечать перед правительством за смысл напечатанного»: «Мы не желаем, чтобы нам было предоставлено касаться нашего предмета, которые возбранены другим, – заявлял Катков. – Мы желаем оставаться под общими правилами и вместе с тем иметь право пользоваться всеми допускаемыми правилами и на практике смягчениями этих правил в других изданиях, но отнюдь не хотим пользоваться в этом отношении большими против других льготами» [17].

Полемизируя с Валуевым, журналист готов был соглашаться с ним только в тех вопросах, в которых позиция министра не противоречила его собственному мнению. Так, например, в одном из писем Валуев осторожно дал понять, что неплохо было бы рассмотреть вопрос об убийствах мирных жителей в Польше: «Не скажете ли вы чего-нибудь о системе убийства в Польше, о молчании Европы в отношении к этим убийствам и о том, что произойдет, если мы начнем убивать» [5, с. 296, СПб., 30 марта 1863 г.]. Катков не написал отвечающей вполне на заданную тему статьи, но в ряде передовиц коснулся этого вопроса. Однако большая часть «пожеланий» министра осталась без ответа или имела совершенно противоположный результат. Наиболее показателен случай с бароном А.-Э.С. Френкелем – крупным финансовым дельцом, владельцем варшавского банка, клиентами которого были многие петербургские сановники. Банкира поддерживали многие влиятельные лица в окружении Александра II, в том числе генерал-майор свиты А.П. Бобринский, товарищ министра государственных имуществ Н.А. Генгросс и др. В июле 1864 года Валуев рекомендовал редактору «Московских ведомостей» Френкеля, который даже ездил в Москву, чтобы познакомиться с журналистом и расположить его в свою пользу [6, с. 356–357, 20 июля 1864 г.], но встреча не возымела никакого действия: в целом ряде передовых статей Катков разоблачил невыгодную для рядовых клиентов политику банка, согласно уставу которого вклады бесконтрольно поступали в распоряжение правления [15, 1865, № 143, 3 июля; 1865, № 144, 4 июля; 1865, № 146, 6 июля; 1865, № 152, 13 июля; 1865, № 187, 31 декабря].

Личная встреча Валуева с Катковым, состоявшаяся в октябре 1864 года, не способствовала достижению взаимопонимания между публицистом и министром, который вынужден был констатировать, что «ни соглашения, ни союза нет, может быть одно подчинение; но ни Вы, ни я не привыкли ограничиваться, в делах мысли, одним подчинением» [3, с. 33, 21 ноября 1864 г.]. С конца 1864 года их взаимное недовольство и раздражение лишь усугублялось и вылилось в открытое противостояние весной 1866 года, когда Валуеву удалось добиться вынесения «Московским ведомостям» первого, а затем сразу второго и третьего предупреждений, после чего издание было приостановлено, а Катков заявил о своем отказе от редактирования. Дальнейшие события – встреча Каткова с Александром II 21 июня 1866 года и его возвращение к редактированию газеты по личному распоряжению императора в обход министра внутренних дел и «Временных правил о цензуре и печати» – можно рассматривать как яркий пример того, насколько велико в России значение первого лица и невысок авторитет формальных процедур. В разговоре с Валуевым Александр II заявил, что «простил» Каткова и таким образом «вполне поддержал» власть своего министра [2, с. 133–134], тем самым дав ему понять, что вина журналиста доказана, однако

прощена им как государем, чье право миловать своих подданных стоит выше закона и не имеет ничего общего с его формальными требованиями.

Превратило ли Каткова вмешательство императора в журналиста на «особом положении», обеспеченного исключительными привилегиями? Протоколы заседаний Московского цензурного комитета за 1866–1867 годы недвусмысленно свидетельствуют, что деятельность «Московских ведомостей» по-прежнему подлежала пристальному вниманию цензуры, а значительная часть передовых статей рассматривалась полным составом комитета [13]. Хотя почти все статьи были признаны «не требующими распоряжений», однако подобная практика – когда цензурные органы лишь «принимали к сведению» информацию – давала возможность прибегнуть к карательным мерам при первом же удобном случае [24, с. 374–375]. «Молчу и выжидаю» [2, с. 174], – эта запись, сделанная Валуевым в своем дневнике в декабре 1866 года в связи с публикациями в «Московских ведомостях» статей, критикующих его министерство, очень показательна: он, как видимо, терпеливо ждал, пока какие-либо политические обстоятельства изменят соотношение сил в его пользу и между тем тщательно подбирал факты, свидетельствующие о «вредной деятельности» московской газеты. Так, министр лично просматривал подборки выписок из печатных изданий, ежедневно подготавливаемых чиновниками Главного управления по делам печати для императора, и если замечал, что в них не вошли «вредные» с его точки зрения публикации Каткова, то приказывал их немедленно включить [22, к. 34, с. 101–103, 13 декабря 1866 г.], а в докладах императору настойчиво и систематически проводил мысль, что «Московские ведомости» позволяют себе «относиться к правительству как равный с равным», но «двух правительств в одном государстве быть не может» [22, к. 34, с. 158–162, СПб., 9 января 1865 г.].

Генерал-адъютант А.Е. Тимашев, сменивший в марте 1868 года П.А. Валуева на посту министра внутренних дел, являлся сторонником более решительных мер и был не склонен к заигрыванию с прессой, однако и он вскоре после своего назначения предпринял попытку приобрести союзника в лице Каткова и его газеты. В двухчасовой беседе, состоявшейся в апреле 1868 года, Тимашев «старался изо всех сил быть с ним [Катковым – *Е.П.*] любезным и <…> признался по поводу последнего предостережения “Москве”[1], что решился на это весьма неохотно, но что его принудили» – так описывал Ф.И. Тютчев первую встречу Каткова с вновь назначенным министром внутренних дел [27, с. 333]. Как видимо, сановник стремился произвести на журналиста впечатление человека, лояльного к печати и стремящегося к облегчению условий ее существования. Но и для Каткова опыт общения с Валуевым не прошел бесследно, он стал куда более осторожен и недоверчив к знакам внимания со стороны высшей администрации и после встречи с министром, по свидетельству Тютчева, «вынес <…> лишь самые невеселые впечатления и твердую решимость *обострить* [выделено автором письма – *Е.П.*] свою полемику» [27, с. 333]. С присущей ему настойчивостью Катков продолжал обсуждать в газете взаимоотношения России с Польшей, Западными и Прибалтийскими губерниями и занял непримиримую позицию по отношению к назначенному в марте 1868 года виленским генерал-губернатором А.Л. Потапову, стороннику более гуманной политики в Польше. В начале своей деятельности в Вильно генерал тоже попытался заручиться поддержкой «Московских ведомостей», но в ответ Катков заявил о своей готовности оказать лишь те услуги, какие «печать может оказывать правительственным деятелям во исполнение предначертаний верховной власти», и решительно отказался от каких-либо обязательств [15, 1869, № 246, 11 ноября]. После первых же распоряжений Потапова в поддержку польского дворянства [1] Катков начал

[1] «Москва» – ежедневная политическая, экономическая и литературная газета. Выходила в Москве под редакцией И.С. Аксакова с 1 января 1867-го по 21 октября 1868 года. За время издания получила десять предостережений и трижды приостанавливалась.

систематически критиковать его действия, подчеркивая, что они лишь способствуют усилению сепаратистских настроений и упрочению интересов польского поместного дворянства и сводят на нет результаты проводимой крестьянской реформы, усугубляя недоверие местного крестьянства к проводимым российским правительством преобразованиям.

Поначалу новый глава Министерства внутренних дел следовал по отношению к «Московским ведомостям» той же тактике, что и его предшественник, – молчания и выжидания, но вскоре перешел в решительное наступление: 20 ноября 1869 года вопрос о «Московских ведомостях» вновь слушался в заседании Комитета министров, причем в обстановке строгой секретности (от имени императора было категорически воспрещено сообщать об итогах совещания). В результате прений, длившихся около полутора часов, к строптивой московской газете не было применено карательных мер, однако, по мнению многих, это было лишь отсрочкой наказания: «Быть может и то, что решено только принять такую меру при первом ее могущем вызвать случае» [2, с. 275], – писал в эти дни в своем дневнике искушенный в тайнах правительственной дипломатии П.А. Валуев, продолжавший внимательно отслеживать все, что касалось Каткова и его газеты. Экс-министр внутренних дел с удовлетворением отмечал, что «давно плавающий в официальном воздухе вопрос о “Московских ведомостях” получает, по-видимому, определительное разрешение» [2, с. 275].

В сложившихся обстоятельствах Катков остро нуждался в покровительстве влиятельного сановника, способного отвести «удар» от его газеты и помочь ей вернуть сочувствие и расположение императора. Как свидетельствуют дневники А.А. Киреева, письма А.Д. Блудовой, Ф.И. Тютчева и др., наиболее существенную поддержку в этот период публицисту мог оказать министр иностранных дел канцлер князь А.М. Горчаков, с которым Катков не раз встречался и который неизменно оказывал журналисту почет и уважение. Так, по свидетельству Ф.И. Тютчева, в октябре 1863 года публицист был «принят с большими почестями и весьма обласкан» министром иностранных дел, который, «чтобы почтить гостя, пригласил на обед все выдающиеся умы своего министерства» [28, с. 462]. Горчаков неоднократно через близких Каткову лиц выражал ему свое сочувствие и поддержку, подчеркивал ту пользу, которую его издание приносит России [22, к. 34, с. 95–96, СПб., 29 апреля 1868 г.], и прямо заявлял, что видит в журналисте «влиятельного и красноречивого помощника», хотя зачастую и порицал излишне агрессивный тон его передовых статей при обсуждении проблем внешней политики России и даже просил Тютчева умерить пыл публициста [10]. Горчаков не раз вступал «в горячие стычки с врагами Каткова» [19, к. 6, с. 15], неизменно защищал интересы «Московских ведомостей» на заседаниях Комитета министров, пытался довести до сведения императора полный текст передовых статей газеты взамен представляемых чиновниками Главного управления по делам печати отрывков, смысл которых можно было истолковать превратно и не в пользу журналиста, и т.п. Так, в ходе вышеупомянутого заседания Комитета министров осенью 1869 года глава внешнеполитического ведомства горячо выступил в защиту московской газеты, решительно заявив, имея в виду «Московские ведомости», что «при настоящем положении международных дел в Европе, в России необходимо существование независимой печати» [23, с. 161]. Постоянный сотрудник и петербургский корреспондент «Московских ведомостей» Б.М. Маркевич в эти дни писал Каткову, что «старый канцлер не перестает воевать за нас с нашими врагами. <…> назвал представленную Тимашевым в обвинение Ваше записку “лиризмом” и отстоял Ваш статус кво» [22, к. 26, ед. хр. 3., с. 49, СПб., 11 декабря 1869 г.].

Но вряд ли такой опытный царедворец и искушенный дипломат, как А.М. Горчаков, бескорыстно отстаивал интересы московской газеты. Скорее всего, у него были свои виды на «Московские ведомости» и он тоже стремился использовать их авторитет в интересах своего ведомства. В пользу этого предположения говорит тот факт, что один из самых близ-

ких и доверенных чиновников Горчакова – К.Г. Катакази в 1860-х годах являлся постоянным автором корреспонденций для «Московских ведомостей», а также по поручению министра *конфиденциально* [курсив мой – *Е.П.*] сообщал Каткову сведения, касающиеся внешней политики России. Катков использовал надежную эксклюзивную информацию, поступающую от высокопоставленного дипломата, но при этом отнюдь не собирался связывать себя какими-либо обязательствами с министерством. Так, в своих передовых статьях он настойчиво продвигал идею союза России с Францией, тогда как отечественная дипломатия стремилась упрочить отношения с Пруссией, вследствие чего Катакази не раз сетовал ему на то, что «мы с Вами расходимся во мнениях касательно политики» [14, ед. хр. 17]. Очевидно, редактор «Московских ведомостей» в одном из ответных писем прямо дал понять, что его газета не принимала на себя обязательств министерского официоза и что он отнюдь не обязан придерживаться тех же мнений, что и внешнеполитическое ведомство, так как Катакази был вынужден отвечать: «Отчего Вы полагаете, что князь и я, мы столь нелепы, чтобы воображать себе, что Вы будете служить нам официозным органом? Во-первых, нам этого и не нужно. Во-вторых, если бы Вы были agent, то мы бы с Вами никакого дела не хотели иметь» [14, к. 4, ед. хр. 17, СПб., 15 февраля 1869 г.]. Не довольствуясь этими заверениями, Катакази прибегнул к посредничеству Б.М. Маркевича, которого постарался убедить в отсутствии у министерства каких-либо планов относительно газеты. «Он [Катакази – *Е.П.*] <…> объяснил мне, что ни канцлеру, ни ему никогда в голову не могла прийти мысль, чтобы Вы согласились когда-либо сделать из “Московских ведомостей” официальный орган Министерства иностранных дел, – писал Маркевич в Москву, – что вся его претензия состоит лишь в том, чтобы статьи его не обращены были в средство обвинения министерства в национальной политике» [22, к. 26, ед. хр. 3, с. 13, 13 февраля 1869 г.]. Так как дальнейшие попытки добиться от редактора «Московских ведомостей» публикаций в пользу российско-прусского союза не имели успеха, Катакази пытался лишь добиться того, чтобы смысл присылаемых им в газету корреспонденций не редактировался до «прямо противоположного»: «Мы вполне признаем Ваше право не печатать то, что Вам не угодно, – убеждал дипломат Каткова, – но мы желаем, чтобы Вы не делали существенных перемен в том, что Вы за благо рассуждаете печатать. Кажется, требование это довольно скромное, вы можете удовлетворять этому, не унижая своего достоинства и не отчуждая своей независимости» [14, к. 4, ед. хр. 17, СПб., 15 февраля 1869 г.]. Несмотря на недовольство внешнеполитическим курсом газеты, высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел, однако, признавал, что «поддержка “Московских ведомостей” может способствовать к удачному исходу важных и многосложных поручений» [14, к. 4, ед. хр. 17. СПб., 9/21 июня 1869 г.], и продолжал поддерживать связи с газетой, снабжая ее необходимой информацией. Как видимо, и его непосредственный руководитель – князь А.М. Горчаков – считал, что несмотря на несговорчивость и неуступчивость редактора «Московских ведомостей», лучше иметь его в числе своих союзников, нежели противников, и неоднократно в приватных разговорах с Маркевичем тонко давал понять, что Катков «через друзей своих» может «всегда узнать истину из источника ея» [22, к. 34, с. 95–96. СПб., 29 апреля 1868 г.]. Показательно, что он стал едва ли не единственным из отечественных политиков, деятельность которого в 1860-х годах удостоилась весьма высокой оценки «Московских ведомостей», которые писали о нем как государственном деятеле, сумевшем доказать, «что национальная политика не имеет ничего общего с т.н. квасным патриотизмом, который уживается со всяким уроном народных интересов и достоинства, что сила национальной политики заключается в живом деле, исполненном чувства народной чести пользы» [15, 1867, № 132, 18 июня].

Однако даже поддержка канцлера А.М. Горчакова не могла защитить «Московские ведомости»: прозрачные намеки Каткова на «главный ржонд на берегах Невы» и враждеб-

ные России «партии», в которых легко узнавались П.А. Шувалов, А.Е. Тимашев, К.И. Пален и другие высокопоставленные сановники, оказывавшие поддержку политике А.Л. Потапова в Северо-Западном крае, стали поводом к принятию мер для «обуздания» «Московских ведомостей». В январе 1870 года газете было вынесено первое предостережение за изображение «правительственной деятельности <…> в превратном виде» [24, с. 87], а в марте 1871 года – второе, в формулировке которого ясно и недвусмысленно указывалось на «упорство газеты в том вредном направлении» [24, с. 93].

После получения второго предостережения отношения Каткова с представителями политического истеблишмента существенно изменились. Редактор «Московских ведомостей» все чаще стал делал ставку не столько на общественное мнение, сколько на «административные ресурсы», а его передовые статьи стали апеллировать к тем лицам в правительстве, от которых зависело принятие решений. Возможно, одной из причин этих изменений явилось активное участие газеты в обсуждении гимназической реформы, с успешным осуществлением которой Катков связывал будущность не только отечественной науки, но и всей российской государственности, рассматривая образование едва ли не как единственное средство борьбы с распространявшимся нигилизмом и социалистическими учениями. «Не в обществе дело… – признавался Катков в начале 1870-х годов одному из своих доверенных сотрудников. – Реформа решается не в обществе, а в министерстве, в правительственных сферах…» [11, с. 84]. Если в 1860-х годах на страницах «Московских ведомостей» активно и решительно критиковались действия высшей администрации, то в 1870-х по мере ужесточения борьбы за гимназическую реформу газета старалась уклониться от открытых конфликтов, а сам Катков явно избегал прямых столкновений с кем-либо из представителей политической элиты и, напротив, старался приобрести в них сторонников. Так, накануне того дня, когда проект реформы должен был поступить на рассмотрение Государственного совета, Каткову удалось с помощью А.А. Киреева встретиться в Мраморном дворце с одним из самых решительных своих оппонентов – великим князем Константином Николаевичем [19, к. 3, с. 52, 113] – и в ходе почти часовой беседы убедить его поддержать именно тот проект реформы, на котором настаивали «Московские ведомости». В 1873 году он, забыв недавние разногласия, возобновил переписку с назначенным в 1872 году министром государственных имуществ П.А. Валуевым, ответив согласием на его просьбу конфиденциально обмениваться информацией о работе созданной под руководством министра комиссии для выработки новых правил найма рабочих и прислуги и высказывать «будущие к ней отношения “Московских ведомостей”» [3, с. 39, 2 ноября 1874 г.], и даже опубликовал ряд передовых статей, в которых детально рассмотрел проект, отметив как присущие ему достоинства, так и недоработки, предложив ряд усовершенствований [15, 1874, № 296, 26 ноября; 1874, № 305, 5 декабря; 1874, № 306, 6 декабря; 1874, № 312, 13 декабря; 1874, № 323, 24 декабря; 1875, № 44, 15 февраля; 1875, № 107, 30 апреля и др.]. В свою очередь и министр благодарил журналиста за «превосходные статьи» и выражал восхищение «Московскими ведомостями», которые называл «настоящей политической прессой, в уровень идеалу “Times”, и более чем в уровень лучшим немецким газетам» [3, с. 37, 21 апреля 1873 г.]. Однако Валуев уже не имел того значения и власти, какими обладал в 1860-х годах, и потому Каткову было необходимо заручиться поддержкой более могущественного союзника.

Самой влиятельной фигурой в правительстве и в придворных кругах в начале 1870-х годов был начальник Третьего отделения и шеф жандармов граф П.А. Шувалов, которого за глаза называли «вице-императором» и даже «Петром IV». Шувалов не выражал симпатии прессе и всегда выступал одним из самых ревностных противников свободы печати, полагая, что она «является слишком опасным оружием против правительства, которое не может вступать в ежедневную полемику и делается безответным противником,

принужденным уступать в неравной борьбе» [12, с. 156–157], но именно к нему-то и решился обратиться редактор «Московских ведомостей». Чтобы наладить отношения с всесильным начальником Третьего отделения, Катков был вынужден отказаться от публикаций, которые могли вызвать его недовольство, в первую очередь от тех, в которых затрагивались национальные отношения, тем более что Шувалов в 1860-х годах был генерал-губернатором Прибалтийских губерний и весьма ревниво относился ко всему, что касалось этой темы. В письмах Н.С. Лескова сохранилось интересное свидетельство, демонстрирующее, что редактору «Московских ведомостей» с первых же шагов пришлось считаться с настроениями любимца императора. «Раз, когда я жил летом в Ревеле, К<атков> передал мне через Любимова, чтобы я написал что-нибудь об остзейском крае, – писал Лесков А.С. Суворину. – Я написал. К<атков> отдал в печать не читая. Выходит книжка, а моей статьи нет, – захожу к Базунову, там мне выдают гонорар... Что за притча? Идем мы вечером с К<атковым> и Гезеном по Невскому, я и спрашиваю К<атко>ва: что это значит: или моя статья не хороша? Тогда за что же мне деньги? А он отвечает: “Нет; статья очень хороша, а мне нужен Шувалов, и с ним надо было помириться”» [21, с. 340]. Случай, описанный Лесковым, был далеко не единичным, и в профессиональной среде в начале 1870-х годов распространилось мнение, что «Московские ведомости» «телом и душой отдались Шувалову» и потому не смеют «теперь затрагивать ни одного важного вопроса» [22, к. 32, с. 129]. Какова была цена подобного компромисса и стоило ли падение авторитета газеты тех преимуществ, которые она приобрела благодаря покровительству сановника?

Содействие Шувалова было крайне необходимо Каткову в первую очередь затем, чтобы иметь возможность «из первых рук» получать точную и достоверную информацию. Несмотря на то, что среди его столичных корреспондентов было немало высокопоставленных чиновников, поступающие в газету сведения зачастую были неполными, фрагментарными, а многие документы становились известны редакции лишь после их публикации в официальной прессе. Даже единомышленник Каткова министр народного просвещения граф Д.А. Толстой не торопился делиться с ним информацией. «Все они боятся пуще огня обвинения в “сношениях с прессою”, почитая это какою-то изменой – сколько раз приходилось мне слышать <…> по поводу даже самых незначительных сообщений: “Но ради бога, не сообщайте это в газеты!”» [22, к. 32, с. 130, 20 апреля 1872 г.] – с горечью писал Каткову Б.М. Маркевич, служивший чиновником особых поручений при министре народного просвещения. Именно Маркевич весной 1872 года предложил своему патрону обратиться к шефу жандармов как к единственному высокопоставленному лицу, «которое не побоялось бы сообщать Вам все документальные сведения, какие пригодны для нашей газеты». «Другими же способами мы никогда не добьемся всецело того, что Вы желаете: удастся добыть то или другое, а *всего* не получишь никогда, – советовал Маркевич. – Между тем никто из знакомых мне высокопоставленных лиц, – повторяю, – не согласится сообщать мне *постоянным порядком* [выделено автором письма – *Е.П.*] сведений и документов» [22, к. 32, с. 131, 20 апреля 1872 г.]. Маркевич с жаром убеждал Каткова, что сотрудничество с начальником Третьего отделения не станет «изменой» и что тот «человек недюжинный и благонамеренный, вполне сознает необходимость национальной политики и будет неуклонно идти по этому пути». «Мне кажется, что с этим человеком Вам можно будет идти заодно, – писал он Каткову. – <…> Не знаю, что таится в глубине души Шувалова, но до сих пор все его действия говорят за то, что он хочет вполне национальной политики, но при средствах легальных и цивилизованных и не допуская революционных мер под предлогом государственной необходимости. С такими воззрениями Вы не можете не согласиться идти заодно, и я всей душой и всем сердцем желаю не ошибиться в Шувалове и приобрести ему Вашу поддержку на этом пути» [22, к. 30, л. 31, б/д].

В конце 1872 года Катков обратился к шефу жандармов с весьма рискованной просьбой: сообщать в редакцию «Московских ведомостей» содержание записок Государственного совета и Комитета министров. Содержание данных документов представляло собой государственную тайну: записки распечатывались и рассылались в строго ограниченном количестве экземпляров – по числу лиц, присутствующих в Совете и Комитете. Незамедлительное согласие Шувалова свидетельствует, что он также был заинтересован в сотрудничестве с Катковым, в котором публично признавал «*силу*» [выделено автором письма – *Е.П.*], с которой «нельзя не считаться» [22, к. 26, ед. хр. 3, с. 9, 3 февраля 1869 г.]. Еще летом 1866 года он имел с ним «долгое объяснение» [20, с. 343–344], в ходе которого пытался «прощупать» настроения редактора влиятельной газеты с целью, как он сам впоследствии признавался Валуеву, добиться того, чего не добился министр внутренних дел, – приобрести сильное влияние на журналиста [2, с. 410], но тогда, как видимо, их беседа окончилась безрезультатно. В 1872 году в ответ на просьбу Каткова Шувалов поначалу предложил компромиссный вариант – еженедельно в течение получаса «изустно» сообщать представителю газеты Б.М. Маркевичу самые свежие новости «из области предположений государственных и административных» [22, к. 34, с. 228, 11 декабря 1872 г.], но уже месяцем позже согласился передавать для редактора «Московских ведомостей» «особенно интересные» печатные записки [22, к. 34, с. 232, 26 января 1873 г.], и даже просил Маркевича «в виду будущих бесед приготовлять ему вопросы, на которые желали бы получать ответы и документы» [22, к. 34, с. 234, 26 января 1873 г.]. Документы, который передавались Каткову для ознакомления, как правило, представляли собственные экземпляры Шувалова и предназначались исключительно для служебного пользования, поэтому журналист был обязан вернуть их сразу же после прочтения, но в случае необходимости ему разрешалось «сделать список».

Осторожный Шувалов тщательно избегал всего, что могло бы обнаружить его связь с «Московскими ведомостями». Если Головнин и Валуев состояли в непосредственной переписке с Катковым, то Шувалов предпочитал общаться через посредника, роль которого взял на себя Маркевич, извещавший Каткова в письмах о всех подробностях встреч с Шуваловым. При этом соблюдались меры строжайшей секретности: во избежание попадания писем в посторонние руки и их перлюстрации Маркевич пересылал их с почтовыми (если письмо писалось им ночью) или с курьерскими (если письмо было написано днем) поездами, или же с «верной оказией», а после того, как в апреле 1873 года одно из писем пропало, он стал их тщательно пронумеровывать, чтобы в случае недоставки какого-либо из писем это сразу стало бы заметно [22, к. 32, с. 177, СПб., 24 апреля 1873 г.].

Встречи представителя Каткова с начальником Третьего отделения происходили достаточно регулярно, за исключением случаев, когда последний был занят чрезвычайными или срочными государственными обязанностями, а переписка не прерывалась даже во время отъезда Шувалова из столицы. «Беседы наши, по-видимому, нравятся Шувалову, – уведомлял Маркевич Каткова, – и он постоянно спрашивает меня: нет ли у меня каких других вопросов, – то я возобновляю Вам мою просьбу: *доставлять мне сведения о том, что наиболее в данную минуту интересует редакцию* [выделено автором письма – *Е.П.*]» [22, к. 27, ед. хр. 3, с. 10, 5 февраля 1873 г.]. Как видимо, Шувалов хорошо изучил опыт общения Каткова с П.А. Валуевым и А.В. Головниным и понимал, что ни путем давления и запугивания, ни обещаниями материальной выгоды, ни какими-либо другими поспешными предложениями «взаимовыгодного сотрудничества» ему не удастся воздействовать на журналиста и потому был крайне осторожен. При каждой встрече с Маркевичем он настойчиво просил передать Каткову, что «официозное служение его Вашей газете не должно ничем Вас связывать и что Вы из его сообщений можете делать все, что Вам угодно, не почитая себя обязанным к ним снисходительнее, чем бы вы думали – потому что они до-

ставлены Вам от него» [22, к. 34, с. 228, 11 декабря 1872 г.]. Подобной тактики Шувалов придерживался и в дальнейшем, подчеркивая, что исполнение журналистом каких-либо его рекомендаций или пожеланий возможно лишь в случае, если это не расходится с его собственными воззрениями и не противоречит позиции газеты. Шувалов неоднократно давал понять, насколько высоко ценит сам император московского публициста и как внимательно прислушивается к его мнениям. «Я и понимаю его таким человеком, которому ничего не стоит приносить жертвы ввиду высших целей, – передавал Маркевич Каткову слова Шувалова, сказанные при очередной встрече. – И поверьте – Государь высоко умеет ценить это… Я Вам прямо скажу: в этом теперешнем положении своем он для Государя – авторитет» [22, к. 32, с. 202, СПб., 23 сентября 1873 г.]. Как видимо, высокопоставленный сановник рассчитывал, что только таким путем – постоянно высказывая по адресу журналиста уважительное внимание, подчеркивая его заслуги и значение перед государем, он сможет внушить ему доверие. Как представляется, Шувалов полагал, что лучше «переиграть», но он прекрасно умел владеть собой, и его стремление доказать Каткову свое искреннее расположение и сочувствие его взглядам отнюдь не казалось преувеличенным. Так, он высоко оценивал вклад Каткова в преобразование гимназий. «Дело учебной реформы прошло единственно влиянием его [Каткова – *Е.П.*] слова. <…> Ни Толстой, ни я *не могли* [выделено автором письма – *Е.П.*] бы провести его, не будь того полного доверия, которое внушает Государю Катков. И это влияние свое он, если захочет, может распространить на весь ход государственных дел, – пересказывал Маркевич в сентябре 1873 года слово в слово свой разговор с Шуваловым. – Я Вам даю теперь же слово, что никакое предположение высшего порядка, никакой государственный вопрос не будет подвергнут обсуждению без предварительного спроса мнения Михаила Никифоровича, и я лично *всегда буду готов отказаться от своего мнения, если оно не получит его одобрения*» [выделено автором письма – *Е.П.*] [22, к. 32, с. 202–203, СПб., 23 сентября 1873 г.].

Свое обещание оказывать содействие «Московским ведомостям» в предоставлении эксклюзивной информации Шувалов выполнял весьма ответственно: сообщал о готовящихся инициативах правительства, законопроектах и т.п. Так, в январе 1873 года он через Маркевича представил в газету подробный отчет о своей поездке в Лондон для переговоров с министром иностранных дел Англии лордом Гренвиллем по вопросу об определении границ России в Средней Азии, что представляло собой самую обсуждаемую и злободневную тему как в российской, так и в европейской печати. В мае 1873 года Шувалов передал проект преобразования тюремного ведомства, оговорив, что сам проект представляет собой тайну, «которую в печати не следует оглашать», но подчеркнув при этом, что «чем более и подробнее заговорит пресса и чем глубже обратят на него внимание преимущественно “Московские ведомости”, которым привык доверять Государь, – тем более услуги окажут они делу» [22, к. 32, с. 186–187, СПб., 11 мая 1873 г.], результатом чего стала целая череда передовых статей «Московских ведомостей», в которых детально рассматривалось состояние тюрем в России, приводился западный опыт тюремного управления и анализировались меры, необходимые для устранения недостатков [15, 1873, № 125, 22 мая; 1873, № 129, 26 мая; 1873, № 135, 2 июня; 1873, № 140, 7 июня; 1873, № 180, 18 июля; 1873, № 188, 26 июля]. Любопытно, что Шувалов, по свидетельству Маркевича, «предлагая свои сообщения, ни разу не выражал прямо мысли своей относительно того, о чем и как следовало бы говорить “Московским ведомостям”» [22, к. 32, л. 163, СПб., 15 марта 1873 г.], но тем не менее «со всегдашней своею крайней деликатностью и боязнью казаться навязывающим себя» [22, к. 32, с. 169, СПб., 21 марта 1873 г.], давал понять, о чем, по его мнению, было бы желательно написать в «Московских ведомостях».

Шувалов оказывал газете и другие услуги: содействовал с получением разрешения на розничную продажу, мог предостеречь от публикации статей, которые дали бы повод

к преследованиям цензуры, исполнял роль своеобразного посредника между Катковым и императором. Он неоднократно просил разрешения «дозволить ему велеть переписать [письмо Каткова, адресованное Маркевичу – *Е.П.*], чтобы показать его Государю» [22, к. 32, с. 172, СПб., 29 марта 1873 г.], и таким образом содержание многих писем редактора «Московских ведомостей», не будучи прямо предназначеных императору, становилось ему известно. Шувалов мог обратить внимание Александра III на наиболее интересные и актуальные материалы «Московских ведомостей» или, напротив, предупредить его недовольство, вызванное статьями газеты. Трудно предугадать, как бы сложились отношения Каткова с начальником Третьего отделения в дальнейшем, но уже в 1874 году влияние Шувалова на императора стало уменьшаться, и вскоре он был назначен чрезвычайным полномочным послом в Англию, вследствие чего общение между ним и редактором «Московских ведомостей» прекратилось.

История взаимоотношений М.Н. Каткова с А.В. Головниным, П.А. Валуевым, П.А. Шуваловым и другими представителями политической элиты демонстрирует первые опыты использования властью «закулисных технологий» и других методов воздействия, в том числе и экономических, на журналистику. Отсутствие четких границ гласности и искусственное ограничение властью информационного потока заставляло журналистов идти на компромисс с представителями политического истеблишмента. В условиях жесткой цензурной политики и высокой конкуренции между изданиями умение учитывать расстановку политических сил в правительстве и сообразовываться с интересами той или иной «партии» стало одним из основных факторов выживания крупных общественно-политических изданий. При этом контакты представителей прессы с государственными чиновниками почти всегда имели секретный («конфиденциальный») характер, а их обнаружение становилось поводом для подозрения печатного органа в «официозности».

М.Н. Катков не был исключением из общего правила: на протяжении своей многолетней журналистской деятельности он не раз был вынужден прибегать к посредничеству высокопоставленных лиц в правительстве, которые, в свою очередь, пытались заручиться поддержкой его изданий в обмен на ряд льгот и преимуществ. Анализ переписки Каткова с представителями политической элиты, мемуарной литературы и дневниковых записей его современников, документов цензурных органов позволяет установить, что его конечной целью было отнюдь не достижение личных выгод, а стремление обеспечить свои издания оперативной эксклюзивной информацией и добиться содействия в публикации материалов. Несмотря на настойчивое стремление представителей власти превратить издаваемые им «Московские ведомости» в транслятор своих мнений, журналисту удавалось противостоять давлению «сверху» и сохранять независимость суждений. По отношению к высокопоставленным союзникам он всегда держался независимо, сохраняя чувство собственного достоинства и не подлаживаясь под их мнения и настроения, руководствуясь в первую очередь соображениями государственной пользы и защищая те положения и принципы, которые считал верными и полезными. Представления Каткова могли соответствовать или, напротив, идти вразрез с правительственным курсом в том или ином вопросе, могли быть ошибочными, но они никогда не были конъюнктурными, исходящими из каких-либо личных, а уж тем более корыстных соображений. Нет оснований называть «Московские ведомости» правительственным официозом, как нет оснований рассматривать газету как оппозицию власти: Катков, сохраняя независимость суждений и мнений, всегда был готов к сотрудничеству с теми силами в правительстве, в действиях которых видел благо для государства, даже если сами непосредственные исполнители этих действий были ему антипатичны. «Готов был служить всегда своими способами правительственным лицам, когда видел по совести, что могу принести тем пользу, и уклонялся в противном случае, несмотря ни на какие личные

отношения» [18, с. 717–720], – в этих словах, написанных редактором «Московских ведомостей» за несколько недель до смерти, выражено его представление о профессиональном долге, который он понимал как служение «делу, а не лицам».

Литература

1. *Бендин А.Ю.* Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.) // Минск: БГУ, 2010. 439 с.
2. *Валуев П.А.* Дневник: в 2 т. / под ред. проф. П.А. Зайончковского. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. Т. 2.
3. *Валуев П.А.* Письма М.Н. Каткову // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 19.
4. *Валуев П.А.* Письмо М.Н. Каткову. 29 июля 1863 г. СПб. // Русская старина. 1915. Кн. 10.
5. *Валуев П.А.* Письмо М.Н. Каткову. 30 марта 1863 г. СПб. // Русская старина. 1915. Кн. 8.
6. *Валуев П.А.* Письмо М.Н. Каткову. 20 июля 1864 г. // Русская старина. 1916. Кн. 6.
7. *Веселовский К.С.* Эпизод из истории С.-Петербургских ведомостей // Русский архив. 1893. Кн. 7.
8. *Головнин А.В.* Письма М.Н. Каткову // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 2. Ед. хр. 29.
9. *Гончаров И.А.* Необыкновенная история // Литературное наследство. Т. 102. М.: ИМЛИ РАН, 2000.
10. *Горчаков А.М.* Письмо Ф.И. Тютчеву. 25 июля 1863 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 2. Ед. хр. 33.
11. *Градовский Г.К.* Из минувшего // Русская старина. 1908. № 1.
12. *Жирков Г.В.* История цензуры в России XIX–XX вв. М.: Аспект Пресс, 2001.
13. Журнал заседаний Московского цензурного комитета // ЦГА Москвы. Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 515 (2–3).
14. *Катакази К.Г.* Письма М.Н. Каткову. 1866–1868 гг. // НИОР РГБ. Ф. 120.
15. *Катков М.Н.* Передовые статьи // Московские ведомости.
16. *Катков М.Н.* Письмо А.В. Головнину. Б/д // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 45.
17. *Катков М.Н.* Письмо В.П. Боткину. Б/д // ОР Государственного музея Л.Н. Толстого. Архив В.П. Боткина. П. 6. № 60793/2.
18. *Катков М.Н.* Письмо К.П. Победоносцеву. 1887 г. // К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. М.; Пг.: Государственное издательство, 1923.
19. *Киреев А.А.* Дневник // НИОР РГБ. Ф. 126.
20. [*Леонид, арх.*] Из записок Высокопреосвященного Леонида, архиепископа Ярославского // Московские церковные ведомости. 1911. № 14. 2 апреля.
21. *Лесков Н.С.* Письмо А.С. Суворину. 11 марта 1887 г. / Н.С. Лесков // Собр. соч.: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 11.
22. *Маркевич Б.М.* Письма М.Н. Каткову // НИОР РГБ. Ф. 120.
23. *Никитенко А.В.* Дневник: в 3 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 2.
24. Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Система административных изданий: Справочное издание. СПб.: Нестор-История, 2011.
25. Прошение Совета Московского университета попечителю Московского учебного округа об отмене предварительной цензуры для «Московских ведомостей». 1865 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 55. Ед. хр. 20.
26. *Толстой Ф.М.* Письмо М.Н. Каткову. 5 октября 1864 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 24. С. 44–45.
27. *Тютчев Ф.И.* Письмо А.Ф. Аксаковой. СПб. 20 апреля 1868 г. // Литературное наследство. Т. 97: в 2 кн.. М.: Наука, 1988. Кн. 1.
28. *Тютчев Ф.И.* Письмо Е.Ф. Тютчевой. СПб. 26 октября 1863 г. // Литературное наследство. Т. 97: в 2 кн.. М.: Наука, 1988. Кн. 1.
29. *Цез В.А.* А.В. Головнин и его отношения к А.И. Герцену // Русская старина. 1897. Кн. 11.
30. *Чичерин Б.Н.* Воспоминания. Москва сороковых годов. М.: Изд-во Московского университета, 1997.
31. *Щебальский П.К.* Письмо М.Н. Каткову. 20 июня. Б/г // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 24.

Аннотация. В статье рассматривается характер взаимоотношений М.Н. Каткова с представителями высшей администрации – А.В. Головниным, министром народного просвещения в 1861–1866 годах, П.А. Валуевым – министром внутренних дел в 1861–1868 годах, его преемником на этом посту – А.Е. Тимашевым, шефом жандармов и начальником Третьего отделения в 1866–1874 годах П.А. Шуваловым, главой русского внешнеполитического ведомства А.М. Горчаковым. Установлено, что высокопоставленные сановники стремились заручиться поддержкой Каткова в обмен на ряд льгот и преимуществ в надежде использовать его издания в интересах правительства. Выявлены приемы, к которым они прибегали для достижения своих целей, льготы и привилегии, которые предлагались Каткову в обмен на сотрудничество. Анализ переписки Каткова, мемуарной литературы и дневниковых записей его современников позволил установить, что несмотря на настойчивое стремление государственных чиновников превратить его издания в транслятор своих мнений, журналисту удалось противостоять давлению «сверху» и сохранить независимость суждений и мнений.

Ключевые слова: М.Н. Катков, «Московские ведомости», А.В. Головнин, П.А. Валуев, П.А. Шувалов, А.М. Горчаков, цензура, привилегии, правительственный официоз, независимость печати.

Elena V. Perevalova, PhD in Philology, Associate Professor, Department of Journalism and Mass Communications, Institute of Publishing and Journalism, Moscow Polytechnic University. E-mail: helenpv@yandex.ru

M.N. Katkov as the Journalist: Struggle for Privileges or Service in Good Conscience?

Abstract. The article e4xamines the nature of M.N. Katkov's relationship with the representatives of higher administration – A.V. Golovnin, the Minister of Education in 1861–1866., P.A. Valuev – the Minister of Internal Affairs in the years 1861–1868, and his successor in the office A.E. Timashev; the Chief of police and the Third Section of His Imperial Majesty's Own Chancellery in 1866–1874 P.A. Shuvalov: and Russian Foreign Affairs Minister A.M. Gorchakov. The author constitutes that high-ranking officials sought to enlist Katkov'ssupport in exchange for certain benefits and advantages in the hope of using his publications in the interests of the government. The article describes the techniques they used to achieve their goals, as well as benefits and privileges offered to Katkov in exchange for cooperation. The analysis of Katkov's correspondence, memoirs and diaries of his contemporaries, allow to determine that in spite of the attempts of government officials to convert Katkov's periodicals into the editions broadcasting their views, the journalist managed to withstand the pressure «from above» and to preserve the independence of judgments and opinions.

Keywords: M.N. Katkov, "Moscovskie Vedomosti", A.V. Golovnin, P.A. Valuev, P.A. Shuvalov, A.M. Gorchakov, Censorship, Privileges, Government Officialdom, Independence of the Press.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-136-148

Елена Перевалова

«Редактор-исполнитель»: Николай Алексеевич Любимов

Профессор Московского университета Николай Алексеевич Любимов (1830–1897) был одним из самых близких М.Н. Каткову людей и преданным сотрудником его изданий: на протяжении многих лет он редактировал журнал «Русский вестник», являясь одновременно его постоянным и едва ли не самым активным публицистом. Немало статей написано Любимовым и для «Московских ведомостей». Склонность к журналистике и литературные способности удивительным образом сочетались в нем с талантом физика и математика: окончив в 1851 году со степенью кандидата физико-математический факультет Московского университета, он около тридцати лет преподавал физику и как ученый внес большой вклад в мировую и отечественную науку. Он был одним из тех, кто заложил основы отечественной технической научной школы, разработав фундаментальный курс «Начальные основы физики», много делал для популяризации физики, часто выступал с публичными лекциями, сопровождая их эффектными демонстрациями опытов и используя для этого разработанные им самим приборы. Так, в 1860 году Любимов на лекции применил электрическое освещение, осветив учебную аудиторию и двор университета, что стало мировой сенсацией. «Педагогическая деятельность Н.А. [Любимова – *Е.П.*] в Московском университете, несомненно, представляла значительный шаг вперёд, – писал о нем выдающийся физик Н.А. Умов, слушавший его лекции в 1860-х годах. – В постановке преподавания физики приходилось начинать почти с азбуки и доведение его до совершенства, которого оно достигло в руках Н.А., требовало больших усилий и недюжинных способностей. Труд Н.А. был большим приобретением в истории кафедры физики Московского университета, но это было только полдороги. <…> Задачи университетской кафедры не овладевали всею деятельностью Н.А. На новом пути его работы приобретали всё более и более публицистический оттенок, увлекший его в области, далекие от ближайших задач профессора физики» [30, т. 3, с. 124].

Сблизившись с М.Н. Катковым и П.М. Леонтьевым, Любимов к началу 1860-х годов стал их ближайшим помощником по редакции «Русского вестника», а с 1863 года ему было передано деловое руководство журналом и его редактирование. Любимов оказался самой подходящей кандидатурой: во-первых, по своим общественно-политическим взглядам он являлся единомышленником Каткова и полностью разделял его общественно-политические убеждения и эстетические воззрения (современники нередко называли Любимова «alter ego Каткова» [2, с. 675–676]), во-вторых, находился в дружеских отношениях со многими крупнейшими русскими писателями, и, наконец, он и сам был весьма талантливым публицистом. Кроме того, Любимов обладал качествами, столь важными для редактора: громадным трудолюбием и работоспособностью, добродушием и простотой в общении с авторами журнала, умением находить общий язык с коллегами по редакции. Его

Перевалова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Московского политехнического университета, Институт издательского дела и журналистики. E-mail: helenpv@yandex.ru

искренняя привязанность к Каткову и преданность журналу проявились даже в том, что он, принимая должность редактора «Русского вестника», настойчиво пытался отказаться от предлагаемого ему П.М. Леонтьевым вознаграждения в размере 250 рублей за редактирование каждого номера, соглашаясь работать за скромную сумму 150 рублей, и лишь после долгих уговоров принял 200 рублей гонорара за одну книгу [15, кн. 3, с. 165].

Однако был ли Любимов как руководитель издания независим от Каткова в своих действиях и решениях, и можно ли назвать его самостоятельной фигурой в редакции «Русского вестника»? По его собственному признанию, Катков настолько доверял ему, что не читал предназначенных для журнала материалов, за исключением художественных текстов Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и тех статей, которые сам Любимов, «колеблясь почему-либо, считал нужным показывать» [15, кн. 8, с. 81]. Сохранились даже свидетельства, согласно которым Катков почти самоустранился от участия в «Русском вестнике». К примеру, писательница С.В. Энгельгардт весной 1868 года в письме А.А. Фету с плохо скрываемой иронией сообщала, что Катков «не хозяин в “Русском вестнике”». «Мне рассказывали свидетели, – писала она, – что он раза три-четыре в год заглянет в журнал и раскричится на Любимова, но это, разумеется, ни к чему не приводит» [31, с. 522]. По ее мнению, Катков «сам не знает, что творят его адъютанты в “Русском вестнике”» [31, с. 417]. Под «адъютантами» она, по-видимому, в первую очередь подразумевала Любимова.

Однако фактам, приведенным в письме С.В. Энгельгардт, противоречат свидетельства других авторов и сотрудников журнала. В их письмах и воспоминаниях Любимов предстает как человек нерешительный и неуверенный в себе. Так, Ф.М. Достоевский, с которым Любимова связывала особенно тесная дружба, называл его «редактором-исполнителем» [4, с. 164–166], и эта характеристика, как представляется, весьма точно характеризует ту роль, которая отводилась ему в редакции «Русского вестника». По словам другого постоянного автора журнала, К.Н. Леонтьева, «маленький, серый, бледный, гладко выбритый, испуганный» Любимов в редакции, «кажется, ничего не значит, на Каткова влияния имеет мало и точно всех и всего боится». «Когда с ним начинали разговор о делах и счетах, – вспоминал К.Н. Леонтьев, – он жался, кидался куда-то, стыдился, не кончал фраз, или кончал их испуганным шепотом каким-то и ни минуты не держал головы покойно, а, избегая встречи глаз, все вертел шею туда-сюда» [9, с. 440]. Еще один сотрудник издания – врач и публицист Н.И. Соловьев – писал о Любимове, что он «не любил критиков» и был очень осторожен с размещением статей литературно-критического характера. «Фразы Любимова – “А подпишите вы свою статью? Не лучше ли бы оставить без подписи фамилии”. <…> Словом, критика не под чужим именем редко когда находила себе у нас свободное помещение» [28], – вспоминал Н.И. Соловьев, подчеркивая, нерешительность Любимова, который всегда долго сомневался, прежде чем публиковать в журнале литературно-критические статьи и заметки. По всей вероятности, он не обладал самостоятельностью в редакции «Русского вестника», и в «тройственном союзе», как иногда называли Каткова, Леонтьева и Любимова, его уделом оставался «черный и нелегкий труд при полном главенстве Каткова и Леонтьева» [26]. Можно предположить, что Любимов и сам не стремился к полноправному руководству журналом, добросовестно выполняя в нем лишь обязанности ответственного редактора и во всем с неукоснительной точностью и аккуратностью руководствуясь мнениями и наставлениями своего патрона. Об этом свидетельствуют и сохранившиеся письма Любимова, адресованные Каткову, которые представляют собой по большей части небольшие по объему краткие деловые записки, в которых он сообщает о произведенных им денежных расчетах, о поступивших или не поступивших в редакцию рукописях, советуется относительно гонораров авторам журнала и т.п. [17, ед. хр. 35] В переписке Любимова с авторами «Русского вестника» в основном преобладают вопросы второстепенного, исключительно «технического» характера. Так, в его письмах Достоев-

скому содержатся лишь уведомления о суммах высланных гонораров, просьбы прислать главы романа в следующий номер, сообщается о времени выхода в свет очередной книжки журнала и т.п. [18, ед. хр. 33]. О том, что ни одно существенное решение не принималось Любимовым самостоятельно, свидетельствуют и постоянные упоминания в его письмах имени Каткова: «посоветовался с Михаилом Никифоровичем», «передал Михаилу Никифоровичу Ваше желание», «Мы говорили с Михаилом Никифоровичем» и т.д. Как видимо, и после 1863 года Катков, несмотря на постоянную загруженность текущими делами и чрезвычайную занятость в «Московских ведомостях», фактически оставался инициатором, идеологом и душой журнала, его идейным руководителем и финансовой главой. Именно он принимал все ключевые решения (прежде всего о том, печатать в журнале то или иное произведение или, напротив, отказаться от публикации), о чем свидетельствуют адресованные ему письма его постоянного петербургского корреспондента – писателя и публициста Б.М. Маркевича, который часто выступал посредником между «Русским вестником» и петербургскими литераторами. Каткову, а не Любимову, Маркевич докладывал обо всех предложениях сотрудничества, с которыми обращались к нему как к представителю редакции журнала А.Н. Майков, Н.С. Лесков, А.К. Толстой и др., тогда как в письмах, адресованных Любимову и написанных приблизительно в те же дни, Маркевич лишь высказывал пожелания о скорейшей корректуре своих романов, печатавшихся в «Русском вестнике», сообщал о пересылке в Петербург гранок, просил выслать причитающиеся ему гонорары и т.п. [24, к. 25, ед. хр. 1–4; к. 26, ед. хр. 1–4; к. 27, ед. хр. 1–5; к. 29–33]. Косвенным свидетельством того, что общее руководство изданием осуществлялось Катковым, служит «Журнал исходящих бумаг», который был единым для редакции «Московских ведомостей» и «Русского вестника»: в нем подряд записывались все исходящие документы как газеты, так и журнала: переписка с подписчиками, авторами, книгопродавцами, сведения об оплате подписки на провинциальные и заграничные издания, запросы в газетные экспедиции и т.д. [6, ед. хр. 17]. Да и сама редакция журнала переехала на Страстной бульвар и стала располагаться в тех же помещениях, что и сотрудники «Московских ведомостей».

Катков по-прежнему сохранял за собой функции литературного редактора «Русского вестника»: к нему, а не к Любимову, писали Н.С. Лесков, А.А. Фет и другие литераторы, когда речь шла о подготовке их рукописей к печати. Он сам продолжал заниматься редактированием художественных текстов именитых авторов «Русского вестника», таких, как И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский. Так, по свидетельству последнего, Катков «непременно хотел сам читать» роман «Братья Карамазовы», и «как Любимов не упрашивал его дать ему прочесть, но Катков не согласился и оставил у себя, ему же сообщил и план романа, и все, что я слегка, во время свидания передал ему о романе» [3, с. 271–272]. Даже «рядовые» авторы «Русского вестника» по-прежнему стремились обратиться лично к Каткову, в надежде, что он прочитает их произведения и вынесет свою непредвзятую и справедливую оценку.

Чем можно объяснить столь явно заметное недоверие литераторов к Любимову? На наш взгляд, причина состояла, скорее всего, в том, что он, несмотря на присущий ему талант публициста, отнюдь не обладал в полной мере задатками литературного редактора и столь необходимым редактору «толстого» журнала языковым «чутьем», способностью отличать авторскую индивидуальность от обычной языковой неграмотности и небрежности, и потому в процессе редактирования художественных текстов нередко допускал досадные ошибки и неточности. Это не могло не раздражать авторов «Русского вестника», которые как могли старались избегать вмешательства Любимова в тексты их произведений. Наглядным примером может служить история подготовки к публикации романа Н.С. Лескова «На ножах». Яркий, колоритный язык, присущий текстам писателя, особая сказовая манера речи, эксперименты и игра со словом, индивидуализированная речь каждого лесков-

ского героя – все это, как видимо, было непонятно Любимову и подвергалось им жесткой правке. Писатель, крайне недовольный тем, что в процессе редактирования были «выпущены речи, положенные в основу развития характеров и задач; жестоко нивелирована типичность языка, замененная словами банального свойства, ослаблена рисовка лиц», не преминул сообщить Любимову о недопустимом, с его точки зрения, вмешательстве в текст рукописи [10, с. 277–278]. Сразу после публикации первых глав романа в октябре-ноябре 1870 года Лесков с возмущением писал о Любимове П.К. Щебальскому, одному из постоянных сотрудников изданий Каткова: «Это просто ужасный человек, Атилла, бич литературы!.. Он что же делает-с? – он черкает не рассуждения, не длинноты, а самую *суть фабулы*!! [выделение автора письма – *Е.П.*]. <…> Отчаяние полное и бесконечное! Я готов бросить роман недописанным, потому что все равно боюсь, что сей профессор с его резвыми руками совсем меня спутает, и романа станет нельзя свести с концом. Я хотел ему было писать, да боюсь, то ли напишу, что следует. Ну, художник! ну, "приготовитель к печати!" Недаром Вы запугали всех людей, тяготеющих к Вам по своему направлению. Потом, что за корректура! В разговоре попа о травах "алиела" вместо "омела", "родилища" вместо "*родимца*"... Эко толково! И еще: поп на приглашение Висленева выпить вина говорит: я вина никакого.

– Ну, хересу, – просит Висленев.

– Ну, разве ксересу, – отвечает поп.

Этот *ксерес*, разумеется, не сдуру же был поставлен вместо хересу, а для выработки типичности в языке доброго Евангела, так г. Любимов и это изволили поправить!.. Помогите, ради бога, если чем можете подействовать на сего ужасного оператора!» [11, с. 285–286]. Внесенная Любимовым правка, несомненно, меняла общее впечатление от романа и его действующих лиц, и упреки Лескова по поводу произведенных в тексте романа «совсем уже не редакторских урезок и вредных для него изменений» были вполне справедливы.

И тем не менее Катков не отказывался от услуг Любимова в качестве редактора «Русского вестника». Как человека властного, привыкшего к беспрекословному подчинению и выполнению сотрудниками его указаний и распоряжений, его, как видимо, вполне устраивал Любимов, который был добросовестным и надежным исполнителем и при этом не стремился к какому-либо «самомыслию» и самостоятельности. И главное – Любимов не только отличался безупречной честностью и в высшей степени развитым чувством ответственности за порученное ему дело, но был беззаветно предан Каткову. Он выручал своего друга и патрона в те моменты, когда судьба его изданий в буквальном смысле висела на волоске. Наиболее ярко это проявилось в мае 1866 года, когда после получения второго и третьего предостережений, последовавших одно за другим 6 и 7 мая, «Московские ведомости» были приостановлены на два месяца: случай беспрецедентный в истории одной из старейших русских газет, издание которой на протяжении более чем столетней истории приостанавливалось лишь дважды: в 70-х годах XVIII века во время эпидемии чумы и во время оккупации Москвы Наполеоном в 1812 году. Данная мера явилась результатом давнего противостояния Каткова и тогдашнего министра внутренних дел П.А. Валуева, который поначалу имел намерение превратить газету в правительственный официоз, но, столкнувшись с неуступчивостью ее редактора, предпринял попытку вынудить его отказаться от редактирования. Однако «Московские ведомости» в тот момент являлись единственной ежедневной газетой Москвы, и Московский университет, собственностью которого они продолжали оставаться, выступил с инициативой продолжить издание в течение двух месяцев под временной редакцией. В качестве замены Каткова и Леонтьева попечитель Московского учебного округа Д.С. Левшин предложил профессора Н.А. Любимова, хотя последний до этого момента в редактировании «Московских ведомостей» никакого участия не принимал. Уже вечером 13 мая его кандидатура рассматрива-

лась в созданном по распоряжению императора комитете, состоящем из С.Г. Строганова, П.А. Валуева и министра народного просвещения Д.А. Толстого. Решение о назначении временного редактора имело принципиальный характер, так как всем было известно, что Любимов – «человек Каткова» и при нем газета, несомненно, сохранит прежний оппозиционный Министерству внутренних дел характер. Вряд ли Валуева устраивала кандидатура Любимова, но и Строганов, и Толстой были сторонниками Каткова, и поэтому министру внутренних дел пришлось уступить, хотя он и настоял на том, «чтобы разрешение продолжать издание под временною редакцией было дано не иначе, как с соблюдением должных условий» [2, с. 125]. Это означало, что временный редактор должен был неукоснительно подчиняться требованиям его министерства. 18 мая – после недельного перерыва – вышел первый номер газеты, на первой полосе которого была опубликовано обращение к читателям «От издателя» за подписью М. Каткова и П. Леонтьева (до этого ни одна статья ими не подписывалась), в котором подписчикам сообщалось об их «устранении» от издания «Московских ведомостей» и о назначении Н.А. Любимова ее временным редактором. Издатели подчеркнули, что с назначенным редактором их связывает «личная приязнь и общественная деятельность» [7], тем самым давая понять читателям, что в направлении газеты будет сохранена преемственность. Здесь же было размещено небольшое обращение к подписчикам самого Любимова, в котором он обещал, что «Московские ведомости» «останутся верны тому направлению, какое получили в последние годы и которое достаточно известно публике» [16].

В течение всего недолгого периода редакторства Любимова Катков фактически оставался руководителем газеты, ее главным идеологом, а Любимов самоотверженно исполнял лишь роль защитного «прикрытия». Впоследствии он признавался, что его редакторство было «лишь номинальным», и в редакционных трудах он «участвовал не более того, как прежде, когда не был редактором» [15, кн. 3, с. 165]. Однако согласие Любимова принять на себя временное руководство опальной газетой и публичное заявление, что под его редакцией издание сохранит прежнее направление, было не только бескорыстным (он отказался получать жалованье за свое временное редакторство), но и весьма решительным и смелым поступком, ведь дальнейшее развитие событий было мало предсказуемо, а гнев министра внутренних дел в любой момент мог коснуться и его самого. Образно говоря, Любимов «вызвал огонь на себя» и принял всю ответственность за газету, за содержанием которой цензура сразу же после ее возобновления установила строгое наблюдение. Так, опубликованные в первом же вышедшем под его редакцией номере «Московских ведомостей» обращение к читателям Каткова и Леонтьева и его собственное заявление сразу же привлекли внимание Московского цензурного комитета, усмотревших в них критику высшего цензурного управления, действия которого «выставляются покровительствующими самым вредным направлениям печати, и в то же время стесняющими <…> те органы печати, которые посвящены благонамеренной борьбе с этими вредными направлениями». Обещание Любимова «хранить верность прежнему направлению» московские цензоры расценили как «продолжение прежней агитации общественного мнения против действий Высшего цензурного управления с целью оправдать и возвысить свои собственные действия в глазах публики» [5, 18 мая 1866 г., № 33]. Понимая, что приостановить выпуск «Московских ведомостей» не представляется возможным, председатель Московского цензурного комитета Н.П. Мансуров принял решение довести о содержании настоящих статей до сведения Главного управления по делам печати и ждать дальнейших распоряжений.

В последующие два месяца содержание всех номеров газеты тщательно отслеживалось цензурой, а большая часть публикаций рассматривалась полным составом Московского цензурного комитета. Почти на каждом заседании комитета заслушивались

сообщения цензоров Ф.И. Рахманинова, Я.И. Прибила, С.П. Загибенина о материалах «Московских ведомостей» и приложения к газете – еженедельника «Современная летопись». Правда, все рассмотренные статьи были признаны «не требующими никаких распоряжений со стороны цензурного комитета», но сам факт рассмотрения статей полным составом цензурного комитета весьма показателен.

Одна из публикаций – письмо под заголовком «К вопросу о западном крае» в № 112 – едва не стала причиной возбуждения судебного преследования в отношении Любимова. В этом письме, заготовленном и набранном в типографии еще до его утверждения временным редактором, речь шла об усилении пропольских настроений в юго-западном крае, и приводились достаточно яркие и убедительные примеры этого. 2 июня было созвано экстренное заседание Московского цензурного комитета, в ходе которого было принято решение не подвергать аресту само письмо, однако за напечатание статьи, «заключающей в себе, с одной стороны, разные порицания, хотя и в интересах государственных, образ действия высшей администрации в Западном крае, оскорбительные для тамошних властей, и подрывающее уважение к правительству, а с другой, – возбуждение одного сословия против другого, и одной партии против другой» подвергнуть Любимова судебному преследованию. Однако, приняв во внимание, что публикация не имела цели преднамеренно оскорбить правительственные лица и учреждения, Московский цензурный комитет постановил прежде, нежели приводить данное решение к исполнению, подождать распоряжения Главного управления по делам печати [5, 2 июня 1866 г., № 38]. Именно это позволило Любимову очень быстро заменить указанную статью на другую, и хотя небольшое количество экземпляров газеты разошлось подписчикам, большая часть тиража все же вышла без указанной статьи, а потому на состоявшемся в тот же день еще одном заседании цензурный комитет, удостоверившись в замене статьи, принял решение «оставить без последствий решение экстренного заседания» [5, 2 июня 1866 г., № 39]. Со своей стороны, Валуев в сложившейся вокруг «Московских ведомостей» ситуации не решился усугублять конфликт и принял решение «предварительно отнестись к министру народного просвещения и спросить у него, какие он меры сочтет удобоприятными по поводу означенной статьи» [29, с. 407–408]. Министр народного просвещения Д.А. Толстой отказался возбуждать судебное преследование против «Московских ведомостей», и в результате никаких последствий для Любимова данный инцидент не имел.

Однако уже на следующем заседании 8 июня 1866 года вновь рассматривалось напечатанное в № 116 «Московских ведомостей» письмо из Романова-Борисоглебска, авторы которого выражали сочувствие и собирали денежную помощь в пользу чиновника, уволенного со службы за противодействие польским манифестациям в Киеве. Московских цензоров, увидевших в собираемых пожертвованиях выраженный «некоторым образом протест частных лиц против мер местной администрации», остановило от применения жестких мер лишь то, что большая часть письма представляла заимствование из статьи «Отголосок с берегов Оки», опубликованной в № 76 «Виленского вестника». Так и не приняв решение и, как видимо, желая снять с себя ответственность, Московский цензурный комитет определил донести о данной публикации до сведения Главного управления по делам печати [5, 8 июня 1866 г., № 40]. Такое же решение было принято в отношении статей, помещенных в № 123 «Московских ведомостей»: «Корреспонденция из Вильны» и «О предстоящей поездке министра финансов за границу и о намерении барона Штиглица отказаться от должности управляющего банком» [5, 15 июня 1866 г., № 42].

Таким образом, при Н.А. Любимове «Московские ведомости», хотя они и лишились своего главного преимущества – в них было прекращено печатание передовых статей, смело продолжали то же направление, что и при Каткове, и в них по-прежнему основное место отводилось «польскому вопросу». В корреспонденциях «Польщизна на Руси», «Не-

сколько сведений о польских эмигрантах и католической пропаганде в Турции», «Заметки туриста о Киеве», «Несколько сведений о польской эмиграции в Париже», «Из Могилева на Днепре» и др. обсуждались банковские операции при покупке земель в западном крае, поднималась проблема бедности православного духовенства в западных губерниях и т.п. Несмотря на то, что часть выписываемых редакцией заграничных газет перестала доставляться, а часть поступала со значительной задержкой (причем эта мера коснулась и «Русского вестника»!), газета продолжала публиковать обзоры иностранной прессы, письма собственных корреспондентов из Петербурга, Киева, Вильно, Могилева и других городов. Показательно и то, что, несмотря на требования Главного управления по делам печати, тексты как первого, так и второго и третьего предостережений, которые строптивый Катков изначально отказывался печатать в газете, в период редакторства Любимова также напечатаны не были, хотя это могло обернуться против него судебным преследованием.

Последний номер под редакцией Любимова вышел 24 июня 1866 года, а уже 25 июня в передовой статье издатели торжественно сообщили о своем возвращении и не преминули выразить благодарность ее временному редактору, по справедливости оценив его заслуги: «Он дал свое имя изданию, по необходимости бесцветному, затрудненному, стесненному, пораженному в своих главных жизненных условиях. Он мог только поддерживать существование газеты, не имел возможности вести ее соответственно усвоенному ею характеру» [5, 15 июня 1866 г., № 42].

Публицистика Любимова, весьма разнообразная по тематике и жанрам, была связана исключительно с изданиями Каткова. Здесь публиковались его историко-политические и биографические очерки, литературно-критические статьи и рецензии, статьи по естественнонаучной тематике и по вопросам образования. В 1850–1860-х годах его публицистическое творчество ограничивалось, как правило, просветительской и естественнонаучной тематикой: в «Русском вестнике» появились его биографический очерк «Ньютон» (1856), «Очерки астрономии Дж. Гершела» (1861), «В чем дух естествоведения?» (1867), «Успехи физики. Ученье о сохранении энергии в природе» (1868), «Успехи физики. Очерк трудов Фарадея в области электричества» (1868), «Съезды естествоиспытателей в Швейцарии, Германии и Англии» (1869) и др. В этих статьях Любимов проявился не только как одаренный публицист, но и как талантливый популяризатор науки и ее достижений, сторонник свободы научного эксперимента. «Дух естествоведения прежде всего есть дух открытия, – писал он. – Свободное исследование, имеющее своей единственной целью открытие истины, насколько она доступна нашему уму, есть неотъемлемое право науки, которым обуславливается ее самостоятельная жизнь, ее естественный рост» [14, с. 57].

Любимов выступал против упрощенного истолкования естественнонаучных теорий и попыток нового поколения разночинской интеллигенции рассматривать естественные науки как основу для рационального переустройства общества и формирования новых мировоззренческих и идеологических установок. Так, в очерке «Событие в нигилистическом мире. Домашний разговор» (1870) в доходчивой и остроумной форме он убедительно доказывал несправедливость многих утверждений сторонников нигилизма, научную необоснованность и даже невежественность приводимых ими аргументов. Очерк был написан в форме напряженной полемической беседы двух непримиримых оппонентов: Ивана Тарасовича – бывшего семинариста, не успевшего окончить курс в университете по случаю участия в одной из так называемых университетских историй, и Сергея Петровича – мирового судьи в одной из подмосковных губерний. Предметом спора явилась вышедшая в 1870 году книга одного из активных сторонников революционного движения А.П. Щапова «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа». В ответ на горячие похвалы в ее адрес со стороны нигилиста Ивана Тарасовича Сергей Петрович, представитель образованной интеллигенции, обладающий обширными знаниями как в об-

ласти социально-политических, так и естественных наук, указывал на грубые ошибки Щапова, свидетельствующие не только о нелепости его взглядов, но и о его невежестве как ученого, незнании им предмета собственного исследования, элементарных основ философии и естествознания. По мнению Сергея Петровича, с которым в итоге читателю трудно не согласиться, автор книги «берется просвещать общество относительно предмета, о котором сам не имеет понятия» [13, с. 820].

Будучи убежден в необходимости приращения научных знаний, Любимов видел будущее российской науки и образования в их европеизации, «чтобы мы учились, как учатся во всем образованном мире» [14, с. 112]. Он придавал важное значение реформе высшей школы и университетского устава, и эта тема в 1870-х годах вышла на первый план в его публицистике. Любимов стал едва ли не первым, кто осмелился выступить в печати с критикой либерального университетского устава 1863 года, опубликовав в 1873 году в «Русском вестнике» свою речь на заседании совета Московского университета, в которой выражалась поддержка инициативе Министерства народного просвещения – пересмотреть основные положения устава. По мнению Любимова, предоставив университетам автономию, устав 1863 года тем самым ослабил управленческую вертикаль и внес дезорганизацию в жизнь высшей школы. Действующую систему управления образованием Любимов назвал «системой невмешательства» или «системой общей безответственности», утверждая, что она стала представлять опасность для интересов науки и преподавания. «Наши университеты, – подчеркивалось в его статье, – учреждены правительством, черпают главные свои средства из государственного казначейства, в своих решениях по сколько-нибудь важным делам управления связаны необходимостью начальственного разрешения». По его мнению, независимость университетской корпорации, которая «легко может превратиться в замкнутый кружок с исключительным направлением и личными пристрастиями» [20, с. 903], может негативно отразиться на уровне преподавания в целом. Для предупреждения этого Любимов предлагал внести существенные изменения в систему финансирования университетов, составить точную, утвержденную министерством программу требований для оценки итоговых знаний студентов, разделить преподавание и прием экзаменов и т.п. [об этом подробнее см. 8]. Свои рекомендации он основывал как на собственном опыте преподавания, так и на опыте немецких университетов, уровень обучения в которых в те годы считался едва ли не самым высоким в Европе. Его выступление спровоцировало резко негативную реакцию в профессорской среде, увидевшей в этих предложениях угрозу автономии университетов, что стало причиной крайне оскорбительных нападок, в том числе и в прессе, обвинений в предательстве интересов науки и образования. Порицанию подвергались не только высказанные Любимовым идеи, но и его манера преподавания, участие в изданиях Каткова и т.д. Ожесточение против него дошло до того, что коллеги перестали с ним разговаривать и даже здороваться, и он оказался в буквальном смысле в изоляции. Исключение составляли С.М. и В.С. Соловьевы: первый как ректор не мог позволить себе участвовать в подобных демонстрациях, а второй считал нападки на Любимова несправедливыми [27, с. 628].

Ответом на выступления оппонентов стал опубликованный в 1874 году в «Московских ведомостях» цикл статей Любимова «Университетские письма». Обширные, зачастую занимавшие четыре-пять колонок, они представляли, с одной стороны, ответ на полемические высказывания противников, а с другой – анализ западноевропейской университетской практики и университетского устройства, а также содержали компетентные мнения представителей преподавательско-профессорского сообщества других стран. Однако «рассеянные» в ежедневной газете, эти письма носили отрывочный характер и не могли представить обстоятельного ответа на вопрос о характере университетских преобразований. Поэтому на основе этих писем Любимовым был написан для «Русского вестника»

фундаментальный и связный цикл очерков «Университетский вопрос», в котором пояснялись те принципы, которые, по его мнению, должны были стать основанием будущей университетской реформы. Цикл публиковался с перерывами с 1875 по 1881 год и представлял основательное исследование университетской практики, подробный анализ состояния университетской образования в России и в Европе и т.д. Позиция Любимова отражала точку зрения и самого Каткова и, как представляется, была далека от ретроградства и «охранительства», в которых обвиняли как его самого, так и издания Каткова в целом. Стремясь к совмещению лучшего опыта отечественного и зарубежного опыта высшей школы, Любимов отнюдь не выступал против свободы университетов, а, напротив, полагал, что «утверждение академической свободы в ее полноте было бы важным и вполне естественным шагом в развитии наших университетов. <…> Утверждение ее можно отстрочить, со вредом для дела, но оно неотразимо, если суждено нашим университетам идти вперед» [23, 1877, кн. 1, с. 162]. Он видел два варианта университетской реформы: «Или приближение наших университетов к типу учебных заведений, в тесном смысле, к типу высших специальных школ с точными программами преподавания, под бдительным контролем, при прямом начальническом управлении, при строгом надзоре за занятиями обучаемых. Или путь правильной организации академической свободы и решительное принятие тех начал, которые лежат в основе германского устройства университетов» [23, 1875, с. 1, с. 336–337]. Выбор первого варианта, по его мнению, означал отказ от академической свободы и радикальные изменения существующих форм университетского устройства, тогда как второй вариант предполагал использование уже существующих традиций, заложенных еще в начале XIX столетия в учрежденном Дерптском университете, по образцу которого были составлены и уставы других российских университетов. Любимов отнюдь не настаивал на принятии скоропалительных решений, подчеркивая, что университетское преобразование в указанном духе требует прежде всего быть «исполненным с разумом», и предостерегал от механического заимствования чужого опыта. «Правильная организация высшего учебного дела на началах академической свободы не есть система, ведущая к тому, чтобы укреплять произвол преподавания в чтениях требующих наименьшей траты труда и поощрять свободу праздности, бегущей занятий, – формулировал Любимов основные направления предлагаемой реформы университетов. – Ее действие должно быть прямо противоположное. Путем правильной организации экзаменационных требований, которые делали бы необходимостью пройти известные ступени обучения, сосредоточенного на важнейших предметах, путем развития семинарий, практических упражнений, обучения студентов малыми группами, обязательностью занятий стипендиатов, цели обучения, – поднятие занятий студентов и обучающей деятельности профессоров, – могут быть достигнуты без нарушения высших целей университетского преподавания, без положения преграды развитию университетов в смысле учреждения не только обучающих, но и содействующих движению науки» [23, 1875, с. 1, с. 336–337; 1875, с. 1, с. 336–337]. О том, насколько важное значение придавал Катков выступлениям Любимова по вопросу университетской реформы, говорит тот факт, что в 1881 году, когда началась нешуточная борьба вокруг проекта нового университетского устава, он собрал и напечатал в университетской типографии отдельной книгой все, что было написано Любимовым с 1873 года о реформе университетов.

Но едва ли не самым ярким образцом публицистики Любимова стал цикл историко-политических очерков «Против течения. Беседы о революции», печатавшийся в «Русском вестнике» с интервалами с августа 1880-го вплоть до января 1882 года под псевдонимом Варфоломей Кочнев, а затем их продолжение – очерки «Против течения. Очерки французской революции», публиковавшиеся в журнале в 1882–1884 годах, но уже под его собственной фамилией. Ведущей темой очерков стал анализ состояния французского обще-

ства перед революцией 1871 года и демонстрация того, как легкомысленное отношение в верхах власти к распространению радикальных теорий и сочувственные настроения к ним в среде интеллигенции, а также недооценка опасности, исходящей от заигрывания с носителями революционных идей, переросло в революционную смуту и кровопролитие. Основная идея очерков Любимова состояла, по определению «Московских ведомостей», в которых в 1882 году были напечатаны обширные выдержки из них, в том, что «события французской революции с удивительной наглядностью показывают, как неимоверно быстро в эпоху, когда в стране правительственная власть почему-либо ослабела, а общество находится в брожении анархического свойства, когда люди не знают чего хотят, созыв народного представительства, предпринятый из теоретических соображений, ведет к крушению, с перемещениями власти и всеми последствиями государственного переворота» [12]. Логично, доказательно, на основе исторических фактов и выводов научной литературы, в частности, работы французского историка и философа И. Тэна «Происхождение современной Франции», Любимов демонстрировал, как умеренный либеральный прогрессизм во Франции послужил исходной причиной кровавой революции, жертвами которой стали десятки тысяч человек. Проводя параллель между Францией и Россией, автор очерков подчеркивал, что основная опасность заключается не столько в самом революционном движении и его носителях, но в слабости правительства, которое, не обладая государственной волей, идет на поводу у либералов, терпимость и прекраснодушие которых превращают их в невольных помощников нигилистов. «Французскую революцию сделало само французское правительство в соединении с правящими классами страны, – писал ведущий публицист «Русского вестника». – Не в сознании 25 миллионов рождались и свершались события. Их сердце и голова были не источник, а страдательный материал событий» [21, с. 64].

«Беседы о революции» отличались не только детальной проработкой заявленной в названии темы и обилием фактов, но оригинальностью и динамичностью стиля, полемической заостренностью. Первые очерки цикла были написаны в форме живого диалога между двумя приятелями, в котором на смену спокойному, нейтральному тону, отличающему публицистику Любимова, явились острые, зачастую язвительно-саркастичные интонации, напоминающие стиль передовых статей самого Каткова или фельетоны Б.М. Маркевича, которому многими читателями ошибочно приписывалось авторство «Бесед». «Большое впечатление производят здесь “Беседы о революции” Вашего таинственного Варфоломея Кочнева, – писал Каткову Б.М. Маркевич о том впечатлении, которое произвели первые публикации в Петербурге. – Я очень польщен тем, что их приписывают мне, <…> – так как мне все нравится в них: и форма и тон, не говоря уже о сущности. И как нельзя более кстати эти беседы, хотя бы для наших правителей, обретающихся в таком же тумане бессмысленной либеральной фразеологии, как и все остальное наше несчастное общество» [25, с. 167].

Актуальность этим очеркам Любимова придавало то, что их публикация фактически совпала с трагическими событиями в России – чередой террористических актов и политического насилия, охвативших страну после выстрела В.И. Засулич в 1878 году, – покушением на товарища прокурора М.М. Котляревского в Киеве, убийством адъютанта начальника Киевского губернского жандармского управления штабс-капитана Г.Э. Гейкинга, убийством шефа жандармов и начальника Третьего отделения Н.В. Мезенцева и, наконец, убийством императора Александра II. Таким образом, «Беседы о революции» послужили своего рода иллюстрацией возможного сценария развития событий в России в случае, если правительство и общество не примут решительных мер для борьбы с террором. Их руководящий характер и программное содержание сообщали консервативной программе «Русского вестника» окончательную определенность и законченность, а также дополняли и подчеркивали смысл передовых «Московских ведомостей», посвященных трагическим

событиям 1880–1882 годов, придавая им научную основательность и доказательность.

Размышления на тему революции, парламентаризма и политических свобод получили продолжение в ряде других статей Любимова. Не выступая решительно против парламентского устройства, Любимов подчеркивал, что парламентские учреждения являются результатом длительного исторического развития, «историческим продуктом определенных местных условий и последовательным их развитием», примером чему может служить Англия, тогда как в других странах увлечение политическими свободами и попытки механически перенести их на другую почву могут привести к отрицательным и даже трагическим последствиям, как это произошло, к примеру, во Франции. В его рассуждениях явно заметны совпадения с основными идеями передовых статей Каткова: «Вместо того чтобы придумывать конституции, казавшиеся безупречными с точки зрения теории, не лучше ли было бы озаботиться об упрочении вполне национальной сильной власти – власти, которая была бы вне партии, не увлекалась бы их страстями и поставила бы себе задачей исцелить Францию от терзавшего ее недуга?» – вопрошал публицист «Русского вестника», хотя и оговариваясь при этом, что еще «не наступило время для окончательного приговора парламентским учреждениям» [22, с. 702–703].

В 1882 году участие Любимова в редактировании «Русского вестника» прекратилось: И.Д. Делянов, назначенный в марте того же года министром народного просвещения, предложил Любимову должность члена совета министерства для участия в разработке нового университетского устава. По всей вероятности, назначению Любимова во многом способствовал сам Катков, которому важно было иметь в министерстве единомышленников, чтобы контролировать и направлять начавшуюся в те годы интенсивную борьбу за реформу высшей школы. Переезд в Петербург и работа в министерстве отнюдь не отдалили Любимова от Каткова, напротив, их взаимное общение активно продолжалось. Любимов не только продолжал писать в «Русский вестник», но и регулярно в письмах извещал Каткова о всех перипетиях прохождения проекта университетского устава в различных инстанциях, о событиях политической и литературной жизни столицы, был посредником между редактором «Московских ведомостей» и петербургскими литераторами, выполнял разного рода поручения и т.п., а после смерти в 1884 году Б.М. Маркевича по существу стал представителем изданий Каткова в Петербурге. Как видимо, в столице Любимов чувствовал себя одиноко и не очень уютно, и переписка с Катковым было для него своего рода «отдушиной», избавлением от столь чуждой ему холодной атмосферы бюрократического Петербурга. Особенно тяжело ему приходилось в общении с А.И. Георгиевским, тоже бывшим сотрудником «Московских ведомостей», а в 1880-х годах – высокопоставленным чиновником Министерства народного просвещения. Самолюбивый Георгиевский, который во многом сам содействовал переводу Любимова в Петербург, но при этом хотел видеть в нем лишь «помощника без претензии на доклады у министра», не мог простить бывшему коллеге выдвижения в число самых доверенных лиц министра И.Д. Делянова. «Меня ужасно тяготит ненависть ко мне Александра Ивановича, – с горечью писал Каткову Любимов в 1885 году. – Это уже не теоретическая ненависть, а прямо переходящая в житейские отношения» [17, ед. хр. 32, 25 июня 1885 г.].

Тяжелым ударом для Любимова стала смерть Каткова в 1887 году. Для него это была не только утрата руководителя, коллеги, единомышленника, но и потеря близкого человека, друга, с которым он бок о бок проработал в течение более двадцати лет. Он глубоко и искренне переживал, что последние дни Каткова были омрачены клеветой, навлекшей на него гнев императора, которому он преданно служил до самого последнего вздоха. Неподдельно сострадая своему другу и руководителю и в то же время понимая, какую важность в глазах как российского, так и зарубежного общественного мнения имеет демонстрация сочувствия и уважения императора Каткову, Н.А. Любимов писал Победо-

носцеву менее чем за неделю до смерти редактора «Московских ведомостей»: «До сих пор нет вести о каком-либо особом знаке внимания сверху к нашему великому умирающему. А как бы это было своевременно. <…> Это жаль в интересе самой власти, находившей в таланте и авторитете Михаила Никифоровича такую поддержку. <…> Хорошо ли будет потом вспомнить, что Катков умер как бы в забвении сверху? <…> Оставлять Каткова умирать, по видимости, как бы в забвении сверху, – внутреннее сочувствие, несомненно, есть, – было бы для будущего большой ошибкой. Это важнее, чем нам, может быть, кажется» [19, с. 744–745].

Возможно, именно стремление восстановить честное редактора «Московских ведомостей» и «Русского вестника» и стало причиной обращения Любимова к написанию обширного биографического очерка, посвященного роли Каткова как журналиста, публициста и редактора в России 1860–1880-х годов. Его очерк «Михаил Никифорович Катков. По личным воспоминаниям», опубликованный в 1888–1889 годах в «Русском вестнике», а затем написанная на его основе и изданная в 1889 году книга «Катков и его историческая заслуга» стали одной из первых биографий авторитетного публициста. Безусловно, воспоминания Любимова носят комплиментарный и отчасти даже пристрастный характер, однако благодаря обилию содержащихся в них сведений они имеют важное значение для восстановления истинной картины отечественной журналистики второй половины XIX века.

Роль самого Любимова в изданиях М.Н. Каткова в глазах большинства современников была почти незаметной и ничем не примечательной. Талантливый ученый и блестящий публицист, он, как и П.М. Леонтьев, принадлежит к числу тех скромных тружеников, чей вклад в журналистику остался почти не оцененным ни современниками, ни исследователями. Авторам и сотрудникам «Русского вестника» Любимов запомнился как «редактор-исполнитель», круг прав и обязанностей которого ограничивался рутинной редакционной «текучкой» и организационными хлопотами. В повседневной суете редакционных будней, к сожалению, «в тени» остались заслуги Любимова-публициста, его многочисленные программные статьи, которые определяли направление «Русского вестника» как ведущего консервативного журнала 1860–1880-х годов.

Литература

1. *Валуев П.А.* Дневник: в 2 т. / под ред. проф. П.А. Зайончковского. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. Т. 2.
2. *Делянов И.Д.* Письмо К.П. Победоносцеву. 3 октября 1887 г. // К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923.
3. *Достоевский Ф.М.* Письмо А.Г. Достоевской. 9 ноября (1878) // *Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г.* Переписка. М.: Наука, 1979.
4. *Достоевский Ф.М.* Письмо А.П. Милюкову. Люблино. 10–15 июля 1866 г. / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Наука, 1972–1990. Т. 28.
5. Журнал заседаний Московского цензурного комитета // ЦГА Москвы. Ф. 31. Оп. 5.
6. Журнал исходящих бумаг «Московских ведомостей» // РГАЛИ. Ф. 262. Оп. 3.
7. *Катков М., Леонтьев П.* От издателя // МВ. 1866. № 99. 18 мая.
8. *Котов А.Э.* «Пресмыкающийся профессор» против университетской автономии [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://gefter.ru/archive/5471
9. *Леонтьев К.Н.* Моя литературная судьба: Автобиография // Литературное наследство. Т. 22/24. М.: Газ.-жур. объединение, 1935.
10. *Лесков Н.С.* Письмо Н.А. Любимову. 18 ноября 1870 г. Петербург / Н.С. Лесков // Собр. соч.: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 10.
11. *Лесков Н.С.* Письмо П.К. Щебальскому. 19 декабря 1870 г. Петербург / Н.С. Лесков // Собр. соч.: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 10.
12. *[Любимов Н.А.] Варфоломей Кочнев.* Наброски, очерки, выводы из эпохи первой французской революции // Московские ведомости. 1882. № 71. 12 марта.
13. *[Любимов Н.А.] Варфоломей Кочнев.* Событие в нигилистическом мире. Домашний разговор // Русский вестник. 1870. Кн. 2.
14. *Любимов Н.А.* В чем дух естествоведения? // Русский вестник. 1867. Кн. 1.
15. *Любимов Н.А.* Михаил Никифорович Катков. По личным воспоминаниям // Русский вестник. 1889.
16. *Любимов Н.А.* От временного издателя // Московские ведомости. 1866. № 99. 18 мая.

17. *Любимов Н.А.* Письма М.Н. Каткову // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 6.

18. *Любимов Н.А.* Письма Ф.М. Достоевскому // НИОР РГБ. Ф. 93 // II. К. 6.

19. *Любимов Н.А.* Письмо К.П. Победоносцеву. 15 июля 1887 г. // К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923.

20. *Любимов Н.А.* По поводу предстоящего пересмотра университетского устава // Русский вестник. 1873. Кн. 2.

21. *Любимов Н.А.* Против течения. Очерки французской революции // Русский вестник. 1883. Кн. 5.

22. *[Любимов Н.А.]* Блестящий период представительного правления во Франции // Русский вестник. 1880. Кн. 6.

23. *Любимов Н.А.* Университетский вопрос. Недостатки нынешнего состояния наших университетов // Русский вестник. 1875–1877.

24. *Маркевич Б.М.* Письма М.Н. Каткову, П.М. Леонтьеву, Н.А. Любимову // НИОР РГБ. Ф. 120.

25. *Маркевич Б.М.* Письмо М.Н. Каткову. 8 октября 1880 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 33.

26. Николай Алексеевич Любимов. Некролог // Новое время. 1897. 8 мая.

27. *Соловьев В.С.* Несколько личных воспоминаний о Каткове / В.С. Соловьев // Соч.: в 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 2.

28. *Соловьев Н.И.* Письмо Ф.М. Достоевскому. 4 апреля 1871 г. // НИОР РГБ. Ф. 93 / II. К. 8. Ед. хр. 125.

29. *Тютчев Ф.И.* Письмо А.И. Георгиевскому. СПб. 8 июня 1866 г. // Литературное наследство. Т. 97: в 2 кн. М.: Наука, 1988. Кн. 1.

30. *Умов Н.А.* Николай Алексеевич Любимов / Н.А. Умов // Собр. соч. / под ред. с примеч. А.И. Бачинского. М., 1916.

31. *Энгельгардт С.В.* Письмо А.А. Фету. 18/30 мая 1868 г. // Литературное наследство. Т. 103: в 2 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2008. Кн. 1.

Аннотация. В статье сделана попытка проанализировать роль профессора Н.А. Любимова в редакции изданий М.Н. Катковым. На основе ранее не публиковавшихся архивных документов и мемуарной литературы рассмотрены особенности взаимоотношений Любимова, бывшего редактором журнала «Русский вестник» в 1863–1882 годах, с М.Н. Катковым, авторами и сотрудниками издания. Выявлено, что Любимов выполнял в журнале обязанности ответственного редактора, во всем с неукоснительной точностью и аккуратностью руководствуясь мнениями и наставлениями издателя. Анализ публицистики Любимова свидетельствует о его идейной близости с Катковым, общности их общественно-политических и эстетических взглядов. Многочисленные статьи Любимова носили программный характер и определяли направление «Русского вестника» как ведущего консервативного журнала 1860–1880-х годов.

Ключевые слова: Н.А. Любимов, М.Н. Катков, «Московские ведомости», «Русский вестник», редактор, публицист.

Elena V. Perevalova, PhD in Philology, Associate Professor, Department of Journalism and Mass Communications, Institute of Publishing and Journalism, Moscow Polytechnic University. E-mail: helenpv@yandex.ru

Editor-Performer: Nikolay Alekseeevich Lyubimov

Abstract. In article the attempt is made to analyze the role of Professor N.A. Lyubimov in the editorial office of M. N. Katkov's periodical publications. On the basis of the archival documents not published earlier and memoirs literature the author examines the relations of Lyubimov, who was the editor of "Russky Vestnik" magazine in 1863-1882, with M.N. Katkov, the authors and members of the editorial staff. It is revealed that Lyubimov was acting as editor-in-chief in the magazine and strictly and accurately followed the views and directions of the publisher. The analysis of Lyubimov's publications confirms his ideological contiguity with Katkov, and conformity of their social, political and esthetic views. Numerous articles of Lyubimov were of programmatic character and positioned «Russky Vestnik» as the leading conservative magazine in 1860-1880-ies.

Keywords: M.N. Katkov, N.A. Lyubimov, "Moscovskie Vedomosti", "Russky Vestnik", Editor, Publicist.

Катков: философия имперской государственности

Раздел третий

Е.С. Холмогоров
Национализм центростремительного движения
Политическая метафизика Михаила Каткова

Э.А. Попов, И.В. Велигонова
Гражданское общество и государственная власть: новационные социальные технологии М.Н. Каткова

А.Л. Трофимова (Брутян)
Эволюция социально-политических взглядов М.Н. Каткова

А.Ю. Полунов
Проблема «власть и общество» в воззрениях русских консерваторов (к вопросу о взглядах М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева)

И.В. Лукоянов
М.Н. Катков и внешняя политика Российской империи в царствование Александра III (1880-е годы)

М.И. Рухмаков, А.В. Богомаз
Сильное государство и сильная личность: философско-правовое учение М.Н. Каткова

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-151-200

Егор Холмогоров

Национализм центростремительного движения

Политическая метафизика Михаила Каткова

Когда летом 1880 года Константин Леонтьев предлагал «заживо политически канонизировать Каткова», поставив ему при жизни памятник на Страстном бульваре [43], это звучало, безусловно, вызывающе, но отнюдь не абсурдно. И друзьям, и врагам Михаила Никифоровича было очевидно особое место, уже занятое им в русской истории.

К середине 1860-х редактор «Московских ведомостей» стал символом русской нации, воплощением патриотического подъема, связанного с противостоянием польскому мятежу. Открытое возобновление в 1863 году «спора славян» в обстановке, продиктованной поражением России в Крымской войне, могло иметь, казалось, лишь только один исход – восстановление Польши, причем с большей вероятностью не в границах «конгрессовки» 1814 года, а в старых границах, захватывавших значительную часть Западной Руси. Казалось, никакой альтернативы такому исходу и падению русского великодержавия попросту нет.

По сути, Россия оказалась в условиях новой Отечественной войны, но уже такой, где битва армий была заранее проиграна, однако требовалась битва духа, битва политической идеи и политической воли. Главный враг был не столько извне, сколько внутри, в лице столичного общественного мнения, считавшего возможным «из любви к европейскому прогрессу» капитулировать перед польскими притязаниями. Но в древней Москве раздался голос нового Минина, который формулировал и провозглашал четкие политические смыслы, определенные идейные директивы, требовавшие от русских бороться за свое государство и не капитулировать перед той формой саморазрушения, которую спустя полтора десятилетия Достоевский в опубликованном в катковском журнале романе заклеймит в образе смердяковщины.

Катков «силен был самосознанием Минина, которое в половине XIX века и вооруженное всеми средствами новейшего образования явилось ни в чем неизмененным против своего древнего выражения», – настаивал Василий Розанов [52, с. 605]. А по призыву Минина явился и новый князь Пожарский – граф М.Н. Муравьев Виленский и к голосу правды прибавил право карающего меча. Пережитое в 1863 году русским обществом благодаря слову Каткова и делу Муравьева и в самом деле многими осознавалось как «новый 1612 год».

Однако если Минин вскоре сошел с исторической сцены, то Катков занял на русском политическом небосклоне 1860–1880-х годов совершенно особое место, которое порой считали деспотизмом мысли. «Государственный деятель без государственной должности» решительно навязывал государству курс, противоречивший чаяниям сынов прогресса, а потому и значительно менее популярный. Если борьба Каткова за национальную политику

Холмогоров Егор Станиславович, публицист. E-mail: holmogorow@yandex.ru

и против унижения русского имени перед инородцами пользовалась широкой популярностью, то того же нельзя было сказать ни о борьбе за классический стандарт гимназического образования, ни о выступлениях против конституционных и соборных поползновений, ни о деятельности по осуществлению контрреформ. «Виленский консенсус», как выразился А.Э. Котов [88], к началу 1870-х распался, и ореол национального героя вокруг Михаила Никифоровича потускнел.

И тем не менее Катков оставался чем-то большим, чем ненавистным «публике» правительствующим журналистом. «Говорить о нем и его врагах почти то же, что говорить о нашем государстве и его недоброжелателях, его изменниках… Враждовать так злобно против того, что защищают “Московские Ведомости” столько лет, значит враждовать против силы и целостности Русского Государства…» – настаивал в 1880 году Константин Леонтьев [43, с. 282–283]. Катков был символом политической идеи, символом направления.

Сущность этого направления была в том, чтобы противустать известному европейскому методу решения «русского вопроса», заключавшемуся в последовательном проведении принципа «Россия не для русских»:

> «Все политическое искусство европейских правительств по отношению к России состояло в том, чтобы вовлекать ее правительство в такие положения и сочетания, которые наименее соответствовали бы ее собственным интересам и в которых она служила бы посторонним для нее целям, сколь можно более в ущерб себе… Там, где хоть сколько-нибудь выступал наружу русский интерес в европейских делах, можно было с уверенностью ожидать, что все правительства станут против нас за одно. Не могла быть допущена никакая комбинация, выгодная для России, не мог быть поднят никакой вопрос, который хотя бы отдаленным образом обещал разрешиться в русском смысле. Русская политика в Европе могла что-нибудь значить только в той мере, в какой она отреклась от своего национального характера…» [14, с. 158–159].

Le grand Katkoff сумел стать фактором не только русской, но и европейской политики. «Я, служа в Турции, – свидетельствовал тот же Леонтьев, – видел сам, в какое бешенство приводили нередко, например, хоть бы английских консулов его статьи, переданные в иностранных газетах» [44, с. 454]. По выражению самого Михаила Никифоровича, в его газете «не просто отражались дела, в ней многие дела делались».

Кончина публициста в 1887 году, казалось, должна была положить конец этому катковскому царству. Тем более что случилась она посреди чреды размолвок с императором, касающихся направления внешней политики России, которую «Московские ведомости», не считаясь со средствами, стремились повернуть в профранцузском и антигерманском направлении.

Однако не прошло и четырех лет, как Российская Империя приняла отстаивавшийся Катковым антигерманский покровительственный тариф, а в царских покоях и вовсе зазвучала мелодия «Марсельезы». На недоумения канцлеров монархических центральных держав: как возможно сближение самодержавной монархии и революционной республики, – русские дипломаты отвечали по сути катковскими фразами[1]. «Тот только и может быть нам

[1] Характерно в этом смысле объяснение русского советника Г.Л. Кантакузена с министром иностранных дел Австро-Венгрии графом Кальноки (кстати, одним из главных «антигероев» катковской публицистики последних лет): «Конечно никто из тех, кто слушал звуки “Марсельезы” в присутствии нашего монарха и его французских гостей, не старался найти в этой музыке что-либо иное, кроме как звуки национального гимна великой державы, делающей все возможное для выражения почтения его императорскому величеству и своих симпатий к России». Это место письма князя Кантакузена удостоилось высочайшей пометы: // “Совершенно верно” //» [42, с. 162].

истинным союзником, кого ход событий сблизит с живыми и существенными интересами нашего отечества, будет ли то президент Соединенных Штатов или богдыхан китайский… мы должны знать только интересы нашего отечества и руководствоваться в наших делах, в наших сближениях и разрывах только нашим долгом перед судьбами России», – писал Катков в 1887 году [30, с. 631–632][1].

Настоящим триумфом катковской идеологии стала столыпинская эпоха – сочетание охранительства и прогрессизма, которое наверняка привело бы Михаила Никифоровича в восторг, поднятие на щит принципа национальной политики и четкое проведение его в Западном крае, наступление на крестьянскую общину, развитие железнодорожной инфраструктуры. Трудно не согласиться с А.А. Теслей, полагающим, что явление Столыпина стало зримым воплощением катковского восклицания более чем двадцатилетней давности, на сей раз куда более уместного: «Господа, встаньте: правительство идет, правительство возвращается!» [82, с. 224]. Даже риторический строй речей Столыпина, пожалуй – величайшего политического оратора в русской истории, перекликается именно с публицистикой редактора «Московских ведомостей».

Казалось, последовавший вскоре революционный провал России должен покончить с памятью о Каткове навсегда. Могила его в Свято-Алексеевском девичьем монастыре была уничтожена, а кости, если верить преданиям старых прихожан, подвергнуты коммунистическими активистами нарочитому глумлению[2].

«Октябрьская революция» наглядно опровергла риторику публициста о том, что «Россия есть страна самая антиреволюционная в целом мире» [13, с. 58]. А ее вождь Владимир Ульянов был воплощенной насмешкой над катковской образовательной реформой.

«Дело не в том только, чтобы понимать дух древних авторов, а в том, чтобы с ранних лет привыкнуть к упорному и последовательному умственному труду. И я не отвергаю, что в России много умных людей; только *и из них очень немногие умеют продержать пять минут в голове одну и ту же мысль»*, – обосновывал Михаил Никифорович свой классицизм [45, с. 494].

Никто не мог бы упрекнуть золотого медалиста симбирской гимназии, у которого всегда было «Из греческого – пять! Из латыни – пять!», в неумении держать в голове одну и ту же мысль и в неспособности концентрироваться на главном. Однако предметом этой концентрации стали не Фукидид и Цицерон, не русская национальная история и культура (приобщения к которым, как горестно сокрушался Розанов, катковская гимназия и не предполагала[3]), а идеи Герцена, Чернышевского и Маркса. В ленинском плане монументальной пропаганды числились, конечно, братья Гракхи и Брут, но это скорее наследие Французс-

[1] При обсуждении «профранцузской» ориентации Каткова зачастую забывают, что он ориентировался не на французских радикалов-республиканцев, а, напротив, на самые правые, самые «антиреспубликанские» слои Франции, буланжистов и будущих антидрейфусаров, как знаменитый поэт-националист Поль Дерулед. Если бы удержалась катковская тенденция влиять на французскую политику, вместо того чтобы приспосабливаться к ней, как знать – не была ли бы союзницей России значительно более «правая» Франция, нежели та, в которой главным «тигром» был враг Деруледа Клемансо.

[2] Сей печальный факт устно сообщен автору протоиереем Артемием Владимировым, духовником Свято-Алексеевской женской обители.

[3] «И очень многие гимназисты до IV-го класса не доходят: все они знают, что у человека «32 позвонка», и не знают, как Сусанин спас царскую семью. Потом Симбирская гимназия (II и III классы) – и я не знал ничего о Симбирске. Потом Нижегородская гимназия. Там мне ставили двойки по латыни, и я увлекался Боклем! Даже странно было бы сравнивать “Минина и Пожарского” с Боклем…

Учась в Симбирске – ничего о Свияге, о городе, о родных (тамошних) поэтах – Аксаковых, Карамзине, Языкове, о Волге – там уже прекрасной и великой. Учась в Костроме – не знал, что это имя – еще имя языческой богини; ничего – о Ипатьевском монастыре. О чудотворном образе (местной) Феодоровской Божией Матери – ничего. Учась в Нижнем – ничего о “Новгороде низовыя земли”, о “Макарии, откуда ярмарка”, об Унже (река) и ее староверах» [54, с. 257–258].

ской революции, нежели катковских гимназий. Наложение «Комментариев о Галльской войне» на четвертый сон Веры Павловны в числе прочих плодов породило концентрированный нигилизм, который убил все остальное[1].

Можно было бы предположить, что в советский период Катков навсегда останется забытым реакционером, чей карикатурный портрет будет выложен центонами из ленинских цитат. Но вот в 1978 году В.А. Твардовская публикует классическую монографию «Идеология пореформенного самодержавия». В ней дочь великого поэта, выпускавшего здесь же, в двух шагах от былой резиденции Каткова, культовый для советской либеральной интеллигенции журнал, с редкой для второй половины «застоя» публицистической страстностью начинает бичевать позабытого издателя газет за крестовый поход против «нашей иностранной интеллигенции», предпринятый им в апреле 1878 года по случаю выступления охотнорядцев. За неожиданно страстными для работы, посвященной событиям столетней давности, оценками – «бесталанные, низкие и злобные выученики», «невежественный реакционер», «жалкая попытка дискредитации» [81, с. 178] – виден второй смысл, обращенный к куда более близким событиям преследования властью недовольной ею интеллигенции.

Проходит еще сорок лет, и главный государственный пропагандист Империи возвращается в оборот государственной пропаганды новой России. 31 августа 2008 года, вскоре после «пятидневной войны», Дмитрий Киселев в «Вестях» в контексте антирусофобской полемики вдруг начал цитировать Каткова:

> «Вслед за Тютчевым о внутрироссийской русофобии как о настоящем предательстве писал и известный публицист XIX века Михаил Никифорович Катков: “Наша интеллигенция выбивается из сил, желая показать себя как можно менее русскою, полагая, что в этом-то и состоит европеизм. Но европейская интеллигенция так не мыслит. Наше варварство в нашей иностранной интеллигенции. Истинное варварство ходит у нас не в сером армяке, а больше во фраке и даже в белых перчатках”» [87].

Но актуальность Каткова не ограничивается одной лишь его охранительной ипостасью. Возрастает, несмотря на Casus Ulianovi, число сторонников катковского образовательного классицизма [89]. С болезненной актуальностью, точно сошедшие со страниц современных националистических блогов, звучат инвективы «Московских ведомостей» в адрес антинациональной политики, плодящей сепаратизмы:

> «Мы приобрели бессознательную склонность давать не только особое положение инородческим элементам, но и сообщать им преимущества над русской народностью и тем развивать в них не только стремление к отдельности, но и чувство гордости своею отдельностью; мы приобрели инстинктивную склонность унижать свою народность» [16, с. 174].

Даже в заочном споре Константина Леонтьева и Каткова относительно политической и церковной проблемы фанариотства поставлена новейшими событиями жирная точка[2].

По целому спектру вопросов – единство и целостность России и угроза сепаратизма, русофобский настрой нашей интеллигенции, украинский вопрос, необходимость индустриального и инфраструктурного развития, тяготение над теми или иными нашими ведомствами проклятия превращения в «иностранные министерства русских дел» – кат-

[1] Первым на возможную связь ленинизма и вненационального духа катковской гимназии обратил внимание Артемий Ермаков в своих «Записках из мертвой школы» [86].

[2] «Имя фанариотов приобрело печальную известность на всем Востоке. Из этого испорченного отродья греческого племени вышла вся эта толпа пронырливых интриганов… Сами греки – греки королевства и островов – гнушаются этими орудиями политики ислама, и для истинного, свободного грека нет брани оскорбительнее названия фанариота. Недаром же ославилось это имя, принадлежащее той отверженной ветви, из которой по преимуществу получает своих пастырей константинопольская паства» [47, с. 276–277].

ковские идеи, оценки, образы оказываются сегодня более актуальными, чем выстроенные со всем глубокомыслием теории. И не случайно, что современная российская историография переживает настоящий ренессанс Каткова, число одних только монографических исследований этой фигуры уже превзошло своим количеством дореволюционную пору [69, 70, 78, 79, 73, 75].

Нация одной Газеты

Михаил Никифорович был первым в России политическим деятелем, который положил в основу своей программы осознанный *политический национализм*. Если до того момента из идеи нации русские общественные мыслители исходили как из естественной данности, оформляя в национальном ключе свое общественное видение или, как С.С. Уваров в Министерстве просвещения, в программу административных мероприятий по нациестроительству [85], то Катков сделал русский национализм цельной, последовательной, четко прописанной *идеологией*, ставшей основой для ежедневного, массово тиражируемого публичного слова.

А.А. Тесля так описывает параметры этой идеологии:

> «Катковская программа, предполагавшая в качестве определяющего признака нации "культуру" и ориентированное на французский опыт нациестроительство… Русские в этой перспективе мыслились как "имперская нация", открытая по культурному принципу и проводящая активную политику ассимиляции иных национальных групп. Трансформация империи предполагалась как создание национальной метрополии – с имперской политикой в отношении окраин (политика "гегемонии" в отношении Финляндии и Польши) и колонизационной политикой в отношении "восточных" и "южных" колоний» [83, с. 228].

В этой программе (с изложением ее исследователем можно спорить по частностям, но не в целом) трудно не увидеть отражение того сформировавшегося в XIX веке типа европейского национализма, который Эрнст Геллнер описал формулой: «одна культура – одно государство» [65, с. 166][1]. Для становящегося в рамках европейских государств индустриального общества требуется стандартизированная высокая культура, сопровождающаяся универсальным образованием, безличной, свободной от контекста массовой коммуникацией, единством правил формирования и декодирования сообщений, иными словами – «стандартизированная высокая культура» [65, с. 157].

> «Как у каждой женщины должен быть муж, желательно собственный, так же и у культуры должно быть государство, лучше всего свое, – иронизирует Геллнер. – Государства-культуры начинают затем соревноваться друг с другом. Так и возникает внутренне подвижное, атомизированное эгалитарное общество, обладающее стандартизованной письменной культурой "высокого" типа. При этом заботу о распространении и поддержании культуры и об охране границ ее ареала берет на себя государство. Можно сказать короче: одна культура – одно государство; одно государство – одна культура» [65, с. 159–160].

Разумеется, такое государство сталкивается с многообразием данного ему в эмпи-

[1] Идущие ниже отсылки на теорию национализма Эрнста Геллнера ни в коем случае не означают, что автор разделяет характерный для этого исследователя «модернистский» подход к происхождению нации. В этом аспекте наша позиция в целом совпадает с позицией Энтони Смита [80]. В то же время характеристика Геллнером судеб наций и национализма в индустриальную эпоху, показанная им связь между индустриальным укладом, стандартизацией культуры и формированием современных политических наций представляется нам в целом справедливой и фактически обоснованной.

рике материала. Нигде, ни в одной стране не находится по-настоящему гомогенной и стандартизированной высокой культуры. Всюду есть этнические и культурные меньшинства, сепаратистские поползновения, группы с особенностями. Стандартизацию культурного поля государства могут осуществлять различными способами - могут проводить культурно-государственные границы, согласно старым этническим, могут убивать или депортировать культурных чужаков, могут (и это, по сути, самый мягкий способ), осуществлять ассимиляцию путем политических и образовательных мероприятий при помощи регламентирующей деятельности бюрократии и самодеятельности активистов.

> «Можно изменять людей, прививая им новую культуру, включающую, в числе прочего, новый образ “я” и способность проецировать этот образ так, чтобы его воспринимали другие. Тогда новая культура займет место их прежней культуры, где были другие образы, которые они носили в себе и проецировали в общении. Отправной точкой может в данном случае быть какой-то диалект или культура, близкая к той, которую им предстоит освоить, или достаточно от нее удаленная. Процесс этот может развиваться спонтанно, даже почти неосознанно. Он может быть результатом директив правительства или руководителей сферы образования, а может осуществляться самодеятельными культурными активистами, не зависящими от властей и даже действующими вразрез с их указаниями» [65, с. 166–167].

М.Н. Катков был классическим воплощением описанного выше национализма, связанного с культурно-гражданской ассимиляцией и внутренним ирредентизмом. Настолько классическим, что мог бы послужить для британского исследователя иллюстрацией его тезиса и в то же время опровержением его теории «часовых поясов» национализма, в которой право на полноценный граждански-ассимиляционный национализм признается только за передовыми регионами Европы в «первом» и «втором» часовых поясах. Идеология Каткова, соответствует более всего «второму» поясу, германо-итальянскому, «где построение национальных государств шло по пути унификации» [65, с. 181].

Катков сам отлично осознает, что его программа родственна именно германо-итальянскому ирредентизму, но только направленному не за внешние рубежи Отечества, а внутрь его.

> «Не беспримерное ли явление представляет собой теперь Россия, делающая завоевания в пределах собственной территории? Иначе не смотрят политические люди Европы на нынешние действия нашего правительства, например в западном крае, как на завоевания, хотя эти завоевания состоят только в том, что Россия захотела наконец сериозно быть Россией в своих собственных владениях. Расширение пределов русской территории не считалось бы таким приращением могущества России, как ее вступление в свои права у себя дома…» [20, с. 267].

Пафос деятельности Каткова в утверждении цельности, однородности и однонациональности Российской Империи, связанной не с этническим началом, а с двуединством государственности и высокой культуры. Отсюда у Каткова крайняя нетерпимость к любым проявлениям «государства в государстве», к любым исключительным политическим и этническим привилегиям, любому сепаратизму и в то же время широчайшая терпимость – к старообрядцам, не связанным с полонизмом католикам, евреям. В основе катковского национализма – не этно-конфессиональная, а политико-культурная рамка.

Этническое начало в решении государственных вопросов у Каткова вообще не имеет права голоса. «Неужели государственная область определяется этнографическими признаками? Неужели судьба государственной области может колебаться и решаться вследствие этнографических или лингвистических исследований и споров? Неужели

словарь и грамматика пойдут когда-нибудь распределять государственные территории? Государство не совпадает с племенем, и государственная область не есть только то пространство земли, которое заселено людьми одного языка» [12, с. 51].

Его «этнический нигилизм» на пике антисепаратистской полемики достигает порой самых крайних форм, вплоть до отречения от всякой славянской солидарности: «Мы никогда не вступались… за живые или выродившиеся славянские племена в пределах Пруссии и Австрии… непризнавание этими государствами, и особенно Пруссией, славянских племен в качестве особых национальностей мы находили, напротив, делом не только разумным, с ее точки зрения, но и достойным подражания России по отношению к инородческим племенам, обитающим в наших пределах» [17, с. 230].

В то же время Катков отлично осознает, что реальную единую высокую культуру в России еще только предстоит создать. И именно с этим связан катковский классицизм, являющийся попыткой задать максимально высокую и объединяющую этнокультурные группы образовательную планку. Этот ассимиляторский аспект катковской образовательной программы зачастую забывается, когда встает вопрос о причинах ощущаемого в ней некоторого отчуждения от русских культурных начал. Русское начало в его славянофильском понимании, будучи положено в основу образовательного стандарта, вольно или невольно «разделяло» бы. Классическое, как казалось Каткову, объединяло и задавало искомый стандартизированный образец высокой культуры.

Разумеется, такая программа идеального тождества государства и культуры, свободного от сепаратистских и этнических «узких мест» могла быть в реальности осуществлена только правительством при помощи административной и образовательной политики. Никакие частные, общественные силы не могли бы сравниться по эффективности унифицирующего воздействия с циркуляром Министерства просвещения. Именно здесь кроется исток того феномена, который А.Э. Котов наименовал *бюрократическим национализмом* Каткова. «В 1870-е годы Катков все больше осознает, что обладает *одним лишь средством* для проведения в жизнь своих взглядов – *государственным аппаратом*», – отмечает исследователь [70, с. 88].

Возможно, более точно было бы сказать, что в реальных исторических условиях России второй половины XIX века для реализации катковской ассимиляционистской культурно-политической программы не было и не могло быть иного исполнителя, кроме бюрократии, поскольку именно бюрократия осуществляла поддержание петербургской империи в «западноевропейском» историческом поясе, для которого катковская программа и была актуальной.

Расхождение Каткова со славянофилами в этом смысле также было предопределено. Славянофильский кружок действовал в общем и целом в духе «третьего пояса», ориентируясь на этническое пробуждение русских как своего рода «малой нации», заключенной в стальной кокон европеизированной империи, в рамках которой русские оказались в значительной степени лишены права на культурную самобытность и политическую представленность. При этом славянофилы апеллировали к обществу как совокупности реально существующих или воображаемых действующих сил этноса, надеялись на самоорганизацию русских сил на основе традиционной культуры, сохраненной в своей чистоте крестьянством.

Катков сходится со славянофилами в том, что Россия должна быть «для русских». Он одним из первых употребляет это словосочетание [66, с. 30–50]. Однако в его случае речь идет об ориентированности политики государства на интересы нации как исторического феномена и гражданского сообщества. В то же время как представитель «передовых» часовых поясов национализма Катков не мог, разумеется, принять акцент на архаичной или простонародной культуре, коль скоро сам западноевропейский национализм с его созданием высокой стандартизированной культуры был по своей сути антикрестьянским.

«Установление централизованной культуры отнюдь не опиралось при этом на культуру крестьянства, а было направлено против нее. Крестьян надлежало превратить в настоящих граждан, но не учитывать особенности их культуры, определяя культуру нации. Поэтому этнография не имела в данном случае касательства к формированию нации. Какой смысл фиксировать то, что намереваешься разрушить?» – отмечает Геллнер [65, с. 181].

Поскольку для Каткова и лично, и в качестве представителя ассимиляционистского национализма характерен известного рода нигилизм в отношении допетровской русской культуры, то и опора на массовые общественные силы, соединенные именно этой культурой, оказывается для него невозможной.

Единственное исключение, которое делает Катков для старой России в своем отрицании, – это государственное строительство, государственный инстинкт русского народа, которыми он буквально заворожен на протяжении всего своего полувекового публицистического творчества. Здесь из-под его пера могут вырваться и апология Ивана Грозного (фигуры для славянофилов совершенно неприемлемой), и восторг перед старомосковской бюрократией:

> «Старый дьяк Московского государства, не знавший ни по-французски, ни по-немецки, не слушавший университетских лекций, не походил, как мы, на ребенка, но был настоящим человеком, зрелым мужем, судил о вещах здравомысленно и как следует зрелому мужу. Почитайте только наши старые юридические акты и посравните их с лепетаньем наших нынешних ученых юристов…» [12, с. 69].

Воплощением государственного инстинкта и государственного начала volens nolens является государственный аппарат. И потому катковский национализм самой своей неумолимой логикой вынужден был принять бюрократический, административный, анти-«общественнический» оттенок. Потому Катков был обречен на противостояние славянофильской программе соборного устроения России на основе общественных элементов. То общество, от имени которого хотели выступать славянофилы, должно было быть перековано, а того общества, которое соответствовало бы катковскому национально-культурному идеалу, еще не было, его только предстояло создать.

А когда оно было создано катковской гимназией на деле, то воплотилось в двух полярных фигурах – Столыпине, который и сам был по профессии бюрократом, и Ленине, который стал бюрократом из революционера. Все «общественники», все гучковы, милюковы и керенские, пытавшиеся сыграть свою роль между этими двумя полюсами, сделали это откровенно слабо и в конечном счете содействовали провалу дела первого полюса и безоговорочному успеху второго.

Превращение «Московских ведомостей» в «Департамент Каткова» было, таким образом, вполне закономерно. Катковский тип национализма и родился из духа государственной бюрократии. Тем характернее тот факт, что сам Михаил Никифорович, сидя, точно паук, в центре сотен политических нитей, никогда никаким государственным постом, хотя бы иллюзией административной власти не соблазнился. Как не был он и «серым кардиналом». Напротив, он всегда претендовал на смысловое управление правительством при помощи обнародования публичных «передовых» директив. Делая ставку на бюрократию, Катков, однако, управлял этой бюрократией при помощи газеты.

В этом тоже нет ничего удивительного для эпохи становящегося новоевропейского национализма, в формировании которого именно пресса сыграла, наряду со школой, ведущую роль. «Общая культура становится необходимой тогда, когда труд перестает быть физическим и становится семантическим», – отмечает Геллнер [65, с. 177]. И подчеркивает, что «это требует длительного обучения и огромной семантической дисциплины» [65, с. 156].

Таким фактором семантической дисциплины для европейских обществ той эпохи становится газета. «Из множества непредвиденных последствий книгопечатания наиболее известно, видимо, рождение национализма, – отмечает Маршалл Маклюэн. – Политическая унификация населений на основе диалектных и языковых группировок была немыслима, пока печать не превратила каждый народный язык в экстенсивное средство массового общения. Племя – расширенная форма семьи, состоящей из кровных родственников, – взрывается печатью и заменяется ассоциацией людей, гомогенно обученных быть индивидами. Сам национализм предстал в энергичном новом визуальном образе групповой судьбы и группового статуса и зависел от скорости движения информации, которая до появления печати была неведома» [74, с. 200–201].

Сама газета – это своего рода наглядный образ нации. Литеры на одном языке идут строгими рядами в постоянном и логичном расположении, всякое слово на своем месте, этот порядок не нарушают ни варваризм, ни вульгаризм, ни диалектизм.

Катков был конгениален самому духу национальной прессы – стандартизированному, стирающему границы племенной и сословной особенности, сопрягающему всех включенных в определенное языковое поле в единый политический порядок. В нем нет пристрастия к этническим подробностям, «сочиненным теориям, возводящим в мертвящий идеал status quo народного быта» [22, с. 693], характерного для славянофилов. Но нет и космополитической растворенности либерализма, оборачивающейся «патриотизмом заграницы», когда «наша интеллигенция выбивается из сил показать себя как можно менее русской, полагая, что в этом-то и состоит европеизм» [23, с. 405].

Особенностью этого словесного космоса в России было то, что он был монологом одного человека. Причем воспринимался как монолог, пожалуй, в еще большей степени, чем был на деле. Передовицы «Московских ведомостей» создавались Коллективным Катковым, целым кругом авторов, соединенных, однако, единством идей и воли редактора «Московских ведомостей» практически до неразличимости[1].

«В России и Центральной Европе книга и газета развивались почти одновременно, в результате чего эти две формы так и не были четко разделены. Тамошняя журналистика распространяет частную точку зрения литературного мандарина», – отмечает Маклюэн [74, с. 234–235]. Катков, безусловно, был именно таким «литературным мандарином», рассматривавшим газету как изложение своей частной точки зрения. «“Московские Ведомости” – мой *личный* орган», – говорил Михаил Никифорович князю Н.П. Мещерскому, как бы отрицая существование такого явления как «la presse russe» [49, с. 104].

Рассуждая в маклюэновской парадигме, можно сказать, что катковские «Московские ведомости» были своего рода псевдоморфозом – книгой-монологом в обертке рекламной смеси. «Рекламные объявления (и сводки положения дел на рынке ценных бумаг) – это фундамент, на котором держится пресса» [74, с. 235]. Передовые статьи «Московских ве-

[1] В феврале 1866 года Тютчев писал М.А. Георгиевской (Денисьевой), жене одного из ключевых сотрудников катковской газеты, заведовавшего внешнеполитическими вопросами: «За неимением письменных извещений я стараюсь вычитать коли не вас, так мужа вашего из передовых статей «Московских вед<омостей>»... но как-то не удается. – Выдается из них, а особливо из последних по финансовым вопросам, только сердитый горб Леонтьева...» [59, с. 128].

Пройдет чуть больше месяца, и газета Каткова получит первое «валуевское предостережение» за статью в № 61 о военных приготовлениях Австрии и Пруссии, написанную… А.И. Георгиевским. Передовица содержала такой совершенно «катковский» и по интонации, и по смыслу пассаж: «Не странное ли дело, что мысль о государственном единстве России должна себе прокладывать путь с тяжкими усилиями, подвергаться всевозможным поруганиям как галлюцинация, как бред безумия, как злой умысел, как демократическая революция и встречать себе неутомимых и ожесточенных противников в сферах влиятельных, – противников, не отступающих ни перед какими средствами?» [21, с. 175]. Никому бы и не пришло (и не приходит в современных изданиях Corpus Catcovianum) отделять написанное рукой Георгиевского от продиктованного Катковым.

домостей» прославившие Каткова, не были «передовицами» в современном понимании этого слова. Они начинались на второй, а порой и на третьей странице вслед за объявлениями. Как правило, непосредственно над «передовицей» шел репертуар Малого театра. «В пятницу, 2го іюля КЪ МИРОВОМУ, к в 3 д. ЦЫГАНКА…». Иногда, конечно, эти репертуарные объявления без всякого умысла звучали в унисон самим передовицам, так что нарочно не придумаешь: «В понедельник, 25го октября: ЛИБЕРАЛЪ, к въ 5 д. МОДНЫЙ ЛАКЕЙ» (№ 231 24 октября 1871 года). Были тут и вексельные курсы, и отчеты о финансовом положении банков и сборах железных дорог. Но основу финансовой стабильности катковской газеты составляли казенные объявления.

Взору грамотного русского общества представала экстравагантная картина, как в капле отражающая этап в истории русской прессы и развитии гражданского общества, не вполне исчерпанный и по сей день. Газета – рекламная смесь, держащаяся на монопольном праве размещения императивно-монологичных государственных объявлений, которыми оплачивается императивно-монологичный же голос «литературного мандарина», использующего эту газету для нападок на высших чиновников, по сути, на всех, кроме императора (на деле и на императора тоже, но более прикровенно). Издатель-монологист как частное лицо из Москвы выступает от имени русского общественного мнения и пуще всего печется о том, чтобы не лишиться независимости и не быть обвиненным в подкупности, однако его монологи воспринимаются в петербургских кабинетах как руководство к действию, а в Европе трактуются как голос политики России едва ли не в большей степени, чем ноты Министерства иностранных дел.

Философ в шкуре сторожевого пса

Быть независимым и при этом, по сути, единственным и самодовлеющим голосом общественного мнения, отражением воли и интересов нации – представлять собой нацию, не нуждаясь ни в каких конкурентах, – такова была, на наш взгляд, катковская амбиция.

Михаил Никифорович сам невольно приоткрыл над нею завесу, объясняясь при посредничестве Е.М. Феоктистова с императором по поводу своих нападок на Министерство иностранных дел. В ответ на переданное от имени царя порицание он попросил передать, в частности, следующее: «*Я повинуюсь инстинкту сторожевого пса, который не может быть спокоен, чуя недоброе для дома и для его хозяина*». Феоктистов отмечает, что, «подумав, Катков нашел выражение “сторожевой пес” неудобным и заменил его другим» [60, с. 248].

Неудобство, очевидно, проистекало из несовпадения той семиотической системы, в которой понял бы это выражение страстный охотник император, и той, в которой оно родилось у самого Каткова, – платоновской философии. Образ «сторожевого пса» – один из ключевых в «Государстве» Платона при характеристике сословия «стражей»: «Ведь в нашем государстве мы поручили его защитникам служить, как сторожевым псам, а правителям – как пастухам» (Государство IV, 440d).

Впрочем, не лукавил ли мастер недомолвок, каковым воспринимал Каткова Константин Леонтьев, когда сводил свою роль в конструкции идеального государства к роли стража? Буквально все в его деятельности и личном облике выдает стремление к роли правителя-философа. Разумеется, это не притязание на место монарха, как не притязал Платон на место Дионисия Сиракузского. Катков последовательно подчеркивает, что он пишет для Государя, а когда тот его читать не хочет – умолкает[1]. Это притязание на своего

[1] «*Для кого* писать? Тот, для кого я единственно держал перо в руках, сам отступается от своей власти, удерживая только ее внешность. Все остальное – мираж на болоте», – передавал в июле 1880 года предельное разочарование Каткова Б.М. Маркевич [48, с. 154]. В этой формуле очевидно притязание быть царским и ничьим больше советником.

рода смыслократическую власть, на формулирование направлений и смысловых рамок политики, на внесение ясности в путаницу практических интересов и метаний.

В этом смысле определение катковского национализма как «бюрократического» представляется все же недостаточным. По исполнительным средствам он и в самом деле таков, но по инструментам целеполагания это все-таки *смыслократический* национализм – Катков притязал на то, чтобы генерировать для бюрократии целостный философский образ нации и требовать воплощения провозглашенных принципов в конкретных административных деяниях.

Трудно признать достоверным портрет Каткова-оппортуниста, рисуемый не только в либеральной, как у Р.И. Сементковского [55], но и в консервативной публицистике конца XIX века. «Катков был весь век не мыслителем, даже не пропагандистом, а вечным бойцом, ультрапрактическим адвокатом и прокурором. Он говорил не для того, чтобы раскрыть объективную истину, а чтобы достигнуть победы в целях данного дня», – утверждал Лев Тихомиров [58, с. 316]. Константин Леонтьев называл его «сапером» в противоположность инженеру и настаивал, что Михаил Никифорович «истине высшей, широчайшей всегда почти предпочитал истину низшую, более близкую и более узкую; правде более общей и основной – правду завтрашнего дня и потребность немедленного приложения…» [44, с. 453]. Мало того, «как человек высокого философского образования, бывший даже и сам философ по профессии, уважал (хотя и довольно холодно) теории других… но сам не имел уже ни времени, ни охоты ими заниматься» [44, с. 457]. Василий Розанов упрекал его в «сытости души эмпирическим содержанием действительности» [53, с. 548]. Все эти приговоры исходят от лиц, не знакомых с Катковым коротко, а то и вовсе никогда его не видевших.

Совсем иной Катков предстает в воспоминаниях тех, кто знаком был с Михаилом Никифоровичем действительно близко. Перед нами не погруженный в эмпирику и подчиненный требованию политического момента великий оппортунист, а отрешенный, погруженный в созерцание метафизических основ философ, извлекающий лозунги политического момента и тактические маневры, казалось, из самих первоначал.

В облике и манере общения Каткова превалировала отмечаемая многими отрешенность. Н.П. Мещерский отмечал в Каткове «какое-то безучастие – не то холодность, не то рассеяность» и связывал это с тем, что «у Михаила Никифоровича было, можно сказать, инстинктивное отвращение (как бы боязнь) к глупости, пустоте речи, бесцельности» [49, с. 75]. «Наши разговоры нередко касались философских предметов. Катков говорил очень своеобразно: отрывочными краткими изречениями и намеками... Я с удовольствием слушал эту импровизацию, будучи вполне единомышленником Каткова в метафизике», – вспоминал В.С. Соловьев [56, с. 555].

«Мир, в котором жил Михаил Никифорович, не был тот мир, который в данную минуту непосредственно окружал его в действительности, – отмечал многолетний сотрудник Каткова Н.А. Любимов. – Это было заметно даже в особенностях его неопределенного взора, который делал впечатление на всех, его знавших, как нечто оригинальное, ему принадлежавшее. Он имел обыкновенно дело не с людьми и вещами в их реальной полноте существования, а с образами людей и вещей, как стояли они перед его могущественным умственным прозрением при освещении той или другой мысли, всецело поглощавшей его в данную минуту» [47, с. 225].

Сравнивая Каткова с «увлекающимся Белинским», Любимов указывает на «некоторую душевную сухость» как черту душевного склада Михаила Никифоровича [47, с. 224]. Возможно, Любимов в этот момент вспоминал и главную философскую работу Каткова «Очерки древнейшего периода греческой философии», в которой цитировалось следующее изречение Гераклита: «*сухая душа самая лучшая и самая мудрая; как молния рассекает облако, так и сухая душа возжигает тело*». «В этой сухости, – характеризовал

греческого философа Катков, – полагал он, между прочим, отличие гелленской натуры от варварской; чем страна суше, тем мудрее и лучше рождаются в ней люди» [2, с. 288].

Катков воспринимал свою деятельность не как поиск сиюминутного политического маневра, а напротив – как установление базовых политических принципов на основании метафизических идей. При решении политических вопросов, утверждает В.С. Соловьев, «он настаивал на принципиальной стороне дела. “Исполнение – это понемногу, со временем, само собою! Главное, принцип: установлен принцип – дело выиграно”. Слышался старый шеллингианец» [56, с. 559].

Политическое шеллингианство

Именно философия Шеллинга стала для Каткова тем метафизическим фундаментом, той матрицей мысли, с помощью которой он формулировал многочисленные «оппортунистические» и на поверхности противоречивые суждения. И в самом деле, в статьях как индивидуального, так и коллективного Каткова разных лет можно найти противоречия в базовых политических тезисах – за и против земства, за и против суда присяжных, за и против поддержки славян и т.д., но никогда не будет противоречий в той философской картине, в том образе мироздания, в рамках которого эти суждения выносятся.

Разумеется, автор этих строк не претендует на то, чтобы изложить хотя бы в кратком конспекте всю разноречивую философию Шеллинга. Но сквозь его творчество проходит один философский мотив, который оказался принципиальным для формирования политической матрицы Каткова. Этот важнейший для Шеллинга мотив – противоположение *центра и периферии,* противопоставление связанных с ними типов движения *центробежного,* сопряженного с удалением, отталкиванием от центра и *центростремительного,* связанного притяжением и приближением к центру вплоть до обретения единства с ним.

Центральным для Шеллинга является положение высшей духовной реальности, Абсолюта, заключенного в абсолюте тождества (А=А), Бога. На периферию же вытолкнуты движением «мировых эпох» реальности вторичные, подчиненные, стремящиеся сепарироваться от Абсолюта, – прежде всего человек и вещный мир (в начале которых, однако, лежит движение самого Абсолюта).

Центробежное, эксцентрическое движение влечет существа к удалению от центра, максимальному распространению, попытке обретения самостоятельного от Абсолюта существования. Каждое из этих существ, вещей и элементов, поскольку в нем все-таки заключен дух первопринципа, стремится установить себя как центр. «В каждом из этих элементов продолжает жить дух первопринципа, каждый из этих элементов хочет быть центром, утвердиться как центр, в то время как той высшей необходимостью он полагается как периферический» [36, с. 468]. От этого новоположенного центра в свою очередь стремится удалиться периферия – и так до пределов универсума.

Весь порядок вещей порожден этим центробежным разбеганием, которое Шеллинг обозначит как «расширение тождества в различие» [34, с. 307], а в своей поздней философии прямо свяжет с грехом, суть которого усмотрит в своевольной попытке обретения отдельности, самостоятельности от Абсолюта. «Болезнь единичного», на взгляд Шеллинга, возникает из-за того, что «то, что имеет свою свободу или жизнь только для того, чтобы оставаться в рамках целого, стремится быть для себя» [33, с. 114]. Именно это своеволие порождает онтологическую обособленность существ, продукт их своего рода онтологического и нравственного сепаратизма.

Центробежное движение универсума, впрочем, возможно, по Шеллингу, лишь потому, что каждая вещь, включая неживую природу, сохраняет в себе принадлежность к Абсо-

люту. Мир – это представление первоначального всеединства, сохраняющегося на самых дальних его пределах. «В любой вещи присутствует неразделенная и неделимая субстанция, которая в соответствии с ограничениями формы вещи производит непосредственно из себя и без внешнего воздействия все, что полагается в этой вещи…» [34, с. 309–310].

Присутствие Абсолюта в вещах делает возможным *центростремительное,* концентрическое движение, «возвращение различия в тождество» [34, с. 307], обретение человеком Абсолюта в себе, собирание вместе сил природы и человека, упорядочение, и так до полного воссоединения человека и природы с Богом где-то в грядущем.

Одна вещь устремляется к другой вещи не благодаря внешнему воздействию, а потому, что центростремительная сила присуща самой притягивающейся вещи. «Причина центростремления притягивающегося тела… есть имманентный принцип самого притягивающегося тела, которое так же необходимо находится в центре, как оно абсолютно есть в себе самом» [34, с. 308–309].

Британский историк философии Фредерик Коплстон дает следующую характеристику шеллинговой философии тождества: «Творение является отпадением в том смысле, что оно представляет собой центробежное движение. Абсолютное тождество дифференцируется или расщепляется на феноменальном уровне, хотя и не само по себе. Но существует и центростремительное движение, возвращение к Богу. Это не значит, что отдельные конечные материальные вещи как таковые возвращаются к божественной Идее» [68, с. 158].

На позднем этапе своей философии Шеллинг, уходя от пантеизма Спинозы и приближаясь к христианству, отказывается от интерпретации самостояния существ как вины, а природы как отпадения. Теперь природа для него – это самораскрытие Абсолюта, а свобода – желанна для Бога. Бог не хочет слепой порабощенности существ бытием. Напротив, «становление свободным предусмотрено и желанно для Бога» [35, с. 251]. Человек – это «великий вольноотпущенник творца». «Бог отпускает ставшее на свободу и более не налагает на него руку, но простирает ее над ним, т.е. благословляет его, предоставляет ему волю, дает ему мир» [35, с. 252].

Согласно позднему Шеллингу центростремительное собирание Абсолюта происходит уже в нравственном и мистическом смысле, через постижение Бога в Его откровении и приобщение к благодати Духа. Философу наверняка понравилось бы выдержанное в шеллингианском ключе хомяковское определение Церкви: «Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати» [61, с. 5].

> «История есть эпическая поэма, составленная в уме Бога. Две главные ее части таковы: в первой изображается уход человечества от своего центра к самым дальним пределам, а вторая изображает возвращение. Первая часть – “Илиада”, вторая – “Одиссея” истории. В первой было центробежное движение, во второй – центростремительное», – резюмировал свою философию Шеллинг [цит по: 68, с. 159].

Глубочайшая связь политической мысли Каткова с шеллинговым концептом центробежного и центростремительного движений не укрылась от Василия Розанова:

> «Катков давно стал знаменем, символом известных стремлений. Соединим их в одно: он есть символ всего центростремительного в нашей земле, устремляющегося к центру, к сосредоточению; в противовес иным центробежным силам, также обильно развитым в нашей земле, – силам, разбегающимся от центра к периферии, стремящимся разорвать целость нашего сознания, целость истории нашей, наконец, целость нашей территории». [52, с. 605].

Розанов здесь прямо указывает на связь философского и интуитивно национального аспектов творчества знаменитого публициста: «Этот профессор университета, автор “Очерков древнейшего периода греческой философии”, был силен не тем, что дала ему школа, – продолжал Розанов, – не тем, чему выучился заграницею, хотя всему, чему учился, он учился хорошо; – он силен был дедовской землей, которую носил за пазухой своей рубахи, под новым сюртуком» [52, с. 605].

Главное философское произведение Каткова – «Очерки древнейшего периода греческой философии» упомянуто здесь не случайно. В этом произведении, которое сам автор характеризовал как одушевляемое «тем общим философским воззрением, которое дает жизнь его мысли и вынесено им из Положительной Философии Шеллинга» [3, с. 342], проблема центростремительного и центробежного движения оказывается одной из ключевых. Катков находит у Платона, и даже у Гераклита эти движения, через которые раскрывается двойство первичной сущности, открывающейся «как единое в <одно> и то же время бесчисленное, как стремление к центру, к внутреннему сосредоточению и как немощь, удерживающая его на периферии» [2, с. 235].

> «Есть в “Тиме” место о двоякого рода круговратном движении, – утверждает Катков. – Платон различает, во-первых, круговратное движение натуры тождественной, неделимой, самостоятельной, как бы духовной; во-вторых, натуры, лишенной самости, делимой, натуры, в которой все друг друга исключает и все относится как *другое к другому*.
>
> Первое движение, движение натуры самостоятельной или тождественной и есть тот бег чистого эфира. Цель этого движения есть сосредоточение, это движение есть стремление удержаться в самом себе, в своей чистой активности. Неотразимая необходимость, выражающаяся в собственной немощи этого бытия, удерживает его на периферии, и недостижимая цель выразилась в круговратности движения…. Силою центростремительною является здесь собственное стремление движущегося, силою центробежною – необходимость, не допускающая его к центру… Стремящееся стремится удержаться в единстве, но в своей хаотической безграничности оно расторгается на бесчисленность, собирается и снова расторгается…
>
> Второй круг противоположен первому; следовательно, в нем должно находиться обратное отношение в условиях движения. Если в первом собственное стремление движущегося есть стремление к центру, то во втором собственное стремление есть бег от центра. Если в первом необходимость и немощь удерживает силу, стремящуюся к центру, и парализует это стремление, то во втором, наоборот, необходимость должна вопреки его собственно центробежному стремлению, влечь его к центру. Этот центр, этот пункт тяготения вынужденного, тяготения вследствие немощи, есть другое. Одно по необходимости тяготеет к другому, а предоставленное себе, оно бежало бы прочь в безграничность. Это движение свойственно бытию уже приведенному в пассивное состояние. По Платону, это бытие непосредственно граничит с телесным и собственно вещественным, и вообще согласно с точкою зрения Платона имеет меньшее достоинство, нежели первое, в котором преобладает активность и самостоятельность» [2, с. 245–246].

Усматривает русский философ превосходство центростремительности и у Гераклита: «Представление смерти у Гераклита, как кажется, соответствует этому перевороту в движущих силах кругообращения. Его огонь или душа умирает, когда лишается своей центростремительности и, обращенная в противную сторону, становится натурой центробежною. Переходы в область центробежного бытия выражаются уже сжатием. Здесь бес-

численное фиксируется в своей бесчисленности, и каждое пассивно тяготеет к другому. Каждое в этом бытии, утверждаясь в своей отдельности, становится пассивным относительно другого и означает тем, что вся сила этого бытия становится бессилием относительно другой превозмогающей силы» [2, с. 246].

Противопоставление «благородного» центростремительного, концентрического движения и «низкого» центробежного эксцентрического станет основой катковской политической матрицы, используясь многократно в самом разном контексте. Прежде всего, конечно, для противопоставления государственного единства сепаратизму, но также и для обоснования необходимости классической системы в гимназиях, где концентрация должна противостать многопредметности: «Характеристическая черта истинно европейской школы есть то, что на педагогическом языке называется концентрация, сосредоточение, собирание умственных сил, а тот элемент, посредством которого совершается это дело концентрации, – элемент, нами отвергаемый в качестве бесплодного и бессмысленного, суть древнеклассические языки, греческий и латинский» [15, с. 305].

Вполне пригоден этот концепт оказывается и для анализа иностранной политики, неожиданно актуального и по сей день.

> «В стране, во многом глубоко несходной с нами, но также великой и смотрящей в будущее, – в Северной Америке нет и помину о партиях либеральной и консервативной в политическом смысле, – писал Катков в марте 1881 года, вскоре после цареубийства. – Зато там есть две партии, которые постоянно и открыто борются между собой. В первой – вся центростремительная сила государства, на которой зиждется его единство и держится его целость, патриотический дух и национальное чувство; это партия государственная, которая в Америке зовется республиканской. Другая представляет собой движение центробежное, партия расторжения и разложения, которая от этапа к этапу влечет людей к измене и бунту; она зовется в Америке демократической партией. Всем известно, в которой из этих двух партий великой заатлантической страны присутствует дух жизни и свободы и которая, напротив, была оплотом рабства. Дух космополитизма, нечистый дух политической безнравственности, расторжения и разложения – вот что роднит наших либералов с антинациональной партией в Северной Америке…» [25, с. 527].

Философские воззрения Каткова, лежащие в основе его политической доктрины, можно, таким образом, обозначить как *политическое шеллингианство*.

Отношение Каткова к шеллингианству находится в плену мифа о его «переходе от Гегеля к Шеллингу», сформированного мемуаристами, в частности Ф.И. Буслаевым (который сам был шеллингианцем в филологии), так описывавшим возвращение Каткова и П.М. Леонтьева из Германии: «Оба они были так увлечены и восторжены идеями автора знаменитой книги о трансцедентальном идеализме, что вполне отказались от туманных отвлечений и бессодержательных форм гегелевской философии, которую до своей поездки в Берлин они усердно и подобострастно исповедовали. Лекции Шеллинга, обильные жизненным историческим содержанием, открывали им новые пути и просветы для исследований…» [37, с. 412].

У советских и постсоветских исследователей этот идейный переход от «прогрессивного» (в марксистской оптике) Гегеля к «реакционному» Шеллингу увязывается напрямую с переходом от либерализма к консерватизму, визуально ассоциируясь с отходом Каткова от «гегельянского» кружка Станкевича. По мнению В.А. Китаева, «будущий редактор «Московских ведомостей» пошел от Гегеля назад – к неошеллингианству» [67, с. 50]. Особенно комично в этом контексте звучит упоминание некоего загадочного «неошеллингианства» –

и это при живом и лично знакомом Каткову Шеллинге[1]. Впрочем, В.М. Кантор и В.А. Твардовская, напротив, отказывались отыскивать истоки консерватизма Каткова «в его юношеской склонности к шеллингианству» [81, с. 17].

Еще более оригинально смотрит на проблему катковского «перехода» В.Ф. Пустарнаков, относящий отказ Каткова от гегельянства к моменту его «радикального поправения», то есть то ли к началу 1860-х, то ли вообще к 1870-м годам: «Примат ценностно-оценочного подхода к философии Шеллинга в "вольной", неакадемической, философии легко просматривается также на примере М.Н. Каткова. Пока Катков не выходил в 40-х гг. XIX в. за пределы умеренно-западнического, либерального консерватизма, он недвусмысленно отдавал предпочтение Гегелю перед Шеллингом. Но, когда Катков радикально «поправел», ему, видимо, показалось неудобным слыть последователем Гегеля, на которого ориентировались русские радикальные демократы, и он высказывался так, как если бы на него наибольшее влияние оказал Шеллинг» [76, с. 10].

Здесь уже, как видим, отрицается даже сама искренность катковского шеллингианства, а суждение формулируется с великолепным презрением к эмпирическому материалу. Если же уделять эмпирике в виде катковских текстов некоторое внимание, то придется поставить под сомнение саму формулу о мнимом «переходе Каткова от Гегеля к Шеллингу».

Несомненно, творчество Гегеля, с которым Катков был хорошо знаком, не могло не оказать на него влияния, повлияло оно и на большинство образованных современников. Однако репутации «гегельянца» Катков был, по всей видимости, обязан более всего своими «кружковыми» связями со Станкевичем (впрочем, тоже начинавшим как шеллингианец) и Белинским, хорошему знанию гегелевской философии, которое в философски полуобразованной среде зачастую принималось за приверженность ей, а главное, – двум своим переводческим трудам. Эти труды – статья гегельянца Ретшера «О философской критике художественного произведения» [6] и отзыв о Пушкине критика-гегельянца Варнгагена фон Энзе, предисловие к которому переводчика и в самом деле отличается неумеренно восторженным тоном: «В лице Гегеля подает нам руку Германия, в лице Германии – вся Европа, целое человечество. Слышите ли? – Нас уже не называют учениками и подражателями... мы заключаем наше краткое введение в статью Варнгагена фон Энзе, статью, в которой мы слышим как бы из другого мира звучащий в привет России и ее великому поэту – голос самого Гегеля» [5, с. 56]. Впрочем, тон этот, если заметить, обращен не столько к восхвалению Гегеля, сколько к прославлению Пушкина.

Совсем иная картина открывается при знакомстве с мировоззрением самого Каткова, выраженным в его авторских текстах. Первая же крупная программная статья молодого автора, – рецензия на «Песни русского народа», изданные И. Сахаровым, опубликованная в «Отечественных записках» в 1839 году, была выполнена в традициях русского шеллингианства. «Уже из первых вступительных строк виден в авторе ученик профессора Павлова, в пансионе которого он обучался», – вспоминал А.Д. Галахов [38, с. 266]. Профессор и содержатель пансиона М.Г. Павлов был одним из виднейших тогдашних русских шеллингианцев заявлявший: «Последователи сего Философа теорию его проводят чрез все царства природы с разительным успехом; по сему теория Шеллинга имеет право на преимущество пред всеми доселе известными» [51, с. 63].

Иногда, впрочем, «центробежные» штудии первых русских шеллингианцев вызывали у потомков лишь иронию. В своей «Истории русской критики» И.И. Иванов отмечает «Один из самых ранних русских шеллингианцев Велланский, оставил ряд сочинений,

[1] «Помимо неокантианства, было в Германии сильное неогегельянство и нечто вроде неофихтеанства. Неошеллингианства не было», – отмечал А.В. Гулыга [91, с. 288].

прославившихся своей невразумительностью и самыми странными аналогиями и обобщениями будто бы на почве естествознания. Но когда русский философ производил удивительнейшие операции над “магнетизмом, элетрицизмом и хемизмом”, когда мужеский пол признавал типом центробежным и соответствующим свету, а женский центростремительным и соответствующим тяжести и даже гордился таким “познанием вещей”, – все это являлось подлинными отголосками шеллингианства» [40, с. 478].

Статья Каткова о русских песнях – первый его манифест не только как филолога, но и как исторического и политического мыслителя, это попытка приложить шеллингианские принципы уже не к царствам природы, но к Русскому Царству, как его историческая судьба отразилась в народных песнях.

Народ Катков рассматривает как единство шеллингианского типа, то есть холистическое, органическое единство, таинственно проявляющееся в индивидуальном и многом: «Народ есть органическое, живое существо, но чисто духовное, а не чувственное. В каждом отдельном предмете части, составляющие его, и единство этих частей, связующее их в одно целое, пребывающее на известной точке пространства, – сопроникаются взаимно и взаимно друг друга условливают. Отнять от предмета это единство – значит рассыпать его на части, значит умертвить его… В народе целость частей существует не явно, как в отдельном предмете: она незрима, она таинственно связует члены народа, по-видимому разрозненные, по-видимому не имеющие никакой внутренней, живой связи. Части народа сами по себе, в их разрозненности, доступны для эмпирического воззрения; но видеть органическое существо в народе, видеть живую связь его частей может только тот, у кого открылись духовные очи» [1, с. 93–94].

Интересно, что позднее, в 1863 году, обсуждая польский вопрос, Катков напишет в «Русском вестнике» настоящий прочувствованный гимн народу как холистической целостности, являющей себя в критические моменты истории.

> «Народ не есть механическая совокупность каких бы то ни было людей. Только умерший народ рассыпается на отдельных людей и превращается в стадо. Но пока народ живет, он есть сила, проходящая чрез миллионы людей неведомо для них самих, так что мы напрасно стали бы доискиваться народа в понятиях и воззрениях разных особ, которые к нему причисляются, жительствуют в его владениях и говорят его языком. Что это за сила, об этом можем мы толковать на досуге; но эта сила есть. В обыкновенную пору она бывает не слышна и не заметна; но бывают минуты, когда она пробуждается и встает самолично в миллионах людей. Как буря, ничем не удержимая, она погонит столбом эти мириады пылинок, не спрашивая, что каждая из них думает или хочет. Все закрутится в урагане, когда поднимется эта сила, столь же слепая и столь же неумолимая, как и всякая сила природы. Мелкое и великое, умное и глупое, ученое и невежественное – все равно охватит одна могучая сила. Волей или неволей все покорятся ей, но одних она сотрет, а других возвысит. Все посторонится в эти минуты, и во всем явится сам народ: ему прежде всех победа или поражение, ему прежде всех слава или позор; он сам в эти торжественные минуты заявляет свое существование, решает свои судьбы, творит свою историю. Но все, что есть лучшего в отдельных людях, все энергическое и разумное, все возвышенное и святое выразится в его порыве и дает ему физиономию. Благо тому, чья мысль и чувство совпадает в один тон с народным влечением, в ком народная сила найдет свой разум и свою волю, кто послужит ей живым и сознательным органом, – благо тому! Но та же сила повлечет бессознательно и тех из нас, кто и не хотел бы, повлечет, не справляясь о наших мнениях; заодно стукнет и чистый, и нечистый

> грош, заодно прольется и благородная, и подлая кровь. Торжественны, но и грозны бывают эти явления народа. Напрашиваться на них не должно; но надобно также помнить, что с этих явлений ведет свое летосчисление история, что тут полагаются эпохи, что тут решаются судьбы всемирного хода событий» [11, с. 32–33].

Случайно ли, что в том самом году, когда были опубликованы эти строки, Толстой приступит к работе над романом «Война и мир», публикация которого начнется в том же «Русском вестнике»?

Но возвратимся к программной статье 1839 года о «Русских песнях». Начало истории русского народа, следуя принципу шеллингианской космогонии, Катков усматривает в центробежном движении, которым характеризовалась удельная Русь, Russia divisa, как назвал ее Шлецер. Этот этап творческого превращения тождества во множество и его распространения, кладущего начало универсуму, и рисует величественную картину цен*тробежного движения русской истории* от первоначального недолгого единства при первых Рюриковичах до предельной раздробленности, в которой русский народ предстает как первотворец и первожертва, рассекающий себя на части.

> «Различные коренные элементы, из которых после организовалось государственное тело России, в мгновенном соединении ознакомились друг с другом, вгляделись друг другу в лицо, чтобы после узнать друг друга, и разошлись, не утратив, однако, чувства своего единства, заключавшегося для них в общем центре. Как ни дробились, как далеко ни находились они, этот общий центр никогда совершенно не терял своей притягательной силы. Великое княжество или непосредственно, как высшая сила, или косвенно, как цель стремлений, как игрушка честолюбия удельных князей, было этим центром… Все назначение сил Руси в продолжение этого смутного периода, по-видимому, состояло только в том, чтобы без всякой определенной цели взаимно гнать друг друга и разбегаться по пространству, чем дальше, тем лучше; все назначение народа заключалось в ужасной необходимости разрывать себя на части и разбрасывать свои члены во все стороны, чем дальше, тем лучше…
>
> Когда же наконец народ свершил по этому направлению все нужное, когда он занял огромную часть того пространства, которое зовется теперь Европейскою Россиею, когда клуб сил народа размотался до истощения, тогда это разбежное движение должно было прекратиться и смениться новым направлением... Еще один шаг – и народ достиг бы до последней крайности, и это эксцентрическое движение погубило бы Русь...» [1, с. 112–113].

Если бы центробежное движение не сменилось бы центростремительным, то «разбросанные члены народы разъединились бы навеки; каждый из них сосредоточился бы сам в себе и стал бы жить своею собственною жизнию, подобно частям рассеченного полипа…» [1, с. 113]. А если бы после подобного расторжения русские элементы снова соединились бы, то «их сплавила бы не родная кровь: их связал бы чуждый цемент, и это целое не было бы выражением сущности русского народа, не было бы Русью» [1, с. 113]. По всей видимости, под таким «чуждым цементом» вместо родной крови, который мог бы связать русские земли, подразумевается здесь Литва.

На смену центробежному дроблению приходит центростремительное движение, проявление *магнетизма* как одного из ключевых понятий шеллингианской натурфилософии. Монгольское нашествие прерывает разбегание Руси, искусственно ограничивает его, а явившееся вместе с тем сердце России – Москва, запускает процесс магнетического стягивания силы и власти.

> «От монгольского ига встрепенулось и обнаружилось сердце Руси, боль отозвалась в нем, и кровь вдруг, сначала неровно и бурно, хлынула к нему. Это сердце, дотоле таинственно крывшееся, это сердце – Москва. Магнетическая сила сердца волею или неволею начала привлекать к себе, или, лучше, совокуплять в организм растерзанные члены, – прибегает Катков буквально ко всем доступным образам шеллингианской натурфилософии. – Все больше и больше, все могущественнее и ровнее текла по возникшим и ежечасно укреплявшимся жилам кровь к средоточию своего обращения, перерабатывалась в нем в жизненную теплоту, которая, в свою очередь, все с большею силою струилась к периферии и оживляла охладевшие члены. Период монгольского ига справедливо называется периодом усиления Москвы. И чем больше усиливалась Москва, тем все больше и больше ржавили монгольские цепи, – оне, наконец, перержавели и спали сами собою. Иоанну III не стояло никакого усилия освободиться от ига: он сбросил его с себя, как сбрасывают ветхую и уж ненужную одежду» [1, с. 114].

Позднее, в августе 1865 года, по случаю приезда императора в Москву Катков охарактеризует «принцип Москвы» еще более определенно.

> «Москва не есть просто город; не кирпич и известь ее домов, не люди, в ней живущие, составляют ее сущность. Москва есть историческое начало, Москва есть принцип. Люди переменяются, как непрерывно переменяются частицы живущего тела; переменяются люди, переменяются и нравы, и порядки. Но остается дух места, остается историческое начало. Москва, Кремль с его соборами, старые терема ее царей и это Красное Крыльцо, по ступеням которого сходили столько событий, решавших судьбу Русской земли: все это имеет свою силу, все это известным образом настраивает, все это в известном смысле обязывает. Единство и независимость Русского государства во что бы то ни стало и ценой каких бы то ни было жертв и усилий, – вот Москва, вот ее значение в русской истории, вот то начало, которое ею знаменуется и в ней воплощается. Сказать: Москва – значит сказать: русская держава нераздельна и едина, значит сказать: русский престол есть неотъемлемое и нераздельное достояние русского народа и составляет одно с ним. Есть другие интересы, другие исторические начала, другие идеи; но Москва есть то, что она есть, и начало, ею представляемое, не заменимо никаким другим» [18, с. 242].

Здесь Катков решительно отделяется от большинства западников, смотревших на Москву как на «татарщину» и прославлявших древний Киев и вольный Новгород, и сближается с будущими оппонентами – славянофилами с тем, однако, отличием, что для славянофилов Москва – центр самобытной цивилизации и оригинальной культуры и быта, в то время как для Каткова ни цивилизация, ни быт Москвы никакого значения не имеют, зато он ценит в ней сердце рождающегося молодого национального государства, которому суждено будет войти в европейскую систему, чтобы в рамках ее цивилизации выработать свою европейского образца культуру.

Размышление о «Русских песнях» подходит у Каткова к настоящему гимну русской истории, выработавшей такой оригинальный и значительный исторический феномен как Русское государство по своей жизненности и «силе ассимилирования» (обратим внимание на этот термин) превосходящей Рим.

> «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто будет жаловаться, что он во все время своего продолжительного существования ничего не совершил, ничего не породил? Но разве легко было выработать этот организм, перед которым мы остановились теперь в благоговей-

> ном изумлении? Разве ничего не значило породить эту неодолимо мощную и внутри и вне, эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, ее создавшего? Какое государство, укажите, может сравниться с нею по объему и могуществу, и по изумительной силе ассимилирования? Не Рим ли, это отвлеченное, мертвое единство частей, не знавших и не хотевших знать друг друга? Но и самый Рим – разве не дорогою ценою купил он всемирное владычество, разве не вся жизнь его была приготовлением к этому владычеству? разве страницы его истории не так же мрачны? И какая бесконечная разница: Рим, который в продолжение всего своего развития готовился к смерти, Рим, который, достигнув апогея, начал жить, – и Русь, которая беспрерывною борьбою с смертию достигла торжественной великой жизни, Русь, которая начала тогда жить всею полнотою свежих сил, когда стала на вершину необоримого могущества!..» [1, с. 115].

Молодой Катков формулирует совершенно шеллингианскую по своей структуре русскую историософию, состоящую из «Илиады» центробежного удельного периода и «Одиссеи» центростремительного московского, из разбегания с целью максимального распространения и собирания в органическое политическое единство.

Тот же прием он применяет и к анализу уже не государственности, а самой русской цивилизации, предлагая довольно оригинальную концепцию русской культуры, основанную на *разливе* и *разбегании*, как на основном аффекте русской души, связанном с постоянным ощущением безотчетного недовольства.

> «Загнанная внутрь самой себя горькою, злою действительностию, вся сосредоточенная в безнадежном чувстве уныния, русская душа вдруг приходила в судорожное потрясение, разрывала поглощавшее ее чувство, выбивалась из самой себя, с неодолимою силою разбегалась во все стороны, низвергая и уничтожая все встречное, разливалась и терялась в бесконечности пустого пространства. Ничто не было сильно удержать этот могучий разлив… Не будучи в силах представить себе содержания исполинского могущества, которое впоследствии должен был наполнить ее дух, она вся предавалась ощущению отвлеченного, чисто формального могущества и упивалась им, не переводя дыхания. Вот значение того, что мы обыкновенно зовем разгулом русской души, которая тешится своими силами, разрывая ими мелочные путы тесного быта, и, не направляя их ни на что, разливается в них чем дальше, тем лучше» [1, с. 118, 121–122].
>
> «Русский человек, задыхаясь в тесноте своего домашнего быта, измученный борьбою, беспрерывно теснимый извне, бросал все, осуждал себя на добровольное изгнание из общества, убегал с кистенем или ножом в лес или на Волгу и из ней на море и там становился вольным казаком и разбойником» [1, с. 156].

Манифестом русского разгула является мир русского былинного эпоса. «Это мір, созданный из русского разгула, заселенный русским разгулом, живущий разгулом, и в то же время это мір органических, сосредоточенных и крепко в себе замкнутых форм; это мір, в котором все бежит, и льется, и разливается вдаль и в котором, однако ж, все имеет живой образ на себе и центр внутри себя» [1, с. 134].

> «Сущность понятия “богатырь” есть сила… все движение его силы заключается только в стремлении из себя наружу, в стремлении разбежаться, что духа есть, и раскинуться на вольном просторе, *чем дальше, тем лучше.* Формою проявления такой силы должно быть удальство и искание приключений. Удальство ведет за собою потребность оценки и славы. Оценять может толь-

ко подобный подобного; отсюда множественность богатырей, отсюда также и потребность их сближения, необходимость точки, на которой они могли бы сталкиваться, средоточия.

Это средоточие не должно быть ничем иным, как только средоточием; вся цель его должна заключаться только в том, чтобы принимать в себя и выпускать из себя радиусы. И потому Владимир не отличен никакою силою, он только собирает вокруг себя богатырей, угощает их, пирует с ними, назначает им подвиги, указывает только им дороги для удалых разъездов; сам же не действует… Если богатыри служат Владимиру, то служат так, добровольно, а не по сознанию какого-нибудь долга. Владимир тешит их, потворствует им и в случае нужды единственное орудие против них находит в них же самих. Часто также приходится ему смотреть сквозь пальцы и нередко окарач ползти... Довольно этих намеков, хотя нам и жаль, что мы не вправе и не обязаны распространяться дальше и подробнее развить наши мысли» [1, с. 143–144].

Князь Владимир эпического времени очевидно не самодержавен, и в этом тот «намек», о котором не хочет распространяться перед николаевской цензурой молодой Катков, это та причина, по которой столь многие участники общественного движения в России XIX века с неприязнью относясь к московскому периоду, столь симпатизировали периоду киевскому. Остается пожалеть, что Катков не углубил образа и не привлек в качестве аналогии очевидное подобие русским богатырским былинам – британский эпос о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Здесь метафора кругового движения вокруг центра, принимающего и испускающего из себя радиусы, приобрела бы прямо-таки дубовую весомость.

Но вот разрозненная богатырская сила русского эпоса концентрируется в одном лице, в одной фигуре – царе, собирателе власти, Иоанне Грозном.

«Русь, начавшая себя чувствовать цельным организмом, перестает уже дробить свой идеал и выражать его в целости многих отдельных лиц: она сосредоточивает и совокупляет его весь – в одном лице великого монарха. Она собрала всю свою силу, которую прежде фантазия разливала в подвигах богатырей, в новогородском вольничанье, в удальстве, и влила ее всю в одного человека и любовалась ею во всех действиях этого человека... Перестав быть силою физическою и сосредоточившись из удалого разгула, она засверкала духовным огнем в очах властелина: она стала сердцем царевым.

Но так как организм Руси не приял еще в себя своей доли из духа всемирно-исторического, так как Иоанн не был сам Петром, а был только предтечею Петра, то и сила его, хотя уже и сосредоточенная, не приняла еще своего средостремительного направления и оставалась в прежней неопределенности. Оттого и огонь, горевший во взорах Иоанна, палил и жег, а не грел; оттого и сила его обнаруживалась не во всеобъемлющей благости, а прорывалась разрушительной грозою» [1, с. 149–150].

В первом же своем крупном произведении, своего рода политическом и философском манифесте, написанном в 1839 году, Катков проявляет себя как последовательный шеллингианец. Его философия русской истории строится на противоборстве центробежного и сменяющего его центростремительного движения, на «магнетическом» понимании собирания власти, на параллелизме внешней и внутренней центростремительной работы, первая, – строение государства, – уже завершена, а вторая еще только предстоит.

Ни о каком «переходе от Гегеля к Шеллингу» применительно к Каткову говорить не приходится. Катков был шеллингианцем по картине мира с самого начала своей писатель-

ской карьеры, и обсуждать можно лишь изменения в степени его владения философским методом, материалом Шеллингова учения и особенности применения этого учения к политическому анализу.

В целом же сформулированная в статье о народных песнях шеллингианская интерпретация русской истории останется для Каткова доктринальной основой на протяжение всего его творчества. Образ «силы, так тяжко и так медленно слагавшейся в северо-восточных пустынях Европы» [10, с. 18], стягивающей все разрозненные элементы силы в целокупное могущество, чтобы от внешней государственной мощи перейти к внутреннему творческому росту, кочует из одной катковской статьи в другую.

На охране государственного «яйца»

В 1850-х годах Катков был далек от безусловной апологии централизованного государственного единства. Впечатления последних лет николаевского царствования, когда Михаил Никифорович лишился кафедры философии в Московском университете, не оставили его, как свидетельствует Е.М. Феоктистов, даже в «реакционные» 1880-е годы: «“Если бы император Николай восторжествовал, – говорил он, – то трудно и представить себе, что сделалось бы с ним; он уподобился бы Навуходоносору, – вышел бы в Летний сад и стал бы щипать траву...”. И всегда впоследствии Катков отзывался с негодованием о николаевском режиме. Помню, что уже в восьмидесятых годах на обеде у И.Д. Делянова некоторые лица, с пресловутым князем Мещерским (“Гражданином”) во главе, вздумали доказывать, что Николай был великий человек. Михаил Никифорович очень горячо и убедительно утверждал, напротив, что именно его и следует считать одним из главных виновников нашего нигилизма» [60, с. 106].

Эта неприязнь к подавляющему все «Единому», несомненно подкрепляемая идеями ставшего более «плюралистичным» позднего Шеллинга, сквозит в опубликованных в 1851 году «Очерках древнейшего периода греческой философии» [2], пронизанных плохо скрываемой антипатией к онтологическому унитаризму элейской школы, представительницы «дорического» начала.

Задолго до Ницше русский философ усматривает в древней Элладе борьбу двух начал, двух стихий духа: *дорийской* связанной с предпочтением настоящего, неподвижности, консерватизма, аполлонического начала, порождающей такие явления, как пифагореизм и элейская школа с ее учением о Едином, и политически воплощенной в застывшей в вечном настоящем Спарте, и *ионийской*, связанной с развитием, движением, стремлением к новизне, дионисизмом и дающей ионическую натурфилософию от Фалеса через Гераклита до Демокрита, политически воплощенной в сосредотачивающих в себе живое консервативно-прогрессивное развитие Афинах (в которых трудно не узнать опрокинутую в прошлое проекцию Англии).

В борьбе и взаимообогащении этих двух начал Катков видит движение эллинской мысли, которую старается не дробить на фрагменты, а напротив – подняться до осмысления ее как целого. Философ предпринимает весьма оригинальную попытку рассмотреть воззрения досократиков как моменты развития единой мысли и единой доктрины. «Стоит только взглянуть одним взглядом на весь этот фрагментарный период, и фрагменты сложатся сами собой для образования цельного смысла» [2, с. 168].

Этот цельный смысл, если к нему внимательно присмотреться, окажется философией Шеллинга с особым влиянием «философии мифологии», а воззрения философов-досократиков начиная от Орфея и Пифагора и заканчивая радикальным защитником индивидуации Демокритом – отражением разных моментов движения от тождества к множеству.

Опираясь на космогоническое учение орфиков, элеатов и Эмпедокла, Катков излагает своего рода космогонический миф, который также найдет отражение и в его политическом учении.

Начальный момент бытия космоса – это яйцо, то есть предмет с твердой скорлупой и текучим хаотичным внутренним содержанием. Именно такое яйцо становится началом космоса у орфиков: «Каждое устремилось к центру целого рода под влиянием облежащего духа… Собралось нечто как бы пузырь, образовалось нечто подобное яйцу» [2, с. 261].

Это не подлинное единство в многообразии, столь ценимое шеллингианством. «Безграничное распавшееся бытие определяется и как бы стягивается в один космос. Но этот космос кроет внутри себя лишь хаотическое брожение; определенность, объявшая его, есть чисто внешняя… Многообразное бытие, запечатленное внешним напряженным единством, скрыто во мраке. Мысль не усматривает живого разнообразного космоса; связанная этим внешним всепоглощающим единством, она отказывается понять движение и жизнь» [2, с. 261].

Образ государственной России, достигшей государственного единства, но еще не породившей из себя подлинного разнообразия жизни культурного творчества, постоянно возникающий в публицистике Каткова, прямо отсылает к этому первоначальному «космическому яйцу».

Позднее о том же внешнем сковывающем многообразие единстве, «однородном бытии», Катков говорит, касаясь «реакционного» (по отношению к плюрализму ионийских натурфилософов) учения элеатов. Господствующее понятие элеатов о едином, на взгляд Каткова, «соответствует тому, что в представлениях орфических является под видом космического яйца… Это тот… пузырь, в котором стягивается и удерживается развитие космоса. Это то самое единство, которое объемлет возникающее разнообразие и как бы поглощает его» [2, с. 296].

Бытие у элеатов предстает взятым «со стороны того единства, которое держит вместе и нейтрализует множественность, стремящуюся выйти в свет» [2, с. 297]. Здесь уместно вспомнить указания исследователей античной мысли на непременный параллелизм космоса и полиса в эллинском мышлении, применение к космосу политических терминов. «Сущее неподвижно в пределах своих великих уз», – говорит Парменид. «Закон не ослабляет связей, держащих бытие и не дозволяющих ему изменяться». «Сильная необходимость держит бытие в цепях предела и сжимает его со всех сторон» [2, с. 297]. Парменид «противна сила происхождения вещей, и он с омерзением говорит об ее действиях» [2, с. 299].

Движение же к богатому и разнообразному космосу Катков находит у философов ионийского направления. Своего рода Шеллингом древности у Каткова предстает Гераклит с его учением о конкретности Бога: «Единое мудрое не хочет называться единым, но хочет имени Зевса». «В Зевсе для геллена виделось все совершенство и вся полнота жизненных и положительных атрибутов верховного существа. Имя Зевса… имеет значение этого живого в противуположность тому чисто отрицательному монисму, провозглашенному элеатами» [2, с. 199].

В системе Эмпедокла Катков усматривает «разрешение космической сферы и выделение разнообразного бытия природы» [2, с. 301]. У этого философа он находит почти современное учение о развитии. А в идеях Анаксагора он усматривает картину того, как единство под влиянием высшего разумного начала «размыкается и становится источником живого разнообразия природы» [2, с. 309]. Этот Анаксагоров ум – начало самодержавное, самовладеющее, не смешанное ни с чем. «Ум же бесконечен, самодержавен и не смешан ни с одной вещью», – цитирует Катков фрагменты Анаксагора [2, с. 312].

Здесь мы нащупываем метафизическую предпосылку воззрения «Московских ведомостей» на самодержавие как на высшую нейтральную по отношению к сословиям и

партиям силу, позволяющую одновременно сохранять единство и содействовать осуществлению многообразия.

С началом эпохи реформ Катков еще какое-то время остается защитником политического плюрализма и категорическим критиком централизации, политического монизма, веры в государство как орудие осуществления социальных целей и положительного общественного идеала. Он будет конфликтовать с единомышленниками, выражавшими в гораздо более умеренной форме те же воззрения, которые Катков в последние годы жизни доведет до крайности.

В 1857 году Б.Н. Чичерин написал критическую рецензию на «Старый порядок и революцию» Токвиля, в которой взял под защиту французскую государственную централизацию в противоположность английской традиционной свободе [62]. Катков, находившийся на пике своей англомании и либерализма, категорически отказался ее напечатать. Этот конфликт привел к разрыву Чичерина с «Русским вестником» и дальнейшей все возраставшей враждебности знаменитого правоведа к Каткову.

В письме Каткова, приводимом Чичериным в воспоминаниях, Михаил Никифорович предстает защитником либерального взгляда на государство, которое должно выступать лишь сторожем при дверях свободы. Государству ни в коем случае не следует поддаваться соблазну быть историческим деятелем, предоставив все действие силе общества. «Нельзя оправдать теоретически стремления поставить государство во главе всего» [63, с. 282]. Катков иронизирует над верой тех, кто видит в государственной централизации инструмент общественного блага, что «стоит человеку окунуться в казну из него непременно выйдет существо по образу и подобию Божию, чиновник во всей форме» [63, с. 281].

Однако и здесь, на пике своего либерализма, Катков представляет себе сам процесс собирания государства наподобие шеллингианского магнетизма, ни в коем случае не отрекаясь от своей изначальной «центростремительной» картины русской истории.

Государство стягивает к себе всю силу, разрушает любые альтернативные источники власти и господства, с тем чтобы освободить человека от любых видов рабства – лицам ли, организациям ли или «государствам в государстве» феодального, сепаратистского или какого-то еще свойства. Централизация, по мнению Каткова, «имеет только одно законное значение – поскольку она служит ничем иным, как установлением в стране единого государства... Status in statu [государство в государстве – *Е.Х.*] терпим быть не может... Истинное назначение централизации собрать воедино, под замок и печать, всю фактическую, внешнюю, принудительную силу; подчинить кесарю все кесарево, но отнюдь не отдать кесарю то, что никак принадлежать ему не может, отнюдь не затем собрать эту силу, чтобы воспользоваться ею для порабощения всех прочих начал человеческого мира» [63, с. 281].

В русской истории процесс собирания государства абсолютно главенствует над остальными. «Привыкнув следить в Русской истории за единственным в ней жизненным интересом, – собиранием государства невольно отвыкаешь брать в расчет все прочее, невольно пристращаешься к диктатуре и, при всем уважении к истории, теряешь в нее веру» [63, с. 280].

Однако в публицистике 1860-х годов акцент государственных воззрений смещается. Если раньше Катков больше уделял внимания тому, чтобы первоначальное тождество смогло разрешиться в множество, то теперь он более озабочен тем, чтобы под влиянием революционно-нигилистических и мятежно-сепаратистских сил тождество не разбилось. Прежде внимание было тому, чтобы из-под тонкой скорлупы космического яйца вылупился цыпленок и превратился в прекрасного сильного и свободного орла, теперь у Каткова появляется опасение, что тонкие стены скорлупы не выдержат, а яйцо попросту разобьется всмятку. Это опасение вынуждает утонченного шеллингианца все более последовательно и односторонне превращаться в государственного публициста.

Собирание государства в публицистике Каткова с начала 1860-х годов предстает уже не только как негативное условие свободы, выражающееся в уничтожении всех поработительных сил, но и как положительный инструмент осуществления этой свободы, а суровая тягостность русской истории рассматривается как прелюдия к грядущему творческому самораскрытию. Территориальная обширность и небывалая государственная мощь – это своего рода знак, внешнее провозвестие необычайного внутреннего расцвета в грядущем. И наступление на них, расчленение России, недопустимы и немыслимы.

> «Русская территория по своим естественным условиям не может не быть громадна; она не может служить поприщем для самостоятельной и сильной государственной жизни иначе как в тех размерах, которые были намечены с точностью при самом рождении русского государства… До такой степени нынешние границы русского государства необходимы ему, что оно до тех пор не могло успокоиться и войти в себя, пока не приобрело или не возвратило их себе, пока не восстановило целости своей земли, предназначенной ему Провидением.
>
> Вся энергия народа, весь разум его правительства, весь гений его государственных деятелей были направлены к этому необходимому результату, достижение которого должно было предшествовать развитию гражданственности, свободы и всех искусств мира. Только с восстановлением своих естественных границ и, стало быть, с занятием всего огромного протяжения своей территории русское государство могло успокоиться, замириться и открыть возможность для свободного развития человеческой жизни» [16, с. 169–170].

Критикуя сепаратистские теории раздробления России и превращения ее в монархическую конфедерацию «двадцати народов», с которыми под псевдонимом Шедо-Ферроти выступал агент антинациональной партии в России барон Фиркс, Катков снова обращается к образу русской истории как центростремительного движения, нацеленного на создание необычайного государственного могущества.

> «В чем состоял смысл неугомонных движений наших князей в эпоху киевской Руси? В чем смысл той великой, почти беспримерной колонизационной силы, которую обнаружил наш Новгород? Чего добивалась, о чем с такими усилиями заботилась Москва с тех пор, как в ней сосредоточилась жизненная сила русского государства после понесенного им разгрома? Не в собирании ли русской земли заключалось все призвание Москвы? Из чего она билась и с Ливонским орденом, и с польской Речью Посполитой? На что было положено столько труда, для чего было пролито столько крови? Что придает колоссальное величие и силу образу Петра, и что мирит русский народ с жестокостью и насилием его преобразований? Не то ли, что он восстановил нашу связь с Западом, что он добился до некоторых из наших западных окраин, что он добрался до русского моря, что он положил начало восстановлению Руси в ее западных границах? Не то ли придало бессмертный блеск царствованию Екатерины и что она довершила начатое Петром и приблизительно восстановила первоначальную грань русской земли в ее протяжении на запад, и что она овладела другим русским морем? И вот теперь, когда это великое многотрудное дело стольких веков, стольких усилий, стольких жертв совершилось, – нам говорят, что русская земля через меру обширна, что мы обязаны отречься от нашей истории, признать ее ложью и призраком и принять все зависящие от нас меры, чтобы обратить в ничто великий результат, добытый тяжким трудом стольких поколений. Нам говорят, что именно теперь, когда первая часть нашего исторического дела совершена и когда вследствие того

> для нашей народности открывается новый период существования, в который нам предстоит оправдать труд наших предков и достойно воспользоваться его плодами, – нам говорят, что обширное протяжение русской территории и тягостно и неудобно и что оно должно быть снова раздроблено, – раздроблено de gaiete de coeur [с легким сердцем (фр.)], раздроблено нашими собственными руками; нам говорят, что с нашей стороны и невеликодушно, и нелиберально занимать столь большое пространство; нам говорят, что мы должны возгнушаться громадностью нашей государственной области, что мы должны отделить от нее преимущественно ее западные окраины, возвращение которых стало так дорого, возвращение которых составляет весь смысл и московского, и петербургского периода нашей истории» [16, т. 2, с. 170].

Польский мятеж 1863 года, как и подрывные выступления революционеров, особенно ненавистны Каткову именно тем, что они заставляют государство откладывать реформы, ограничивать свободу и ставят народ вновь на грань выживания вместо творческого развития.

> «Какое русское сердце не содрогнется и не сожмется болезненно при одной мысли, не говорим – о разрушении, а только о сериозной опасности, которая стала бы грозить делу тысячелетней, исполненной тяжких трудов, лишений и испытаний исторической жизни русского народа? До сих пор почти все, чем может дорожить живой народ, приносилось в жертву одному великому делу – делу собирания Русской земли в одно целое, делу созидания этого громадного государственного тела: проливались для этой цели потоки крови, гибли целые поколения; для укрепления единой государственной власти народ отказывался от всех своих прав и вольностей, одушевляемый инстинктивною верой, что за собиранием земли Русской не замедлит последовать созидание ее внутреннего благосостояния путем развития свободы, столь свойственной нашему народному быту. И вдруг все это великое многотрудное дело должно поколебаться, должно подвергнуться опасности, и водворение внутреннего благосостояния и законной свободы должно снова отодвинуться, и снова должны заговорить инстинкты самосохранения» [10, с. 25].

Каткова возмущает сама мысль о том, что Польше могут быть предоставлены в составе Империи привилегии, мало того, большая степень конституционной свободы по сравнению с русскими, которые вытянули многосотлетнее государственное тягло, положив большую часть своей души на алтарь государственного могущества.

> «Статочное ли дело, чтоб из двух соединенных народностей одна, и именно завоеванная, пользовалась большими льготами, чем другая, и именно главная и господствующая? <…> Возможное ли дело, чтобы льготы давались побежденным в ущерб победителям? Народ, утративший свою свободу, потому что не умел ею пользоваться, получит преимущество перед народом, который с беспримерным самопожертвованием понес все тягости для утверждения своего государственного единства, который в своей истории ни разу не пошатнулся и все, чем пользуется, купил не браками, как Австрия, а кровью и потом. Народ, который с Божьей помощью одолел всех своих врагов, должен стать подножием своему побежденному сопернику...» [11, с. 35].

Взгляду Каткова на русскую историю присуще своего рода преувеличение страдательного в ней начала. Если для славянофилов характерна радость от уже существующей русской культуры, в особенности культуры народной, культуры древней, то для западника Каткова их, по сути, не существует. «Все силы русского народа главным образом шли до сих пор на утверждение единства Русского государства, уже давно получившего всемир-

ное значение. В деле образования, в деле наук, искусств, литературы и общественного развития наша цивилизация, конечно, не может выдерживать никакого сравнения с старыми европейскими нациями», – утверждает он, впрочем, тут же оговариваясь, что даже в этой ситуации русской цивилизации нечего опасаться сравнения с незначительной польской [12, с. 58].

Русский народ, по Каткову, живет «свирепствуя и мучась», но не радуясь, как бы откладывая радость на потом, когда создание небывалого в мире могущества позволит раскрыться и невиданной прежде свободе. Пока же он приносит любые жертвы своему государству. И, конечно, русские не могут ослабить своей государственности в ту пору, «когда, наконец, должно постепенно раскрыться все разнообразие элементов, содержимых и ограждаемых Русским государством, и этот таинственный незнакомец, народ русский, доселе безмолвный и невидимый, должен заговорить и явить себя міру» [12, с. 62].

От «зари свободы» к руссоистскому сверхцентрализму

В 1860-х годах учение о государственном единстве России как об условии подлинной свободы превращается в своеобразное знамя «школы Каткова», в которую входили не только составлявшие Коллективного Каткова сотрудники редакции «Московских ведомостей», но и выступавший в катковских изданиях solo «Иногородний обыватель» – Б.М. Маркевич, яркая звезда на литературном небосклоне эпохи[1]. Константин Леонтьев критически разбирая изображение Достоевским русского дворянства, даже построил ряд «Тургенев, Писемский, Толстой, Маркевич, Островский», назвав их писателями, которые «ясно и верно отражают русскую жизнь» [46, с. 691].

В переписке со своим близким другом А.К. Толстым Маркевич дает яркое изложение «катковской программы», защищая взгляд на русскую государственность как на условие русской же свободы:

«Что касается до эпохи[2], которая вас вдохновляет, то я чувствую к ней не

[1] Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884) – писатель, публицист и литературный критик. Автор «любовно-политических» антинигилистических романов «Марина из Алого рога» и трилогии: «Четверть века назад», «Перелом», «Бездна», пользовавшихся при жизни автора громадным успехом (тем более что в них изображались легко узнаваемые современниками лица) и сталкивавшихся с ожесточенным неприятием либеральной критикой. Крупный чиновник Министерства просвещения, камергер, член придворного кружка императрицы Марии Александровны. Заведуя петербургским отделением «Московских ведомостей», Маркевич был одним из важнейших агентов Каткова в Санкт-Петербурге, особенно велика его роль в осуществлении неофициальной связи между Катковым и шефом Третьего отделения «вице-императором» П.А. Шуваловым. В 1875 году карьера Маркевича была разрушена обвинением во взятке, полученной им при передаче «Санкт-Петербургских ведомостей» от либерала В.Ф. Корша банкиру Ф.П. Баймакову. Маркевич переуступил Баймакову свои притязания на издание газеты, за ежегодную субсидию в 5 тысяч рублей, закрепленную письменным соглашением, чем не только испортил свою репутацию, но и подвел Каткова, желавшего, чтобы газету издавал сам Маркевич. Ключевую роль в карьерном крахе Маркевича сыграл ожесточенный враг Каткова А.Л. Потапов, возглавивший Третье отделение в 1874 году после отставки Шувалова и проведший целую операцию, чтобы уничтожить ключевое звено в связке своих противников. «Потапов произвел обыск в квартире Маркевича и с уликою налицо доложил о поступке последнего Государю, который, говорят, хотел Маркевича отставить от службы и предать суду, но впоследствии смилостивился по ходатайству Толстого» [39, с. 480]. Маркевич был вынужден удалиться в фактическую ссылку в Галич, на должность мирового судьи, однако после отставки Потапова смог вернуться к столичной жизни и продолжал выступать в «Московских ведомостях» в качестве фельетониста, а в «Русском вестнике» как влиятельный беллетрист. «В то время, как из произведений Лескова, Писемского, Достоевского вымарывались десятки страниц из-за излишнего реализма, рукописи Маркевича воспроизводились с благоговейною точностью», – отмечал позднее В.Г. Авсеенко, отчасти соперничавший с Маркевичем во влиянии на журнал [цит. по: 64, с. 123].

[2] Древней Руси, которая вдохновила обсуждаемую в письме «Песню о Гаральде и Ярославне» А.К. Толстого – *Е.Х.*

меньшее влечение, нежели вы, к московскому же периоду ни вы, ни я, ни К. (это я могу доказать выдержками из его газеты) не питаем ни малейшей симпатии. Тем не менее нельзя отрицать историю и вот в этом-то духе мы и будем действовать…

Разница между нами та, что вы, мой друг, гадливо от нее отворачиваетесь, мы же решаемся смотреть ей прямо в лицо и в ее варварских, если хотите, чертах узнаем однакоже грубую, но мощную (этого вы не можете отрицать) силу, создавшую 80-ти миллионное государство, опираясь на которое джентльмен Александр I устоял против целой Европейской коалиции и вступил в Париж…

Почему же вы такому человеку как Катков, ясно отдающему себе отчет в своем призвании, вменяете в преступление, что он признает огромные заслуги московского периода в смысле объединения, а следовательно и величия России. А, раз вы признаете за ним право по достоинству ценить эти заслуги, вы должны согласиться и с тем, что всякое историческое прошлое вменяет в обязанность последующим поколениям продолжать то же дело и преследовать ту же цель. Этим делом, этой целью для нас теперь, как и в то время, «собирателей Русской Земли», является и будет являться лишь одно – это объединение государства. Катков не что иное как адвокат, защитник, представитель этого принципа, этого национального верования. В этом вся его сила, – сила до такой степени живая, что удержалась вопреки всем и всему и одна лишь в состоянии дать стране нашей ту цивилизацию, в недостатке которой вы нас упрекаете, так как цивилизация прежде всего состояние народов сплоченных изнутри и сильных извне» [48, с. 93–94].

По словам Маркевича, Катков «проповедует единый закон, единое управление, единый язык, на всем протяжении государства и требует от каждого подданного этого государства, какого бы ни был он происхождения, чтобы он считал себя прежде всего гражданином Русской Империи, а не Польши или какой-нибудь Terra Baltica… Иными словами он требует и проповедует лишь то (ни больше, ни меньше), чего хочет и требует Франция, Пруссия, Англия и Италия, словом, всякое европейское правительство, чувствующее свою силу и власть над подданными» [48, с. 94]. «Неужели же вы бы хотели, – риторически спрашивает Маркевич Толстого, – чтобы он стоял за Распадение России на 2, на 3, на 1000 частей, подобно тому, что творится в Австрии» [48, с. 94].

Сильная и единая, культурно однородная государственная Россия в рамках катковской доктрины, излагаемой Маркевичем, – это н*епременное условие политической свободы и цивилизации*. «Разве вы не согласны, что России, чтобы стать Европой, которой вы нас донимаете, нужна действительная свобода, существующая в Европе? А раз она нужна, как же вы не хотите понять того, что Россия никогда не достигнет этой свободы, пока несчастный вопрос об иностранных народностях не будет разрешен в смысле русской национальной идеи, представителем которой, опять-таки, является ненавистный вам Катков. Неужели вы не видите, что злейшие враги русской свободы те же поляки и немцы, считающие нас монголами и ставящие нас в разряд туранцев» [48, с. 95]. В другом письме Толстому Маркевич противопоставляет «зарю свободы», которая уже занимается, и «времена сатурналий Герцена и Чернышевского» [48, с. 106].

В Каткове писатель видит пророка истинного русского европеизма, который «говорит во всеуслышание, что мы не должны стыдиться быть русскими, потому что Россия – та же Европа, но для того, чтобы слово это не было пустым звуком, России надо быть прежде всего Россией, точно так же как Франция прежде всего Франция, Италия – Италия и т.д. Следовательно, Россия должна прежде всего понять свои интересы и радеть о них,

вопреки всяким посторонним соображениям, если таковые окажутся несовместимы с национальными интересами» [48, с. 96–97].

«Единые законы, единый язык, единое управление, как в центре, так и в окраинах, – вот цель, к которой должно стремиться, – восклицает Маркевич. – А чтобы достигнуть этой цели, будем прежде всего распространять цивилизацию у себя дома, дабы эти враждебные нам подданные русского Государя не могли более кичиться нравственным превосходством… Учредим у себя настоящую европейскую школу… Не будем тратить втрое больше денег, чтобы помогать остзейцам становиться немцами за счет русской казны, – нежели тратим мы на русские школы. Пусть лучше эти деньги возвращаются туда, откуда мы их берем, наш родной народ более в них нуждается, чем эти балтийцы с которыми ему приходится бороться. Если уж необходимо тратить часть наших кровных денег на поляков и немцев, то позаботимся, по крайней мере, о том, чтобы деньги эти шли на образование будущих русских, а не прусских или саксонских граждан» [48, с. 97–98].

В эпоху Александра III, эпоху «реакции и контрреформ», Катков не изменил своему взгляду на концентрацию государственной мощи как на условие свободы. Хотя в этот период обращение к идее государственной концентрации служит для него прежде всего обоснованием неприкосновенности самодержавия и необходимости ослабить либеральные корпорации, созданные в эпоху реформ, – земства, суды, автономные университеты, печать и т.д. Однако и это наступление на любые автономии в составе государства обосновывается Катковым именно необходимостью защиты подлинной свободы.

> «В чем состоит ход образования государства? Не в чем ином, как в собирании и сосредоточении власти, – излагает Катков свою государственную теорию. – Покоряются независимые владения, отбирается власть у сильных, и все, что имеет характер принудительный, подчиняется одному верховному над государством началу; дело не успокаивается, пока не водворяется в стране единовластие, покрывающее собой весь народ. Государство вооружено, но не против свободы, которая только в ограде его и возможна; оно вооружено против других государств как вне, так и внутри его. Власть по природе своей не может терпеть государств в государстве, и ее прямое назначение – пресекать и возбранять все, что имеет такой характер. Собирая и сосредоточивая власть, государство тем самым создает свободное общество. Власть над властями, верховная власть над всякой властью – вот начало свободы» [26, с. 438].

Сущность свободы Катков видит теперь в устранении всякой угрозы злоупотребления этой свободой. «Люди на общественных дорогах свободно ходят и ездят, и чем свободнее, тем лучше, но никому нельзя предоставить свободу бесчинствовать на улице и нападать на встречных. Охраняя общественные пути от физического насилия, не обязано ли то же правительство охранять общество и от насилий нравственных?» [26, с. 438].

Категорическое неприятие вызывает у Каткова идущее от Константина Аксакова славянофильское противопоставление Государства и Земли, на котором обосновывалась идея автономии «земского» общества. Он воспринимает такое противопоставление как архаичный пережиток (хотя на деле формула «дело государево и земское» восходит как раз к Москве XVI века) и противопоставляет этому дуализму шеллингианский холизм.

> «У нас часто говорят о земле в политическом смысле и землю противополагают государству. Но противоположность между землей и государством не выдерживает критики. Русская земля есть Русское государство, и Русское государство есть Русская земля. Это одно и то же, только с двух сторон взятое. И нельзя понимать так, что земля имеет свои интересы, отдельные от госу-

> дарства, а государство – свои... Это было бы не то что земля и государство, а как бы два государства, на которые разломилась бы страна… Не только никакого антагонизма, но ни малейшей розни не должно быть между интересами народа и интересами государства. Каждая местность в государстве есть живая часть его. Целое состоит в своих частях и части – в целом. Государство не может быть равнодушно к тому, как идут дела в бесчисленных местностях, его составляющих, как живется ячейкам его организма» [27, с. 445–446].

Доктрина Каткова приобретает к 1881 году следующую чеканную формулировку:

> «Из отдельных и мелких зачатков государства сложилось одно великое целое. Отдельные племена и населения слились в один народ, и Русская земля есть русское государство, а русское государство есть Русская земля. Между народом и государством не должно быть никакой розни. Русское государство есть государство русского народа. Всякая действующая власть среди народа, всякое право, соединенное с обязанностями для других, все вынудительное и обязательное (и стало быть, всякое управление) должно восходить к одной Верховной власти, к одному государственному началу, ему подчиняться и от него иметь силу. Обеспечивая существование народа среди других народов, государство имеет своей дальнейшей задачей обеспечение личной свободы. Государство исполняет свое назначение, когда каждому предоставляет свободу во всем, что касается его лично, и не только предоставляет, но могущественно ограждает личную свободу» [28, с. 451].

Итак, государство, по Каткову, – это могущественный властный организм, который, сокрушая все посредствующие власти, обеспечивает человеческую свободу, выражающуюся не в автономии от государства, а во всецелом холистическом слиянии с ним. «Они хотят даровать нам политические права, но у нас есть политические обязанности, а это больше… Напрасно нам сулят конституцию; мы уже имеем ее в нашей государственной присяге…» [29, с. 472].

Постойте, но это же до боли знакомая политическая конструкция, произведенная в совсем другом политическом лагере?! Коллективный суверен, соединяющий все элементы силы и власти в единой общей воле, которой невозможно противостоять и с которой и можно только слиться, в чем и будет состоять подлинная политическая свобода, – это доктрина, изложенная в «Общественном договоре» Руссо! Именно там прописана невозможность какой-либо частной воли противостоящей общей, какого-либо права, которое выше обязанности следовать коллективной воле.

> «Поскольку суверен образуется лишь из частных лиц, у него нет и не может быть таких интересов, которые противоречили бы интересам этих лиц; следовательно, верховная власть суверена нисколько не нуждается в поручителе перед подданными, ибо невозможно, чтобы организм захотел вредить всем своим членам; и мы увидим далее, что он не может причинять вред никому из них в отдельности. Суверен уже в силу того, что он существует, является всегда тем, чем он должен быть…
>
> Чтобы общественное соглашение не стало пустою формальностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам: если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным» [31, с. 210–211].

Руссоистским же мотивом является у Каткова и неприятие каких-либо частных ассоциаций, групп и промежуточных властей, встающих между гражданином-подданным и государством.

> «Когда в ущерб основной ассоциации образуются сговоры, частичные ассоциации, то воля каждой из этих ассоциаций становится общею по отношению к ее членам и частною по отношению к Государству… Важно, следовательно, дабы получить выражение именно общей воли, чтобы в Государстве не было ни одного частичного сообщества и чтобы каждый гражданин высказывал только свое собственное мнение» [31, с. 219].

Переход позднего Каткова, отбросившего англоманию, к чистому руссоизму не случаен. Напротив, он предопределен его шеллингианством. Сам Шеллинг никогда не оставил собственной философии общества, сколько-нибудь сравнимой с философией истории и права Гегеля. Политическое шеллингианство выводится прежде всего из самих основ шеллингианской метафизики – всеединство, холизм, противоположение центростремительности и центробежности.

Но сама эта метафизика, может быть рассматриваема как перевод на абстрактный философский язык политического учения Руссо, на что прямо указывает в работе о Шеллинге В.В. Лазарев: «Речь об абсолютной воле есть пересказ социально-политических идей из “Общественного договора” Ж.-Ж. Руссо. То, что у Руссо названо волей суверена, или волей народа в целом, у Шеллинга переряжено в “абсолютную волю”» [72, с. 104]. Исследователь отмечает дальнейшую эволюцию в философии Шеллинга «абсолютной воли» во «вселенскую волю» божества.

Но если само шеллингианство является метафизическим и натурфилософским руссоизмом, то политическое шеллингианство обречено было на возвращение к руссоистским постулатам в той или иной форме, пусть в консервативно-монархической, а не революционно-якобинской.

Катков в конечном счете оказывается гораздо большим руссоистом, чем Шеллинг. Он трактует центростремительность и центробежность более ценностно определенно, чем немецкий философ. Если для позднего Шеллинга это одинаково необходимые моменты самораскрытия Абсолюта, то Катков берет на вооружение трактовку центробежности как греха, который под его пером превращается в *преступление*. Сущность этого метафизического преступления в расторжении бытия, разложении жизни и, наконец, в сепаратизме и измене. Напротив, центростремительность – это духовно высшее, «правильное» движение к единству и целостности, тождественное патриотическому порыву и государственному сознанию. Центростремительность есть добро, жизнь, государственность, патриотизм и свобода, центробежность – зло, смерть, сепаратизм, измена и рабство.

Разумеется, такая трактовка показалась бы позднему Шеллингу чрезмерным упрощением. Поскольку именно в центробежном движении Абсолют становится космосом, то односторонняя апология центростремительности будет грешить некоторым мироотрицанием. Не случайно в адрес Каткова раздавались обвинения в «белом нигилизме» [71].

Для Шеллинга чрезвычайно важен натурфилософский мотив полноценного развития вспомогательных органов, периферийности, конечностей, которое надлежаще возвышает центр. И напротив, символом зла у него предстает змей, природа которого в том, что у него не различены центр и периферия, и это означает, что он лишен центра и вынужден ползать на брюхе: «Полное развитие вспомогательных органов, которое достигает своей вершины в человеке, уже указывает на независимость воли от вожделений или на единственно подлинное здоровое отношение между центром и периферией: в нем центр отступил в свою свободу и рассудительность и отделился от того, что есть только оружие (периферийное). Напротив, там, где вспомогательные органы неразвиты или вообще отсутствуют, центр вступает в периферию и образуется лишенное центра кольцо» [33, с. 123]. Для позднего же Каткова централизм превращается в самодовлеющее начало.

Катков между Руссо и Берком

Ранее нам уже приходилось противопоставлять две консервативные интеллектуальные традиции, практически наравне проявляющие себя в XIX веке [84].

Первая – *беркианский исторический консерватизм*, присущий Адаму Генриху Мюллеру или Николаю Карамзину, ориентированный на идеал прогресса как накопления блага, не отбрасывающего предыдущие исторические ступени.

Вторая – *консервативный руссоизм*, характерный, к примеру, для Жозефа де Местра, Фредерика Ле Пле и К.П. Победоносцева, и рассматривающий в качестве сохраняемого блага некое первоначальное, интуитивное состояние человека, взирающий на историю, равно как и на любую другую человеческую активность как на ухудшение этой изначально данной природы.

На первый взгляд Катков, решительный и открытый, неоднократно декларировавший свои взгляды, – сторонник беркианского историцизма, один из самых последовательных в русской мысли. Не упоминая Берка, он, однако, прямо использует беркианскую формулу о нации как о партнерстве между ушедшими, живущими и будущими поколениями.

> «Народ – не стадо голов и не сумма голосов; он также не в одних только ныне живущих людях. В народе живет его прошедшее, в народе живет его будущее. Не в случайном настроении хотя бы миллионов людей, живущих на территории государства, не в сумме праздных да или нет, как бы ни была она громадна, заключается судьба государственной области, а в той действительной силе, которая определяет и держит ее» [12, с. 50].

Чрезвычайно последователен Катков и в защите «английской» формулы *консерватизма как прогресса*, исторического развития, удерживающего все позитивные результаты предшествующих эпох. Раскрытию катковского понятия консервативного прогресса посвящена обширная антинигилистическая статья «Кое-что о прогрессе» в октябрьской книге «Русского вестника» за 1861 год.

> «В разрушении ищите чего хотите, только не прогресса. Успех только там, где с приобретением нового не теряется прежде бывшее и вся сила прошедшего сохраняется в настоящем. Это равно относится и к отдельному человеку, и к народной жизни. Далеко ли уйдет развитие человека, если с каждым новым опытом он будет позабывать то, что узнал прежде, если с каждым новым фактом в его жизни будет разрушаться без следа, что сложилось в нем прежде? Станете ли вы богаче, если с каждым новым приобретением будете выбрасывать за окно, что добыли прежде? <…> Где совершается правильное и действительно прогрессивное развитие, там жизнь не теряет ни одного из своих существенных элементов…
>
> Народная жизнь тем прогрессивнее и тем богаче, чем менее совершалось в ней успешных насилий, чем менее происходило в ней действительных разрушений, чем менее, наконец, забывала она свое прошедшее. Всякое разрушение есть прямой вычет из ее прогресса… Историческая жизнь, переходя из одного положения в другое, часто изменяется неузнаваемо; но если в ней совершается успех, а не падение, то она не изменяет своей сущности, не теряет своих сил и берет с собою все, что было в ней прежде» [8, с. 8–9].

При этом антипрогрессизм, консервативный обскурантизм, вызывают у Каткова категорическое неприятие, что ярко проявляется в нападках на «Домашнюю беседу» Аскоченского. В этой критике «консервативного нигилизма» Катков, казалось бы, полагает между собой и характерным для консервативного руссоизма культом «простого человека»,

по сути «доброго дикаря», выдаваемого за носителя истинно православного начала, непреодолимую преграду.

> «Следуя логике этих людей, надобно думать, что человек тем лучше и тем ближе к истине, чем он скотоподобнее. Если, по их понятиям, исторический ход есть не что иное, как порча, возвращение к духу тьмы и зла, то, стало быть, человек, чуждый этому движению, менее испорчен и более удовлетворяет своему назначению. Дикарь, не знающий другого страха, кроме физического, других удовольствий, кроме материяльных, стало быть, ближе к христианству и православию, чем человек, признающий нравственные законы для своей деятельности и желающий видеть во всем какое-либо отношение к идеям разума? Возможно ли, чтобы такой взгляд был отличительный взгляд православия?.. Неужели в деспотиях Востока человечество живет ближе к православию? Неужели было бы лучше продолжать ему свое существование среди стихий и норм древнего міра?» [7, с. 383–385].

История для Каткова не путь изгнания человека из Рая, не апостасия, а, напротив, накопление положительного результата.

> «В истории господствует закон строгой постепенности, что идеи, которые вырабатываются в жизни исторических народов и исторических эпох, взаимно пополняют друг друга, что, взятые порознь, они могут быть односторонни и ошибочны, но что на своем месте и в своей мере каждая из них годна и даже необходима в общей экономии. Каждая эпоха имеет свои задачи, каждый день свою злобу… В наше время возросла общая сумма человеческой жизни, и, весьма естественно, вместе с суммою положительного и доброго в ней должна увеличиться сумма отрицательного и дурного. В прежние времена лишь немногие жили, а все остальное сливалось в безразличные и сплошные массы. Теперь с каждым поколением умножается число живущих, и из сплошной массы беспрерывно выделяются разнообразные личности, и каждая из них привносит свою долю доброго и свою неизбежную долю дурного. Но в общем яснее и решительнее обнаруживаются великие законы истории, ее смысл и пути Провидения» [7, с. 385–386].

Легендарная «англомания» Каткова напрямую связана с беркианским взглядом на Англию как на страну классического исторического консерватизма, как на страну, самоопределяющуюся через свое прошлое и удерживающую его во всей полноте и силе [90]. Как соотносились в этой англомании стремление подражать сути английских учреждений, их децентрализму, преобразованию в духе либерального общества древних феодальных форм, с одной стороны, и стремление подражать духу историзма, неподражательности, который характеризует английскую конституцию, – с другой?

Е.М. Феоктистов был уверен, что по крайней мере в период раннего «Русского вестника» Катков был англоманом в первом из этих смыслов. «Самоуправление дало пышный цвет на английской почве, – отсюда преклонение Михаила Никифоровича пред Англией, преклонение довольно странное почти на другой день после того, как в кровавой борьбе Англия явилась самым злым и непримиримым нашим врагом. Об увлечении Каткова в это время нельзя составить точного понятия по статьям, появившимся в его журнале; надо было слышать его в тесном круге приятелей; Францию, страну административной централизации, позволялось хулить сколько угодно, но Катков тщательно вычеркивал в статьях своих сотрудников всякие неблагоприятные отзывы об Англии из опасения, что отзывы эти могут подорвать веру и уважение к стране, внутреннее устройство коей должно служить образцом для России. Однажды Капустин в составленном им для какой-то книжки «Русского вестника» политическом обозрении отозвался не совсем похвально о том, как рас-

поряжался лорд Пальмерстон с какими-то африканскими царьками: Михаил Никифорович не вычеркнул этого места лишь после долгих колебаний» [60, с. 109].

При этом сам Катков говорит о духе английских учреждений прежде всего как о проявлении историзма. В 1881 году он настаивает, полемизируя с былым соратником по западническому лагерю, что «напрасно К.Д. Кавелин думает, что пишущий эти строки когда-нибудь предлагал их в образец для государственного устройства России. Правда, изо всех стран цивилизованной Европы для нас, как и для многих, Англия представляла всегда предмет особенно интересный в своем государственном устройстве. Но она интересовала нас историческим духом своих учреждений, в которых все выросло, и нет ничего по шаблону сделанного. Публицист, к которому г. Кавелин обращает свою речь, указывал на Англию, как на образец неподражательности политического быта, и, раскрывая органическую связь ее учреждений, выражал со всей энергией, к какой был только способен, желание, чтобы мы походили на нее самородностью своего развития и, стало быть, отнюдь не походили образом нашего устройства» [24, с. 411–412].

Для того чтобы установить истину в этом споре, можно прибегнуть к «проверочному тексту» – «Очеркам древнейшего периода греческой философии», опубликованным в 1851 году. В них, как мы уже указали выше, дается противопоставление консервативной, «аполлонической» дорийской Спарты, застывшей в вечном настоящем, и новаторских, «дионисийских» ионийских Афин, в которых трудно не узнать проекцию Англии в античное прошлое, сформированную выходившей как раз в эти годы «Историей Греции» английского политика-вига Джорджа Грота.

«Здесь происходила вся полнота гелленского развития в эпоху его цветения. Здесь решительно и ярко выявлялась всякая сила, всякое дело». Подвижность чрезвычайно характерна для Афин, но «едва ли в каком другом греческом обществе была так крепка сила прошедшего, сила противодействующая новому… бесчисленные нити преданий опутывали весь корень афинской жизни» [2, с. 205]. «Афинское устройство требовало времени для своего развития и развивалось постепенно, тогда как законодательство Спарты, совершенно напротив, установилось без всякого труда за один раз», – подчеркивает Катков [2, с. 205].

Таким образом «английский» историзм, прогрессивный консерватизм, оказывается ценностью для Каткова задолго до начала его публицистической деятельности, в виде ретроспективной проекции проявляется в, казалось бы, далеком по предмету историко-философском исследовании.

Катков предстает в своей публицистике как сторонник «беркианского» консерватизма с его опорой на историческое начало, с отождествлением традиции и прогресса, с защитой, соответственно, естественно сформировавшейся свободы, живых исторических привилегий, с отрицанием рационалистического конструирования общества, которое неизбежно приводит к принудительному эгалитаризму и тоталитаризму.

Как отмечает Роберт Нисбет, «именно консерваторы… остро реагируя на сочетание атомизма и политической централизации французского революционного государства при якобинцах первыми стали вновь придавать институтам семьи, местного сообщества, церкви, общественных классов, гильдий и другим видам промежуточных общественных объединений ту теоретическую значимость, которой они были лишены в рамках господствующего течения европейской мысли, начиная, по крайней мере, с Жана Бодена в конце XVI века» [50, с. 425].

В 1857 году в споре с Чичериным Катков определенно занимает сторону Токвиля. Самое неприемлемое для него в чичеринской критике «Старого порядка и революции» – последовательная апология правоведом рационалистического духа французской государственности, которой еще с королевских времен «при каждом жизненном столкновении…

выставляется учение, которое исторические начала разбивает началами рациональными…» [62, с. 179].

Каким же образом Катков смог, субъективно оставаясь в беркианской системе политических координат, объективно создать свою версию консервативного руссоизма, отличающуюся от победоносцевской тем, что «всеобщая воля» заключена для него не в инстинкте доброго дикаря, а во всеобщем самоотчуждении при формировании тоталитарного, по сути коллективного суверена – государства?

Своеобразный мостик между двумя системами интеллектуальных координат, в которых существовала мысль Каткова, – консервативно-беркианской и шеллингианско-руссоистской, можно обнаружить в статье 1862 года «К какой принадлежим мы партии?», в которой без видимых сбоев мысль публициста от первой системы переходит ко второй [9].

Катков утверждает, что «истинно прогрессивное направление должно быть, в сущности, консервативным, если только оно понимает свое назначение и действительно стремится к своей цели. Чем глубже преобразование, чем решительнее движение, тем крепче должно держаться общество тех начал, на которых оно основано и без которых прогресс обратится в воздушную игру теней» [9, с. 35]. Уничтожение важных элементов жизни является не прогрессом, но разрушением: «Все, что будет клониться к искоренению какого-нибудь существенного элемента жизни, должно быть противно прогрессивному направлению, если только оно понимает себя. Всякое улучшение происходит на основании существующего; этому учит нас природа во всех своих явлениях и формациях. Тот же закон господствует и в истории: всякое преобразование, всякое усовершенствование может происходить только на основании существующего с сохранением всех его сил, всех его значительных элементов» [9, с. 35].

До сих пор Катков держится в целом исторической точки зрения – предшествующие исторические достижения должны быть фундаментом последующих, а не отрицаться и не выбрасываться, – следуя в этом Берку.

Берк, как правило, говорит о свободной творческой энергии, накопление и управление которой в интересах общего блага и есть сущность хорошей политики. Электричество и магнетизм для него утилитарные силы в творческой мастерской истории. «Политик, дабы совершить великое, ищет силы – того, что наши механики именуют энергией… Уничтожение любой энергии, свободно произрастающей из творческих способностей человеческого ума, почти равносильно в сфере нравственной разрушению движущих свойств тел в сфере материальной. Это все равно что разрушить взрывчатую силу пороха, или силу пара, силу электричества или магнетизма…» [32, с. 245 -246].

История для английского консерватора в ее позитивном, творческом аспекте – это летопись славных *деяний* великих предков. Свобода имеет свою генеалогию. «Наша вольность становится благородной свободой… За нею стоит вереница блестящих предков. У них свои гербы, свои знамена, своя галерея фамильных портретов, свои надписи на монументах, хроники и титулы» [32, с. 101]. По сути, это осуществление призвания «человека, чья привилегия состоит в том, чтобы в значительной степени создавать самому себя» [32, с. 170].

Свойством деяния является его единичность и неповторимость. Нечто уже сделанное не «исторически случайно», а напротив - онтологически укоренено в том, что оно уже фактически состоялось и именно поэтому неотменимо. История - это те врата, через которые волюнтаристски конкретное проходит в вечность.

Пока Катков отстаивает состоятельность русской истории ссылкой на ее конкретность, на ее право существования в качестве уже сбывшегося, в качестве продукта трудной исторической борьбы, он полностью остается на почве «беркианского» исторического консерватизма. Однако как для последователя шеллинговой натурфилософии история для

Каткова, оказывается сочетанием не деяний, а природных элементов, каждый из которых должен быть поставлен на свое место, а попытка неорганичного «исключения» того или иного элемента приводит лишь к тому, что он появляется не на своем месте и в недолжных сочетаниях.

> «Общественное устройство не может по произволу отказываться от того или другого начала, которое требуется его нормой. Как во всяком развитии природы, так и во всяком историческом развитии есть известная сумма элементов, из которых оно слагается, так что при отсутствии того или другого из них оно вовсе невозможно, или невозможно в своем нормальном виде. Исключить какие-либо существенные начала из данного развития значит изменить сущность вещей, перепрыгнуть, как говорится в логике, из одного рода в другой; значит иметь в виду что-нибудь другое, а не то, о чем идет речь. Исключить из общественного развития какое-нибудь начало, которое служит одним из необходимых условий человеческого общества, значит обессилить общество, изуродовать его, подвергнуть его болезням тяжелым и опасным, от которых придется лечиться» [9, с. 35].

«Норма», «болезнь», «природа» – все это применительно к обществу элементы никак не беркианского, а натуралистического словаря, в котором история есть продолжение природы, а политика есть подразделение натурфилософии. Здесь появляется интеллектуальный туннель, которым Катков с беркианской переходит на консервативно-руссоистскую, а порой и просто на руссоистскую сторону.

> «Интерес прогресса состоит не в том, чтоб изгнать из общества то или другое начало: изгнанное в дверь, оно воротится в окно; напротив, задача состоит в том, чтобы каждому началу, без которого не может обойтись нормальное развитие общества, дать соответственное положение и силу, отвести его в должные пределы. Зло и вред заключаются не в том или другом элементе, а в неправильном положении, которое он занимает… Напрасно мы будем думать, что, подвергнув остракизму какое-нибудь общественное начало, неправильно действующее, мы освободим от него общество. Оно не исчезнет, оно не уничтожится: исчезнет только доля добра, а яд останется; оно явится в другом виде, под другим именем. Потеряв одно из существенных условий своего развития, общество получит его обратно, но как начало ему чуждое и враждебное, которое до тех пор будет его язвой и задержкой на всех путях, пока не будет признано, не будет замирено и не найдет себе надлежащего места» [9, с. 36].

Общество здесь у Каткова оказывается продуктом природы, а у его элементов есть должное или же недолжное в натуралистическом понимании место. Это же, в свою очередь, означает, что историческое является не следствием человеческих деяний, злодейств и подвигов, но раскрытием того, что было заложено в изначальном плане природы. Причем нарушения в этом плане, конечно, возможны, но именно в смысле искаженных и произвольных сочетаний заложенных природой элементов. В силах греховной человеческой воли поставить то или иное начало не на свое место, но не наоборот. Любое же благо связано исключительно с принудительной органической целесообразностью. Как замечательно емко сформулировал этот органический принцип Константин Леонтьев: «…оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой».

Катков 1862 года обрушивается на Каткова 1857 года в переписке с Чичериным мечтавшего вовсе покончить с государством в какой-либо роли, кроме роли ночного сторожа.

> «Лишь только мы представим себе, что государственное начало будет исключено, лишь только мы вообразим себе, что самостоятельная и отдельная орга-

> низация государственных властей исчезнет, как в тот же самый миг общество, по-видимому освобожденное от государства, утратит, напротив, значение свободного общества и во всем составе своем превратится в то самое начало, от которого думало освободиться; оно само будет государством, и государством тем худшим, что государство будет в нем все во всем, не давая ничему свободного существования и на все налагая свою печать. Что это не есть только теоретическое соображение, что действительно так бывает, в том удостоверяет нас история многими примерами. Возьмите древние республики, возьмите Соединенные Штаты. Если нет самостоятельной организации государственного начала, все общество принимает более или менее его характер; если не будет определенной государственной функции, то вся общественная жизнь по необходимости превратится в функцию; если не будет правильного суда и расправы, то явится закон Линча. Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в деспотизм диктатуры; уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, место его не останется пусто, оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархами самого дурного свойства» [9, с. 37].

Парадоксально, что этот образ государственности, растворившейся в общественности, подаваемый без всякого сочувствия, один в один совпадает с образом Англии, рисуемым в одновременных катковских статьях, с предельной симпатией: «Именно в Англии не только нет никакого антагонизма между правительством и обществом, но нет почти никакого явственного раздела между ними, так что трудно указать, где начинаются действия правительства и где оканчиваются действия общества. Именно в Англии… видим мы полнейшую солидарность между правительством и обществом, начиная от самых важных государственных интересов до самых мелких ежедневных явлений. Не говоря уже о предметах общей и международной политики Англии, где все партии как бы составляют заговор и действуют сообща, нет такой полицейской обязанности, в которой англичанин видел бы исключительное дело правительственных агентов и не считал, напротив, своим долгом всячески способствовать ее отправлению» [12, с. 76].

Образ Англии, таким образом, и тут оказывается скрытым оппонентом руссоистски-шеллингианскому органицизму – оказывается, соотношение правительства и общества жестко не задано и вполне можно вырастить правительственную деятельность на общественной основе.

Начав с утверждения принципа историзма в политике, Катков заканчивает свое рассуждение в статье «К какой принадлежим мы партии?» настоящим руссоистским гимном государственному централизму, за который он всего пять лет перед тем обязательно бы исключил самого себя из журнала. Причем, напомним, речь идет о рассуждении 1862 года, задолго до «позднего» Каткова.

Руссоистская нетерпимость к любым промежуточным общественным силам и шеллингианская центростремительность господствуют в этом рассуждении безоговорочно. Централизации оказывается противоположна не свобода, как это было в возражении Чичерину, а совокупность локальных рабств: «вместо одного органического центра явится несколько фальшивых, несколько мелких деспотий, где еще ревнивее и придирчивее разовьется дух вмешательства и опеки и где для личной свободы будет еще менее благоприятных условий».

Смысл истории же состоит в постепенном сокрушении частных властей и частных сообществ и замене их единым сувереном, который, вот снова руссоистский мотив, не столько независим, сколько тотально и добровольно зависим от целого.

> «История, полагая общий центр народной жизни, собирает мало-помалу все элементы власти из всех закоулков, в которых она внедряется, дико

> разливаясь по всему простору народной жизни. Сосредоточивая власть в один общий для целой страны орган, образуя правильное государство, историческое развитие дает возможность человеку существовать по-человечески. По мере развития правильного и благоустроенного государства развивается и укрепляется в своих основах свободное общество, и государственное начало, преобразуясь, согласно своему истинному назначению, определяя все яснее свойственную ему функцию, становится источником великих благодеяний, крепкой основой свободы и соединяется с ней в общем интересе. Даже принцип неволи, убивавший человека или ставивший его в неестественное положение, не исчезает, не уничтожается. Исчезает только его противоестественное, грубое, дикое действие. Исчезает невольничество, – но в образованном обществе каждый человек жертвует частью своей воли. Исчезает рабство, которое убивает одного человека и уродует другого, но возникают взаимные обязательства, связывающие людей во всяком благоустроенном общежитии. Чем глубже и шире развивается общественная свобода, тем яснее и определеннее становятся обязанности людей друг перед другом и перед целым обществом, и тем охотнее люди подчиняются принципу неволи в высшем, благородном, священном значении долга» [9, с. 37].

Историзм Каткова оказывается при внимательном рассмотрении не консервативным в беркианском смысле. Беркианский консервативный взгляд на историю понимает ее как благословленное Богом самосозидание человека, – конкретный результат деяний выдающихся людей и накопление творческой энергии ради максимизации блага. Такая история выкристаллизовывается в конкретных жизненных мирах, конкретных сообществах, играющих, как отметил Нисбет, столь большую роль в консервативной мысли.

Катков же понимает историю в натурфилософском смысле раскрытия изначально заложенных органических начал, которые ведут в определенном направлении, а именно к формированию сверхсуверена, который решительной рукой стирает все локальные сообщества. «Везде главная сила исторического развития состояла в том, чтоб искоренять многовластие, в каком бы виде оно ни являлось, и величайшие жертвы приносились народами ради утверждения единой власти» [12, с. 78]. Историческая разнородность, разнокачественность оказываются для Каткова нетерпимы. Его государство предельно абстрактно и говорит даже не на русском, а по-гречески и латыни.

Как в доктринерском по складу уме Каткова сочетались эта жесткая руссоистская схема строительства тотальной государственности через подавление любых частных властей и локальных общностей, и англомания, предполагавшая, напротив, сохранение, развитие и встраивание в систему многочисленных «пережитков феодализма», – это во многом загадка.

Возможно, был прав Константин Леонтьев, полагавший, что Катков многого не договаривает. Возможно, вполне искренен был сам Михаил Никифорович, подчеркивая, что в Англии его восхищает не столько содержание «не поддающегося копированию» конституционного строя, для воспроизведения которого пришлось бы изменить столетия истории России, сколько сам исторический его характер. Однако последнее не объясняет примирения Каткова, когда он смотрит на Англию с якобы универсальным «злом», выражающимся в сохранении частных властей, которые не подавляются, а лишь встраиваются в государство, а тем самым схема перехода от многовластия к единой сверхмогущественной власти теряет свой универсальный характер.

Песнь про царя Ивана Васильевича и разночинца-опричника

Несомненно, однако, что воззрения Каткова носили не только обобщенно-философский, но и предопределенный конкретными жизненными обстоятельствами характер. Потомственный аристократ Пушкин, осознанно или нет, был «беркианцем». Для него история России была совокупностью деяний, в которых принимали участие его собственные знаменитые предки, о чем он написал серьезно в «Моей родословной» и несколько иронично в «Езерском». Пушкинское политическое сознание было на всю мыслимую глубину связано с «преданьями старины».

Родовое сознание славянофилов тоже опиралось на предшествующие «семейные хроники» Аксаковых, Самариных и Хомяковых. С этим собственным родовым сознанием они пытались соотнести русскую общину, сохранившийся опыт старой русской культуры. Для славянофилов исторический поворот русской жизни, совершенный Петром, был обрушением исторических результатов, разрушением того наследия, которое оставили их предки, а позитивную историческую деятельность они связывали с сохранением и восстановлением этого наследия.

Совсем иной взгляд «безродного» Каткова, первым в своем роду дослужившегося до потомственного дворянства, бывшего к сорока годам, как справедливо замечает Г.Н. Лебедева, «обычным интеллигентом-разночинцем» [93, с. 101]. Если присмотреться к создаваемому им образу «центростремительного» движения русской истории внимательно, то окажется, что оно состоит не столько в созидании, время созидания все никак не наступит, сколько в разрушении предшествующих обветшалых начал и властей. Его история России – это история становления политической тотальности, в которой издающий университетски-правительственную газету полуразночинец получает свой жизненный шанс.

Характерно в этом смысле его последовательное начиная с первой программной статьи почтение к Ивану Грозному. Вопреки карамзинистской традиции (и несмотря на постоянный пиетет Каткова к Карамзину, явно воспринимаемому как идейный предшественник), рассматривавшей этого царя как тирана и душегуба, Катков воспринимает его как великого государственника, железом и кровью выкорчевывавшего удельные элементы: «Нужно ли говорить о том, какое великое значение имеет в русской истории Иоанн Грозный; как необходима была в ней власть этого могучего истребителя всего, что еще оставалось от предшествовавшего периода, – этого царя-исполина, так мощно скрепившего железными руками только что сочленившийся организм и в лице бояр нещадно поражавшего отживших свое время удельных владельцев?» [1, с. 115].

В оценке Ивана IV Катков вполне солидаризуется со своим долголетним соратником по западническому направлению, ведущим историком «государственной школы» С.М. Соловьевым. Работы Соловьева играют в формировании исторических оценок Каткова, по всей видимости, решающую роль. Не случайно он восхищается в 1847 года письме А.Н. Попову: «Соловьев кончил свой экзамен и защищал в факультетском заседании свою диссертацию[1] с блистательным успехом. Не правда ли, какой чудесный труд его диссертация? Как все в ней зрело, обдуманно и живо! Прекрасно разработаны Москва, Иван В. Честь ему и слава!» [4, с. 547].

Отметим, однако, любопытный факт – трактовка Катковым в статье 1839 года политики Ивана IV как направленной прежде всего против удельных пережитков предшествует работам С.М. Соловьева и К.Д. Кавелина, переоценивших критический «карамзинский»

[1] «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», в которой сформулирована ключевая для исторической концепции Соловьева теория перехода от родовых начал к государственным.

подход и представивших Грозного царя как великого централизатора, и противоречит доминировавшим в этот период историографическим оценкам Н.Г. Устрялова и М.П. Погодина, относившихся к Ивану отрицательно. Разумеется, Катков не был изобретателем этой точки зрения, например, М.М. Сперанский в «Плане государственного преобразования» подчеркивал, что «ослабление удельных князей и победы царя Ивана Васильевича, действуя соединенно с духом сего сильного государя, испровергли удельный образ правления и утвердили самодержавие» [цит. по: 77, с. 209].

Можно найти и немало других случаев, когда историософия молодого Каткова публицистически предваряла зрелую теорию Соловьева, внезапно начинающего рисовать русский исторический процесс теми же чертами, что и публицист: центробежность – сосредоточение – новое освобождение уже как элемента государства. «Эпоха сосредоточения необходима для утверждения сознания о государственном единстве, о единстве государственного интереса; здесь части, области, лица должны отказаться от своей особной, своеобразной жизни и подчиниться условиям жизни общей, и когда потом, при утверждении сознания о государственном единстве, части получают большую или меньшую самостоятельность, самоуправление, то эта самостоятельность является уже вследствие государственных требований, является с непосредственным отношением к сосредоточивающей власти», – писал он в седьмом томе своей «Истории» [57, с. 314–315].

Каткову вполне может быть переадресован тот упрек, который историк-славянофил М.О. Коялович адресовал Соловьеву: «Главнейшая ошибка Соловьева состоит в том, что в русском обществе, в русском народе он следит односторонне за разбросанностью, а в государственной среде – наоборот, только за объединительной деятельностью» [41, с. 393]. Получалось, что вся историческая жизнь народа направлена только к разброду и разбеганию (вспомним снова первую статью Каткова), в то время как центростремительное начало представлено только государством, а значит любая форма народной жизни и быта, любая «промежуточная» организация, любая коллективная автономия от тотального государства априори оказываются злом.

Эта крайность и сказалась во всей силе, отмечает Коялович, «когда выразителем этого направления явился Иоанн IV, возненавидевший всякую самобытность и истреблявший ее не только в отдельных лицах, в сословии бояр, но в целых массах народонаселения, как в Тверской области, Новгородской. Объединение, централизация, утвержденные такими способами, не могли уже быть зародышем будущей самобытности и могли порождать лишь дурные явления. Под влиянием такой централизации русский народ не терял своей общинности, сплоченности, а уходил с ними глубже в свой тесный круг жизни и отстранялся от соприкосновения их с такой централизованной государственностью. В этом-то ненормальном отношении земства и государственности, кажется, и скрывается основание крайнего мнения некоторых славянофилов о совершенной отдельности земства и государственности» [41, с. 393–394].

Как видим, и молодой Катков, и Соловьев, и Коялович одинаково воспринимают Ивана IV как символ тоталитарного «руссоистского» централизма, но по-разному его оценивают. Если для Каткова и Соловьева сверхцентрализация является дорогой к европеизации и, таким образом, свободе (иначе как без сверхцентрализации заставить народ сменить цивилизационную идентичность на европейскую?), то для славянофилов, выразителем мнения которых был Коялович, такая централизация – это триумф исторического нигилизма.

> «Идея разрушения действительно проходит через всю “Историю России” Соловьева. Мало того, проходит через эту “Историю” идея разрушения не только того, что само собой сложилось, так сказать, за глазами двигателей русской исторической жизни, но разрушения и того, что создано было и, по-

> видимому, хорошо создано самими двигателями этой жизни. Призванные князья разрушают племенной быт племен; суздальские князья, а за ним и московские разрушают удельно-вечевой быт; Петр разрушает строение московских князей, преемники Петра разрушают или переделывают строение петровское…» – все эти упреки Кояловича вполне можно применить и к историософским схемам Каткова [41, с. 369–370].

Концентрация исторического величия России осуществляется, на взгляд западнически-государственнической школы, за счет отрицания живого содержания и конкретных жизненных сообществ русской истории – общины, боярства, монашества, Церкви, в которой Катков более всего ценит то, что она отказалась от соперничества с государством и создания помех формированию политической тотальности. Когда-то в будущем должна вырасти грандиозная суперструктура, обеспечивающая развитие, величие, свободу и великолепное классическое образование, но прошлое России, по Каткову, состоит не столько в накоплении, сколько в освобождении от живого исторического содержания.

Мертвая теория и живой миф

Здесь мы возвращаемся к специфике катковской версии национализма, с которой начали. Этот национализм агрессивно антиэтничен, он не связан с конкретикой эмпирически данной русской культуры и конкретными свойствами русского этноса. Национальность оказывается формой существования в сообществе великих держав Европы, а стало быть нация – это человеческое наполнение международно признанных границ. История нации равна истории возникновения этих границ и заполнения пространства между ними. Русские, на взгляд Каткова, оказываются удивительно бедны содержанием, для них характерно «отсутствие всяких видимых проявлений общественной и нравственной энергии, кроме государственной службы, которую нес с тяжкими усилиями весь народ» [14, с. 158]. Пожалуй, именно к катковской версии национализма, больше чем к какой-либо еще применим популярный ярлык «служилая нация».

Составившая заслуженную славу Каткову полемика против сепаратизма ориентирована была на идею возвышения русского имени, но именно имени, а не этноса как живой культурно-исторической (не говоря уж о кровной) общности. «Русские» Каткова были весьма слабо связаны с эмпирическими русскими, в это понятие включались скорее те, кто не принадлежал к другим сообществам, имеющим выраженные сепаратистские притязания.

По сути, та Нация, к которой апеллировал Катков и которую характеризует Эрнст Геллнер, это классическое атомизированное общество типа Gesellschaft, как он описан в социологии Фердинанда Тенниса. Доктрина Каткова предполагала категорическое искоренение любых проявлений того, что можно было бы в той же терминологии описать как Gemeinschaft, как сообществ, базирующихся на конкретном жизненном соприкосновении и переживании. Реальное этническое сообщество было слишком «гемайншафтным», слишком крестьянским для анонимного «гезельшафтного» национализма.

Однако эволюция национализмов в XX веке была построена в итоге на синтезе принципов общины и общности. Общность начала восприниматься, «воображаться» как община. Взятое в своей абстракции национальное через систему символов начало восприниматься как конкретное и жизненно близкое. Геллнер, не без элемента тенденциозности и даже клеветы, связывает эту эволюцию европейских национализмов и нацизм, «которому удалось вновь ритуализовать политику» и который «привнес в анонимное индустриальное общество (Gesellschaft) мощную иллюзию общности (Gemeinschaft). Он соединил, и весьма эффективно, дисциплину индустриального общества с дисциплиной монархии, сплотив на эмоциональном уровне культурно-однородную группу» [65, с. 173].

Разумеется, превращение абстрактной общности граждан индустриального государства, именующейся нацией, в конкретное братство, через общность символов воображающее свое родство, осуществлялось не только и не столько нацизмом, но и любым режимом, опиравшимся хотя бы в минимальной степени на национальное чувство. В конечном счете в основу современных наций легла не теория и не газета, а национальный миф. И самое важное в историческом наследии Каткова тоже связано не с его теориями, а с этим мифом.

Абстрактная, формалистичная теория нации, чуждая всяких этнических основ, развиваемая «Московскими ведомостями», оказалась в итоге малопригодной. Ее влияние не сравнить с доктриной славянофилов, развитой Данилевским и Леонтьевым и ставшей в результате теоретической основой для тезиса о самобытной русской цивилизации, равночестной с Европой. Этноцентризм и цивилизационный плюрализм с акцентом на самобытность русской цивилизации, решительно отвергнутые Катковым во имя гражданского национализма и евроцентристского универсализма, стали во главу угла.

Зато совсем другая судьба ждала исторический образ самого Каткова. Фигура публициста отважно сражающегося за русскую национальную политику, отстаивающего патриотическое дело с открытым забралом и язвительным пером, не боящегося ни злобы польской справы, ни козней министров, «нового Минина» с большим русским сердцем под профессорским сюртуком была и остается важной составной частью национального самосознания русских в 1860-х годах. И не случайно, что серия патриотических манифестаций по случаю спасения императора от каракозовского покушения завершилась чествованием Каткова в его кабинете в Университетской типографии.

Катков сам стал живым символом нации. «Можно без преувеличения сказать, что в его личности вдруг ожила и заговорила старая Москва, Москва Калиты, Иоаннов, первых Романовых, и заговорив – покрыла своим голосом новую Россию в самый тяжкий и смутный период ее существования, когда она “разделишася на ся”», – подчеркивал Розанов, выступая за установление Каткову памятника [52, с. 605]. А Константин Леонтьев не без резонов полагал, что бьет в самую точку, предлагая поставить еще живому публицисту монумент на Страстном бульваре. Пожелание это, кстати, и по сей день не исполнено.

Вместо заключения. Политическое завещание Каткова

Однако неужели, спросит читатель, от первого из русских мыслителей, осознанно поднявших знамя национализма как политической доктрины, не осталось ничего, кроме яркого и противоречивого исторического мифа, набора публицистических образов и односторонней теории скроенного по руссоистским лекалам полутоталитарного западнического государства, подавляющего всякую самодеятельность и самобытность? Утверждать такое было бы поспешным.

Главной заслугой Каткова как национального теоретика было последовательное отрицание применительно к России принципа «государство в государстве», категорическое неприятие проектов расчленения русской государственной территории на в той или иной мере суверенные государственные образования. Для Каткова нет ничего более ненавистного, чем Status in statu, всевозможные уделы, королевства, княжества, ханства, созданные или проектируемые на единой русской государственной территории. И если он набрасывается с яростью на живые негосударственные сообщества, то лишь потому, что поспешно принимает их за «государства в государстве» или за их зародыш. Непрерывность и однокачественность суверенитета для него священна. Нация как носительница этого непрерывного суверенитета стоит для него превыше всего и выступает как источник всякой власти в государстве, в том числе и монаршей.

Самые яркие тексты Каткова в эпоху его публицистического «акмэ» между 1861 и 1865 годами посвящены именно защите цельности и однородности русского государства, резкой, не щадящей лиц и чинов критике проектов «многонациональности» России и установления в ней «множественного суверенитета», сохраняющей абсолютно актуальное политическое значение и по сей день, мало того, как будто написанной сегодня.

> «Борьба с сепаратизмом не была борьбою с ветряными мельницами. Это была борьба с великим злом, грозившим стране распадением и разложением. Сепаратистские стремления были формою того течения, в котором главная опасность для нашего отечества, – отмечал соратник Каткова Н.А. Любимов. – В государственной жизни нашей, в наших делах и внешней и внутренней политике замечаются два течения: одно к единству и крепости, другое – центробежное, к ослаблению, разложению, распадению; одно создающее, другое – расшатывающее. По роковому недоразумению, и чрез ошибки, и чрез обман центробежное, в существе своем изменническое течение, в глазах множества людей получило значение либерального, цивилизаторского, долженствующего привлекать образованные умы.
>
> Отсюда пагубное потворство и сочувствие тому, что направлено ко вреду и пагубе для страны. Этому течению безумно служили наш нигилизм и все наше революционное движение; ему помогал наш слепотствующий лжелиберализм в обществе, в чиновничестве, на кафедрах, в журналистике; ему могущественно содействовали, – в сферах власть имеющих, – наш космополитизм, наше непонимание и презрение русских интересов. Словом, оно захватывало все, в чем был вытравлен патриотизм, как мы выше выразились.
>
> После громадного переворота, совершившегося в государственной жизни через освобождение крестьян, все сделалось задачей в России. Сама Россия в глазах врагов, надеявшихся, что страна не выдержит такого потрясения, стала задачей. Все центробежное поднялось и готово было предъявить свои требования» [47, с. 458].

Особенно опасным был эпизод с распространением по российским учебным заведениям Министерством просвещения брошюры “Que fera-t-on de la Pologne?” «казенного пера» барона Фиркса, под псевдонимом Шедо-Ферроти публиковавшего свои тексты на французском языке и преимущественно для европейской аудитории с целью создать образ «России с человеческим лицом» (в том смысле, в каком эта «человечность» понималась в тогдашней Европе, то есть России, действующей против русских интересов). Шедо-Ферроти не только нападал на Каткова и ультрарусскую партию, но и пытался противопоставить русскому идеалу единого государства единой нации, защищавшемуся Катковым, идею многонациональной конфедерации под скипетром безнационального императора.

«Русский Император царствует не над страною, но над целою частью света, – утверждал Фиркс. – Он повелевает не нацией, а двадцатью различными народами. Его патриотизм в том, чтобы любить равною любовью тех, чья участь вверена ему небом. Всякий русской, кроме Императора, отправляясь в Финляндию, в Ливонию, в Польшу, на Кавказ, едет в иностранную землю. Император, прибывая в эти страны, находится у себя, в своем Отечестве, между детьми своими, сделать счастье которых он принял на себя пред Богом и совестью. Пусть патриотизм поляков состоит в том, чтобы любить только самих себя; русских, по крайней мере приверженцев г. Каткова, в том, чтобы ненавидеть инородцев, финляндцев проявляется желанием удалить русских от себя, патриотизм русского Императора, Короля Польского, Великого Герцога Финляндского может быть лишь в том, чтобы держать весы равновесия между всеми его подданными, думать о благе всех этих стран, из коих каждая есть его отечество…» [цит по: 47, с. 446–447].

Этой программе роспуска России Катков и противопоставил безусловную защиту единства страны и как национального, и как государственного.

> «Заставляя нас помышлять с ужасом о громадности нашей государственной области, нас приготовляют к покушению на самоубийство еще мыслию о страшной разноплеменности народонаселения русской державы. Перед нашей смущенной мыслью воздвигают целых двадцать народов, населяющих нашу государственную область. Нам говорят, что каждая из этих двадцати наций, насильственно связанных в одно государство, требует особого для себя государства, и что Россия непременно должна удовлетворить этому требованию. Россия есть не что иное, как химера; в действительности же существуют двадцать наций, которым эта химера, называемая Россией, препятствует жить и развиваться самостоятельно. Двадцать народов! Да это более, чем сколько можно насчитать полных народов в целой Европе! Каково это! А мы и не знали, что обладаем таким богатством: под обаянием химеры мы все думали, что под русской державой есть только одна нация, называемая русской, и что мало государств в Европе, где отношения господствующей народности ко всем обитающим в ее области инородческим элементам были бы так благоприятны во всех отношениях, как в русском государстве!» [16, с. 172].

Корни сепаратизма Катков видит в ошибочной имперской национальной политике, дискриминировавшей русских и предоставлявшей коллективные политические привилегии инородцам.

> «Что касается до России, то в новейший период ее истории она, вследствие известных исторических обстоятельств, не была вполне национальной в своей политике. Напротив, часто совершенно независимо от воли и сознания лиц, стоявших во главе русского государства, правительство ее уклонялось от своего народа в силу рокового сцепления некоторых обстоятельств, неизбежно последовавших за реформой Петра. Образовавшаяся у нас система заключалась в том, чтобы правительственными мерами разобщать и, так сказать, казировать разнородные элементы, вошедшие в состав русского государства, развивать каждый из них правительственными способами не только по племенам, но и по религии. Мы распространяем магометанство между Киргизами, которые не хотят быть магометанами, мы воссоздаем, укрепляем и возводим в силу остатки ламайства между бурятами, мы берем на себя обязанность блюсти дисциплину и чистоту всех сект и вероисповеданий. Известно также, что мы приобрели бессознательную склонность давать не только особое положение инородческим элементам, но и сообщать им преимущества над русской народностью и тем развивать в них не только стремление к отдельности, но и чувство гордости своею отдельностью; мы приобрели инстинктивную склонность унижать свою народность» [16, с. 174].

И это несмотря на то, что русские относятся к числу наиболее сплоченных наций в мире. «Нет другого примера, чтобы народность, объемлющая собой почти шестьдесят миллионов людей, представляла такое единство, как народность русская: так велика ее природная сила» [16, с. 174]. Строго говоря, и по сей день русские, несмотря даже на политическое и в значительной степени идеологическое отторжение малороссийских и белорусских частей остаются самой крупной единой национальной общностью, не несущей в себе признаков расового (как американцы или бразильцы), языкового (как ханьцы) или этнорелигиозного (бенгальцы или хиндустанцы) раскола, удивительным для такой численности и громадной территории совпадением нации и этноса.

Катков подчеркивает, что «сепаратизм в смысле отторжения какой-либо части гораздо менее страшен, нежели сепаратизм в смысле внутреннего расторжения», навязываемый многонациональными теориями в духе Шедо-Ферроти. «Начало разложения, внесенное внутрь государства, есть положительное зло, есть несомненная пагуба» [16, с. 179]. В попытке водворить в России искусственную многонациональность публицист усматривает целый заговор. «С неслыханною наглостью перебирают одну за другою разные части Русского государства, которые должны стать особым государством, чуждым русскому народу, на основании особой национальности, хотя бы для этой цели пришлось искусственно выделывать годные к тому национальности и даже употреблять части самого русского народа материалом для таких созиданий» [16, с. 181].

Попытки «федерализовать» или «конфедерализовать» Россию равны для Каткова попыткам разложить и расколоть ее. Многонациональная федерация, на его взгляд, вообще невозможна. «Федерация требует как необходимого условия, чтобы ее члены были, при всем разнообразии их местных особенностей и интересов детьми одной национальности» [16, с. 184].

Единство государства и единство нации неразрывны. Поддержание, тем более искусственное, разнонациональности и разнокультурности не может не закончиться государственным расторжением.

> «Нам говорят, что разделение России на чуждые одно другому государства должно тем не менее оставаться делом внутренним и не нарушать единства Русской державы… Совокупность чуждых друг другу государств и единство верховной власти, долженствующей простираться над ними и связывать их, есть абсурд, внутреннее противоречие, невозможность. Одно из двух: или верховная власть силой своего существования действительно соединит подвластные ей части и совокупность государств превратит в одно цельное государство, совокупность наций в одну цельную политическую нацию; или же верховная власть, взносясь над совокупностью народов и государств, утратит всякое действительное значение и упразднится как символ, ничего не означающий» [16, с. 185].

Никакого межнационального мира и подлинного союза в этом конфедерированном сообществе тоже ждать не приходится: «Не будут ли эти нации внутренне соединены между собой только общим чувством ненависти к тому, что держит их вместе?» [16, с. 186]. Мало того, подобная «многонациональность» своей естественной политической логикой потребует наступления новосозданных «национальных государств» на русскую нацию: «Не будут ли они весьма естественно и весьма основательно чувствовать опасение за свое существование и не должны ли они будут употреблять всевозможные с своей стороны усилия, чтоб ослаблять русскую национальность, а с тем вместе и Русское государство? Не будет ли интерес их состоять в том, чтобы политика русского правительства была сколь можно менее запечатлена национальным характером как внутри, так и вне?» [16, с. 190].

> «Нет ничего ошибочнее того мнения, будто политика, лишенная национального духа, ведет к сближению инородцев с господствующим народом. Она ведет к результатам, совершенно противоположным сближению. Она не закрепляет, а раскрепляет связь государственную. Привилегии, даваемые инородцам, предпочтения, им оказываемые, прямо противодействуют сближению их с русскими. На что нам нередко указывают как на условие всеобщего единодушия, согласия и мира, в том заключается лучшее средство возбудить антагонизм, произвести рознь, породить нескончаемые смуты. Напротив, национальная политика есть средство упрочить и единство, и спокойствие, и благосостояние государства. Национальная политика есть дело государств цивилизованных,

правительств разумных и просвещенных. Национальная политика состоит не в том, чтобы унижать чужое, а в том, чтобы возвышать свое» [19, с. 252–253].

Плодить искусственные малые нации, учреждать под них сепаратные государства значило бы не просто поддерживать культуру тех или иных народов, но создавать, выкармливать плотью русского государства новые «начальства, силы и власти».

«Нация не есть просто какой-либо этнографический элемент. Признать какой-либо элемент в качестве нации – это совсем не то, что предоставить тем или другим населениям, тем или другим людям свободу жить по своему обычаю, исповедывать свою веру и т.д. Это дело свободы, и чем бесспорнее единство государства, тем более выигрывает дело свободы. Именно в том интересе, чтобы государство могло безопасно расширять сферу личной и общественной свободы, которая всегда служит наилучшим выражением государственной прочности, именно в этом интересе свободы, о которой так много говорят всуе и так часто употребляют ее имя во зло, требуется, чтобы не было государств в государстве, требуется, чтобы государство было едино и нераздельно, чтоб оно было неразрывно соединено с одною бесспорною национальностью. Итак, признать какой-либо элемент в качестве особой нации не значит предоставить ему свободу, но дать ему власть, сообщить ему обязательную силу. В признании нации решается вопрос о власти, о правительстве, о государстве» [16, с. 191].

В том, что порождение сепаратной национальной государственности внутри страны не может не закончиться подавлением свободы и принуждением на «сепаратном уровне» мы убедились в последние десятилетия, когда обнаружили в собственной стране факты принуждения представителей национального большинства страны к принудительному изучению языков меньшинств, оснащенных этой сепаратной государственностью. Развитие событий пошло строго «по Каткову».

И вот уже в пособиях по подготовке к единому госэкзамену по обществознанию как нечто само собой разумеющееся предлагаются следующие задания, требующие правильно определить, чем республика отличается «от других субъектов РФ». Правильный ответ таков: «Является государством в составе РФ» [92, с. 379].

«Кому неизвестно первое правило политического благоразумия, требующее, чтобы в государстве не было государств? Кому неизвестно, что государство в государстве есть коренное зло, которое своим существованием делает невозможным правильное развитие общества?.. А между тем в России это зло, приняв особую личину, развивалось систематически в то самое время, когда в России же, более чем где-либо, принимались стеснительные меры против коренных общественных сил, без самостоятельной организации которых невозможно правильное развитие жизни, – принимались стеснительные меры из опасения, чтоб эти силы не превратились в организации, опасные для государства.

Всякая национальность есть не что иное, как зародыш государства; всякий элемент, признаваемый, в видах возвышения или унижения, за особую национальность, неминуемо действует как чужеядное тело в составе государства… Всякого рода национальная рознь, которая допускалась в одном цельном государстве, всегда отзывалась потом горькими последствиями…

Главное зло, которому удобным орудием служила наша бюрократия, был этот фальшивый принцип разных национальностей, наполнявший ее элементами, чуждыми национальности государства, которого она была органом. У нас появились внутренние иностранцы, у которых оказывалось разом два отечества, которые чувствовали себя гражданами разом двух государств. Могут ли

при таких условиях удовлетворительно идти дела и устанавливаться правильные воззрения на вещи в сферах мыслящих, влиятельных и действующих?.. Расширение пределов русской территории не считалось бы таким приращением могущества России, как ее вступление в свои права у себя дома. Действительно, как бы ни раздвигали другие государства свои пределы, Россия долго еще может восстановлять равновесие, не выходя из своих пределов, а только становясь в них сама собою… Только вступив в обладание собою, Россия, а с тем вместе и все внутренние ее интересы, могут быть обеспечены и развиваться правильно и плодотворно» [20, с. 264–267].

Таково актуальное ядро политического наследия Каткова, звучащее с пугающей злободневностью. Тем более пугающей, что до понимания этого наследия ни государство наше, ни наше общество в полной мере не доросли.

Литература

1. *Катков М.Н.* Песни русского народа, изданные И. Сахаровым. Пять частей. Санкт-Петербург, 1838–1839 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010.
2. *Катков М.Н.* Очерки древнейшего периода греческой философии / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Философские чтения: Статьи, трактаты, полемика. СПб.: Росток, 2011.
3. *Катков М.Н.* Замечание на рецензию «Очерков древнейшего периода греческой философии», помещенную в № 10 «Московитянина» / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Философские чтения: Статьи, трактаты, полемика. СПб.: Росток, 2011.
4. *Катков М.Н.* Письмо А.Н. Попову 1 мая 1847 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5: Энергия предприимчивости: Экономика. Образование. Письма. СПб.: Росток, 2012.
5. *Катков М.Н.* Отзыв иностранца о Пушкине / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010.
6. *Катков М.Н.* О философской критике художественного произведения (Статья Ретшера). От переводчика / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Философские чтения: Статьи, трактаты, полемика. СПб.: Росток, 2011.
7. *Катков М.Н.* Одного поля ягоды / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010.
8. *Катков М.Н.* Кое-что о прогрессе / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
9. *Катков М.Н.* К какой принадлежим мы партии? / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
10. *Катков М.Н.* Польский вопрос // М.Н. Катков. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор. СПб.: Росток, 2011.
11. *Катков М.Н.* Русский вопрос / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор. СПб.: Росток, 2011.
12. *Катков М.Н.* Что нам делать с Польшей? / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор. СПб.: Росток, 2011.
13. *Катков М.Н.* Истинный и разумный патриотизм. Москва, 13 мая 1863 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
14. *Катков М.Н.* Русский вопрос в Европе. Москва, 9 октября 1864 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
15. *Катков М.Н.* Концентрация гимназии не может быть ни на каком предмете, кроме древних языков. Москва, 30 октября 1864 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5: Энергия предприимчивости: Экономика. Образование. Письма. СПб.: Росток, 2012.
16. *Катков М.Н.* Цельность и однородность Русского государства. Москва, 9 ноября 1864 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
17. *Катков М.Н.* «Национальная партия» в России. Москва, 16 июня 1865 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
18. *Катков М.Н.* Историческое значение Москвы как символа основных начал, на которых зиждется государство. Москва, 19 августа 1865 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
19. *Катков М.Н.* Влияние общего духа политики на образ действий отдельных лиц. Москва, 16 сентября 1865 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
20. *Катков М.Н.* Корень всякого зла в России есть внутреннее раздвоение. Москва, 22 января 1866 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

21. *Катков М.Н.* № 61. Москва, 19 марта / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1866 год. М., 1897.

22. *Катков М.Н.* Деятельность князя А.М. Горчакова. Москва, 17 июня 1867 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

23. *Катков М.Н.* Наше варварство – в нашей иностранной интеллигенции. Москва, 27 апреля 1878 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

24. *Катков М.Н.* «Русский народ» и «петербургская интеллигенция» (Ответ К.Д. Кавелину). Москва, 6 марта 1880 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

25. *Катков М.Н.* На Руси не может быть иных партий, кроме той, которая заодно с русским народом. Москва, 12 марта 1881 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор. СПб.: Росток, 2011.

26. *Катков М.Н.* Свобода и власть. Москва, 7 мая 1881 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

27. *Катков М.Н.* Земля и государство. Москва, 17 июля 1881 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

28. *Катков М.Н.* Истинные задачи комиссии для пересмотра учреждений губернского и уездного правления. Самоуправление в Англии и России. Москва, 2 ноября 1881 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

29. *Катков М.Н.* Наша конституция. Москва, 11 мая 1882 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

30. К*атков М.Н.* Достоинство России требует ее полной независимости и отсутствия всяких союзов. Москва, 18 июля 1886 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

31. *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре: Трактаты. М.: КАНОН-пресс; Кучково поле, 1998.

32. *Берк, Эдмунд.* Размышления о революции во Франции. Лондон, 1992.

33. *Шеллинг Ф.В.Й.* Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 2.

34. *Шеллинг Ф.В.Й.* Идеи к философии природы как введение в изучение этой науки. СПб.: Наука, 1998.

35. *Шеллинг Ф.В.Й.* Система мировых эпох: Мюнхенские лекции 1827–1828. Томск: Водолей, 1999.

36. *Шеллинг Ф.В.Й.* Философия откровения. СПб.: Наука, 2000. Т. 1.

37. *Буслаев Ф.И.* Эпизоды из истории Московского Университета // Катков М.Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. СПб.: Росток, 2012.

38. *Галахов А.Д.* Воспоминания о журнальном сотрудничестве М.Н. Каткова в 1839 и 1840 годах // Катков М.Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. СПб.: Росток, 2012.

39. *Дельвиг А.И.* Мои воспоминания. М.: Изд-е Императорского Московского и Румянцевского музея; Т-во «Скоропечатни А.А. Левенсон», 1913. Т. 4.

40. *Иванов И.И.* История русской критики // Фридрих Шеллинг: Pro et Contra: Творчество Фридриха Шеллинга в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001.

41. *Коялович М.О.* Русское самосознание: По историческим памятникам и научным сочинениям. М.: Институт русской цивилизации, 2011.

42. *Ламздорф В.Н.* Дневник 1891–1892. М.; Л.: Academia, 1934.

43. Л*еонтьев К.Н.* Г. Катков и его враги на празднике Пушкина / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.

44. *Леонтьев К.Н.* Записки отшельника. Судьба Бисмарка и недомолвки Каткова / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.

45. *Леонтьев К.Н.* Владимир Соловьев против Данилевского / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.

46. *Леонтьев К.Н.* Достоевский о русском дворянстве / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.

47. *Любимов Н.А.* Михаил Никифорович Катков (По личным воспоминаниям) // Воспоминания о Михаиле Каткове. М.: Институт русской цивилизации, 2014.

48. [*Маркевич Б.М.*] Письма Б.М. Маркевича к гр. А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и др. СПб., 1888.

49. *Мещерский Н.П.* Воспоминания о Каткове (Письма в Тверитино) // Воспоминания о Михаиле Каткове. М.: Институт русской цивилизации, 2014.

50. *Нисбет, Роберт.* Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН, 2007.

51. *Павлов М.Г.* О полярно-атомистической теории химии // Фридрих Шеллинг: Pro et Contra: Творчество Фридриха Шеллинга в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001.

52. *Розанов В.В.* О постановке памятника Каткову / В.В. Розанов // Собр. соч.: в 30 т. Т. 28: Эстетическое понимание истории (1889–1897) – Сумерки просвещения. М.: Республика; СПб.: Росток, 2009.

53. *Розанов В.В.* Катков «как государственный человек» // Катков М.Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. СПб.: Росток, 2012.

54. *Розанов В.В.* Опавшие листья / В.В. Розанов // Собр. соч.: в 30 т. Т. 30: Листва. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010.

55. *Сементковский Р.И.* М.Н. Катков. Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1892.

56. *Соловьев В.С.* Несколько личных воспоминаний о Каткове // Катков М.Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. СПб.: Росток, 2012.

57. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен: в 15 т. Кн. 5. М.: Изд-во соц-эк. литературы, 1960.

58. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992.

59. *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. и писем: в 6 т. Т. 6. М.: Издат. центр «Классика», 2002.

60. *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы. М.: Новости, 1991.

61. *Хомяков А.С.* Церковь одна / А.С. Хомяков // Сочинения: в 2 т. Т. 2: Работы по богословию. М., 1994.

62. *Чичерин Б.Н.* Старая французская монархия и революция / Б.Н. Чичерин // Очерки Англии и Франции. М.: Изд-е К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1858.

63. *Чичерин Б.Н.* Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов. М.: Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1929.

64. *Гайнцева Э.Г.* И.С. Тургенев и «Молодая плеяда» писателей «Русского вестника» 1870 – начала 1880-х годов // И.С. Тургенев: Вопросы биографии и творчества. Л., 1990.

65. *Геллнер Э.* Пришествие национализма: Мифы нации и класса // Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 146–201.

66. *Иванов А.А.* Вызов национализма. Лозунг «Россия для русских» в дореволюционной общественной мысли. СПб.: Владимир Даль, 2016.

67. *Китаев В.А.* От фронды к охранительству: Из истории русской либеральной мысли 50–60-х годов XIX века. М., 1972.

68. *Коплстон Ф.* От Фихте до Ницше. М.: Республика, 2004.

69. *Котов А.Э.* Птенцы гнезда Каткова. СПб., 2013.

70. *Котов А.Э.* «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб.: Владимир Даль, 2016.

71. *Котов А.Э.* «Белый нигилизм» в русской консервативной публицистике второй половины XIX – начала XX века // Тетради по консерватизму. 2017. № 2.

72. *Лазарев В.В.* Шеллинг. М.: Мысль, 1976.

73. *Лубков А.В.* Михаил Катков: молодые годы: монография. М.: МПГУ, 2018.

74. *Маклюэн, Маршалл.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.; Жуковский: КАНОН-пресс Ц; Кучково поле, 2003.

75. П*опов Э.А., Велигонова И.В.* Когда Слово повелевает Империей. М.: РИСИ, 2014.

76. *Пустарнаков В.Ф.* Философия Шеллинга на весах религии, науки и политики // Фридрих Шеллинг: Pro et Contra. Творчество Фридриха Шеллинга в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001.

77. *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография, М., 1941.

78. *Санькова С.М.* Государственный деятель без государственной должности: М.Н. Катков как идеолог государственного национализма: Историографический аспект. СПб., 2007.

79. *Санькова С.М.* Михаил Никифорович Катков. В поисках места (1818–1856). М., 2008.

80. *Смит Э.Д.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004.

81. *Твардовская В.А.* Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978.

82. Тесля А.А. Первый русский национализм… и другие. М.: Европа, 2014.

83. Т*есля А.А.* «Истинно русские люди»: История русского национализма. М.: 2019.

84. *Холмогоров Е.С.* Добрый дикарь на ледяном ветру: Парадоксы консервативного руссоизма во французской и русской мысли // Тетради по консерватизму. 2017. № 1.

85. *Холмогоров Е.С.* Русификация русских. Граф Уваров и третий русский национализм // Тетради по консерватизму. 2018. № 1.

86. *Ермаков Артемий.* «Записки из мертвой школы» [Электронный ресурс] // Русская линия. 2001. 3 июля / Режим доступа: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2001/07/03/zapiski_iz_mertvoj_shkoly

87. *Киселев Дмитрий.* Русофобия: история и современность [Электронный ресурс] // Вести. Ru. 2008. 31 августа / Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=205437

88. *Котов Александр.* «Публицист-идеолог в наши дни воспринимается как мелкая обслуга…» [Электронный ресурс] // Русская Idea. 2019. 29 марта / Режим доступа: https://politconservatism.ru/interview/publitsist-ideolog-v-nashi-dni-vosprinimaetsya-kak-melkaya-obsluga

89. *Любжин Алексей.* Современная школа РФ мертва [Электронный ресурс] // Русская Idea. 2018. 8 июля / Режим доступа: https://politconservatism.ru/interview/sovremennaya-shkola-rf-mertva

90. *Холмогоров Е.С.* Сотворение консерватизма: гордость и предубеждение Эдмунда Берка [Электронный ресурс] // Русская Idea. 2016. 11 августа / Режим доступа: http://politconservatism.ru/articles/sotvorenie-konservatizma-gordost-i-predubezhdenie-edmunda-byorka

91. *Гулыга А.В.* Шеллинг. М.: Молодая гвардия, 1984.

92. *Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В.* Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ, Астрель, 2016.

93. *Лебедева Г.Н.* М.Н. Катков о цивилизационной самостоятельности России // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2016. № 3.

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь философских и политических воззрений М.Н. Каткова, русского национального публициста и политика, носителя взглядов, характерных для политического национализма индустриальной эпохи, проводимых через соответствующий этой эпохе инструмент – газету. Автор приводит аргументы против устоявшихся в литературе суждений о Каткове как нетеоретичном и сиюминутном политическом публицисте, а также против представления о мнимом его «переходе от Гегеля к Шеллингу». Мировоззрение Каткова всегда базировалось на философии Шеллинга, а его публицистика была, по сути, переводом в политику идеи немецкого мыслителя о мире, как о противоборстве и смене центробежного и центростремительного движений. На основе этих идей у Каткова возникает оригинальная концепция русской истории и русской государственности как концентрации политической власти, уничтожения любых посредствующих властей, с целью последующего установления подлинной свободы индивида. В разработке этой концепции Катков, с годами, всё больше отходит от присущей ему как политику «англомании» и ориентации на исторический консерватизм бёркианского типа, создавая свою версию консервативного руссоизма. Политический тоталитаризм доктрин Руссо ставится Катковым на службу обоснованию самодержавных контрреформ, смысл которых он видит в абсолютизации могущества государства. В этом отношении Катков противостоит славянофилам, стремившимся опираться на общественные силы реальной русской истории и отвергавшим сверхцентрализм. При том, что в целом западнически-этатистские взгляды Каткова оказались достаточно односторонними и их влияние в позднейшей русской общественной мысли снижалось, автор полагает сохранившими значение до сего дня суждения публициста направленные против сепаратизма и «государства в государстве», а также сам «катковский миф», ставший важным элементом русского национального сознания.

Ключевые слова: Катков, Шеллинг, Руссо, Бёрк, центростремительность, центробежность, сепаратизм, государство, суверенитет, шеллингианство, национализм, Геллнер, философия, федерализм, славянофилы, русская история, публицистика, свобода, Маркевич.

Yegor Kholmogorov, Essayist. E-mail: holmogorow@yandex.ru

Nationalism of the Centripetal Movement. Political Metaphysics of Mikhail Katkov

Abstract. The article offers the study of the interconnection of political and philosophic views of M.N. Katkov, –Russian national publicist and politician whose views were characteristic of the political nationalism of the industrial epoch and were carried into effect using the relevant tool of the epoch – the journal. The author finds arguments against the established opinion of Katkov as a non-theoretical and short-run political publicist, as well as against the conception of his alleged “transfer form Hegel to Schelling”. Katkov’s views were always based on Schelling’s philosophy and his publicism was as a matter of fact the introduction into the politics the German philosopher’s views on the universe as the struggle and of centrifugal and centripetal movements. On the basis of these ideas Katkov offered an original concept of Russian history and Russian state system as political authority concentration, elimination of all mediate authorities with the goal of further introduction of real freedom if the individual. In developing this concept Katkov over the years drifted farther and farther from his inherent political “Anglomania” and historical conservatism of Burke’s type and created his own conservative version of Rousseau edifice. Katkov used political totalitarianism of Rousseau’s doctrines to substantiate autocratic counter-reforms, the meaning of which he saw in the absolutization of state power. In that aspect Katkov opposed Slavophiles who strived to rely on the public forces of real Russian history and rejected super-centralism. Though Katkov’s “western-statismic” views turned out to be rather one-sided and their influence on the Russian society ideas of the later period decreased, the author considers that Katkov’s ideas directed against separatism and “state within a state” concept are still important, as well as the very “myth of Katkov” that became an important element of Russian national consciousness.

Keywords: Katkov, Schelling, Rousseau, Burke, Centripetence, Centrifugal, Separatism, State, Sovereignty, Schelling’s Philosophy, Nationalism, Gellner, Philosophy, Federalism, Slavophiles, Russian History, Publicism, Freedom, Markevych.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-201-212

Эдуард Попов, Ирина Велигонова

Гражданское общество и государственная власть: новационные социальные технологии М.Н. Каткова

В современном общественно-политическом дискурсе гражданское общество понимается как антипод государственной власти, своего рода адвокат (либерального) общества в противостоянии с государством. Но в истории России были примеры, опровергающие монополию либерализма на генезис гражданского общества, которое зачастую носило консервативно-охранительные одежды и отнюдь не противопоставляло себя государству. Можно вспомнить яркую «обличительную» консервативную публицистику Н.М. Карамзина, направленную против М.М. Сперанского. Можно вспомнить «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, настоящего властителя дум русского общества 1870-х годов. Но все же самым ярким примером консервативного гражданского общества, выраженного через печать, на наш взгляд, служат периодические издания Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887). Уникальность катковских изданий – не только в таланте Каткова-публициста и Каткова-редактора. Как будет показано ниже, Катков был создателем новой социальной реальности – политической роли периодической печати в авторитарной России. «Московские ведомости», – писал известный публицист пореформенной России Н.П. Гиляров, – образовали своего рода департамент, в котором обсуждались и подготовлялись к решению важнейшие вопросы по внутренней и внешней политике – департамент неофициальный, с голосом независимым и не властным, но к звукам которого нельзя было оставаться глухим и которого сила удваивалась настойчивым повторением раз поставленных положений и беспощадною полемикою с противниками, кто бы они ни были и где бы они не стояли, в рядах ли публицистики, на верхних ли ступенях государственной иерархии» [16, с. 14].

Привязка феномена гражданского общества к персоналии одного из самых известных русских консерваторов Михаила Каткова может вызвать недоумение, показаться искусственной или как минимум провокационной. В самом деле, гражданское общество принято связывать с идеологией неолиберализма. Неудивительно, что для консерватора или традиционалиста эта тема представляется табуированной, а само явление – исключительно негативным. Вот что пишет по этому поводу философ-традиционалист А.Г. Дугин: «Гражданское общество – это конгломерат атомарных индивидуумов, комбинирующихся друг с другом произвольным (случайным) образом. <…> Каждый атомарный гражданин следует за своими эгоистическими устремлениями, движимый жаждой комфорта и наслаждений... <…> Задача “гражданского общества” состоит в том, чтобы максимально расширить свободу действий гражданина и ввести в правовые рамки формы столкновения интересов, устранив возможность насильственного разрешения конфликтных ситуаций» [4, с. 286] [в духе излюбленной данным мыслителем методологии децинизма – *Авт.]*.

Попов Эдуард Анатольевич, доктор философских наук, кандидат исторических наук, доцент Ростовского государственного медицинского университета. E-mail: edwardp@yandex.ru
Велигонова Ирина Викторовна, соискатель Южного федерального университета. E-mail: iren.vel@mail.ru

Однако факт остается фактом. Гражданское общество претендует на отстаивание не только индивидуальных, но и *коллективных* прав. Самонадеянные притязания неолибералов на монопольное владение сферой общественных интересов путем социальной самоорганизации нисколько не подкреплены ни историей, ни теорией вопроса. Видный философ политики отмечает: «Стремление людей к формированию своей особой идентичности [в том числе коллективных личностей – общественных групп – *Авт.*] и требование признания этой особой идентичности как условие законности правления не выступает явлением, свойственным исключительно нашему времени, – оно также вечно и универсально, также присуще человеческому роду как различие естественных языков» [3, с. 20]. И странно, что традиционалист Дугин вместо провозглашения священной цели завоевания гражданского общества *изнутри* (бастионы демократии, кажется, уже пали под натиском западноевропейских националистов) продолжает осаду этой крепости.

Не претендуя на полноту раскрытия вопроса, изложим собственное понимание феномена гражданского общества. Гражданское общество – совокупность социальной самоорганизации граждан микро- и макроуровня независимо от государственных институтов. Гражданское общество возникает одновременно с отмиранием традиционных социальных групп (сословий, каст, средневековых корпораций), и потому на него не могут быть возложены характеристики самоуправляющихся сословных или территориальных общин вроде русского мира или дворянских собраний.

Нам близко функционально-социологическое (а не идеологическое, как, например, у упомянутого выше философа-традиционалиста) определение этого феномена: «Под институтами гражданского общества» понимаются «объединения граждан, действия которых направлены на реализацию каких-либо целей и задач, на разрешение собственных, общих для групп проблем» [25, с. 265]. Тем самым нет непреодолимых препятствий придавать ему излишне идеологизированные целеполагания.

Кажется, очевидную истину, что гражданское общество может быть не только либеральным, но и охранительным, и служить целям не только индивидуальным, но и коллективным и даже государственным, начинают осознавать практические деятели, мало знакомые с теорией вопроса, а потому более независимые от методологических штампов. То же журналистское сообщество.

Спор о том, к какому периоду русской истории относить начало процесса становления гражданского общества, тоже приобретает принципиальное значение. Гражданское общество в России – «дар» 90-х годов XX века, а соответственно результат «благотворного» влияния западных идеологий или имеет более долгую историю и является результатом саморазвития русского общества? По нашему мнению, истоки гражданского общества в России стоит искать в середине XIX века, когда Великие реформы Александра II кардинальным образом изменили социальную, правовую и институциональную действительность жизнедеятельности русского общества.

В эфире программы «Исторический процесс» 28 марта 2018 года Дмитрий Киселев сделал интересное наблюдение, имеющее непосредственное отношение к теме и герою нашей статьи. Слова известного телеведущего достойны, чтобы их процитировать: «Михаил Катков был первым политическим журналистом в России, кого озаботило создание у нас гражданского общества. <…> Он требовал от русских быть активными гражданами, фактически он требовал строительства, участия в строительстве гражданского общества» [6].

Действительно, одним из тех, кто стоял у истоков русского гражданского общества в пореформенный период истории России (1860-е – 1870-е годы) был Михаил Никифорович Катков. Значение его для истории Российской империи второй половины XIX века, а возможно, и для истории России в целом сложно переоценить. Для этого достаточно

обратиться к воспоминаниям его современников, которые отзывались о Каткове либо восторженно, либо с неприкрытой ненавистью.

Вот, к примеру, свидетельство Н.С. Лескова: «Он [Катков] будто не видел, как много дров кладет на костер неизбежной в первую голову из-за его же работы русской революции» [14, с. 895]. Другой же современник Каткова, «реакционер» К.Н. Леонтьев предлагал поставить памятник редактору «Московских ведомостей» рядом с памятником А.С. Пушкину, таким образом отметив значение его деятельности для России.

В царствование Александра II Катков стал одним из наиболее влиятельных публицистов и редакторов – в золотой век публицистов и редакторов «толстых» литературно-общественных журналов катковский «Русский вестник» был единственным изданием, в котором разрешалось упоминание имени А.И. Герцена. Катковские «Московские ведомости» обладали приоритетом в опубликовании документов Министерства иностранных дел. Сам М.Н. Катков в 1866 году получил право прямого обращения к императору в особо важных случаях.

Парадоксально, но несмотря на приверженность редактора «Московских ведомостей» идее самодержавия, многие воспринимали его как главного оппозиционера существовавшей власти. По замечанию К.А. Скальковского, Катков «был самым ярким представителем оппозиции, и не было почти случая, когда он был вполне доволен Петербургом, как еще реже, мы думаем, были случаи, когда Катковым были довольны в Петербурге» [23, с. 134]. Катков не ставил знака равенства между идеей и политической практикой. Часто в своих объяснительных письмах он настаивал на преданности императору и престолу, а свои критические статьи по поводу принимаемых политических решений объяснял желанием послужить во благо Отечеству [1].

В царствование же Александра III Катков и вовсе стал идейным вдохновителем политики этого государя. С его именем связана реализация многих реформ (так называемых контрреформ – термин, устоявшийся в общественном употреблении еще в 1880-х годах): введение «Положения о земских участковых начальниках», «Положения об усиленной и чрезвычайной охране», учреждение Крестьянского и Дворянского банков, принятие университетского Устава 1884 года и других.

Важно отметить, что редактор «Московских ведомостей» не занимал правительственных должностей. Его положение и роль в общественно-политическом процессе достаточно четко охарактеризовал Е.М. Феоктистов (начальник Главного управления по делам печати), назвав Каткова «государственным деятелем без государственной должности» [5, с. 74]. Тем не менее в 1882 году Каткову был пожалован высокий (третий в Табели о рангах) чин тайного советника за заслуги [21].

Но одна из важнейших заслуг М.Н. Каткова – создание и организация (институциализация) общественного мнения. В своих воспоминаниях Е.М. Феоктистов высказывал мысль, что с самого начала своей редакторско-публицистической деятельности Катков «задался мыслью влиять на общественное мнение, или, вернее, создать его в таком смысле, чтобы оно могло действовать на правительство, но вместе с тем не становилось бы во враждебные к нему отношения» [5, с. 68]. С этой задачей Катков справился вполне успешно. Издания Каткова стали основой института независимых средств массовой информации, а круг читателей – одной из основ зарождающегося в Российской империи гражданского общества.

М.Н. Катков: становление публициста

Михаил Никифорович Катков родился 1 ноября 1818 года в семье мелкого чиновника, выходца из костромских личных дворян Никифора Васильевича Каткова. Отец скончал-

ся, когда Михаилу было пять лет, и не успел оказать значительного влияния на формирование характера и личности будущего стража империи. Воспитанием Каткова занималась мать, Варвара Акимовна, из обедневшего княжеского грузинского рода Тулаевых. После смерти мужа она была вынуждена отдать младшего сына, Мефодия, на воспитание в семью сестры, Веры Акимовны Верховской, и работать кастеляншей в пересыльной тюрьме. Варвара Акимовна, воспитывавшаяся в доме княжны А.Б. Мещерской, отличалась религиозностью, образованностью и самостоятельностью мышления. Она сумела передать эти качества сыну, а также дать ему не только начальное образование: чтение, письмо, арифметика, французский язык, – но и привить любовь к самому процессу обучения.

В 1834 году Катков поступил на словесное отделение Московского университета. По рассказам современников, уже на первом курсе обучения ответы Михаила приходили слушать старшекурсники [17]. Неудивительно, что университетский курс он окончил в 1838 году с отличием. В студенческие годы Катков увлекся философией и примкнул к кружку известного либерала Николая Станкевича. Особенно близко он сошелся с «неистовым Виссарионом» Белинским и будущим отцом-основателем русского анархизма Михаилом Бакуниным.

После окончания университета Катков стал успешным переводчиком и литературным критиком. Пьеса «Ромео и Джульетта» У. Шекспира в переводе Каткова была приобретена для бенефиса известного актера Мочалова, а его перевод «Гренадеров» Г. Гейне включался в литературные хрестоматии. Высокий уровень владения английским, французским и немецким языками и прекрасный литературный слог гарантировали ему успех в этой деятельности. В это же время Катков сотрудничал с ведущими изданиями того времени – «Московским наблюдателем» Белинского и «Отечественными записками» Краевского – в качестве литературного критика. В 1839 году свет увидели первые критические статьи Каткова, посвященные работе И.П. Сахарова «Русские народные песни» и «Истории древней словесности» М.А. Максимовича.

Тем не менее, прервав успешно складывающуюся карьеру, в начале 40-х годов XIX века Катков совершил долгожданную поездку в Европу для продолжения образования. В Берлине он в течение трех семестров посещал лекции немецкого философа Фридриха Шеллинга.

В 1845 году Катков защитил диссертацию «Об элементах и формах славянорусского языка». Но его филологическая карьера не имела продолжения, так как кафедра русской словесности была занята С.П. Шевыревым. И уже осенью того же года Катков стал адъюнкт-профессором кафедры философии Московского университета. Впрочем, работал в университете он без особого успеха. Зато перу Каткова принадлежат «Очерки древнейшего периода греческой философии» (в двух томах) – первая научная монография на русском языке на эту тему. Вскоре его деятельность в качестве преподавателя была прервана императорским указом 1850 года, запрещавшим преподавание философии лицам не духовного звания.

Поворотным для Каткова стал 1851 год. Попечитель Московского учебного округа В.И. Назимов предложил ему место редактора «Московских ведомостей», печатного органа Московского университета. Каткову удалось достичь коммерческих успехов в издании газеты: были увеличены тираж и число полос, увеличилось и число подписчиков. Газета под его руководством быстро переросла узкие ведомственные рамки и стала первой всероссийской газетой. Но с точки зрения творческой составляющей работы редактора Катков не имел широких возможностей для самореализации. Он писал, что «редакция «Московских ведомостей» поставлена в условия самые неблагоприятные. Она ничего не может предпринять для расширения способов издания. Незначительнейший проект ее должен проходить столько инстанций и подвергаться стольким затруднениям, что и самое горячее

усердие впадает в уныние» [18]. Сложившаяся ситуация привела к тому, что Катков решился на создание собственного печатного органа, а неприятие плотной опеки со стороны «контролирующих органов» впоследствии вылилась в бурную публицистическую и общественную деятельность консерватора-оппозиционера Его Величества.

М.Н. Катков – «создатель» общественного мнения

В 1855 году М.Н. Каткова обратился с докладной запиской к министру народного просвещения А.С. Норову, в которой подробно изложил проект будущего издания, кое должно было «служить посредством между обществом и наукой». Помимо разделов по науке, литературе и т.п. Катков ходатайствовал за создание политического раздела. Это стремление стало причиной длительных переговоров между Катковым и представителями соответствующих ведомств. Сложность заключалась в том, что право обозрения политической жизни России в тот период развития отечественной журналистики являлось привилегией[1]. Даже «Московские ведомости» начала 50-х годов XIX века, обладавшие этим правом, занимались перепечаткой передовиц из «Санкт-Петербургских ведомостей». Но уже ощущалось веяние либерального времени; русское общество все сильнее интересовалось политикой. В своих воспоминаниях многолетний сотрудник Каткова Н.А. Любимов отмечал: «События времени вызывали особенный интерес к сообщению политических новостей и суждений… сильно обозначившаяся уже потребность во внутренних преобразованиях, при участии общественного мнения и гласного обсуждения вопросов государственной важности, требовала внесения в умственный обиход общества целой массы понятий политического свойства» [18].

31 октября 1855 года император Александр II подписал разрешение на издание Катковым журнала «Русский вестник». Событие это стало эпохальным явлением в русской литературе. Как мы считаем, 31 октября с гораздо большим основанием может считаться днем рождением российской печати, нежели 5 мая. В самом деле, практически все наиболее значительные литературные произведения второй половины XIX века были опубликованы впервые именно «Русским вестником». Например, романы «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867) И.С. Тургенева; «Война и мир» (1865–1869), «Анна Каренина» (1875–1877) Л.Н. Толстого; романы «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871–1872), «Братья Карамазовы» (1879–1880) Ф.М. Достоевского; роман «На ножах» (1870–1871), роман-хроника «Соборяне» (1872), повесть «Запечатленный ангел» (1873) Н.С. Лескова. Тем самым Катков и его издания прочно вошли в историю русской словесности. Особенно если учесть, что вклад Каткова-редактора был отнюдь не механическим. Хорошо известно, что редактор «Русского вестника» принял участие в редактировании романов Достоевского – «Преступление и наказание» и «Бесы», романа Тургенева «Отцы и дети» и других.

Что не менее важно, разрешение на издание журнала дало Каткову право на публичное обсуждение событий политической жизни Российской империи. С этой целью в журнале были объединены авторы различных, порой противоположных, идейно-политических ориентаций. С «Русским вестником» сотрудничали братья И.С. и К.С. Аксаковы, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.В. Анненков, Н.П. Огарев, Н.Х. Кетчер, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.Ф. Писемский и многие другие видные ученые, писатели, публицисты середины – второй половины XIX века.

Катков сделал «Русский вестник» средством массовой информации в масштабах империи. Вместе с этим именно «Русский вестник» превратил Каткова в известного на всю

[1] Только после публикации в ноябре 1857 года рескрипта Назимова печать впервые получила возможность публично обсуждать проекты проводимых преобразований, в первую очередь по вопросу об отмене крепостного права.

страну публициста и редактора. Во многом этому способствовала продуманная концепция издания. На его страницах публиковались материалы различной тематики: культура, экономика, политика. Одной из важнейших функций издания была просветительская. В годы подготовки преобразований в нем размещались трактаты о должном устройстве общественных институтов (суд присяжных, предпринимательство и др.). Журнал содержал приложение – политическое обозрение «Современная летопись», задача которого состояла в освещении внешне- и внутриполитических событий. Отличительной чертой издания было отсутствие необходимости идейной самоидентификации для читателя в системе координат «консерватор – либерал». Политическая программа раннего «Русского вестника» была отражением политического мировоззрения Каткова, основанного на признании самодержавия как единственно возможной формы организации власти в России, а реформ – как единственно возможного пути развития.

Катков первым среди русских публицистов осознал широкие возможности, которые открывались перед печатью в реформируемой России. «Пора канцелярских преобразований и кабинетского прогресса сменяется новой, когда живые силы общества должны развить свое действие в устройстве нашего быта» [12, с. 1]. Используя этот подход к оценке русской действительности, он выстраивал свою деятельность в период второго редакторства в «Московских ведомостях» (1862–1887). В результате начала формироваться новая для России модель взаимоотношений между властью и обществом. В ней **независимая печать была призвана выполнять роль проводника между ними**. Катков полагал, что «правительство одушевляемое истинно благими намерениями, правительство сознательное и просвещенное не может не чувствовать благородной потребности слышать самостоятельное и свободное мнение» [24, с. 1].

Возникновение общественного мнения Катков считал одним из важнейших итогов преобразований, проводимых в царствование Александра II. Свою роль и роль своих изданий в этом процессе он оценивал достаточно скромно, но в то же время с осознанием взятой на себя исторической роли: «Нам только досталась первинка нового на Руси дела, – честь послужить на первых порах серьезным органом русского мнения» [10, с. 2].

Несомненно, что публицистический и редакторский талант Каткова раскрылся в условиях, благоприятных для развития. Но успех Каткова был вполне рукотворен и сознателен. Помимо таланта и колоссальной работоспособности у этого успеха был и другой отец: народное мнение. «Народное чувство обмануть нельзя, – писал об этом сам Катков, – по крайней мере, нельзя обманывать его продолжительно. Если бы в нашей деятельности не видело оно верного и искреннего служения тому, что для него дорого и свято, то деятельность наша утратила бы всякое значение» [9, с. 2].

Идейные ориентиры и задачи русского гражданского общества: «программа» Каткова

Общественное мнение, способное вести диалог с властью и оказывать на нее воздействие, и независимые средства массовой информации, которые формируют и транслируют общественное мнение, являются одними из важнейших слагаемых гражданского общества.

В Российской империи вплоть до второй половины XIX века взаимоотношения этих институций еще не были оформлены. С одной стороны, общественное мнение всегда было влиятельным социальным институтом царской России. Вспомним хотя бы историю отставки М.М. Сперанского под влиянием консервативной пропаганды Н.М. Карамзина [15], нашедшей сочувственное восприятие в консервативных кругах русского дворянства и аристократии. Катков был далеко не первым, кому удалось поставить общественное мнение

на службу общественному благу – в его понимании последнего. Новаторство и, если угодно, заслуга Каткова были в другом. Говоря современным языком, он применил новые для того времени в России технологии выражения общественного мнения, связав его с набиравшим вес социальным институтом – периодической печатью. Печать была влиятельным институтом в Британии, Франции, ряде других стран, но не в Российской империи. Катков же сделал ее инструментом выражения общественного мнения, чего ранее не удавалось ни одному изданию. Однако и это не все. Сам Катков, смиренно выражавший свою миссию как служение «народному чувству», вероятно, несколько лукавил. Поскольку не мог не понимать, что народное мнение в изрядной степени формируется им самим. По словам Каткова, общественное мнение в начале 60-х годов XIX века не имело никакой внутренней силы и было отдано на произвол случайных влияний [12, с. 1]. Не угождение, а воспитание народного мнения – негласная программа Каткова носила явно дидактический оттенок. Катков посредством своих статей и публикуемой на страницах его изданий беллетристики стремился создать систему идейных ориентиров для русского пореформенного общества. В этой системе самодержавие и реформы выступали в качестве положительных «начал», противопоставляясь революции и нигилизму. Укажем в качестве образца общественно-воспитательного воздействия публицистики Каткова на его полемику с Герценом. О ней в своих воспоминаниях князь Н.П. Мещерский писал: «Вдруг грянул гром. Среди раболепного безмолвия послышалась речь Каткова, твердая, мудрая, властная… Камень, брошенный мощной рукой, попал прямо в цель… Лондонский кошмар исчез. Оставался тот же Герцен, печатался тот же «Колокол», но значение его было утрачено – его не читали» [19, с. 5–6].

По мнению Каткова, основу русской жизни составляла идея самодержавной власти как объединяющего начала для этнического, языкового, религиозного многообразия империи. «Все эти разнородные племена, эти разнохарактерные области, лежащие по окраинам великого русского мира, составляют его живые части и чувствуют единство с ним в единстве государства, в единстве верховной власти – в Царе» [12, с. 1].

И вместе с этим разоблачение устремлений русских революционеров наряду с разоблачением нигилизма занимает ведущее место в публицистике Каткова. В статье «Кто наши революционеры? Характеристика Бакунина» [20] он осуждает русских революционеров за их «иностранность» (так как центры пропаганды революционного движения находились за границей), их «патриотизм», который состоял в стремлении к разрушению государства. Катков дает уничижительную характеристику личности Бакунина[1] и его деятельности по пропаганде анархизма. Русских революционеров он считает главными врагами российского государства, так как их главная цель – его уничтожение.

Задача общественного организма, по мнению Каткова, – жить и действовать в интересах положительных «начал». И на страницах своих изданий он формулировал и пропагандировал принципы, на основе которых русское общество должно было решать эти задачи.

Центральное место в катковской «программе» занимал принцип истинного и разумного патриотизма. На основе анализа внешнеполитического и военного противостояния Англии и Франции Катков показывает сущность истинного патриотизма, заключенную в латинском выражении para bellum, si vis pacem[2]. Истинный и разумный патриотизм состоит не в готовности к всевозможным жертвам народа, а в предусмотрительности, в том, чтобы заранее быть готовым отразить внутреннюю либо внешнюю угрозу. «Мы должны принимать меры для обороны <…>, когда опасность не висит на носу» [7, с. 1].

[1] Примечательно, что в конце 30-х – начале 40-х годов XIX века Катков был тесно знаком с Бакуниным (по кружку Н.Х. Кетчера и Н.П. Огарева), был о нем высокого мнения и почитал за друга. Изначально расхождение между Катковым и Бакуниным было вызвано не идейно-мировоззренческими факторами, а личным конфликтом.

[2] Хочешь мира – готовься к войне (*лат.*).

Очень современно звучит сегодня катковская оценка готовности и способности русского общества к самоорганизации вне пределов государственных институтов. «Наше общество не привыкло к самодеятельности, и русские люди не вдруг обнаруживают энергию и находчивость в общественном деле», – отмечал Катков [7, с. 1]. Но лишь своевременное реагирование общества на внутренние или внешние вызовы позволяет ему быть не только участником этих событий, но и влиять на их ход. Это наглядно доказали события 1863 года в Царстве Польском и Восточный кризис второй половины 70-х годов XIX века.

В ходе этих событий Михаил Катков выступил не только как «создатель» общественного мнения, но и как *идейный организатор* русского гражданского общества.

Польское восстание 1863 года: М.Н. Катков и русское гражданское общество в борьбе за суверенитет Российской империи

Одним из самых заметных событий второй половины XIX века стало восстание в Царстве Польском 1863 года, сильно романтизированное самими поляками и российскими либералами. Причины Польского восстания Катков видел в либерализации политики властей в Западном крае. В своих статьях он обращал внимание на то, что в результате проводимого правительством политического курса в отношении Царства Польского были созданы условия для спокойного развития. Политика самодержавного правительства была направлена на формирование культурной автономии в регионе. В Царстве Польском был закреплен приоритет поляков в сфере административного управления, предоставлена возможность преподавания на польском языке в школах, создан университет. Тем не менее Катков отмечал парадоксальность ситуации. Вместо того чтобы открыть путь для поступательного развития, эти преобразования поставили Российскую империю на грань распада. В то время «когда над этим краем тяготела строгая и крепкая рука, он был спокоен» [8, с. 1]. С первых дней восстания Катков занял позицию отстаивания национальных, общегосударственных интересов Российской империи в Царстве Польском. «Московские ведомости» оказались, по большому счету, единственным изданием, на страницах которого на протяжении всего восстания неизменно говорилось о том, что Царство Польское – это часть Российской империи. Следовательно, ни о какой самостоятельности речи этого региона быть не может. По мнению Каткова, «угождение национальному чувству в Царстве Польском станет гибелью и для Польши, и для России» [13, с. 1].

Неудивительно, что именно такая позиция, великодержавная и имперская, нашла поддержку в русском обществе. А.И. Георгиевский вспоминал, что «передовые статьи «Московских ведомостей» вызвали к ним [редакторам газеты] всеобщее сочувствие как в Москве, так и в целом в России. Ежедневно утром целые массы народа толпились перед редакцией в ожидании, что кто-то из грамотеев, присланный за получением «Московских ведомостей», прочтет толпе только что отпечатанную статью по польскому вопросу» [2, с. 166]. Стоит ли говорить, что подобной популярности позавидовали бы многие популярные сегодня блогеры. Особенно если учесть, что популярность и авторитет Каткова-публициста сохранялись на протяжении четверти столетия...

Но русское общество не только проявило сочувствие редакторам «Московских ведомостей», которые служили в то время главным эпицентром центростремительного движения по объединению атомизированного мнения русского патриотического большинства. Весной 1863 года началась кампания по составлению адресов на имя императора. Эту кампанию, пожалуй, можно рассматривать как один из первых примеров самоорганизации русского общества и его деятельности по защите своих интересов вне системы органов государственной власти.

Совместно с И.С. Аксаковым Катков выступил в качестве эксперта в написании адреса московского дворянства. В составлении адреса Подольского уезда Катков участвовал непосредственно. Эти и ряд других адресов были вручены императору Александру II 17 апреля 1863 года. Разбуженное Катковым общество выражало императору свою поддержку в решение «польского вопроса». Во многом именно эти акции (передовицы Каткова в «Московских ведомостях» и их огромный резонанс в обществе, подача адресов) подтолкнули правительство к решительным мерам: не только в части подавления восстания[1], но, что немаловажно, в борьбе против иностранного вмешательства в дела Российской империи.

Стремление европейских держав вмешаться в решение «польского вопроса было существенной частью возникшего в 1863 году конфликта. Причину этого стремления Катков определял следующим образом: «Европейские державы, поколебав наше значение на Востоке, были бы не прочь довершить начатое и восстановлением Польши низвести нас со степени великой державы» [8, с. 1]. В апреле 1863 года послы Англии, Франции и Австрии обратились к русскому министру иностранных дел князю А.М. Горчакову. Общий смысл заявлений, звучавших со стороны Европы, сводился к следующему: необходимо установить мир в Царстве Польском. Подразумевалось, что при установлении этого мира будут максимально учтены интересы прежде всего поляков. Летом же 1863 года Франция и Англия выступили с требованием созыва международной конференции для решения вопросов будущего устройства Царства Польского. Высказываемые европейскими державами претензии не нашли отклика в русском обществе. На страницах «Московских ведомостей» Катков неизменно доказывал и обществу, и правительству, что польский вопрос – это внутреннее дело Российской империи, а потому привлечение европейских стран к разрешению конфликта бессмысленно. Всей силой своего публицистического таланта он призывал не обращать внимания на заявления иностранных держав о неправомерности действий русской администрации в Западном крае. «Наши действия должны быть направлены не к тому, чтоб угодить той или другой державе, задобрить тот или другой оттенок общественного мнения Европы, или смягчить тон той или другой закупленной против нас французской газеты, а к подавлению мятежа во что бы то ни стало» [13, с. 1].

Все это вкупе вызвало новую волну патриотического движения. Во многом именно поддержка со стороны значительной части общества придала решительности российскому правительству и дипломатии. В июле 1863 года доселе колеблющийся глава Министерства иностранных дел князь А.М. Горчаков отверг требования Англии, Франции и Австрии о созыве международной конференции для решения «польского вопроса». Европейские державы вынуждены были согласиться с решительным ответом России. Вместе с этим они, возможно впервые, убедились, что Российская империя – это не только правительствующий Петербург, которому русское общество выказывает «поддержку» посредством несения воинской повинности. В 1863 году русское общество выступило в качестве самодостаточного организма, способного решать государственные задачи.

Важно, однако, отметить, что М.Н. Катков выступал прежде всего как идейный организатор русского гражданского общества, в отличие, например, от И.С. Аксакова, создателя и руководителя Московского славянского комитета, который можно рассматривать как одно из первых институционально оформленных проявлений русского гражданского общества. В 70-х годах XIX века под давлением этого «союза» российское правительство решилось на военные действия на Балканах.

[1] В мае 1863 года генерал М.Н. Муравьев был назначен военным губернатором Северо-Западного края. Именно с его назначением связано начало активных действий российского правительства по подавлению восстания.

Русское общество и Восточный кризис второй половины 70-х годов XIX века

Восточный вопрос (в тогдашней терминологии русской внешнеполитической мысли – положение христиан в Османской империи и земель погибшей Восточно-Римской (Византийской) империи) на протяжении всего XIX века являлся одним из центральных для внешнеполитических ведомств большинства европейских стран и Российской империи. Постепенно теряющая силу Турция с трудом сдерживала набирающее силу движение за независимость балканских народов. Усиление влияния России на Балканах было нежелательно для Европы. В то же время для Российской империи проникновение на Балканы открывало возможность установления контроля над проливами и превращения Черного моря во внутреннее море России.

Вместе с этим в восприятии русского общества Восточный вопрос был в некотором смысле вопросом «личным». Катков, оценивая события 1876 года на Балканах, писал: «Повсюду в Европе внимание было поглощено восточным кризисом, но в России не просто внимание общества, а вся душа народа была захвачена поднявшейся на востоке борьбой. Для русского народа эти события были его внутренним делом» [11, с. 1].

И правящие круги Российской империи, и русское общество осознавали необходимость оказать поддержку славянским народам в их борьбе против турецкого владычества. Но уникальность ситуации второй половины 70-х годов XIX века для российской истории состояла в том, что русское гражданское общество приняло активное участие в решении возникшего на Балканах гораздо раньше, чем официальная Россия. В то время как власть, связанная международными обязательствами и ввиду этого придерживающаяся политики нейтралитета, стремилась к дипломатическому разрешению конфликта, в обществе возникло массовое добровольческое движение в поддержку восставших Черногории, Боснии, Сербии.

Значительную роль в организации этого движения сыграл Московский славянский благотворительный комитет под руководством И.С. Аксакова. С июля по октябрь 1876 года в Сербию направилось несколько тысяч русских добровольцев – военных (примерно 5–6 тыс. человек, как правило, кадровых военных), медиков, журналистов. Помимо этого, комитет занимался сбором денежных пожертвований в пользу восставших. Целью этого движения Аксаков видел прежде всего помощь славянским народам в борьбе против турецкого господства.

В то же время восточный кризис становится одной из ключевых тем публицистики Каткова во второй половине 70-х годов XIX века. Не отрицая того, что поддержку славянским народам на Балканах необходимо было оказать в силу этнической и конфессиональной близости, Катков рассматривал участие России в разрешении возникшего конфликта как защиту национальных интересов империи. Поэтому Катков, поддерживаемый «партией «Московских ведомостей» (как часто во второй половине XIX века называли сторонников знаменитого публициста), высказывался о том, что участия добровольцев в этом конфликте недостаточно, и на страницах своих изданий делал все возможное, чтобы добиться изменения позиции официальной России.

С момента начала восстания в Герцеговине летом 1875 года в «Московских ведомостях» и в другом, не менее известном издании Каткова – «Русский вестник» регулярно появляются материалы, описывающие события на Балканах: материалы собственных корреспондентов и иностранных газет, воззвания Московского славянского комитета и обращения общественных и политических деятелей Сербии, Черногории, Болгарии к России. Все это формировало представление русского общества (так сказать, общественную атмосферу) о ситуации на Балканах.

На протяжении 1875 года позиция Каткова по вопросу решения восточного кризиса основывается на признании приоритета мирных путей разрешения конфликта. По его мне-

нию, мирное разрешение конфликта возможно при совместной дипломатической работе европейских государств и России. С изменением международной обстановки меняется и позиция Каткова. В одной из передовиц «Московских ведомостей» он писал, что Россия, выразив желание действовать совместно со странами Европы с целью мирного разрешения кризиса, «отреклась от своих исторических задач и всегдашнего сочувствия восточным христианам», а потому «жертвует своим значением среди славянства» [22, с. 173]. Европейские государства все меньше выражали истинное желание к сотрудничеству с Россией. Вскоре на страницах газеты появились высказывание о возможности вступления России в войну [20, с. 1]. Катков начинает помещать все больше материалов о русском движении в поддержку славян (в некотором смысле психологически воздействуя и на общество, и на правительство). Он пишет, что «заговорило народное чувство», с которым «надобно будет считаться» [22, с. 173].

Постепенно Катков убеждается, что совместные действия европейских государств не могут изменить ситуации на Балканах. В связи с этим он писал, что «потребовать Турцию к ответу может не Европа, а одна из держав ее. А если наступит пора действовать, то кому же как не России?» [22, с. 173].

Катков, с одной стороны, идейно организовывал и поддерживал общественные усилия в их стремлении оказать помощь славянским народам на Балканах. С другой стороны, редактор «Московских ведомостей» требовал от российского правительства решительных мер на Балканах с учетом национальных интересов. С развитием добровольческого движения, с изменением тона публикаций Каткова, с усилением общественного давления российское правительство (в очередной раз) получило необходимую поддержку для принятия определенного политического решения. 12 апреля 1877 года Российская империя объявила войну Турции.

Очевидно, что на протяжении второй половины XIX века в Российской империи набирал силу процесс становления гражданского общества. Общественное мнение постепенно становилось фактором принятия политических (внутренних и внешних) решений. Деятельность русского гражданского общества приобретала организационную оформленность вне рамок правительственных институтов в виде независимых органов периодической печати, благотворительных организаций и т.п. Значительная роль в этом процессе принадлежала М.Н. Каткову. Посредством своих изданий он формировал идейные ориентиры для русского гражданского общества (самодержавие, патриотизм). В связи с этим издания Каткова выполняли роль общественного института, посредством которого общественное мнение консолидировалось и приобретало четко очерченную форму. В то же время сам Катков выступал больше в роли *идейного* организатора русского гражданского общества, освещая в своих статьях события жизни Российской империи «в свете русских национальных интересов». Тем не менее роль М.Н. Каткова не сводилась к роли сугубо пропагандистской. Сообщество читателей «Московских ведомостей» и «Русского вестника» становились неформализованной, но не менее влиятельной общественной силой того времени. Что подтверждает (самый яркий, но не единственный пример) изменение политики русского МИДа в ходе Польского восстания 1863 года, как и во время восточного кризиса второй половины 70-х годов XIX века, вызванное ощущением мощной поддержки русского консервативного большинства, главным трибуном которого выступил энергичный редактор популярнейших изданий того времени.

Литература

1. ГАРФ. Ф. 1718. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 5.
2. ОР РГБ. Ф. 120. Ед. хр. 56. Л. 1.
3. *Георгиевский А.И.* Тютчев в 1862–1866 гг. // Ф.И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М.: Бизнес и книга, 1999.
4. *Грей Дж.* Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М.: Праксис, 2003.
5. *Дугин А.Г.* Философия политики. М.: Арктогея, 2004.

6. За кулисами политики / Е.М. Феоктистов, В.Д. Новицкий, Ф. Лир, М.Э. Клейнмихель. М.: Фонд Сергея Дубова, 2001.

7. *Катков М.Н.* Истинный и разумный патриотизм // Московские ведомости. 1863. № 103.

8. *Катков М.Н.* Достоинство России требует ее полной независимости и отсутствия всяких союзов // Московские ведомости. 1886. № 197.

9. *Катков М.Н.* Кто наши революционеры? Характеристика Бакунина // Московские ведомости. 1870. № 4.

10. *Катков М.Н.* По поводу Высочайшего Манифеста Царству Польскому и Указа Сенату относительно смежных с Царством Польским губерний // Московские ведомости. 1863. № 71.

11. *Катков М.Н.* Об отношениях России к Папе и его притязаниях в польском вопросе // Московские ведомости. 1863. № 127.

12. *Катков М.Н.* Право публичного обсуждения государственных вопросов есть служение государственное // Московские ведомости. 1866. № 151.

13. *Катков М.Н.* Русское народное движение минувшего года // Московские ведомости. 1877. № 4.

14. *Катков М.Н.* Русская политическая печать // Московские ведомости. 1866. № 65.

15. *Катков М.Н.* Самодержавие Царя и единство Руси // Московские ведомости. 1863. № 79.

16. *Катков М.Н.* Слабы не силы наши, а слабы наши мнения. Необходимо подавить восстание // Московские ведомости. 1863. № 83.

17. *Лесков Н.С.* На смерть М.Н. Каткова // Звенья: Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. М.; Л., 1934. Т. III–IV.

18. *Лотман Ю.М.* Карамзин. Сотворение Карамзина: Статьи и исследования. 1957–1990: Заметки и рецензии. СПб., 1997.

19. *Любимов Н.А.* Михаил Никифорович Катков (По личным воспоминаниям) // Русский вестник. 1888. № 1.

20. *Любимов Н.А.* Михаил Никифорович Катков. (По личным воспоминаниям) // Русский вестник. 1888. № 2.

21. *Мещерский Н.П.* Воспоминания о М.Н. Каткове // Русский вестник. 1897. № 8.

22. *Победоносцев К.П.* Письма к Александру III. М., 1925. Т. 2.

23. *Рыбаченок И.С.* Восточный кризис 1875–1878 гг. и русско-турецкая война на страницах газеты «Московские ведомости» // Россия и восточный кризис 70-х гг. XIX в. / под ред. И.А. Федосова, В.Г. Карасева, Н.С. Киняпиной, Б.Н. Билунова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

24. *Скальковский К.А.* Наши государственные и общественные деятели. СПб., 1890.

25. Современная летопись / М.Н. Катков // Русский вестник. 1859. № 6.

26. *Халий И.А.* Институты гражданского общества в современной России. К методологии изучения // Россия реформирующаяся: Ежегодник. М.: Институт социологии РАН, 2007. Вып. 6.

Аннотация. Гражданское общество неверно понимается как антипод государственной власти. В истории России имеются неоднократные примеры использования независимой печати (одного из важных институтов гражданского общества) для укрепления царской власти. Значительная роль в оформлении института независимой печати принадлежала М.Н. Каткову. С помощью своих изданий он формировал идейные ориентиры для русского гражданского общества (самодержавие, патриотизм). Издания Каткова выполняли роль объединителя патриотических сил общества и одновременно поддерживали царскую власть на международной арене. М.Н. Катков сумел создать широкую и разностороннюю сеть корреспондентов. Его издания были самыми читаемыми в России.

Ключевые слова: М.Н. Катков, «Великие реформы», «контрреформы», гражданское общество, независимая печать, «Русский вестник», «Московские ведомости».

Edward A. Popov, PhD in Philosophy, MA in History, Associate Professor, Rostov State Medical University. E-mail: edwardp@yandex.ru

Irina V. Veligonova, Competitor for an Academic Degree, Southern Federal University. E-mail: iren.vel@mail.ru

Civil Society and Government Power: Innovative Social Technologies of M.N. Katkov

Abstract. Civil society is misunderstood as an antipode of state power. In the history of Russia there are numerous examples of the use of independent press (one of the important institutions of civil society) to strengthen the tsarist government. The significant role in the design of the Institute of independent press belonged to M.N. Katkov. Through his publications he formed the ideological orientation of the Russian civil society (monarchy, patriotism). Katkov's publications served as unifier of the patriotic forces of society and at the same time supported the tsarist government in the international arena. M.N. Katkov managed to create a wide and versatile network of correspondents. His publications were the most widely read in Russia.

Keywords: M.N. Katkov, “Great Reforms”, “Counter-reforms”, Civil Society, Independent Press, “Russian Bulletin”, “Moscow Gazette”.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-213-221

Ася Трофимова (Брутян)

Эволюция социально-политических взглядов М.Н. Каткова

Творчество одного их ярких консервативных мыслителей – Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887), русского публициста, общественного деятеля, редактора «Русского вестника» и «Московских ведомостей», долгие годы реально влияло на политическую практику России. В 1850–1880-х годах он был одним из главных вдохновителей и организаторов русской национальной политики, вождем и идеологом охранительного движения. И сегодня изучение и анализ политической теории М.Н. Каткова представляется актуальным в контексте более глубокого понимания идейно-духовных основ консервативной идеологии.

Р.И. Сементковский в работе «М.Н. Катков. Его жизнь и литературная деятельность», отмечая характерную для редактора «Русского вестника» неустойчивость воззрений, коротко заключил свое мнение о нем в емкую формулу: «загадка М.Н. Каткова» [1, с. 247].

Эта «загадка» связывается, как правило, в представлении многих с «ренегатством», с поворотом Каткова от либерализма к консерватизму. Б.Н. Чичерин давал такую характеристику Каткову: он легко переходил от одной крайности в другую, сегодня «покрывая позором то, что он возвеличивал вчера», поддерживал то, что доставляло ему выгоду и то, что хорошо оплачивалось, ему нужны были власть и влияние в обществе. Чичерин был убежден в том, что в то время, «когда Катков думал, что можно получить власть, опираясь на общественное мнение, он был рьяным либералом, но как только он понял, что выгоднее опираться на правительство, он сделался главным представителем реакции», «сами принципы менялись у Каткова по воле ветра» и «вызывались чисто практическими потребностями, к которым примешивались и личные расчеты» [2, с. 123].

Многие современники и позже исследователи творчества М.Н. Каткова объясняли изменение его убеждений финансовыми трудностями, чрезмерным самолюбием и амбициозностью, желанием получить «доходное место», стремлением быть всегда в центре внимания, повышенной нервозностью и даже сумасшествием. Интересным в этой связи является замечание Герцена: «...издателя “Московских ведомостей” скоро придется навещать в больнице бритого и под капелью» [3, с. 110], так же, как и мнение Твардовской о том, что в конце своей карьеры Катков «предстает умственно и нравственно деградирующим» [4, с. 270].

Американский исследователь Мартин Катц, анализируя личность Каткова, несмотря на интересные наблюдения, касающиеся его «консервативного западничества», однако акцентирует основное внимание именно на субъективных аспектах эволюции взглядов мыслителя, отмечая наличие у него таких черт как тщеславие, нетерпимость, фанатизм, и подчеркивая его излишнюю мнительность, необузданность нрава [5, с. 12].

Трофимова (Брутян) Ася Левоновна, кандидат политических наук, доцент кафедры истории и теории социологии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: abroutyan@mail.ru

На самом деле изменение мировоззрения Каткова, которого Бердяев называл человеком «трезвым, позитивным, умело нащупывавшим реальную почву под ногами» [6, с. 247], не было неожиданностью и обуславливалось требованиями времени. Нельзя забывать, что Катков всегда, на протяжении всей своей жизни охранял исконно русские начала, выраженные еще графом С.С. Уваровым в формуле «Православие – Самодержавие – Народность», которые и являются основополагающими постулатами русского консерватизма.

В 30-х годах XIX века большую популярность в среде молодежи приобрел немецкий идеализм. Почти все члены кружка Станкевича, в который входил и юный Катков, были увлечены взглядами Гегеля, в особенности его диалектикой борьбы и идеей «гражданской ответственности» в искусстве. Катков же в этот период был под впечатлением философии Шеллинга и поэтому выбрал в качестве сотрудничества с членами кружка именно тот аспект гегельянской мысли, который меньше всего противоречил его шеллингианским убеждениям. Он уделял особое внимание эстетическому выражению индивидуального духа, а также согласованию субъективного и объективного как высшей стадии самосовершенствования Абсолюта. В это время Катков приходит к отрицанию борьбы как идеи, отчуждения как концепции и все больше склоняется к идее согласования и, наконец, органического единства в глубоком национальном смысле [5, с. 102].

Вскоре публицист почувствовал неудовлетворенность ранней шеллингианской натурфилософией. В результате Катков, после знакомства с самим философом в Берлине, осуществляет анализ своих ранних взглядов и приходит к более широкой мистической и идеалистической теории «позднего» Шеллинга, что выразилось в критических литературных произведениях публициста [7, с. 68]. Именно в этот период зарождается тот религиозно-нравственный идеал, который и станет основополагающим моментом политической философии Каткова. Теперь он увлекается шеллингианской идеей Бога как верховной силы мира, его все больше привлекает трансцендентальная философия Шеллинга, с помощью которой Шеллинг пытался соединить германский идеализм с христианством. Катков тоже стремится «соединить позднюю положительную философию Шеллинга с православной религией» [8, с. 218–220].

В этот период Катков, с одной стороны, восхвалял поэмы о богатырях, но, с другой стороны, осуждал допетровскую Россию. Западническая ориентация Каткова нашла свое полное выражение в его отношении к эпохе реформ Петра Великого. Катков категорически отрицал, что Россия имела литературу до Петра Великого, он считал элементы русского письма, которые существовали в допетровскую эпоху, отражением восточного инфантилизма. Только после Петра, по мнению Каткова, Россия начала достигать самостоятельности: «Только с Петра возникла Россия, могучее исполинское государство. Только с Петра русский народ стал нацией, стал одним из представителей человечества... А до Великого у нас не было ни искусства в собственном смысле этого слова, ни науки» [9, с. 43–44].

В те годы Катков очень часто обращался к опыту Запада, в частности, к английской модели политического устройства. Англия в XIX веке являлась страной наиболее развитой, в которой были обеспечены права и свободы индивидов, развита система местного самоуправления, монархия не мешала экономическому развитию и, наоборот, развитие экономики не препятствовало господству монархической формы власти. Главное, что привлекло М.Н. Каткова в английской модели, это постепенное укоренение новых принципов, а не насильственный переворот, который был, по его мысли, обречен на провал. Именно поэтому ряд институтов, существовавших в Англии, Катков брал за образец и хотел создать такие же в России.

Но даже в пылу юношеского восхваления Англии и ее политических институтов Катков считал, что невозможно просто перенести английские политические институты в

Россию, нужно всегда учитывать исторические особенности страны. А особенности России были таковы, что «всякое преобразование и усовершенствование могло происходить только на основании существующего, с сохранением всех его важных элементов» [10, с. 8].

Еще в 1839 году Катков выступал в защиту самодержавия. Говоря о монархии, Катков поднимался до поэтического пафоса: «...солнце озарило дивное зрелище, озарило дивную монархию, какой еще не видало человечество». В словах о «государстве, предназначенном свыше управлять кормою человечества» [10, с. 88], нетрудно усмотреть зародыш будущих консервативных взглядов Каткова.

Катков хотел, чтобы монархия не препятствовала самостоятельности, свободе индивида, допускала ее в разумных пределах, потому что главное для Каткова – это «эго» индивида и свобода личности, чувство личной независимости, достоинство и самоуважение. Именно в этом нашел свое выражение романтический, эстетический индивидуализм Каткова, его идея «чистого искусства».

Отталкиваясь от этого, от тезиса о свободе личности, Катков выступает за предоставление большей свободы частной инициативе как источнику реформ. Катков видел в реформах необходимое средство для модернизации России, которое бы привело к укреплению страны и ее государственного строя.

Но в связи с тем, что в 1860-х годах в России сложилась напряженная политическая обстановка, резко обострился национальный вопрос, Каткову пришлось изменить акценты в своем мировоззрении. В это время на окраинах страны активизировались силы, стремившиеся к отделению от Российской империи, национальная интеллигенция Польши усилила борьбу за независимость. В январе 1863 года вспыхнуло национально-освободительное восстание, вызванное стремлением поляков к восстановлению национальной независимости своей страны и вышедшее за границы Польши. Катков уже чувствует опасность для единства и целостности Российской империи [11, с. 469–506]. Тем более что в это время в стране также возникает радикально-революционная интеллигенция, необыкновенную популярность приобретают деструктивные идеи, а слово «нигилист» превращается в гордое имя «поднимающегося разночинства» [12, с. 15–16].

М.Н. Каткова пугал нигилизм в России, где все было так неустойчиво. Он видел, что нигилизм представлял большой интерес для молодежи, которую всегда привлекали новые идеи, особенно в силу их радикализма. Вместе с тем Катков предостерегал правительство от принятия репрессивных мер в отношении нигилистических течений: их представители сразу могут получить для себя ореол мучеников и стать еще более привлекательными для молодежи. Поэтому Катков приходит к мысли о необходимости выдвинуть какую-то идею, которая сплотит весь народ и послужит созидательной силой для России. Подобной идеей должна была стать идея патриотизма, которую Катков в полной мере развил после 1863 года.

В связи с обострением политической ситуации в стране он предлагал заглушить инакомыслящие элементы общества, сделав основной упор на сильную законную власть государства. Он писал: «...символ государства есть меч... государство поставлено в необходимость прибегать в случае надобности к строгим и даже суровым мерам» [13, с. 414–415].

Анализируя изменение своих прежних убеждений, Катков делает вывод о неизбежности такого поворота в связи с чрезвычайными обстоятельствами в стране. Он справедливо писал о том, что изменился не он, а время, что Россия больше не может позволить себе роскоши существования множества различных идей и направлений, обращения к иностранным идеям, к западному опыту. Россия, находясь в опасности, нуждалась в совершенно других подходах в решении своих проблем, чем в мирное время. По убеждению Каткова, эта опасность не покидала Россию с 1863 года и приняла угрожающий характер во время террора 1870-х годов [14, с. 228].

Процесс Веры Засулич 1878 года, различные террористические акты, такие как убийство Н.В. Мезенцева[1], взрыв под Москвой на Курской железной дороге 19 ноября 1879 года, убийство харьковского губернатора князя Д.Н. Кропоткина 6 февраля 1879 года, покушение на шефа жандармов А.Р. Дрентельна в марте 1879 года и, наконец, убийство Александра II окончательно убеждают Каткова в необходимости строгих мер и немедленного перехода самодержавной власти к активным действиям. Катков писал: «Еще ли не пора явить святую силу власти во всей грозе ее величия? Ее проявлений... ждет негодующий народ, беспрерывно оскорбляемый в своей святыне...» [15, с. 161].

Поэтому эволюция взглядов М.Н. Каткова была неизбежна для мыслителя, который основной своей задачей всегда считал укрепление государственного строя России, ее могущества, самобытности и целостности.

Катков превыше всего ставил нужды, потребности времени. Во время относительного мира и спокойствия наиболее подходящей для России ему представлялась, как было уже упомянуто выше, английская модель. Теперь же, в период социальных и национальных противоречий, конфликтов, Катков все больше рассуждает об огромной разнице между Западом и Россией, которая, по его словам, заключается в разделенной власти на Западе и единой власти в России, полностью принадлежащей Царю [16, с. 104–105]. Катков предлагал взять за образец бисмарковскую модель, в которой ему импонировали: государственный контроль над всеми сферами общественной жизни, сильная, абсолютная власть в лице монарха.

Теперь культ «сильного государства» и такие консервативные ценности как осторожность перемен, отрицание резких скачков и революционных изменений, приоритет интересов целого (государства, нации) перед интересами части (индивида, социального слоя) занимают в творчестве Каткова центральное место.

Но как соотнести понятия «сильное государство» и «свобода»: могут ли быть в сильном государстве свободные люди? Трактовка данного вопроса у Каткова достаточно интересна и любопытна с точки зрения обоснования им проблемы взаимоотношений начал принуждения и свободы, обоюдоравных по своей значимости для жизни человека.

Подчеркивая историческую неоспоримость факта власти, Катков доказывает и неоспоримость другого явления, рождаемого вместе с подчинением, – свободы. Власть и свобода – две стороны одного процесса, единство власти и свободы заключается в одном источнике – в самостоятельности человеческой личности. Так как власть и свобода по своей сути феномены общественного процесса, то способность свободы и власти в первую очередь проявляется в отношении других личностей. Свобода возможна только там, где присутствует власть, способная защитить личную свободу людей. Обосновывая свой тезис, Катков писал: «Люди на общественных дорогах свободно ходят и ездят, и чем свободнее, тем лучше, но никому нельзя предоставить свободу бесчинствовать на улице и нападать на встречных» [17, с. 224].

Катков постулирует парадоксальный еще со времен Н.М. Карамзина тезис о совпадении интересов свободы и власти в единой точке – государстве, так как именно государство является главным средством обеспечения для личности ее свободы в обществе. Государство должно следить за тем, чтобы не нарушалась правда в общественной жизни, чтобы люди не мешали и не вредили друг другу, а также любое преступление наказывалось, и «чтобы ничего со стороны не мешало правильному раскрытию всего того, что составляет сумму положительных интересов человеческой природы… Нельзя заставить человека любить, нельзя принудить его к жертве... но если нельзя или не должно говорить

[1] Мезенцев Николай Владимирович – генерал-лейтенант, генерал-адъютант, шеф жандармов и глава Третьего отделения (с 1876 года). Убит 4 (16) августа 1878 года террористами из организации «Земля и воля».

человеку принудительно: давай, то должно сказать ему: не трогай, когда он занесет руку на добро своего ближнего» [18, с. 3–4].

Таким образом, Катков настаивает на взаимозависимости понятий власти и свободы. С одной стороны, общество – это сфера, в которой развивается способность человека к свободе, с другой же – все союзы общества, семьи, общины, сословия, группы, партии, пронизаны – в разных системах субординационных связей – властью, подчинением и принуждением. И таким образом по мере «развития правильного, благоустроенного государства развивается и укрепляется в своих основах свободное общество, и государственное начало становится крепкой основой свободы» [19, с. 842].

По мнению Каткова, рамки действия государственной власти определяются задачей и обязанностью государства гарантировать защиту жизни и безопасности граждан, предотвращать любое явление, основанное не на законном праве, а также действовать твердо и решительно.

При этом Катков всегда подчеркивал единство власти и народа, неотделимость народа от власти, их взаимное доверие, являющееся основой могущества государства. Суть их единства заключается в том, что между интересами народа и интересами государства не должно быть никаких противоречий. Государство не должно в своих взглядах и в своих действиях отделять себя от общественных интересов, тогда оно сможет вернее понять свое положение и будет сильнее [20, с. 742].

Катков писал: «Только то, что совершается у нас в духе этого единения, только то и прочно и плодотворно» [21, с. 249].

Анализируя то, что же может произойти при ослаблении действия законной власти, он пишет: «Если нет самостоятельной организации государственного начала, все общество принимает более или менее его характер; если не будет определенной государственной функции, то вся общественная жизнь по необходимости превратится в функцию; если не будет правильного суда и расправы, то явится закон Линча…» [19, с. 842].

Таким образом, ослабление власти неизбежно порождает смуту, начинается разложение, «совершаются насилия», «колеблются основы всякой нравственности», «дух растления овладевает умами», и вместо явного правительства появляются тайные, действующие тем сильнее, чем слабее действие государственной власти» [22, с. 122]. Кроме того, падает семейная, общественная и государственная дисциплина. Избежать такого состояния Катков предлагает с помощью «страха», утверждая, что страх побеждается только страхом, а «пагубный страх перед темными силами может быть побежден только спасительным страхом перед законной властью» [22, с. 122].

Резко отделяя политику от этики и отстаивая макиавеллиевский принцип: цель оправдывает средства, Катков не стесняется в выборе средств для обеспечения государственных интересов, полагая, что «милосердие к людям требует не поблажки, а решительного противодействия тому, что их губит» [23, с. 336]. Такая позиция являлась реакцией на сложившуюся в тот период в России ситуацию, которая фактически со второй половины XIX века превращалась в криминальную страну [24, с. 105]. Катков теперь обосновывает необходимость усиления власти, утверждая, что «нет такой жертвы, перед которой можно бы остановиться для его [государства – *А.Т.*] спасения; ради него никому и ничему нет пощады» [25, с. 133].

Но, несмотря на такую жесткую позицию, Катков обосновывает необходимость существования нравственного идеала. Нравственность понимается им как идеал, применяемый непосредственным образом, одинаково общий монарху и народу. Этическое, нравственное начало стоит у Каткова выше юридических отношений.

Для того чтобы нравственное начало могло оказывать свое благодетельное влияние на политические отношения, необходимо, чтобы источник этики был независим от государства. Катков боялся деспотизма диктатуры и выступал против нее [19, с. 841].

Нравственный идеал в понимании Каткова достигает своего влияния, если разделяется одновременно царем и народом. В таком случае они составляют единое целое: царь тогда живет заботами народа, а народ доверяет своему царю.

Мораль постулируется Катковым не в форме закона или правила, а как связь с Богом. Сами по себе люди не могут, по мнению Каткова, создать в своем обществе организующего начала с безусловным характером, но они создают его потому, что в человеке есть духовный элемент, связанный с Богом. Потребность государства в моральном идеале приводит к необходимости устанавливать религию. А так как религия невозможна без церкви, то государство должно ценить и такой религиозный союз как церковь, «которая отреклась от земной власти и никогда не вступала в соперничество с государством» [26, с. 21].

Идея Царя – Помазанника Бога, который, в свою очередь, является верховной силой мира, – в центре обоснования необходимости монархии в идеале государственности Каткова.

Отношения монархии к религии наиболее адекватны истинной политике, с точки зрения создания их союза, который достигается подчинением монарха религиозной идее и личной принадлежностью к церкви, при независимости его государственной верховной власти. «Но русскому Царю дано особое значение, отличающее его от других властителей мира. Он не только государь своей страны и вождь своего народа – он богом поставленный блюститель и охранитель Православной Церкви, которая не знает над собой земного наместника Христова, и отреклась от всякого действия кроме духовного…» [27, с. 471]. Для монархической политики главной задачей в отношении религиозно-нравственного идеала является, по Каткову, помощь нации в сохранении и развитии того духовного содержания, которое породило саму власть и подчинило общественную жизнь высшему идеалу. Все это отличает Россию от Запада, где все основано на договорных отношениях, в России все основано на вере: в этом секрет «глубокой особенности, которая отличает Россию от других наций мира» [21, с. 249].

При этом Катков особенно подчеркивал невозможность слепого заимствования западных политико-правовых и организационных моделей, что не соотносится с менталитетом и ожиданиями масс. Ведь исходными и опорными точками любой модернизации выступают основания социокультурного порядка, политической традиции. Катков писал: «Россия имеет свои индивидуальные черты… свою собственную историю с характерными особенностями, которые определяют ее будущий ход развития» [11, с. 493].

Таким образом, законы должны быть извлечены из собственных понятий конкретного народа, нравов, обыкновений, местных обстоятельств, а не придуманы и занесены извне. Катков сформулировал емко: «Запад есть Запад, а Восток есть Восток» [11, с. 493].

Катков часто отмечал искусственность, видимость, поддельность демократии в том виде, в котором она существует на Западе, ее ненужность и неадекватность для России. Он считал, что демократия совершенно не способна к прямому действию и вынуждена прибегать к представительству, которое всегда будет «искусственным и поддельным произведением и всегда будет более закрывать собою, нежели открывать народ с его нуждами. Оно будет выражением не народа, а чуждых ему партий и неизбежно станет орудием их игры...» [28, с. 214].

По мысли Каткова, любое государство, какой бы ни был его образ правления, будь то демократия или монархия, управляется не народом, а отдельными лицами. Иными словами, конкретные вопросы практической политики вполне ясны и понятны только для лиц той группы или слоя, которые специализируются непосредственно на делах управления и формулирования решений исполнительских задач. Поэтому только правящий слой имеет в отношении конкретных политических вопросов определенные полномочия [29, с. 453]. Считая, что изначально представительские учреждения не являются выразителями на-

ционального духа, Катков приходит к выводу, что их интересы носят партийный характер и отчуждают народ от верховной власти [28, с. 214].

Выдвигая мысль о необходимости сближения правительства с народом, Катков настаивает, что для этого нужно обратиться к народу непосредственно, а не через какое-либо представительство: «Зачем между верховной властью и народом, который не отделяет себя от нее и видит в ней свое истинное и единственное представительство, втирать какое-то еще представительство, создавать партии и предавать их игре интересы государственной пользы и народного блага?» [28, с. 213].

Таким образом, Катков критикует демократию по линии невозможности прямого и непосредственного волеизъявления. Нужно отметить, что такая критика, в общем-то не нова в русской консервативной традиции. Достаточно вспомнить рассуждения по этому поводу, к примеру, Леонтьева и Тихомирова. Очень близок в данном плане к Каткову оказывается и К.П. Победоносцев, по существу своей критической логики следовавший в русле катковского понимания «великой лжи нашего времени».

По мысли обер-прокурора Святейшего Синода, теория парламентаризма строится на основе «одного из самых лживых политических начал» – идее народовластия, утверждающей, что «всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной» [30, с. 31]. Лживость ее заключается не только в пагубности ее духовного воздействия, но и главным образом в несоответствии теории и практики – «в самых классических странах парламентаризма» практика не удовлетворяет ни одному из условий теории [30, с. 33]. Об этом же, собственно, ведет речь и Катков, убеждая читателя в «лживости» парламентаризма [31, с. 340], в глубоких разногласиях между теорией и практикой. Доказательства неспособности парламентаризма Катков искал в Европе, приводя в пример Англию, которая сильна была не в парламентаризме, «а в крепкой землевладельческой власти». При этом «политические партии были домашним делом аристократии», в отличие от теперешнего состоянии Англии, где «партии лишаются общей почвы и с каждым днем все более ожесточается борьба между ними» [32, с. 257].

В целом критика демократического типа власти с его парламентаризмом, представительством и конституцией приводила Каткова к следующим выводам. Участь демократического строя, по мнению русского консерватора, печальна. Вечные раздоры и социальные противоречия – неизбежный удел «добросовестного применения парламентаризма». В таком обществе появляются: 1) всеобщее разложение; 2) партийная борьба, руководимая мелкими эгоистическими интересами; 3) коррупция государственного аппарата; 4) разгул анархизма [33, с. 100–101].

Именно поэтому Катков в который раз обращается к тезису о том, что именно монархия способна упразднить всякую иную власть в стране и дать место широкому самоуправлению, именно она исключает борьбу партий, объединяя в себе интересы сословий [34, с. 181]. При этом он неоднократно подчеркивал, что монархия не исключает «народную свободу», наоборот, «она обеспечивает ее более, чем всякий шаблонный конституционализм» [35, с. 205]. Таким образом, главная идея Каткова – идея государственного единства, единство царя и народа – опять выступает на первый план.

Суть своего мировоззрения Катков сформулировал на страницах «Московских ведомостей» так: «Говорят, что Россия лишена политической свободы; говорят, что хотя русским подданным и предоставлена законная гражданская свобода, но что они не имеют прав политических. Русские подданные имеют нечто более чем права политические; они имеют политические обязанности. Каждый из русских обязан стоять на страже прав Верховной Власти и заботиться о пользах государства. Каждый не то, что имеет только право принимать участие в государственной жизни и заботиться о ее пользах, но призывается к тому долгом верноподданного. Вот наша Конституция» [36, с. 333–334].

Литература

1. *Сементковский Р.И.* М.Н. Катков. Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1892.
2. [*Чичерин Б.Н.*] Воспоминания Б.Н. Чичерина: Москва сороковых годов / Русское общество 40–50-х гг. XIX в. М., 1991. Т. 2.
3. *Герцен А.И.* Логика падения / А.И. Герцен // Полн. собр. соч.: в 30 т. М., 1959. Т. 18.
4. *Твардовская В.А.* Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978.
5. *Katz M.* Michail N. Katkov. A political biography 1818–1887. Hague; Paris: Mouton, 1966.
6. *Бердяев Н. К.* Леонтьев – философ реакционной романтики / Н. Бердяев // Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 2.
7. *Катков М.Н.* Песни русского народа, изд. И. Сахаровым: Критика // Отечественные записки. 1839. Т. IV. Кн. VI. Отд. 6.
8. *Bodenstedt F.* Erinnerungen aus meinem leben von Friedrich Bodenstedt. 2-te Aufl. Bd. 2 Berlin, 1890.
9. *Катков М.Н.* История древней русской словесности: сочинения Михаила Максимовича (Кн. первая. Киев, 1839) // Отечественные записки. 1840. Т. IX. Кн. 4.
10. *Катков М.Н.* Отечественные записки. 1839. Т. IV. Отд. VI.
11. *Катков М.Н.* Что нам делать с Польшей? // Русский вестник. 1863. Март.
12. *Катков М.Н.* Без названия // Современная летопись. 1862. № 40. 15 мая.
13. *Катков М.Н.* Может ли быть вредна свобода и при каких условиях / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1867 год. № 167. 31 июля. М., 1897.
14. *Катков М.Н.* Величие власти Русского Царя / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1883 год. № 129. 10 мая. М., 1897.
15. *Катков М.Н.* По поводу чудесного спасения государя императора от злодейского покушения 2-го апреля / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1879 год. № 82. 2 апреля. М., 1897.
16. *Тюкавкин В.Г.* Революционная ситуация на рубеже 70–80-х гг. «Народная воля» // История СССР: 1861–1917: Учебник. М.,1989.
17. *Катков М.Н.* Свобода и власть / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. № 126. 7 мая. М., 1897.
18. *Катков М.Н.* Заметки // Современная летопись. 1857. Январь. Кн. I.
19. *Катков М.Н.* К какой принадлежим мы партии? // Русский вестник. 1862. № 2. Февраль.
20. *Катков М.Н.* Вред у нас казенных изданий / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1863 год. № 271. 11 декабря. М., 1897.
21. *Катков М.Н.* Освящение Храма Христа Спасителя / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1883 год. № 146. 27 мая. М., 1897.
22. *Катков М.Н.* Событие 1-го марта / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. № 62. 2 марта. М., 1897.
23. *Катков М.Н.* По поводу приезда Императора Александра III в Москву / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. № 196. 16 июля. М., 1897.
24. *Брутян-Трофимова А.Л.* Социально-политические взгляды М.Н. Каткова / под ред. Е.Н. Мощелкова. М., 2001.
25. *Катков М.Н.* Внутреннее обозрение // Отечественные записки. 1880. № 3.
26. *Катков М.Н.* Наши аномалии и судебная республика / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1884 год. № 12. 11 января. М., 1897.
27. *Катков М.Н.* По поводу прибытия в Москву Государя и Государыни / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1882 год. № 249 А. 7 сентября. М., 1897.
28. *Катков М.Н.* Конституция и представительство / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. № 119. 30 апреля. М., 1897.
29. *Катков М.Н.* Самоуправляющийся народ (отставка военного министра Тибодена) / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1883 год. № 276. 4 октября. М., 1897.
30. *Победоносцев К.П.* Великая ложь нашего времени. М., 1993.
31. *Катков М.Н.* Французский парламентаризм / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1883 год. № 198. 18 июля. М., 1897.
32. *Катков М.Н.* Бедственное экономическое состояние Италии / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. № 147. 28 мая. М., 1897.
33. *Катков М.Н.* Негодование французской печати на слабость министерства Фрейсине / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1882 год. № 57 Б. 25 февраля. М., 1897.
34. *Катков М.Н.* Обман революционного движения идет не снизу, не из народа; он идет из преддверий власти, из бюрократических сфер / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. № 104. 15 апреля. М., 1897.
35. *Катков М.Н.* Единственный Царский путь / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. № 114 Б. 25 апреля. М., 1897.
36. *Ширинянц А.А.* Хранительство как основание консервативной политической культуры интеллигенции. Статья первая [Электронный ресурс] // Портал «Слово» / [Режим доступа]: https://www.portal-slovo.ru/history/35091.php

Аннотация. Творчество одного их ярких консервативных мыслителей – Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887), проникнутое охранительными настроениями, оригинальными аргументами в пользу консерватизма и монархии, долгие годы реально влияло на политическую практику России. В 1850–1880-х годах он был одним из главных вдохновителей и организаторов русской национальной политики, вождем и идеологом охранительного движения.

Эволюция социально-политических взглядов М.Н. Каткова от либерализма к консерватизму не была случайностью и была обусловлена требованиями времени. В связи с обострением политической ситуации в стране в 1863 году Катков предлагает сделать основной упор на сильную законную власть государства и выдвинуть идею патриотизма, которая сплотит весь народ и послужит созидательной силой для России. Нельзя забывать, что Катков всегда, на протяжении всей своей жизни охранял исконно русские начала, выраженные еще графом С.С. Уваровым в формуле «Православие – Самодержавие – Народность», которые и являются основополагающими постулатами русского консерватизма. Культ «сильного государства» и такие консервативные ценности как осторожность перемен, отрицание резких скачков и революционных изменений, приоритет интересов целого (государства, нации) перед интересами части (индивида, социального слоя) занимают центральное место в творчестве М.Н. Каткова.

Ключевые слова: М.Н. Катков, консерватизм, либерализм, идеология, монархия, лозунг «Православие. Самодержавие. Народность», нигилизм.

Asja L. Trofimova, PhD in Political Science, Associate Professor, Department of History and Theory of Sociology; Faculty of Sociology; Lomonosov Moscow State University. E-mail: abroutyan@mail.ru

The Evolution of Socio-Political Views of M.N. Katkov

Abstract. The work of one of the brightest conservative thinkers – Mikhail Katkov (1818–1887), imbued with original arguments in favor of conservatism and monarchy, exerted great influence on the Russian political practice for many years. In the 1850s – 1880s, he was one of the main instigators of Russian national politics, the leader and ideologist of the conservative political movement.

The evolution of socio-political views of M.N. Katkov from liberalism to conservatism was not something unexpected and was determined by the demands of the time. In response to the worsening political situation in the country in 1863, Katkov suggested to strengthen the monarchy and put forward the idea of patriotism that would unite Russian people and help overcome the crisis in Russia. It should be remembered that Katkov throughout his lifetime was devoted to the fundamental Russian principles, expressed by Count S.S. Uvarov in the formula “Orthodoxy – Autocracy – Nationality”, which were the basic postulates of Russian conservatism. The cult of the “strong state” and such conservative values as the rejection of radical reforms and revolutionary changes, the priority of the interests of the whole (state or nation) over the interests of the part (individual or social stratum) were always in the center of M.N. Katkov’s works.

Keywords: Conservatism, Liberalism, Ideology, Monarchy, «Orthodoxy, Autocracy. Nationality» Concept, Nihilism.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-222-231

Александр Полунов

Проблема «власть и общество» в воззрениях русских консерваторов (к вопросу о взглядах М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева)

Период с конца 1870-х по начало 1890-х годов сыграл особую роль в истории русского консерватизма и в жизни Российской империи в целом. Важнейшими вехами эпохи стали общественно-политический кризис рубежа 1870–1880-х годов, завершившийся гибелью Александра II; утверждение консервативного режима Александра III; борьба у трона за выбор правительственного курса и проведение серии преобразований, призванных укрепить основы режима – так называемых контрреформ середины 1880-х – начала 1890-х годов. В ходе острого противоборства различные идейные течения стремились выдвинуть наиболее привлекательные, с их точки зрения, проекты развития страны, обосновать свои позиции, максимально полно «проговорить» все аргументы в их защиту. Многие коллизии и эпизоды идейной борьбы того времени предвосхитили последующие идеологические столкновения, оказали существенное влияние на общественно-политическое и духовное развитие страны на рубеже XIX–XX веков. Важнейшим, если не самым активным участником описанных процессов были различные течения в среде консерватизма.

Если говорить о русском консерватизме конца 1870-х и 1880-х годов, то едва ли не самыми заметными по степени политического влияния его представителями были редактор газеты «Московские ведомости» М.Н. Катков и член Государственного совета, бывший наставник Александра III, с 1880 года – обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев. Многими современниками они воспринимались как ближайшие союзники, и для подобного вывода были основания. Двух консерваторов, знакомых еще с 1850-х годов, связывало ближайшее деловое сотрудничество[1]. Оно стало особенно тесным в период кризиса рубежа 1870–1880-х годов, когда, как полагали многие, решалась судьба российской государственности и страны в целом. В «верхах» в это время усилилась либеральная группировка во главе с председателем Верховной распорядительной комиссии, затем – министром внутренних дел М.Т. Лорис-Меликовым, считавшая необходимым дополнить самодержавную власть некоторыми элементами умеренного представительства. У Каткова и Победоносцева, ставших к концу 1870-х годов последовательными противниками всего, в чем виделось ограничение самодержавия, подобная ситуация вызывала острый протест.

[1] Отметим, что почвой для подобного сотрудничества изначально были не консервативные, а реформаторские воззрения, которые были характерны для Каткова и Победоносцева в 1850-х – первой половине 1860-х годов. В 1859 году Катков опубликовал в «Русском вестнике» статью будущего обер-прокурора Синода «О реформах в гражданском судопроизводстве», основанную на материалах его магистерской диссертации. Статья стала заметным явлением в общественной жизни России, способствовала тому, что Победоносцев, в то время молодой чиновник Сената, был включен в состав правительственных комиссий по выработке судебной реформы и сыграл значительную роль в подготовке Судебных уставов 1864 года.

Полунов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. E-mail: polunov@spa.msu.ru

«Нет уже твердого центра, из которого всякая власть прямо исходила бы и на котором прямо бы держалась», – с горечью писал Победоносцев своему московскому единомышленнику в конце 1879 года [1]. Стремясь предотвратить крайне нежелательное для него развитие событий, консервативный сановник активно сотрудничал с Катковым – указывал, каким образом освещать те или иные события, предупреждал о возможных цензурных взысканиях, организовывал его встречи с наследником престола Александром Александровичем и другими влиятельными лицами. Зимой и весной 1881 года, когда политическая борьба приобрела особенно острый характер, обер-прокурор шел и на прямые служебные проступки, пересылая публицисту материалы секретных совещаний в «верхах», информируя о предстоящих перестановках в правительстве[1].

Изданный 29 апреля 1881 года манифест «о незыблемости самодержавия», написанный Победоносцевым и вызвавший отставку правительственных либералов, настолько полно соответствовал воззрениям и Каткова, и обер-прокурора, что у осведомленных наблюдателей возникло едва ли не единодушное убеждение в том, что указанный документ – плод совместного творчества двух консерваторов. Об этом писали в своих дневниках государственный секретарь Е.А. Перетц, председатель Комитета министров П.А. Валуев, военный министр Д.А. Милютин [3, с. 69; 4, с. 164; 5, с. 321]. Впоследствии Победоносцев счел необходимым специально опровергнуть в печати мнение об участии московского публициста в составлении манифеста [6]. Политическую систему, утвердившуюся в России после низвержения либеральной группировки, современники именовали «триумвиратом», добавляя к союзу Победоносцева и Каткова третью фигуру – Д.А. Толстого, назначенного в 1882 году на пост министра внутренних дел при активном содействии двух других «триумвиров». И тем не менее, несмотря на явную идейную близость двух консерваторов, отношения между ними, как ни парадоксально, начали портиться практически сразу после одержанной весной 1881 года победы. Уже в сентябре этого года ближайший соратник Каткова Е.М. Феоктистов (с 1882 года – начальник Главного управления по делам печати, то есть глава цензурного ведомства) писал своему патрону «о совершеннейшей невозможности уловить Победоносцева», поскольку «в течение целого лета сей почтенный муж сидел, спрятавшись в какой-то загородной трущобе, и избегал общения с товарищами» [7]. Подобное поведение обер-прокурора не было случайностью – его расхождения с Катковым неуклонно нарастали, и к концу жизни (1887) московский публицист, по свидетельству Феоктистова, вовсе перестал обсуждать с Победоносцевым политические вопросы, а в частных беседах отзывался о нем с озлоблением [8, с. 222]. В чем же заключалась причина конфликта между двумя деятелями, столь, казалось бы, близких друг другу по взглядам? Какие особенности русского консерватизма отразились в этом противостоянии?

Прежде чем обратиться к вопросу о расхождениях между Катковым и Победоносцевым, нужно еще раз остановиться на том, что объединяло этих деятелей. Одним из ключевых пунктов в воззрениях обоих консерваторов было представление о необходимости для России сильной самодержавной власти, глубокая уверенность в том, что всемерное укрепление подобной власти является основным залогом стабильности в стране. Нерешительность власти, ее нежелание и неумение пользоваться своими прерогативами, с точки зрения Каткова и Победоносцева, как раз и было главной причиной разразившегося в стране на рубеже 1870–1880-х годов кризиса. «Правительства нет, как оно должно быть, с твердой волей, с явным понятием о том, чего оно хочет, с решимостью защищать

[1] Примечательно, что в 1887 году Победоносцев в письме к Александру III возмущался тем, что бюрократы, стремившиеся использовать прессу в своих интересах, зачем-то сделали из Каткова «государственного человека», втягивая его в коллизии внутриправительственной борьбы [см. 2, т. II, с. 142, 11 марта 1887 г.]. Обер-прокурор, видимо, искренне не сознавал, что подобным образом на рубеже 1870–1880-х годов поступал он сам.

основные начала управления, с готовностью действовать всюду, где нужно, – с гневом писал Победоносцев наследнику Александру Александровичу в самом начале кризиса, в 1878 году по поводу оправдания судом присяжных Веры Засулич. – Люди дряблые, с расколотой надвое мыслью, с раздвоенной волей, с жалким представлением о том, что все идет само собой, ленивые, равнодушные ко всему, кроме собственного интереса» [2, т. I, с. 117, 8 апреля 1878 г.].

Отказ властей принять жесткие меры против «крамолы», причина которого была совершенно непонятна Победоносцеву, вызывал его сильнейшее раздражение и подталкивал ко все более ожесточенным нападкам на правительство. «Когда бы оно [правительство – *Авт.*] было, когда бы оно знало, чего хочет, и умело бы – чего тогда бояться? Стоит ли бояться горсти молодых людей, потерявших разум, в виду массы народной, сохранившей простой здравый смысл и веру во власть? Но потому страшно, что, хотя поток невелик и грязен – гнила плотина, которая должна удержать его» [2, т. I, с. 117, 8 апреля 1878 г.]. Изменение позиции властей должно было способствовать быстрому изживанию кризиса, а препятствием к этому изменению, по мнению консервативного сановника, были исключительно моральные пороки лиц, составляющих правительство. «О, когда бы только государь решительно высказался, – восклицал Победоносцев в письме к наследнику в 1879 году, – как бы все эти люди заговорили другим языком» [2, т. I, с. 194, 2 апреля 1879 г.]. Вера в необходимость «решительного высказывания» власти, в его благодетельное значение для утверждения стабильности в стране двигала обер-прокурором в период после гибели Александра II, когда на заседании Совета министров 8 марта 1881 года он произнес громовую речь, направленную против проекта представительства, выдвинутого Лорис-Меликовым и его сторонниками. Вскоре после этого глава духовного ведомства подготовил Манифест 29 апреля, вызывавший, как отмечалось выше, отставку либеральной группировки.

Катков, чьи выступления в период кризиса также существенно повлияли на изменение правительственной политики, придерживался взглядов, чрезвычайно близких воззрениям Победоносцева. В некоторых случаях эта близость доходила до буквального сходства. «Что требуется в настоящее время? – восклицал московский публицист после гибели Александра II. – Более всего требуется, чтобы показала себя государственная власть России во всей непоколебимой силе своей, ничем не смущенная, не расстроенная, вполне в себе уверенная» [9, с. 147, 19 марта 1881 г.]. Как и обер-прокурор, редактор «Московских ведомостей» был глубоко убежден, что смута прекратится, когда власти примут по-настоящему жесткие, последовательные репрессивные меры, а в правительственных «верхах» утвердится безусловное единство. «Если там, – провозглашал Катков, – будет строго, и не будет между властями междоусобий, интриг и партий, если правительственные лица будут серьезно чувствовать всю тяжесть своей ответственности перед Престолом и за всякое злоупотребление власти платиться серьезнее, чем неполучением награды или увольнением с большим или меньшим почетом, то все, что желательно в настоящее время для страны, было бы исполнено и самый призрак революции мгновенно исчез бы» [9, с. 183, 15 апреля 1881 г.].

Как и Победоносцев, Катков был уверен в том, что разрастанию кризиса способствовала нерешительность властей, в основе которой лежали моральные пороки, а то и злая воля отдельных государственных сановников. «Против зла, – восклицал московский публицист через два дня после гибели Александра II, – принимались меры, но какие? Полумеры, только раздражавшие и возбуждавшие дух злоумышленников» [9, с. 123, 3 марта 1881 г.]. Учитывая подобное сходство во взглядах, нельзя не признать вполне закономерным сотрудничество двух консерваторов на рубеже 1870–1880-х годов. Однако в их воззрениях крылись и серьезные различия, и именно они стали причиной постепенного охлаждения

отношений между Катковым и Победоносцевым. Касались эти различия, как представляется, прежде всего вопроса о взаимоотношениях власти и общества, точнее, самой трактовки понятия «общество», его роли в развитии социума. Но прежде чем затронуть этот вопрос, нужно вкратце остановиться на том, каково было в целом отношение тогдашних консерваторов к проблеме взаимодействия власти и общества.

Касаясь данного сюжета, нужно в первую очередь отметить, что необходимость наладить ту или иную форму взаимодействия правительства с общественными кругами, найти опору в охранительных слоях общества была ясна значительной части консерваторов – прежде всего тем, кого можно отнести к «умеренному» крылу данного течения, чьи взгляды в том или ином отношении соприкасались с воззрениями либералов. Особенно усилились подобные настроения в период кризиса на рубеже 1870–1880-х годов и в первую очередь после гибели Александра II. Своеобразной попыткой мобилизовать охранительные силы общества для поддержки правительства было создание так называемой Священной (или Святой) дружины, которая рассматривалась ее создателями отнюдь не просто как добровольное объединение для организации полицейского сыска, но и как эмбрион самостоятельной общественной организации монархического толка. «Сплочение русских охранителей в одну многочисленную и дисциплинированную партию с определенной программой, – писал Александру III уже накануне ликвидации «Дружины» в ноябре 1882 года один из ее создателей П.П. Шувалов, – с сильным органом печати, с преданными ей и талантливыми людьми в земствах должно быть признано предприятием государственной важности. Противопоставление сплоченным оппозиционным кружкам столь же сплоченной консервативной силы может при умелом ведении дела оказаться в борьбе с революционным движением более действительным орудием, нежели искуснейшие полицейские мероприятия» [10, с. 725].

Лидер пореформенного славянофильства И.С. Аксаков, лично хорошо знакомый с Победоносцевым, активно сотрудничавший с ним в период подъема движения в поддержку балканских славян во второй половине 1870–х годов, писал в 1879 году, отзываясь на подъем террористической борьбы: власти «не хотят понять, что никакое правительство не сильно, если не сильно само общество… Без содействия общества не действительна никакая власть». «Спасение только одно, – утверждал славянофил несколько позже, – обратиться к Земле, к обществу: его призвать на совет и к содействию»[1]. После гибели Александра II и отставки Лорис-Меликова, когда на пост министра внутренних дел не без содействия Победоносцева был назначен близкий к славянофилам Н.П. Игнатьев, Аксаков попытался реализовать свои планы относительно возобновления живого общения царя и «Земли», выдвинув проект созыва Земского собора. Наконец, свои предложения по установлению взаимодействия между властью и обществом выдвинул весной 1881 года известный ученый-правовед и общественный деятель, представитель консервативного западничества Б.Н. Чичерин. Резко выступив против попыток расширить свободу печати и права студенческого самоуправления, ограничить репрессивные меры и улучшить материальное положение крестьян – то есть против основных направлений политики Лорис-Меликова, – он в то же время предложил пополнить состав высшего законосовещательного органа

[1] Письма И.С. Аксакова к сестре С.С. Аксаковой от 24 ноября и 11 февраля 1880 года [цит. по: 11, с. 564–566]. Характерно, что именно в это время Победоносцев выступал с противоположными по духу заявлениями. «Напрасно станет правительство взывать к обществу, к благомыслящим людям, – писал он наследнику Александру Александровичу 2 апреля 1879 года. – Что может сделать общество, когда надобно действовать всей силой законной власти, а право разыскивать, судить и карать принадлежит одному правительству» [2, т. I, с. 194]. Победоносцев был товарищем И.С. Аксакова по Училищу правоведения. Доверенными корреспондентками консервативного сановника были А.Ф. Тютчева, ставшая в 1866 году женой И.С. Аксакова, и ее сестра Е.Ф. Тютчева.

Российской империи, Государственного совета, за счет представителей охранительных кругов общества. «Насущная потребность, – заявлял правовед, – заключается единственно в установлении живой связи между правительством и обществом для совокупного отпора разлагающим элементам и для внесения порядка в русскую землю. Эта цель может быть достигнута приобщением выборных от дворянства и земства к Государственному совету» [12, т. I, полутом I, с. 117][1].

Отметим, что представители различных течений в консерватизме по-разному решали вопрос о том, какие именно общественные круги являются выразителями охранительных настроений, могут выступить опорой сильной власти в России. Чичерин в соответствии со своими западническими убеждениями считал таковыми прежде всего представителей крупной земельной собственности, носителей западной культуры – дворян-помещиков. В перспективе после отмены общины и круговой поруки к ним должны были примкнуть и зажиточные крестьяне, приобщившиеся к европейским представлениям о собственности и правовым началам. Аксаков и разделявший его взгляды Игнатьев обращали больше внимания на то, чтобы призванные на «совет» с царем «лучшие люди» России придерживались традиционных, патриархальных воззрений на власть. Земский собор, согласно их представлениям, должен был формироваться на основе прямых выборов от основных сословий российского общества – поместного дворянства («хозяев»), крестьян – прежде всего глав семейств («большаков»), купцов («гильдейцев»), с включением в его состав духовенства [13, с. 449–472; 14; 15]. Однако какие бы проекты ни выдвигались представителями «умеренного» консерватизма, они были неприемлемы для носителей более радикальных воззрений, таких как Катков и Победоносцев, убежденных в том, что сила государственной власти – в ней самой, в жесткости и непреклонности проводимой ею политики.

В сложившейся ситуации сотрудничество между различными ветвями консерватизма на рубеже 1870–1880-х годов, умеренной и более радикальной, могло носить исключительно тактический характер. Так, обер-прокурор, хотя и согласился передать записку Чичерина царю, но в письме своему бывшему коллеге по Московскому университету высказал несогласие с ее основными идеями. «Вы сами пишете, – заявлял Победоносцев Чичерину, – что предлагаемое вами учреждение необходимо предполагает твердое правительство, но этого данного не имеется; и вы же хотите, чтобы поср<едством> этого учреждения прав<ительст>во стало твердым. Тут есть круг, в котором мысль безысходно вращается» [16]. Не добившись воплощения своих идей в жизнь, правовед, избранный в конце 1881 годов на пост Московского городского головы, начал выступать с публичными заявлениями о необходимости привлечения консервативных кругов общества к государственной деятельности, что закономерно закончилось для него в 1883 году отставкой с должности по требованию царя. Есть основания полагать, что Катков и Победоносцев приложили руку к подобной развязке[2].

Делом рук двух консерваторов в решающей степени был и провал планов созыва Земского собора, повлекший за собой в мае 1882 года смещение Игнатьева, назначение на пост министра внутренних дел последовательного консерватора Д.А. Толстого и, по некоторым данным, едва не вызвавший закрытие газеты И.С. Аксакова «Русь». Значи-

[1] Чичерин, как и И.С. Аксаков, был близким знакомым Победоносцева. В 1860-х годах они состояли профессорами Московского университета, являлись наставниками наследника Николая Александровича (1843–1865), старшего брата Александра III. Свои предложения по корректировке правительственной политики Чичерин изложил в записке «Задачи нового царствования», переданной царю через обер-прокурора.

[2] Материалы о выступлениях Чичерина с резкой сопроводительной запиской Каткова отложились в архиве обер-прокурора [см. 12, т. I, полутом II, с. 343–346]. «Боюсь, – писал о Чичерине консервативный сановник в письме к своему доверенному корреспонденту С.А. Рачинскому, – если замутится у нас – как бы не явился он трибуном из породы жирондистов» [17, 29 июня 1882 г.].

тельное влияние на настроения Александра III в ходе развернувшейся борьбы оказала опубликованная Катковым при поддержке Победоносцева статья, в которой редактор «Московских ведомостей», в частности, напомнил, что созыв Земского собора был лозунгом государственных преступников С.Г. Нечаева и А.И. Желябова [18, с. 233–234, 11 мая 1882 г.]. «Взяла верх партия Победоносцева, людей, не знающих и знать не хотящих, что такое З<емский> С<обор>, смешивающих, подобно Нечаеву, З<емский> С<обор> с конституцией, болтающих фразы, что правительство спервa должно каким-то чудом окрепнуть, словом: партия, пугающая Государя и готовящая ему и самодержавию гибель, а России – несказанные беды», – с раздражением писал Аксакову его единомышленник П.Д. Голохвастов, направленный московским публицистом в помощь Игнатьеву для разработки проектов собора [15, № 2, с. 184, 17 мая 1882 г.]. В целом благодаря усилиям Каткова и Победоносцева в начале 1880-х годов были провалены не только проекты либерального переустройства России, но и все попытки оживить самостоятельную консервативную инициативу общества, дополнить этой инициативой безоговорочно авторитарный характер сложившейся в России власти[1]. Представление о том, что власть в России в целом самодостаточна, ее сила зависит от нее самой, было, как отмечалось выше, той основой, на которой базировались воззрения и редактора «Московских ведомостей», и обер-прокурора Синода. И тем не менее именно вопрос о взаимоотношениях власти и общества, по которому, казалось бы, у двух консерваторов не могло быть разногласий, вызвал постепенное расхождение между ними.

Размышляя об этом вопросе, Катков – поклонник немецкой классической философии, воспринимавший социальный организм как находящуюся в непрестанном движении, внутренне разнородную и в то же время единую систему, – не мог, разумеется, не признать значения общественных сил как важнейшего фактора политического развития социума. Во второй половине 1850-х и в 1860-х годах публицист, придерживавшийся в то время умеренно-либеральных взглядов, даже предлагал институционализировать эту роль общественных сил в рамках представительства. Представительный орган, по мысли Каткова, должен был сыграть консервативную роль, уравновесив слишком смелые, как ему тогда казалось, реформаторские порывы власти [19, с. 36]. Опыт политического развития России в конце 1860-х – 1870-х годах убедил публициста в том, что самодеятельность общества – начало опасное, вредоносное. Сплотившись на базе учреждений, введенных или расширивших свою самостоятельность в эпоху Великих реформ (земств, независимых судов, университетского самоуправления, прессы), общественность занялась оппозиционной борьбой, повела наступление на историческую власть. Представление о том, что общественные силы – важный элемент политической жизни страны сохранилось, но теперь это обстоятельство воспринималось как опасность. Особенно нетерпимым казалось то, что пореформенные учреждения при создании были наделены определенными властными функциями, которые, как полагал Катков, могут принадлежать только государству. В результате, утверждал публицист, жизнь России оказалась наполнена разного рода неурядицами, проявлениями которых были борьба за власть и интриги в профессорских коллегиях университетов, расхищение доверенных земствам общественных средств, противодействие судебных органов действиям государства, вызванное властолюбием и тщеславием судебных чинов.

Единственный выход из сложившейся ситуации, по мнению Каткова, заключался в том, чтобы лишить пореформенные органы реальных властных функций и в целом свести их самостоятельность к минимуму, устранив возможности самоорганизации деструк-

[1] Отметим, что при решающем участии Победоносцева была в конце 1882 года ликвидирована и Священная дружина, что отразилось в письмах обер-прокурора к Александру III [см. 2, т. I, с. 392–396, 23 ноября 1882 г.; 12, т. I, полутом I, с. 247–248, 26 ноября 1882 г.].

тивных общественных сил. «В отобрании власти у всякого надо всяким, в истреблении многовластия состоял весь труд и вся борьба русской истории… – утверждал московский публицист в 1884 году. – Тяжкий труд свершился: все покорилось одному верховному началу, и в Русском народе не должно было оставаться ни одной власти, от Монарха независимой» [20, с. 21, 11 января 1884 г.]. Подобное понимание ситуации, сложившейся в России к 1880-м годам, неизбежно требовало ликвидации или серьезного переустройства учреждений, введенных в 1860–1870-х годах, то есть проведения контрреформ, и Катков открыто провозгласил необходимость принятия такого рода мер. «После тяжких испытаний, – заявил редактор «Московских ведомостей» либералам в ответ на обвинение его в приверженности к «застою», – мы желаем идти вперед, к новому положению, которое нас избавило бы от ошибок прошлого и испытаний настоящего» [18, с. 232, 10 мая 1882 г.].

Сразу после отставки Лорис-Меликова Катков и его сторонники в правительстве начали готовить проведение контрреформ. При реализации подобных мер они, казалось бы, имели все основания рассчитывать на поддержку обер-прокурора. Уклончивое, а затем и явно скептическое отношение недавнего союзника к готовящимся преобразованиям явилось серьезнейшим разочарованием для московского публициста. Будучи не в силах понять особенности позиции Победоносцева, сам Катков и его сотрудники начали говорить о «безволии» бывшего наставника самодержца, его непрактичности, слабости как политика. Многократно повторенное в мемуарах современников, это утверждение проникло в историографию и до сих пор продолжает оказывать влияние на восприятие фигуры обер-прокурора. Между тем позиция Победоносцева, все же далекого от абсолютной пассивности, опиралась на определенные идейные основания.

Несмотря на широко распространенные среди современников представления о полном отсутствии у знаменитого консерватора какой-либо позитивной программы, в своей деятельности он следовал определенным установкам. Однако установки эти были настолько своеобразны, что их смысл действительно подчас ускользал от наблюдателей. С точки зрения Победоносцева, мировоззрение которого носило чрезвычайно архаичный характер, государство выступало как единственное структурирующее и созидающее начало в жизни социума. За его пределами простиралась пустота едва ли не в буквальном смысле слова. «С тех пор, – напишет высокопоставленный консерватор в своем главном публицистическом произведении «Московский сборник» в 1896 году, – как раздвоилась его [человека – *Авт.*] природа, явилось различие добра и зла, и тяга к добру и правде вступила в душе его в непрестающую борьбу с тягой к злу и неправде, не осталось иного спасения, как искать примирения и опоры в верховном судье этой борьбы, в живом воплощении властного начала порядка и правды» [21, с. 427]. В контексте подобных представлений состояние дел в социуме практически напрямую отражало поведение тех, кто занимал различные посты на ступенях государственной пирамиды, и в особенности того, кто эту пирамиду возглавлял. «Не думайте, чтобы подчиненные вам власти себя ограничили и поставили на дело, если вы себя не ограничите и не поставите на дело, – наставлял Победоносцев в 1876 году наследника Александра Александровича. – Где вы себя распустите, там распустится и вся земля. Ваш труд всех подвинет на дело, ваше послабление и роскошь зальет всю землю послаблением и роскошью» [2, т. I, с. 54, 12 октября 1876 г.].

Неустройство дел в стране, которое, конечно, консервативный сановник не мог не замечать, было результатом не столько наличия или отсутствия в ней тех или иных учреждений, сколько следствием неправильной позиции носителя высшей власти – и, соответственно, залогом успеха становились изменения в его поведении. С этой точки зрения детально разработанная идейная доктрина в качестве основы действий правителя страны действительно казалась излишней. «Надо, – делился Победоносцев в 1877 году своим credo с наблюдательным современником, сенатором А.А. Половцовым, – чтобы сам

государь-то был человек, твердый на добро, разбирающий людей и т.д., а без этого никакие внешние перемены ни к чему не послужат» [22, с. 178]. Глава государства должен был, не придавая особого значения общественным и даже государственным институтам, а в определенных случаях и обходя их, находить (преимущественно в провинции, вдалеке от «испорченной» столицы) отдельных усердных работников и управлять, устанавливая с ними прямые контакты. Нужно, наставлял сановник цесаревича Александра Александровича в 1879 году, «приносить себя в жертву тому делу, которому служишь, отдавать себя работе, которая сожигает человека, отдавать каждый час свой и с утра до ночи быть в живом общении с живыми людьми, а не с бумагами только. У нас, в России, все только людьми можно сделать и всякое дело надобно держать, не опуская ни на минуту; как только опустишь его в той мысли, что оно идет само собой, так дело разоряется, и люди расходятся и опускаются» [2, т. I, с. 207, 17 мая 1879 г.].

Именно опора на «людей», на конкретных работников, текущий усердный труд управленцев должны были изменить ситуацию в стране к лучшему. Наличие же или отсутствие в ней тех или иных учреждений, как отмечалось выше, имело относительно маловажное значение. В этой ситуации вступление на путь административно-законодательных переустройств, к которому призывал Катков, видимо, действительно казалось Победоносцеву ненужным и даже вредным – ведь оно могло отвлечь от напряженной текущей работы, кропотливого труда по поиску отдельных достойных работников и выстраивания с ними системы прямых неформальных связей. Когда московский публицист и его сторонники в правительстве выступили с требованием принятия нового университетского устава, который, по словам Каткова, стал бы «первой органической мерой нынешнего царствования», то есть отправной точкой политики контрреформ, обер-прокурор, к удивлению большинства сановников, выступил против предлагаемой меры. «Зачем строить новое учреждение… – объяснял он позже свою точку зрения Александру III, – когда старое учреждение потому только бессильно, что люди не делают в нем своего дела как следует?» [2, т. II, с. 170, 6 января 1888 г.]. Заняв подобную позицию, Победоносцев фактически стал тормозить проведение основных контрреформ (введение нового университетского устава и института земских начальников, изменение Положения о земстве) или вносить такие поправки, которые во многом сводили на нет выдвинутые предложения [см. 23, с. 281–295][1].

Разумеется, поведение обер-прокурора не могло не вызвать предельного раздражения Каткова. Он, по словам Феоктистова, «был не такой человек, чтобы отнестись благодушно к подобному противодействию самым заветным своим планам» [8, с. 222]. В ноябре 1883 года публицист направил Победоносцеву письмо, в котором в весьма резкой форме потребовал от недавнего союзника прекратить противодействовать принятию нового университетского устава. Намекнул «львояростный кормчий» и на слабость обер-прокурора как политика-практика («Вы превосходно видите в чистом эфире начал, но не так легко распознаете людей мимоидущих и вещь во тьме преходящую») [12, т. I, полутом I, с. 349]. Позиция Победоносцева была не вполне понятна и большинству его коллег в правительстве – ведь проведение контрреформ казалось закономерным продолжением тех мер, которые он сам вместе с Катковым отстаивал на рубеже 1870–1980-х годов. В конечном счете утратил прежнее доверие к своему бывшему наставнику и император, примкнув к распространенному мнению о недееспособности обер-прокурора как государ-

[1] Следует отметить, что подобное поведение обер-прокурора не касалось только одной сферы – судебной. Здесь он, напротив, был весьма энергичен, сам разработал проект контрреформы и настойчиво внедрял его в жизнь. Объясняется это, вероятно, личностным фактором. Победоносцев еще с 1860-х годов, когда он сам участвовал в разработке судебной реформы, испытывал к новым судебным институтам резкую неприязнь, доходившую до аффекта. Связано это, видимо, было с тем, что в процессе подготовки реформы не были приняты во внимание его предложения, которым он придавал важное значение.

ственного деятеля из-за полного отсутствия у него какой-либо позитивной программы. Победоносцев – «отличный критик, но сам никогда ничего не предложит», а «одной критикой жить нельзя… надо идти вперед, надо создавать», – говорил (очевидно, в 1890 году) Александр III С.Ю. Витте, добавляя, что сам он уже давно не слушает своего бывшего учителя [24, с. 369].

В целом в противоборстве с Катковым и отстаиваемым им политическим курсом обер-прокурор потерпел поражение. Предложенный московским публицистом и его единомышленниками в правительстве путь административно-законодательных преобразований в охранительном духе выглядел гораздо более конкретным, осуществимым, отвечавшим реалиям своего времени, нежели достаточно архаичные и расплывчатые рекомендации Победоносцева. Однако победа Каткова и его сторонников оказалась лишь частичной. Контрреформы были реализованы далеко не в той полноте, в какой замышлялись. Конечно, решающую роль здесь сыграла оппозиция Государственного совета, в котором концентрировались отправленные в отставку с министерских постов сторонники либеральных взглядов. Однако свой вклад в подобный итог внес и Победоносцев с его скептическим отношением к контрреформам. Фактически в наиболее благоприятный для них период 1880-х – начала 1890-х годов различные ветви русского консерватизма не смогли организовать эффективное взаимодействие, выработав единый политический курс и взаимно дополняя друг друга. Расхождение между Катковым и Победоносцевым серьезно нарушило целостность проводившейся в царствование Александра III политики. Но, пожалуй, еще более негативное значение имел провал попыток умеренных консерваторов наладить прочные контакты власти с охранительными кругами общества, к которому московский публицист и глава духовного ведомства приложили самые серьезные усилия. Глубокие расхождения между различными направлениями русского консерватизма оказались недостатком, который его сторонники так и не смогли преодолеть и который в целом отличал в невыгодную сторону данное течение от либерального и революционного движения. В начале XX века этот недостаток сыграл роковую роль в судьбе и консерватизма, и всего «старого порядка» в целом.

Литература

1. *Победоносцев К.П.* Письмо М.Н. Каткову от 21 декабря 1879 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 9. Ед. хр. 47. Л. 19–19 об.
2. Письма К.П. Победоносцева к Александру III. М., 1926.
3. [*Перетц Е.А.*] Дневник Е.А. Перетца (1880–1883). М.; Л., 1927.
4. В*алуев П.А.* Дневник. 1877–1884 гг. Пг., 1919.
5. *Милютин Д.А.* Дневник. 1879–1881. М., 2010.
6. *Победоносцев К.П.* Письмо // Исторический вестник. 1896. Т. 65. С. 554.
7. *Феоктистов Е.М.* Письмо от 16 сентября 1881 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 12, Ед. хр. 23. Л. 8–9 об.
8. *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы. М., 1991.
9. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. М., 1898.
10. *Лемке М.К.* Святая дружина Александра III (тайное общество борьбы с крамолой). 1881–1882 гг. По неизданным документам. СПб., 2012.
11. *Тесля А.А.* Последний из «отцов»: биография Ивана Аксакова. СПб., 2015.
12. К.П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; Пг.: Гос. издат., 1923.
13. *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг. М., 1964.
14. *Игнатьев Н.П.* Земский собор. СПб.; Кишенев, 2000.
15. *Голохвастов П.Д.* Переписка с И.С. Аксаковым о «Земском соборе» // Русский архив. 1913. № 1, 2.
16. *Победоносцев К.П.* Письмо Б.Н. Чичерину от 15 марта 1881 г. // НИОР РГБ. Ф. 334. К. 4. Ед. хр. 4. Л. 34–34 об.
17. *Победоносцев К.П.* Письма к С.А. Рачинскому. 1882. Январь – июль // ОР РНБ. Ф. 634. Л. 166.
18. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1882 год. М., 1898.
19. *Твардовская В.А.* Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Катков и его издания). М., 1978.
20. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1884 год. М., 1898.

21. *Победоносцев К.П.* Московский сборник / К.П. Победоносцев // Соч. СПб., 1996.

22. [*Половцов А.А.*] Из дневника А.А. Половцова (1877–1878) // Красный архив. 1929. Т. 2 (33).

23. *Полунов А.Ю.* К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010.

24. *Витте С.Ю.* Воспоминания. Т. I. М., 1960.

Аннотация. Статья посвящена взаимодействию двух известных консерваторов рубежа царствований Александра II и Александра III – редактора газеты «Московские ведомости» М.Н. Каткова и члена Государственного совета, обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева. Многими современниками они воспринимались как ближайшие идейные и политические союзники, и для подобного вывода были основания, в частности – низвержение либеральной правительственной группировки после манифеста «о незыблемости самодержавия», за которым стояли оба консерватора. Однако затем расхождения между двумя прежними идейными союзниками стали нарастать: различия в понимании вопроса взаимодействия власти и общества привели к противоборству М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева, приведшего сначала к тактической победе первого над вторым, но стратегическому проигрышу обоих, выразившемуся в сворачивании контрреформ 1880-х годов. В результате, в наиболее благоприятный для них период 1880-е – начало 1890-х годов различные ветви русского консерватизма не смогли организовать эффективное взаимодействие, выработав единый политический курс, и взаимно дополняя друг друга.

Ключевые слова: М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, консерватизм, охранители, власть и общество, социум.

Alexander Y. Polunov, PhD in History, Professor, Head of the Department of Interethnic and Interdenominational Relations Management, Faculty of Public Administration, Lomonosov Moscow State University. E-mail: polunov@spa.msu.ru

The Problem of "Power and Society" in the Views of Russian Conservatives (the Views of M.N. Katkov and K.P. Pobedonostsev)

Abstract. The article is devoted to the relations of the two well-known conservatives in the last years of the reign of Alexander II and the beginning of the reign of Alexander III, – the editor of "Moscow Vedomosti" journal M.N. Katkov and the Ober-Procurator of the Most Holy Synod K.P. Pobedonostsev. Many of their contemporaries considered them to be most close ideological and political allies and there were certain grounds for such conclusions, namely the downfall of the liberal government group after the manifesto on the "inviolability of the Autocracy" that was supported by both the conservatives. However, the differences between former ideological allies later started to increase: the differences in the interpretation of the issue of power and society inter-action lead to the confrontation of M.N. Katkov and K.P. Pobedonostsev that resulted initially in the victory of the former, but ended strategically with the failure of both the thinkers that became apparent with the folding of the counter-reforms in 1880-ies. As the result various branches of Russian conservatism failed to establish efficient co-operation in the most favorable period in 1880-ies and the beginning of 1890-ies working out the unified political policy and mutually complementing each other.

Keywords: M.N. Katkov, K.P. Pobedonostsev, Conservatism, "Okhraniteli" (Preservers), Power and Society, Socium.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-232-244

Игорь Лукоянов

М.Н. Катков и внешняя политика Российской империи в царствование Александра III (1880-е годы)

Исследователи, пишущие о жизни и деятельности Михаила Никифоровича Каткова, видят в нем, как правило, журналиста, публициста, издателя консервативного направления, весьма популярного в России во второй половине XIX века, а в царствование Александра III – еще и политическую фигуру, оказывающую сильное влияние на различные государственные дела (образование, финансы и др.). По степени влияния Каткова иногда сравнивают с Н.М. Карамзиным, но такое сопоставление не вполне корректно: официальный историограф империи все-таки никогда не позиционировал себя как политик и тем более не влиял на назначения. Случай Каткова беспрецедентен (впрочем, в некоторых отношениях на него походил «ментор» двух последних царствований, тоже занимавшийся публицистикой, – князь В.П. Мещерский).

Сфера внимания столпа тогдашнего консерватизма охватывала и внешнюю политику (это помимо польского вопроса, в связи с которым Катков опубликовал массу статей, заявив себя идейным полонофобом). Представляется, что его участие в некоторых международных проблемах России 1880-х годов являлось не только важным, но и в ряде случаев оказало существенное влияние как на ход дел, так и на развитие процессов, последствия чего протянулись в XX век. Я имею в виду прежде всего переориентацию российских интересов в Европе, происшедшую как раз при Александре III, в которой Катков принял непосредственное участие и которая имела неоднозначные результаты.

В царствование Александра II прямого влияния Каткова на внешнюю политику не просматривается, активность публициста резко увеличилась сразу после смены монарха. Так, летом 1881 года он уже обсуждал «восточный вопрос» с М.Д. Скобелевым. Вряд ли их контакты были делом случая.

Герой русско-турецкой войны, командир ахалтекинской экспедиции 1881 года, Скобелев обладал большой харизмой и явно не довольствовался ролью генерала, искал лидерства. Сохранилось весьма обстоятельное (на 42 листах вместе с приложениями) письмо М.Д. Скобелева М.Н. Каткову от 14 августа 1881 года о среднеазиатской политике России [15]. Рассуждения генерала были не слишком оригинальны и новы (свои оценки он изложил еще в начале русско-турецкой войны 1877–1878 годов П.М. Кауфману, в ее конце – А.В. Адлербергу [3, с. 69–70, 130–131]) и содержали характерные для того времени представления: Средняя Азия воспринималась им как средство для решения проблемы черноморских проливов и влияния России на Балканах, а главным противником Петербурга виделся Лондон. В этих идеях за Скобелевым маячил более опытный и искушенный в международных делах Н.П. Игнатьев, долгое время служивший послом в Константинополе, а в 1881–1882 годах – министр внутренних дел. Удрученный итогами войны 1877–

Лукоянов Игорь Владимирович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и профессор ВШЭ в Санкт-Петербурге. E-mail: lukoianov@yandex.ru

1878 годов, граф искал способы настоять на своем решении балканских дел, чему мешали позиции Англии и Германии. В поисках союзника на Балканах против Австро-Венгрии, не рассчитывая на поддержку в Берлине, он обратил внимание на Париж. Скобелев оказался одним из инструментов в его комбинациях.

5 (17) февраля 1882 года русский генерал выступил в Париже перед группой сербских студентов с резкой антинемецкой речью, объявив Германию главным врагом России и славянства [9, с. 219–221][1]. Решение славянского вопроса, как и стабильность в Европе, виделись ему только на путях соглашения с Францией. Скобелев полагал, что Франция может выступить против Германии, «это ему, мол, сказала сама м-м Adan» [16, к. 9, л. 38, запись 28 февраля 1882 г.][2]. Неожиданное для многих вмешательство покорителя Шипки во внешнюю политику (он встречался с премьером Л. Гамбеттой и обсуждал с ним тему русско-французского сближения) [3, с. 234-238][3] вызвало скандал. В Европе многие подумали, что новый русский царь – враг Германии [9, с. 217], а в России решили, что выступление Скобелева – результат «московско-игнатьевских внушений» [1, с. 183, 187][4]. Однако генеральский демарш стал сюрпризом для И.С. Аксакова и близкого ему А.А. Киреева. Прямолинейно изложив пока еще смутные намерения, Скобелев поторопился с их оглаской. Он был не в состоянии связать свою речь с текущей политикой России, которая совсем не предполагала немедленную конфронтацию с Германией. П.А. Сабуров, посол в Берлине, расценил ее как скверную для отношений между двумя империями: «Действительно, перчатка брошена» [16, к. 9, л. 52, запись 9 февраля 1882 г.][5]. Скобелев был немедленно затребован в Петербург. Несмотря на заступничество Игнатьева, старавшегося смягчить впечатление Александра III от парижской речи своего протеже [7, с. 125, запись 13 февраля 1882 г.], генерал получил нагоняй от царя, однако взбучка оказалась отеческой. Царь, считая войну с Германией «делом вероятным» и «не весьма отдаленным», не желал опережать событий и возбуждать ее немедленно, считая это «очень предосудительным» [16, л. 198, запись 12 мая 1883 г.][6]. Чтобы сгладить неловкость, Александр III, принимая Вильгельма I в России в марте 1882 года, подчеркнуто демонстрировал ему свое дружелюбие. М.Н. Катков прямо в этой истории не участвовал, но Скобелеву открыто симпатизировал и идею сближения с Францией, похоже, усвоил.

Через несколько лет у Каткова появился повод выразить свои внешнеполитические идеи уже открыто. Этим случаем стали болгарские дела. В сентябре 1885 года Александр Баттенбергский, князь Болгарии, при поддержке Англии и втайне от России воссоединил с Болгарией Восточную Румелию, укрепив тем свой авторитет. Последовавшее затем в ночь с

[1] К сожалению, его выступление известно лишь по пересказу из французской прессы (“Journal de France” и “Le Voltaire”), переводы из которых российские дипломаты отправили в Петербург, не имея иной записи генеральской речи.

[2] Адан, Жюльет (1836–1936) – хозяйка политического салона в Париже правонационалистического и реваншистского по отношению к Германии направления. В 1879 году она основала журнал “Nouvelle Revue”, в котором пропагандировала в том числе и русско-французское сближение.

[3] Содержание их беседы по записи самого Скобелева привел Кнорринг: разговор состоялся 9 (21) февраля, занял два часа, касался многих вопросов, в том числе внешней политики. На антигерманской почве они легко нашли общий язык.

[4] Кнорринг, «подводя итоги парижскому инциденту Скобелева», признал, «что генерал явился в нем скорее пассивным лицом, нежели активным политиком» [3, с. 239].

[5] А.А. Киреев, адъютант великого князя Константина Николаевича, занимал тогда уникальную позицию, находясь в близких отношениях со многими героями тех событий (Аксаковым, Катковым, Игнатьевым и др.), его дневник, куда он заносил подробные рассказы о частных встречах с ними, является весьма важным источником.

[6] Содержание разговора Скобелев поведал Аксакову, а тот пересказал ее автору дневника.

8 на 9 августа 1886 года свержение князя, подготовленное под руководством русского военного агента Сахарова, не принесло желанных дивидендов Петербургу. Регентом стал председатель Народного собрания Александр Стамболов, отнюдь не прорусски настроенный.

Катков не сразу попал в такт тех событий. В апреле 1885 года он говорил о желательности решить судьбу славян с помощью специального соглашения между Петербургом и Берлином [16, к. 10, л. 85–85 об., записи за апрель 1885 г.]. То есть он делал ставку на устранение Вены с согласия О. Бисмарка, наивно надеясь на постепенное «ославянивание» Австрии (эту иллюзию не разделял Киреев) [16, к. 10, л. 111, запись 25 августа 1885 г.]. Идея не сработала: немецко-австрийские связи оказались прочнее, чем готовность Бисмарка пойти навстречу Петербургу.

20 ноября 1885 года Киреев отметил жесткие слова Каткова, что Вена ведет себя «подло» в отношении болгар в связи с их кратковременной войной с Сербией. Когда болгарская армия одержала верх, Вена заявила: если Болгария не остановится, то она встретится с австрийской армией [16, к. 10, л. 132, запись 20 ноября 1885 г.]. Это совпадало с позицией России, но в декабре 1885 года за публичное осуждение Вены в Славянском благотворительном обществе его председатель П.П. Дурново получил высочайший выговор, а И.С. Аксаков схлопотал первое предостережение «Руси» [16, к. 10, л. 135 об. – 136, записи за декабрь 1885 г.]. Катков мог прямо говорить то, за что других наказывали.

Болгария стала также поводом для прямого конфликта Каткова с российским МИДом и лично министром Н.К. Гирсом. В январе 1886 года в «Московских ведомостях» прозвучали упреки внешнеполитическому ведомству в пассивности в связи с политикой Австро-Венгрии на Балканах. 2 марта 1886 года Киреев отметил, что «Московские ведомости» публично объявили: Вена отодвинула Петербург на вторые роли на Балканах [16, к. 10, л. 160 об., запись 2 марта 1886 г.].

С июля 1886 года журналист выступал на страницах «Московских ведомостей» с критикой прогерманских симпатий российского МИДа и за сближение с Францией [2, с. 58]. За этим стояло нечто большее, чем просто неприятие отдельных решений российских дипломатов. В декабре 1886 года, обратившись с пространной запиской к Александру III, Катков провел в ней идею, что внешняя политика России должна быть национальной. Считая себя и «Московские ведомости» рупором «правильного» национализма, он отказывал в нем внешнеполитическому ведомству и его главе Гирсу («не думаю, чтобы мог сойтись с ним [Гирсом – *И.Л.*] в образе и тоне моих мыслей») [2, с. 68]. Разумеется, это находило выражение в конкретных решениях. Уличая Берлин в нежелании помочь Петербургу на Балканах (Бисмарк, «очевидно, менее всего желал бы видеть возвращение Болгарии ее собственным движением под сень России»), Катков переводит вопрос в другую плоскость: «если бы Германия оказала нам и более действительную помощь для восстановления наших прав [! – *И.Л.*] в Болгарии, то в этом отнюдь нельзя было бы видеть благоприятный для России исход». То есть «восстановление авторитета России» при участии Берлина «не даст результатов надежных и прочных»: Бисмарк заботится о немецком «диктаторском авторитете», а не о решении российских проблем [2, с. 66]. Катков полностью отказался от своей позиции полуторагодовой давности, увязав решение балканских проблем с пересмотром политики России в Европе, повторив тем самым идеи, продвигаемые еще в 1882 году Игнатьевым и Скобелевым. Не случайно в указанной записке публицист с симпатией отозвался об Игнатьеве («дипломат даровитый, и что всего важнее, национального направления») [2, с. 63], хотя их разделила интрига Каткова против игнатьевского Земского собора, завершившаяся удалением графа с поста министра внутренних дел в мае 1882 года. В конкретных шагах публицист был пока осторожен («мы не нуждаемся в союзе с Францией»), справедливо утверждая, что равноудаленность («оставаясь свободными, мы будем сильнее») пойдет только на пользу Петербургу («настоятельно требуется,

чтобы Россия находилась в столь же добрых отношениях к Франции, как и к Германии», так как это обеспечит «европейский мир на долгое время») [2, с. 71–72]. Но уже тогда у М.Н. Каткова прозвучала коварная идея: главный и общий с Парижем враг России – это Англия, «в борьбе с которою только Франция во всей Европе могла бы нам быть полезным союзником» [2, с. 73].

Записка Каткова легла на благодатную почву, так как император и сам склонялся к смене курса вопреки позиции российского МИДа. Согласно слухам, осенью 1886 года «какое-то высокое лицо» из России предложило французскому президенту Ж. Греви «союз Франции с Россией. Греви собрал Совет министров», на котором, однако, было высказано недоумение: «какой союз между принципами, диаметрально противоположными» [14, с. 391, запись 28 февраля 1887 г.]. Наконец, в ноябре 1886 года Александр III заявил французскому послу в Петербурге А. Лабулэ: «Мы нуждаемся в вас, и вы нуждаетесь в нас. Я надеюсь, что Франция это поймет» [цит. по: 10, с. 261]. 1 января 1887 года он уже сделал Лабулэ «прямые намеки на свои симпатии к Франции и на поддержку, которую она, в случае надобности, найдет в нем против Германии» [5, с. 41, запись 9 января 1887 г.]. Дипломат был «в полном восхищении», но важно, что это изумило руководство российского МИДа. 5 января 1887 года Гирс лично услышал от самодержца, что он против не только Тройственного союза, но и соглашения с одним Берлином [5, с. 34–35, запись 5 января 1887 г.]. В.Н. Ламздорф, возглавлявший тогда канцелярию министра, записал в дневнике: «Какова путаница, – говорю я себе. Мы только что просили моральной и весьма деятельной поддержки императора Вильгельма» в болгарском вопросе. «Граф Шувалов нам доносит, что старый император оказал ему самый лучший прием <…>, а мы тем временем обещаем Франции нашу поддержку против Германии <…> Извольте вести политику при такой последовательности в высших сферах» [5, с. 46, запись 10 января 1887 г.].

Пик действий «в унисон» царя и журналиста пришелся на 1887 год. Две записки Каткова начала 1887 года. уже содержали уверенность в предлагаемых мерах. По-прежнему рассуждая в основном о болгарских проблемах, публицист внушал самодержцу: «Если бы Ваше величество имели намерение предпринять в настоящее время политику действия ввиду вопросов великой важности для Вашей державы, которые могут быть разрешены только мечом, то единственно выгодный активный союз для нас может быть только с Францией» [2, с. 78, всеподданнейшая записка М.Н. Каткова Александру III 8 января 1887 г.]. И, наконец, прозвучало совсем прямо: «Если мы хотим сохранить наше достоинство, уберечь наши интересы, приобрести должную силу в Европе и подобающий России авторитет на Востоке, не прибегая к силе оружия, то нам ничего не остается в данное время как оборонительное соглашение с Францией» [2, с. 83–84, всеподданнейшая записка М.Н. Каткова Александру III 8 января 1887 г.]. Фразы о равноудаленности оказались быстро оставлены, военный союз с Парижем – вот цель Каткова. Известно, что адресат получил тексты, внимательно прочитал их, оставив на полях пометы, после чего они были возвращены Каткову. Публицист же сделал для себя еще один вывод: из него полилась уверенность в том, что МИД и придворные круги не смогут ничего против него сделать [16, к. 10, л. 160 об., запись 2 марта 1886 г.; л. 210 об., запись 13 января 1887 г.].

Одновременно в «Московских ведомостях» в начале 1887 года Катков разражается уже целой серией не только антиавстрийских, но и антинемецких статей. Едва ли не впервые в российской действительности журналист позволил себе так критиковать министра да еще и иностранных дел, что ранее было немыслимо в России. Кроме того, обсуждение текущих вопросов внешней политики России было, по сути, вынесено на публику, что также ранее не практиковалось. Журналист рассчитывал на поддержку читателей – так можно понять его действия. Для него критически важным являлось то, что мнение общества оказалось важным аргументом для Александра III. «Прежде я думал, что это только Катков,

но я убедился, что это вся Россия, – заявил царь Гирсу, прибавив: – …ошибок никаких не было, но если, тем не менее, потеряется доверие нашего общественного мнения во внешнюю политику, тогда все пропало» [5, с. 36, запись 6 января 1887 г.]. Самодержец, похоже, был убежден, что решения принимает он, но действует в интересах России, что должно отражаться в поддержке общественного мнения. Это представление монарха, кажется, уловил Катков, решив противопоставить свою публицистику действиям МИДа.

Редактор знал, что делал: в Петербурге циркулировал слух, что Александр III уверен в непригодности российской дипломатии [16, к. 10, л. 160 об., запись 2 марта 1886 г.; л. 217 об., запись 24 февраля 1887 г.]. Катков стремился «закрепить» достигнутый «успех». В записках, адресованных Александру III, он поддевал царя фразами вроде: «распространенное мнение, что Россия имеет две политики, идущие врознь, одну царскую, другую министерскую», не задевая пока русско-германских отношений. Лично Гирса он уличал в том, что министр «затрудняется видеться со мною и вступать в объяснения», несмотря на повеление монарха [2, с. 79–80].

В МИДе, в свою очередь, читая «глупые и непристойные» статьи «Московских ведомостей» и «Гражданина», сделали вывод, что император подчинился влиянию Каткова, Мещерского и др. [5, с. 36, запись 6 января 1887 г.]. Подозревали заговор «Каткова – Игнатьева – Сабурова» в целях пересмотра внешней политики и намерения склонить к поддержке нового курса министра Гирса. Последний уже сам думал об отставке, не желая «нести ответственность за ту неразбериху, в которую втягивают Россию» [5, с. 47, запись 11 января 1887 г.]. Весной Петербург обсуждал грядущее удаление министра иностранных дел. Ждали, что на Пасху он будет награжден орденом Андрея Первозванного, что, по-видимому, означало скорый уход с почетом. К изумлению многих, Гирс не получил ни награды, ни отставки. Александр III слишком ценил осторожность – «драгоценное в нем качество» и был уверен, что министр – «такой человек, что не зарвется» [11, с. 250].

Начавшаяся между Катковым и МИДом война получила неожиданное продолжение на рубеже 1886–1887 годов. В конце 1886 года во Франции появился генерал Е.В. Богданович, состоявший при министре внутренних дел и, кстати, давний автор «Московских ведомостей» [4, с. 25–26]. Перед отъездом он посетил Гирса, рассказав в ходе продолжительного разговора о недовольстве Катковым действиями Министерства иностранных дел в связи с болгарскими проблемами. Французские сюжеты, судя по рассказу Гирса Ламздорфу, в беседе не затрагивались [5, с. 10–11, запись 9 декабря 1886 г.]. Вряд ли чиновник побывал в МИДе по поручению публициста, похоже, что он прощупывал почву для себя. Оказавшись в Париже (конечно же, не только для лечения глаз), Богданович неоднократно встречался с русским послом А.П. Моренгеймом, военным губернатором столицы генералом Ф. Сосье, а один раз, в конце января 1887 года, – и с президентом республики Ж. Греви и вел с ними переговоры о русско-французском сближении. Резонанс от действий салонного генерала оказался настолько значительным, что Моренгейму даже приписывали фразу, «что он не знает, чьим инструкциям следовать, Министерства ли иностранных дел или генерала Богдановича» [17, л. 8 об.].

Действия Богдановича в Париже получили широкую огласку как из-за его непомерного тщеславия, так и из-за того, что они были раздуты французской прессой. Александр III был сильно разгневан, генерала срочно вызвали в Петербург, 19 мая 1887 года он оказался уволен со службы без мундира и пенсии. Царь охарактеризовал его как негодного человека [11, с. 253]. Для оправдания Богданович составил оправдательную записку[1].

[1] Публикацию записки см. [6]. В черновом ее варианте Богданович проговорился, что текст был подготовлен четыре месяца спустя после его возвращения – то есть в июне 1887 года, до смерти Каткова (РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.). Вероятно, он надеялся подать ее через Каткова, чему помешала скоропостижная смерть публициста. Поэтому в окончательном варианте появились десять месяцев между приездом в Россию и

Написана она не умно, так как не убеждает читателя в несправедливости возложенных на автора обвинений. Сопоставление чернового и окончательного вариантов текста показывает, что сначала чиновник просто растерялся, даже не поняв, в чем причина гнева монарха, и решил отмежеваться прежде всего от всяких связей с Игнатьевым (о чем ходили настойчивые слухи). Нелепо выглядело отрицание всякого интереса к внешней политике и одновременно – постоянные контакты с разными дипломатами. Не удивительно, что записке и не поверили. Позднее В.К. Плеве, разбиравший в конце 1880-х годов архив покойного Д.А. Толстого (именно к нему обратился за поддержкой Богданович после смерти Каткова) и бывший в курсе всех этих событий, без тени сомнения писал другому министру внутренних дел Д.С. Сипягину в 1900 году: салонный генерал во время своей скандальной поездки во Францию «входил в переговоры с тамошними политическими деятелями с целью практического осуществления появившегося в то время в России нового течения общественной мысли о пользе политического сближения с Францией». Александра III возмутил не столько факт профранцузских действий, сколько их огласка, да еще и сопровождавшаяся антигерманской риторикой [17, л. 7–8].

Позднее, в марте 1888 года монарх простил Богдановича, назначив его членом Совета министра внутренних дел, а Николай II вернул ему и мундир. Александр III остыл, а продолжающееся русско-французское сближение и смерть Каткова смягчили его первоначальную реакцию. Годовое увольнение от службы показалось ему достаточным наказанием за лишнюю болтовню и недостаточную осведомленность чрезмерно тщеславного чиновника.

Но не стоял ли за спиной Богдановича Катков? Полагаю, что нет. Киреев со слов Энгельгардта, женатого на сестре публициста, записал его слова о том, что Богданович «скомпрометировал себя», представляясь «уполномоченным Каткова». Поведением Богдановича Катков был недоволен, говорил окружающим, что «оно повредило нашим планам». В Петербурге, несмотря на громкую огласку инцидента, единого мнения о причастности к скандалу Каткова не сложилось. Князь Н.В. Шаховской, будущий «начальник» российской печати, а тогда чиновник МВД, неуклюже уверял, «что Катков не был в сношениях с Богдановичем, а как журналист имел его тайным корреспондентом в Петербурге» (ни для кого эта роль не была «тайной») [16, к. 11, л. 2, запись 7 июня 1887 г.]. Морской министр И.А. Шестаков на это заметил: «Как разобрать, в какой степени и для чего и как употреблял Катков христопродавца?» [14, с. 433, запись 3 августа 1887 г.].

Несмотря на то, что прямо редактора «Московских ведомостей» в связи с историей с Богдановичем так и не обвинили, Александр III вдруг сменил милость на гнев. На статье М.Н. Каткова в «Московских ведомостях» (1887, 8 марта. № 66) с призывом к сближению с Францией он оставил резолюцию: «В высшей степени неприличная статья. Вообще Катков забывается и играет роль какого-то диктатора, забывая, что внешняя политика зависит от меня, и что я отвечаю за последствия, а не г. Катков», предписав дать газете предупреждение [11, с. 244–245; 10, с. 268]. Возможно, на позицию монарха повлияла жалоба дипломатов на то, что сочинитель разгласил некоторые секретные статьи Тройственного союза. Заметное раздражение поведением публициста выразил председатель Государственного совета великий князь Михаил Николаевич, предрекший, что «разнузданность» журналиста повлечет за собой ухудшение отношений с Германией [8, с. 794, Е.М. Феоктистов – К.П. Победоносцеву 17 марта 1887 г.]. Защищал Каткова только К.П. Победоносцев. Обер-прокурор предложил царю принять публициста для личных объяснений, на что Александр III согласился 18 марта [8, с. 793, К.П. Победоносцев – Александру III 16 марта

составлением записки. Впрочем, это лишь предположение, так как Катков после парижской истории стремился отмежеваться от Богдановича. Сам же салонный генерал после кончины редактора сделал ставку на Победоносцева, которому без зазрения совести сообщил «много правды» о своем покойном покровителе [4, с. 27].

1887 г. (получено царем не ранее 18 марта)]. В более чем часовом разговоре самодержец не только выступил против войны (речь, по-видимому, шла об инциденте Шнебеля, который вызвал серьезное напряжение во франко-прусских отношениях). В передаче Каткова получалось, что царь видит корень проблемы не в Болгарии, а в Германии, косвенно подтвердив тем правильность позиции редактора [16, к. 10, л. 222, запись 22 марта 1887 г.]. В результате император пересмотрел собственное решение, отказавшись «из уважения к личности Каткова» «карать его гласно» [11, с. 246][1]. «Катков вышел из кабинета государя еще более уверенным в себе, еще тверже проникнутым мыслью, что он должен идти неуклонно по избранному им пути» [11, с. 250–251].

Вмешательство в дела МИД постороннего было воспринято в ведомстве как интрига, которая затрагивала репутацию как Гирса, так и Моренгейма[2]. Ответом на закулисные действия Каткова стала другая интрига, уже против его влияния, организованная близким послу российским дипломатом в Париже К.Г. Катакази[3], отъявленным негодяем «еще почище Богдановича» [11, с. 255]. Катакази подделал письмо Каткова, якобы адресованное французским журналистам, в котором утверждалось, что это он, Катков, определяет внешнюю политику России и поэтому с вопросами следует обращаться к нему, а не в русскую миссию. Почти одновременно Катакази направил в Петербург через Моренгейма свои соображения о русско-франко-германских отношениях. Он предлагал заменить Тройственный союз двойственным (России и Германии), отвратительно характеризуя республиканские порядки во Франции [5, с. 83, запись 5 апреля 1887 г.]. Это был Катков двухлетней давности, ставка же на монархические идеалы царя являлась ошибочной. У Кантакази были и личные мотивы противостоять действиям публициста. Ведь это он еще в декабре 1886 года (Ламздорф упоминает его письмо 17/29 декабря) сообщил в Петербург о разговоре на обеде с генералом Буланже, лидером французских националистов. Они обсудили возможность русско-французского сближения, причем собеседник Катакази обусловил «полезное и практическое соглашение» временем, когда во Франции появится «сильное, устойчивое и благоразумное правительство». Александр III, которому письмо было представлено, поддержал Буланже: «Мы всегда были этого мнения» [5, с. 100–101, запись 18 января 1889 г.]. А тут Катков!

Фальшивка Катакази была грубой, на борьбу с ней публицист направил своего давнего и не менее грязного сотрудника И.Ф. Циона (подробнее речь о его деятельности впереди) [16, к. 11, л. 35 об. – 36, запись декабря 1887 г.]. Последний, собрав «из уст самых компетентных лиц» сведения об истоках этой истории, открыл «план гнусной интриги» со стороны Катакази. Якобы последний, получая ежегодно значительную сумму «с целью влияния на здешнюю печать», клал деньги в карман. После нескольких склок и скандалов Катакази, будучи в плохих отношениях с французской печатью, пытался выдать за корреспондента Каткова своего приятеля – малозаметного хроникера, некоего грека Сивиниса [18; см. также 11, с. 255–256]. Зачем это ему было нужно, Цион не по-

[1] Шестаков добавил к этому, что царя отговорил от желания дать предупреждение «Московским ведомостям» Феоктистов [14, с. 396–399].

[2] Впрочем, в МИДе не наблюдалось единства по отношению к действиям Каткова. Так, старший советник министерства А.Г. Жомини через И.Ф. Циона сообщил публицисту, что «во многих отношениях разделяет его мнение» [5, с. 78, запись 12 февраля 1887 г.].

[3] Константин Гаврилович Катакази (1830–1890) числился с 1884 года на службе в МИДе, не занимая никаких должностей, и проживал в Париже. Он регулярно посылал в министерство донесения, немало упоминаний о них содержится в дневниковых записях Ламздорфа. Прямых свидетельств тому, что за Кантакази мог стоять кто-либо значительнее, чем Моренгейм, тогда не прозвучало. Ламздорф сообщил, что это сам Катакази спрашивал у министра позволения приехать в Петербург [5, с. 47, запись 11 января 1887 г.]. Но характерно, что несколько месяцев спустя Цион усмотрел в интриге также козни «молодого» А.Н. Гирса, служившего тогда в русском посольстве в Париже [8, с. 801–804, И.Ф. Цион – К.П. Победоносцеву 1 августа 1887 г.].

яснил. Зато сотруднику Каткова оказалось известно, что Катакази, подавая записки для Александра III, предварительно показывал их немецкому послу в Париже Мюнстеру. То есть Цион пытался выдать негативные оценки республиканских порядков со стороны российских дипломатов за немецкую интригу, не желающую допустить русско-французского сближения, тогда как сами французы, по его оценке, испытывали как никогда глубокое и сильное желание к сближению с Россией [8, с. 806–810, И.Ф. Цион – К.П. Победоносцеву 17 мая 1888 г.].

Защищал Каткова (и Циона) опять один Победоносцев. Об этом косвенно свидетельствует ремарка в его записке Шаховскому о письмах Циона: он назвал их «старыми» бумагами публициста об историях, «из которых приходилось его выпутывать» [19][1].

Несмотря на «разоблачения» Циона, пару месяцев спустя для негодования императора на Каткова появился новый повод: Александр III получил в руки депешу Моренгейма с сообщением, что президента Греви уверяли от имени публициста, что назначение Флокэ главой правительства вместо отставленного Ш. Фрейсинэ будет «хорошо принято в России». Посредником между Катковым и Флоке был назван Цион (что, кстати, соответствовало действительности). Послание Моренгейма означало, что интриги вокруг внешней политики России продолжаются и множатся. Их участники давили на струну, обнаружившую свою чувственность: царь очень трепетно относился к попыткам поставить под сомнение его власть. Возмущение самодержца касалось в первую очередь того, что это он лично, а не Катков делает внешнюю политику и никому не позволено в нее вмешиваться [11, с. 251–252][2]. Царь даже изложил свой гнев на бумаге, его записка оказалась у Д.А. Толстого. Начальник Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистов, который прочитал ее, передал основную мысль текста так: если бы Катков позволил себе такое безумное вмешательство во французские дела от имени русского правительства, то это требовало бы освидетельствования его умственных способностей [20, л. 15, запись 22 мая 1887 г.]. Гнев Александра III был направлен также и против публичности: история попала в газеты, а это плохо (то есть его прерогативы подвергли сомнению в печати). Катков опять ускользнул от наказания, но был сильно напуган. Современники полагали, что скоропостижная болезнь и смерть публициста 20 июля 1887 года были вызваны царской немилостью. Александр III также сделал выговор бывшему российскому послу в Берлине Сабурову за передачу им, когда он был еще послом, Каткову и С.С. Татищеву копий секретных документов [16, к. 10, л. 235 об., запись 21 мая 1887 г.]. Дипломату было даже указано подать в отставку с должности сенатора, но его отстоял министр юстиции Манасеин [11, с. 253]. Главному их заступнику Победоносцеву царь сообщил: «Документы о Каткове слишком важны, и я желал бы оставить их у себя на некоторое время для справок и переговорить об этом с Н.К. Гирсом. Что Катакази скот, это я давно знал, но чтобы он был таким мошенником и плутом, я, признаюсь, не ожидал» [21]. Полная «реабилитация» Каткова состоялась лишь после его смерти.

Настоящим агентом Каткова, действовавшим во имя русско-французского сближения, был уже упоминавшийся Илья Фаддеевич Цион (1842–1912). Доктор медицины, он потерял место профессора в Военно-хирургической академии из-за конфликта со студентами и уехал во Францию, где ему была обещана кафедра. Однако у физиолога, слишком верившего в Бога, не заладилось и там, он успел отметиться лишь громкой полемикой с Полем Бером, после чего оставил свои профессиональные занятия и ушел в коммерцию. Он управлял каким-то промышленным предприятием, установил обширные связи во

[1] Обер-прокурор посылал бумаги лишь для ознакомления, просил их затем вернуть, но Шаховской почему-то этого не сделал.

[2] Автор узнал это от Толстого, которому изливал свое негодование сам Александр III.

властных, коммерческих и журналистских кругах, «успешно и быстро исполнил возложенное на него финансовое поручение» [22, л. 51–53][1].

Цион был связан с Катковым с конца 1870-х годов, деятельно сотрудничая в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике» [23, л. 40 об. – 41.]. Он называл себя корреспондентом «Московских ведомостей» во Франции [8, с. 801–804, И.Ф. Цион – К.П. Победоносцеву 1 августа 1887 г.], редактор газеты Катков считал его идейно близким себе [11, с. 421, М.Н. Катков – К.П. Победоносцеву 4 июня 1887 г.].

Катков и Цион пришли к убеждению, что России следует стремиться к установлению дружественных отношений с Францией. По-видимому, это случилось летом 1886 года, когда профессор отреагировал на профранцузские статьи публициста. Он почувствовал в Каткове единомышленника в вопросе русско-французского сближения. Цион был полон оптимизма: «Это представляет много трудностей, но далеко не так невозможно, как это полагают, все зависит от умения взяться за дело» [24, л. 28, 24 июня <1886 г.>]. С одной стороны, Англия, по его мнению, отдала руководство своей внешней политикой в руки Бисмарка, что делало англо-французское сближение вряд ли возможным. С другой стороны, глава правительства Фрейсинэ, по мнению Циона, ненавидел Германию, но был слишком зависим от парламента и чрезмерно мечтал о кресле президента. На фоне осложнения русско-германских отношений это делало постепенное сближение Парижа с Петербургом естественным. Пока же России следовало стремиться «к установлению дружеских отношений», а не «к заключению формального союза, покамест совершенно невозможного» [24, л. 28–28 об.].

Инициатива такой дружбы не могла исходить от российского посла Моренгейма: он возбуждал ненависть в правительственных кругах и был категорически не способен к таким действиям. Цион даже поставил перед публицистом (!) вопрос о смене российского посла [24, л. 29]. Катков и Цион решили действовать сами и сделали ставку на Ш. Флокэ, президента палаты депутатов, как уже говорилось, левого радикала, выражавшего прорусские симпатии [24, л. 27 об. – 29]. Кстати, глава палаты обижался на Моренгейма, не приглашавшего парламентария на ужины и обеды в посольстве [22, л. 53-53 об.].

В связи с доносом Катакази Цион отверг обвинение его и Каткова в открытой поддержке Флоке. Он утверждал, что никогда не встречался лично ни с ним, ни с другими лидерами радикалов, клялся публицисту в осмотрительности: «Я же абсолютно держал себя осторожно, не желая сделать из Флокэ врага России» [24, л. 25 об. – 26 об., 1 июня <1887 г.>]. Однако ранее профессор сообщил редактору «Московских ведомостей»: «с 1 ап<реля> делаем большие усилия, чтобы обратить Флокэ на путь истинный» [24, л. 42, 31 марта 1887 г.]. «В пользу России я настраивал его через посредство г<оспо>жи Адан» [18, л. 50]. Более того, Катков сообщил Александру III, пересказывая ему корреспонденции Циона, что Флоке готов выразить прорусские симпатии при первом удобном случае, но ему препятствует к этому отсутствие у него отношений с Моренгеймом [22, л. 53–53 об.]. Российские дипломаты вполне могли представить такие действия как препятствие для русско-французского сближения, ставя на невозможность союза между левым радикалом и самодержцем. Несмотря на то, что от Флоке Цион добился письменного подтверждения, что все обвинения Катакази – ложь, контакты с ним, несомненно, были.

Через Циона, который в августе 1886 года стал одним из руководителей правонационалистического журнала Ж. Адан “Nouvelle Revue”, Катков развернул во Франции газетную кампанию на сближение с Россией. Его корреспондент также наладил публикацию прорусских материалов в провинциальной французской печати. Однако этим дело не огра-

[1] Вероятно, имелось в виду успешное размещение в Париже бумаг Общества взаимного поземельного кредита почти на 100 млн руб.

ничилось. Именно в связи с Ционом всплывает финансовый аспект русско-французского сближения.

Похоже, все началось с предпринимательской деятельности профессора, которая вывела его на банковские круги. Сам Цион позднее утверждал: «я взял на себя почин приобретения французского рынка для наших фондов» [23, л. 41 об.]. Обстановка благоприятствовала физиологу: как раз в это время обострились русско-германские экономические отношения. О. Бисмарк даже наложил запрет на приобретение русских фондов. Тем не менее профессор как представитель Каткова встретился в Берлине с Г. Блейхредером. По согласованию с Катковым (!) Цион отклонил сделанное ему предложение о встрече с неназванными лицами, объяснив позицию «национальной партии» (а Катков считался в Берлине ее вождем) поддержкой Германией Австро-Венгрии [24, л. 44–44 об.][1]. Об этом издатель «Московских ведомостей» сообщил в последней записке Александру III 11 мая 1887 года, заодно представив царю Циона как своего парижского корреспондента и исполнителя «финансового поручения», стремясь переломить недоверие самодержца к нему[2].

В Париже все оказалось намного лучше. Цион сообщал: «Я говорил здесь с Ротшильдом, он энергически отрицает всякую враждебность русским финансам. Если он держался в стороне до сих пор, то только потому, что к нему ни разу серьезно не обращались. Он поручил мне сообщить это Б<унге>, которого, очевидно, известные дельцы отманивали в пользу Берлина [24, л. 36–36 об., 24 ноября 1886 г.]. После разговора с Ротшильдом Цион написал Н.Х. Бунге, с которым незадолго до этого, в октябре 1886 года, встречался в Петербурге (вероятно, не без протекции Каткова). Но министр финансов отклонил предложение о выходе на парижскую биржу, не веря в возможность заручиться поддержкой Ротшильдов. В феврале 1887 года Цион повторил свое предложение уже И.А. Вышнеградскому – новому министру финансов и прямому ставленнику Каткова – и вновь отказ! Тем не менее Катков все-таки убедил Вышнеградского, что предполагавшееся им обращение к Ротшильдам для конверсии акций Общества взаимного поземельного кредита лучше сделать через Циона. Якобы Вышнеградский даже пообещал Циону в случае успеха пост в Министерстве финансов [26][3].

Казалось, их сотрудничество наладилось. Цион получил назначение на должность агента Министерства финансов в Париже и в апреле-мае 1887 года стал продвигать идею Металлического банка с французским капиталом в 200 млн франков, для того чтобы приучать русскую публику к золотой монете, поддержать рубль и удешевить кредит в России, а в случае войны – привлечь средства на миллиарды франков [8, с. 809. И.Ф. Цион – К.П. Победоносцеву 17 мая 1888 г.]. Вышнеградский добился в Комитете министров разрешения проводить сделки на золото, но делу помешали директора Учетно-ссудного и Международного банков [12, с. 6–7]. Наконец, в июне 1887 года неутомимый Цион появился перед Вышнеградским с планом крупного международного синдиката для скупки русских фондов (без Ротшильдов) для перевода их из Берлина в Париж и повел во французской печати кампанию в поддержку такого синдиката (стоившей ему якобы 200 тыс. франков) [13, с. 11–12]. Однако здесь его ждала неудача: несмотря на то, что сначала Вышнеградский дал «добро», все изменилось после смерти Каткова. Цион не

[1] Это не помешало Циону позднее участвовать в различных операциях Блейхредера и получать от него значительные суммы.

[2] Возможно, это было реакцией на раздражение Александра III в связи с депешей Моренгейма, в которой упоминался и Цион. Царь назвал последнего вместе с Богдановичем и Татищевым негодяями [11, с. 252]. Недоверие самодержца Циону было настолько сильно, что даже влиятельнейший Победоносцев не решался посылать ему оригинальные телеграммы от корреспондента Каткова [25].

[3] Правда, после смерти Каткова Вышнеградский не знал, как отделаться от Циона.

скрывал, что с уходом из жизни своего покровителя он утратил единственный рычаг влияния на министра финансов [12, с. 7–8].

Понятно, что Вышнеградский не имел оснований безоговорочно доверять профессору и особенно рассказам о его финансовых связях во Франции. Но на короткий момент, на начальном этапе переориентации русских фондов с Берлина на Париж Цион вдруг обрел важную роль. Позднее он писал А.С. Суворину: «Вы, может быть, знаете, что в минуту отчаянного германского похода против наших фондов я имел специальное поручение через посредство печати и при помощи главных банкиров создать во Франции рынок для русских фондов и как можно больше привлечь французскую публику к помещению своих капиталов в наших бумагах. Признаюсь, мне не приходилось даже делать больших усилий, чтобы успеть в этом деле – до того сильны были симпатии к России – это не только в Париже, но и в провинции все, даже самые мелкие капиталисты – т.е., крестьяне, рабочие, прислуга и т.д. – помещали свои сбережения в русских бумагах. Более, чем на 500 млн франков перешло еще в конце 1887 и начале 1888 годов из Германии сюда. И это движение не только сильно содействовало спасению нашего кредита от полного крушения, но и дало банкирам смелость впоследствии перенять 2½ миллиарда займов по небывало высоким ценам. Германский поход благодаря вмешательству французской публики кончился для нас блестящею финансовою победою. Кредит наш улучшился на 20%» [27, л. 5 об. – 6 об., 9 (21) мая <1889 г.>]. Конечно, он преувеличивал.

В отличие от Богдановича Циону не удалось преуспеть после смерти своего покровителя, не помогло и заступничество Победоносцева. В 1888 году он был уволен со службы [28], его прошение о присвоении ему дворянского достоинства не получило удовлетворения [29]. Позднее он вступил в публичный конфликт с преемником Вышнеградского С.Ю. Витте, что исключало даже появление профессора в России.

Катков, оказавшись влиятельнейшим продолжателем линии Игнатьева – Скобелева, играл активную роль во внешней политике России недолго, не более трех лет (1885–1887). Тем не менее он успел изменить порядок принятия решений, нарушив монополию МИДа. Поставив вопрос о «национальном курсе» в международных делах, публицист сразу противопоставил его действиям ведомства, признав последние непригодными для России и сумев убедить в этом Александра III. «Технология» «национальной политики» была удивительной: Катков своими статьями вынес подготовку внешнеполитических решений в публичную плоскость, информировал об их содержании читателя и фактически дал отмашку на обсуждение. Публичность международных дел вызывала сильные возражения как у МИДа[1], так и у Александра III, неоднократно пенявшего за огласку намерений. На самом деле за стремлением Каткова вовлечь читателя в политику стояло не желание действительно обсудить намечаемые шаги, чтобы узнать мнение общества, а поиск того, каким образом он может противодействовать «недостаточно национальному», по его мнению, МИДу. Поразительно звучит признание Циона А.С. Суворину, что «печать наша как бы замещающая [! – *И.Л.*] национальную дипломатию, обязана действовать с чисто дипломатической осторожностью» [27, л. 2 об., б/д <1889 г.>].

Однако «национальный курс», являвшийся продолжением линии Игнатьева – Скобелева, получил весьма специфическое наполнение, далекое от того, о котором мечтал «властитель дум». Вместо усиления национальных интересов во внешней политике он получил нескрываемое недоверие царя к МИДу и дипломатам, вовлечение в международную деятельность разных сомнительных личностей и как логическое следствие – клу-

[1] Так, Жомини заклинал Каткова «не поверять» печати свои мнения «ввиду огромного вреда, который это причиняет, а ограничиться подачей государю докладных записок» [5, с. 78, запись 12 февраля 1887 г.].

бок интриг и потоки грязи там, где более всего была необходима четкая и согласованная работа разных звеньев государственной власти. Парадоксально выглядит в этой связи позиция Александра III. С одной стороны, он резко возражал против излишней «гласности» и поспешности в решениях, но с другой – обусловливал внешнеполитический курс России национальными интересами, выразителей которых, по его мнению, следовало искать вне бюрократического аппарата. Последствия этого вмешательства не замедлили сказаться. Если в случае с русско-французскими отношениями, можно сказать, обошлось, то следующее предприятие, организованное в рамках «национального курса» – экспедиция Н.И. Ашинова в Эфиопию в 1888–1889 годах, осуществленная уже после Каткова (который, кстати, симпатизировал Ашинову), завершилась громким скандалом и могла нанести серьезный ущерб налаживавшимся, как казалось, отношениям с Францией. Дальнейшее развитие процесса привело к двум политикам Николая II на Дальнем Востоке и русско-японской войне 1904–1905 годов. Очевидно, что неизбежная в такой ситуации двойственность лишь добавляла противоречий и провоцировала кризисы, расшатывая в целом работу государственного механизма.

Литература

1. *Валуев П.А.* Дневник. 1877–1884. Пг.: Былое, 1919. VI. 1. 311 с.
2. М.Н. Катков и Александр III в 1886–1887 гг. // Красный архив. 1933. № 3 (58). С. 58–85.
3. *Кнорринг Н.Н.* Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев // Белый генерал. М.: Патриот, 1992. 537, [2] с.
4. *Котов А.Э.* Консервативные публицисты на страницах дневника А.В. Богданович // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2017. Вып. 10. С. 24–30.
5. [*Ламздорф В.Н.*] Дневник В.Н. Ламздорфа (1886–1890). М.; Л.: Гос. издат., 1926. X. [2]. 396 с.
6. *Лукоянов И.В.* А.П. Моренгейм «не знает, чьим инструкциям следовать, МИД или генерала Богдановича»: как проходило русско-французское сближение конца 1880-х гг. // Санкт-Петербург – Франция. Наука, культура, политика. СПб.: Европейский дом, 2010. С. 364–385.
7. [*Перетц Е.А.*] Дневник Е.А. Перетца, государственного секретаря (1880–1883). М.; Л.: Гос. издат., 1927. X, 172 с.
8. К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. Т. 1. Полутом 2: Письма 1884–1894 гг. М.; Пг.: Гос. издат., 1923. С. 440–1147.
9. Речь ген[ерала] Скобелева в Париже в 1882 г. // Красный архив. 1928. № 2 (27). С. 215–225.
10. *Рыбаченок И.С.* Образование русско–французского союза // История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М.: Международные отношения, 1997. С. 259–301.
11. *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы 1848–1896. М.: Новости, 1991. 458, [3] с.
12. *Цион И.Ф.* С.Ю. Витте и его проект злостного банкротства перед Государственным советом. Париж, 1896. XVI. 80 с.
13. *Цион И.Ф.* Итоги финансового управления г. Вышнеградского по официальным документам. Париж, 1892. [3], 50 с.
14. *Шестаков И.А.* Полвека обыденной жизни. Т. 2. Дневники (1882–1888 годы). СПб.: Судостроение, 2013. 598 с.
15. *Скобелев М.Д.* Письмо М.Н. Каткову от 14 августа 1881 г. // ОР ИРЛИ. Разряд I. Оп. 12. № 417.
16. [*Киреев А.А.*] Дневник А.А. Киреева // ОР РГБ. Ф. 126.
17. *Плеве В.К.* Письмо Д.С. Сипягину, б/д [1900 г.] // ОР РНБ. Ф. 754. Оп. 1. № 34.
18. *Цион И.Ф.* Письмо М.Н. Каткову 18 (30) июня 1887 г. // ОР РГБ. Ф. 120. К. 13. № 2. Л. 47 об. – 49 об.
19. *Победоносцев К.П.* Письмо Н.В. Шаховскому, б/д // ОР РНБ. Ф. 847. Оп. 1. № 1003. Л. 1.
20. [*Феоктистов Е.М.*] Дневник Е.М. Феоктистова // ОР ИРЛИ. № 9120.
21. *Александр III.* Письмо К.П. Победоносцеву 31 июля 1887 г. // ОР РНБ. Ф. 847. Оп. 1. № 941. Л. 1 об.
22. Копии писем М.Н. Каткова Александру III, посвященные И.Ф. Циону // ОР РГБ. Ф. 120. К. 55. № 12.
23. *Цион И.Ф.* Прошение И.Н. Дурново 13 июля 1895 г. // РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 192.
24. *Цион И.Ф.* Письма М.Н. Каткову (копии) // ОР РГБ. Ф. 120. К. 39. № 54.
25. *Победоносцев К.П.* Письмо М.Н. Каткову 20 марта [1887 г.] // ОР РГБ. Ф. 120. К. 9. № 47. Л. 119.
26. *Феоктистов Е.М.* Записки // ОР ИРЛИ. № 9123. Л. 109 об.
27. *Цион И.Ф.* Письма А.С. Суворину // РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 4555.
28. Справка о И.Ф. Ционе // РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 192. Л. 27–28.
29. *Цион И.Ф.* Прошение о присвоении дворянского достоинства // РГИА. Ф. 1405. Оп. 89. Д. 2650.

Аннотация. Статья посвящена участию М.Н. Каткова в решении ряда внешнеполитических вопросов, стоявших перед Россией в середине 1880-х годов. В частности, это болгарский кризис 1885–1886 годов и перемены в отношениях Петербурга с Берлином и Парижем. Выступив с идеей «национальной» внешней политики, Катков, однако, представил ее не только как ряд смелых, но не всегда продуманных и рискованных решений, но и как борьбу с Министерством иностранных дел и персонально министром Н.К. Гирсом за пересмотр курса. На практике это выразилось в активности ряда лиц, в разной степени связанных с журналистом (И.Ф. Цион, Е.В. Богданович), которая конкурировала с действиями дипломатов. Однако такие изменения повлекли за собой серьезные нарушения в механизмах принятия и осуществления решений. В частности, резкое падение доверия к Министерству иностранных дел сопровождалось обострением интриг внутри и вне ведомства и использованием некомпетентных и безответственных лиц во внешних сношениях. Последствия вмешательства Каткова оказались неоднозначными. Если в случае с пересмотром русско-французских отношений все завершилось благополучно, то позднее использование этих приемов привело к ряду дипломатических неудач, менее (экспедиция Н.И. Ашинова в Эфиопию в 1889 году) или более (безобразовцы и русско-японская война 1904–1905 годов) крупных и болезненных.

Ключевые слова: Россия, Александр III, внешняя политика, русско-французские и русско-немецкие отношения, русско-французский союз, болгарский кризис, Катков, Богданович, Цион.

Igor Vladimirovich Lukoianov, PhD in History, Leading Researcher, St. Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences; Professor, Higher School of Economics, St. Petersburg. E-mail: lukoianov@yandex.ru

M.N. Katkov and Russian Empire Foreign Policy in the Reign of Alexander III (1880-ies)

Abstract. The article is devoted to M.N. Katkov's participation in the settlement of certain foreign policy issues that Russia faced in the mid-1880s. In particular, that included the Bulgarian crisis of 1885–1886 and changes in the relations of St. Petersburg with Berlin and Paris. Putting forward the idea of a "national" foreign policy, Katkov, however, presented it not only as a series of bold, risky and not always well-considered decisions, but also as the struggle against the Ministry of Foreign Affairs and personally the minister N.K. Girs for reviewing the course. In practice, this was reflected in the activity of some persons who were related to the journalist to a variable degree (I.F. Cyon, E.V. Bogdanovich), competing with the diplomats. However, such changes entailed serious violations in the mechanisms of making and implementing decisions. In particular, the serious lack of confidence in the Ministry of Foreign Affairs was accompanied by the aggravation of intrigues inside and outside the Ministry and the use of incompetent and irresponsible persons in foreign relations. The consequences of Katkov's intervention were ambiguous. In case of the revision of Russian-French relations everything ended successfully, but later the use of those mechanisms led to a number of diplomatic failures, less (Ashinov's expedition to Ethiopia in 1889) or more (A.M. Bezobrazov and his company prior to the Russo-Japanese war of 1904–1905) painful.

Keywords: Russia, Alexander III, Foreign Policy, France-Russia and German-Russia Relations, Franco-Russian Alliance, Bulgarian Crisis, Katkov, Bogdanovich, Cyon.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-245-251

Матвей Рухмаков, Алексей Богомаз

Сильное государство и сильная личность: философско-правовое учение М.Н. Каткова

Философское и публицистическое наследие русского мыслителя Михаила Никифоровича Каткова с момента появления его первых работ не теряет непримиримой противоречивости своих оценок. Поколения отечественных гуманитариев, сменяя друг друга, не перестают при рассмотрении как трудов, так и самой личности «истинного царя слова» [20][1] по преимуществу отдаляться от нейтральных исследовательских позиций к оценочным полюсам [подробнее см. 3, с. 192–194], как, например, к полюсу принижения в советскую эпоху [см. 19, с. 43–44; 15; 24; 16; 25 и др.].

Среди причин такой неоднозначной и спорной оценки творческого наследия и личности Михаила Никифоровича можно выделить эмоциональность и самоотверженность, с которыми он подходил к своей работе – делу просвещения русского народа. Учитывая конъюнктурные и идеологические моменты, выходящие у некоторых исследователей на первый план при оценке политической прозы Каткова, стоит отметить, что не каждый читатель, подступившийся к его текстам без какого-либо давления, открыт экзистенциальному погружению в текст автора, для которого укрепление и возвышение российской государственности являлись наивысшим аксиологическим мерилом, прямо сопровождаемым религиозным чувством и коррелирующим с национальной идеей становления и возвышения русской идентичности, русского человека как такового.

Особенно интересным и противоречивым представляется путь, которым Михаил Никифорович пришел к аксиологии государственного охранительства. Еще в юношеском возрасте он испытал столкновение религиозного мировоззрения, воспитанного матерью, и светских взглядов, с которыми познакомился в кружке Н.В. Станкевича. Концептуальное согласование обозначенных противоречий молодой Катков нашел в философии Ф.В. Шеллинга, с которым впоследствии общался лично [23, с. 22–24].

По Шеллингу, политика, как и любое творчество, предстает делом реализации Абсолюта в мире. Строительство государства тогда становится не столько лишь человеческим, сколько духовным божественно-человеческим делом, имеющим необходимое значение для гармонической реализации свободы множеством личностей. Шеллинг считал, что как мы рассчитываем в природной среде на действие физических законов, так и в нашей моральной деятельности мы должны иметь возможность рассчитывать на господство разумного общественного закона, основывающегося на реализуемой в государстве власти [17, с. 144].

[1] В этой же статье В. Розанов отмечает, что величие слова Каткова не соответствует величию его мысли.

Рухмаков Матвей Игоревич, студент кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. E-mail: boratdo18@gmail.com

Богомаз Алексей Валерьевич, студент кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. E-mail: bogomazmsu@gmail.com

Представляется вполне согласованным, что древняя восточно-христианская православная культура мысли, русофильские умонастроения и патриотические взгляды, соединившись с идеями Ф.В. Шеллинга, предстали в своей целокупности основанием многих политико-правовых идей Михаила Никифоровича. Например, вполне последовательным для русской консервативной мысли и правосознания народа является разделяемая Катковым идея первенства обязанностей перед правами человека [2, с. 43].

Таким образом, М.Н. Каткова следует понимать как последовательного продолжателя русской непротивной государству и единой с Богом традиции мысли. При таком рассмотрении проявляется некорректность подхода, который бы навязывал Михаилу Никифоровичу роль ангажированного противника свободы и достоинства личности. Ни у советских, ни у либеральных исследователей не находится аргументов против того, что Михаил Никифорович, будучи глубоко религиозным человеком, сам истинно верил в то, что делал, рьяно отстаивая национальные интересы России на интеллектуальном поприще.

На протяжении всего периода публицистической активности Катков возвращается к философско-правовой проблеме государства и личности. В одной из своих статей третьей четверти XIX века под названием «Неразрывная связь русского народа с Верховной Властью» он косвенным образом высказывает мысль о совпадении интересов государя и государства [5, с. 203]. Точно таким же образом, по его мнению, не вступают в противоречие, а, наоборот, дополняют друг друга интересы государства и честного человека, руководствующегося своим гражданским долгом [12, с. 178].

При этом Михаил Никифорович видел в обеспечении свободы главную цель государства [13, с. 468], и отмечал: «Свобода ведет к свету и истине; она служит лучшею пробой всякому делу, и никакое правое и сильное дело не имеет повода бояться свободы. Законная и бесспорная власть, сильная всею силою своего народа и единая с ним, не имеет повода бояться никакой свободы; напротив, свобода есть верная союзница и надежная опора такой власти. Что такое свобода? Свобода есть откровенное, прямое и, стало быть, честное действие. Свобода есть личное мнение, которое не имеет надобности скрываться; свобода есть общественный интерес, который заявляет себя с полною откровенностью. Какая была бы, например, для России опасность в том, если бы даже самые неприязненные ей направления высказывались с полною откровенностью?» [10, с. 414].

Множество примеров из статей Каткова подтверждают то, что он именно синтезировал – без кардинальной смены мировоззрения – свои либеральные и охранительные идеи, с чем не всегда соглашались исследователи. Каким же видит Михаил Никифорович монархическое государство, если совмещает с ним свободное общество?

В своей работе А.Л. Брутян выделяет следующие основания существования монархической власти по Каткову: религиозное начало, которым проникнуто миросозерцание народа и которое формирует всеобщий нравственный идеал; верховная власть, данная от Бога и понимающая свое назначение; народ, достигший определенной степени духовного развития и единый с верховной властью [1, с. 43–44].

При этом исследователь отмечает и сформулированные Катковым стадии развития любого общества. Первую стадию можно обозначить как природную. Она характеризуется созданием примитивных отношений между людьми, имеющих в своем основании семейные связи. Михаил Никифорович, формулируя данную стадию, подводит к тому, что на ней народ является скорее заложником животных ощущений, нежели чем социальных отношений. Переход на вторую стадию, которую условно можно обозначить как общественную, знаменуется вступлением народа на «поприще всемирно-исторического действования». К ней относится и появление, развитие социальных отношений, и зарождение духовного народного организма. В третьей – духовной – стадии развития общества Катков видит развитый духовный народный организм, порывающий с зависимостью от природного и об-

ращающийся сам на себя. На последней стадии Михаил Никифорович называет общество сосудом духовных стремлений, способным принять в себя откровение Бога [1, с. 44–46].

Таким образом, русский философ выстраивает вполне стройную схему эволюции общества от материального к духовному посредством вечного стремления первого к последнему. Причем в своих работах Катков, выводя в свойственном для русской консервативной мысли стиле из идеи личной ответственности концепцию личной свободы, ограниченной для свободы других [11, с. 51], делает акцент на индивидуалистическом начале общественных отношений [12, с. 336].

При рассмотрении философско-правовых идей М.Н. Каткова необходимо также обратить внимание на причины самобытности государственной организации России. Русский мыслитель находил причину различий государственной организации между Россией и Западом в положении, которое Церковь заняла в Европе и в России. Именно влияние Церкви задало тон развитию социальной реальности таким образом, что на Западе, по мнению Каткова, камертоном социального стали договорные отношения, а в России – отношения, основанные на вере [14, с. 228].

Важную роль в политико-правовой концепции Каткова выполняет понятие «национального». Уже современниками Каткова отмечались его заслуги (положительные или отрицательные в зависимости от политических взглядов автора) в выработке единой российской национальной идеи и национальной политики. Многие исследователи творчества Каткова классифицируют его общественно-политические взгляды как «государственный национализм» (британский историк Д. Хоскинг назвал его имперским националистом). Наконец, целый ряд аспектов во взглядах Каткова на русскую государственность и общественность утвердились под влиянием обострения в России национального вопроса (Польского восстания 1863−1864 годов).

Современный исследователь А.В. Репников отмечает, что национальность, по Каткову, понятие прежде всего государственное. «Одно исторически выдвинувшееся племя закладывает основу государства, объединяет вокруг себя и подчиняет себе другие племена во имя государственного единства. Это племя получает значение государственной (сейчас бы сказали “государствообразующей”) нации» [цит. по: 18, с. 106]. Катков был уверен, что господство одной нации является необходимым условием существования государства как единого целого, его выживания, но не означает отсутствие языкового, культурного или религиозного многообразия.

Польское восстание послужило для него конкретным историческим подтверждением данных мыслей. С первых же дней мятежа Катков воспринял происходящее как угрозу самому существованию Российской империи: кроме территориальной претензии польской шляхты и духовенства на восстановлении границ прежней Речи Посполитой и внешнего коллективного дипломатического давления на Россию, ярко проявились пассивность властного аппарата в критический для страны момент и антигосударственное настроение революционной и либеральной русской общественности, в подавляющем большинстве поддержавшей мятежников. Через «Русский вестник» и «Московские ведомости» он открыто подвергает критике действия в Польше Великого князя Константина Николаевича и призывает к решительному подавлению восстания, чувствуя, что вопрос стоит: «либо Польша, либо Россия» [26, с. 84], чем вносит весомый вклад в успешное усмирение мятежа.

Почти двадцать лет спустя Катков в заметке «Были готовы планы раздробления России» будет вспоминать, как в то время даже представители правительства не стеснялись заявлять о фиктивности русского народа и патриотических идей, и лишь бескомпромиссное подавление восстания смогло приостановить центробежное движение. «Всем тогда стало понятно, что если России суждено жить, то в ней может быть только одна государственная национальность и что русская национальность есть не этнографический,

а политический термин, что русский народ есть не племя, а исторически из многих племенных элементов сложившееся политическое тело» [27, с. 92].

С.М. Санькова в своей монографии «Государственный деятель без государственной должности. М.Н. Катков как идеолог государственного национализма» рассматривает восстание в Польше как открытое столкновение этнического и государственного национализма. Если первый нацелен на самоопределение отдельного народа, представляя центробежную силу, то второй стремится объединить все народы государства в единую нацию. А.А. Ширинянц отмечает, что Катков требовал установления в России «единых законов, единой системы управления, единого государственного языка − русского, единого "русского патриотизма"; при этом не подразумевая отказа других "племен", вошедших в состав государства, от своего языка, обычаев, религии, племенных особенностей и т.п.» [21, с. 99].

Так, в статье «Значение национальной политики для России», опубликованной в № 174 «Московских ведомостей» 8 августа 1864 года, Катков подчеркивает, что всякая народность стремится к обретению политической независимости, но если уж история сложилась так, что одна национальность была присоединена к другой, государственной, то в их общих интересах, чтобы объединение было полным и органическим. А в № 79 «Московских ведомостей» от 12 апреля 1863 года он прямо пишет: «…есть в России одна господствующая народность, один господствующий язык, выработанный веками исторической жизни. Однако есть в России и множество племен, говорящих каждое своим языком и имеющих каждое свой обычай; есть целые страны со своим особенным характером и преданиями. Но все эти разнородные племена, все эти разнохарактерные области, лежащие по окраинам великого русского мира, составляют его живые части и чувствуют свое единство с ним в единстве государства, в единстве верховной власти – в Царе, в живом всеповершающем олицетворении этого единства» [6, с. 111].

После польской смуты Катков не оставляет борьбу против сторонников раздробления России. В № 246 «Московских ведомостей» за 1864 год он подвергает критике утверждения об излишней громадности России, указывая, что «русское государство не тяготилось громадностью своей территории в те времена, когда эта громадность действительно могла казаться тягостною» [8, с. 74], и такие размеры России являются естественным условием для проведения самостоятельной государственной политики. Катков уверен, что соблюдение интересов всей страны возможно только при условии проведения истинно национальной политики (он критикует панславистские настроения, призывая прежде наладить связи между славянскими народами внутри России), отводя в ней себе место того, кто будет напоминать русскому народу о его национальных интересах.

Помимо польского сепаратизма Катков подверг жесткой критике украинофильское (примерно то же самое он говорит и о белорусском) движение как угрожающее целостности триединой русской нации. (Исследователь А.И. Миллер при этом отмечает, что до 1863 года Катков был достаточно терпим к идее украинофилов об «особой нации».) В работе 1863 года «Совпадение интересов украинофилов с польскими интересами» он касается прежде всего языковой стороны вопроса: «В России несравненно менее розни в языке, чем где-нибудь, и менее чем где-нибудь рознь эта значительна. <...> Наиболее резкую особенность встретите вы в малороссийском и белорусском говоре» [7, с. 143]. Катков подчеркивает, что это нельзя объяснить инородностью по отношении к русскому, так как в этих местах исторически и зарождались русское государство, русская вера, русский язык. Украинофильство, по его мнению, возникло резко вместе с другими отрицательными движениями в российском обществе в начале 1860-х под влиянием польских интриг. Сам Катков уверен, «что украинской народности не существует, а существует только возможность произвести в русском народе брожение, которое всего действительнее может послужить

целям врагов России» [7, с. 146], не существует и малороссийского языка. Русский язык, по его мнению, имеет статус исторического и общенародного, и попытки на Украине и в Белоруссии софистически поднять местное наречие на степень языка, имеют своей целью лишь разложение народного единства.

Не менее важным аспектом общественно-политических взглядов Каткова является взаимоотношение государства с русским народом. В работе 1864 года «Цельность и однородность русского государства» Катков указывает, что главной опасностью для России (и тем, чего более всего желают ее враги) является не война или даже внутренняя смута, а отделение Верховной власти от народа. Он подвергает критике действия правительства, которое неоднократно со времен Петра (вне зависимости от воли государя) отстранялось от народа, своими действиями поддерживало чуждые русской народности элементы. «Мы приобрели инстинктивную склонность унижать свою народность» [8, с. 78]. Тем не менее русская народность (Катков говорит, что в нее включены почти шестьдесят миллионов людей, против почти девятнадцати миллионов инородческого народонаселения) ввиду благоприятных естественных условий своего существования еще достаточно сильна, и «самые резкие противоположности языка и обычаи русской народности, какие оказываются, например, между великорусской, малороссийской и белорусской частями ее, покажутся сплошным единством в сравнении с теми бесчисленными резкими контрастами, на которые распадается народность немецкая или французская и которые сдерживаются в национальном единстве только лишь силой национального государства» [8, с. 78].

С.М. Санькова отмечала, что, по Каткову, народное самосознание заключается в осознании своих политических обязанностей перед государем и государством. «Катков определяет патриотизм как готовность “подчинить свои личные интересы благу отечества”» [22, с. 75]. Но отношение Каткова к русскому народу целым рядом современников и позднейших авторов подвергалось критике. Так, советский исследователь В. Кирпотин писал, ссылаясь на Достоевского, что Катков был чужд народу и его культурным ценностям, а философ Владимир Соловьев указывал, что тот «под конец перестал ясно различать интересы своего властолюбия от интересов России» [21, с. 35] и личное мнение о народе сделал критерием истинного.

В статье «На Руси не может быть иных партий, кроме той, которая заодно с русским народом», написанной вскоре после убийства Александра II, Катков выступает против разделения в России на либеральную и консервативную партию. По его мысли, в России теперь может быть только одна партия – государственная, которую составит весь русский народ, чтобы выступить единым фронтом против революционной смуты и предательства.

В № 197 «Московских ведомостей» от 17 июля 1881 года Катков критикует идею отделения Русской земли (русского народа) от Русского государства (русского Царя), так как это верно лишь в зачаточную эпоху собирания земель (когда еще не было русского народа) в Россию, в настоящий момент это неминуемо приведет к разделению страны на два воинствующих противных лагеря. «Нет, народ организованный, имеющий одно Отечество и одну Верховную власть, которой всякая власть в народе подчинена, един с государством и его главою. Не только никакого антагонизма, но ни малейшей розни не должно быть между интересами народа и интересами государства. Каждая местность в государстве есть живая часть его. Целое состоит в своих частях и части − в целом» [4, с. 394–395]. Народ в его действующих сословных границах, по его мнению, сам заинтересован в поддержании общественного порядка и важно, чтобы правительство своими решениями не повредило этой общности.

Подводя итоги, можно сказать следующее: М.Н. Катков, несмотря на неоднозначность оценок исследователей, является глубоким политико-правовым мыслителем, предвосхитившим в своих трудах многие опасности, подстерегающие Россию на пути ее разви-

тия. Несмотря на академичность, Катков обладал уникальным красноречием, сделавшим его публицистическое наследие известным во всем мире. Отстаивая в философии права консервативные воззрения, Михаил Никифорович, никогда не отрекаясь от идей «истинного либерализма», основанного на корреляции личной ответственности и личной свободы человека, синтезировал на аксиологическом уровне присущие его мировоззрению свободолюбие и религиозность с государственным охранительством. По Каткову, трепетно (и со свойственной современным идеям толерантного и братского отношения народов России друг к другу) относившемуся к делам русской национальной политики, наивысшей формой общественной организации является духовно «сильное» государство («сосуд божественного откровения»), собираемое в единое целое из высоконравственных «сильных» людей.

Литература

1. *Брутян А.Л.* М.Н. Катков: социально-политические взгляды / под ред. Е.Н. Мощелкова. М.: Макс-Пресс, 2001. 159 с.
2. В*асильев А.А*. Концепция правообязанности в российском консерватизме // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2013. № 5.
3. *Гаврилов И.Б.* К характеристике религиозно-философского мировоззрения М.Н. Каткова // Христианское чтение. 2018. № 3. С. 192–214.
4. *Катков М.Н.* Земля и государство / М.Н. Катков // Имперское слово. М.: Москва, 2002. С. 393–395.
5. *Катков М.Н.* Неразрывная связь русского народа с Верховной Властью / М.Н. Катков // Имперское слово. М.: Москва, 2002.
6. *Катков М.Н.* Самодержавие Царя и единство Руси / М.Н. Катков // Имперское слово. М.: Москва, 2002. С. 109–112.
7. *Катков М.Н.* Совпадение интересов украинофилов с польскими интересами / М.Н. Катков // Имперское слово. М.: Москва, 2002. С. 142–149.
8. *Катков М.Н.* Цельность и однородность русского государства // Идеология охранительства / сост., предисл. и коммент. Ю.В. Климакова; отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 67–82.
9. Катковский вестник: Религиозно-философские чтения: К 190-летию со дня рождения М.Н. Каткова. М.: Прогресс-Плеяда, 2008. 256 с.
10. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1867 год. М.: Изд-е С.П. Катковой. 1898.
11. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1870 год. М.: Изд-е С.П. Катковой. 1897.
12. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. М.: Изд-е С.П. Катковой. 1898.
13. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1882 год. М.: Изд-е С.П. Катковой. 1898.
14. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1883 год. М.: Изд-е С.П. Катковой. 1898.
15. *Кирпотин В.Я.* Катков накануне польского восстания // Звезда. Л., 1927. № 7. С. 141–152.
16. *Китаев В.А*. От фронды к охранительству: Из истории русской либеральной мысли 50–60-х годов XIX века. М., 1972.
17. *Коплстон Ф.* От Фихте до Ницше: пер. с англ. В.В. Васильева. М., 2004. 542 с.
18. *Лебедева Г.Н.* М.Н. Катков о цивилизационной самостоятельности России. СПб.: Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. 2016. № 3. С. 97–110.
19. *Ленин В.И.* Карьера / В.И. Ленин // Полн. собр. соч.: в 55 т. М., 1973. Т. 22.
20. *Розанов В.В.* Суворин и Катков // Новое время. 1997. № 7.
21. *Санькова С.М.* Государственный деятель без государственной должности. М.Н. Катков как идеолог государственного национализма. СПб.: Нестор, 2007. 300 с.
22. *Санькова С.М.* Государственные реформы и национальный интерес: взгляд из XIX в. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. М., 2011. № 14. С. 69–76.
23. *Санькова С.М.* Обучение М.Н. Каткова в Берлинском университете как переломный момент в становлении его мировоззрения // Вестник РГУ имени И. Канта. 2008. Вып. 12. С. 21–26.
24. Т*агер Е*. Катков // Литературная энциклопедия: в 11 т. М., 1931. Т. 5. С. 162.
25. *Твардовская В.А*. Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Катков и его издания). М., 1978.
26. *Хоскинг Д.* Михаил Катков и имперский национализм // Катковский вестник: Религиозно-философские чтения: К 190-летию со дня рождения М.Н. Каткова. М.: Прогресс-Плеяда, 2008. С. 83–89.
27. *Ширинянц А.А.* М.Н. Катков и М.П. Погодин о национально-политическом единстве и целостности России // Катковский вестник: Религиозно-философские чтения: К 190-летию со дня рождения М.Н. Каткова. М.: Прогресс-Плеяда, 2008. С. 90–103.

Аннотация. В статье рассматривается аксиология государственного охранительства, взаимозависимость личности и государства в консервативной традиции М.Н. Каткова. Прослеживается влияние религиозного мировоззрения и идей Ф. Шеллинга на формирование философско-правовых взглядов Каткова. Опираясь на многочисленные газетные публикации М.Н. Каткова и различные отечественные и зарубежные исследования его творчества, авторы пытаются описать роль «национального» в его политико-правовой концепции. Польское восстание 1863–1864 годов рассматривается как событие, под влиянием которого целый ряд аспектов во взглядах Каткова на русский народ, государственность и общественность получили более четкое определение. Наконец, показано то, какие отношения, по Каткову, должны быть установлены между русским народом и государственной властью для поддержания единства и самостоятельности России.

Ключевые слова: Михаил Катков, консерватизм, русский народ, религия, философия права, государственность, Польское восстание 1863–1864 годов, национальность, украинофильство.

Matvey Igorevich Rukhmakov, Student, Department of History of Russian Philosophy, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University. E-mail: boratdo18@gmail.com

Bogomaz Alexey Valerevich, Student, Department of Civil Law, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University. E-mail: bogomazmsu@gmail.com

Powerful State and Strong Personality: Philosophic and Legal Doctrines of M.N. Katkov

Abstract. The article deals with the axiology of state protection, the interdependence of the individual and the state in Mikhail Katkov's conservative tradition. The work also indicates the influence of Schelling's religious worldview and ideas on the formation of philosophical and legal views of Katkov. On the basis of numerous Katkov's newspaper publications and various domestic and foreign researches of his works, the authors try to describe the role of «national» in his political and legal ideas. The Polish insurrection of 1863–1864 is interpreted as the event that defined certain Katkov views on the Russian people and statehood more precisely. Finally it shows what type of relations according to Katkov should be established between the Russian people and the government so that the stability and security of the Russian State is maintained.

Keywords: Mikhail Katkov, Conservatism, Russian People, Religion, Philosophy of Law, Statehood, Polish Insurrection of 1863–1864, Nationality, Ukrainophilia.

Катков: национальный вопрос

Раздел четвертый

А.Ю. Минаков
Критика М.Н. Катковым идеологии «украйнофильства»

А.Д. Гронский
«Польский вопрос» глазами М.Н. Каткова и современность

Г.Н. Лебедева
Остзейский вопрос в публицистике М.Н. Каткова

Г.Н. Лебедева
«Исповедь русского народа» и несостоявшийся политический панславизм во второй половине XIX века

С.М. Санькова
Национальная внешняя политика в представлении М.Н. Каткова

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-255-260

Аркадий Минаков

Критика М.Н. Катковым идеологии «украйнофильства»

М.Н. Катков, помимо всех прочих его заслуг, проанализировал во всех основных аспектах феномен раннего украинского национализма – «украйнофильства» – и предсказал те трагические последствия, которые могли бы произойти (и произошли, правда, уже в XX–XXI веках!) в случае успешного развития и реализации на практике его основных целей. Этот мало кому известный сюжет из истории русской консервативной мысли, с нашей точки зрения, чрезвычайно поучителен и заслуживает самого пристального изучения.

Начнем с того, что в первой половине 1860-х годов в передовицах редактируемых им «Московских ведомостей» Катков одним из первых обрисовал ту потенциальную угрозу, которую несли идеология и практика «украйнофильства», прежде всего его русофобскую и антиимперскую составляющие.

Вопреки формируемому либералами и левыми радикалами господствующему общественному мнению, последовательно и целенаправленно поддерживающему «украйнофильство», Катков заявлял: «Пусть нас считают алармистами, <...> мы... не перестанем указывать на опасность, хотя бы только еще зарождающуюся; мы лучше хотим быть похожи на того моряка, который, заметив на небе черное пятнышко, принимает меры против бури, нежели на того, который начинает убирать парус, когда уже налетел шквал» [1, с. 112].

Особое внимание Катков уделил критике концепции историка Н.И. Костомарова (одного из отцов «украйнофильства» и основателей «украйнофильского» Кирилло-Мефодиевского общества) о существовании еще с Киевской Руси особой «южнорусской народности», сформулированной им в статье «Две русские народности» (1861). Костомаров пытался доказать, что еще с глубокой древности якобы существовали две русские народности: «южнорусская» и «великорусская», различающиеся по культуре, поведению, мировосприятию и т.д. При этом «южнорусская народность» наделялась Костомаровым такими свойствами, как свободолюбие, тяга к федеративному устройству, терпимость к иным верам и национальностям, а великороссы, напротив, изначально тяготели к единодержавию, общинности в ущерб личной свободе, отличались национальной и религиозной нетерпимостью. Концепция Костомарова послужила отправной точкой для обоснования идеи особого украинского народа. Соответственно, Костомаров и его единомышленники во второй половине XIX века стремились создать на основе малороссийского деревенского наречия русского языка особый литературный украинский язык, то есть разрабатывали базовую культурную практику украинского национализма.

Катков изначально крайне негативно оценил костомаровскую концепцию «двух народов», находящихся «между собой лишь в случайной и внешней связи»: «Возмутительный и нелепый софизм! Как будто возможны две русские народности и два русских

Минаков Аркадий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Воронежского государственного университета, руководитель Центра по изучению консерватизма. E-mail: minak.arkady2010@yandex.ru

языка, как будто возможны две французские народности и два французских языка!» [2, с. 95].

Катков иронически писал, о том, что Костомарову и ему подобным «понятна и приятна мысль о двух русских народностях, но другие не могут выносить такой мысли, другие знают и хотят знать только одну русскую народность, только один русский язык, и знают, что если бы могли явиться две русские народности, то одна из них тотчас же перестала бы быть русской» [3, с. 130–131]. Разумеется, к «другим» принадлежал и сам Катков.

В своей критике «украйнофильства» Катков апеллировал к западному опыту и исходил из того, что народы крупных европейских государств являются по своему этническому составу несопоставимо более разнородными и пестрыми, нежели русские в Российской империи. Именно это обстоятельство диктовало этим странам необходимость жесткого унитаризма в национально-государственном устройстве, предполагавшем господство единого государственного и литературного языка, общей культуры, народной школы, руководствующейся единообразными программами и т.д. «Если бы не было одного итальянского языка, то жителю Милана почти так же трудно было понимать Неаполитанца, как и Испанца, или даже как своих вечных врагов Тедесков[1]. В Германии что ни местность, то особенное наречие, и до такой степени особенное, что человек, отлично знающий по-немецки, не поймет ни слова в ином местном говоре. Во Франции то же самое, и то же самое в Англии» [2, с. 92].

Только унитаристская политика, с точки зрения Каткова, обеспечивала государственное единство и безопасность европейских стран и предохраняла от распада: «... везде [в Европе – *А.М.*] есть резкие особенности и местные наречия до такой степени своеобразные, что если бы не было общего государственного и литературного языка, то люди одной страны и одной народности не могли бы понимать друг друга и должны были бы разойтись на множество особых центров» [2, с. 92].

В отличие от этих европейских стран в Российской империи русские в сравнении с европейцами заключают в себе гораздо меньше «резких оттенков»: «В России несравненно менее розни в языке, чем где-нибудь, и менее, чем где-нибудь, рознь эта значительна. Ступайте по всей Русской земле, где только живет русский народ всех оттенков, и вы без труда поймете всякого, и вас без труда поймет всякий» [2, с. 92–93].

При этом Катков отмечал, что наибольшими особенностями отличаются малороссийский и белорусский говоры. Особенности малороссийского говора, которые Катков, разумеется, не отрицал, объяснялись им целым рядом исторических факторов, прежде всего, татаро-монгольским игом, насильственным и временным соединением Юго-Западной Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой. При этом, утверждал он, на южнорусской территории «искони жил русский народ, здесь началось русское государство, здесь началась русская вера, и здесь же начался русский язык. Здесь впервые родилось историческое самосознание русского народа, здесь явились первые памятники его духовной жизни, его образования, его литературы. Южное и северное, западное и восточное народонаселения России с самого начала сознавали себя как один народ; да и нет ни одного признака в истории, чтобы между ними была какая-то народная рознь, какой-нибудь племенной антагонизм. Но Монголы и Литва разрознили на некоторое время русское народонаселение, и юго-западная часть нашего народа, подпавшая под польское иго, долго страдала, долго обливалась кровью, и хотя отстояла себя, но, тем не менее, время разъединения с Россией внесло в южно-русскую речь несколько польских элементов и вообще несколько обособило ее, более, чем на сколько разнятся между собой другие местные говоры в России» [2, с. 93].

[1] Tedeschi – немцы (*итал.*).

Одной из самых острых проблем, если не самой острой, и для украинских националистов, и для русских государственников, консерваторов, патриотов и националистов являлся вопрос о создании особого литературного украинского языка. Русские консерваторы прекрасно осознавали колоссальную значимость языка, литературы и истории для формирования национального самосознания и поддержания государственного единства. Так, Катков провозглашал: «Великое дело язык и литература! Что разошлось в языке и литературе, то разошлось в духе, и того не свяжешь потом никакой материальной силой» [1, с. 110].

В изложении Каткова (вполне аутентичном) стержнем «украйнофильской доктрины» был тезис о том, что «малороссийский говор не есть только местное наречие русского языка, получившее свою нынешнюю физиономию вследствие только того, что в него вошла польская примесь, но что оно есть *особый язык* [курсив наш – *А.М.*], точно так же относящийся к русскому, как польский, чешский или сербский, и потому долженствующий иметь свою особую литературу, стать языком преподавания в школах и получить признание от государства» [3, с. 124].

Подобного рода оценка «мовы» как особого языка была категорически неприемлема для Каткова: «Особый малороссийский язык, доразвитый, дополненный, досочиненный украйнофилами, был бы точно таким же промежуточным уродливым явлением между русским и польским языками, какое представляет собою уния между православием и латинством...» [3, с. 133]. Он подчеркивал, что существующий общерусский государственный и литературный язык не является «племенным» наречием великоруссов. Это язык «сложился долговременной историей из разнородных стихий, и первый памятник этого ныне употребляемого нами языка принадлежит Киеву; это летопись Нестора, первый акт исторического самосознания русской народности» [3, с. 127–128]. Более того, «в его образовании столько же участвовала северная Русь, сколько и южная, и последняя даже более» [2, с. 97].

Катков саркастически писал о том, что из «особенных говоров» при желании можно искусственно сочинить особый язык – «даже из костромского или рязанского говора» [2, с. 96]. Но в этом не просто нет никакой необходимости, это и крайне опасно: «…нет ничего пагубнее, как систематическими усилиями поднимать местное наречие на степень языка, заводить для него школы, сочинять для него литературу» [2, с. 98]. Создание искусственного языка имеет своей целью «устроить дело так, чтоб уроженец киевский со временем как можно менее понимал уроженца московского, и чтоб они должны были прибегать к посредству чужого языка для того, чтобы объясняться между собой <…> искусственно создавать преграду между двумя частями одного и того же народа и разрознивать их силы…» [2, с. 99]. Поэтому «всякое усилие поднять и развить местное наречие, в ущерб существующему общенародному историческому языку, не может иметь другой логической цели кроме расторжения народного единства» [2, с. 96–97].

Катков считал, что «украинский вопрос» был вызван к жизни «польской интригой», то есть польскими националистами в 1860-х годах, в особенности после подавления польского восстания 1863–1864 годов, ставящего своей целью создание независимого государства, долженствующего включить в себя территории нынешних Украины и Белоруссии: «Как может быть важно украйнофильство для польского дела, это понятно само собой: нет лучшего средства, чтобы изолировать от России этот русский народ Юго-Западного края, который так беспощадно разрушил польские мечты о принадлежности русской Украйны к великому польскому государству [малороссийское крестьянство активно выступило против ненавистной ему восставшей польской шляхты – *А.М.*]» [4, с. 118–119].

В передовице «Московских ведомостей» от 21 июня 1863 года Катков коротко, но ярко изложил историю украйнофильского движения в связи с «польской интригой» в Рос-

сии в 1860-х годах: «Года два или три тому назад, вдруг почему-то разыгралось украйнофильство. Оно пошло параллельно со всеми другими отрицательными направлениями, которые вдруг овладели нашей литературой, нашей молодежью, нашим прогрессивным чиновничеством и разными бродячими элементами нашего общества. Оно разыгралось именно в ту самую пору, когда принялась действовать иезуитская интрига по правилам известного польского катехизиса[1]. Польские публицисты с бесстыдною наглостью начали доказывать Европе, что русская народность есть призрак, что юго-западная Русь не имеет ничего общего с остальным народом русским, и что она по своим племенным особенностям гораздо более тяготеет к Польше. <…> И вот мало-помалу из ничего образовалась целая литературная украйнофильская партия, вербуя себе приверженцев в нашей беззащитной молодежи. Источались все прельщения, чтобы связать с этой новой неожиданной пропагандой разные великодушные порывы, разные смутно понимаемые тенденции, разные сердечные чувствования. Из ничего вдруг появились герои и полубоги, предметы поклонения, великие символы новосочиняемой народности. Явились новые Кириллы и Мефодии с удивительнейшими азбуками, и на Божий свет был пущен пуф какого-то небывалого малороссийского языка. По украинским селам начали появляться, в бараньих шапках, усердные распространители малороссийской грамотности и начали заводить малороссийские школы, в противность усилиям местного духовенства, которое вместе с крестьянами не знало, как отбиться от этих непрошеных просветителей. Пошли появляться книжки на новосочиненном малороссийском языке» [2, с. 94–95].

Впрочем, стоит подчеркнуть, что Катков не сводил пропаганду украйнофильства исключительно к влиянию «польской интриги». Он придавал немалое значение и действию внутренних факторов, которые серьезно способствовали развитию украинского сепаратизма. Среди них первое место занимала космополитическая, лишенная национального сознания бюрократия: «подобные затеи находили себе сочувствие у нас в некоторых сферах, этим вполне изобличилось, до какой степени слабо в этих сферах сознание русских национальных интересов» [4, с. 119]. Катков впрямую говорил в 1864 году о правительственном содействии украйнофильству как якобы «делу безвредному», когда «шла у нас речь <…> о переводе Священного Писания и государственных актов на малороссийское наречие, об обязательном введении этого наречия в народные школы, о ревностном распространении в народе книг, писанных на этом наречии, книг, иногда составленных в духе, враждебном русской народности, и об исполнении всего этого государственными средствами и на казенные деньги» [4, с. 118–119]. Подобные меры связывались тогда с деятельностью министра народного просвещения А.В. Головнина.

Если бы эти меры были реализованы, то это означало, по мнению Каткова, что «правительство на казенные средства помогало распадению России или создавало призрак, который стал бы вампиром целых поколений, – это верх нелепости, это сумасшествие» [1, с. 111].

Главным методом борьбы с «украйнофильством», которые предлагали Катков и публицисты его круга (А.А. Иванов, С.С. Гогоцкий и др.) было массовое создание народных училищ в Малороссии с преподаванием исключительно на русском языке [подробнее см. 6, с. 22–24]. Эта масштабная задача создания системы начального народного образования начала осуществляться лишь в премьерство П.А. Столыпина и на практике не успела реализоваться из-за Великой войны 1914–1918 годов и последовавшей революции.

Завершая этот краткий очерк, особо подчеркнем, что при всем крайне отрицательном отношении Каткова к «украйнофильству» его невозможно обвинять в ксенофобском

[1] Текст так называемого «Польского катехизиса» появился в русской печати в 1863 году. В этом документе неизвестного происхождения провозглашался принцип «цель оправдывает средства».

или шовинистическом отношении к Малороссии. Вряд ли он лицемерил и фальшивил, когда утверждал: «…мы любим Украйну, – любим как часть нашего отечества, как живую и дорогую часть нашего народа, как часть нас самих, и потому-то нам так ненавистна всякая попытка внести чувство моего и твоего в отношения Украйны к России. Мы любим Украйну со всеми ее особенностями, в которых видим залог будущего богатства и разнообразия в общем развитии нашей народной жизни. Мы не понимаем, мы не признаем никакого соперничества между украинским и русским. Мы видим в этом самую фальшивую и вредную мысль. Мы любим Украйну, своеобычный характер ее детей, поэзию ее преданий и мелодий; ее напевы так же близки и родственны нам, как и песни, оглашающие Волгу. Мы весьма далеки от того, чтоб осуждать тех Украинцев, которые пристрастны к своей родине. Le patriotisme du clocher[1] есть весьма почтенное чувство, но оно не должно исключать патриотизма более широкого; интересы родины не следует противопоставлять интересам отечества» [1, с. 109].

Ясность и точность анализа Каткова украинского вопроса поразительны. Все его самые зловещие предупреждения и опасения, увы, сбылись: «украинофильская идея бесконечно хуже нежели польская, ибо клонится к тому, чтобы расколоть в самой сердцевине народ русский <...> Если бы по какому-нибудь недоразумению могла она осуществиться, то это было бы самым проклятым на русской почве делом» [5, с. 147]. Представляется, что консервативная мысль, ярким представителем которой являлся Катков, продемонстрировала в этом вопросе несомненную «футурологическую состоятельность» в сравнении с другими направлениями русской общественной мысли.

[1] Le patriotisme du clocher – букв. патриотизм колокольни, местный патриотизм *(фр.)*.

Литература

1. [*Катков М.Н.*] Передовая статья в «Московских ведомостях» за 6 февраля 1864 г. // Украинский вопрос в русской патриотической мысли / сост., предисл., послесл. и примеч. д-р ист. наук, проф. А.Ю. Минаков; редколл.: канд. ист. наук Н.Н. Лупарева, канд. ист. наук А.О. Мещерякова, д-р ист. наук И.В. Омельянчук, канд. ист. наук С.В. Хатунцев. М.: Книжный мир, 2016. С. 109–112.
2. [*Катков М.Н.*] Передовая статья в «Московских ведомостях» за 21 июня 1863 г. // Украинский вопрос в русской патриотической мысли / сост., предисл., послесл. и примеч. д-р ист. наук, проф. А.Ю. Минаков; редколл.: канд. ист. наук Н.Н. Лупарева, канд. ист. наук А.О. Мещерякова, д-р ист. наук И.В. Омельянчук, канд. ист. наук С.В. Хатунцев. М.: Книжный мир, 2016. С. 91–100.
3. [*Катков М.Н.*] Передовая статья в «Московских ведомостях» за 15 января 1866 г. // Украинский вопрос в русской патриотической мысли / сост., предисл., послесл. и примеч. д-р ист. наук, проф. А.Ю. Минаков; редколл.: канд. ист. наук Н.Н. Лупарева, канд. ист. наук А.О. Мещерякова, д-р ист. наук И.В. Омельянчук, канд. ист. наук С.В. Хатунцев. М.: Книжный мир, 2016. С. 120–135.
4. [*Катков М.Н.*] Передовая статья в «Московских ведомостях» за 2 сентября 1864 г. // Украинский вопрос в русской патриотической мысли / сост., предисл., послесл. и примеч. д-р ист. наук, проф. А.Ю. Минаков; редколл.: канд. ист. наук Н.Н. Лупарева, канд. ист. наук А.О. Мещерякова, д-р ист. наук И.В. Омельянчук, канд. ист. наук С.В. Хатунцев. М.: Книжный мир, 2016. С. 115–119.
5. [*Катков М.Н.*] Передовая статья в «Московских ведомостях» за 19 сентября 1867 г. // Украинский вопрос в русской патриотической мысли / сост., предисл., послесл. и примеч. д-р ист. наук, проф. А.Ю. Минаков; редколл.: канд. ист. наук Н.Н. Лупарева, канд. ист. наук А.О. Мещерякова, д-р ист. наук И.В. Омельянчук, канд. ист. наук С.В. Хатунцев. М.: Книжный мир, 2016. С. 144–151.
6. *Минаков А.Ю.* Предисловие // Украинский вопрос в русской патриотической мысли. М., 2016.

Аннотация. В статье рассматриваются взгляды известного русского консерватора М.Н. Каткова, издателя газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», на украинский вопрос. Катков осуществил критику так называемого украйнофильства, ярким представителем которого в 1860-х годах являлся историк Н.И. Костомаров. Костомаров и его единомышленники стремились создать на основе малороссийского деревенского наречия русского языка особый литературный язык, то есть положили начало разработке базовой культурной практике украинского национализма. Катков одним из первых обрисовал ту потенциальную угрозу, которую несли идеология и практика «украйнофильства», прежде всего его русофобскую и антиимперскую составляющие. Он точно предсказал те трагические последствия, которые могли бы произойти в случае успешного развития и реализации на практике его основных целей.

Ключевые слова: М.Н. Катков, Н.И. Костомаров, консерватизм, «украйнофильство».

Arkady Minakov, PhD in History, Professor, Voronezh State University. E-mail: minak.arkady2010@yandex.ru

M.N. Katkov"s Criticism of the Ideology of "Ukrainophilism"

Abstract. In the article the author examines the views on the Ukrainian problem of the famous Russian conservative M.N. Katkov, the publisher of the "Moskovskie Vedomosti" journal and "Russkij Vestnik" magazine. Katkov criticized the so-called "Ukrainophilism", the outstanding representative of which was the historian N.I. Kostomarov. Kostomarov and his associates were aspired to create the special literary Ukrainian language on the basis of the rural dialect.

Therefore they laid the foundation for the development of the basic cultural practice of Ukrainian nationalism. Katkov was one of the first public figures who described the potential threat of the ideology and the practice of "Ukrainophilism", its Russophobic and anti-imperial components. He predicted the tragic consequences of the successful putting into practice the basic ideas of Ukrainian nationalism.

Keywords: M.N. Katkov, N.I. Kostomarov, Conservatism,"Ukrainophilism".

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-261-273

Александр Гронский

«Польский вопрос» глазами М.Н. Каткова и современность

Русско-польские отношения несут в себе конфликтный потенциал уже не одну сотню лет. Нахождение по соседству, претензии на одни и те же земли, спасение у соседей от репрессий своих властей и многие другие взаимодействия породили множество проблем не только в самих отношениях, но в их оценке друг другом, а также сформировали стереотипные взгляды на соседей. Попытка поляков установить свою династию на русском престоле в период Великой смуты начала XVII века и крушение польской государственности прусско-австро-русской силой в конце XVIII века тоже оставили в исторической памяти своеобразное отношение друг к другу. Сосуществование поляков и русских в единой империи было относительно кратким для формирования устойчивых представлений о едином Отечестве и единой исторической судьбе. Более того, польская шляхта к моменту исчезновения Польши с политической карты Европы уже обладала национальным самосознанием, что также дистанцировало часть польских подданных Российской империи, хранивших память о независимом в прошлом польском государстве, от основной массы ее населения. Стоит также заметить, что другие части польских земель с конца XVIII по начало XX века находились в составе Австрии, с 1867 года ставшей Австро-Венгрией, и Пруссии, в 1871 году ставшей Германской империей. Более того, это существование польских земель и польского этноса в составе трех империй выпало на период зарождения европейских национализмов, что тоже сказалось на формировании устойчивых представлений друг о друге.

XIX век породил ряд явлений, которых не было ранее. Одним из них стало широкое распространение журналистики и публицистики, чутко реагирующих на политические, этнические, конфессиональные и иные проблемы. Газеты и журналы стали рупорами мнения различных политических сил, выдаваемых за общественное мнение, и ареной идеологической борьбы. Появилось убеждение, что через печать можно понять запросы общества. Как писал М.Н. Катков: «Печать становится полезною силою в обсуждении общественных вопросов не иначе, как служа непосредственным отражением мнений и желаний самого общества или его законных представителей» [13]. Одним из таких общественных вопросов в России второй половины XIX века был «польский вопрос», который имел достаточно динамичную предысторию.

В 1794 году польские патриоты, протестуя против второго раздела государства, подняли неудачное восстание, спровоцировавшее в 1795 году третий, окончательный раздел. В результате трех разделов Россия получила восточные земли Речи Посполитой, большая часть которых когда-то входила в состав Древней Руси. Высший слой этих земель состоял из поляков или давно ополячившихся представителей местной знати, то есть лиц, имевших польскую идентичность. После разделов Польши часть польского

Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. E-mail: agr1976@yandex.ru

дворянства эмигрировала в Европу, а из оставшихся далеко не все оказались лояльны новой родине.

В результате политики Наполеона в 1807 году на польских землях, входивших после разделов Польши в состав Пруссии, возникло Великое герцогство Варшавское, которое оставалось, пожалуй, самым верным союзником Наполеона вплоть до его низвержения. Польские полки приняли активное участие в русской кампании 1812 года. Но после окончательного поражения Франции в 1815 году практически все Варшавское герцогство вошло в состав России. Так в Российской империи появилось Царство Польское. Оно имело собственную армию, сейм, валюту, польский язык доминировал. Помимо того, Александр I дал Русской Польше конституцию. Западный край, территория которого сформировалась в 1772–1794 годах «губерниями, от Польши возвращенными» (то есть неэтническими польскими землями, находившимися ранее в составе Польши), тоже рассматривался поляками как часть Польши. Более того, на него как на Польшу смотрели и некоторые российские чиновники и интеллектуалы.

В 1830–1831 годах в Варшаве вспыхнуло восстание против России. Оно было подавлено, после чего Царство Польское лишилось ряда привилегий, в частности, армии. Однако «польский вопрос» не исчез. Польские патриоты организовывали тайные общества не только в Русской Польше, но и в Западном крае, и несколько раз планировали поднять восстания. Но их инициативы не были поддержаны местным крестьянством, в том числе и в этнически польских землях, а имперские власти пресекли деятельность тайных патриотических обществ.

В конце 50-х годов XIX века польская активность снова усилилась, и в 1863 году в Варшаве началось очередное польское восстание. Оно возникло в стране в период проведения реформ, что накладывало свой отпечаток на восприятие восстания. Русское общество периода Александра II не являлось носителем консервативных идеалов. Не все чиновники, которые должны были проводить реформы, оказались лояльно настроенными к собственному государству, часть из них сочувственно относилась к польским повстанцам. Это привело М.Н. Каткова к мысли, что такие люди, проводя реформы, готовы ослабить государство [12, с. 73–74].

Ощущение опасности, которую потенциально могли нести такие реформаторы, по мнению ряда историков, в 1863 году подтолкнуло эволюцию М.Н. Каткова от либерализма к консерватизму [12, с. 71]. Именно период восстания, получившего в польской историографии название Январского, стал для М.Н. Каткова временем активной публицистической деятельности, посвященной «польскому вопросу». Не прекращал он заниматься этой темой и позже. Публицистика М.Н. Каткова богата текстами, так или иначе посвященными «польскому вопросу», поэтому проанализировать весь корпус статей в небольшом исследовании не получится. Тема катковского взгляда на «польский вопрос» поднималась в российской историографии ранее. Например, она исследовалась А.А. Теслей [13] и К. Левинсоном [9]. И тот, и другой авторы также не преследовали целью охватить все наследие М.Н. Каткова, связанное с данной темой, останавливаясь на более интересующих их сюжетах.

Формальным поводом для восстания 1863–1864 годов послужил рекрутский набор. В одной из франкоязычных российских газет была помещена статья, разъясняющая европейской публике ситуацию с восстанием. В ней упоминался и рекрутский набор. Причем журналист как бы извинялся перед европейскими читателями за правительство, объявившее рекрутский набор в Польше, и пытался объяснить, что в некоторых случаях законность не может быть соблюдена. М.Н. Катков обратил внимание на этот извинительный тон и достаточно однозначно отреагировал на статью. Так, он указал, что рекрутский набор – мера совершенно законная, поэтому нет смысла извиняться за его проведение. А саму польскую реакцию на этот набор М.Н. Катков объясняет тем, что под него попали

в основном горожане, а не жители сельской местности. В польских же городах находился основной костяк оппозиционных сил – «подземной революции, распространяющей далеко свое зловредное действие» [7, с. 7]. Попытка сохранить антиправительственные силы и подтолкнула их руководителей к восстанию. Также М.Н. Катков рассуждает о законности и ее нарушениях. В польском случае он пишет, что законность нарушается для того, чтобы путем временного ограничения прав, путем введения мер общественной безопасности в будущем эту законность восстановить [7, с. 6].

Надо сказать, публицист был «сторонником соблюдения строгой законности в отношениях государства и общества» [10, с. 52]. В качестве вывода к своим рассуждениям о законности и ее нарушении, М.Н. Катков пишет, что наша, то есть российская беда – это «наша шаткость и несамостоятельность, наша неуверенность ни в чем, даже неуверенность в собственном существовании» [7, с. 8]. Тем самым он призывает не объясняться, а тем более не извиняться перед Европой за временные ограничения, введенные в Русской Польше в связи с восстанием, а также не извиняться за вполне естественные действия, к которым относит рекрутские наборы.

М.Н. Катков оказался практически единственным публицистом, конкретно и четко заявившим о российских государственных интересах и своем отношении к восстанию, что было отражено в его статьях. Остальная пресса находилась в состоянии растерянности и неопределенности и не могла сформулировать свое отношение к произошедшему событию. Давало себя знать и критическое отношение к имперским властям многих русских интеллектуалов того времени, которые достаточно благосклонно относились к польской оппозиции. В этой ситуации «решительное выступление Каткова имело характер гражданского поступка» [13].

Говоря о «польском вопросе» в 1863 году, М.Н. Катков делает экскурсы в прошлое. Он напоминает, что ранее Россия находилась в худшем положении, но все равно смогла выстоять, причем в этих экскурсах поляки упоминаются как российские противники. Так, в 1612 году «поляки владели Московским Кремлем, этим жизненным средоточием Русской земли, и дружины их жгли и грабили ее, гуляя по всему ее простору и проникая далеко на север». А в 1812 году «Польша открыла ему [Наполеону – *А.Г.*] путь внутрь нашей земли, билась с нами под его орлами и вместе с ним присутствовала при московском пожаре» [6, с. 16].

Эти рассуждения являются для М.Н. Каткова некой базой для описания примеров российского патриотизма, который внезапно проявлялся в период кризисов и спасал страну. В 1863 году произошло то же самое: общество (не абсолютно все, но большая его часть) вдруг проснулось и объединилось вокруг императора. В качестве примера М.Н. Катков приводит «единодушное и единогласное принятие верноподданнического адреса по поводу смут, происходящих в Польше, и угроз и оскорблений, которые сыплются теперь со всех сторон на наше отечество» [7, с. 13]. Принятие адреса императору, по мнению Каткова, было естественно, искренне, а одушевление «могущественно сливало людей в одно чувство» [7, с. 13]. Таким образом, собственно «польский вопрос» у него превращается в «русско-польский», что в катковской риторике и идеологических представлениях совершенно логично. «Польский вопрос» не может существовать в вакууме, иначе бы он не вызывал проблем у России, поскольку она никоим образом не сталкивалась бы с этим вопросом.

Апеллируя к истории польской государственности, М.Н. Катков указывает, что «польское государство есть дело польской шляхты, а не польского народа <…>. Польское государство было государством без народа; оно было достоянием шляхты, у которой не было почвы, и которая неминуемо должна была выродиться. Оторвавшись от своего корня, она отрезала себе будущее» [цит. по: 13]. Однако стоит заметить, что вряд ли возможно найти хоть одно средневековое государство, которое было бы «делом народа». Все

они были «делом» элит. Представляя Польшу как государство без народа, М.Н. Катков однозначно подводил к выводу о неспособности Польши получить массовую поддержку простых поляков, польских низов.

Интересно упоминание о том, что у польской шляхты «не было почвы». Непонятно, имеет ли публицист в виду лишь отсутствие прогосударственных, патриотических польских чувств у простых поляков или намекает на бытовавшее даже в XIX веке представление о происхождении польской шляхты от сарматов. В этой теории податное население воспринималось как местные жители, завоеванные шляхтой-сарматами. В таком представлении у шляхты действительно «не было почвы» на этих землях, поскольку она сама себя воспринимала как пришлых завоевателей. То есть польская шляхта творила историю, создавала государство, а польский народ был вне этой активности. Интересно, что этот взгляд М.Н. Каткова перекликается с утверждением современного польского философа Б. Лаговского, который говорит, что в «Польше народ не имел истории. На Западе, например, во Франции – народ осознавал себя субъектом истории. Знал, что он играет в ней важную роль – во фрондах, в революциях, особенно в XIX в.» [1, с. 126].

М.Н. Катков выстраивал в своих текстах негативный образ старой Польши, указывая, что «никогда никакая страна не находилась в более жалком положении, чем Польша» накануне разделов, в ней «постоянно господствовали» ужасы, наблюдалось «отсутствие самых элементарных условий общественного порядка», «отсутствие всякой безопасности», «полное господство самой разнузданной анархии» [9]. Естественно, что при таком положении существование государства становится проблемой. То есть М.Н. Катков подводил читателя к мысли о естественном исчезновении польской государственности. В описании польского прошлого он категоричен. Старая Польша не имеет никаких «образцов, годных для подражания», поэтому «гораздо лучше вовсе забыть эту несчастную историю» [цит. по: 9].

«Русско-польский вопрос» перемещается у М.Н. Каткова и в экзистенциальную плоскость. Публицист предполагает, что существование России и Польши одновременно является проблемой борьбы государств друг против друга вплоть до исчезновения одного из них. Поэтому любые попытки поляков восстановить независимость потенциально направлены против России. Одним из элементов этой польской угрозы М.Н. Катков видит борьбу за Западный край Российской империи. Эти земли, ранее в своем большинстве входившие в состав Древней Руси, в XIII–XIV веках были подчинены Литве, а затем и Польше. Постепенно эта территория стала привычно восприниматься как польская, а ее русская история перестала быть актуальной даже для части русских патриотов. Но польские восстания подняли вопрос о Западном крае, который, в отличие от Царства Польского, состоял из «губерний, от Польши возвращенных», то есть не собственно Польши. Уже сама формулировка утверждала, что Западный край Польшей как таковой не являлся. Однако все польские восстания ориентировались на возрождение Польши в границах 1772 года[1], то есть Западный край должен был стать частью Польского государства. Интерес российских интеллектуалов к Западному краю помог им осознать, что масса его жителей не являлась этническими поляками, а сам край – это не Польша.

В желании поляков восстановить Польшу М.Н. Катков видел угрозу для России, которая заключалась в том, что, во-первых, отделение Польши от России покажет слабость последней, не сумевшей сохранить свою территорию, а во-вторых, независимая Польша тут же начнет претендовать на Западный край, то есть угроза для потери российских территорий все равно останется [9].

[1] В 1772 году произошел первый раздел Польши. Поэтому апелляция к границам 1772 года предполагает максимально большую территорию польского государства.

Один из исследователей катковского взгляда на «польской вопрос», К. Левинсон, рассуждая о Западном крае в риторике М.Н. Каткова, указывает, что край был населен белорусами, украинцами и литовцами, «каковых далеко не все считали, подобно Каткову, русскими». В примечании К. Левинсон пишет, что «Катков отрицал существование белорусского и украинского народов и языков» [9]. Современный исследователь попадает в этом случае в ловушку модернизации истории. Во времена М.Н. Каткова практически никто не считал ни белорусов, ни украинцев отдельными народами, а их речь, соответственно, отдельными языками. Это относится как к российским, так и к зарубежным ученым. Небольшой круг украинофилов был именно небольшим, поэтому определять всех сторонников украинской или белорусской отдельности словосочетанием «далеко не все» по крайней мере некорректно[1]. На самом деле таких было очень небольшое количество. Массовые (именно массовые) представления об отдельности русских (великорусов), белорусов и украинцев (малорусов) появились лишь после революции.

Огромная проблема практически всей нынешней белорусской, украинской и, в гораздо меньшей степени, российской историографии в том, что они в описании XIX века (и других периодов прошлого) игнорируют реальности и представления того времени, активно модернизируя историю, вводя современные представления в прошлое. Так и появляются в худшем случае украинцы и белорусы в период Древней Руси, а в лучшем случае критика людей XIX – начала XX века за то, что они не были знакомы с некоторыми более поздними утверждениями. Именно поэтому стоит понимать, что как раз призывы к признанию этнической обособленности белорусов или украинцев (то есть не как частей одного народа, а как отдельных народов) и являлись маргинальными на период 60-х годов XIX века. Не учитывать это – значит не до конца понимать ситуацию. Поэтому призывы А.И. Герцена о добровольном союзе украинцев, поляков, белорусов и литовцев в целом не воспринимались современниками, мыслившими в других категориях.

Миф о том, что у повстанцев существовало устойчивое представление об этнической ситуации в Западном крае в категориях утверждений, распространившихся после революции, опровергается цитатами самих повстанцев. Так, один из руководителей восстания 1863–1864 годов в Северо-Западном крае К.С. Калиновский[2], обращаясь к белорусским крестьянам от имени такого же белорусского крестьянина, писал: «Мы, кто по польской земле ходит, кто польский хлеб ест, мы, поляки из веков вечных» [5, с. 241–242]. Именно так видели белорусов повстанцы. Причем нужно отметить, что К.С. Калиновский представлял в восстании лагерь «красных», то есть он был как раз представителем того крыла, которое делало ставку на крестьян, а не на шляхту, и по расхожим представлениям советской и постсоветской историографии выступало за субъектность белорусов и украинцев.

Еще одна проблема, связанная у К. Левинсона с модернизацией истории, – это анализ того, как М.Н. Катков относится к народной антиповстанческой активности. М.Н. Катков абсолютно не пугается крестьянских выступлений против польских помещиков, будучи уверенным, что это «русский народ восстает в ответ на восстание польских панов» [9]. К. Левинсон подчеркивает это бесстрашие М.Н. Каткова перед народной антиповстанческой активностью, но задается вопросом, а «знал ли Катков о том, что в Литве, например, действовало множество повстанческих отрядов, состоящих из крестьян и насчитывавших

[1] Большая подборка текстов, как раз утверждающих массовое представление о триединстве большого русского народа содержится, например, в сборнике «Украинский вопрос в русской патриотической мысли» [14]. Лица, уверенные в обратном, в XIX веке были очень немногочисленны.

[2] Викентий Константин Семенович Калиновский, известный как Константин Калиновский, был казнен в 1864 году. В 1916 году белорусские националисты белорусизировали его имя, назвав Касцюком, чуть позже его переназвали Кастусем, что и закрепилось до наших дней. Белорусское имя польского повстанца является не более чем мифом. Подробнее об этом см. [2].

порой более тысячи человек. Если да, то его рассуждения о “народном деле” предстают в весьма проблематичном свете» [9].

На этот вопрос можно ответить однозначно. М.Н. Катков об этом даже не подозревал, потому что в реальности этого не было. Отрядов, состоящих из крестьян, не было. Существовали отряды, в которых крестьяне составляли заметный процент, но таковые отряды можно отнести к исключениям. В основном участниками восстания были шляхтичи и разночинцы. Отряды, насчитывающие более тысячи человек разных социальных групп, также были редкостью. Это можно легко проверить как по мемуарам повстанцев, так и по рапортам русских офицеров, участвовавших в подавлении восстания. Даже польские крестьяне в Царстве Польском неохотно поддерживали повстанцев. В Северо-Западном крае эта поддержка была еще меньше. И совсем разочаровал повстанцев Юго-Западный край. Малороссийские крестьяне с удовольствием расправлялись с панами-повстанцами даже без помощи русских войск.

Что же касается множества «повстанческих отрядов, состоящих из крестьян» в Литве, о чем упоминает К. Левинсон, это можно объяснить достаточно просто. К литовским губерниям в то время относились Ковенская, Виленская и Гродненская. Причем Ковенская и часть Виленской были в массе населены литовцами, а оставшаяся часть Виленской и Гродненская – в основном белорусами. Естественно, что везде в том или ином количестве проживало польское население, города в большинстве были населены евреями, поляками и великорусами, существовали также и великорусские старообрядческие поселения. Литовские крестьяне приняли в восстании более активное участие, чем белорусские. Но это было не по причине поддержки лозунгов восстания. Католические священники, связанные с польским подпольем, распространяли слухи о якобы готовящемся переводе католиков в Православие, что возмущало литовцев-католиков. Именно защита веры от якобы готовящегося на нее покушения со стороны властей смогла поднять литовских крестьян на антиправительственное выступление. То есть активность литовских крестьян не была патриотической, она была конфессиональной. Причем провоцировалась она распространением ложных слухов о деятельности имперских властей.

В Гродненской губернии бывшие государственные крестьяне оказались недовольны своим социально-экономическим положением, поэтому приняли участие в восстании по экономическим соображениям. Часть крестьян оказалась на самом деле так называемой разобранной шляхтой, то есть людьми, которые реально являлись или считали себя шляхтой, но не смогли подтвердить свое шляхетство официально. Таких лиц записывали в податные сословия, в том числе и в крестьянское. Такие лица, участвуя в восстании, помнили свое шляхетское происхождение. То есть официально они были крестьянами, а психологически шляхтой. И стоит также понимать, что повстанцы массово использовали принудительный увод крестьян в отряды, что давало некую массовость, но абсолютно не сказывалось на боеспособности. Поэтому восстание было в основном шляхетским по социальному составу и польским по своим лозунгам. М.Н. Катков указал на это первым предложением статьи, название которой практически повторяло это предложение: «Польское восстание вовсе не народное восстание: восстал не народ, а шляхта и духовенство» (статья же называлась «Польское восстание не есть восстание народа, а восстание шляхты и духовенства») [6, с. 191].

Можно с уверенностью сказать, почему К. Левинсон модернизирует историю восстания. Дело в том, что он ссылается на книгу «История Польши», изданную в 1955 году. Книга наполнена советскими штампами о том, что восстание против имперских властей должно быть народным и национальным. Причем в советское время как минимум в отношении польского восстания 1863–1864 годов, сложилось убеждение, что если восстание происходило на территории, которую в советский период занимала БССР, значит, это бе-

лорусское восстание. Данный миф перекочевал и в постсоветский нарратив. Произошло лишь смещение акцентов. Вместо классового взгляда (против самодержавия восставали крестьяне) появился национальный (против самодержавия восставали белорусы).

В целом М.Н. Катков отражает в своих статьях современные ему представления и реалии. А К. Левинсон, рассуждая о польском влиянии в Западном крае и взглядах на это М.Н. Каткова, подходит к прошлому с применением современных представлений о состоянии этой территории. Естественно, что подобная модернизация лишь запутывает понимание прошлого, внося в него современные актуальности. Вооружать крестьян не боялся не только М.Н. Катков, но и виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев. Именно он сделал ставку на крестьян в качестве силы, способной оказать помощь в подавлении повстанческих выступлений. Надо сказать, что М.Н. Муравьев в этом не ошибся. Крестьянские караулы не только исправно ловили повстанцев, но и принимали участие на стороне русских войск в некоторых боях против мятежников.

Также К. Левинсон уверен, что М.Н. Катков не обращал внимания «на множество случаев иного отношения к восстанию – на случаи солдатского неповиновения в тех частях, что были брошены на подавление, на письма русских офицеров в “Колокол”, на крестьянские выступления не антипольской направленности» [9]. Все перечисленные случаи можно признать реальными, но вот только массовыми они не являлись. Они были частностями, которые не влияли на общие тенденции. Поэтому говорить о «множестве случаев», значит выдавать желаемое за действительное. Также некорректно и утверждение К. Левинсона о том, что крестьяне «шли во множестве под его [польского повстанческого правительства – *А.Г.*] знамена, вооружаясь косами» [9]. Стоит еще раз повториться, что массовой поддержки среди местного крестьянского населения восстание не получило. М.Н. Катков как раз имел точные сведения о том, что крестьяне и противодействовали повстанцам, и просили российские власти о защите от них. Даже обещание повстанцами земельных наделов не помогло добиться массового расположения крестьян к идеалам восстания.

Но «польский вопрос» для М.Н. Каткова существовал не только как «польско-русский». Он имел еще и конфессиональную сторону, что можно обозначить как «польско-католический вопрос». Одной из проблем этого вопроса было совмещение двух понятий: «поляк» и «католик». Эти термины взаимозаменяли друг друга. Имея сформированное недоверие к польской политической активности как к антироссийской, М.Н. Катков призывал не увеличивать количество поляков в империи, записывая в них всех католиков. Хотя изначально риторика М.Н. Каткова была иная. В июне 1863 года он был уверен в том, что «католическое духовенство есть организованный заговор против православия, заговор, готовый стать под всякое враждебное нам знамя и уже показавший нам громадность своих средств» [цит. по: 13]. Но уже в августе М.Н. Катков меняет тон. Теперь он пишет: «Пусть же остаются католиками, но они должны быть русскими» [цит. по: 13].

М.Н. Катков стремится разорвать сложившееся представление о католиках как о поляках. Для этого он предлагает вводить русский язык вместо польского в католическую проповедь и изучать на русском Закон Божий, чтобы католики не ощущали себя автоматически поляками, а также приглашать в качестве католических священников представителей иных славянских народов, например, чехов. Это должно было, по мнению Каткова, лишить ксендзов польского происхождения монополии на церковное служение, которые «под видом религии внушают и воспитанникам, и вообще духовным детям своим, безумную ненависть к России и дух революции» [7, с. 51].

О том, что Католическая церковь в России заботилась не только о духовном состоянии, но и решала национально-культурные вопросы, пишут и современные польские исследователи. Так, по мнению М. Затыки, Католическая церковь, оказала услугу «польскому обществу в период утраты независимости в результате начавшихся в конце XVIII века раз-

делов страны. Именно благодаря Церкви, единственному в то время польскому институту, легально действовавшему во всех частях оккупированной Пруссией, Россией и Австрией страны, сохранился национальный дух поляков. Католическая церковь заботилась о национальных традициях, распространяла обычаи и родной язык, а также развивала общественную жизнь. Деятельность духовных лиц приносила плоды: уже в начале XX века, то есть после более чем ста лет аннексии, в основных религиозных обрядах принимало участие более 90% поляков. Таким образом, произошла идентификация двух понятий – поляк и католик» [4, с. 296 – 297].

Солидарна с М. Затыкой и Э. Пшыбыл-Садовская, которая указывает: «Отсутствие государственных структур привело к тому, что Католическая церковь взяла на себя часть функций, обычно принадлежавших светской власти, а именно: развитие национальной культуры, образования, воспитание патриотизма и тому подобное. Церковь зачастую вела борьбу с инокультурным влиянием, поэтому нет ничего удивительного в том, что "польскость" начали ассоциировать с католицизмом» [11]. Также Э. Пшыбыл-Садовская подчеркивает, что «произошло отождествление православия с русским языком и русским народом, тогда как протестантизм стали отождествлять с немецким народом и языком. На польском языке говорили в католических церквах (разумеется, во время проповедей и особых богослужений, но не во время мессы, которую совершали на латыни), при храмах создавались школы, в которых обучали польскому языку. В результате всех, кто говорил по-польски, считали католиками. Исходя из этого, католические историки и проповедники выстраивали образ Польши "дораздельного" [то есть до разделов Польши в конце XVIII века – *А.Г.*] периода, всегда сохранявшей верность католицизму и защищавшей Церковь от раскольников (то есть православных) и еретиков (протестантов). Конечно, этот образ не имел ничего общего с реальностью, ведь Речь Посполитая была многонациональным и многоконфессиональным государством[1]. Но в XIX веке такое видение истории было очень популярным. Если исключить Австрию, то два других угнетателя Польши, будучи "иной веры", облегчали идентификацию "польскости" с католицизмом. Как утверждает Мачей Струтыньский, "захватчик был вдвойне чужим – он был чужеземцем и иноверцем"». Поэтому «в отсутствие государства "место отчизны заняла Церковь"» [11].

То есть, по мнению польских исследователей, Католическая церковь в России занималась, в том числе, и воспитанием польского патриотизма. Для М.Н. Каткова с его идеей единой русской нации связка «поляк – католик», естественно, виделась опасной. Он указывал, что Католическая церковь приобрела в России такое значение, «какого она нигде не имеет, – значение польской национальности» [цит. по: 3, с. 463], а также что «лучше чисто римский католицизм <…> нежели католицизм польский» [цит. по: 3, с. 464]. М.Н. Катков «настаивал на важности разделения в общественном сознании понятий "поляк" и "католик". Польские сепаратисты всегда считали католичество важнейшим национальным маркером и отграничителем от России. При этом в "поляки" попадали католики – малорусы, белорусы, составлявшие значительную часть населения Западного края и являвшиеся важнейшим доводом в претензиях поляков на признание его польскими землями» [8, с. 40].

Представление о католиках как о поляках встречается нередко. Например, некто И. Миллер в переписке с редактором «Виленского вестника» А.И. Забелиным описывал одного «католического патера», относя к его к группе «польское духовенство» [3, с. 422]. Разведение понятий «католик» и «поляк» должно было противодействовать претензиям

[1] Нужно отметить, что Польша, будучи «многонациональным и многоконфессиональным государством», все же время от времени выступала как оплот и защитник католицизма. Так, в Польше активно распространялась Контрреформация, а в 1596 году королем была запрещена Православная церковь, поскольку часть ее иерархов (но далеко не все) согласились на унию с Римом. Правда, через непродолжительное время запрет отменили, но переданные униатам православные храмы, так и не вернули.

польских патриотов на Западный край как на Польшу. Ведь при разведении понятий в Западном крае оказывались заметными католики, но не поляки. Однако эта попытка создания надконфессиональной гражданской нации, ориентированной в первую очередь на единство языка, а не конфессиональной принадлежности, оказалась неуспешной. Даже для людей начала XXI века понятия «поляк» и «католик» иногда являются идентичными и обозначают одно и то же.

Интересно, что уверенность М.Н. Каткова в том, что не все католики Западного края являются поляками, была независимо от самого публициста повторена белорусскими националистами начала XX века, но уже в отношении не русского народа в широком смысле, а белорусского как особого этноса. Националисты, стараясь сконструировать белорусскую идентичность, тоже утверждали, что не все католики, живущие в Белоруссии, являются поляками (как и не все православные – великорусами), а определителем этничности служит язык. Требование введения в богослужение белорусского языка вместо польского (у католиков) или русского (у православных) также присутствовало у белорусских националистов. Именно языковую общность они ставили выше конфессионального единства. Правда, сами белорусские крестьяне начала XX века не рассматривали себя как отдельный народ, им вполне хватало представления того, что они – русские.

Еще один вопрос, вытекающий из «польского» и жестко с ним связанный, – это «вопрос о крамоле». Проблема революционных антигосударственных действий тоже занимала М.Н. Каткова. Причем он видел в антиправительственной активности достаточно явную логическую последовательность. Так, рассуждая о характере государственных преступлений в России, М.Н. Катков указывает, что эти преступления направлены не только против династии, но и против страны – России, Русской земли. Поскольку династия управляет «историческим движением русского народа, смыкая в себе его прошедшее с будущим», враги династии и враги русского народа – одно и то же [7, с. 186]. Говоря о государственных преступлениях, М.Н. Катков делает небольшой экскурс в ближайшее прошлое, ограничиваясь «явлениями, происходившими на наших глазах». И первое, о чем вспоминает М.Н. Катков, это то, что «1863 г. был обилен государственными преступниками», то есть польские повстанцы начинают ряд государственных преступников.

Публицист задается вопросом, были ли эти преступники всего лишь противниками правительства или врагами «нашего отечества, единства русского государства, целости Русской земли». И сам же на него отвечает, заявляя, что, борясь с повстанцами, правительство отстаивало не только себя [7, с. 187], то есть повстанцы оказываются врагами не только власти, но и страны в целом. Далее в катковском экскурсе в недалекое прошлое идет Д.В. Каракозов и его «выстрел 1866 года» [7, с. 187], а также нечаевцы, процесс над которыми «показал до очевидности, какими неуловимыми переходами наши государственные преступники сливаются с непреступниками» [7, с. 188].

Таким образом, М.Н. Катков выстраивает прямую связь между польским восстанием 1863 года, выстрелом Д.В. Каракозова и деятельностью С.Г. Нечаева. И позже публицист не изменит своего видения причинно-следственных связей, считая, что вожаки «польской справы» всего лишь изменили свои методы: «Не рассчитывая больше на поддержку европейских держав, они постарались примазаться к так называемой всесветной революции, и в 1864 году на митинге рабочих в пользу Польши, в Лондоне впервые явилась на свет “Интернационалка”, а уже в 1866 году Каракозов стрелял в Царя-Освободителя» [7, с. 237]. И в этом случае выстрелу Д.В. Каракозова предшествует «польская интрига» как причина следствию.

Но М.Н. Катков идеализировал русский народ, считая, что «тайная организация» (то есть революционные силы в России) не является чем-то естественным для русского народа, не имеет с ним ничего общего [7, с. 222]. Крамола происходит из-за границы,

«существует какая-то международная организация злоумышленников, которая в каждой стране ищет и находит среду для своего действия», а в России такой средой для революции оказались «образованные сферы» и в первую очередь учащаяся молодежь [7, с. 188]. Однако в случае победы «польской справы», М.Н. Катков пророчит печальную судьбу тем, кто участвовал в антиправительственном движении: «Хорошо бы нашим революционерам, с изумительной рабской покорностью исполняющим предписания таинственных властей, прочесть инструкции Мерославского[1], учившего польских вожаков ловить русских нигилистов и употреблять их в дело, с тем, чтобы потом, когда Россия рухнет и польское дело восторжествует, беспощадно истреблять их как гадин» [7, с. 237].

Таким образом, редактор «Московских ведомостей» видит бессмысленность революционной антиправительственной деятельности, считая ее практически движением к самоуничтожению, причем самоуничтожению физическому, а выгодополучателями от этого, по мнению М.Н. Каткова, будут руководители «польской справы».

Помимо существования приемлемой для развития тайных организаций среды в виде «образованных сфер», М.Н. Катков видит еще одну проблему для антиправительственной деятельности. И опять же в качестве примера он использует польские события 1863 года Так, в статье «О мерах к пресечению крамолы» М.Н. Катков задается вопросом: «Что способствовало развитию польской революционной организации?». И отвечает на этот вопрос большим перечнем явлений из российской государственной жизни, суть которых сводится к заигрыванию с польской стороной, нежеланию вызвать неудовольствие Европы, боязни решительно пресекать крамолу и т.д. [7, с. 221]. М.Н. Катков делает вывод: «Чем миролюбивее и уступчивее были мы с враждебной силой, тем более росла ее дерзость, и тем более лилось крови» [7, с. 222].

Об этом же, но с большей патетикой пишет и современный исследователь катковских взглядов на «польский вопрос» К. Левинсон: «Покоренный, но не покорившийся народ при самой широкой автономии и самом либеральном режиме управления стремится к свободе – и стремится тем сильнее, чем более близкой и достижимой она кажется, и тем сильнее, чем более он знал ее когда-то» [9]. То есть либерализация государственных отношений к «польскому вопросу» производила впечатление слабости режима, поэтому польские патриоты предполагали более легкую победу. Заигрывание с «крамолой» вызывает агрессию этой «крамолы», которая рассматривает заигрывания как слабость государства. У М.Н. Каткова был рецепт пресечения этого – решительное и последовательное противодействие.

М.Н. Катков сравнивает революционную активность 1870–1880-х годов с польской активностью 1863 года и приходит к выводу, что «те же причины, те же наши недуги» способствовали как развитию польского восстания, так и развитию более поздней революционной активности. Причем Катков указывает, что у польской организации была какая-никакая сила, с которой приходилось считаться, а российская революционная организация сильна лишь «бессилием противодействия» [7, с. 223], да и сама она состоит «из горсти злоумышленников, покорных чужой команде, и не имеющей ничего общего с нашим народом» [7, с. 222]. Уничтожить революционную крамолу можно так же, как когда-то была уничтожена польская справа – решительно и последовательно [7, с. 223]. Примером решительных действий в 1863 году для М.Н. Каткова служит виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев. Этот «государственный человек, вооруженный полномочием», очень быстро прекратил мятеж [7, с. 222].

[1] Мерославский, Людвик – участник польского восстания 1830–1831 годов, после его поражения уехал в эмиграцию, во второй половине 40-х годов XIX века участвовал в подготовке польского восстания в Пруссии, в 1863 году назначен диктатором очередного польского восстания, но, проиграв русскому отряду два сражения подряд, бежал в Париж.

М.Н. Каткова чрезвычайно беспокоило, что российская власть не сделала, по его мнению, выводов из польского восстания. И в 1877 [7, с. 213], и в 1881 [7, с. 236] годах Катов писал, что уроки 1863 года в России забыты и Россия снова не защищает свои интересы, заигрывая с Европой и внутренней оппозицией. При такой параноидальной уверенности в том, что практически вся российская крамола направляется из-за границы сторонниками «польской справы», М.Н. Катков все же не рассматривает всех подданных польского происхождения в качестве врагов империи. Дело не в поляках так таковых, а «в том яде, который именуется “польской справой”, в тех честолюбцах, которые не покидают надежды восстановить старую Польшу на развалинах России, которые не считают делом покончен-ным историческую борьбу между этими двумя славянским народами» [7, с. 236].

Катков уверен, что «“польская справа” притихла, но она не исчезла. Мы не довершили начатого, мы обманули себя: меры, которые мы принимали, превратились в полумеры, а полумеры хуже, чем непринятие никаких мер. Мы не освободили польскую народность от яда, которым она заражена и которая делает ее отравой для России; мы только вогнали этот яд глубже внутрь» [7, с. 237]. И в этой его уверенности можно даже предположить какую-то эсхатологичность. «Польский вопрос» видится всюду. В 1882 году в статье, написанной на смерть М.Д. Скобелева, М.Н. Катков процитировал «белого генерала»: «<…> пока польский и западнорусский вопросы будут тяготеть над нами, всякое правильное развитие в лучшем народно-историческом значении этого слова будет крайне затруднительно. В настоящее время, несмотря на потраченные кровавые усилия, все наши границы остались открыты вражьему нашествию, вынуждающему нас содержать такую громадную армию, а польский вопрос, особенно теперь, ввиду неминуемых усложнений, порожденных австро-германским союзом, держит нас в осадном положении. Только владея Босфором, Россия сможет сознательно и бесповоротно произнести *преждевременный* [курсив автора – *А.Г.*] пока возглас разбитого Костюшко “finis Poloniae”» [7, с. 276].

Поэтому и в начале 1880-х годов М.Н. Катков был уверен, что «польская справа» не ушла в небытие. Она трансформировалась в революционные организации как в России, так и в Европе и создает угрозу империи. «Карбонарская сеть», плетущая интриги против России, ранее была лишь польская, но позже она пополнилась «порченными людьми из русских», а «Россия вдруг превратилась будто бы в самую революционную страну мира» [7, с. 272]. «Польский вопрос», проблема возможного возрождения самостоятельности Польши у М.Н. Каткова видится только через польско-русский конфликт, который разрешим лишь поражением одной из сторон. И поскольку в истории уже случилось падение Польши, любые попытки предоставить полякам какую-то национальную автономию будут только разрушать империю, давая напрасные надежды польским патриотам. Понимая, что борьба с империей бесперспективна, польские революционеры продолжили свое дело через революционные организации, не связанные с поляками напрямую. Поэтому, по мнению М.Н. Каткова, практически все российские революционное движение имеет польский след.

Идеалом М.Н. Каткова было «надконфессиональное сообщество подданных сильной и реформистской монархии Александра II, сплоченных не только лояльностью трону, но и единым гражданским языком, принадлежностью к единому цивилизационному пространству» [3, с. 464]. И актуализация «польского вопроса», с точки зрения М.Н. Каткова, представляла определенную опасность для этого идеала. Стоит согласиться с К. Левинсоном, что в текстах М.Н. Каткова присутствует «тревога за империю». Возможно, именно страхом потерять большую страну можно объяснить некоторые, доходящие порой до параноидальной уверенности в тотальном польском заговоре умозаключения М.Н. Каткова. Он не видел врагов всюду, он не рассматривал всех поляков как врагов государства, но он был уверен в том, что существуют силы польских патриотов, жажду-

щих восстановить польскую государственность. И эти силы не исчезли после поражения в восстании 1863 года, а всего лишь сменили тактику.

Актуальность текстов М.Н. Каткова, посвященных «польскому вопросу», не потеряна и в начале XXI века Даже не зная содержания катковских статей, многие публицисты постсоветской России повторяют те же формулы и примерно так же рассматривают современное положение России.

Некоторые страхи и надежды М.Н. Каткова оказались созвучны современности, что повышает интерес к его публицистическому наследию, а также говорит о существовании устойчивых стереотипов, убежденности в наличии практически вечных алгоритмов развития ситуации, формировании образов врага и бытовании неких политико-эсхатологических представлений. Утверждения, сформулированные М.Н. Катковым в статьях по «польскому вопросу» могут с небольшой коррекцией переноситься на иные межэтнические отношения, если в них возникает реальная или мнимая напряженность.

Вполне возможно, что возвращение текстов М.Н. Каткова в нынешний политический дискурс вызвано тем, что он смог уловить и проговорить представления об архетипических страхах и предложить такие же архетипические методы их преодоления. Нынешняя напряженность в российско-польских отношениях (проблема Катыни, катастрофа польского президентского борта № 1, призывы Варшавы разместить на своей территории американские войска в рамках усиления восточного фланга НАТО и др.) вызывает желание проверить, а как отношения развивались в прошлом. Нынешний имперский дискурс, который существует в России, и претензии некоторых польских сил на контроль над государствами, ныне занимающими пространство бывшего Западного края Российской империи, снова порождают ситуацию, похожую на ту, которая существовала во времена М.Н. Каткова. А это значит, что М.Н. Катков остается актуальным и в XXI веке.

Литература

1. *Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М.* Россия и Польша: Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации. М.: Институт русской цивилизации, 2011. 944 с.
2. *Гронский А.Д.* Конструирование образа белорусского национального героя: В.К. Калиновский // Белоруссия и Украина: История и культура. Ежегодник 2005/2006. М.: Индрик, 2008. С. 253–265.
3. *Долбилов М.Д.* Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 1000 с.
4. *Затыка М.* Роль католической церкви в современной Польше // Вестник Европы. 2015. Т XLII–XLIII. С. 296–300.
5. *Катков М.Н.* Идеология охранительства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 800 с.
6. *Катков М.Н.* Империя и крамола. М.: ФондИВ, 2007. 432 с.
7. *Кудряшов В.Н.* М.Н. Катков в российском имперском дискурсе второй половины XIX века // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 4. С. 40–42.
8. *Левинсон К.* М.Н. Катков и польское восстание 1863 года // Интернет-журнал ГЕФТЕР [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://gefter.ru/archive/12465 (дата обращения: 06.07.2018).
9. *Перевалова Е.В.* Миссия журналистики: взгляд из прошлого (по материалам изданий М.Н. Каткова) // Журналистский ежегодник. 2016. № 5. С. 51–57.
10. *Каліноўскі К.* За нашую вольнасць. Творы, дакументы / уклад., прадм., паслясл. і камент. Г. Кісялева. Мінск: Беларускі кнігазбор, 1994. 459 с.
11. *Пшыбыл-Садовская Э.* Поляк-католик: истоки и функционирование национального мифа // «ИНТЕЛРОС –Интеллектуальная Россия» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_56/1920-jelzhbeta-pshybyl-sadovskaja.-poljak.html
12. *Санькова С.М.* Государственные реформы и национальный интерес: взгляд из XIX в. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 14. С. 69–76.
13. *Тесля А.А.* «Польский вопрос» в публицистике М.Н. Каткова 1863 года // Хронос. Всемирная история в интернете [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://hrono.ru/libris/pdf/tesla_aa_katkov1863.pdf (дата обращения: 15.07.2018).
14. Украинский вопрос в русской патриотической мысли / сост., предисл., послесл. и примеч. д-ра ист. наук, проф. А.Ю. Минакова. М.: Книжный мир, 2016. 800 с.

Аннотация. «Польский вопрос» стал внутренним вопросом Российской империи с включением в состав России части Речи Посполитой. Польские патриоты постоянно пытались возродить государство, что выливалось в восстания. М.Н. Катков рассматривал наличие «польского вопроса» в России как опасность для стабильности и территориальной целостности империи. Он видел в этом вопросе политическую составляющую. Также М.Н. Катков указывал на опасность взаимозаменяемости терминов «поляк» и «католик», что делало Католическую церковь в Российской империи национальной польской организацией. Помимо того, у М.Н. Каткова была убежденность в том, что «польский вопрос» тесно связан с российским революционным движением. Публицистика М.Н. Каткова не потеряла своей актуальности и в начале XXI века.

Ключевые слова: М.Н. Катков, «польский вопрос», польское восстание 1863–1864 годов, Католическая церковь в Российской империи, русское революционное движение.

Alexander D. Gronsky, Candidate of Historical Sciences, Docent, Lead Researcher of the Center for Post-Soviet Studies of Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences. E-mail: agr1976@yandex.ru

“The Polish Problem” through the Eyes of M.N. Katkov and the Present

Abstact. The «Polish question» became an internal issue for the Russian Empire at the end of the 18th century, when Poland was divided between Prussia, Austria and Russia. Polish patriots were permanently trying to restore their state that lead to several uprisings. M.N. Katkov considered the existence of the “Polish Problem” in Russia to be dangerous for the stability and territorial integrity of the empire, while seeing also political aspects of this problem. M.N. Katkov pointed out the danger of interchangeability of the terms “Pole” and “Catholic” that allowed to view the Catholic Church in the Russian Empire as national Polish organization. Moreover, M.N. Katkov was sure that the “Polish Problem” was closely associated with the revolutionary movement in Russia. Katkov’s publicism hasn’t lost its relevance in the beginning of the 21st century.

Keywords: M.N. Katkov, “Polish Problem”, Polish Uprising of 1863–1864, Catholic Church in the Russian Empire; Russian Revolutionary Movement.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-274-286

Галина Лебедева

Остзейский вопрос в публицистике М.Н. Каткова

Среди наиболее важных и сложных проблем российской жизни второй половины XIX века был вопрос остзейский, или прибалтийский. Практически все мыслители России, в первую очередь «вождь охранительной России», редактор газеты «Московские ведомости» Михаил Никифорович Катков (1818–1887), уделяли данному вопросу огромное внимание. Причина была понятна – слишком важное значение имел Остзейский край в жизни Российской империи. Роль М.Н. Каткова в польском вопросе достаточно хорошо известна и исследована учеными. Между тем остзейский вопрос был для России того времени не менее (а может, и более) важным, чем польский, учитывая значение края.

Остзейским краем именовались три прибалтийские губернии – Эстляндская, Курляндская и Лифляндская (ныне это территория Эстонии и Латвии). Присоединенные к России в XVIII веке, эти губернии сохранили многие особенности местного управления – так называемый особый остзейский порядок. Наряду с Великим княжеством Финляндским, Царством Польским (до 1831 года) прибалтийские губернии, которых даже в русской прессе часто называли на немецкий манер остзейскими (напомним, что в Германии Восточным морем – Остзее – называют Балтийское море), оставались почти не интегрированными в состав России. Вся власть – политическая, экономическая, культурная и даже духовная находилась в крае в руках местного немецкого дворянства и бюргерства, прямых потомков тевтонских «псов-рыцарей» XIII века. Покорив в те времена этот край, где проживали данники Руси, которые впоследствии стали называться эстонцами и латышами, рыцари создали свое государство – Тевтонский орден, более трех веков угрожавший всем соседям и жестоко угнетавший покоренных аборигенов.

Последствиями завоевания Ливонии стали такие этнические и социокультурные изменения, которые определяют развитие Прибалтики вплоть до нашего времени. Прежде всего общество, возникшее в Ливонии и просуществовавшее с некоторыми изменениями до второй половины XIX века, было следствием завоевания и колонизации. В результате завоевания потомки завоевателей составляли всю властвующую элиту целых семь веков, а основное население было сведено на уровень рабочего скота. Язык и сословная принадлежность почти совпадали с этнической, а потому основной категорией определения социальной принадлежности человека служили понятия: Deutsch (немец) и Undeutsch (ненемец). Под словом «немец» почти до середины XIX века в Прибалтике понимались не немцы по национальности, а представители правящего класса, «господина». Понятие Deutsch объединяло дворянство, духовенство, купцов, ремесленников и интеллигенцию. «Немцы» считались на этих землях «народом господ» – Herrenvolk. К Undeutsch относились эстонцы и латыши – крестьяне, а также низшие слои городского населения. Само понятие Undeutsch носило презрительный оттенок, обозначая человека низшего сорта.

Лебедева Галина Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии факультета философии, культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. E-mail: gal_le@list.ru

После присоединения Лифляндии и Эстляндии Петром там сохранились все старые привилегии местных немецких баронов и бюргерства, в том числе и сословная система дворянского управления и суда. В 1895 году к России была присоединена Курляндия, тоже сохранившая прежнюю систему управления, оставшуюся со времен Курляндского герцогства. Под российской властью остзейские немцы управляли Прибалтикой точно так же, как в XIII веке.

В крае существовал особый свод законов (остзейское право), судопроизводство, управление, отличные от системы общероссийской государственности и характеризовавшиеся господством немецкого языка, лютеранства, то есть особый режим права (Landesstaat). Особые законы, касавшиеся управления Прибалтийских губерний, некоторые юристы даже именовали «конституцией». Кстати, и борьбу за сохранение своих привилегий тоже нередко называли конституционализмом. Органы немецкого дворянства осуществляли функции по внутреннему управлению краем. Вплоть до начала Первой мировой войны губернатор в каждой из трех остзейских губерний являлся представителем центральной власти и был вынужден действовать так, чтобы не уменьшать привилегий дворянства. Большинство российских губернаторов и генерал-губернаторов сами происходили из остзейских баронов или были женаты на прибалтийских немках. Стоит ли удивляться, что в 1846 году при генерал-губернаторе состояло всего шесть русских чиновников. Остзейский порядок оставался незыблемым плоть до Александра II (1855–1881).

Слово «остзеец», под которым подразумевали прибалтийского немца (в отличие от петербургского немца-мастерового или поволжского крестьянина-колониста) и, что более существенно, сторонника сохранения немецких привилегий в крае, к середине XIX столетия стало обозначать своего рода политическую партию, имевшую огромное влияние в жизни.

Во второй половине XIX столетия в прибалтийских губерниях сохранялись в огромном количестве феодальные установления и порядки, уже давно исчезнувшие во всей остальной Европе. Не случайно видный славянофил Иван Аксаков назвал остзейские губернии «музеем исторических редкостей социального и общественного устройства» [1, с. 15]. Ссылаясь на остзейское законодательство, немецкие бароны умело саботировали все решения центральной власти, стремившейся ввести в Прибалтике общероссийские законы, в частности земское и городское самоуправление.

При этом, обладая всеми правами российского дворянства, остзейцы занимали обособленное положение [7, с. 661–663]. Современный британский исследователь, сам потомок остзейской аристократии, Доминик Ливен, отмечал, что привилегии остзейцев были гораздо шире, чем собственно русского дворянства [10, с. 171].

Силу претензиям баронов придавало то обстоятельство, что в своей массе они действительно были абсолютно лояльны российскому императору. Огромное количество мореплавателей, генералов, администраторов, ученых, вышли из числа остзейского дворянства. Собственно, именно к этому стремился Петр I, сохраняя и расширяя остзейские привилегии. На протяжении полутора веков такая политика давала прекрасный результат – российская власть всегда могла быть спокойной в отношении стратегически и экономически важных прибалтийских земель, а остзейское рыцарство поставляло империи квалифицированные и лояльные кадры в военный и административный аппарат государства.

Остзейцы отличались и рядом личных качеств, выделявших их на фоне некоторых категорий российского дворянства. Так, для них не было характерно презрение ко всем видам трудовой деятельности, что было столь свойственно польским шляхтичам да и некоторым русским старосветским помещикам. Многие остзейцы не без успеха занимались предпринимательской деятельностью. Стремление к получению образования тоже было присуще остзейцам, и не случайно из их числа вышел ряд выдающихся ученых.

Остзейцы сохранили воинственный дух своих рыцарских предков, и также не случайным было обилие прибалтийских баронов в списках российского генералитета. Остзейцы в русском военном мундире были аккуратными, исполнительными, храбрыми офицерами, хорошо знавшими и любившими военное ремесло.

В революционном движении остзейцев было мало. Так, среди декабристов оказалось немало немцев, но большинство из них были петербургскими, а не прибалтийскими немцами. Словом, в событиях 14 декабря 1825 года остзейцы продемонстрировали свою традиционную лояльность Российской империи. Аналогичным образом почти не было остзейцев в числе народовольцев и большевиков.

* * *

В первой половине XIX века положение остзейцев в России стало особенно значительным. Александр I рассматривал Прибалтийские губернии как полигон по «обкатке» реформ, которые должны будут последовать затем по всей империи. Если в Финляндии и Польше император экспериментировал с конституционностью, то в Прибалтике была предпринята попытка освобождения крепостных. Александр I искренне стремился покончить с крепостничеством, но он прекрасно понимал, что при всем своем самодержавии противодействовать главному сословию России ему невозможно. И именно поэтому император попытался превратить Прибалтику в место эксперимента по отмене крепостничества.

Еще в 1804 году под давлением официального Петербурга немецкое дворянство провело так называемый крестьянский закон, по которому за хлебопашцами признавалось минимальное право на землю и определялся объем повинностей крестьян в отношении к своему душевладельцу. До этого времени никаких прав коренные прибалты вообще не имели, и все повинности крестьян определяли по своему усмотрению их господа! Впрочем, остзейское дворянство достаточно быстро сумело нейтрализовать этот закон, причем в результате различных «дополнений» и «разъяснений» количество феодальных повинностей для крестьян даже увеличилось.

В 1816–1819 годах крепостное право в прибалтийских губерниях все же было отменено, но вся земля осталась у помещиков, так что освободившиеся крестьяне превратились в безземельных батраков. В Эстонии только в 1863 году крестьяне получили удостоверяющие личность документы и право на свободу передвижения. Барщина, которую выполняли «свободные» крестьяне, была отменена только в 1868 году, то есть через полвека после «освобождения».

Стараясь не допустить организованности бывших крепостных, бароны стремились расселять своих крестьян отдельными хуторами. Разумеется, вся земля у хуторян была баронской. В 1840 году в собственности крестьян находилось лишь 0,23% всей пахотной земли в Лифляндской губернии! Одновременно проводилась намеренная политика алкоголизации коренных прибалтов. Пьянство действительно приняло в крае огромные масштабы. Как признают авторы латвийского учебника по истории Латвии, «погрязнув в алкоголизме, крестьяне стали деградировать духовно» [6, с. 108]. Не случайно в коренной России в середине XIX столетия существовало выражение «поехать в Ригу», означавшее упиться насмерть.

Епископ К. Улманис (1793–1871) в работе «К латышскому народу» делал пессимистические выводы: «Они не имеют еще большого значения, про них сегодня никто не знает, что они могут стать в какой-то день целым народом, все их развитие – это иностранное влияние. Нигде нельзя найти никакой объединяющий центр, где отдельные случаи сливаются вместе, чтобы образовывать светлое пламя, костер. Латышскому языку суждено утонуть» [11, с. 255–256].

Сохранились и многочисленные символические действия, демонстрирующие раболепную покорность эстонцев и латышей своим немецким хозяевам. Так, вплоть до начала XX века сохранялся обычай целовать руку барону. Телесные наказания для батраков сохранялись вплоть до 1905 года.

Среди других реформ Александра I, оказавших влияние на дальнейшее развитие Прибалтики, было открытие в Дерпте университета. Он вскоре стал одним из крупнейших научных учреждений всей Европы. Дерптский университет носил чисто немецкий характер. Все образование шло на немецком языке, подавляющее большинство студентов были остзейскими немцами и в небольшом количестве русские из других губерний империи. Только через десятилетия в этом университете начали получать образование некоторое количество эстонцев и латышей, что, впрочем, стало возможным лишь с политикой «русификации» прибалтийских губерний. Вплоть до конца XIX столетия высшее образование в остзейских губерниях было только для немцев. Преподавательский состав университета тоже был немецким. Единственным русским среди дерптских профессоров, которому нелегко приходилось в национально-немецкой тесноте, был литературовед П.А. Висковатов (1842–1905).

К середине XIX века в двухмиллионном населении трех Остзейских губерний немцев насчитывалось примерно 180 тысяч, причем их численность постепенно сокращалась не только в относительных, но и в абсолютных цифрах. Но власть остзейцев была прочна – положение прибалтийских аборигенов официальный Петербург почти никогда не интересовало. Сотрудник М.Н. Каткова, латыш Кришьянис Валдемар поместил статью под названием «Кто правит Россией: сами русские или немцы»? В ней были приведены такие цифры: среди министров 15% немцев, среди членов Государственного Совета 25%, среди сенаторов 40%, генералов 50%, губернаторов 60%. Катков, прочитав статью, не поверил в эти цифры. И тут же велел своему секретарю цифры проверить. Проверка поразила Каткова: сенаторов-немцев оказалось даже больше – 63%.

Впрочем, в противодействии введению в крае общероссийского законодательства проявлялась не только оппозиционность остзейцев, а стремление не допустить к участию в управлении местных латышей и эстонцев, живших на собственной земле как люди второго сорта. Немцы считаются сентиментальной нацией, но немецкая власть есть власть жесткая, лишенная всяких сантиментов. Если у русских крепостников все же могли сохраниться определенные патриархальные чувства к «своим» крестьянам, то у правящих по праву завоевателей остзейских баронов по отношению к коренному населению края могло быть только отношение как к полезной рабочей скотине. Посетивший Лифляндию в 1789 году (спустя 80 лет после присоединения к России) Н.М. Карамзин отметил, что лифляндский крепостной приносит своему помещику вчетверо больший доход, чем русские крепостные Симбирской или Казанской губерний [4, с. 32–33]. Это объяснялось не большим трудолюбием латышей и даже не немецким порядком, а просто более эффективной и жестокой эксплуатацией крепостных. Для многих русских и зарубежных путешественников стало чем-то банальным сравнивать положение коренных прибалтийских крестьян с неграми в американских колониях. Это может показаться особенно удивительным, учитывая, что крепостное право было отменено в Остзейских губерниях на полвека раньше, чем в коренной России.

За века господства остзейцы привыкли считать три провинции на берегу Балтики своей Родиной. Как писал уроженец Лифляндии немецкий писатель Вернер Бергенгрюн (1892–1964), для прибалтийско-немецкого населения Эстляндии, Лифляндии и Курляндии было совершенно естественно называть три остзейские провинции своим Отечеством (Vaterland); Германия воспринималась как Родина (Mutterland). Россия была Отечеством только по праздникам [9, с. 261]. Чаще всего Российскую империю именовали немецким

понятием «рейх» (Reich). Императора Всероссийского прибалтийские немцы называли “Kaiser”. При этом никто не ставил под сомнение верность остзейцев «кайзеру» и «рейху». Об этой раздвоенности писал И.С. Аксаков: «Дело в том, что преданные русскому престолу – они, как мы видели, проповедуют бой на смерть русской народности; верные слуги русского государства, они знать не хотят русской земли. Для них существует Россия – только как Российская империя, а не как Русь, не как русская земля, под защитою которой могут находиться области, населенные и другими народностями. Идеал, который немцы проповедуют для России, – это воплощение отвлеченной идеи государства вне народности, такая Россия, в которой ничего бы русского, выдающегося вперед не было» [1, с. 6–7].

О том, что местное прибалтийское дворянство принимало присягу на верность императору, а не российскому государству, предельно откровенно писал известный остзейский публицист Г. Беркгольц в 1860 году: «Прибалтийские немцы имеют полное основание быть всей душой за династию, ибо только абсолютная власть царя оберегает их. Между тем любая русская партия, демократическая, бюрократическая или какая-нибудь сожрет их, едва лишь она добьется решающего перевеса» [3, с. 499].

Едва ли не самым показательным примером «особости» Прибалтийского края было положение местных русских. Фактически они находились в положении иностранцев, хотя многие из них проживали здесь уже много поколений. Еще в XVII веке многие русские старообрядцы, защищая свою веру, бежали в тогдашнюю шведскую Прибалтику и в герцогство Курляндское, владетель которой герцог Якоб сам приглашал переселенцев из России, надеясь восполнить убыль своих подданных после эпидемии чумы. В Курляндии русские основали город Крыжополь (по-немецки – Крейцберг, ныне – Круствпилс). После присоединения Прибалтики к России количество русских переселенцев увеличилось незначительно. Причина понятна: свободных земель здесь не было, гнет баронов был явно свирепее, чем «своих» русских помещиков, а в городах русские купцы и мастеровые испытывали явное давление со стороны местных немецких цехов.

* * *

Такое положение в Прибалтийских губерниях вызывало недовольство большинства русских мыслителей. Показательно, что в остзейском вопросе сплоченно выступали славянофилы, охранители, православные публицисты, искренние либералы. Аграрный, крестьянский вопросы, народное образование, городское, земское и судебное устройства являлись основными в русской прессе при обсуждении «остзейского вопроса».

Остзейский вопрос впервые был поднят славянофилом Юрием Федоровичем Самариным в 1848 году. После двухлетней работы в Риге, будучи членом ревизионной комиссии, назначенной Министерством внутренних дел в целях рассмотрения городского устройства и хозяйства прибалтийских городов для приведения их к общероссийскому правовому положению, Самарин вплотную столкнулся со спецификой остзейского устройства. О своих рижских впечатлениях Ю.Ф. Самарин так писал в письме к М.П. Погодину от 9 октября 1847 года: «Я могу сказать, все здесь дышит ненавистью к нам, ненавистью слабого к сильному, облагодетельственного к благодетелю и вместе гордым презрением выжившего из ума учителя к переросшему его ученику. Здесь все окружение таково, что ежеминутно осознаешь себя русским и, как русский, оскорбляешься» [8, с. 51]. Итогом размышлений Ю.Ф. Самарина стали «Письма из Риги», за которые он был арестован и помещен в Петропавловскую крепость. В конце 1849 года состоялась знаменательная беседа Николая I и Самарина. Хотя Самарин и был выпущен из заключения, остзейский вопрос обсуждать запрещалось.

Разумеется, рано или поздно русские патриоты выступили бы против остзейского засилья не только в высшем аппарате империи, но и в связи с особым положением При-

балтики. Проведение реформ в России поставило на повестку дня вопрос о проведении таких же преобразований и в Остзейских губерниях. По мнению русских консерваторов, для решения остзейских проблем необходимо было утвердить в Прибалтике начала русской государственности. Такими виделись введение общерусского законодательства, что означало бы управление по общероссийскому образцу. Русский язык виделся как государственный, и необходимо было введение русского языка в школах; призывали к необходимости уравнять коренное население края с немцами. Земельный вопрос, связанный с необходимостью наделить крестьян землей, был одним из главных; назрела реформа городского управления и суда; необходимы были меры по переводу богослужения на русский язык и поддержке православия в крае. Ситуация во внешней политике придавала остзейскому вопросу остроту. Объединение Германии между 1864 и 1871 годами вызвало у остзейцев бурный энтузиазм. Это обстоятельство впервые за полтора века российского владычества в крае поставило под сомнение верность остзейцев России. И остзейские порядки стали угрозой территориальной целостности империи.

В 60–70-х годах XIX века в Германии идею «воссоединения» рейха с балтийскими провинциями России активно пропагандировал целый ряд эмигрировавших на «историческую Родину» остзейцев. Так, Георг Сиверс, правнук адмирала петровских времен, остзейский поэт, профессор рижского политехникума, в 1860-х годах выступил в “Baltishe Monatschrift” с рядом критических статей, в которых подчеркивал немецкий характер края. В этом же духе писал лифляндец Юлиус Эккарт, редактор немецкой газеты в Риге, автор вышедшей в 1869 году на немецком языке книги «Балтийская провинция России». Историк К. Ширрен опубликовал многотомный, крайне тенденциозный труд «Исторические истоки крушения Лифляндской независимости». Э. Каттнер издал труд «Призвание Пруссии на востоке», в котором доказывались права Пруссии на Прибалтику и живописалась «будущность немецких остзейских провинций под прусским господством». Эмигрировавший в Пруссию бывший заместитель председателя лифляндского высшего суда фон Бокк, по словам И. Аксакова, «организовал в Берлине целую систему агитации общественного мнения против России» [2, с. 688]. Таким образом, полемика вокруг остзейского вопроса приняла международный характер.

* * *

Михаил Никифорович Катков сразу увидел в остзейских книгах и статьях реальную угрозу территориальной целостности России. Со всей страстью «львояростный кормчий» бросился в бой. Это было очень смелым поступком, учитывая влияние остзейцев при дворе и германофильство самого Александра II. Только в 1866 году Катков опубликовал в «Московских ведомостях» одиннадцать статей по остзейскому вопросу, где обличал проблемы крупного немецкого землевладения (№ 8), о дозволении приобретении дворянских имений недворянами (№ 64), о причинах германизации местного населения (№ 55), нападал на основные пункты программы балтийского конституционализма (№ 49). Сравнивая происходившее объединение земель в Германии, он утверждал, что балтийский конституционализм готовит «в ближайшем будущем оттеснить нас от Балтийского моря» (1869, № 112).

Протестуя против мнения прибалтийских газет того времени о том, что «будто бы обыватели прибалтийских губерний немецкого происхождения могут иметь свое особое, отдельное от русских, национальное знамя», Катков писал: «Каким образом лучшие и благороднейшие из уроженцев прибалтийского края могли бы быть достойными представителями интересов и чести русской нации при значительнейших европейских дворах, если б они существенно принадлежали не к русской национальности и если б они могли действовать в духе какого-либо другого, а не русского патриотизма? Мы решительно настаиваем,

что в России нет и не может быть другой национальности кроме русской, другого патриотизма, кроме русского, причем вполне допускаем, что русскими людьми и русскими патриотами могут быть, как и бывали, люди какого бы то ни было происхождения и какого бы то ни было вероисповедания» [5, 1866, № 24]. Под русскими Катков понимал подданство государству, тонко показывая государственное отличие от национального, ассимиляцию от интеграции.

В следующем, 25-м номере «Московских ведомостей», Катков рассмотрел мотивы немецкой газеты “Allgemeine Zeitung” о том, что прибалтийские губернии – земли немецкие, что между русскими и немцами господствует глубокий разлад. М.Н. Катков пишет, что «люди немецкого происхождения испокон века приходили в Россию, селились в ней, делались ее гражданами, не помышляя создать в ней особую нацию». Современный немецкий вопрос – это подосланный вопрос о возможности какого-то германского государства в России. «Не к тому ли направлена вся игра политических интриганов, чтобы русское правительство, попирая честь и достоинство своего народа, деморализовало его, подрывая в нем дух всякого патриотизма и национального чувства, колебля основания его государства и готовя в близком будущем распадение империи?» Далее Катков пишет, что ни один народ так не ценился и не встречал такого дружелюбия, и не сливался с русской народностью, как народ немецкий. «Если ошибочная политическая система породит в какой бы то ни было группе населения чувство политической национальности, то она испортит этим и самый доброкачественный элемент, и неизбежно сделает его язвою для целой страны и бедствием для людей, носящих его в себе» [5, 1866, № 25]. Так Катков мог предотвратить те процессы, которые произойдут в Прибалтике спустя 125 лет после его смерти…

* * *

Главным доводом в защите особого статуса Остзейского края со стороны немецкого меньшинства были ссылки на те льготы, которые Петр Великий изложил в особых «капитуляциях» (договорных статьях), «аккордных статьях» и жалованных грамотах [5, 1869, № 141]. Но Катков, хорошо разбиравшийся и в истории, и в юриспруденции, логично ответил: «…что же касается Лифляндии и Эстляндии, то Петр Великий, присоединяя их к своему государству, находился в особых условиях, которые достаточно объясняют смысл его капитуляций и жалованных грамот. Он не мог сказать, что сказала Екатерина по присоединении Курляндии: “Каждое состояние вышеозначенных областей имеет пользоваться всеми правами, вольностями и выгодами, которыми пользуются древние подданные российские”. Никакими правами древние российские подданные при Петре Великом не пользовались. При Екатерине уже организовались общественные состояния; русское дворянство имело уже свою грамоту. Ничего этого не было при Петре Великом. Русское государство переживало при нем самый страшный кризис, какой только может запомнить всемирная история и какой немногие народы в состоянии пережить. Все ломалось и рушилось, все было расплавлено, все было в хаосе; все общественные Силы были взяты в тягло, и весь народ был на время конфискован. Петру Великому не оставалось ничего, как подтвердить en bloc порядок вещей, который был найден им в завоеванных им провинциях. Понятия лучшего гражданского быта, соответствующего требованиям нынешней цивилизации, еще не были выработаны тогда и в самых передовых странах Европы, и остатки древних феодальных отношений еще повсюду держались рядом с зачинавшимися формами нового государственного быта. Петру Великому некогда было преобразовывать, особо от России, быт новых провинций. Но Петр Великий не капитулировал с какой-либо страной, с каким-либо правительством, с какой-либо нацией. Капитуляции его относились к отдельным городским общинам и местным сословиям и не составляют общего акта, на который могли бы опираться какие-либо национальные притязания. Петр Великий не имел

перед собой балтийского государства или лифляндской нации; он и относился к городу Риге, городу Ревелю, городу Пернову, к рыцарству эстляндскому, к рыцарству лифляндскому и обещал утвердить за каждой корпорацией привилегии, которыми каждая особо пользовалась» [5, 1869, № 141].

Полемика с юридическими обоснованиями остзейской «особенности» продолжалась и далее. В 1870 году М.Н. Катков бился на страницах «Московских ведомостей» с остзейским глашатаем Ширреном. Катков писал: «Говоря империя (Reich), он извещает слова государство. Балтийская политика выработала теперь, применительно к обстоятельствам, особую политическую терминологию. Балтийская политика согласна называть Россию Reich и допустить для нее Reichseinheit; но она не хочет знать Россию как государство, и не допускает для ней государственного единства. Reich может служить собирательным именем для совокупности многих государств, случайно связанных между собой, как например была Ассирийская или Вавилонская монархии, как монгольская орда на Волге, как нынешняя Турция, как нынешняя Австрия, которая не имеет внутренней основы для своего бытия, и может быть ежеминутно стерта с европейской карты. Иное дело Staat: это есть индивидуальность, которую приобретает народ тяжким и долгим трудом исторического развития, это есть цельное, живое, органическое единение. Видеть в России только Reich, и не признавать ее как Staat, это есть не что иное, как возвращение к тому учению, которое некогда излагал наш почтенный друг Шедо-Феротти, предлагавший России улетучиться в человечество и стать кучею многих государств, над чем он, по всей вероятности, сам теперь смеется, сожалея, что его способное перо было употреблено на столь недостойную мистификацию» [5, 1870, № 141].

Катков, проповедуя полное правовое слияние Прибалтийских губерний, при этом вовсе не выступал за слияние всех народностей России во что-то единое. В статье, посвященной посещению Риги императором Александром II, он отмечал: «Между гражданами великого государства, между бесчисленными членами великой нации, живущей историческою жизнью, не может быть полного единства племени, обычая, верований; между ними возможно всякое разнообразие, возможен даже антагонизм; но государство, к которому они принадлежат, должно быть едино и национальность государства должна быть общим достоянием всех его подданных» [5, 1867, № 143].

Именно в этом духе осуществлялась правительственная политика относительно Прибалтики. В этом очень велика заслуга Каткова, который в определенной степени направлял действия властей Российской империи при решении ряда острых вопросов.

* * *

Нельзя сказать, что идея «воссоединения» с Германским рейхом овладела широкими массами остзейцев. В основном они оставались лояльными российскому императору. При этом даже самые националистически настроенные остзейцы гораздо больше опасались движения «ненемцев» в своих владениях. Понимая, что сохранить немецкий характер края в условиях, когда самих немцев меньше 10% населения, будет весьма затруднительно, остзейские лидеры приступили к германизации эстонцев и латышей. Это было чем-то новым в истории края. Вообще то, что латыши и эстонцы вообще не ассимилировались немцами в Средние века, как это произошло с более многочисленными полабскими славянами и пруссами, вероятно, объяснялось именно надменностью местных баронов, которые совсем не стремились распространять свой язык и культуру среди покоренных аборигенов, так как общая культура могла бы уравнять их в правах.

Впрочем, в середине XIX века онемечивание латышей и эстонцев казалось вполне возможным. Количество «стыдливых латышей» и «можжевеловых немцев» из числа эстонцев, перешедших на немецкий язык и относящих себя к немцам, действительно рос-

ло. То, что эстонцы и латыши вообще сохранились как этносы, целиком заслуга российских имперских властей под влиянием борьбы охранителей. И, разумеется, именно по этой причине современные эстонцы и латыши отличаются такой патологической русофобией – такова благодарность маленьких наций.

В 1869 году М.Н. Катков с тревогой отмечал: «Немецко-балтийское общество расширяется с каждым днем, захватывая в свою среду туземные, не немецкие населения. Этому способствует распространяющееся в массах образование, которое своим органом имеет исключительно немецкий язык. Рыцари сами, побуждаемые материальными выгодами, отказались в последнее время от запрета, который лежал на рыцарских имениях. Всякий бюргер может стать теперь владельцем всякого рыцарского имения. Для учившегося и, стало быть, онемеченного латыша или эстонца раскрывается привилегированный круг немецкой национальности, и он становится своим братом. Рыцарство, мы видим, находит себя вынужденным кокетничать даже с эстонскими эстами и пускает в ход сочиненную в Германии и обнародованную г-ном фон Бокком программу об установлении солидарности между господствующим немецким элементом и туземными племенами для борьбы против общего врага – русского народа. Наконец должна наступить минута, когда в крае водворится новый суд, и как бы рыцарство ни старалось испортить его и приспособить к своим надобностям, все-таки судебная реформа должна могущественно способствовать водворению гражданственности и уравнению состояний перед законом… обособление Балтийского края на основании чужой национальности ведет прямо, и притом быстро, к ослаблению, порче и, наконец, к разрыву уз, соединяющих этот край с Русским Престолом. Германизация Балтийского края делает несомненные успехи, и рыцарство помогает этому результату всей силой своего привилегированного положения. Это факт, который отрицать невозможно. Некогда балтийское рыцарство не допускало и мысли о германизации латышей и эстов. Теперь это ставят в упрек ему, и нынешние балтийские рыцари призываются к уплате фальшивого векселя, писанного на их предков, в ущерб долгу действительному и священному для них, по собственному их показанию. Германизация края поставлена главной задачей для привилегированных балтийских сословий. Реформы, которые ожидаются и которые стали неизбежны, должны окончательно и решительно запечатлеть это дело. Балтийский край должен стать в полной мере Германией, и сословные привилегии, на которых основалась его особенность в связи с Россией, должны стать силой его государственного обособления» [5, 1869, № 147].

Прибалтийский край отличался высоким уровнем образования населения. Но просвещение в крае носило своеобразный характер. Как отмечал Катков: «Из 400 000 рублей (ежегодно расхода казны для балтийских школ) выдается едва 5000 на учебные заведения, где преподавание производится на русском языке, а на латышско-русские и эстонско-русские – ничего; остальные же 395 000 идут в самом точном смысле слова на немецкие учебные заведения, и в этих учебных заведениях русский язык считается мертвым языком, что г. Егор Фон-Сиверс так бесцеремонно высказывает в своей известной брошюре» [5, 1867, № 97].

Вывод, который следовал из этих статей (да и других статей Каткова, посвященных остзейскому вопросу), был прост – необходимо развивать культуру местного коренного населения для противодействия германизации.

* * *

Обеспокоенные малочисленностью немецкого населения в крае, которое к тому же сокращалось, остзейские деятели планировали осуществить незаметную со стороны мягкую этническую чистку края. В 1860-х годах эстонцы и латыши начали в большом ко-

личестве переселяться в глубь России. При этом остзейскими лидерами предполагалось замещение их немецкими переселенцами [5, 1867, № 43А].

Этот проект провалился, но острота остзейского вопроса не уменьшилась. В Петербурге, наконец, обратили внимание на коренных жителей края. Впрочем, развивать их культуру в то время было весьма сложно. К середине XIX века ни латыши, ни эстонцы не отличались национальным самосознанием. Они не имели даже имени своего этноса.

Например, в это время эстонцы называли себя «maarahvas», то есть «крестьяне», «деревенский народ». Финны и сейчас называют Эстонию – «Viro», а эстонцев – «virolainen». Это связано с тем, что ввиду отсутствия общего названия финны называли всю территорию по названию наиболее близко к ним расположенного района, то есть по-эстонски “Viru”. Отсутствие самоназвания говорит о неразвитости самосознания и неспособности мыслить себя единым народом и тем более об отсутствии потребности к формированию национального государства. И только в 1857 году учредитель первой газеты на эстонском языке “Perno Postimees” Йоханн Вольдемар Яннсен (1819–1890) вместо прежнего названия «maarahvas» ввел новое название – «эстонцы».

Хотя у обоих коренных прибалтийских народов примерно с XVI–XVII веков существовала письменность и выпускались отдельные литературные произведения с использованием латинского, польского и готического шрифтов и немецкой орфографии, но на деле литературных норм еще не существовало. Первая газета на эстонском языке издавалась пастором Отто Мазингом еще в 1821–1823 годах, но вообще только в 1843 году пастор Эдуард Аренс составил грамматику эстонского языка (до этого для немногих произведений на эстонском использовали орфографию на основе немецкого стандартного правописания).

Арнольд Спеке, автор «Истории Латвии», изданной первоначальной в 1948 году в Стокгольме, писал, что «народное образование оставляло желать лучшего. Улучшения начались с 1832 года, когда опубликован закон о евангелических приходах. В 1840 ландтагах создали центральное школьное управление, которое с некоторыми изменениями сохранилось в 1849 и 1860. В Курземе такое управление появилось только в 1875 г.» [11, с. 255–256]. К сожалению, других сведений об организации и распространении образования коренного населения в этой книге не приводится.

Только в 60–70-х годах XIX века латышский просветитель Атис Кронвалд создал такие новые для латышей слова, как: tevija (Родина), vesture (история), vestule (письмо), dzeja (поэзия), и др. Первый учебник латышского языка вышел в Риге на русском языке в 1868 году! Но быстрота распространения грамотности среди латышей не может не впечатлить. В 1878 году тираж латышских газет составлял 40 тысяч экземпляров (в то время, как «Московские ведомости» имели 12 тысяч подписчиков, а самая массовая газета на русском языке «Голос» – 17 тысяч). Таким образом, угроза германизации была устранена.

И основная заслуга в этом властей Российской империи, которые были «направлены» в своей деятельности охранительной прессой.

* * *

Официальный Петербург долгое время не обращал внимания на остзейскую проблему. Более того, влияние «немецкой партии» в столице объяснялось не только подкупами. Генерал-губернатор Прибалтийского края А.А. Суворов откровенно заявлял, что незачем распространять в крае православие, русскую народность и общеимперские законы, если остзейцы верны государю. Впрочем, это были не его взгляды (у него вряд ли вообще были какие-либо взгляды), а распространенная точка зрения остзейцев.

Многие русские по крови влиятельные сановники были фактически подкуплены остзейцами. Так, многолетний министр внутренних дел П.А. Валуев владел имением

в Курляндии, П.А. Шувалов сам числился в «матрикулах» (списке потомственных помещиков благородного происхождения) как остзейский дворянин. В результате оба эти выдающихся деятеля эпохи Великих реформ в остзейском вопросе занимали вполне пронемецкие позиции.

Усилия охранителей постепенно стали приносить плоды. Несмотря на сопротивление остзейцев, которых поддерживал влиятельный П.А. Шувалов, правительство империи наконец начало политику окончательной инкорпорации Остзейского края в состав империи, ликвидируя его особенности.

В 1877 году в прибалтийских губерниях начала действовать городская реформа, вводилось общероссийское «Городовое положение» 1870 года, упразднялся сословный магистрат в городах с доминированием немцев в городском самоуправлении. Это приводило к изменению выборов в органы городского самоуправления, основанному на имущественном цензе, что дало возможность и «ненемцам» участвовать в выборах. После воцарения Александра III преобразования в Прибалтике пошли быстрее и масштабнее. Император первым из российских монархов при вступлении на трон демонстративно не подтвердил привилегии прибалтийской знати, являвшиеся основой местной автономии.

В 1888 году с общероссийским было уравнено полицейское устройство: старые сословные немецкие полицейские учреждения заменились государственными учреждениями. В 1889 году была введена российская судебная система, ликвидированы сословные суды, начал действовать принцип правового равенства граждан; судебные процессы стали открытыми, была создана адвокатура (однако институт присяжных заседателей здесь так и не был введен). Была введена должность комиссара по крестьянским делам для контроля за крестьянским самоуправлением указом о новых крестьянских учреждениях. В результате административной реформы для лучшего управления мелкие мызные волости были преобразованы в более крупные. Сложившееся административное устройство сохранялось в общих чертах до падения Российской империи в 1917 году.

Преподавание на русском языке в народных школах начали вводить с 1885 года, а с 1890-го и в Дерптском университете. В 1893 году сам город Дерпт переименован в Юрьев. Тогда же город Динабург был переименован в Двинск. Рижский политехникум, основанный в 1862 году, стал одним из крупнейших в Европе технических учебных заведений, настоящей кузницей инженерных и научных кадров.

Все эта политика получила название русификации. Но под этим подразумевалось именно окончательное слияние окраин с собственно российскими губерниями в правовом плане, в уравнении правах туземного и немецкого населения края, а вовсе не с превращением их жителей в русских. Иначе никак не объяснить стремление имперских властей к развитию местных языков. «Русификация» прибалтов была призвана предотвратить превращение их в немцев, а не сделать их русскими. Результаты русификации Прибалтийского края выглядели неплохо: казавшаяся неизбежной германизация эстонцев и латышей не состоялась. Напротив, они почувствовали себя хоть и маленькими, но нациями. Создание в Петербурге при благожелательной поддержке русских консервативных деятелей литературных норм для местных языков позволило развивать литературу и многие виды искусства коренным национальностям. 60–80-е годы XIX века прибалтийские народы называют эпохой национального «пробуждения». Но, разумеется, «пробудились» эти народы не вдруг, а потому, что российские политики охранительного направления сочли нужным поддержать местных в борьбе за свои права и за уравнение их со всем населением империи в противовес германскому влиянию.

Результаты обрусительной политики ознаменовались быстрым развитием культуры местного населения. Так, уже в 1897 году, согласно Всероссийской переписи населения,

грамотность среди латышей составляла 79,9%. Эти цифры особенно впечатляют, если учесть, что первая газета на латышском языке появилась в 1856 году, а более или менее массовая латышская пресса появилась именно в годы русификации.

Аналогичные процессы характерны были для эстонцев. В 1872 году появилось Общество эстонских литераторов. Созданное в 1865 году певческо-театральное общество "Vanemuine" положило основу эстонскому национальному театру (первое театральное представление состоялось в 1870 году) и в 1869 году по примеру остзейских немецких певческих праздников провело первый Всеэстонский певческий праздник, в котором приняли участие 1000 певцов и музыкантов и 12 тысяч зрителей. Количество грамотных среди эстонцев составляло к концу XIX века 80%.

Все это, разумеется, в современной Прибалтике именуется «национальным угнетением»!

Прибалтика благодаря географическому положению и политике имперских властей переживала бурный экономический подъем, продолжавшийся полвека, вплоть до 1914 года, за которым последовали войны, революции и развал так называемой независимости. В 1861 году была открыта Риго-Динабургская железная дорога, в 1868 году – линия Рига – Митава. За кратчайшее время прибалтийская железнодорожная сеть буквально опутала регион, соединив его с общероссийской железной дорогой. Рижский морской торговый порт был обустроен по последнему слову техники того времени. В конце XIX века в Риге уже существовало более 400 промышленных предприятий. Самыми крупными были: «Унион» (впоследствии легендарный ВЭФ), выпускавший электродвигатели и электроприборы, «Проводник» – резиновое и телеграфное производство, «Русско-балтийский вагонный завод», вагоностроительный завод «Феникс», знаменитая фарфоро-фаянсовая фабрика Кузнецова. Около 90% продукции рижского машиностроения вывозилось в центральные районы России. Рижский промышленный регион стал третьим по объему производства в стране – после С.-Петербургского и Московского. Сама же Рига была шестым по численности населения городом Империи – после С.-Петербурга, Москвы, Варшавы, Одессы, Лодзи.

Первый в Российской империи автомобиль, первый аэроплан, первая боевая гусеничная машина были созданы именно здесь, в Риге, на Русско-балтийском заводе. На рижском заводе «Феникс» изготовляли трамваи, первые авиационные моторы России делали на фабрике общества «Мотор», а шины – на заводе «Проводник». В Риге же был построен первый в мире авиационный ангар.

Аналогичный подъем охватил и Эстляндскую губернию. В Ревеле и Нарве за четыре десятилетия возникли многие промышленные предприятия мирового уровня. Никогда в истории Прибалтика не значила так много в области экономики, политики и культуры.

Что касается охранителей, то можно констатировать, что в своей прибалтийской политике они оказались победителями. Другой вопрос, надо ли было поддерживать движение только формирующихся маленьких наций в противовес лояльным остзейцам. Но, впрочем, сослагательного наклонения история не знает.

Литература

1. *Аксаков И.С.* Прибалтийский вопрос / И.С. Аксаков // Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1887.
2. *Аксаков И.С.* По поводу «Окраин» Ю.Ф. Самарина / И.С. Аксаков // Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002.
3. *Духанов М.М.* Остзейцы: Политика остзейского дворянства в 50–70-ые годы XIX века и критика ее апологетической историографии. 2-е изд., перераб. Рига, 1978.
4. *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. М., 1980.
5. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей»: в 25 т. М., 1897.
6. *Кениньш И.* История Латвии: Учебник. Рига, 1990.

7. *Корф С.А.* Дворянство и его сословное управление за столетие 1762–1855 годов. СПб., 1906.
8. *Нольде Б.Э.* Юрий Самарин и его время. Paris: Soc. anonyme Impr. de Navarre, 1926.
9. *Bergengruen W.* Schnaps und Sakuska. Baltisches Lesebuch. Hrsg. N. Luise Hackelsberger. München, 1992.
10. *Lieven D.C.B.* Russia's rulers under the old regime. New Haven; London, 1990.
11. *Spekke A.* Latvijas vesture. Rīgā, 1948, 2003.

Аннотация. Присоединенные к России в XVIII веке три прибалтийские губернии – Эстляндская, Курляндская и Лифляндская именовались Остзейским краем и сохранили многие особенности местного управления – так называемый особый остзейский порядок. Ранее в XIII веке край был завоеван Тевтонским орденом, а общество, возникшее в Ливонии и просуществовавшее с некоторыми изменениями до второй половины XIX века, было следствием завоевания и колонизации. В крае существовал особый свод законов (остзейское право).

В 60–70-х годах XIX века в Германии целый ряд эмигрировавших на «историческую Родину» остзейцев активно пропагандировали идею «воссоединения» рейха с балтийскими провинциями России. Михаил Никифорович Катков сразу увидел в остзейских книгах и статьях реальную угрозу территориальной целостности России. Это было очень смелым поступком, учитывая влияние остзейцев при дворе и то, что официальный Петербург долгое время не обращал внимания на остзейскую проблему.

М.Н. Катков писал, что «люди немецкого происхождения испокон века приходили в Россию, селились в ней, делались ее гражданами, не помышляя создать в ней особую нацию», имея в виду под нацией отдельное политическое целое. То, что эстонцы и латыши вообще сохранились как этносы, целиком заслуга российских имперских властей под влиянием борьбы охранителей.

Из статей Каткова, посвященных остзейскому вопросу, можно сделать вывод: необходимо развивать культуру местного коренного населения для противодействия германизации.

Ключевые слова: Остзейский край, Ливония, Эстляндия, Лифляндия, Курляндия, остзейцы, консерваторы, И.С. Аксаков, М.Н. Катков.

Galina Nikolaevna Lebedeva, PhD in Philosophy, Associate Professor, Chair of Philosophy, Philosophy Department, Pushkin Leningrad State University. E-mail: gal_le@list.ru; g.lebedeva@lengu.ru

Baltic (Ostsee) Problem in M.N. Katkov's Publications

Abstract. Three Baltic provinces integrated into the Russian Empire in the 18th century - the Governorate of Estonia, the Duchy of Courland and the Governorate of Livonia, - were called the Ostsee (Baltic) territory and retained many specific features of local administration, - the so-called Ostseen order. In the 13th century this territory was conquered by the Teutonic Order and the society that appeared in the Governorate of Livonia and existed with certain changes until the second half of the 19th century, was the result of that conquest and colonization. A special code of laws existed in that territory (Ostsee Law).

In the 60-iews and 70-ies of the 19th century some Baltic Germans that had emigrated to their "historic Motherland" were actively supporting the idea of the reunion of Russian Baltic provinces with "the Reich". Mikhaill Katkov immediately recognized the risk to Russian territorial integrity in the books and articles of the Baltic authors. That was a real act of bravery as the influence of the Baltic Germans was very strong at the Russian court and the officials in St. Petersburg ignored the problem of Baltic provinces for a long time.

M.N. Katkov wrote that "the people of German origin came to Russia since the beginning of time, settled here, became its citizens and never thought about creating some separate nation within Russia", where nation was understood as a separate political unit. The fact that Latvians and Estonians managed to be preserved as ethnos was totally due to the policy of Russian imperial administration and the influence of conservators struggle.

It is possible to draw the following conclusion on the basis of Katkov's articles devoted to the Baltic problem: it's necessary to develop the culture of the local indigenous population to be able to resist Germanization.

Keywords: Baltic (Ostsee) Territory, Livonia, the Governorate of Estonia, the Governorate of Livonia, the Duchy of Courland, Baltic Germans, Conservatives, I.S. Aksakov, M.N. Katkov.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-287-298

Галина Лебедева

«Исповедь русского народа» и несостоявшийся политический панславизм во второй половине XIX века

Издания М.Н. Каткова о Славянском съезде 1867 года

Катков и его роль в жизни пореформенной России

Михаил Никифорович Катков (1818–1887) был одним из тех отечественных журналистов, которые формировали общественное мнение и активно влияли на политику Российской Империи. С 1856 года он издавал журнал «Русский вестник», с 1863-го – газету «Московские ведомости» и воскресную газету «Современная летопись “Русского вестника”. Воскресное прибавление» (далее – СЛРВ) с 1861 по 1871 год. Его издания читала вся Россия – от императора до мещан и грамотных крестьян. При жизни многочисленные поклонники Каткова называли его «львояростным кормчим государственного корабля», «вождем охранительной России», «борцом за русскую правду», «государственным деятелем без государственной должности», «столпом русского самосознания», «громовержцем Страстного бульвара». Выдающийся философ Константин Леонтьев предлагал поставить на Страстном бульваре, где располагалась редакция катковских изданий, памятник Каткову при жизни. При этом Леонтьев хотел, чтобы памятник журналисту стоял рядом с памятником Пушкину. Не менее многочисленные противники великого журналиста именовали его «будочником русской прессы», «реакционером», «жрецом мракобесия» и другими подобными бранными прозвищами.

Нельзя не упомянуть о гигантском вкладе Михаила Никифоровича в русскую литературу. На страницах его изданий печатались: И.С. Тургенев («Накануне», «Отцы и дети», «Дым»), Л.Н. Толстой («Казаки», «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Анна Каренина»), Н.С. Лесков («Запечатленный ангел», «Соборяне», «Захудалый род»), М.Е. Салтыков-Щедрин («Губернские очерки»), К.Н. Леонтьев (практически все его художественные произведения), Ф.М. Достоевский (все произведения 1860–1880-х годов, кроме «Подростка»), помещались произведения Аксаковых, И.А. Гончарова, К.Д. Кавелина, И.И. Лажечникова, А.Ф. Писемского, С.М. Соловьева, А.Н. Майкова, В.С. Соловьева, А.А. Фета, и многих других. Многие из русских классиков именно в изданиях М.Н. Каткова и дебютировали как писатели. Это относится и ко Льву Толстому, и к Н.С. Лескову, да и к большинству авторов.

По своим взглядам Катков был тем, кого в наше время называют государственниками. Журнал М.Н. Каткова «Русский вестник» всецело поддерживал и внешнюю, и внутреннюю политику русского правительства. Но если панслависты обоих направлений, поддерживая лозунг единства правительства и народа, руководствовались главным образом собственными планами, стремлением поставить силы государства на службу панславистским стремлениям, «Русский вестник», наоборот, признавал «первенство правительства над обществом» [10, с. 196]. Это обстоятельство отнюдь не делало Каткова проправительственным агитатором.

Лебедева Галина Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии факультета философии, культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. E-mail: gal_le@list.ru

Катков занимал совершенно самостоятельную позицию, выступая как против нигилистов и либеральных оппозиционеров, так и критикуя правительство через свою печать за бездеятельность, став как бы духовным лидером национально-государственной партии, обычно называемой консервативной или охранительной. Стоя на страже интересов верховной власти, М.Н. Катков постоянно вступал в конфликт с теми влиятельными министрами и сановниками, которые, по его мнению, действовали в ущерб интересам России и ее политического строя. В этой борьбе с впадавшими в либерализм министрами Катков видел свой долг верноподданного: «При всем уважении, которое подобает правительственным лицам, мы не можем считать себя их верноподданными и не обязаны сообразовываться с личными взглядами и интересами того или другого из них. Над правительственными и неправительственными деятелями, равно для всех обязательное, возвышается Верховная власть: в ней состоит сущность правительства, с нею связывает нас присяга; ее интересы суть интересы всего народа» [5, с. 3–4].

Позднее, учитывая роль Каткова в правительственном курсе, особенно в период начала правления Александра III, немногочисленные биографы великого журналиста писали о том, что в молодые годы Катков был либералом, а потом почему-то перешел в «лагерь реакции». Но Катков как раз был тем редким русским интеллигентом, который никогда не менял вех и не сжигал то, чему поклонялся и не поклонялся тому, что сжигал. Реформы, укрепляющие страну и ее политический строй, он поддерживал, но изменения, которые грозили России смутой, он осуждал. Идее славянского единства Катков был верен всю жизнь. На закате своей жизни, в 1887 году, он писал: «Панславизм в России не есть программа какой-либо партии, а политическая исповедь русского народа» [6, 1887, № 260].

И все же вплоть до 1970-х годов сохранились стереотипы, что Катков был проправительственным журналистом. Так, в книге зарубежного либерального историка М.Т. Флоринского «Россия: История и интерпретация», вышедшей в США в 1970 году и переведенной в России в 2013-м, отмечаются различия во взглядах панславистов. М.Т. Флоринский писал, что «широкого подхода панславянской политической программы время от времени поддерживались российские ультраконсерваторы, например, влиятельный реакционер-публицист М.Н. Катков, который не очень заботился об идеологических и исторических атрибутах панславизма» [14, с. 282]. Такое утверждение верно частично, только в силу того, что, симпатизируя славянам и славянскому движению, Катков все же считал, что слишком пристальное внимание к славянскому вопросу только провоцирует конфликты России с другими державами и отвлекает средства от решения острейших внутрироссийских проблем.

Тенденциозное отношение к консерватизму и катковскому наследию сохранилось и поныне. На заседании круглого стола «Философия и идеология: иллюзия деидеологизации», состоявшегося в марте 2018 года, А.А. Кара-Мурза доказывал, что идеология, выражая сгустки массового сознания, способна развенчивать смыслы и превращаться в репрессивную. Так получилось, когда «либерально оппозиционную идеологию времен И.С. Аксакова, А.С. Хомякова узурпировали люди, которые использовали превращенную форму славянофильства как идеологическую дубину (М.Н. Катков, в еще большей степени К.П. Победоносцев)» [13, с. 210]. Это лишний раз подтверждает неприятие Каткова и его наследия оппонентами из либерального лагеря.

Положение Каткова как деятеля оппозиции (пусть даже и оппозиции его величества) приводило к тому, что ни один редактор тогдашней российской прессы не имел столько столкновений с цензурой. За публикации, связанные со славянским вопросом, тоже были нарекания. Так, Катков получил предупреждение со стороны министра народного просвещения за статью болгарского общественного деятеля Х. Даскалова «Турецкие дела», в ко-

торой содержались рассуждения о положении греческой церкви в Болгарии [8, с. 275–316]. После цензурного предупреждения за публикацию очерка Л. Каравелова «Неда. Рассказ моей бабушки» в письме в цензурный комитет от 29 июля 1858 года Катков объяснял необходимость формирования сочувственного отношения к славянскому народу: «…тех самых болгар, от которых наше отечество получило церковную речь свою – первое орудие своего духовного просвещения и основной компонент своего светского образования» [11, с. 88].

Катков и зарубежные славяне

Славянская тема всегда присутствовала на страницах изданий Каткова. Еще в первых выпусках «Русского вестника» начиная с 1856 года Катков проявлял внимание и к братским славянским народам[1]. Славянский съезд 1867 года, естественно, не остался незамеченным Катковым. В «Русском вестнике» тему славян освещали: историки Н.А. Попов, А.Н. Пыпин, П.К. Щебальский, публицист Е.М. Феоктистов, дипломат и философ К.Н. Леонтьев.

Но в отличие от восторженного для славянофилов и казенного воодушевления официальной прессы, катковские издания сохраняли объективность. Этому сопутствовали два фактора. Как раз в апреле-мае 1867 года, когда и проходил Славянский съезд, главный орган славянофилов, издаваемая Иваном Аксаковым газета «Москва», которая могла бы подробно освещать съезд, была временно приостановлена цензурой [3] и начала заново выходить только в июле, получив повторное цензурное предупреждение [4, 1867, № 151]. В силу этого Аксаков писал о съезде уже постфактум. К тому же большинство славянских гостей на своей Родине были политическими оппозиционерами. Хронику пребывания славян в России описывали официальные «С.-Петербургские ведомости», «Голос», «Северная почта». Не случайно поэтому «Московские ведомости», публикуя материалы собственных корреспондентов, перепечатывали и хронику пребывания славянских гостей из этих изданий. Резко против Славянского съезда выступили крепостническая «Весть» и официозный «St.-Peterburger Zeitung». Но все же газета Каткова «Московские ведомости», принадлежавшая Московскому университету, в силу своего положения, должна была освещать официальную хронику и текущие события.

Говоря о позиции Каткова и «охранителей», необходимо вспомнить время проведения съезда. Восстание на Крите, начавшееся в 1866 году (подавленное турками три года спустя), вызвало активность среди народов Балкан и оживление движения против Османской империи. Вооруженные «четы» формировались в Болгарии, Фессалии, Эпире, Македонии и других землях. В 1866 году на съезде в Нови-Саде была создана организация «Омладина», стремящаяся создать Великую Сербию. Правительство России к такой активности первоначально относилось очень настороженно. Как писал Д.А. Милютин, «наше министерство иностранных дел постоянно стремилось успокаивать и охлаждать незаконные увлечения наших единоверцев и, несмотря на это, славянское население Оттоманской империи не переставало рассчитывать на помощь России» [9, с. 84, 90].

[1] Например, «Новости польской литературы П.И. Дубровского» в № 6 РВ за 1856 год. В СЛРВ была издана заметка писательницы Натальи Васильевны Погожевой «Славянская колония в Неаполитанском королевстве» (1857, т. 10, с. 59–65). В т. 19, 1859 года – «Майор. Малороссийская повесть» П.А. Кулиша. В апрельском выпуске 1860 года (т. 26) – «Сербская песня» в переводе А.Н. Майкова; Работа А.С. Троянского «Карл Гавличек-Боровский» (1861, июль, т. 34), его же «Чешская деревня – село Гудлицы» (1861–1862); «Заметки из путешествия по Далмации и Черногории (1863). В № 13 за 1867 год СЛРВ – очерк «Русские в Галиции» – без автора. В январском выпуске 1865 года – очерк Н.А. Попова «Сербы в Австрии»; А.Н. Пыпин «Два месяца в Праге»; Е.М. Феоктистов «Россия и Сербия перед последней восточной войной» (1869); К.Н. Леонтьев; Н.Ф. Дубровин «Сербский вопрос в царствование императора Александра I» (1863). Биография Ф. Палацкого в СЛРВ за 1865 год (№ 30, 33).

Канцлер Горчаков в письмах писал еще более настороженно, что восточный вопрос – основная задача русской политики, но необходимо пока «поддерживать статус-кво на востоке, т.к. в этот момент оно может быть нарушено лишь в ущерб нам, ибо мы не в состоянии еще извлечь из этого нарушения выгоды, на которые имеем право» [9, с. 90]. Но, несмотря на все пожелания российского правительства, на Балканах развернулся национальный подъем славянских и христианских народов. Уже в скором времени насилие, терроризм и повстанческая деятельность стали частью образа жизни на Балканах.

В 1866 году Австрия перестала быть соперницей в деле объединения Германии. Канцлер О. Бисмарк в этот период особое внимание уделял Балканам, активно вмешиваясь во внутренние дела Сербии, Румынии, таким образом стремясь осложнить положение Австрии. Через своих генералов Бисмарк обратился с призывом к венгерскому и чешскому народам восстать против Габсбургов и даже одобрил создание «национально-венгерского легиона», рассчитывая побудить Сербию к вооруженному выступлению против Австрии. Через подставных лиц было даже предложено князю Михаилу Обреновичу организовать добровольческие партизанские отряды, которые в соответствующий момент должны были бы вторгнуться в Австрию. В качестве уступки Обреновичу было дано обещание, что на мирном конгрессе Пруссия возьмет дело Сербии в свои руки [2, с. 40–41]. Однако этим планам не удалось реализоваться. Обренович не пошел на такое соглашение.

Все же 1867 год был для славян временем надежд. Сербский премьер И. Гарашанин стремился установить тесные связи между христианскими народами Балкан, включая Румынию. Михаил Обренович в апреле 1867 года лично прибыл в Бухарест с предложением заключить союз. Но румынский король Карл Гогенцоллерн отверг это предложение о союзе [2, с. 127]. В Белграде прошли празднества в напоминание о сербском восстании 1815 года [4, 1867, № 22], но в самой Сербии, напоминал Катков, также нет стабильности. Скупщина (сербский парламент) призывает обратиться на Россию. «Святоандрейские либералы, приверженцы британских и швейцарских политических свобод во внешней политике, также, как ни странно, требовали опереться на царскую Россию. Уже тогда сербская интеллигенция научилась отделять свои идеологические предпочтения от реальной, государственной внешней политики» [7, с. 193]. При этом амбициозный сербский князь Михаил Обренович пытался создать антитурецкий военный союз с участием болгарских революционеров, которые начали создавать Болгарский легион. В числе главных организаторов легиона был русский офицер болгарского происхождения Константин Кесяков.

Обращался сербский князь также и к прессе: Обренович пытался «использовать болгарскую газету Г.С. Раковского “Дунайский лебедь” для утверждения первенствующей роли Сербии среди славянских народов Балканского полуострова. Эта газета рассматривалась как важный неофициальный канал, по которому информация о политике Сербии становилась бы известной далеко за ее пределами». О восстании в Болгарии Катков писал: «Движение болгарского воскресающего народа распространяется во все концы Балканского полуострова, прикасаясь с одной стороны к провинциям, действующим под знаменем Греции, а с другой к Дунайским и Сербским княжествам. В Боснии и Герцеговине неминуемо вспыхнет такое же восстание, как в Болгарии. Не случайно турецкое правительство сосредоточило в этих областях до 30 000 войска и переселяет туда черкесов. Турецкие власти не находят средств удержать босняков и герцеговинцев от песен в честь сербского князя, от тостов за его здоровье. Недавно мы были свидетелями, с каким энтузиазмом принят был, особенно сербами княжества, тост в честь князя Михаила на обеде в зале Московского университета. <…> Глядя на воодушевленные, можно сказать, вдохновенные лица наших гостей княжеской Сербии, нам казалось, что они приветствовали не столько настоящее, сколько будущее своего народа». Далее он продолжал, что русская печать и русская публика и в особенности правительство с сочувствием следят за всеми перипетиями, которым суждено дать новый вид всей Юго-

Восточной Европе. «Россия как государство не может принять непосредственное участие в тамошних делах: ее вмешательство вызвало бы европейскую войну и следовательно, не пособило бы, а повредило бы делу. Но она должна знать и знает, что падение этого дела было бы и ее падение, что ее судьбы нераздельны с судьбами православных населений Востока, что их освобождение есть лучшее обеспечение плодотворного развития сил русского народа и лучшее ограждение самостоятельности, величия и славы Русского государства. Она не может и не должна быть равнодушною зрительницей происходящего; она обязана содействовать охватившему Восток Европы движению всеми теми средствами, которые открыты для великого государства без нарушения европейского мира. Благоприятная минута не должна быть упущена и Россией» [4, 1867, № 147].

Для западных славян 1867 год был ознаменован созданием Северогерманского союза – последнего шага перед объединением Германии[1], государственными реформами в монархии Габсбургов. В результате австрийско-венгерского компромиссного соглашения, подписанного в феврале, на свет появилась дуалистическая Австро-Венгрия. Это обстоятельство вызвало к жизни движение австрославизма. Так называлось политическое движение ряда славянских народов Австрийской монархии за реорганизацию империи Габсбургов на федеративных началах при опоре на славянское большинство империи. В концепции австрославизма изначально присутствовал сильный антирусский компонент. Защита Австрии обосновывалась как защита демократии от угрозы поглощения варварским русским царизмом. Согласно австрославистской концепции, только сильная «славянская Австрия» способна спасти западное славянство от крепких объятий «русского медведя» и объединяющейся Германии: «Соединение богемской короны, – писал Палацкий вскоре после Съезда, – с великой Австрийскою державой, если последняя образуется в государство федеративное, послужит лучшим обеспечением для нашей историко-политической и лингвистической индивидуальности» [4, 1867, 4 июля]. Австрослависты считали необходимым превращение дуалистической Австро-Венгрии в триалистическую Австро-Венгро-Славию. Особую популярность идея триализма получила в Чехии, которая считалась королевством под скипетром Габсбургов. Виднейшими австрославистами были чешские деятели, лидеры партии старочехов Ф. Палацкий и Франтишек Л. Ригер, участники съезда 1867 года. В Венгерской части дуалистической монархии австрослависты требовали провести реформы в целях создания национально-культурной автономии славянам и прекращения политики мадьяризации.

Совершенно не одобряя такие мечтания, именно в дни пребывания славян в Москве, Катков писал о невозможности федерации: «Славяне радовались ослаблению Германского значения Австрии, и уже составляли программу ее будущих судеб как державы славянской и ее успехов в разрешении Восточного вопроса. Федерализм, который мелькнул на минуту перед нашими соплеменниками, есть химера; химера также и мысль, что империя Габсбургов может когда-нибудь превратиться в державу славянскую. Говорят, что существование Австрии есть необходимость; говорят, что если б Австрия не имелась на лицо, ее надобно б было выдумать. Федерализм хуже, чем откровенный дуализм фон-Бейста. Этот возбуждает, а тот усыплял, этот вносит правду в положение дел, а тот туманил умы и вносил в них смуту. Г. фон-Бейста следует, нам кажется, внести в список самых ревностных и успешных двигателей славянства» [4, 1867, № 111].

Польский вопрос в славянском движении

«Старый спор славян», то есть русско-польские отношения, с особой силой проявились во время подготовки и проведения съезда. Польские представители дружно бойкотиро-

[1] Устав напечатан в кельнской газете 16 февраля, его обзор – в СЛРВ № 7 от 12 февраля 1867 года, с. 1.

вали съезд, а польские эмигранты в Париже выпустили Манифест против съезда. По поводу этого Катков ответил, что «Россия враждует не с поляками, а с польской идеей». Непосредственно во время съезда, 25 мая (6 июня) в Париже польским эмигрантом Антоном Березовским было совершено покушение на императора Александра II. Новость о покушении на императора Александра II, как отмечал Катков, поразила славянских депутатов: «известие об опасности, которой подвергалась жизнь нашего Государя в Париже, прибыло в Москву посреди ее славянских праздников. Было отслужено благодарственное, с коленопреклонением молебствие, в котором наши славянские гости принимали усердное участие. Все смолкло пред этою потрясающею вестью; все были полны одною мыслью, одушевлены одним чувством. Никаких иных речей не слушали, ни на какой иной тост не было отзыва... Когда один из славянских гостей, выражая чувство, возбужденное внезапною вестью, сказал взволнованным голосом, что она поражает не только Россию, но и весь славянский міp, гром восклицаний наших соплеменников был ему ответом, но когда он прибавил затем, что негодование, возбужденное покушением на жизнь Императора Александра, и радость о избавлении Его жизни от опасности с особенною силой отзовутся в сербах, то остальные настойчиво прерывали его, восклицая: “Равно во всех славянах, во всем славянском міре”» [4, 1867, № 115].

Далее, в № 143, 150, 151, 152 корреспондент МВ из Парижа освещал процесс Березовского, о результатах которого было такое описание. «Императорским парижским апелляционным судом в качестве палаты предания суду было принято постановление относительно отсылки в ассизный суд [то есть суд присяжных – *Л.Г.*] Антона Березовского, обвиняемого в покушении на убийство Его Величества Императора Всероссийского. Суд собрался 04 июля. Товарищ генерал-прокурора представил требование, подписанное им 2-го июля». Сообщалось, что Березовский сражался в 1863 году в рядах польских мятежников. Тщетно прождав в Галиции приказа снова принять участие в мятеже, он искал убежища сначала в Германии, а потом в Бельгии. В Париж он прибыл только в первых числах ноября 1866 года

Он работал в литейне Гуэн, с платой тридцать сантимов в час; от полицейской префектуры ему назначена была ежемесячная субсидия в тридцать пять франков. Желая обучаться французскому языку, он провел десять месяцев в учебном заведении. С 30 апреля Березовский был совершенно без дела. В итоге «Апелляционный суд приняв в соображение, что <...> обвиняемым покушение, начатое исполнением, не имело успеха вопреки воле виновного, и только вследствие обстоятельств, от него не зависевших... суд приказал, чтобы Березовский был предан суду и отослан в ассизный суд Сенского департамента для произведения над ним приговора» [4, 1867, № 143, 150–152]. Так власти Франции покушение на Императора решили рассматривать не в Императорском суде, а в обычном суде присяжных города Парижа.

Оперативность редакции

Редакция Каткова получала телеграммы из Русского телеграфного агентства, выписывала множество зарубежных газет и журналов, а сами сотрудники могли свободно и достаточно быстро анализировать эти издания, что позволяло знакомить российского читателя со всеми откликами на международные отношения в зарубежной прессе. Вот неполный перечень изданий, со ссылками на которые делался анализ текущих событий: далматинская газета “Narodni Listy”, немецкая газета “Die Zukunft”, издававшаяся сначала в Кенигсберге, а затем в Берлине. Другие издания: “Morning Herald”, “Times”, “Daily News”, “Neue Freie Presse” (Австрия), “Presse” (Вена). Например, была перепечатка из “Allgemeine Zeitung” (от 18 сентября) – о столкновении под Сливеном 1200 турецких редифов (подразделения турецкой армии вспомогательного типа) с болгарским дивизионом, окончившемся

неудачно для турок. Другие издания приводим так, как указано в МВ: «Всеобщий монитер», где была информация о разрешении открыть болгарскую высшую школу в Филипполе, «Пештский Ллойд», “Pesti Naplo” – в № 208 – о переговорах Кошута и Гёргея с русскими военачальниками в 1849 году, газета из Генуи “Movimento”, где было опубликовано письмо Гарибальди, сербская «Световид», венская “Neue Freie Presse”, “Le Nord”, “Journal des Débats”, “Indépendance Belge”, “Liberté”, “Eterdart”, датская “Dagbladet”. В наши дни редко какое интернет-агентство может делать такой обзор зарубежной прессы, причем с такой оперативностью.

Издания М.Н. Каткова о съезде

Накануне съезда Катков стал помещать все больше материалов о славянских делах. В № 7 «Современной летописи» (приложения к «Русскому вестнику») за 12 февраля 1867 года была помещена статья о том, как хорватский кардинал католической церкви и виднейший панславист Йосип Штросмайер, прозванный «отцом Югославии», участвовал в создании Южнославянского университета и о планах создания национальной академии наук и консерватории: «Мысль о создании университета, который был бы средоточием ученого образования была высказана еще в 1790 г. После присоединения Венецианского королевства к Италии потерян был для Австрийской империи университет Падуанский – единственное высшее образовательное заведение для Истрии и Далмации, заселенных почти одними славянами, которые, однако, благодаря ошибкам австрийской политики, в большей или меньшей степени отдалились от славянского характера, мало по малу объитальянились. Если исключить южную часть Тироля, где итальянское население перемешано с немецким и имеет свой университет в Инсбруке, то можно принять за положительно верное, что все остальное население в границах нынешнего Итальянского королевства, говорящее славянским наречием, не имеет своего университета. А потому основать в Загребе университет, с преподаванием на сербско-хорватском языке, значило бы дать высшее учебное заведение всем юго-западным землям Австрийской империи; ибо нельзя желать, чтобы население этих земель получало высшее образование вне империи, в Падуанском или в каком-либо другом итальянском университете. В проекте три факультета: Богословский, юридический (собственно юридических и политических наук); историко-филологический» [12, 1867, № 7, с. 3].

Рекламировалась работа «Задунайские и Адриатические славяне» Викентия Васильевича Макушева (1837–1883), ранее бывшего российским консулом в Дубровнике [4, 1867, № 87; 12, 1867, № 17], изданная объемом более 300 страниц в этом же году в Санкт-Петербурге. Другая работа В. Макушева «Исторические памятники южных славян и соседних им народов, извлеченные их архивов и библиотек», была издана в 1874 году в Варшаве, где Викентий Васильевич был профессором. Большая часть работы написана на латинском языке, что осложняет внимание современных исследователей.

На страницах «Московских ведомостей» освещалась новости: о празднестве в Белграде в воспоминание сербского восстания 1815 года; о заседаниях сеймов Богемии, Моравии и Крайны (1867, № 74, 1 апреля); о выборах в имперскую думу (6 апреля 1867 года). Например, в № 83, писалось о новых гонениях на славянскую печать в Австрии; о том, что в Пражском сейме недовольство связано с назначением в маршалы (председатели) сейма Гартига, не знающего по-чешски, и его наместника, Лимбека, плохо понимающего чешскую речь. Маршал обещал расширение автономии страны, если она вышлет депутатов в имперскую думу. Отмечались и притеснения славян: в № 49 от 3 марта 1867 года помещена перепечатка из хорватской газеты «Позор» от 22 февраля «О насилиях, которым подвергаются сербы в Боснии»: «…в 1865 г. Турция ввела в действие гат-гамаюн [в настоящее вре-

мя прията форма написания «хатт-и-хумайюн» – *Л.Г.*] посредством учреждения вилаэтов (провинций), имевших целью централизацию. Поклонникам Корана неприятно видеть, как неправоверный заседает рядом с ними в межлисах, и как он, рожденный рабом турка, смеет хоть по наружности считать себя равным им». Или в № 72 от 31 марта 1867 года информация из этой же газеты «Позор» о том, что профессор из Цюриха Шерр, автор «Истории всеобщей истории», утверждал, что черногорцы разбойники по рождению и ремеслу.

Накануне съезда в разделе «Хроника» [4, 1867, № 76], а затем и позже, было помещено известие об издании в Вене русской газеты «Славянская заря», которая должны выходить с 1 мая. Редакторы Иосиф Ливчак и Ксенофонт Климкович описали программу своего издания, заканчивавшуюся словами: «…западное славянство должно образовать свой особый политический центр, создать свою особую централизующую государственность, и тогда оно, будучи солидарно в своих интересах, с интересами единоплеменной России, необходимо станет к ней в дружественные отношения. <…> Итак, мы желали бы видеть в Европе два великие славянские государства с одним русским языком – в вечном естественном союзе между собою, основанном на общенародном славянском сознании и на проистекающей отсюда солидарности общеславянских интересов» [4, 1867, № 76, с. 170, 188].

Несмотря на публикацию такой рекламы, издания Каткова не могли поддерживать и последовательно проводить идею создания независимого славянского государства в Европе. Сам Катков в этот год в своих статьях настойчиво отказывался от любого активного правительственного вмешательства в славянский вопрос. В статье «В чем состоит национальная политика России и какого отношения она требует к славянам» он писал: «Священный союз держал Россию в сфере совершено чуждых ей интересов, разобщал ее правительство с ее страной. Русский народ ничего бы не выиграл от того, если бы какими-нибудь судьбами вошли в его государство те славянские народности, которые изнывают теперь под османским владычеством или метутся в разлагающейся Австрии… Несравненно выгоднее России находиться в кругу дружелюбных ей независимых политических существований» [4, 1867, № 105].

Все же съезду в изданиях М.Н. Каткова предшествовала определенная идеологическая подготовка в целях пробуждения в русском обществе интереса к своим соплеменникам. Более чем за месяц до начала съезда устраивались публичные лекции: 4 апреля 1867 года М.П. Погодин прочел лекцию «О славянских племенах»; 6 апреля 1867 года были публичные лекции от Общества любителей естествознания А.П. Богданова «О значении краниологии»; П.К. Щебальского «Потемкин и заселение Новороссийского края». Описывалось (МВ, № 71, 1867), что Русское историческое общество образовано в Санкт-Петербурге в конце 1866 года с целью издания материалов, касающихся истории, преимущественно послепетровского периода, а Наследник Цесаревич принял звание почетного председателя, а его высочество князь Владимир Александрович – звание почетного члена Исторического общества.

Проводились заседания научных обществ: Русского исторического общества, хроника его заседания в № 72, от 28 февраля 1867 года. Первое заседание происходило в помещении вице-канцлера А.М. Горчакова, принимавшего участие в качестве высшего начальника государственного архива. Наследник принял звание почетного председателя этого общества и произнес речь. Была информация о деятельности чешских композиторов А. Дворжака и Б. Сметаны в создании Московской консерватории и Э.Ф. Направника в создании дирижерской школы в Мариинской театре [4, 1867, № 30], о преобразовании Академии наук [4, 1867, № 54], заседании Общества любителей естествознания и Общества любителей российской словесности [4, 1867, № 79]. Публиковалась информация о пожертвованиях, поступающих в редакцию в пользу русских в Галиции [4, 1867, № 80].

Английский историк Д. Бредли, анализируя развитие гражданского общества в царской России, пишет, что общественные организации «давали русским возможность проявлять инициативу, социальную активность, совместно работать для достижения общих целей. Они стали точкой пересечения разнонаправленных потоков общественно-политической жизни: с одной стороны, стимулировали партнерство между государством и обществом, с другой – самим своим существованием способствовали высвобождению общества из-под режима личной власти императора и произвола бюрократического аппарата» [1, с. 26].

По инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в московском Манеже открылась Всероссийская этнографическая выставка. Надо отметить, что выставка была доступна и для малообеспеченных граждан и детей. Была информация, что «Общество любителей естествознания желает сделать русскую этнографическую выставку доступной для всех учебных заведений, в которых воспитываются дети недостаточных родителей», и что «они имеют обратиться с заявлением своего желания к председателю комитета выставки Василию Андреевичу Дашкову» [4, 1867, № 75, 80].

Сам Катков после посещения выставки, не вдаваясь в подробности описания, предложил читателям и скорее устроителям выставки обратить внимание на «великорусскую группу <…> Русский Архитектор считал обязанностью срубить криво и безобразно русскую избу, это де ближе к действительности! Русские плотники должны были *нарочно* работать дурно, чтобы быть *ближе к действительности*… Вот реализм доведенный до оригинальной нелепости!.. Да принесет по крайней мере выставка ту пользу, которую иногда приносит горькая сатира. Выставка, изобразив с невыгодной стороны русский быт, пусть популяризирует убеждение, что нам надобно побольше заняться своим народом. Пусть ее наследие, Этнографический Музей, разрастается, и пусть еще на нашем веку возникнет потребность во второй выставке, на которой даже и псевдореализм не имел бы повода помещать то, что теперь так болезненно действует на русское сердце» [4, 1867, 30 апреля].

Позже составители «Собрания передовых к МВ» назвали эту статью «Псевдореализм в изображении крестьянского быта».

Накануне съезда в апрельском выпуске «Русского вестника» появилась статья П.К. Щебальского (1810–1886) под названием «Прежний и нынешний панславизм». Щебальский писал: «…приезд в Москву депутатов от разных славянских земель – факт слишком новый в истории славянства, факт, может быть чрезвычайно важный и о котором так много говорят иностранные газеты, что было бы странно не обратить на него серьезного внимания и русской печати. За границей и у нас снова заговорили о панславизме» [15, с. 830].

Далее он пишет, что эта идея всегда использовалась по-разному против России: когда надо было воздвигнуть против России европейскую коалицию, панславизм был яблоком раздора и причиной недоразумений между Россией и заграничными славянами. В сущности, это своеобразный хамелеон, и почему именно он меняет цвета, смотря по тому, кто на него смотрит? «Результатом его может быть создание нескольких славянских областей, с известною долей внутреннего самоуправления, а не славянских государств с полною политическою жизнью. Идея панславизма, собственно говоря, утратилась в этом движении» [15, с. 834].

Это движение, по словам Щебальского, «не останавливается, не имеет общего центра и производится раздробленными силами. Оно имеет задачей как будто восстановление различных славянских народностей, а не образование славянской нации, единой по духу, если не по формам политическим». Щебальский в итоге пишет: «мир славянский еще только вступает на историческую сцену, которую столько веков исключительно наполняли народы романского и германского происхождения» [15, с. 836].

Катков о России и славянстве

В статье «Славянский мир и Москва» (позже так названной составителями) в период съезда М.Н. Катков писал: «…это всеславянское собрание, – и притом в Москве, – явление поразительное. Ничего подобного никогда не бывало, ибо съезды австрийских славян не могут идти ни в какое с этим сравнение. Люди разных народностей, разных государств, разных религий, разных образований и общественных положений свободно собираются как люди, у которых есть одно общее чувство и одно общее дело. И все эти собравшиеся с разных сторон люди оказываются не случайною толпой, а выражением чего-то целого, какой-то великой единицы, которая до сих пор в действительный счет не входила, а держалась только в уме. Оказывается, что есть нечто, называемое славянским міром, который существует не в одном воображении или отвлеченном представлении, а в действительности, и обнаруживает некоторые явления какой-то общей ему жизни, каких-то общих ему тяготений. Тот призрак, которым политики Священного Союза, бывало, пугали детей, является воочию. То, что лет двенадцать – пятнадцать тому назад было под страшным запретом и не дерзало показываться на свет, теперь разливается в воздухе, овладевает умами и у всех на языке. Этот несчастный панславизм, загнанный в область непозволительных утопий, становится формулой, быть может, еще не совсем ясною, но формулой чего-то очень жизненного и практического. Чем незначительнее случай, вызывающий проявление идеи, тем более обнаруживается ее действительность и сила» [4, 1867, № 110]. Тут же, рассматривая, что ни государственного, ни церковного единства славянский мир не представляет, «тем и поразительнее та sui generis сила, которая определяет его и которою он держится. Нет ничего обыкновеннее тех интересов, которые собирают людей принадлежащих к одной политической национальности, к какому-нибудь одному политическому целому, точно так нет ничего удивительного в общении людей, исповедующих одну веру; но мысль невольно задает вопрос, что такое дает себя чувствовать в массах и людях, не имеющих между собой ничего общего кроме племенного происхождения, да еще одного исторического предания, воплощенного в двух святых образах первоучителей славянских» [4, 1867, № 110].

Государственник Катков с искренним чувством подчеркивал о движении славян: «Русское правительство не принимало в них ни малейшего участия. Достаточно было их видеть, чтоб убедиться, что никакое правительство в мире не может искусственно вызвать нечто подобное» [4, 1867, № 128].

Россия, Европа и славяне

Все же, признавая активную роль родственных народов в истории, подводя итоги новой сложившей ситуации, Катков пишет: «Европа разделена, а у России есть союзники, на которых она может надежно опираться и которых интересы совершенно солидарны с ее собственными. Эти союзники суть родственные ей населения Востока. Она может смело рассчитывать на них, но под условием, чтоб и они точно так же могли на нее, что она не упустит из виду собственных интересов своих, в которых она солидарна с ними. Дипломатия дипломатией, но мы можем поддержать на Востоке наше дело, которое, слава Богу, есть в то же время, дело человечества, только возвышая дух и бодрость тамошних населений и обнаруживая твердую решимость отстоять их до конца» [4, 1867, № 148]. Так, в отличие от многих придворных политиков, верящих, что история «толкается» только профессиональными политиками, Катков подчеркивает, что она свершается не только на полях сражений, не только цари и дипломаты ее активные деятели, но и простые народы.

В статье «Славянский мир и Москва», отмечая роль России, он пишет: «История Москвы есть история суровая. Она не говорит воображению и не влечет к себе горячих симпатий со стороны. Политика Московского государства была беспощадная и жестокая. Всякий имеет чем-нибудь упрекнуть ее, и мало кому она по сердцу. Но не будь этого сурового прошедшего, где был бы теперь славянский мир и что значила бы славянская идея? Разобщенный с целым миром, страдал и боролся русский народ за свое существование, но не спасал ли он с тем вместе и будущность славянского племени, которому теперь не оставалось бы ничего кроме гибели, если бы в ту давнюю пору не устояла Москва» [4, 1867, № 110].

Итоги съезда в оценке Каткова

Об итогах съезда Катков писал: «Если бы оказалось, что славянская идея, эта взаимность и общение славянских народностей, так громогласно возвещавшие себя, были только праздным звуком, что все эти торжественные встречи и праздники, которыми мы «подчивали» славянских братьев, были только случайной демонстрацией, о которой на другой же день мы тут же позабыли, то было бы лучше, в тысячу раз лучше, никаких праздников не затевать и никаких речей не говорить, – лучше было бы и для братьев славян и для нас самих. Если бы все это оказалось для нас самих пустым звуком, движением автомата или какой-нибудь неискренностью, то мы очутились бы в большем проигрыше. Мы стяжали бы себе великие минусы – презрение и ненависть, тем более глубокие и ожесточенные, чем живее были обманутые нами сочувствия. Нет хуже врагов, как друзья ставшие врагами. <…> Нашими славянскими праздниками мы приняли на себя обязательства, которые мы должны исполнить, если не хотим потерять всякий кредит. А требуется очень немногого для того чтобы поддержать наш кредит и упрочить за собою те сочувствия, которые особенно при нынешних обстоятельствах были бы ничем не заменимою силой нашей в Европе. Здесь давать, значит получать, и здесь каждая русская копейка тотчас становится для России большим и превосходно помещенным капиталом» [4, 1867, № 247].

Подводя итог, можно заметить, что издания М.Н. Каткова весьма оперативно и объективно освещали Славянский съезд 1867 года. Более того, значение съезда было во многом обусловлено той широкой рекламой, которую обеспечили издания Каткова.

Литература

1. *Бредли Д.* Общественные организации в царской России: Наука, патриотизм и гражданское общество. М.: Новый хронограф, 2012.
2. [*Виноградов В.Н. (отв. ред.)*] Международные отношения на Балканах. 1856–1878 гг. М.: Наука, 1986.
3. *Греков В.Н.* «Я иду своей дорогой»: Иван Аксаков о журналистике без шипов, цензуре и запрещении газеты «Москва» // Медиаскоп. 2011. № 2.
4. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей»: в 25 т. М., 1897.
5. *Катков М.Н.* О самодержавии и конституции. М, 1905.
6. *Катков М.Н.* Интрига своих и чужих врагов против русского чувства // Московские ведомости. 1887. № 260. 20 октября.
7. *Кович М.* Россия и парламентаризм в Сербии (XIX век) // Таврические чтения 2014. Актуальные проблемы парламентаризма: История и современность: Сборник статей. СПб., 2015.
8. *Любимов Н.А.* М.Н. Катков (по личным воспоминаниям) // Воспоминания о Михаиле Каткове / сост., предисл. и коммент. Г.Н. Лебедевой; отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014.
9. *Нарочницкая Л.И.* Россия и отмена нейтрализации Черного моря, 1856–1871 гг. М.: Наука, 1989.
10. *Никитин С.А.* Русское общество и вопросы балканской политики России. 1853–1876 гг. // Славяне и Россия: к 110-летию со дня рождения С.А. Никитина: Сборник статей / Институт славяноведения РАН. М.: Тезаурус, 2013.

11. *Перевалова Е.В.* Отдел иностранной литературы в журнале М.Н. Каткова «Русский вестник» // Вестник МГУП имени Ивана Федорова. 2011. № 7.

12. Современная летопись «Русского вестника». М., 1861–1871.

13. *Сыродеева А.А.* Философия и идеология: иллюзия деидеологизации (обзор «круглого стола») // Вопросы философии. 2018. № 7.

14. *Флоринский М.Т.* Россия: История и интерпретация. СПб.: Наука, 2013. Т. 2.

15. *Щебальский П.К.* Прежний и нынешний панславизм» // Русский вестник. 1867. Т. 68.

Аннотация. Издания М.Н. Каткова (журнал «Русский вестник», газета «Московские ведомости», воскресное приложение «Современная летопись “Русского вестника”») читала вся Россия – от императора до мещан и грамотных крестьян. Катков был одним из тех отечественных журналистов, которые формировали общественное мнение и активно влияли на политику Российской Империи. Реформы, укрепляющие страну и ее политический строй, он поддерживал, но изменения, которые грозили России смутой, он осуждал. Катков освещал все важнейшие события эпохи. Например, Славянский съезд, проходивший в Москве в 1867 году. В своих изданиях М.Н. Катков, в частности, в публикациях, посвященных съезду 1867 года, проводил четкую идеологическую работу с целью пробуждения в русском обществе интереса к своим соплеменникам. Причем сам Катков в этот год в своих статьях настойчиво отказывался от любого активного правительственного вмешательства в славянский вопрос. Идее славянского единства Катков был верен всю жизнь. На закате своей жизни, в 1887 году, он писал: «Панславизм в России не есть программа какой-либо партии, а политическая исповедь русского народа».

Ключевые слова: Славянский съезд, М.Н. Катков, В. Макушев, Й. Штросмайер, австрославизм, Ф. Палацкий.

Galina Nikolaevna Lebedeva, PhD in Philosophy, Associate Professor, Chair of Philosophy, Philosophy Department, Pushkin Leningrad State University. E-mail: gal_le@list.ru; g.lebedeva@lengu.ru

“Confession of the Russian People” and Non-occurring Pan-Slavism in the Second Part of the 19th Century

M.N. Katkov’s Publications on the Slavic Congress of 1867

Abstract. The whole Russia read Katkov’s publications (“Russky Vestnik” (Russian Herald) magazine, “Moscovskie Vedomosti” (Moscow Gazette) journal and Sunday supplement “Sovremennaya Letopis’ Russkogo Vestnika” (Contemporary Chronicles of the Russian Herald)), starting with the Emperor and including citizens and literate peasants. Katkov was one of the national journalists who worked to form public opinion and actively influence the politics of the Russian Empire. He supported the reforms that served to strengthening the country and its political system, but condemned changes that might lead to outbursts in Russia. Katkov covered all the most important events of the epoch, including the Slavic Congress that was held in Moscow in 1867. In his publications devoted to the Congress of 1967 Katkov conducted efficient ideological work aiming to arouse interest in the Russian society to their congeners. In the articles published that year Katkov rejected any active interference of the government into the Slavic issues. Katkov always supported the idea of Slavic unity. In the twilight of his life, in 1887, Katkov wrote as follows: “Pan-Slavism in Russia is not the program of any party, but political confession of the Russian people”.

Keywords: Slavic Congress, M.N. Katkov, V. Makushev, J. Strosmayer, Austroslavism, F. Palatsky.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-299-316

Светлана Санькова

Национальная внешняя политика в представлении М.Н. Каткова

С началом великих реформ Александра II редкий читатель отечественных журналов представлял себе, в чем заключается русская национальная политика. Даже в ведомстве канцлера А.М. Горчакова люди, по долгу службы призванные осуществлять это политику, не могли дать широкой публике ее ясное и четкое определение. Человеком, имевшим не только свое представление о том, какой должна быть русская национальная внешняя политика, но возможность и желание представить ее широкому кругу читателей внутри страны и за рубежом, был Михаил Никифорович Катков. Он не был главой влиятельной партии или чиновником Министерства иностранных дел, не занимал важных государственных постов, он даже не проживал в столице, оставаясь верным родной Москве, выпуская там ежедневную газету «Московские ведомости» и литературный журнал «Русский вестник». Но четверть века именно с Катковым отечественный и зарубежный читатель связывал национальную внешнюю политику России. Даже сама его смерть стала фактом внешнеполитическим. Австрийское правительство, к примеру, запретило опубликование в газетах некрологов о его кончине, а во Франции вспыхнул скандал между правительством и одной из оппозиционных партий из-за очередности возложения венков на могилу русского публициста.

Английская «Таймс», сообщая о смерти Каткова, даже не указывала его регалии, сочтя, что одного его имени достаточно, чтобы читатель понял, о ком идет речь: «Вчера скончался Катков, и сегодня во всех европейских столицах наблюдается необычайное событие: политический мир серьезно задается вопросом о тех последствиях, которые может иметь кончина журналиста, да еще в той стране, где предполагают, вследствие цензуры печать не имеет никакого значения». Завершали некролог в «Таймс» слова, с которыми в России многие бы не согласились, но тем не менее раскрывающие образ Каткова для зарубежного читателя: «Смерть г. Каткова удаляет с житейской арены самого видного русского нашего времени. Кроме того, что он был народный герой, он приобрел европейскую репутацию» [12, с. 9].

Почему же именно Каткову отводилось такое видное место среди прочих русских публицистов того времени, вернее, почему именно его представления о внешней политике России стали для отечественного и зарубежного читателя синонимом национальной политики страны? Что давало Каткову силы и амбиции взять на себя добровольно подобную обязанность? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вспомнить время юности будущего публициста, в котором формировались его взгляды, а так же отдельные факты его биографии.

Санькова Светлана Михайловна, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и культурологи философского факультета Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. E-mail: historiphil@ya.ru

Годы его юности пришлись на вторую четверть XIX века – время, когда в печати не могло быть и речи об обсуждении не то что внешней, но и внутренней политики, а критика могла быть только литературной и то под неусыпным надзором цензуры. Даже сам факт опубликования какого-либо правительственного документа в печати (без анализа и комментариев) уже вызывал определенное неудовольствие властей, так как его обсуждение в обществе уже нельзя было подвергнуть цензуре. Управляющий III Отделением М.Я. фон Фок[1] писал А.Х. Бенкендорфу: «…к чему было издавать закон, который всеми читается и комментируется всюду, даже на рынках? Низшие классы общества, думающие прежде только о собственных делах, анализируют в настоящее время все правительственные распоряжения: от этого происходит то, что за ними труднее следить» [9, с. 538].

Рассуждая о «настроении умов» и формировании общественного мнения в России того времени фон Фок выстраивает следующую схему: «Как образуется общественное мнение? Существует небольшой кружок людей, стоящих очень высоко, которые искренно добиваются истины, глубоко все обдумывают и высказывают свои мысли на ухо очень немногим, способным понимать их. Некоторые лучи этих мыслей спускаются ниже, но они редко сохраняют свою чистоту; почти всегда свет их или получает отражение, или преломляется. Более многочисленный кружок людей подхватывает их, но при этом извращает, или, пропустив их через свое невежество, свои предрассудки и свои страсти, люди эти воображают, что они сами думают, тогда как это не более, как один заем; но то, что у первых выходило хорошо, у вторых выходит дурно». Из этой схемы следует вывод: «общественное мнение не навязывается; за ним надо следовать, так как оно никогда не останавливается. Можно уменьшить, ослабить свет озаряющего его пламени, но погасить это пламя – не во власти правительства» [9, с. 550].

Однако вместо того, чтобы дать этому «небольшому кружку людей» возможность обратиться к большему числу людей, к примеру, через посредство прессы, правительство предпочитало игнорировать общественное мнение, и вместо широкого гласного обсуждения тех или иных явлений, мысли по-прежнему передавались «на ухо немногим». Именно к такому «небольшому кружку людей» и относился московский литературно-философский кружок Н.В. Станкевича. Безусловно, его члены не читали записок фон Фока и не позиционировали себя как людей, «стоящих очень высоко», но свою определенную исключительность они, несомненно, ощущали, как и то, что «искренне добиваются истины», и, безусловно, и каждый из них по-своему оказал значительное влияние на общественное мнение в России.

Катков принадлежал своему времени, но не совсем принадлежал своему возрасту. Будучи самым молодым членом кружка Станкевича (он был на четыре года моложе М.А. Бакунина и на семь лет В.Г. Белинского), Катков тем не менее был одним из самых заметных его участников. При этом тот же Белинский, очень высоко ставя «юношу Каткова», с которым он поддерживал приятельские отношения, отказывался сближаться с «мальчишкой» К.Д. Кавелиным, хотя тот был одногодка с Катковым.

С юности Катков привык, что окружающие считаются с ним и ценят его мнение, в университете он приобрел репутацию студента, занимающегося самообразованием, в кружке Станкевича вел себя на равных со старшими товарищами, и даже Ф.В. Шеллинг, чьи лекции он приезжал слушать в Германию, к зависти многих, принимал его у себя дома. Все это не могло не отразиться на характере будущего публициста.

[1] Именно он был фактическим главой тайной полиции в России начиная с 1826 года. По мнению сведущих современников, именно ему Бенкендорф был обязан своей репутацией «ума и знания дела».

Даже в сложных жизненных ситуациях Катков хорошо знал себе цену и верил в свои силы. С ранней юности у него выработался особый стиль общения с людьми, ставший неотъемлемой частью и его литературного стиля, характеризующийся крайней категоричностью, не расположенной к диалогу. Однако эта категоричность была всегда основательной и художественно отточенной, порой до формы афоризма, который можно было принимать или не принимать, но с которым было сложно спорить. «Неистовый Виссарион» вспоминал, как, подготовившись к диспуту с Катковым, «при первой стычке с ним отдался ему в плен без противления. Смешно было: хотел спорить и вдруг вижу, что уж нет сил, ни жару, а через четверть часа, вместе с ним, начал ратовать против всех, сбитых с толку мною же…» [12, с. 26].

Вторым важным фактором было англиканство Каткова. Парадоксально, но именно Англия, активным противником внешней политики которой Катков часто выступал, вызывала у него большое уважение. Многонациональная Россия, по его мнению, была империей, более близкой по структуре именно Англии, чем, к примеру, Австрии. Даже в самой резкой критике действий английского правительства он не позволял себе нападок ни на страну в целом, ни на ее политические институты, в отличие от отзывов о Франции.

Привлекала Каткова и английская пресса – широким охватом тем, основательностью суждений, и влиянием на читателя всех уровней. Во многом та же английская «Таймс» послужила образцом к созданию своего будущего оппонента – «Московских ведомостей», называемых некоторыми современниками «русским “Таймс”». Лишившись в 1850 году волей случая преподавательской кафедры в Московском университете и возглавив университетскую газету «Московские ведомости», Катков увеличил объем издания более чем вдвое, что увеличило подписную цену втрое, но не оттолкнуло подписчиков, число которых тоже увеличилось вдвое. Но расширение круга освещаемых тем, периодичность издания и увеличение тиража оставались в ведении дирекции университета, что не могло не раздражать Каткова. Особенно в связи с Крымской войной. Он справедливо полагал, что в условиях такого события читателю крайне важна оперативность поступающей информации, поэтому к установленной периодичности номеров он в некоторых случаях добавлял дополнительные «листки», чем вызывал неудовольствие начальства.

С 1853 года Катков совместно со своим товарищем по Московскому университету П.М. Леонтьевым безрезультатно пытались получить контроль над каким-либо изданием, хлопоча о покупке «Сына отечества», «Москвитянина» или возобновлении «Северного обозрения», а спустя два месяца после смерти Николая I начали хлопотать о журнале «Русский вестник» с ежедневным приложением «Современная летопись». Однако, выхлопотав «Русский вестник», ставший вскоре одним из самых читаемых литературных журналов, Катков не получил разрешения на ежедневную газету, и «Современная летопись» была разрешена только как еженедельник.

Определенные надежды Катков связывал с появившимся спустя год в Лондоне «Колоколом» А.И. Герцена. Приезжая в Англию на консультацию по поводу больных глаз, Катков встретился с Герценом на правах старого московского знакомого и предложил сотрудничество, однако вернулся в Россию крайне раздосадованный встречей. И дело было не в личных отношениях двух великих публицистов, а в разных подходах к роли прессы и места редактора. Герцен обращался со своими мыслями непосредственно к обществу, не опасаясь, если вспомнить фон Фока, что кто-то «подхватывает их, но при этом извращает». Катков же не ставил задачей представлять «свои мысли» обществу, он как бы говорил от лица самого общества, невзирая на партии и интересы отдельных групп. Философ В.С. Соловьев, подобно многим современникам, отмечал, «что для Каткова предполагаемое мнение народа, то есть личное мнение Каткова о мнении народа, было высшим критерием истины

и добра» [13, с. 78]. Однако необходимо отметить, настолько ли «предполагаемым» было мнение Каткова и не было ли определенного запроса в обществе на именно такое внепартийное, консолидированное «мнение»? Определенным образом ответом на этот вопрос являются тиражи изданий Каткова, значительно превосходившие другие повременные издания. К примеру, близкий по ряду позиций аксаковский «День», тоже поднимающий национальную тему, даже в пик своего тиражного успеха вполовину не мог достичь тиража выходящих параллельно с ним «Московских ведомостей». И самое главное, именно такое «мнение народа», голосовавшего, что называется, рублем, позволило Каткову говорить на внешнеполитические темы так, что именно его голос был услышан и принят во внимание за рубежом.

Польское восстание 1863 года, совпавшее с возвращением Каткову «Московских ведомостей» уже на правах владельца, стало тем событием, которое и выдвинуло его с темой национальной внешней политики. По мере своего развития это восстание превратилось из внутриполитической во внешнеполитическую проблему, в которой сошлись определенные интересы разных государств. И именно польское восстание стало еще и событием, которое окончательно развело старых московских друзей из кружка Станкевича по разным лагерям.

Катков был самым молодым членом кружка и заявил о себе позже всех, когда имена Белинского, Герцена и Бакунина уже ярко запечатлелись в русском общественном мнении, но если двое последних и восприняли Польское восстание как вершину своего влияния, то они ошиблись, это был момент взлета Каткова. К зиме 1863 года он был уже состоявшимся человеком с ясным для себя представлением о государстве и его политике, польское же восстание показало, что при всем разнообразии мнений в России общество в целом как раз такого понятия и не имело, и Каткову выпал прекрасный шанс заявить о себе и не только для читательской публики России, но и Европы. Впрочем, этот шанс выпал всей русской прессе, но она сочла благоразумным им не воспользоваться. Попробуем проследить на нескольких работах Каткова, написанных в ранние, самые критические месяцы восстания, как выстраивалась тактика его влияния на читателя. Именно выработанные тогда приемы и тезисы позднее стали неотъемлемой частью его работ, касающихся внешней национальной политики страны.

13–14 января 1863 года подписчикам «Московских ведомостей» были разосланы особые дополнения, содержащие полученные по телеграфу из Петербурга сведения о начале вооруженного восстания в Царстве Польском. В передовице от 14 января, подробно излагая действия восставших против правительственных войск, Катков резюмировал, что в сложившихся исторических условиях именно Россия, в отличие от Пруссии и Австрии, обеспечивала Польше большую национальную и культурную самостоятельность. Не учитывающее этого очевидного для Каткова факта восстание, начавшееся под девизом самых несбыточных надежд, заставляло опасаться за будущность этой самостоятельности. Для самой же России, по мнению Каткова, это выступление поляков и «первая кровь» имели эффект очистительной грозы, став объединяющим фактором в обществе, разделенном политической демагогией [2, с. 33]. Но хотя события в Польше являлись «капитальным вопросом» для Каткова, этот вопрос оставался до поры сугубо внутренним. Анализ иностранных газет на страницах «Московских ведомостей» освещал события в Пруссии, Франции, Швеции, Греции, Италии, США и других, включая Бразилию, но безотносительно к событиям в России. Только спустя месяц после начала восстания оно на страницах «Московских ведомостей» постепенно начинает приобретать международный характер. Первой ласточкой было сообщение о заключении Россией и Пруссией совместной конвенции по польскому вопросу, связанной с обороной границ. Катков был не в восторге от составления этой конвенции, так как, по его мнению, и скоропалительность

ее заключения, и многие неизвестные пункты, о которых русская общественность может лишь догадываться, могли в дальнейшем сыграть определенную неблагоприятную для России роль. Но в целом само Польское восстание для него еще остается событием внутренней политики, и как бы в подтверждение этого он освещает неудачные попытки спровоцировать выступления демонстрантов в поддержку поляков в Италии и Франции, которые были без труда предотвращены полицией. Однако уже 14 февраля Катков со ссылками на английскую печать оповещает, что союз Пруссии и России вызывает определенное недовольство Англии, напомнившей времена Священного союза, а спустя четыре дня он сообщает и о недовольстве Франции. Но пока, критикуя союз с Пруссией, эти державы, по мнению Каткова, сохраняли определенную дистанцию в польских событиях, считая их внутренним вопросом России. А 23 февраля 1863 года номер «Московских ведомостей» вышел с передовицей о «великолепной демонстрации» английской палаты общин с требованием призвать Россию к ответу за польские события, при этом Катков особо отметил консолидацию английских парламентариев в вопросах внешней политики: «Здесь, когда нужно, умеют действовать сообща» [2, с. 87]. Так польский вопрос из внутренней проблемы России превратился в европейский антирусский вопрос. При этом на примере речи английского депутата палаты общин Ньюджента[1] он показал, что ни сама Польша, ни ее будущее не берется английскими парламентариями в расчет и служит только поводом для вмешательства в дела России. Критикуя это вмешательство, Катков отмечал, что подобное поведение Англия позволяет себе исключительно из-за уверенности во внутренней слабости России, причем не слабости ее вооруженных сил, а разрозненности русского общества. В качестве иллюстраций своего утверждения Катков приводил читателю наиболее одиозные выдержки из выступлений английских политиков. К примеру, он сообщал, что член либеральной партии Эдвард Бакстон заявлял, ссылаясь на людей, хорошо знавших нрав русских, что те очень чувствительны к мнению Европы и, опасаясь выглядеть варварами, сконфузятся перед торжественным выговором со стороны более цивилизованных государств [2, с. 87]. Приводя подобные цитаты, Катков небезосновательно рассчитывал вызвать у читателя чувство возмущения, которое сплотит российское общество не хуже английских парламентариев. При этом он еще не уверен в том, что написанное им будет интересно за рубежами страны, но отмечает, говоря о критиках России, что «если бы только голос наш долетел до их слуха», они бы могли узнать настоящее мнение русского общества, а не той ее части, которая попала в их предвзятое внимание.

Следствием парламентских прений в Англии стала нота, переданная 26 февраля 1863 года английским послом в Петербурге лордом Непиром князю А.М. Горчакову, который как опытный дипломат предложил ответить на нее в устной форме, выражая также озабоченность событиями в Польше, но одновременно отвергая правомерность ссылок английских парламентариев на решения Венского конгресса 1815 года.

О подробностях этой встречи, которые не афишировались в России, Катков узнал позже из иностранной прессы. Но даже не зная об этой ноте, Катков интуитивно понимал, что за визитом английского посла стоит желание оказать давление на Россию в польском вопросе. Поэтому не случайно очередной номер «Московских ведомостей» вышел с подробным разбором исторической ситуации вокруг Польши в 1815 году и тщетностью ссылок на них британских парламентариев. Такое внимание Каткова к дипломатическим документам, уже ставшим историей, как оказалось позднее, было очень предусмотрительной мерой. Читатель Каткова оказался намного информированнее английских политиков, которые спустя несколько месяцев, ознакомившись с существом вопроса, вынуждены

[1] Катков в своей статье именует его г. Ньюдгет.

были признать неправомерность своих ссылок на статьи Венского конгресса, а один из них в отчаянии и вовсе потребовал в парламенте их аннулировать [2, с. 113].

И «Московские ведомости», и более развернуто «Русский вестник» предоставляли читателю в серии статей подробную картину истории Польши и русско-польских отношений. По мере присоединения к претензиям Англии других европейских держав, Катков внимательно изучал прессу этих стран, давая подробный анализ безосновательности каждой из таких претензий. Особенно освещалась им «забота» о Польше со стороны Австрии как страны, имеющей в своем составе польские земли, но требующей свободы Польши от России. В дальнейшем Катков постоянно избегал говорить о каком-либо едином выступлении Европы, но, подробно анализируя прессу каждой страны и выступления политиков, находил разногласия во взглядах и целях каждой по, казалось бы, общему вопросу. И чем существеннее были разногласия, тем основательнее были выводы Каткова об отсутствии единства и сложности коалиций в международных делах.

Однако чем успешнее были дела у русских войск, практически рассеявших крупные группы восставших и занятых борьбой с отдельными мелкими отрядами, тем громче раздавались голоса европейских стран против России. Некоторое время созданию общей антирусской коалиции препятствовали существенные разногласия между странами, но ее перспектива уже не вызывала в Русском обществе сомнений. И если Катков сомневался в действенности европейской дипломатии, то для многих вопрос будущего столкновения с союзом Англии и Франции казался делом недалекой перспективы.

Складывалась парадоксальная ситуация: не имея военных побед, не имея общего руководства и целей, восставшие тем не менее были близки к дипломатической победе при опеке объединенной Европы. Сама раздробленность восставших, деление на «белых» и «красных», которые в свою очередь также делились на разные группы, играла на поддержку восстания извне, находя отклик в разных общественных течениях от европейских леворадикалов до католических клерикалов. Заметим, что «умеренная» консервативная часть восставших находила поддержку даже в российских властных сферах.

Растерянность правительственных кругов России, подчас граничившая с полной паникой перед страхом новой европейской коалиции, передавалась отечественной прессе. Даже патриотически настроенные публицисты говорили о грозящем выступлении коалиции как о фактически решенном вопросе. К примеру, К.Д. Кавелин уже высказывался о готовности в будущей войне занять место полкового или даже ротного писаря. Несмотря на такое «самопожертвование», подобные заявления не помогали читающей публике ни внести ясность в происходящие события, ни внушить уверенность в завтрашнем дне. В некотором роде именно позиция русской прессы позволила особенно выделиться изданиям Каткова, так как составляла как бы единый статичный фон, тогда как газета Каткова призывала к активным действиям. В общем хоре молчания и отчаяния голос Каткова звучал особенно отчетливо, и, вероятно, не сила этого голоса, а именно эхо в информационной пустоте создавало эффект «грома» и закрепило в сознании как сторонников, так и противников Каткова образ «громовержца».

13 марта 1863 года Катков выступил с передовицей, которая предлагала определенную программу борьбы с общественным мнением Европы. Он заявлял, что Россия уже практически справилась с задачей подавить восстание силой оружия, но русское общественное мнение полностью проигрывает европейскому ввиду полной своей безоружности, то есть ввиду отсутствия каких-либо соответствующих органов его выражения. Счастливым исключением он считал отечественную печать («скромное журнальное обслуживание»), которая ввиду слабости своей вряд ли могла иметь какой-то вес у европейского читателя, но должна была хотя бы содействовать разъяснению русского дела

у русского же читателя. Издатель «Московских ведомостей» как бы приглашал коллег по цеху поддержать его в этой борьбе, создать общий информационный фон единства страны. Общественному мнению Европы необходимо было противопоставить общественное мнение России. Но оно как раз было раздроблено, не имело единого целого взгляда, не осознавало всей опасности ситуации и, соответственно, не способно было на какие-либо решительные ответные действия, а за неимением своего мнения было склонно идти на соглашательство с предложенным Европой. Мнение же Европы, заключенное в требованиях по Польше, сводилось к одному – лишение России места великой державы в мире и ее изгнание из Европы. И вызвано такое отношение было не отсталостью России, а напротив, проводимыми в ней реформами, и несло оно угрозу именно начавшейся модернизации страны. Поэтому в условиях, когда европейские страны выступали с осуждением России, не давая ей возможности предъявить свои контраргументы, Катков полагал, что любые активные действия в любом выражении русского общественного мнения должны были приветствоваться на государственном уровне, так как они могли поколебать европейское общественное мнение, уверенное во внутренней слабости России.

Одним из таких шагов стала публикация всеподданнейшего адреса дворянского собрания Петербургской губернии в № 67 «Московских ведомостей». Интересно, что никого уже не удивляло, что московская частная газета предоставляла свои страницы столичному дворянскому собранию. А уже в следующем номере Катков помещает обзор многотысячных панихид в московских храмах «простых и темных людей» по убиенным воинам и молебнов о даровании победы русскому оружию, противопоставляя им бездействие и сомнение людей «просвещенных и умных». Катков требовал от общества очнуться от апатии и разбудить инициативу, включиться в поиск новых возможностей для проявления своего мнения. Не случайно вслед за дворянством появились всеподданнейшие адреса представителей других сословий. Неуверенность, сомнение в собственных силах, отсутствие твердой опоры, зависимость от европейского мнения, присущие части русского общества, были, по мнению Каткова, причиной оптимистических прогнозов иностранной прессы и огромной их ошибкой, так как не учитывалось мнение подавляющего большинства населения, лишенного возможности выступать с публичными заявлениями.

Комментируя врученные Горчакову 5 апреля 1863 года одновременно ноты правительств Англии, Франции и Австрии, Катков отмечал, что, несмотря на показательный демарш трех стран, они уже выказали слабость, не составив единой ноты, то есть выступили не как союзники, а как страны имеющие к России в Польском вопросе разные, взаимоисключающие интересы, чем, по его мнению, и должна была немедленно воспользоваться русская дипломатия.

Впрочем, к русской дипломатии у Каткова тоже были определенные претензии, если мы вернемся к ситуации вокруг передачи Горчакову депеши «графа Росселя»[1]. Катков подробно ознакомил читателя и с депешей, требовавшей возвращения Польше конституции 1815 года, и с ответом, продиктованным Горчаковым британскому послу Непиру. Но излагал их в «Московских ведомостях» со ссылкой на британскую и австрийскую прессу, неизвестно как раздобывших и оперативно напечатавших эти материалы, в то время как даже официальный орган русской дипломатии “Journal de St-Petersburg” не освещал их на своих страницах. Но так как и Лондон, и Горчаков не выступили с опровержением, это доказывало подлинность опубликованных материалов. Катков как бы ставил читателя перед парадоксальным вопросом, почему в момент давления на Россию русская газета знакомит

[1] Так, Катков называл в газете статс-секретаря Министерства иностранных дел Британии графа Джона Рассела, видного деятеля партии вигов.

русского читателя с важными для отечества дипломатическими документами со ссылкой на иностранную печать, то есть после того, как с ними уже ознакомился широкий английский и австрийский читатель. Катков не обвинял открыто русскую дипломатию в полном игнорировании интересов как отечественной прессы, так и отечественного читателя, но начиналась эта передовица словами англичанина, отрицавшего у русских чувство патриотизма, свойственное англичанам, французам и немцам [2, с. 158]. Впрочем, позднее, в статье, посвященной юбилею дипломатической службы Горчакова, Каткова признавал, что именно ему «выпал жребий начать русскую национальную политику» [3, с. 313]. Однако даже в ведомстве самого Горчакова первичность такой роли некоторые видели иначе. Так, русский посол во Франции А.Ф. Будберг признавал, что когда «в самый разгар нашего столкновения с державами приходили ко мне из России газеты и деловые бумаги, я принимался, прежде всего, не за депеши нашего министерства, а за «Московские ведомости»; я всегда предпочитал оригинал копии» [12, с. 13–14]. Впрочем, и сам Катков заканчивал свою статью о юбиляре словами: «Если национальная политика дает правительству всегда самые надежные советы, то она же, как и всякий жизненный инстинкт, должна давать смелость его решениям и успех его действиям» [3, с. 314].

В конце апреля 1863 года ожидание войны, охватившее русское общество, коснулось и Каткова. Уже не иностранная пресса, а «Санкт-Петербургские ведомости» выступили со статьей об опасности русского патриотизма (подразумевались издания Каткова и поддерживающая их часть общества), провоцирующего своими выступлениями европейские страны. Катков был возмущен, что столичная газета в отстаивании интересов России стоит гораздо ниже многих политиков Франции и Англии. Если в отношении иностранных газет, обильно анализируемых Катковым на страницах своего издания, он не мог позволить себе резких выражений (так как было бы странно, если бы газета отстаивала интересы не своей, а другой страны), то для позиции отечественной газеты Катков нашел крайне нелицеприятные оценки. Решительно выступая против подобных публикаций в русской прессе, он писал в почти ультимативной форме, что любое промедление с наведением порядка в Польше, любое дальнейшее отступление перед давлением Европы приведет не к успокоению ситуации в России, а к взрыву народного негодования. И виновником народного взрыва будет не патриотически направляющая его пресса, а как раз попытка лишить его права голоса. Несколькими днями позже, приводя в пример стихийное сопротивление крестьян отрядам инсургентов, он выступал за немедленное взятие данного явления под контроль с целью найти ему законное и полезное на данный момент применение. К примеру, создание на их основе народного ополчения, действующего организованно, в тесной связи с войсковыми соединениями, с предоставлением офицеров, вооружения и выплаты пособий. В противном случае стихийная расправа с мятежниками может принять самый жестокий характер [2, с. 201]. Катков прекрасно понимал, что, поднимая эту тему, он не только дает определенный сигнал внутри страны, но и заставляет несколько иначе взглянуть на ситуацию не только зарубежные правительства, но и общественное мнение других стран.

Катков внимательно следил за иностранной прессой и часто цитировал выдержки из зарубежных изданий. Этим он добивался двух целей: внимания к своему изданию внутри страны и за рубежом. Опытный публицист, с юности зарабатывавший на жизнь переводами, он прекрасно знал, что, ссылаясь на то или иное иностранное издание, тем самым уделяет ему особое внимание, выделяет среди остальных, а подобные действия обычно не остаются незамеченными и на них отвечают взаимностью. Катков учитывал и то, что английские или французские читатели тоже принадлежали к поколению, хорошо помнившему Крымскую войну, когда быстрая поездка в Москву обернулась затянувшейся осадой Севастополя.

В начале мая 1863 года произошло событие, которым Катков немедленно поделился с читателем со ссылкой на английские газеты, приведя пространный фрагмент ответа статс-секретаря иностранных дел Британии графа Джона Рассела на запрос лордов Шафтсбери[1] и Гарроби в поддержку Польши. «Я убежден, – сказал лорд Россель, – что *при теперешнем настроении русского правительства, а еще более русского народа,* не может быть и речи об отделении какой-либо части этой великой империи. Есть славные воспоминания, есть символы гордости и силы, связанные с Россией, на которые можно посягнуть, но которые едва ли можно уничтожить без продолжительной кровопролитной войны. Что касается до меня, то я не расположен считать шуткою опасности и случайности такой борьбы; я думаю, что и вы, милорды, а также и другая палата парламента, представляющая эту страну, не расположены пускаться на эти случайности без самой крайней необходимости». Орган английской либеральной партии вигов «Дэйли ньюс», комментируя это выступление своего лидера, писала: «…благородный лорд совершенно уместно сослался на возбужденное патриотическое чувство русского народа… Спор идет между народом и народом, а нет в мире народа, в котором национальное чувство было бы так сильно и крепко, как в русском народе» [2, с. 210].

Катков имел полное право торжествовать, так как предложенный им путь активных патриотических демонстраций не остался незамеченным вопреки всем скептикам внутри страны, опасавшимся провоцировать Европу активными действиями. Характерно, что когда спустя месяц граф Рассел пошел на попятную, уступая свои позиции, Катков трактовал это как политический провал английского министра и взывал к элементарному честолюбию английского политика.

Однако дипломатическое давление на Россию продолжалось, и в начале мая остро встал вопрос о созыве европейского конгресса по делам Польши, в связи с чем Европа требовала остановить или приостановить военные действия, то есть практически локализованному очагу восстания предоставлялся шанс передышки и второго дыхания. Катков выступил решительным противником подобных действий, считая, что Европа заинтересована не в мире, а именно в продолжении вооруженного конфликта. Он писал о полном абсурде либеральной попытки подавления восстания, так как любые действия подразумевают действие, и подавление вооруженной борьбы не может быть осуществлено путем отмены военных действий, как бы этот процесс ни назывался. Выступал он также против всеобщей амнистии, так как это вместо наведения порядка в крае давало «рассрочку» мятежа и «патент на измену» [2, с. 358]. Подобным дипломатическим ухищрениям Катков противопоставлял открытый вооруженный конфликт. В некотором смысле он предлагал русскому общественному мнению поменяться местами с европейским. Когда угроза войны была реальностью, Катков говорил о проблемах внутри европейских стран, мешающих им выступить единым фронтом. Когда же Европа выступила с предложением конгресса, то есть с чисто дипломатическим давлением, он указывал, что проведение любого конгресса дело не простое и не быстрое, поэтому необходимо действовать в Польском крае более решительно. И быть готовыми ответить не только отказом на требования любого конгресса, но и на сам тон их заявлений, недопустимых великой державе, предпочитая международному унижению «простую и честную войну» [2, с. 232].

Указывая на неизбежность войны, к которой должна готовиться Россия, Катков показывал читателю, что сами предполагаемые противники совершенно не выказывают не только готовности к ней, но и шагов к подготовке, доверяя только усилиям дипломатии. Некоторые современники упрекали Каткова в перемене своих позиций во время восстания, но подобные обвинения сродни обвинению боксера в постоянном передвижении по рингу и смене целей удара по противнику.

[1] В современной транскрипции – Шефтсбери.

Оповещая об ответе Горчакова на депеши союзников, Катков в превосходнейших степенях описал это «истинно художественное произведение русского дипломатического искусства» и главным его достоинством отметил отказ России от проведения конференции, так как Россия может выступать на ней только в рамках диалога заинтересованных сторон, а значит России, Пруссии и Австрии, без участия стран, территориально не имеющих отношения к Польше. Катков понимал, что такое решение не устроит ни Англию, ни Францию и обострит события в Польше, так как инициатива восстания от партии «белых», ориентировавшихся на вмешательство извне, перейдет к радикальной партии «красных», что потребует энергичных действий русской армии, которой русская дипломатия наконец-то развязала руки.

На примере анализа иностранной прессы Катков показывал читателю, что дипломатический провал, который потерпели Англия и Франция, вызвал крайне жесткую критику политиков со стороны газет этих стран, выражавших настроения граждан, почувствовавших себя обманутыми в ожиданиях. Этим Катков хотел лишний раз проиллюстрировать свою мысль о том, что политический провал во внешней политике не является только предметом одного ведомства, а немедленно болезненно отзывается на внутренней жизни всего общества.

Еще одним важным фактором международной политики Катков считал острую критику как показатель успешной деятельности. Если враждебные силы испытывают к действиям противоположной стороны крайнее недовольство, значит, население этой страны, напротив, может быть довольно положением дел. Если русскую дипломатию подвергают ожесточенной критике на международном уровне, доказывал он, значит, она сделала верный ход и выбрала верный тон. Следует радоваться, что действия генерала М.Н. Муравьева в Литве подвергаются критике маркизом Кардигадом[1], так как «такого рода особа может запачкать своею дружбой, а не бранью» [2, с. 392], а значит, действия Муравьева действительно эффективны.

В начале августа 1863 года официальный орган Министерства иностранных дел “Journal de St-Petersburg” сообщил, что девизом России является лозунг «Не вызывать Европу на борьбу с собою, но и не обнаруживать слабости». Поместив этот лозунг на свою передовицу Катков напомнил, что с самого начала польских событий его издания следовали этому лозунгу как единственной возможности сохранить честь и достоинство России и не вызвать европейскую войну. Катков не вспоминал о трусости остальной прессы, но отметил, что его статьи, переведенные целиком или фрагментами во французской печати, хотя и послужили отрезвляющим фактором для зарубежного читателя, часто были представлены как пример «возбуждения народных страстей» в России против Европы. На последнее замечание Катков возражал, что именно продуманная и гибкая политика его изданий не позволила выражению народного чувства принять «более опасное и не свойственное ему направление» [2, с. 440]. И он не скрывал радости от того, что спустя полгода официальный орган русской дипломатии разделил его взгляды.

Подводя итог польским событиям, Катков возвращался к мысли, что давление Европы на Россию было связано вовсе не с Польшей, которая выступала лишь как предлог, а основная задача других стран состояла в попытке лишить Россию самостоятельности, на что Россия как великая держава не может согласиться ни в конкретном вопросе сейчас, ни в любом другом на перспективу. Понимая, что подобные попытки будут повторяться и в будущем, Катков отмечал, что совершенно не важно, в какой форме будет оказано это давление, в форме ли угрозы и открытого противостояния или тем более в форме «само-

[1] Так Катков называл Улика Джона де Бург, маркиза Кланрикарда, бывшего посла в России, члена палаты лордов, заместителя государственного секретаря по иностранным делам.

го любезного миролюбия». Великая держава должна проводить свою внешнюю политику, только исходя из своих национальных интересов [2, с. 441].

Какой же, по нашему мнению, Катков представлял национальную внешнюю политику России: по содержанию отвечающую интересам и правам подавляющего большинства населения империи, а по форме наступательную. Из работ Каткова явствует, что практически любое активное действие им одобрялось, так как оно могло трактоваться оппонентами по-разному, в то время как любое бездействие или апатия однозначно трактовались как признак слабости, чем незамедлительно и воспользуются любые недоброжелатели страны.

Польское восстание было окончательно подавлено в первые месяцы 1864 года. Лишенное активной поддержки из за рубежа, оно быстро пошло на спад, а вчерашние его европейские попечители переключили свое внимание на другие мировые события. Катков же из комментатора политических событий сам превратился для читающей зарубежной публики в политическую фигуру. В брошюре барона Фиркса, изданной под псевдонимом Шадо-Ферроти в Берлине[1], Катков представал главой ультрапатриотической партии, имевшим огромное влияние, вплоть до назначения им генерала Муравьева губернатором Северо-Западного края. Пользуясь возможностью издаваться за границей под псевдонимом, Фиркс ранее выступал против «Колокола» Герцена. Его новая брошюра была направлена против «Московских ведомостей». Смысл ее сводился к искусственному раздуванию личности Каткова и мысли, что после подавления восстания его «ультрарусская партия» должна быть отстранена за ненадобностью, уступив место иным силам. Однако вызванная чисто внутренними интригами против Каткова ряда политиков, объединенных вокруг великого князя Константина Николаевича, недовольного критикой публициста, эта брошюра имела обратную сторону – в могущество Каткова поверила зарубежная печать.

Каткову приходилось с негодованием отвергать приписываемую ему роль. Так, ряд его передовиц был направлен против влиятельной в области внешней политики бельгийской “Independance Beige”, распространявшей историю о главе влиятельной “le partie de la «Gazette de Moscou»” и его скором отстранении. То, что Катков сумел сохранить за собой свое издание и не изменить его направленность, убедило зарубежную прессу в том, что он действительно обладает огромной властью над русским общественным мнением. Многие ведущие зарубежные издания, общественные организации, комитеты и отдельные политики открывали с Катковым переписку по сложным международным делам.

Ощутив всю значимость своей публицистической деятельности на международной арене в ходе польского восстания 1863–1864 годов, Катков уже не ограничивался намерением влиять только на внутреннюю жизнь России, а отстаивал право следить за тем, чтобы внешняя политика государства тоже соответствовала его представлениям о национальных интересах. Безусловно, такие притязания не могли остаться незамеченными со стороны собратьев по цеху, которых не радовала перспектива видеть Каткова единственным выразителем национальной внешнеполитической доктрины. В ответ на обвинения со стороны других изданий в безосновательной монополизации права быть выразителями общественного мнения, в том числе и по внешнеполитическим вопросам, Катков в одной из своих передовиц заявлял: «Весьма естественно русскому гражданину желать и требовать, чтобы дела в его стране направлялись в видах ее государственной пользы. Мы не только никому не препятствуем, мы всех приглашаем следовать этим путем, опережать нас и с большим, чем мы умением и успехом способствовать развитию истинно-национальной политики в делах как внутренних, так и международных» [4, с. 178].

[1] *Schedo-Ferroti M.* Que fera-t-on de la Pologne? Berlin, 1864.

На протяжении всего периода издания «Московских ведомостей» под началом Каткова сохранилась заложенная в период польского восстания традиция пристально следить за тем, что пишут о России в ведущих иностранных изданиях. Особое внимание уделялось «Таймс», так как Англия воспринималась Катковым как главный соперник России на международной арене[1]. При этом Катков призывал настороженно относиться к похвалам зарубежной прессы российских внешнеполитических действий, так как и критика, и одобрение в равной степени направлены на то, чтобы подвигнуть Россию действовать в чужих, а не в своих интересах. В частности, обращая внимание на резкие изменения в тоне английской прессы в отношении продвижения России в Средней Азии, редакция Каткова предупреждала правительство, что «если бы оно пошло по линии выполнения советов английской периодической печати и стало распространять цивилизацию в Средней Азии» ценою вкладывания материальных средств и человеческих ресурсов, то «это ослабило бы Россию на ее европейской территории» [10, с. 119].

Наблюдая за сближением России с Пруссией, Катков не одобрял его, полагая, что оно будет способствовать усилению последней, при этом Россия потеряет свою свободу и независимость действий на международном уровне. Высказывания вразрез с правительственным курсом привели даже к приостановке выхода «Московских ведомостей». Однако Катков сумел добиться от монарха возобновления издания под своим редакторством и продолжал не скрывать своего разочарования действиями русской дипломатии, в результате которых мы помогли Пруссии получить несравненно большую выгоду в обмен на «восстановление державных прав России на Черном море» [14, с. 186].

Позиция Каткова в ходе восточного кризиса 1875–1878 годов уже была освещена отечественной исследовательницей И.С. Рыбаченок, повторим кратко основные тезисы ее работы. Катков полагал, что пока восстанием охвачена лишь Герцеговина – это частное дело Турции, и задача России, «опираясь на Тройственный союз, содействовать сохранению европейского мира», в чем он оказался близок правительственной линии [11, с. 170]. После убийства немецкого и французского консулов в Салониках Катков все еще считал возможным сохранить мир, для чего требовал более активных дипломатических действий [11, с. 172]. С момента объявления войны Порте Сербией и Черногорией Катков признавал необходимым отказаться от попыток мирного урегулирования и переходить к непосредственно военным действиям. Причем проводить их самостоятельно, так как в противном случае Россия «жертвует своим значением среди славянства» [11, с. 173]. Он поддерживал решение России вступить в войну. При этом Катков не упускал случая отмечать вред, который нанес русской политике «Союз трех императоров», против которого он изначально выступал и который, по его утверждению, «парализовал Россию во всем, <…> связал ее по рукам и ногам» [11, с. 175]. Промедления в переходе России к активным действиям Катковым энергично порицались, так как они только мешали возможному военному успеху. Участие России в Константинопольской конференции Катков расценивал как потерю лучшего момента для активных действий, а так же как ущерб чести и достоинству России как великой державы. Дипломатическая поездка по Европе Н.П. Игнатьева прямо трактовалась Катковым как признак близорукости русской дипломатии, которая должна уступить место военной силе [11, с. 177–178].

Берлинский конгресс 1878 года Катков воспринял как полное поражение русской национальной внешней политики. Один из авторов «Русского вестника», дипломат и историк С.С. Татищев писал: «…когда Россия предстала как подсудимая на суд собранного в

[1] Показательно, что в отечественных исследованиях советского периода, посвященных международным отношениям России, цитирования зарубежной прессы зачастую приводились не по первоисточнику, а по выдержкам из «Московских ведомостей».

Берлине европейского ареопага, когда стали известны унизительные условия, предписанные ей стачкой ее противников с ее же союзниками, тогда из наболевшей души Каткова вырвались лишь следующие краткие слова: «Подавляющие известия сыплются одно за другим. Слово замирает и перо выпадает из рук. Под гнетом подобных впечатлений лучше не отзываться – достойнее молчать» [14, с. 188]. Почти три года Катков не касался тем внешней политики, до самой смерти Александра II.

С началом царствования Александра III Катков связывал надежды на восстановление престижа государства и выход из фактической международной изоляции. В одной из декабрьских передовиц 1882 года, посвященной вопросу о возможном союзе Австро-Венгрии и Германии, замечалось: «Лишь бы только Россия хорошо знала “чего она хочет” (а иногда случалось слышать ей от своих союзников упреки, что она сама не знает “чего хочет”), и тогда отношения ее к друзьям и противникам во всем установятся правильным образом. Лишь бы сила и честь России оставались в твердых и трезвых, покорных долгу, руках, вот все что теперь требуется в интересах России… Национальная политика состоит не в том, чтобы хвастаться ею, ничего в ней не смысля и компрометируя ее, а, прежде всего, в здравомыслии и честном понимании своих обязанностей пред страною» [5, с. 636].

Безапелляционные выступления «Московских ведомостей» по вопросам внешней политики вызывали недовольство в правительственных кругах, но Катков продолжал отстаивать право своей газеты «давать советы» правительству не только по внутренним, но и по внешнеполитическим вопросам. Так, в декабре 1886 года он писал: «Было бы очень дурно, если бы лица во власти слышали только то, что говорят чужие люди, не желая знать, что думают и чувствуют свои. Привыкая к чужим воззрениям и руководствуясь чужими оценками, лица у дел, сами того не замечая, могут очутиться в лагере врагов своей страны и великодушно уступать интересы им вверенные…» [7, с. 658.].

Отправным тезисом в национальной внешней политике, как она виделась Каткову в период царствования Александра III, продолжало служить утверждение о том, что Россия – великая держава. По мнению редактора «Московских ведомостей», русская дипломатия не всегда придерживалась этого мнения, так как не очень часто выступала с протестами в нередких случаях, когда национальное достоинство ущемлялось на международной арене и задевалась честь русского государства, и даже в тех случаях, когда протесты выдвигались, делалось это в такой форме, что сложно было определить, «обижается ли она или благодарит за одолжение» [4, с. 154].

При этом неизменной оставалось его приверженность установке: действие лучше бездействия. Приводя отзывы европейских газет по поводу утверждения нового министра иностранных дел России Н.К. Гирса, Катков позволил себе говорить прямо от лица всего государства, выдвигая основные задачи национальной внешней политики Российской империи на новом этапе ее развития. Их можно свести к следующим тезисам: 1. Не имея необходимости и желания действовать агрессивно на международной арене, Россия тем не менее «должна быть готова к обороне не только территории своей, но и вообще своих интересов и чести», и никакое миролюбие не должно мешать их отстаиванию. 2. Россия не должна из миролюбия отказываться от активного участия в международных делах там, где это касается ее интересов, так как в противном случае речь идет не о «политике миролюбия», а о «политике самоубийства». 3. Россия должна помнить, что она великая держава, а «великая держава, забывающая среди других держав о своем достоинстве и своих интересах, губит себя», так как «всякий ущерб в достоинстве и во всемирном положений государства отзывается и на его внутренних делах и наоборот». 4. Ни одно государство не может «спокойно процветать в бесславии и бессилии», так как, проявив неспособность на международном уровне, правительство теряет до-

верие внутри страны и уже не способно эффективно управлять, что ведет к ослаблению государства. А «слабое государство, не способное ни обороняться, ни управляться, не жалеют а презирают и – добивают» [5, с. 155]. Из вышесказанного отчетливо видно, что в вопросах международных отношений Катков так же как и во внутригосударственных делах стоял на позициях жесткого прагматизма и идентифицировал национальный интерес с сильным государством.

В июле 1881 года в статье, посвященной последовательному отказу правительств Франции, Англии и Америки в выдаче России соучастника С.Л. Перовской по одному из покушений на Александра II (1879 год, подкоп на железной дороге под Москвой) Л.Н. Гартмана, Катков писал: «Формальных трактатов вовсе не требуется в этих случаях, и успех подобного требования гораздо более зависит от авторитета государства, которое требование предъявляет, и настойчивости, с которой оно поддерживается». Далее Катков вновь проводил связь между международным престижем и внутренним состоянием дел в государстве: «Почему Россия не может говорить с другими правительствами языком соответствующим ее величию, ее положению в мире, ее могуществу и духу ее народа? <…> Ведь не соответствующее ее достоинству международное положение неизбежно ослабляет ее и внутри, роняет ее народный дух, подрывает ее веру в себя…» [4, с. 343]. В качестве примера такого пагубного влияния принижения международного авторитета на национальное самосознание и самооценку Катков называл балканскую войну.

Рассуждая о недовольстве в российском обществе поведением Пруссии в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 годов, Катков замечал, что мы не вправе требовать от другой, пусть и дружественной страны, чтобы она заботилась о наших национальных интересах, и во всех наших неудачах должны винить только себя. «Дав втянуть себя в Восточный вопрос помимо нас возбужденный, – продолжал публицист, – и, начиная войну всемирного значения, мы не сочли нужным принять какие-либо меры к соглашению наших национальных интересов с политикою единственно союзной нам державы», имея в виду Пруссию. Катков напоминал читателям, что «с первого же момента, когда на горизонте обозначилось кровавое знамение Восточного вопроса, “Московские ведомости” постоянно и неизменно твердили и убеждали нашу дипломатию войти в соглашение с Германией. Руководитель германской политики, как публично, так и конфиденциально, в обращениях к нашему министерству иностранных дел заявлял, что Германия никаких своих интересов на Востоке не имеет и может предоставить там России полную свободу действий, лишь бы через то могли не проиграть, а выиграть интересы Германии там, где они действительно имеются». Однако Российское правительство, не желая ссориться с Ватиканом, с которым Германия вела в тот период «культурную борьбу», и боясь союзом с Германией нарушить «равновесие Европы», отказалось от соглашения, «которое могло бы обеспечить нам полную свободу действий во время войны и лучшие условие при заключении мира». В результате подобных дипломатических просчетов России, по определению Каткова, пришлось в Берлине «сидеть на скамье подсудимых». Вывод, который Катков не без иронии предлагал сделать из недавних уроков прошлого: «Следовательно, мы никого не должны винить, если наши дела не совсем соответствуют нашим национальным интересам, – никого кроме себя. Если в настоящее время дела идут не тем путем, который казался бы для нас желательным, то мы можем утешать себя тем, что в Ватикане все обстоит благополучно…» [5, с. 119–120].

Анализируя реакцию венских и берлинских газет на парижскую речь генерала Скобелева, Катков стремился показать, что либеральные издания в России, требующие введения демократических учреждений, играют на руку иностранным державам [5, с. 86].

Он обращал внимание на признания самой германской прессы, что весь интерес Германии заключается в том, чтобы русский рынок еще больше был «открыт для немецкой предприимчивости и для немецких капиталов», для чего «желательно в интересах Германии, чтобы стала более доступной русская таможенная граница». Однако при этом признавалось, что «нельзя и думать о том, чтобы Германия принудила Россию силою оружия к менее стеснительному для Германии таможенному тарифу», и замечалось, что «государственный интерес Германии тесно связан с “развитием в России либеральных учреждений”, для которых такие проявление национального духа, как речь генерала Скобелева, представляют де гораздо большую опасность, нежели для европейского мира...». Приводя эти рассуждения, Катков заключал: «Итак, между прочим вот кому и для чего понадобились теперь в России так называемый “либеральные учреждения”, противные национальному духу...» [5, с. 98].

В то же время Катков ставил в пример именно Германию, как умеющую четко определить свой национальный интерес и следовать его достижению: «Пруссия следует во всем умно и зорко, требованиям своей национальной политики; она знает, что ей полезно и что ей не выгодно, она знает, чего она хочет; мы же, к сожалению, не всегда знали, чего хотели, и не всегда хотели того, что требовалось нашими интересами» [5, с. 119].

В вопросе определения российско-афганских границ, проходившего при прямом вмешательстве Англии, Катков призывал также занимать твердую позицию максимального отстаивания наших государственных интересов. В статье, посвященной известному конфликту на Кушке, когда русский гарнизон отбил неожиданное нападение спровоцированных англичанами афганцев, Катков высказывал уверенность в том, что этот факт лучше любых дипломатических мер положит конец «воинственным крикам» Англии и «толкам о войне». «Афганцам на Кушке, – писала передовица «Московских ведомостей», подразумевая не только афганцев, но и англичан, – дан достаточный урок, после которого едва ли они впредь отважатся на задорное нарушение русской границы как понимает ее Россия». Призывая Англию к коренному пересмотру своего отношения к России и переходу от конфронтации к «установлению прочного мира и дружбы», Катков заканчивал статью почти афористично: «Россия не есть случайность в мире: пора признать это, и вместо напрасных попыток поколебать ее, не лучше ли поладить с ней» [5, с. 150, 152].

Публицист настаивал на праве России «на приобретение удовлетворительных границ», то есть таких границ, «кои являлись бы повсеместно заключением плодородных окраин и представляли бы достаточное число позиций, удобных для укрепления на предмет обороны». Плодородие окраин в достаточно пустынных местностях должно было, по мысли Каткова, служить «базисом и гарантией предстоящей колонизации» и одновременно гарантом безопасности «как источник продовольствия для пограничных и внутренних гарнизонов» [6, с. 351].

Передовицы «Московских ведомостей» так обрисовывали для международной общественности сложившуюся ситуацию: «стремясь к упрочению своей власти в Азии на новом основании сопредельности с Афганистаном, Россия приближается к осуществлению своей исторической задачи», которая заключается в том, чтобы, «достигнуть, наконец, заслуженного отдыха после вековых блужданий на просторе степей, тех степей, кои некогда извергали орды разрушителей на культурную Европу и еще недавно были грозой для относительно культурной Персии». А от достижения «своих естественных целей Россия нигде отступить не может: это закон ее природы, который рано или поздно, так или иначе настоит на своем» [6, с. 352].

В вопросе русско-английских отношений Катков придерживался одного мнения с императором Александром III. Видимо, именно это обстоятельство объясняло, почему ему

разрешали выступать в таком тоне, будто он говорит не от лица своей газеты и не от себя лично, а от всего российского государства. Однако такое единодушие наблюдалось не всегда. В последние годы жизни Катков пытался повлиять на российскую внешнюю политику в смысле ее переориентации с Германии на Францию, применяя при этом связи в различных дипломатических структурах и выказывая на страницах своей газеты осведомленность в содержании закрытой дипломатической корреспонденции. Последствия не заставили себя долго ждать. «Московские ведомости» получили предостережение. На эти действия Катков ответил прошением об аудиенции, смиренным по форме, но ультимативным по содержанию. «Я готов перенести самый тяжкий удар, − писал Катков, − лишь бы дело, которому я служу, не пострадало. Для правительства я не могу быть помехой или затруднением. Чуждый тщеславия и всяких претензий, я исчезну по одному намеку, не подрывая направления, которое и друзья, и противники соединяют с моим именем. Оставаясь при деле, я повинуюсь инстинкту сторожевого пса, который не может быть спокоен, чуя недоброе для дома и для его хозяина» [1, с. 163–164][1]. По сути, Катков заявлял, что либо он полностью прекращает свою публицистическую деятельность, либо продолжает ею заниматься, по-прежнему, не ограничивая себя в свободе высказываний. Александр III, хотя и отчитал Каткова при личной аудиенции, но согласился на второй вариант. Однако жизнь распорядилась иначе. Через несколько месяцев после этого свидания с императором Михаил Никифорович скончался.

На десятилетнюю годовщину смерти Каткова уже упоминавшийся нами С.С. Татищев откликнулся статьей «Катков в иностранной политике»[2]. Большая часть этой статьи представляет собой подборку цитат Каткова, которые Татищев называл «политическими аксиомами». Он характеризовал направление, которое Катков отстаивал во внешнеполитическим курсе страны, как «самостоятельное» и «самосознательное», которое бы обеспечивало сохранение «державного достоинства».

Следует отметить еще один важный аспект, отстаиваемый Катковым, – недопустимость подрыва международного статуса государства изнутри. В частности, в сложный для страны момент междуцарствия 1881 года «публицист-государственник» считал недопустимым обсуждать открыто в печати подробности наших внутриэкономических и тем более военных проблем. Он выступал с критикой «интеллигентных патриотов» и «патриотов-навыворот», которые «стараются убедить Европу в том, что с нами всякий может поступить, как заблагорассудится, ибо, по их уверению, Россия в настоящее время совершенно бессильна» [5, с. 79]. В качестве примера он приводил извлечения из статьи газеты А.А. Краевского «Голос»: «Мы не устаем твердить о несвоевременности для нас всякой войны, о трудностях и опасностях к которым при нынешнем состоянии наших вооруженных сил наших финансов и при нашем внутреннем неустройстве, привела бы нас борьба с двумя, а может быть и более, могущественными державами». При этом Катков замечал: «Если б устами *Голоса* говорила Россия, то завтра же “две, а может быть и более, могущественные державы”, непременно объявили бы ей войну, так как они естественным образом пожелали бы воспользоваться ее недостатком в “вооруженных силах и финансах”, ее “внутренним неустройством”, упадком ее духа, ее трусостью, ее подлостью...» [5, с. 80].

В последний год жизни, менее чем за месяц до смерти, Катков вновь дал отповедь изображающим «мнимую слабость» России газетам, но на этот раз иностранным. Катков

[1] Е.М. Феоктистов, приводя эту записку в своих мемуарах, отметил, что выражение «сторожевой пес» Катков счел «неудобным» и в окончательном варианте убрал.

[2] Заметим, что это единственная дореволюционная работа, посвященная внешнеполитическим взглядам Каткова. В советский период тоже появилась всего одна такая работа – это статья упоминавшейся нами И.С. Рыбаченок.

доказывал, что «Россия располагает военной силой вполне достаточной, чтобы в случае нужды не только рассчитаться с любой державой, но и потягаться как равный с равным с любой коалицией». На замечания немецкой газеты о том, что Россия имеет достаточно сил только в Азии, а «на европейском театре она никогда не могла выставить даже “только достаточное число войск”», Катков отвечал характеристикой особенности, если не сказать уникальности «российской военной системы»: «Мы можем вести весьма продолжительную кампанию без истощения сил. Это ни недостаток, а, напротив, выгодная сторона нашей военной системы, вполне устраняющая возможность неудачного исхода кампании, подобно тому, как сильный резерв на поле сражения устраняет возможность решительного и быстрого поражения. Кто рискнет вызвать Россию на столкновение, тот должен знать, что бороться ему придется не три недели и не семь месяцев как пруссакам в 1866 и 1870 году, а несколько лет, видя при этом постоянное развитие русской военной силы» [8, с. 294]. Справедливость этой характеристики была подтверждена уже в XX веке.

Таким образом, Катков не мыслил Россию иначе как империю, играющую одну из первых скрипок на международной арене, которая может и должна проводить самостоятельную внешнюю политику. Такая модель внешнеполитического поведения способствовала бы политической и экономической стабильности внутри страны, которые в свою очередь обеспечивали бы надежную военную и дипломатическую основу для предлагаемой доктрины международного доминирования.

Литература

1. За кулисами политики. 1848–1914 гг. М., 2001.
2. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1863 год. М., 1897.
3. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1867 год. М., 1897.
4. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. М., 1898.
5. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1882 год. М., 1898.
6. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1885 год. М., 1898.
7. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1886 год. М., 1898.
8. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1887 год. М., 1898.
9. Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая по донесениям М.Я. Фока А.Х. Бенкендорфу // Русская старина. 1881. № 11. С. 119–560.
10. *Рожкова М.К.* Экономические связи России со Средней Азией. 40–60-е годы XIX века. М., 1963.
11. *Рыбаченок И.С.* Разногласия в правящих кругах России о направлении внешней политики в 1886–1887 гг. // Вестник Московского университета. Серия IX: История. 1973. № 5. С. 167–183.
12. *Санькова С.М.* Михаил Никифорович Катков. В поисках места (1818–1856): Монография. М., 2008.
13. *Соловьев В.С.* Несколько личных воспоминаний о Каткове // Наше наследие. 1992. № 5. С. 75–78.
14. *Татищев С.С.* М.Н. Катков в иностранной политике // Воспоминания о Михаиле Каткове. М., 2014. С. 176–192.

Аннотация. В исследовании рассматриваются взгляды публициста М.Н. Каткова на внешнюю политику России, представленные им на страницах «Московских ведомостей». Автор раскрывает роль Каткова по формированию в русском общественном мнении активной позиции по вопросам внешней политики. В работе показаны основные этапы его деятельности по отстаиванию в печати интересов Российской империи на международной арене.

Ключевые слова: национальная внешняя политика, Михаил Никифорович Катков, «Московские ведомости», русское общественное мнение, печать, польское восстание.

Svetlana Mikhailovna Sankova, PhD in History; Professor, Department of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Philosophy, Turgenev Orel State University. E-mail: historiphil@ya.ru

M.N. Katkov's Approach to the National Foreign Policy

Abstract. The article examines the views of the publicist M.N. Katkov on the foreign policy of Russia on the basis of his publications in "Moscow Vedomosti" journal. The author reveals the role of Katkov in the formation of the active position on foreign policy issues in Russian public opinion. The article shows the main stages of his journalistic activities to protect the international interests of the Russian Empire.

Keywords: National Foreign Policy, Katkov Mikhail Nikiforovich, "Moscow Vedomosti", Russian Public Opinion, Press, Polish Uprising.

Катков: реформы vs революция

Раздел пятый

А.А. Ширинянц
М.Н. Катков в эпоху крестьянской реформы 1861 года

А.И. Любжин
Образовательные пилотные проекты эпохи Александра II

игумен Виталий (Уткин)
Михаил Никифорович Катков и борьба вокруг церковного характера начальной народной школы

О.А. Хвостова
М.Н. Катков и И.С. Тургенев в спорах о Базарове

И.В. Логвинова
М.Н. Катков и И.С. Тургенев

К.А. Соловьев
Любимов против течения. Политическая философия контрреволюциии

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-319-325

Александр Ширинянц

*М.Н. Катков в эпоху крестьянской реформы 1861 года**

Воззрения Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887) составляют содержательный момент национально-консервативного течения русской общественно-политической мысли, которое мы называем «хранительством»[1].

Хранительство как направление русской мысли представляется нам шире политического консерватизма, так как включает идею патриотизма, защиты традиционных русских ценностей и традиционной духовности, национального исторического опыта, национальной культуры, русского языка, православной веры. У каждой страны имеются свои патриоты-хранители, приверженцы идеи сохранения исторических начал общества и государства. Это и есть консерваторы-хранители – противники радикализма и революционности. Ведь истинный консерватизм, с одной стороны, исключает возможность отрицания существующего общественного строя и, с другой – не приемлет реакционных порывов и вожделений, направленных на возрождение прошлого [см. 15, с. 71].

В XIX веке основой русского «хранительства» стали три идеи – самодержавной монархии как надклассовой силы, защищающей интересы каждого сословия и общества в целом, православия и народности. Катков был верен духу и букве знаменитой уваровской формулы «православие, самодержавие, народность». Он следует в своей аргументации положениям органической теории социально-политического развития: на определенном этапе развития культурно-исторического организма формируется духовный организм, складываются общественные отношения, из которых развивается государство, в народе пробуждается «самосознательный» и свободный дух. Уже в первой своей большой статье – рецензии на «Песни русского народа» И.П. Сахарова, рассуждая о русском народе как органическом, живом существе, о его «духе» и «сердце», Катков с большой убежденностью заявляет: «Да, мы должны, мы обязаны посвятить без раздела все наши силы нашей родине, нашему народу… Если нам дорога слава нашей России, то мы без замедления, чистосердечно и искренно должны избрать своим лозунгом те три великие слова: православие, самодержавие и народность, которые изрекло правительство во благо нам и во благо народа и которые должны быть запечатлены в сердце каждого истинно русского» [9, с. 160–161].

[1] Концепция русского «хранительства» была предложена М.А. Маслиным и разрабатывается Д.В. Ермашовым, С.В. Перевезенцевым, А.А. Ширинянцем и др. [5, 25, 27]. Концепция «хранительного» направления русской социально-политической мысли реализована в антологии «Хранители России» [18–23].

* В основе статьи – доклад автора на научно-практической конференции «От Катковского Царского лицея до Дипломатической академии (к 200-летию М.Н. Каткова)» (Москва, 14 ноября 2018 года).

Ширинянц Александр Андреевич, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. E-mail: jants@yandex.ru

В эпоху подготовки крестьянской реформы 1861 года Катков обратился к вопросу о значении русской крестьянской общины и общинного владения землей, существование которых в России, как полагали многие русские «хранители», предохраняло страну от «язвы пролетариатства».

Позиция Каткова в этом вопросе резко отличалась от позиции, например, славянофилов или же либералов-«прогрессистов». Исходя из «хранительного» принципа, согласно которому «истинное развитие совершается не ломкой и уничтожением, а преобразованием, которое пользуется бережно всеми элементами, находимыми в действительности» [11, с. 10], Катков предлагает сохранить и развить русскую сельскую общину не только в политическом или административном отношении, но и в отношении экономическом. Для этого, по его мнению, нужно «обременительный, несправедливый и вредный» передел общинных полей заменить дележом поземельной ренты, когда община передает право владения землей своим членам за справедливое вознаграждение – ренту, сумма которой будет делиться поровну между всеми членами общины «без всякого различия, владеют ли они каким-либо участком общинной земли или не владеют и даже живут где-нибудь на стороне» [11, с. 33]. Такой передел ренты, как считает Катков, «возводит каждого члена общины, пользующегося или не пользующегося землею, на степень собственника и в то же время открывает владельцам участков беспрепятственное поприще для личного труда и капитала» [11, с. 34]. Более того, осуществленный в таком виде принцип славянской общинной собственности, по мнению Каткова, превзойдет римское начало личной собственности и германское начало родовой собственности, «приведет к высшему единству и полнейшей, совершеннейшей норме общественных отношений», уничтожит причины пролетариатства и «отнимет всякую почву у праздных фантазий и диких инстинктов», включая «ужасы коммунизма» [11, с. 53].

Что касается отмены крепостного права, то Катков считал правильным освобождение крестьян с землей за «одновременный прямой и полный выкуп там, где он возможен» [8, с. 6], а первейшими шагами такого освобождения – сохранение разделения земли «между помещиками и крестьянами барщинских имений, как было до сих пор», замену обязательного труда оброком, капитализацию оброка посредством банков [см. 8, с. 5–6].

Катков верил в настоящую, реальную Россию, был убежден в жизненных силах русского народа и в его великом историческом призвании [см. 7, с. 10]. Возражая различного рода «прогрессистам» и «свистунам», стремящимся во что бы то не стало перекроить Россию по калькам различного рода западноевропейских утопий, Катков выступает резко против «механического прогресса» – бездумного перенесения на русскую почву заимствованных «прогрессивных» идей, институтов и учреждений. «Друзьям прогресса» он советует работать над собой, над своими познаниями, подчеркивая, что «все эти размашистые порождения фантазии, все это множество новых миров, создаваемых для человечества, все эти утопии, которые творятся из ничего, все это принадлежит к одному роду явлений со множеством теорий, строивших по-своему один и тот же Божий мир. Один и тот же дух положительного знания упраздняет и эти утопии, и эти теории, создаваемые из ничего» [13, с. 457]. «Самое знание совершается в опыте жизни», поэтому «мы будем на пути к лучшему не прежде, как откажемся от притязаний перестраивать общество по чистому разуму и предадимся отчетливому, всестороннему и сознательному изучению действительной жизни» [13, с. 457].

Катков не приемлет мысль, о том, «что можно и должно, пользуясь силою, направлять историю по своей воле или по своему разуму, распоряжаться ею, не спросясь у ней и образуя свои понятия не из ней самой, а принося их к ней совсем готовыми» [7, с. 28]. Не приемлет он и «пренебрежения к существующему» [7, с. 11], к реальной жизни, которое было присуще не только прогрессистам-либералам, мечтающим о светлом будущем, но и

славянофилам, обратившим свой взор к допетровской Руси. Катков не признает славянофильской критики петровских преобразований и считает, что «несмотря на насильственное преобразование, произведенное Петром, историческая связь между старою и новою Русью не совершенно прерывалась» [7, с. 25]. Проблема славянофилов – в оторванности от жизни их теоретических построений. И «прогрессистов», и славянофилов роднит одно – витание в облаках. «Наше общественное развитие будет и плодотворнее, и охранительнее вместе в той мере, в какой мы будем сознавать, что прогресс совершается в жизни и для жизни, не в облаках, а на земле, не в воздушных постройках, а в данных действительного опыта», – подчеркивает Катков [7, с. 27].

Суть позиции Каткова в спорах с либералами и славянофилами хорошо обозначил В.А. Грингмут: «И вот является Катков и впервые провозглашает, что Россия *и в настоящем своем положении* совершенно здорова, что она не нуждается ни в славянофильских, ни в либеральных переустройствах, чтобы идти по пути православия, самодержавия и народности, что для этого ей вовсе не нужно отказываться ни от драгоценного наследия своих московских царей, ни от великого наследия Петра, что ей не нужно обзаводиться ни совершенно немыслимыми при настоящих условиях древнерусскими «земскими соборами», ни бессмысленнейшими по своему существу западными парламентами, а что нужно ей только *верить в себя, верить в свои силы*, преобразовать не *внешние* государственные учреждения, а лишь *внутренний* склад духовной и нравственной жизни своего образованного общества и, искренно уповая на Бога, беззаветно повинуясь Царю и крепко опираясь на русский народ, бодро смотреть в глаза своим внешним и внутренним врагам» [3, с. 480].

Принципиальной для Каткова в определении хранительного или, как он его еще называл, «разумного», «чуткого, понимающего себя» [6, с. 38] консерватизма стала статья в февральской 1862 года книжке журнала «Русский вестник» «К какой принадлежим мы партии?». Для Каткова понятия «власть» и «свобода» равнозначны и взаимосвязаны. Вопреки сложившемуся в консервативной идеологии мнению об отрицательной сущности идеи свободы и о положительном влиянии начала принуждения Катков отстаивает идею о том, что свобода возможна только там, где присутствует власть, способная защитить личную свободу людей, и, таким образом, пытается включить «свободу» как конструктивный элемент в основы государственности и общественности. По Каткову, власть является элементом общественности, а государство – завершением системы общественной власти. Люди обретают в лице государства высшую свободу. И, таким образом, «по мере развития правильного и благоустроенного государства развивается и укрепляется в своих основах свободное общество, и государственное начало, преобразуясь, согласно своему истинному назначению, определяя все яснее свойственную ему функцию, становится источником великих благодеяний, крепкой основой свободы и соединяется с ней в общем интересе» [6, с. 37].

Условия, необходимые для правильного функционирования государства, – правильные взаимоотношения между государством и обществом, которые должны гармонично сосуществовать как единое целое и ни в коем случае не подавлять друг друга, что жизненно необходимо для свободы и власти. Свое единство государство и общество находят в верховной власти, а именно в монархии; государство служит для защиты свободы личности, вместе с тем общество находится в непосредственной связи с государством. Такая позиция обусловила обоснование им идеальной власти. В единовластии Катков видел исторический прогресс и процесс становления и развития государственности. В одной из своих работ 1863 года Катков заметил, что государство не устанавливается, пока не прекращается всякое многовластие: «Русская земля есть живая сила повсюду, где имеет силу Царь Русской земли. Никакие изменения в нашем политическом быте не могут умалить или ослабить значение этой идеи» [12, с. 49].

В статье же «К какой принадлежим мы партии?», отвечая на поставленный вопрос: «Что может быть предметом сознательного и разумного хранения?» – Катков указывает, что истинным предметом сознательного и разумного хранения должны быть не отживающие формы, «а начала, которые в них живут и дают им смысл. Всякая опасность, которой подвергается какое-либо начало, живущее в обществе, вызывает в чуткой среде проявление охранительных сил. Интерес охранительный состоит не в том, чтобы помешать дальнейшему развитию начала, которое ему дорого, но чтоб обеспечить и оградить самое его существование. Консерватизм есть живая, великая сила, когда он чувствуется в глубоких корнях жизни, а не в поверхностных явлениях, когда он относится к существованию зиждительных начал человеческой жизни, а не к формам, в которых они являются. Формы дороги для него только в той мере, в какой еще чувствуется в них жизненное присутствие начала; они дороги для него, пока с ними тесно связано существование живущего в них начала» [6, с. 38].

Таким началом для России, по глубокому убеждению Каткова, является русская самодержавная монархия, сохраняющая централизованную государственную форму страны в ее национально-политическом единстве и целостности. Монарх стоит вне частных интересов, он связывает «воедино все сословия народа». Монархия, владея самой сильной центральной властью для подавления всякой крамолы, наилучшим образом обеспечивает порядок и разрешает все социальные противоречия. Монархия, упраздняя всякую другую власть и претензии на посредничество между народом и государем различных социальных сил и институтов, дает возможность развиваться широкому народному самоуправлению и обеспечивает «народную свободу» больше, чем любой «конституционализм», «представительство» и т.п. И, наконец, монархия, «органически связанная с национальной почвой страны», с ее историей и с ее будущим – единственно возможная форма правления в России. «Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в деспотизм диктатуры; уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, место его не останется пусто, оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархами самого дурного свойства», – провидчески предостерегал Катков [6, с. 37].

К этому добавим, что в своих работах блестящий публицист Катков подчас подмечал такие явления, которые, как ни странно, до сих пор характерны для российского общества. Особенно в этом отношении интересно замеченное и объясненное им в данной, программной для журнала «Русский вестник» статье расхождение слов и дел представителей множества партий, которые «совсем не то, чем они кажутся или чем хотят казаться». Его трактовки соотношения отвлеченного прогресса и реальной жизни, власти и свободы, рассуждения о необходимости политической централизации в государстве и др., его искреннее желание разъяснить сущность «чуткого, понимающего себя консерватизма» – все это делает данную статью ценным документом не только с историко-политологической (статья, по сути, стала началом полемики М.Н. Каткова и А.И. Герцена, ответившего «Русскому вестнику» резкой статьей «Сенаторам и тайным советникам журнализма»), теоретической, но и с практической точки зрения.

Если освобождение крестьян Катков считал в экономическом плане важной и необходимой мерой, которая подняла «дух народный», стимулировала рост сельского населения и позволила увеличить производительность и качество крестьянского труда [см. 14, с. 101, 103–104], то в целом, оценивая ход и результаты реформ 1860-х годов, он приходил к выводу, что именно эти реформы нарушили стабильность государственной жизни России. Среди условий, вызвавших кризисную ситуацию, назывались самые разные: дух либерализма, занесенный с Запада, отчуждение интеллигенции от народа, ослабление роли религии, неправильная постановка учебного дела и т.д. Однако Катков и многие русские консерваторы-хранители оказались единодушны в том, что причиной всех

социально-экономических затруднений и появления оппозиционных власти настроений явились реформы 1860-х годов. Основанные на «фальшивых началах», они расстроили государственный быт, потрясли нравственные и идеологические устои существующих порядков. «Новые учреждения были задуманы и созданы к вящему здоровью нашего государственного организма, а не к устранению его или к замене другим. Тем не менее новые учреждения, слишком быстро следовавшие одно за другим, прекрасные по своей основной мысли и цели, не все должным образом и с достаточной зрелостью продуманы, а во многом сфабрикованы по чужим лекалам, и потому они внесли с собой массу представлений, которые не имеют почвы и лишены смысла в России» – так объяснял «умопомешательство» русского интеллигентного общества Катков в 1882 году [10, с. 963–964].

Действительно, благодаря этим реформам во всех сферах русской жизни произошел коренной переворот. Крестьянская реформа привела к масштабному перераспределению земельного фонда, основная часть которого осталась за поместным дворянством, к обезземеливанию и обнищанию крестьянства; она обусловила разрыв устоявшихся социально-экономических связей между дворянским и крестьянским сословиями, утрату сакрального смысла отношения дворянства и крестьянства к царскому престолу, чувства кровного единства с самодержцем. «Ограбленное» в результате реформы дворянство и «обманутое» крестьянство в конечном счете трансформировали свое недовольство в действие – патриархальную деревню потрясли крестьянские выступления и бунты, в городах появились народнические кружки, стало набирать силу и шириться революционное движение, развивавшееся до этого эпизодично. Лозунги и средства народнических революционеров эволюционировали: от социальных к политическим, от просветительских к террористическим [24, 26].

* * *

Михаил Никифорович Катков – уникальная по своим масштабам фигура русской общественной жизни второй половины XIX века. Более тридцати лет ни один сколько-нибудь значимый вопрос социально-политической или культурной жизни России не оставался без внимания Каткова, оказывавшего подчас существенное влияние на ход событий. Не удивительно, что его деятельность мало кого оставляла равнодушным – друзей и врагов он имел множество.

«Доктринер», «высокомерная, надутая натура», «литературный parvenu», «*дядя* русского развития, строптивый умеритель излишеств», место которого «в больнице, бритого и под капелью», «нравственное падение», «полицейская карьера», «пошлая брань», «шлюзы московской клоаки» – инвективы «злейшего друга» Каткова – А.И. Герцена [см. 1, с. 108–110; 2, с. 117, 120]. Приятель последнего, еще один знаменитый русский эмигрант 1860-х годов – «князь-рефюжье» П.В. Долгоруков, характеризовал «своенравного и дерзкого Каткова» следующим образом: «вечно беснующийся Катков, которому непременно нужно вечно лаять и всегда кого-нибудь кусать, который в своих наездах всегда идет далее самого даже правительства и всякого, кто не разделяет его мнения, объявляет государственным преступником и даже изменником отечеству» [4, с. 299]. Катков, как замечал А.С. Суворин, хотел играть роль «какого-то диктатора», называл себя «сторожевым» псом, который чует, если что-то неладно в доме его хозяина [17, с. 204].

«Злой гений», «парадирующий теперь как русский “патриот”» – «борец за русскую правду», «носитель русской государственной идеи», «переметная сума», «полицейская крыса» – «русский палладиум», «златоуст – апостол величия славы России», «будочник русской прессы», «жрец мракобесия» – «олицетворенное мнение России», «создатель русской журналистики», «установитель русского просвещения» и т.д. и т.п. – все это эпитеты, которыми удостаивали деятельность Каткова современники. Каждый из них, наверное,

имел основания для подобных оценок. Но все же ближе к истине слова «единомышленника Каткова в метафизике» и непримиримого противника его политических идей – Вл.С. Соловьева: «Он [Катков – *А.Ш.*] был увлечен политическою страстью до ослепления и под конец потерял духовное равновесие. Но своекорыстным и дурным человеком он не был никогда» [16, с. 561].

Литература

1. *Герцен А.И.* Логика падения / А.И. Герцен // Собр. соч.: в 30 т. Т. 18: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1864–1865 годов. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 108–110.
2. *Герцен А.И.* Катков и государь / А.И. Герцен // Собр. соч.: в 30 т. Т. 19: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1866–1867 годов. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 117–120.
3. *Гринмут В.А.* М.Н. Катков как государственный деятель // *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указ. имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова; послесл. А.Н. Николюкина / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2012. С. 474–500.
4. *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М.: Новости, 1992. 558 с.
5. *Ермашов Д.В. Ширинянц* А.А. Хранительство как основание консервативной политической культуры интеллигенции (опыт пореформенной России) // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2006. № 2. С. 5–22.
6. *Катков М.Н.* К какой принадлежим мы партии? / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указ. имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова; послесловие А.Н. Николюкина / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2011. С. 29–39.
7. *Катков М.Н.* Кое-что о прогрессе / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указ. имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2011. С. 7–28.
8. [*Катков М.Н.*] Крестьянский вопрос. I. От редакции // Современная летопись «Русского вестника». 1858. Т. 14. С. 3–7.
9. *Катков М.Н.* Песни русского народа, изданные И. Сахаровым. Пять частей. Санкт-Петербург, 1838–1839 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина: О литераторах и литературе / под общ. ред. А.Н. Николюкина / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2010. С.85–164.
10. *Катков К.М.* Процесс Стасюлевича (Долг честного гражданина) / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указ. имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2011. С. 962–968.
11. *Катков М.Н.* Русская сельская община / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5: Энергия предприимчивости. Экономика. Образование. Письма / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указ. имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2012. С. 7–55.
12. *Катков М.Н.* Самодержавие Царя и единство Руси / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2. Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указ. имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова; послесл. А.Н. Николюкина / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2011. С. 47–50.
13. *Катков М.Н.* Элегическая заметка / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Философские чтения. Статьи, трактаты, полемика / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указ. имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2011. С. 453–457.
14. *Катков М.Н.* Успехи производительности и торговли после реформы 1861 года. <1> . Москва, 5 февраля 1869 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5: Энергия предприимчивости. Экономика. Образование. Письма / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указ. имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2012. С. 100–104.
15. *Перевезенцев С.В., Ширинянц А.А.* В поисках самобытности. Об истоках отечественного национал-консервативного дискурса // Тетради по консерватизму: Альманах. М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2017. № 3. С. 61–74.
16. *Соловьев В.С.* Несколько личных воспоминаний о Каткове // *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указ. имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова; послесловие А.Н. Николюкина / ИНИОН РАН. СПб.: Росток, 2012. С. 554–561.
17. *Суворин А.С.* Дневник. М.: Новости, 1992. 496 с.
18. Хранители России: Антология. Т. I: Истоки русской консервативной мысли. XI–XVII вв. М.: Паблис, 2015. 736 с.
19. Хранители России: Антология. Т. 2: В поисках нового… консерватизма. М.: Паблис, 2015. 936 с.
20. Хранители России: Антология. Т. 3: Рождение русского консерватизма. 1800–1850 гг. М.: Паблис, 2016. 1096 с.
21. Хранители России: Антология. Т. 4: В поисках русского пути. 1800–1850 гг. М.: Паблис, 2016. 1136 с.

22. Хранители России: Антология. Т. 5: Обретённая Россия. 1840-е – начало 1860-х гг. М.: Новые решения, 2018. 952 с.

23. Хранители России: Антология. Т. 6: Крестьянское дело. 1840-е – начало 1860-х гг. М.: Новые решения, 2018. 1174 с.

24. *Ширинянц А.А.* «Просвещенная бюрократия» в эпоху крестьянской реформы 1861 г.: Я.И. Ростовцев, С.С. Ланской, М.Н. Муравьев // Русская политология – Russian political science. 2018. № 1 (6). С. 14–25.

25. *Ширинянц А.А.* Русский хранитель: политический консерватизм М.П. Погодина. М.: Русский миръ, 2008. 412 с.

26. *Ширинянц А.А.* Славянофилы в эпоху отмены крепостного права (биобиблиографический очерк) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2018 № 3 (56). С. 9–23.

27. *Ширинянц А.А.* Хранительство как основание консервативной политической культуры интеллигенции (опыт пореформенной России): концепция русской монархии // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2006. № 4. С. 69–87.

Аннотация. М.Н. Катков – уникальная фигура общественной жизни России второй половины XIX века. Более тридцати лет ни один сколько-нибудь значимый вопрос не оставался без внимания Каткова, оказывавшего подчас существенное влияние на ход событий. Его воззрения составляют содержательный момент хранительного «разумного консерватизма». Поскольку единство государство и общество находят в верховной власти, а именно в монархии, Катков предметом сознательного и разумного хранения считал монархическое начало и был противником славянофильских и либеральных планов переустройства России. В эпоху подготовки реформы 1861 года Катков выступил за сохранение русской крестьянской общины и общинного владения землей, предложив развить общину экономически, а передел общинных полей заменить дележом поземельной ренты. В целом, оценивая ход и результаты реформ 1860-х годов, Катков приходил к выводу, что именно они нарушили стабильность государственной жизни России, будучи основаны на «фальшивых началах», расстроили государственный быт, потрясли устои существующих порядков.

Ключевые слова: М.Н. Катков, крестьянская реформа 1861 года, русское хранительство, «разумный консерватизм».

Aleksandr Andreevich Shirinyants, Doctor of Political Sciences, Professor. Head of Department of History of Social and Political Doctrines, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. E-mail: jants@yandex.ru

Katkov in the Epoch of Peasant Reform of 1861

Abstract. M.N. Katkov (1818–1887) is a unique figure of Russian public life of the second half of the 19th century. For over thirty years no significant issue remained without Katkov's attention, and his opinion often deeply influenced the course of events. His views constituted the substantial element of protective «reasonable conservatism» (khranitelstvo). Katkov believed that the unity of the state and society depended on the monarchy that was the Supreme power. He defended the monarchy and opposed the Slavophile and liberal plans of reforming Russia. In the time when the preparation of the Peasant Reform of 1861 was going on, Katkov advocated the preservation of the Russian peasant community with its traditional communal land property, suggesting to assist the economic development of communities and to replace the redistribution of communal land by the redistribution of ground rent. Estimating the results of the Reforms of the 1860-s, Katkov insisted that they ruined the stability of the Russian state: based on «false principles», they were subversive of the state, and destructive to the foundations of the existing order.

Keywords: M.N. Katkov, Peasant Reform of 1861, Russian “Khranitelstvo” (preservation), “Reasonable Conservatism”.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-226-3337

Алексей Любжин

Образовательные пилотные проекты эпохи Александра II

Классическое и военное образование

> Учебная реформа не есть случайный придаток к другим реформам, так глубоко изменившим все условия нашего быта. Она тесно связана с ними как душа с телом. По успешном совершении, она послужит самым верным ручательством за прочность всех нынешних созиданий в нашем отечестве; она послужит живым свидетельством, что нынешнее преобразование России не ограничивается поверхностию, но касается сущности и идет в глубину.
>
> *М.Н. Катков [1]*

М.Н. Катков как деятель на поприще русского образования может восприниматься в двух ипостасях: с одной стороны, он общепризнанный идеолог гимназического Устава 1871 года[1], посвятивший защите его принципов немало ярких страниц[2], с другой – один из отцов-основателей престижного учебного заведения Москвы – Лицея Цесаревича Николая, который vulgo назывался Катковским лицеем[3]. Эти две области тесно связаны: практика должна была проверить теорию. В области познания плодотворным принципом является сравнение, и если в теории самым видным оппонентом М.Н. Каткова, учитывая историческую перспективу, является А.П. Щапов – и мы уже посвятили их заочному спору отдельный очерк [7], – то учебное заведение, созданное Катковым-практиком, поскольку оно представляет собой, говоря современным языком, пилотный проект классической гимназии, следует сравнивать с другим пилотным проектом того же времени – военной

[1] В советской и наследующей ей постсоветской историографии установился взгляд на Устав 1871 года как контрреформу сравнительно с предыдущим (см., например, обобщающий труд неутомимого собирателя и пропагандиста предрассудков о дореволюционном образовании Э.Д. Днепрова [2]. Между тем в интересующем нас – учебном – отношении они представляют собой половинчатую и последовательную реформу. Назовем важнейшие цифры. По Уставу от 19 ноября 1864 года [3, с. 167 сл.] в классических гимназиях с обоими древними языками полагалось в рамках семилетнего курса (берем предметы катковской концентрации) 34 часа латыни, 24 часа греческого, 22 часа математики; по Высочайше утвержденному 30 июля 1871 года гимназическому Уставу [4, с. 85 сл.) соответственно 49, 36 и 37 (с физикой, математической географией и 2 часами краткого естествоведения) за восемь лет.

[2] В виде сборника [5]. При нормальной культурной ситуации эта книга должна была бы стать классической и являться настольным чтением если не каждого педагога, то каждого школьного администратора; наша, к сожалению, весьма далека от нормы.

[3] См., напр., анонимно опубликованные мемуары [6].

Любжин Алексей Игоревич, доктор филологических наук, глава магистратуры «История и культура античности» Университета Дмитрия Пожарского. E-mail: vultur@mail.ru

гимназией, создаваемой министром Д.А. Милютиным, политическим противником реализатора катковских образовательных планов гр. Д.А. Толстого. Разумеется, взаимная неприязнь двух александровских министров – «реакционера» гр. Д.А. Толстого и «либерала» гр. Д.А. Милютина – имела вполне взаимный характер и распространялась и на представляющие предмет нашего интереса педагогические принципы и воззрения[1]. Нового учебного заведения в качестве пилотного проекта в военном ведомстве создано не было, но роль такового сыграл Второй столичный кадетский корпус. Педагогическая аналитика, применяемая нами, двумерна: с одной стороны, она рассматривает социальный контекст школы, то есть тот общественный слой, для которого она предназначена, чей социальный заказ она исполняет и к какому поприщу готовит, с другой – нас интересует собственно педагогический аспект проблемы, то есть инструментарий, предназначенный для решения учебно-воспитательных задач именно этого общественного слоя.

Разумеется, классическая гимназия – школа прежде всего *общеобразовательная* – предназначена для элиты. Ее ценз способностей и усердия не следует слишком завышать: «Выпускной экзамен должен быть веден так, чтобы ученики удовлетворительных способностей и надлежащего прилежания шли на экзамен спокойно и готовились к нему без тревоги и напряжения, за коим обыкновенно следует упадок сил и стремлений к дальнейшим занятиям» [8]. Нормативы Уставов 1864 и 1871 годов предусматривали одну и ту же норму для социального лифта, за который брало на себя ответственность государство: 10% гимназистов могли обучаться бесплатно. Для левого умонастроения эта политика неприемлема: оно представляет себе общество как призму, а не как пирамиду, и потому требует, чтобы социальный лифт работал для всех одновременно и одинаково. Но если сравнивать русскую практику не с социальными утопиями, а со сравнимым, – видно, что она была мягче западноевропейской. Таким образом, адресат гимназической реформы – общественная элита и та часть ее потомства, которая в состоянии удовлетворить некоторому не слишком завышенному уровню способностей и усердия, а также дети из низших слоев общества, могущие продемонстрировать должные учебные результаты в неблагоприятных условиях (и тем самым способностями и усердием *превосходящие* средний уровень элиты) – но в такой пропорции, чтобы установки общественных верхов усваивались новичками из низших сословий, а не наоборот.

В отличие от общеобразовательной классической гимназии военная школа – прежде всего школа сословная, и благотворительный аспект в рамках социально-образовательной политики военного ведомства играет весьма значимую роль: одна из его задач – сделать так, чтобы заслуженный офицер мог жить спокойно, зная: что бы с ним ни случилось, Царь его детей не оставит. Этот фактор обуславливал сравнительную дороговизну военной школы [9, с. 180][2]. Он же намного теснее связывал военное ведомство с адресатом его училища: зачастую сыну заслуженного офицера было просто некуда идти, и власть военно-учебного руководства над детьми была весьма велика.

Обратимся к катковскому лицею [см. подробнее 11, с. 568 сл.]. Утратив своего верного сподвижника П.М. Леонтьева, М.Н. Катков впоследствии вспоминал: «Мысль об

[1] Отметим разницу и в судьбе как реформ, так и министров: отправленный в отставку незадолго до убийства Александра II в результате искусной интриги гр. Д.А. Толстой уже при новом Императоре стал министром внутренних дел, а на посту главы образовательного ведомства оказался его давний и преданный сотрудник И.Д. Делянов; что же касается военного министра, то он разделил судьбу либеральной партии и ушел на покой при Александре III; его реформа – единственная из реформ эпохи Александра II, которая была отменена даже на номинативном уровне: военным гимназиям было возвращено наименование кадетских корпусов.

[2] Расход на среднюю военную школу составлял свыше 4 700 000 руб в год при выпуске в армию чуть более 600 офицеров, что далеко не покрывало ее потребности. Для сравнения: расходы государственного казначейства по ведомству Министерства народного просвещения составили в 1862 году 4 156 824 руб., в 1869-м – 9 289 456 руб. [10, с. 733–734]. Одна только гимназическая система образовательного ведомства по масштабу многократно превосходила систему кадетских корпусов.

учреждении этого учебного заведения была вызвана у нас вопросом об общей учебной реформе в нашем отечестве. Проникнутые убеждением, что без этой реформы тщетны были бы все обновляющие движения в народной жизни, что только путем образования может совершиться наше народное обновление и что для обеспечения судеб нашего отечества необходимо прежде всего поставить будущих учителей и руководителей народа в правильные условия воспитания, мы посвятили этому предмету всю энергию, к какой только были способны» [12, с. 45][1]. В представлении в Государственный Совет было сказано, что лицей будет основан с такой целью: «1) для удовлетворения глубоко чувствуемой потребности в основательном и прочном образовании русского юношества, как общем приготовительном, так и специально ученом, которое, не уступая по высоте и силе своей образованию других стран, соответствовало бы истинным потребностям нашего отечества и 2) для того, чтобы путем живого опыта способствовать развитию в России самостоятельного педагогического дела и выработать на практике, без предварительной регламентации, его основания, приемы и способы» [13, стлб. 1116]. Там же было сказано следующее: «Цель, для которой предполагается основать этот Лицей, не может быть достигнута ни обыкновенным казенным, ни обыкновенным частным заведением. Казенному заведению не может быть предоставлена необходимая для этого свобода действий ни относительно учебной программы, ни относительно изменений в личном составе воспитателей, ни наконец в употреблении денежных средств. Частные же учебные заведения, будучи предметом личной собственности и источником личных доходов, не могут пользоваться столь важным для успеха сочувствием, уважением и доверием публики». Устав Лицея был одобрен 12 июля 1869 года [13, стлб. 1400 сл.]. Восьмиклассная программа среднего звена[2] с большим количеством часов на древние языки была гимназической программой Устава 1871 года avant la lettre; были, однако же, некоторые существенные отличия. Лицейская система – плод англофильства ее автора – включала туторов, но работали они с классами и были близки по функциям к классным наставникам образца 1871 года. Отличался от гимназического статус новых языков: наряду с музыкой они преподавались в пансионе за отдельную плату (приходящие ученики могли пользоваться этими уроками наравне с пансионерами)[3]. Уроки предполагалось задавать небольшие, но с бдительным надзором, чтобы задания действительно исполнялись [14, с. 95]. Разумеется, министр оказывал всемерную поддержку; на заседании лицейского совета 12 сентября 1869 года он «приветствовал Лицей как школу, которая особенно должна поспособствовать тому, чтоб акклиматизировать у нас ту систему воспитания, в которой заключается главная сила Европы. “В нашей публике еще не установилось понятие о предметах педагогических, и всякая невежественная или злоумышленная агитация может рассчитывать на больший или меньший успех. Никакие аргументы не могут

[1] Далее: «Мы почувствовали тогда, что одной аргументации, сколько бы мы не влагали в нее нашего разумения и энергии, было недостаточно, что от людей преданных делу требовались еще другие усилия. И вот возникла у нас мысль устроить учебное заведение, которое не было бы нашею частною собственностью, но было бы так организовано, чтоб управление его имело полную свободу действий. Мы принимали на себя всю ответственность в направлении дела по плану, давно нами обдуманному, и в выборе лиц, достойных и способных нести педагогические обязанности…». Отметим, что в характеристике Леонтьева и Каткова, написанной для данного издания В.А. Грингмутом, первый назван *творцом,* а второй – *вдохновителем* Лицея [12, с. 543]. Талантливым выходцам из низших слоев была адресована Ломоносовская педагогическая семинария.

[2] У термина «лицей» в рамках русской образовательной традиции сложная история. Обязательным в эпоху, о которой идет речь, было наличие высшего звена в составе одного факультета (например, юридического в Ярославле и историко-филологического в Нежине). Мы не будем останавливаться на высшем звене катковского лицея; Уставом предполагалось три года университетского курса.

[3] «Для обучения новым языкам воспитанники распределяются по отделениям независимо от распределения по классам. В низших отделениях полагается на каждый новый язык по три урока, в высших по два… начинать… учиться второму новому языку в заведении разрешается только успевающим по обязательным предметам ученья» [14, с. 22–23].

так способствовать разъяснению понятий, как живой опыт заведения, которое имеет своей задачею развитие и применение общеевропейской школы к нашим народным условиям. Нельзя не пожалеть… что у нас все еще воображают, будто так называемая классическая система есть односторонность и что она способствует развитию только некоторых отраслей знания… Напрасно также думают, будто классическая система… находится в антагонизме с техническими и профессиональными школами: напротив, чем выше развивается наука, тем шире разливается ее свет"» [15, с. 31–32][1]. Отметим, что лицей был весьма дорогим учебным заведением; полные пансионеры должны были платить в I и II классах 655 руб. в год, в III и IV – 675, в V и VI – 695, в VII – 715 (для полупансионеров соответственно 505, 525, 545 и 565) [11, кн. 2, с. 294–295]. Для сравнения: когда в 1884 году шла речь о том, чтобы затруднить представителям низших слоев общества доступ в Новочеркасскую гимназию, предлагалось повысить годовую плату с 14 до 20 руб.; в реальном училище она составляла 26 руб. [11, кн. 3, с. 190]. Частная Поливановская гимназия – московская и довольно дорогая – брала (за учение) 250 руб. в год [11, кн. 2, с. 627]. Неудивительно, что катковский лицей облюбовала московская аристократия. В этом отношении социальный контекст сильно отличался от общегимназического. До гибели в огне революции лицей, переживший своих основателей, пользовался заслуженным престижем.

Теперь вернемся в школы милютинского ведомства. К уже сказанному необходимо добавить следующее [подробнее см. 11, кн. 2, с. 640 сл.]. Не будем останавливаться на такой проблеме, как общественное отношение к учебно-воспитательному строю кадетских корпусов эпохи Николая I; мы писали в соответствующем разделе нашей «Истории…», что считаем эту критику во многом несправедливой, а недостатки военной школы в ее освещении – преувеличенными. Основное зло видели в соединении общего образования со специальным. В 1863 году управление военным образованием было сосредоточено в военном министерстве. Здесь на авансцену выступает Д.А. Милютин. Он не создал новое учебное заведение для своего пилотного проекта, но избрал одно из существующих: первым в военную гимназию был преобразован Второй кадетский корпус столицы, под руководством назначенного директором бывшего инспектора классов полковника Г.Г. Даниловича. Общие положения в рамках министерской политики были намечены довольно скупо, ведомство считало необходимым поощрять инициативу и обсуждение реформы на местах; для аккумуляции и анализа опыта был создан новый журнал – «Педагогический сборник». На его страницах отражалась бурная жизнь педагогических комитетов – обсуждение и воплощение программ преподавательскими корпорациями новопреобразуемых военных гимназий.

17 мая 1864 года (ПСЗ, № 40.877) в приказе военного министра было объявлено: «Государь Император, утвердив еще в прошлом году главные начала предпринятого преобразования кадетских корпусов, основанные на совершенном отделении общего образования от специально-военного, ныне Высочайше повелеть соизволил: 1. С окончанием в военно-учебных заведениях годичного экзамена, руководясь опытом, сделанным уже в продолжение истекшего учебного года во 2-м Кадетском корпусе, применить допущенные в нем предварительные изменения к 1-му Кадетскому корпусу, 1-му и 2-му Московским, Орловскому-Бахтина и Тульскому-Александровскому. 2. Для постепенного перехода этих корпусов от настоящей военной организации к форме общеобразовательных заведений, упразднить в них строевой батальонный состав; первоначальное же приготовление к фронтовой службе включить в гимнастические упражнения; воспитанников разделить не порот-

[1] Отметим, что министр иногда в своих циркулярах почти дословно цитировал лицейские документы: «Дети любят наставников строгих и твердых, но доброжелательных и справедливых». Ср. туторскую инструкцию Лицея Цесаревича Николая: «Дети любят наставников строгих, но доброжелательных и справедливых» [цит. по: 11, кн. 2, с. 472].

но, а по возрастам, надзор за ними поручить воспитателям, избираемых исключительно в видах педагогических, а учебный курс поставить в пределах общеобразовательных училищ… 7. В течение настоящего учебного года выработать… Положение, штат и табели для военных гимназий и представить на утверждение в законодательном порядке». Как видим, военно-учебное ведомство торопилось, довольствуясь годичным опытом. 15 октября 1866 года было Высочайше одобрено Положение о военных гимназиях [16, с. 132 сл.]. В нем были названы предметы и общая продолжительность курса – шесть классов: «Военным гимназиям присвоивается реальный курс, распределяемый на шесть классов, с годичным курсом для каждого класса. Учебный курс составляют следующие предметы: 1) Закон Божий, 2) русский язык с церковнославянским и словесность, 3) французский и немецкий языки[1], 4) математика, 5) география, 6) история, 7) естественная история, 8) физика, 9) чистописание, 10) рисование… Воспитанники, кроме того, обучаются: гимнастике, выправке, маршировке и пехотным сигналам, танцованию и пению».

Однако же на страницах официальной прессы мы не встретим некоторых подробностей. В.Г. фон Бооль рисует нам важные детали осуществляемых реформ [18, октябрь, с. 79]: «Он [Г.Г. Данилович – *А.Л.*] заявил, что так как он открывает военную гимназию первым, делает первый опыт, то он непременно должен поставить новое заведение в отличное состояние, чтобы враги реформы… увидели бы пользу от преобразования. Поэтому ему необходимо отобрать в свое заведение более молодых (подразумевалось лучших) воспитанников из всех петербургских корпусов… Да-ич лично выбрал себе состав своего заведения, назначив всех засидевшихся в корпусе, безнравственных, ленивых и тупых воспитанников трех корпусов в 1-й корпус», с примечанием: «Говорят, что Да-ич объявил прямо Исакову, что надо отлично обставить 2-ю воен. гимназию и в то же время как можно хуже обставить 1-й кад. корпус, с тем, чтобы явился резкий контраст этих двух рядом стоящих заведений, и тем расположить общество в пользу преобразования». 2-й корпус не принимал и новичков, опасаясь неопределенности. Но это все не помогло: «жители Петербургской стороны перестали ходить по той стороне тротуара, где находилась 2-я военная гимназия, потому что их постоянно обливали водой и чернилами, бросали в них шариками из бумаги и из хлеба, кусками штукатурки и т.п.» [18, октябрь, с. 81]. «Лучшие ученики… стали портиться, соревнуя выказать свои туземные виды молодечества». После одного скандала трое воспитанников были переведены в военно-начальную школу; по мнению фон Бооля, в нормальных условиях их судьба сложилась бы иначе. Военно-учебной администрации удалось повысить образовательный ценз воспитателей; но сам «гражданский» характер учебных заведений противоречил их основным целям. Фон Бооль продолжает: «Преобразование совершалось без всякого внимания к судьбе служащих и главное к судьбе несчастных детей: сотни детей перевозились с места на место, из города в город, меняя не только заведение, но и воспитательные условия. Кроме громадных издержек, такие перевозки портили детей, приучали воспитанника к праздности… Понятно, что многие

[1] Специалисты полагали, что они должны взять на себя часть интеллектуально-воспитательных функций, обычно присущих древним языкам: наряду с общими учебными целями и практическими целями преподавания у них могла бы быть еще и теоретическая цель – «объяснить законы изучаемого языка, а чрез сравнение его с отечественным и другими изучаемыми языками – и понятие о языке вообще… В курсе военных гимназий грамматика новых иностранных языков получает еще тем более значения в сравнении с классическими гимназиями Министерства народного просвещения, что в нем недостает древних языков. Здесь уяснение общих понятий о языке, насколько оно условливается сравнением однородных явлений в разных языках, представляющее, по мнению всех педагогов, самый удобный материал для первоначальных упражнений в отвлеченном мышлении, только и возможно при помощи грамматики новых языков, так что о результатах, которых можно ожидать от гимназического курса без древних языков, нельзя даже составить себе и верного понятия, пока грамматика новых иностранных языков не будет заключать в себе всех тех элементов, которые придают такое обширное значение языкоучению в средних учебных заведениях» [17, с. 11 сл. официальной части].

дети потом изгонялись из заведения за неуспехи в науках. Еще хуже того, сотни детей изгонялись из заведений благодаря искусственно созданной дурной обстановке»[1]. Военные гимназии первое время «в противоположность кадетским корпусам, стали даже щеголять неряшливостью». «В половине семидесятых годов Государь посетил 2-ю петербургскую военную гимназию, нашел все грязно, неряшливо, воспитанники не умели даже прилично стоять перед ним; Государь уехал и сказал Милютину следующее: “Может быть, то, что я нашел, так и должно быть, но только я больше туда не поеду!”». Если даже это преувеличение, мы можем с достоверностью понять общую тенденцию; она сомнению не подлежит. Жестким критиком собственной работы (отвечая нашим возможным оппонентам) был и сам министр: «Сегодня собрал я у себя начальников здешних военно-учебных заведений среднего разряда и инспекторов классов, чтобы в присутствии главного начальника ген.-ад. Исакова передать им мои замечания по рассмотренным мною письменным ответам выпускных учеников… на испытаниях из математики, русского и иностранных языков. Вообще я остался недоволен этими работами; результаты <наших> усиленных и многолетних трудов для поднятия учебной части в наших общеобразовательных военно-учебных заведениях оказываются, к крайнему моему сожалению, неблестящими. С некоторым удивлением я должен был признать, что из всех пяти петербургских заведений означенной категории лучшие письменные ответы – в VII классе Пажеского корпуса; а всех слабее – в 1-й военной гимназии» [19, с. 247]. С 1-й военной гимназией все легко объяснимо: для ее упадка было сознательно сделано все возможное. А Пажеский корпус – училище, которое в силу своего привилегированного характера менее всего подверглось реформе (или, если угодно и что точнее, менее всех пострадало от нее). Это был тем более горький вывод, что военный министр, не соглашаясь с позицией гражданского образовательного ведомства, видел в своей школе правильный ответ на вопрос, поставленный перед всей страной, и образец общеобразовательного училища в принципе[2].

Пилотный проект общеобразовательной реформы был создан, реформы военного образования – выбран и виден лишь на общем фоне; потому наше сравнение не отличается стройностью и симметрией. Однако принципы, на основании которых они действовали, вполне четкие. Для первой («реакционный» вариант) это – чрезвычайная жесткость педагогических установок в сочетании с обращением к такой аудитории, над которой у школьной администрации не было власти, – к детям обеспеченных кругов московской аристократии; в этой ситуации даже избежать зависимости учебного заведения от родителей учеников представляет собой не самую простую задачу, решение которой требует большого искусства и такта. Во втором случае («либеральный» вариант) – педагогического плана, по существу, нет, и единственное жесткое требование формулируется отрицательно: только чтоб не было никакого классицизма! Но в обращении с судьбами детей (в массе зависимых от военной администрации) практикуется полнейший произвол, и благоприятные условия для пилотного проекта формируются искусственно, за счет манипуляций с составом учеников, не приводя к устойчивым положительным результатам. Различается (хотя и не так значительно) и отношение к времени: «реакционная» модель, жесткая

[1] При этом необходимость преобразований для него сомнений не вызывает. Он считает очень слабой прежнюю воспитательную часть [18, ноябрь, с. 302–309].

[2] «Нельзя, конечно, винить Милютина за то, что он не понимал дела, о котором идет речь… но совершенно непростительно, что это нисколько ему не помешало выступить в роли одного из главных руководителей агитации самой недобросовестной и нелепой… Он был создателем военных гимназий, преобразованных им из кадетских корпусов; как всякое дело его рук, и эти гимназии казались ему образцом совершенства, и вдруг ему говорят, что, быть может, они и очень хороши (хотя это подлежало сильному сомнению) как специальные заведения, предназначенные готовить для армии офицеров, но что было бы вопиющим абсурдом считать их идеалом общеобразовательной школы. Он решительно не хотел примириться с такою ересью» [20, с. 351].

и предназначенная скорее для публичной демонстрации, чем для отработки принципов, вводится в действие спустя два года после запуска пилотного проекта, «либеральная», очевидно сырая, довольствуется годичным опытом. «Реакционный» вариант оказывается жизнеспособным; «либеральный» – приводит к таким последствиям, что верховная власть не может не признать ошибки, и ей приходится – сохраняя положительные элементы преобразований[1] – во многом (и – уникальный случай! – в названии) возвращаться к прежнему состоянию. Впрочем, оглядываясь окрест себя, не можем не почувствовать, что страдание уязвляет нашу душу: как положительный, толстовский и катковский опыт, так и отрицательный, милютинский и исаковский, использовать некому.

[1] Прежде всего – сама структура военного образования с высшими военными училищами, воплотившая идею разделения общего и специального образования.

Литература

1. *Катков М.Н.* Передовая статья // Московские ведомости. 1871. № 144. 4 июля // цит. по: Календарь Лицея Цесаревича Николая на 1871–1872 учебный год. (Год третий). М., 1871. С. 50 2-й пагинации.
2. *Днепров Э.Д.* Российское образование в XIX – начале XX века. Т. 1: Политическая история российского образования. М., 2011.
3. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. № 41472. Т. 39. СПб., 1867.
4. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. № 49860. Т. 46. СПб., 1874.
5. *Катков М.Н.* Наша учебная реформа / с приложениями и с предисловием и примечаниями Льва Поливанова. М.: Изд-е С.Н. Фишер, 1902.
6. [*Вишняков П.М.*]. В катковском лицее: Записки старого пансионера (1875–1882). Вып. 1. М., 1907; Вып. второй и последний. М., 1916.
7. *Любжин А.И.* Старый спор: Рецензия на книги: Катков М.Н. Наша учебная реформа…(1902); *Щапов А.П.* Социально-педагогические условия умственного развития русского народа. СПб.: Издание Н.П. Полякова, 1870 // Вопросы образования. 2015. № 1. С. 252–271.
8. Циркуляр от 26 июня 1871 г. // Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. V. 1871–1873 гг. СПб., 1881. № 61. Стлб. 159.
9. *Коховский В.П.* Реформа военно-учебных заведений. Ее причины, способ осуществления и результаты. (1862–1869 гг.) // Педагогический сборник. 1869. Кн. III. Март. Ч. неофициальная.
10. *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб. 1902.
11. *Любжин А.И.* История русской школы императорской эпохи. Т. II: Русская школа XIX столетия. Кн. 2, 3. М.: Никея, 2016–2018.
12. Историческая записка Императорского Лицея в память Цесаревича Николая (Лицея Цесаревича Николая) за XXX лет / под ред. Георгиевского. М.: Университетская типография, 1899.
13. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. IV: Царствование Императора Александра II. 1865–1870. СПб., 1871. № 411 от 12 мая 1869 г.
14. Календарь Лицея Цесаревича Николая на 1869–1870 учебный год. М., 1869.
15. Календарь Лицея Цесаревича Николая на 1870–1870 учебный год (Год второй). М., 1870.
16. Полное собрание законов Российской Империи. Отд. 1. № 43738. Т. 41. СПб., 1868.
17. Педагогический сборник. 1866. Кн. II. Февраль.
18. *Бооль В.Г. фон.* Воспоминания педагога // Русская старина. 1904. Т. CXX. Октябрь, ноябрь.
19. [*Милютин Д.А.*] Дневник Д.А. Милютина. 1878–1880. Т. 3. М., 1950.
20. *Феоктистов Е.М.* Воспоминания: За кулисами политики и литературы. 1848–1896 / ред. и примеч. Ю.Г. Оксмана; вводная ст. А.Е. Преснякова и Ю.Г. Оксмана. Л.: Прибой, 1929.

Аннотация. В статье рассматривается деятельность М.Н. Каткова на поприще русского образования. На данной ниве М.Н. Катков выступил в двух ипостасях: с одной стороны, как общепризнанный идеолог гимназического Устава 1871 года, активно выступавший в защиту его принципов, с другой – как один из отцов-основателей престижного учебного заведения Москвы – Лицея Цесаревича Николая, который в обществе зачастую называли «Катковским лицеем». Автор проводит сравнительный анализ, говоря современным языком, пилотного проекта классической гимназии М.Н. Каткова с другим пилотным проектом того же времени – с военной гимназией, создаваемой министром Д.А. Милютиным, политическим противником реализатора катковских образовательных планов гр. Д.А. Толстого. Анализ проводится в двух плоскостях: с одной стороны, рассматривается социальный контекст школы, то есть тот общественный слой, для которого она предназначена, чей социальный заказ она исполняет и к какому поприщу готовит; с другой – собственно педагогический аспект проблемы, то есть инструментарий, предназначенный для решения учебно-воспитательных задач именно этого общественного слоя.

Ключевые слова: М.Н. Катков, Д.А. Милютин, Д.А. Толстой, система образования, классическая гимназия, военная гимназия.

Alexey I. Lubzhin, PhD in Philology, Principal, “Antiquity History and Culture” Magistracy, Dmitry Pozharsky University. E-mail: vultur@mail.ru

Educational Pilot Projects in the Reign of Alexander II

Abstract. The article examines M.N. Katkov’s activities in the sphere of education in Russia. In the field of education M.N. Katkov acted in two hypostases, – on the one hand, he was the generally recognized ideologist of the Gymnasium Regulations of 1871 who actively supported its underlying principles, and on the other hand, he was one of the founders of the prestigious educational institution in Moscow – Tsesarevich Nicolas Lyceum that was socially often referred to as “Katkov Lyceum”. The author carries out comparative analysis of Katkov’s classic gymnasium pilot project, as termed in the present-day language, with another contemporary pilot project – that of the military gymnasium founded by the Minister D.A. Milyutin, political opponent of Count D.A. Tolstoy who was engaged in the realization of Katkov’s educational projects. The author offers the two-plane analysis of the issue: the first one deals with the school social context, i.e. the social stratum, for which the educational institution is intended, whose social order it fulfills and for which professions it prepares; the other one deals with the pedagogical aspect of the problem, i.e. the tools used to reach the teaching and educational goals of the particular social stratum.

Keywords: M.N. Katkov, D.A. Milyutin, D.A. Tolstoy, Educational System, Classic Gymnasium, Military Gymnasium.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-334-347

Игумен Виталий (Уткин)

Михаил Никифорович Катков и борьба вокруг церковного характера начальной народной школы

В 1876 году произошло весьма характерное столкновение между одним из главных либеральных изданий – петербургской газетой «Голос», редактируемой Андреем Александровичем Краевским (1810–1889), и «Московскими ведомостями», которые к тому времени уже тринадцать лет редактировал Михаил Никифорович Катков (1818–1887).

3 февраля «Голос» под заголовком «Земские известия» опубликовал обширное письмо гласного (депутата) Рязанского губернского земского собрания Ф.С. Офросимова [20] о скандале, разгоревшемся в Александровском земском училище [8, с. 2]. Федор Сергеевич Офросимов (1817–1885), статский советник, помещик, бывший городской голова Рязани (1871–1872), а перед этим – председатель Рязанской уездной земской управы (1865–1871) был одним из лидеров либералов Рязанской губернии [5]. Предваряя его письмо, редакция «Голоса» заявила, что «всевозможные нападки на учительские семинарии сделались в настоящее время явлением обычным» – совсем недавно «сошла со сцены» Вятская учительская семинария, и вот теперь опасность нависла над учительской семинарией в Рязани [8, с. 2]. В чем же рязанский гласный и петербургские либералы увидели эту опасность?

Созданное в 1869 году и названное в честь Александра II в воспоминание покушения Д.В. Каракозова на царя (4 апреля 1866 года), оно приобретет реальный статус учительской семинарии только в 1885 году, через шестнадцать лет с момента открытия [24]. Здесь стоит подчеркнуть, что речь идет о светском учебном заведении, хотя и носящем имя «семинарии». Оно никак не было связано с Рязанской духовной семинарией, готовившей священнослужителей.

Из предисловия редакции к письму рязанского гласного следует, что за год до доклада Ф.Н. Рюмина, в 1874 году, директор правительственной инспекции народных училищ опроверг право Александровской земской школы на подготовку учителей. Такое право просто не было записано в ее уставе [8, с. 2]. В результате выпускникам устроили экзамен на учителя в гимназии, что страшно возмутило земских деятелей. Потом земцы нашли все-таки в утвержденном ими же уставе школы некий параграф на право выдавать учительские дипломы [8, с. 2]. Ф.С. Офросимов с негодованием пишет, как на протяжении всех восемнадцати дней сессии земцам пришлось биться за то, «чтобы удержать и не дать разрушить» дело, «пустившее здоровые и свежие корни» [8, с. 2].

Ф.Н. Рюмин обвинил воспитанников школы в «антирелигиозном и безнравственном направлении». При этом он ссылался на инспектора начальных школ, которому крестьяне

Игумен Виталий (Уткин Игорь Николаевич), секретарь Архиерейского совета Ивановской митрополии, секретарь Ученого совета Иваново-Вознесенской духовной семинарии, руководитель Миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии, преподаватель кафедры теологии Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свв. равноапп. Кирилла и Мефодия. E-mail: inok_vitl@mail.ru

рязанской Троицкой слободы, где располагалась «семинария», жаловались – воспитанники не дают им покоя, свободно уходят из учебного заведения, посещают трактиры, ходят пьяные с песнями и гармошкой, заводят драки, иногда их задерживает ночью за буйство городской караул [8, с. 2]. Выпускник «семинарии», ставший учителем в селе Киструс Спасского уезда, нахамил губернатору, посетившему его школу, другой выпусник, назначенный в Касимовский уезд, открыто кощунствовал [8, с. 2].

Выяснилось, что в «семинарии» от воспитанников не требуется обязательного посещения церкви, посты практически не соблюдаются, ученикам незнакомы самые основные правила вежливости, они грубы и бесцеремонны, неопрятны. Учащихся кормили из общей чашки. Классных журналов не было в принципе, учащихся пичкали идеями популярного в разночинной среде 60-х годов XIX века вульгарного материалиста Молешотта, того самого, который считал, будто бы мозг вырабатывает мысль, как печень – желчь. Один из выпускников «семинарии», став земским учителем, скормил собаке просфору [6, с. 36].

В защиту учительской школы поднялись все местные земские либералы. Особенно настойчиво выступал предводитель дворянства Спасского уезда Дмитрий Дмитриевич Дашков (1833–1901). Его аргументация была проста: в «семинарии» хорошо учатся, значит, пить не могут и тратить время на прогулки с гармошкой по улицам тоже. По его словам, в трактиры ученики, как это обычно делает простонародье, ходят кушать, нравственный человек вовсе не обязан обладать светскими манерами. Учителя должны дружить с воспитанниками, а не прививать им палочную дисциплину или следить за «образом их мыслей». Д.Д. Дашков с брезгливостью высказался в адрес свидетельствовавшего против «семинарии» местного священника о. Алякрова, что тот якобы сам хочет занять в школе место воспитателя [8, с. 2].

Один из крупнейших русских либералов второй половины XIX столетия, славянофил и крупный помещик Александр Иванович Кошелев (1806–1883), тоже являвшийся гласным Рязанского губернского земского собрания [20], требовал от Ф.Н. Рюмина тщательной проверки всех обвинений, заявлял, что никакие факты комиссией земскому собранию не представлены [8, с. 2].

В конечном счете собрание отдало «в дисциплинарном отношении» Александровскую «семинарию» (которая пока не имела такого статуса) под особое наблюдение председателя губернской земской управы, другого крупного помещика, князя Сергея Васильевича Волконского (1819–1884) и признало состояние учебного заведения в религиозном отношении вполне удовлетворительным [8, с. 2]. Гласные создали специальную комиссию для выработки дисциплинарных правил Александровской школы и дружно забаллотировали Ф.Н. Рюмина, который попытался в эту комиссию войти [8, с. 2].

При этом речь шла о школе, насчитывающей всего несколько десятков учеников – крестьянских парней. Казалось бы, почему все эти серьезные люди восемнадцать дней тратят на столь незначительный вопрос, а крупное либеральное издание отводит под рассказ об этом почти целую полосу? Недаром ведь Ф.С. Офросимов заявил, что Рюмин «бросил камень в воду», в результате чего пойдут круги [8, с. 2]? То, что подоплека рязанских событий имеет всероссийское значение, показали дальнейшие события.

10 марта, чуть больше чем через месяц после публикации «Голоса», в катковских «Московских ведомостях», было опубликовано «Письмо к издателю» Ф.Н. Рюмина [23, с. 4]. Он доказывает, что перед ревизией Александровской школы собрал о ней всевозможные сведения от «воспитанников, должностных и частных лиц, живущих в околотке семинарии, от г.г. инспекторов народных училищ и от землевладельцев, имеющих в своем соседстве сельских учителей, окончивших курс в земской семинарии» [23, с. 4]. Все они говорили «о расстройстве в ней важнейшей воспитательной части» [23, с. 4]. Рюмин жалуется на «не совсем доброжелательный прием», который встретил его доклад на сес-

сии Рязанского губернского земского собрания [23, с. 4]. В его письме снова перечисляются пьянки учащихся, хождение их по трактирам с гармошкой, непосещение ими церкви [23, с. 4]. Ф.Н. Рюмин настаивает на достоверности своих сведений, говорит о привлечении в качестве свидетелей местного пристава и священника [23, с. 4].

В своем письме Рюмин делает массу реверансов в сторону рязанских либеральных земцев. Он упорно именует земскую школу семинарией, хотя та не имела еще такого статуса, пишет, что преклоняется перед «красноречием и находчивостью Д.Д. Дашкова, перед его любовью к земским делам, перед изящно-литературной формой его докладов, привлекающих толпами публику в зал собрания». Но все же он фактически обвиняет Дашкова в подтасовках фактов, словесной эквилибристике. Настаивая на том, что дисциплина лежит в основе нравственного воспитания, Ф.Н. Рюмин подчеркивает, что этот его тезис очень не понравился ни земцам, ни «Голосу». Он возмущается тем, что Д.Д. Дашков обычные дисциплинарные меры публично назвал «дрессировкой» [23, с. 4].

Через четыре дня после публикации письма Ф.Н. Рюмина М.Н. Катков поместил в «Московских ведомостях» свою передовую статью (как обычно, неподписанную) по следам рязанских событий [9, с. 3]. В ней он говорит о вреде «дурно воспитанных учителей».

Михаил Никифорович пишет: «Приготовление таких учителей, которые могли бы быть распространителями не просто грамотности, но и религиозно-нравственного воспитания в народе есть дело первой важности: от него зависят судьбы нашей народной школы и свойство ожидаемых от нее плодов» [9, с. 3]. Он обращает внимание на то, что не воспитанные должным образом учителя принесут крестьянам куда больше вреда, нежели революционные народники. О последних М.Н. Катков отзывается так: «пустые люди, которые никем не призванные и не признанные “идут в народ”» [9, с. 3]. В качестве примера он приводит германские учительские семинарии, где педагогика основана на дисциплине, в том числе – и на жестких наказаниях [9, с. 3].

Далее Катков касается самих рязанских земцев и атмосферы, царившей на земском собрании. Он отмечает: «Господин Рюмин, производивший ревизию семинарии, был посажен на скамью подсудимых; ответчики и их адвокаты преобразились в судей… Поднялись хитрые вопросы, открылись ораторские заговаривания противника, началась обычная на земских собраниях история заминания вопроса и поворачивания гласных в ту сторону, в какую нужно. Председателя ревизионной комиссии… поставили в положение судимого за клевету; все подтверждения ревизионной комиссии всеми правдами и неправдами старались заподозрить и дискредитировать» [9, с. 3]. Свою статью Михаил Никифорович закончил предложением передать Александровскую школу от земцев в «более компетентные руки» Министерства народного просвещения [9, с. 3].

Через полтора месяца, 19 апреля 1876 года, М.Н. Катков вернулся к теме рязанского конфликта в новой передовой статье «Московских ведомостей» [10, с. 3–4]. Здесь он напоминает читателям об обвинениях в адрес земской «семинарии» и добавляет новые подробности: «На стенах и потолках обвалилась штукатурка, стены покрыты слоем пыли, в библиотечной комнате валяются оборванные книги и изломанные инструменты, в мастерских все разбросано в пыли и беспорядке. Всякие справки о воспитанниках затрудняют учителей, во всем обнаруживается отсутствие хозяина» [10, с. 3].

Катков напоминает читателям вывод ревизионной комиссии, написавшей: «Образование в Александровском земском училище совершенно сглаживает в воспитанниках присущий русскому крестьянину отпечаток врожденной религиозности и непритворной вежливости и создает из своих питомцев что-то недоделанное, не обещающее желаемых результатов» [10, с. 3]. Он раскрывает причины, по которым рязанские земцы бросились защищать это учебное заведение: «Осуждение школы принято, как осуждение деятельно-

сти земства по части народного образования, приверженцы педагогической деятельности земства почувствовали затронутым свое самолюбие» [10, с. 3].

Не только «Голос» А.А. Краевского, но и, пожалуй, наиболее известное тогда либеральное повременное издание – «Вестник Европы», редактируемый Михаилом Матвеевичем Стасюлевичем (1826–1911), встало на защиту рязанской учительской школы, вступив в полемику уже с «Московскими ведомостями» [4, с. 819–820].

Крайне характерно, что эта полемика со стороны неподписавшегося автора (самого М.М. Стасюлевича?) велась уже в контексте требований «свободы совести», ограничения прав семинаристов на поступление в университеты, призывов к ликвидации сословного характера духовных семинарий и епархиальных женских училищ, превращению их в некие «специальные курсы». Именно этим вопросам и была посвящена основная часть «Внутреннего обозрения» апрельского номера 1876 года, в контексте которых задели в том числе и статью «Московских ведомостей» о рязанском конфликте [4, с. 793–820].

М.Н. Катков откликнулся на выпад «Вестника Европы», язвительно заметив, что его редакция решила теперь сыграть роль церковного благочинного. Речь шла об обвинениях, который «Вестник Европы» выдвинул в отношении рязанского священника, обвинившего учащихся Александровской школы в том, что они выходят с Литургии, их приходится потом разыскивать с помощью дьячка, – мол, священник должен быть всецело поглощен богослужением, а не следить за прихожанами [10, с. 3].

Михаил Никифорович считал, что конфликт вокруг рязанской учительской школы лишний раз доказывает – «земские учреждения вообще не так организованы, чтобы заведовать учебно-воспитательным делом» [10, с. 3]. Вновь упоминая народников, но не называя их этим нарицательным именем, М.Н. Катков пишет: «Язва дурных народных учителей, образованных по системе педагогов Рязанского земства, есть несравненно более серьезное и опасное зло, чем вся эта мелюзга, которая в наши дни, гонимая каким-то ветром, тщится распространять в народе революционные идеи». По его мнению, с самим народом эта «мелюзга» имеет мало общего и поэтому не может считаться «серьезным злом в народной жизни». Она исчезнет, как только, и тут Михаил Никифорович применяет весьма крепкое, хотя и печатное выражение, «наше так называемое образованное общество будет умнее и очистится от старого крепостного дерьма, которое еще продолжает либерально киснуть и прогрессивно разлагаться на нем». А вот «народные учителя, воспитанные по программе непризванных педагогов, могут стать язвой, которая будет отравлять народное существование в его истоках» [10, с. 3].

М.Н. Катков развивает в этой статье свое видение задач начальной народной школы и подготовки для нее учителей. Он считает, что учительская семинария не имеет никакого отношения к высшему образованию, не готовит «двигателей науки, профессоров и академиков». Учитель народной школы должен быть хорошо грамотным, «сведущим в предметах первоначального обучения», но «прежде всего и главнее всего» человеком порядка, дисциплины, воспитанным «в строгом соблюдении церковных уставов и правил общественной нравственности». Курс его обучения должен быть рассчитан не на подготовку всезнайки, «способного легко толковать о предметах, превышающих его разумение», а на формирование человека скромного, «без фальшивых претензий» [10, с. 3]. То есть новый учитель, получивший поверхностные знания, становится самым опасным, самым разрушительным ферментом для активного брожения в народной массе, особенно если он приправлен тем самым печатным «крепостным дерьмом». На самом деле при всей своей внешней экзальтированности эта мысль Михаила Никифоровича весьма точна. Только, как мы покажем ниже, стоило вместо слова «крепостное» сказать «крепостническое» по отношению к происхождению русского либерализма 60–70-х годов XIX века.

Катков считал, что «церковные причетники и старые служивые» гораздо лучше новых учителей могут обучать народ, как это и было в старые времена. По крайней мере они не возведут «распущенность в идеал, разврат в науку и не поставят для народа кабак вместо храма», чего можно ожидать от земских питомцев. В общем, говорит он, лучше «оставить это дело», то есть создание нового учительского сословия, «на волю Божию» [10, с. 3].

В этом же номере «Московские ведомости» напечатали оправдательное письмо в редакцию того самого князя С.В. Волконского, которого рязанское собрание поставило во главе комиссии по наблюдению за Александровской школой. В нем Волконский настаивал на ненужности дисциплины в учительском учебном заведении. М.Н. Катков сопроводил текст своего «почтенного противника» такими словами: «Руки опускаются при виде, какая смута понятий господствует у нас в умах общественных деятелей, даже воодушевленных лучшими намерениями» [10, с. 4].

Обращаясь к своим земским оппонентам, М.Н. Катков пишет: «У каждого из вас, наверное, есть много серьезных дел, занимайтесь ими, занимайтесь тем, в чем вы можете показать себя людьми вполне зрелыми, здравомыслящими, дельными и бросьте то, что вас сбивает с толку». Михаил Никифорович считает, что они упорствуют из самолюбия и поступают против совести [10, с. 4].

Однако на самом деле то, что «почтенные противники» «Московских ведомостей» настаивали на создании новой земской школы с новыми учителями, напрямую вытекало из их мировоззрения и рассматривалось ими самими как одно из главных дел жизни. Одной из ключевых фигур в конфликте вокруг Александровской земской школы был, как отмечалось выше, Александр Иванович Кошелев. В современной литературе можно встретить в применении к нему, например, такое наименование: «Титан российской провинции» [5]. Этот известный либерал, славянофил и деятель освобождения крестьян был одновременно весьма рачительным крупным помещиком – по разным данным, он имел в Рязанской губернии от 5 до 5,5 тыс. душ крепостных [7, с. 67].

Даже к моменту реформы 1861 года барщинные крестьяне составляли половину всех крепостных Кошелева. На основе указа 12 июня 1844 года, позволяющего отпускать дворовых на волю без земли, А.И. Кошелев по добровольной сделке отпустил до 200 своих дворовых, определив выкуп по ценам продажи людей или по стоимости рекрутской квитанции. Мальчик 15 лет мог откупиться за 150 рублей серебром, мужчины от 20 до 30 лет – за 300 рублей серебром. Если дворовый был обучен ремеслу, то выкуп повышался до 420 рублей серебром. При этом Кошелев яростно обличал других помещиков, «которые еще торгуют людьми» [7, с. 69].

В 1835 году к Кошелеву перешел от прежнего владельца винокуренный завод в плачевном состоянии. Кошелев привел его в порядок и за десять лет (1838–1848) нажил на винных откупах целое состояние, только за один 1838 год – 100 тысяч рублей серебром [7, с. 71]. В начале 1848 года Александр Иванович на выгодных условиях отказался от откупов [15, с. 83]. В 1850 году он составил записку о вреде откупов для народа и об их невыгодности для казны [7, с. 71].

Занимаясь предпринимательской деятельностью, А.И. Кошелев сблизился с одним из представителей крупной буржуазии В.А. Кокоревым, также разбогатевшим на винных откупах и нажившим себе семимиллионное состояние. Именно Кокорев откровенно заявил на собрании купечества в Москве в 1857 году, что капиталы винных откупщиков «составились из числа трудовых крестьянских денег» [7, с. 72]. Известная исследовательница деятельности славянофилов Е.А. Дудзинская считала, что «на первом месте у Кошелева стоял его собственный интерес, а затем уже все остальное» [7, с. 69].

После смерти Александра Ивановича его наследникам досталось земли и недвижимости на 2 миллиона 44 тысячи 500 рублей [7, с. 69]. При этом Александр Иванович

Кошелев считал себя глубоко верующим православным христианином и воспринимался современниками в качестве такового. До конца своей жизни он соблюдал установленные Церковью посты, что было совершенно нетипично для его общественного слоя [25, с. 2]. Каждый воскресный день он старался бывать в храме и пропускал богослужение только в случае крайней необходимости [13, с. 228]. Матери Александр Иванович писал: «Благодать Божия не покидала меня, и одно из лучших для меня удовольствий – встать поутру и прочитать две или три главы из Евангелия. Это успокаивает меня на целый день и очищает душу» [13, с. 229].

А.И. Кошелев считал, что главным отличием его друзей-славянофилов от западников было отношение к религии. Он писал в своих мемуарах, что западники «отводили религии местечко в жизни и понимании только малообразованного человека и допускали ее владычество в России только на время, – пока народ не просвещен и малограмотен; мы же на учении Христовом, хранящемся в нашей православной Церкви, основывали весь наш быт, все наше любомудрие и убеждены были, что только на этом основании мы должны и можем развиваться, совершенствоваться и занять подобающее место в мировом ходе человечества» [15, с. 91].

С 1847 года Александр Иванович, по собственным его словам, «погрузился в чтение богословских книг» [15, с. 83]. «Зимние беседы с Хомяковым и Ив. Киреевским, – вспоминает он в мемуарах, – были главной побудительной причиной к этим занятиям… Чтение святых отцов особенно меня к себе привлекало, и я в одно лето прочел почти все творения Иоанна Златоустого и много из сочинений Василия Великого и Григория Богослова. Эти занятия меня оживляли, поднимали, и я чувствовал себя как бы возрожденным» [15, с. 83].

На протяжении сорока лет по вторникам А.И. Кошелев в своем московском доме собирал салон для людей самых разных политических взглядов – от славянофильствующих либералов до радикалов. Как свидетельствует автор некролога в газете «Современные записки», он незадолго до своей скропостижной смерти объехал знакомых и «очень просил их не забыть вторника». В тот самый вторник, 15 ноября 1883 года состоялись его похороны в Даниловом монастыре Москвы [25, с. 2].

При этом в целом к духовенству А.И. Кошелев относился резко критически. На протяжении всей своей общественной деятельности он будет резко протестовать против попыток сосредоточить начальное образование в руках духовенства, а в конце жизни – против планов правительства существенно расширить сеть церковно-приходских школ. Например, в 1869 году он обвинял священников, руководивших приходскими школами, в том, что большинство из них преподают неудовлетворительно [14, с. 143].

Фактически Кошелев рисует карикатуру на приходские школы, утверждая, что ученики там работают на священников, «носят воду, рубят дрова, посылаются на гумно за соломою или с другими поручениями, а в свободное от этих занятий время долбят азбуку или псалтирь» [14, с. 143]. «Эти школы просто вредны, – восклицает Александр Иванович, – ибо тут мальчики не образовываются, а привыкают к напрасной трате времени, ко всякого рода шалостям, и получают отвращение от чтения и письма» [14, с. 143].

За год до своей смерти, в октябре 1882 года, в той самой либеральной газете «Голос», с которой активно боролся Михаил Никифорович Катков, Кошелев выступил с обширной статьей, направленной против планов правительства особо поддержать развитие церковно-приходских школ [16, с. 1]. Здесь он обвинил духовенство в том, что оно хочет из видов корысти захватить сельские школы. При этом оно, как только получит денежную помощь от государства, непременно, с точки зрения Александра Ивановича, «пренебрежет своими пастырскими обязанностями» и станет «по большей части неумело» учить детей. Он был убежден, что крестьяне категорически не любят духовенство. Кошелев восклицает: «Откройте словарь Даля на слове “поп” и вы вполне в этом убедитесь. Этот церковный служитель перещеголял даже казенного

чиновника, который, быть может по меньшим сношениям с крестьянами, не вызывает с их стороны такого множества иронических и сатирических замечаний и острот» [16, с. 1].

А.И. Кошелев шантажирует читателей тем, что в случае решения правительства выделить средства под церковно-приходские школы, «земства свои ассигновки на народное образование прекратят». «Общегосударственных, общенародных денег» будет потрачено много, а результата, с точки зрения Кошелева, не будет вовсе [16, с. 1]. В качестве примера он приводит «прежние училища министерства государственных имуществ, существовавшие только на бумаге, а в действительности – лишь в зданиях и расходных отчетах» [16, с. 1].

Под стать Александру Ивановичу Кошелеву действовал и его ближайший соратник, Дмитрий Дмитриевич Дашков, сын министра юстиции Дмитрия Васильевича Дашкова [17], предводитель дворянства Спасского уезда Рязанской губернии [17], гласный Рязанского губернского земского собрания [20]. 13 декабря 1869 года он выступил на сессии этого собрания с резкой критикой существующей постановки начального школьного образования в Рязанской губернии, приведя, впрочем, и ряд позитивных, с его точки зрения, примеров, в том числе и по школам, руководимым духовенством [6, ч. 2, с. 3–38].

Именно Дашков был инициатором создания в Рязани специальной школы для подготовки учителей, причем подчеркивал, что «особая симпатия» привязывает его к «молодому сельскому учителю из крестьян», хотя и мелкопоместные дворяне, и дети дьячков тоже могут годиться в учителя [6, с. 29]. В 1872 году он издал брошюру «Каких училищных семинарий нам не нужно?», где писал, что подготовка учителей заключается в их воспитании, а не в «приготовлении различных учительских и других дел мастеров» [6, с. 29]. До конфликта вокруг Александровской школы тогда оставалось всего три года.

На открытии в Рязани специальной учительской семинарии, в которой из крестьянских мальчишек делали бы народных учителей, настаивал в 1869 году в своей книге «Голос из земства» и Александр Иванович Кошелев [14, с. 104].

Но, может быть, действительно состояние народной школы на селе к моменту земской реформы являлось совершенно неудовлетворительным, а духовенство в своей массе не способно было быть учителями?

Это совершенно не так.

В первую очередь следует отметить, что грамотность на селе не была напрямую связана со школьной сетью. Например, в Яриловой волости Пошехонского уезда с 30-х по начало 60-х годов XIX века грамотность призывников достигала 40%, в некоторых местах до 2/3, а в ряде селений вообще не было неграмотных. В Угличе из 283 призывников в 1858–1861 годах грамотных было 257. Грамоте учили «мастера» из числа клириков, отставных солдат и т.д [2, с. 152].

Об уровне грамотности крепостного крестьянства свидетельствует тот факт, что еще в XVIII столетии крепостные графов Шереметевых из села Васильевское Шуйского уезда во главе с крестьянином Иваном Прихудаловым вели богословскую переписку с преподобным Паисием Величковским, который из далекой Молдавии присылал к ним своих монахов с ответами [2, с. 152].

С 1836 года, после утверждения Святейшим Правительствующим Синодом специальных правил для первоначального обучения поселянских детей, начинают активно открываться народные школы, руководимые духовенством [2, с. 152].

В 1838 году в селениях государственных крестьян, подконтрольных Министерству государственных имуществ, начинают в массовом порядке создаваться школы, учителями в которых были священнослужители. Школы эти были достаточно эффективны и вовсе не являлись формальными вопреки приведенным выше утверждениям А.И. Кошелева.

В результате к моменту отмены крепостного права многие священнослужители имели педагогический стаж народного учителя, исчислявшийся двумя десятками лет [2, с. 153].

Некоторые из них, несмотря на последовавшее затем давление на духовенство со стороны либерального земства, в той или иной форме продолжили свою педагогическую деятельность. Так, настоятель храма в селе Алпатьево Зарайского уезда Рязанской губернии протоиерей Алексей Тарасович Дроздов посвятил школе 44 года и 5 месяцев своей жизни, обучив грамоте несколько поколений односельчан.

Учительство было совершенно органичным и естественным занятием для духовенства, подготовленного к нему долгими годами обучения. Это многократно и многообразно подчеркивалось в консервативной публицистике в конце 50-х – 60-х годов XIX века. Например, в 1859 году журнал «Домашняя беседа», редактируемый Виктором Ипатьевичем Аскоченским (1813–1879), писал, что в духовных семинариях «преподается богословие со всеми его отраслями… две главные и существенные части философии, то есть, логика и психология, обучают духовной и светской… словесности, теоретически и практически; древним и новейшим языкам (хотя последним и с грехом пополам), читают библейскую, церковную, общую политическую и всеобщую историю, учат физике, математике (тоже весьма недостаточно), знакомят воспитанников с сельским хозяйством, медициной, рисованием». Неужели же этих знаний священника недостаточно для того, чтобы преподавать самые элементарные предметы крестьянским ребятишкам? [18, с. 186].

Журнал «Христианское чтение» в 1862 году подчеркивал, что духовенство самыми органичными узами связано с народом: «Пятилетний сын священника деревенского, дьячка или пономаря, – пишет он, – первые свои связи заводит с крестьянскими мальчиками; с ними он играет, они бывают первыми его друзьями… полная и постоянная связь детей духовных с крестьянскими продолжается до тех пор, пока восьмилетнего поповича или дьячковича не посадит отец на телегу и не отвезет его в училище. И здесь в уездном городе, кроме своей братии – учеников, духовный мальчик заводит игры и знакомство с детьми не помещиков, не купцов, а с детьми солдат, мещан, у которых или вблизи которых ему приходится жить на квартире… Летние будничные занятия особенно дьяческих и пономарских детей бывают одинаковы с занятиями крестьянских мальчиков: те и другие помогают своим отцам в полевых работах» [22, с. 641].

«За исключением исправников и становых до последнего времени деревни не видали образованных людей возле себя, – продолжает тот же автор. – Все, что образование давало простолюдину, давалось ему через духовенство… Священнический сын, приехавший на каникулы, рассказывает своим сверстникам о чудесах городской образованности и о чудесах науки, о том, что молния бывает от электричества, что есть лодки, ездящие без парусов и весел, что существует на свете чугунка и что сто тысяч пудов может вместо лошадей везти пар… и сообщает другие подобные диковинки знания и цивилизации» [22, с. 643–644].

Неподписавшийся автор, видимо, из числа духовных, пишет: «Мы все почти выходим из народа, и снова, худо ли, хорошо ли образовавшись, возвращаемся в народ, и имеем полное право сказать, что лучше других образованных господ знакомы нам и радости и горе крестьянина. Что заунывная песня сильнее хватает нас за сердце, что мы очень хорошо понимаем и грехи, и добрые качества народа, что, словом, мы солидарнее всех лицемерно болеющих печальников народного счастья со своим народом» [22, с. 641].

Несмотря на свою близость к народу, священнослужители стояли существенно выше него по своему культурному уровню. И они совершенно естественно брали на себя цивилизаторские функции на селе.

В 1853 году в Новгородской губернии случилась эпидемия холеры. Тогда, после духовно-школьной реформы 1840 года, в семинариях изучался законченный курс медицины. Новгородские семинаристы были отправлены в села, где несли фельдшерские обя-

занности и, насколько было возможно в тогдашних условиях, старались лечить заболевших [3, с. 97].

Непосредственно перед отменой крепостного права и сразу после него Русская Церковь начала массово создавать приходские школы практически во всех епархиях. Так, один из самых известных рязанских архиереев, архиепископ Смарагд (Крыжановский) в одном только сентябре 1861 года открыл 93 новые школы. Учительствовали в них священники и диаконы. К апрелю 1862 года, в той самой Рязанской губернии, где Д.Д. Дашков потом будет жаловаться на якобы неразвитую школьную сеть, было уже 805 церковных начальных школ [2, с. 154].

Фактически на селе сложилась уникальная ситуация. Духовенство, являющееся лидером народного образования, могло реально стать весьма весомой силой в сельских общинах. Помещикам же терять лидерство совсем не хотелось. Такая ситуация совершенно не нравилась дворянству. Учитывая, что бюрократия, а потом и земские управы также были дворянскими, началась напряженнейшая борьба помещиков за выдавливание духовенства из народной школы и из сельской жизни вообще. Этому, например, была подчинена идея создания так называемых приходских попечительств, в которых священник полностью отстранялся от какого-либо участия в экономической жизни прихода, а земства, точнее, влиятельные помещики, приобретали бы полный контроль над церковной жизнью.

Впоследствии, столетием спустя, подобный способ борьбы с духовенством, якобы ради церковного самоуправления, изберет Н.С. Хрущев. А пока тот же Александр Иванович Кошелев активнейшим образом настаивал на повсеместном создании таких приходских попечительств [14, с. 131–132]. Он гневно обличал нежелание духовенства отдавать контроль над храмом прихожанам, писал, что священники «не хотят менять верное на неверное, собственное, произвольное хозяйничанье на чужое» [14, с. 128]. Кошелев настаивал, что члены попечительства должны распоряжаться не только теми деньгами, которые внесли на храм лично, но вообще всем приходским имуществом. Однако сам же констатировал, что в целом эта попытка земского либерального дворянства взять под свой контроль приходы провалилась [14, с. 129].

Как известно, в преддверии реформы 1861 года были учреждены губернские комитеты по крестьянским делам. А.И. Кошелева в такой комитет в Рязани не избрали, однако он сумел получить назначение туда от рязанского губернатора. В 1859 году этот комитет подготовил проект «Положения об улучшении быта помещичьих крестьян Рязанской губернии», в котором выражал опасения, что духовенство потеснит дворянство в сельской местности: «Доселе в России духовенство было подчинено во всем светской власти, но в минуту переворота оно может воспользоваться новым положением крестьян и стремиться к распространению своей власти за счет помещиков. Это опасение тем более представляется основательным, что опытом доказывается, что в большей части возмущений крестьян против помещиков, самую главную роль разыгрывало всегда местное духовенство» [2, с. 155].

Православными публицистами этого периода стремление образованного класса к материальной корысти и власти осознавалось очень хорошо. Например, «Домашняя беседа» четко указывала именно на эти основания попыток вытеснить духовенство из народной жизни. Она бросала в лицо «прогрессивному» либеральному дворянству обвинение в том, что оно считает народ только лишь «производительной силой в материальном отношении» и хочет в светских школах «выдрессировать человека, как дрессируете вашу собаку, чтобы она бойче доставляла дичь к вашему столу; как обучаете лошадь, чтобы она хорошо ходила у вас и под верхом и в оглоблях… Вы… смотрите на крестьянина, как на какую-то машину, которая, по-вашему, идет медленно, потому что цепляется за что-то,

и устраняя это что-то, хлопочете о том, чтобы она пустилась быстро вращаться в ваше удовольствие» [18, с. 185].

Журнал подчеркивал, что духовное воспитание в православной традиции делает человека свободным, а функциональные знания могут ввергнуть его в положение раба. С православным образованием народа, «трудно сделать простолюдина машиной», ведь он «помня заповеди Божии, несмотря ни на какие запрещения, будет почитать церковные праздники и не пойдет в эти дни работать на вас, употребит в день три-четыре часа на молитву и богомыслие, тогда как эти три-четыре часа и дни праздничные входят у вас в производительную смету; захочет почитать «от божественного» – тогда, как, по-вашему, там очень мало или почти нет истинно полезных знаний, и потому-то вы желаете совсем оплотянить русского человека, сделать его, во имя прогресса, гуманизма и индустрии, ослом подъяремным» [18, с. 185].

Земская реформа фактически убила многие школы, созданные духовенством. Все школьные учреждения перешли в ведомство земств, а последние, ссылаясь на недостаток средств, просто отказывались финансировать те из них, где учителями были священнослужители [2, с. 155].

Происходили и весьма трагичные истории. Например, среди собеседников и корреспондентов святителя Феофана (Говорова), будущего Затворника, еще в бытность его на Владимирской кафедре был крестьянский самородок, народный учитель Иов Иванович Шумов, происходивший из села Непотягово Суздальского уезда (ныне – территория Ивановской области). Иов Иванович всегда с умилением и благодарностью вспоминал своего учителя – причетника Евграфа Ивановича. Этот бобыль-лапотник летними вечерами открывал окна своей избы и играл на скрипке, а местные крестьянские ребятишки целыми стайками обступали дом скрипача и слушали его, «затаив дыхание» [1, с. 11–13].

И.И. Шумов создал школу, в которую брали и мальчиков, и девочек. Он всегда подчеркивал, что сформировался как педагог только благодаря «неопустительному хождению за каждую церковную службу и пристрастию к чтению священных книг» [1, с. 15]. И вот пришли владимирские земцы. Они просто закрыли непотяговскую школу, так как Иов Иванович учил по Псалтири и Часослову и не знал новейшего «звуко-буквенного метода» преподавания [1, с. 38–39]. Сразу же вспоминается недоумение, высказанное Александром Ивановичем Кошелевым в статье «О сельских школах» – неужели мирянину нельзя сделать замечание духовным «даже на счет преподавания азбуки, арифметики и прочего?» [14, с. 146].

Но ведь И.И. Шумов за двенадцать лет существования школы обучил грамоте больше сотни крестьянских детей [1, с. 38–39]. Иов Иванович был вынужден уехать из села, покинуть родной храм, который благоукрашал на протяжении всей своей жизни. Он добрался до Оптиной пустыни, но буквально через неделю умер там в монастырской гостинице [1, с. 70].

В докладе Д.Д. Дашкова на сессии Рязанского губернского земского собрания 13 декабря 1869 года звуко-буквенный метод предстает фактически главной разделительной чертой, которая отделяет новую земскую школу от прежних народных школ. Дашков настаивает на его введении, несмотря на отсутствие пособий, и рассказывает о некоем молодом священнике, «вырезавшем заглавные буквы из попадающихся ему газет» ради того, чтобы перевести свою школу на этот метод [6, ч. 2, с. 15]. При этом сам Д.Д. Дашков никогда педагогике специально не обучался, зато писать на эту тему через призму задач передовой общественности начал еще за десять лет до своей земской деятельности [6, с. 13]. А вот в Рязанской духовной семинарии кафедра педагогики была открыта в 1866 году.

У борьбы либерального дворянства против церковной начальной школы была еще одна сторона – внешняя. Секуляризация и выдавливание духовенства из народной школы являлись

общеевропейскими трендами той эпохи. Это всячески подчеркивалось демократическими изданиями в России. В феврале 1868 года Эли Реклю (под псевдонимом Жак Лефрень) писал в журнале «Дело», основанном известным радикалом, отсидевшим несколько лет в Петропавловской крепости Николаем Васильевичем Шелгуновым (1824–1891), что в Австрии «после 18-ти лет неограниченного владычества в политике, обществе, в области воспитания, духовенство возбудило к себе ненависть в том самом поколении, которое оно воспитало… Еще недавно 2000 школьных учителей, подверженных чисто солдатской дисциплине, объявили публично в большой зале венского дворца, что предпочитают голодную смерть дальнейшему подчинению тирании духовенства» [21, с. 102], а во Франции все политические силы полностью поддерживают принцип отделения церкви от государства [21, с. 95].

Сам Н.В. Шелгунов в 1870 году поместил в своем журнале очерк «Земское самоуправление и народная школа», где расхваливал германскую систему светских учительских семинарий [26, с. 27–28]. Именно по образцу этих учебных заведений и началось создание земских учительских семинарий в Росссии. Вот только земцы отказались от одного из главных геманских педагогических принципов подготовки учителей – строгой дисциплины. Результаты мы уже видели на примере Александровской земской школы.

Михаил Никифорович Катков еще раз резко выступил в «Московских ведомостях» против земских учительских семинарий в 1882 году, когда А.И. Кошелев в «Голосе» предвещал гибель всему русскому начальному образованию в связи с планами поддержки правительством церковно-приходских школ.

18 октября в своей статье М.Н. Катков писал: «После блистательных побед Пруссии в 1866 году пронеслось слово, что своими успехами она обязана главным образом школьному учителю, то есть учителю первоначальной народной школы» [11, с. 2]. Поэтому мысль о необходимости «образования особых учителей для народных школ» стала повсеместно распространяться. Ожидалось, что «люди эти, принадлежа к народу, были бы, казалось, его светочами, живой связью между темными массами и образованным обществом, проводниками всякого рода познаний в народе» [11, с. 2].

«И вот, – продолжает Михаил Никифорович, – пошли учреждаться учительские семинарии и от казны, и от земств, и теперь по-видимому вопрос считается навсегда решенным: мы имеем, должны и будем иметь многочисленный, беспрерывно возрастающий числом класс народных учителей, подготовленных в учительских семинариях» [11, с. 2].

М.Н. Катков крайне резко оценивает в этой статье выпускников таких учебных заведений: «Учительские семинарии при самых лучших условиях могут давать только людей полуобразованных, а всякое полуобразование есть не сила, а слабость. Познания, которые могут выносить из своих рассадников учителя народных школ, не могут иметь никакого достоинства. Эти крупицы от трапезы наук не питают, а только надмевают и часто до глупости» [11, с. 2]. Как тут не вспомнить наивные книжки Молешотта в Александровской учительской семинарии – о том, что мозг физически вырабатывает мысль? Ведь именно этот вульгарный материализм несли ее выпускники деревенским детям.

Михаил Никифорович пишет об этой угрозе так: «Болтовня о разных предметах может производить только сумбур в головах детей, если начиненный отрывочными и поверхностными полусведениями учитель, не ограничиваясь азбукой, вздумает посвящать учеников в свою премудрость» [11, с. 2]. Ведь, говорит Катков, ожидается, что в начальных школах должны преподаваться «и гигиена, и медицина, и отчизноведение, и мироведение» [11, с. 2]. Катков иронизирует, что в кабаках теперь «поселяне будут рассуждать, не хуже, чем в черной книжной английского клуба, об египетском вопросе… мужик наш узнает, что есть на свете блоха и также таракан благодаря руководствам барона Корфа» [11, с. 2].

Михаил Никифорович задается вопросом: «Если сельские учителя не могут примыкать к ученой профессии, то какого же призвания по преимуществу может быть дело

народного обучения?» [11, с. 2]. Он отвечает себе: «Ни к чему иному не может примыкать народная школа, как к Церкви. Только священнослужитель может быть по преимуществу призванным народным учителем. Если вы полагаете, что наше духовенство неспособно обучать деревенских детей грамоте, так постарайтесь же сделать его к тому способным. Но не нелепо ли думать, что образование священника недостаточно для обучения деревенских детей грамоте?» [11, с. 2].

«Духовная семинария, – продолжает он, – несравненно более соответствует требованиям науки в высшем смысле этого слова, чем какая бы то ни было учительская семинария. Воспитанник духовной семинарии, по самой продолжительности, основательности и серьезности пройденного им курса, может с полным правом считаться представителем просвещения в среде народа, независимо от своего богословского характера» [11, с. 2].

«Итак, – подытоживает Михаил Никифорович, – церковь, вот истинная опора народной школы. Священнослужитель, вот по преимуществу призванный народный учитель, и везде, где государство не находится в борьбе с церковью, стараются народную школу удерживать сколько можно в теснейшей связи с религиозными учреждениями» [11, с. 2]. В практических вопросах, говорит М.Н. Катков, если священнику невозможно преподавать в силу занятости требами, то учительствовать может диакон. Главное, чтобы школа носила церковный характер [11, с. 2].

В 1884 году, в связи с изданием новых «Правил о церковно-приходских школах» и выделения самих этих школ в целую подотрасль народного образования, М.Н. Катков в «Московских ведомостях» активно поддержал реформу обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева [12, с. 2–3]. То есть он занял позицию, прямо противоположную той, на которой стоял А.И. Кошелев. Однако в конечном счете основной тренд общественного развития оказался связан не с Михаилом Никифоровичем Катковым, а именно с Александром Ивановичем Кошелевым.

Борьба земцев против церковной школы и духовенства закончилась поражением Церкви и консервативных общественных сил. В результате земских реформ возник огромный слой новых учителей из числа разночинцев, преимущественно крестьян, полуобразованных и полностью зависимых в своем мировоззрении от либеральных и радикальных общественных кругов. Несмотря на то, что в этой среде было достаточно подвижников народного образования, она в целом стала важнейшей частью так называемого «третьего элемента» на селе, одной из главных революционных сил, совсем скоро снесших тысячелетнюю российскую государственность. А Михаил Никифорович Катков оказался пророком. Которых, как известно, нет в своем отечестве.

Литература

1. *Бобров А.А.* Крестьянин Иов Иванович Шумов и его просветительная деятельность в кругу своих поселян: Биогр. очерк / сост. свящ. Алексий Бобров. 3-е изд. М.: А.Д. Ступин, 1905. 72 с.
2. *Виталий (Уткин), игумен.* От церковности начального образования к церковно-приходским школам: парадигмальный поворот // Нива Господня: Вестник Пензенской духовной семинарии. Пенза, 2017. № 3 (5). С. 151–157.
3. *Виталий (Уткин), игумен; Витязев Георгий, иерей; Витязева О.Ф.* Полемика в периодической печати 50–60-х годов XIX века о народном образовании и месте в нем духовенства // Сборник трудов Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии. Иваново, 2017. № 1 (4). С. 79–114
4. Внутреннее обозрение. 1 апреля 1876 года // Вестник Европы. 1876. Кн. 4 (апрель). С. 793–820.
5. *Горнов В.А.* Титан российской провинции (А.И. Кошелев: его взгляды и общественная деятельность) [Электронный ресурс] // Фонд «Русское либеральное наследие». М., 2011–2018 / Режим доступа: http://rusliberal.ru/full/publikatcii_dokladi/titan_rossijskoj_provintcii_a_i_koshelev_ego_vzglyadi/ (дата обращения: 01.10.2018).
6. Деятельность Дмитрия Дмитриевича Дашкова по народному образованию в Рязанском земстве и его доклады Рязанскому губернскому земскому собранию за 1869–1875 гг. : С прил. ст. Дашкова «Дворянство и народ» / под ред. и с предисл. кн. Н.С. Волконского. Рязань: Ряз. учен. арх. комис., 1903. [2], 58, 3–118, 19 с.

7. *Дудзинская Е.А.* Славянофилы в общественной борьбе. М.: Мысль, 1983. 272 с.

8. Земские известия // Голос. 1876. 3 февраля. С. 2.

9. *Катков М.Н.* Москва, 13 марта // Московские ведомости. 1876. 14 марта. С. 3 / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1876 г. М.: Изд-е С.П. Катковой, 1897. С. 143–145

10. *Катков М.Н.* Москва, 19 апреля // Московские ведомости. 1876. 20 апреля. С. 3–4 / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей».1876 г. М.: Изд-е С.П. Катковой, 1897. С. 207–210.

11. *Катков М.Н.* Москва, 18 октября // Московские ведомости. 1882. 19 октября. С. 2 / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1882 г. М.: Изд-е С.П. Катковой, 1898. С. 541–544.

12. *Катков М.Н.* Москва, 14 декабря // Московские ведомости. 1884. 16 декабря. С. 2–3 / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1884 г. М.: Изд-е С.П. Катковой, 1898. С. 643–646.

13. *Колюпанов Н.П.* Биография Александра Ивановича Кошелева. Молодые годы Александра Ивановича : Воспитание и первоначальная служба Александра Ивановича Кошелева : Кн. 2. 1889. [4], 443 с.

14. К*ошелев А.И.* Голос из земства : Сб. ст. Вып. 1. М.: Типогр. В. Готье, 1869. [8], 170, [2], 61 с.

15. *Кошелев А.И.* Мои записки (1812–1883 гг.) // Русское общество 40–50-х годов XIX века. Ч. 1: Записки А.И. Кошелева / сост., общ. ред., вступ. ст. Н.И. Цимбаева. М.: Изд-во Московского государственного университета, 1991. 238 с.

16. *Кошелев А.И.* О церковноприходских школах // Голос. 1882. 7 (19) октября. С. 1.

17. *Кузнецов И.В.* Деятельность Дмитрия Дмитриевича Дашкова по народному образованию в Рязанском земстве [Электронный ресурс] // История, культура и традиции Рязанского края. Рязань, 2007–2018 / Режим доступа: https://62info.ru/history/node/7335 (дата обращения: 01.10.2018).

18. Курьезная вещь // Домашняя беседа для народного чтения. СПб., 1859. Вып. 20. 16 мая. С. 179–191.

19. *Любимов С.В.* Предводители дворянства всех наместничеств, губерний и областей Российской империи 1777–1910 г. СПб.: Типогр. т-ва «Обществ. польза», 1911. XIV, 80 с.

20. *Оленев М.Б.* Гласные уездных земских собраний Рязанской губернии (1873 год) [Электронный ресурс] // История, культура и традиции Рязанского края. Рязань, 2007–2018 / Режим доступа: https://62info.ru/history/node/5047?page=0,1 (дата обращения: 01.10.2018).

21. *Реклю, Эли (Жак Лефрень).* Политическая и общественная хроника // Дело. 1868. Кн. II (февраль). С. 83–105.

22. Русское православное духовенство, обвинения против него и его цивилизаторская деятельность: современные заметки // Христианское чтение. СПб., 1862. Ч. 2. С. 615–659.

23. *Рюмин Ф.Н.* Письмо к издателю // Московские ведомости. 1876. 10 марта. С. 4.

24. Рязанская Александровская учительская семинария: Ф. 620. Ед. хр. 197. 1869–1918 гг. Инв. оп. // Путеводитель по Государственному архиву Рязанской области [Электронный ресурс] // История, культура и традиции Рязанского края. Рязань, 2007–2018 / Режим доступа: https://62info.ru/history/node/7335 (дата обращения: 01.10.2018).

25. Сегодня похоронили А.И. Кошелева // Современные известия. 1883. 16 ноября. С. 2.

26. *Шелгунов Н.В.* Земское самоуправление и народная школа // Дело. 1870. № 3 (март). Отд. II. С. 1–38.

Аннотация. Статья посвящена борьбе вокруг места духовенства в начальной народной школе в публицистике середины – третьей четверти XIX столетия. С точки зрения автора, конфликт в Александровской земской школе г. Рязани выявил всю глубину протворечий между либеральными помещиками из числа земцев и консервативными общественными силами. Земские деятели, находясь в общеевропейском тренде, стремились создать из числа крестьянских подростков слой новых народных учителей, полностью сориентированный на либеральные круги. Земская реформа фактически разгромила сложившуюся на протяжении десятилетий систему начального крестьянского образования в России. М.Н. Катков пророчески предсказал, что полуобразованный земский учитель станет одной из главных сил, разлагающих народную жизнь.

Ключевые слова: Народная школа, духовенство, земство, учительские семинарии, учитель, «Голос», «Московские ведомости», «Дело», М.Н. Катков, А.И. Кошелев, либерализм, консерватизм, Александровская учительская семинария.

Abbot Vitaly (Utkin Igor Nikolayevich), Secretary, Council of Bishops, Ivanovo Metropolia; Secretary, of Academic Council, Ivanovo-Voznesensk Theological Seminary; Head of the Missionary Department, Ivanovo-Voznesensk Diocese; Post-graduate Student, SS Cyril and Methodius Theological Institute of Post-Graduate Studies; Teacher, Theology Department, Ivanovo Fire Fighters Academy, State Fire Fighting Agency, Ministry of Emergency Situations of Russia. E-mail: inok_vitl@mail.ru

M.N. Katkov and the Struggle over the Clerical Character of Primary Folk School

Abstract. The article is devoted to the struggle over the role of clergy in elementary folk schools and publicism in the middle and the third quarter of the 19th century. According to the author the conflict in Alezandrov Zemski school in the city of Ryazan revealed the deep contradictions between liberal landowners from among Zemstvo and the conservative social forces. Leaders of Zemstvo who supported all-European trends were trying to educate peasant teenagers so that they would form a new circle of folk teachers who supported liberal ideas. The reform of Zemstvo practically destroyed the previous system of peasant elementary education in Russia that had been forming over decades. M.N. Katkov prophetically predicted that under-educated Zemski teacher would become one of the main forces corrupting the people's life.

Keywords: Folk School, Clergy, Zemstvo, Teachers Seminaries, Teacher, "Golos" (Voice), "Moscow Gazette", "Delo", M.N. Katkov, A.I. Koshelev, Liberalism, Conservatism, Alexandrov Teachers Seminary.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-348-355

Ольга Хвостова

М.Н. Катков и И.С. Тургенев в спорах о Базарове

Роман Тургенева «Отцы и дети», как и «Накануне» (1860), появился в «Русском вестнике» М.Н. Каткова в феврале 1862 года при непосредственном участии П.В. Анненкова. Катков и раньше настойчиво стремился привлечь Тургенева к сотрудничеству в своем издании. Но его усилия были тщетны и обернулись временным охлаждением между ними. Поводом послужило публичное обвинение Каткова в адрес Тургенева о нарушении им обязательств, связанных с изданием в «Современнике» (в 1856 году) обещанной для «Русского вестника» повести «Призраки» под заглавием «Фауст». Катков решил, что его обманули, но он действительно ошибся. «Призраки» еще не были готовы к печати, дописывались после окончания «Отцов и детей» и были помещены в журнале Достоевских «Эпоха» (1864. № 1–2). Тургенев в открытом письме к редактору газеты «Московские ведомости» от 4 декабря 1856 года заверил Каткова, что между этими двумя повестями нет никакого сходства [1, П 3, с. 155–156][1]. Однако их письменная полемика продолжилась и в 1857 году. Тогда глубинной причиной разногласий стало недовольство Каткова обязательным соглашением Тургенева и еще ряда писателей об исключительном сотрудничестве в «Современнике» с января 1857 года (в этом журнале вышли первые два романа писателя – «Рудин», 1856, и «Дворянское гнездо», 1859).

И вот через три года произошел разрыв Тургенева с «Современником» из-за резкого несогласия писателя со статьей Н.А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?». Она была напечатана Н.А. Некрасовым, несмотря на протесты и ультиматум («Выбирай: я или Добролюбов») автора романа «Накануне». Тургенев в письме к П.В. Анненкову от 30 сентября 1860 года просит передать записку И.И. Панаеву с отказом от продолжения сотрудничества в журнале и уведомляет о намерении «работать изо всех сил» [1, П 4, с. 244] над новой «повестью» – будущим романом «Отцы и дети». Недавняя «выходка» (Анненков) Каткова с «Призраками» была забыта Тургеневым на фоне его драматического конфликта с «Современником», инициированного статьей Добролюбова и анонимной рецензией на перевод книги Н. Готорна «Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии» (1860, июнь). Примечательно, что автором рецензии был Н.Г. Чернышевский, а не Н.А. Добролюбов, как полагал Тургенев.

В период создания «Отцов и детей» Тургенев оказался в непростой ситуации, без надежной издательской поддержки. Старые журнальные связи были разорваны. Со стороны «Современника» он ожидал только нападок. Было понятно, что фигура Базарова вызовет острую полемику между демократической и либеральной критикой. Предстояло

[1] Здесь и далее тексты И.С. Тургенева цитируются по этому изданию с указанием серии (Сочинения – С или Письма – П), тома и страницы.

Хвостова Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. E-mail: hvostovaoa@info.sgu.ru

договариваться с Катковым, «этим Зевсом, щелкающим кедровые орешки», который олицетворял «литературные скандалы» [2, с. 92] (письмо Анненкова к Тургеневу от 25 ноября 1860 года). Ему одинаково претили крайности взглядов и демократов, и либералов. Но в общественном сознании Катков еще не воспринимался как идеолог русского консерватизма и контрреформ (особенно до польского восстания).

Тургенев изначально не был высокого мнения о его журнале, печатался в нем неохотно [см. 3, 4]. Именно Анненков помог Тургеневу наладить с Катковым диалог, был посредником в журнальном издании «Отцов и детей». Роман был завершен Тургеневым в августе 1861 года, существовал в двух рукописных вариантах – беловом и перебеленном. Первый вариант был увезен Тургеневым в Париж («парижская рукопись»), второй вариант – отдан в редакцию «Русского вестника». Работу с корректурой романа вел журналист, постоянный сотрудник «Русского вестника», литературный секретарь Тургенева в 1860–1861 годах Н.В. Щербань.

Рукопись была передана Каткову с условием, что с нею также познакомится Анненков – главное доверенное лицо Тургенева, и свои критические замечания пришлет автору в Париж для возможной правки. Развернутая рецензия с восторженной оценкой «прекрасной повести» и необходимыми критическими замечаниями по поводу характера Базарова («не дали ему даже “жгучего болезненного самолюбия”, отличающего все поколение нигилистов») и типа Анны Сергеевны («В одном только месте становится он смутен, именно в 25-й главе») содержится в письме Анненкова к писателю в Париж от 26 сентября 1861 года. Тургенев старался учесть все замечания друга (перед набором в печать был снят первоначальный эпиграф к тексту романа) [2, с. 110–111]. Правки в текст посылались автором «Отцов и детей» Анненкову по почте, и он тут же передавал их Каткову для внесения в рукопись. В деловом письме секретаря редакции «Русского вестника» Н. Васильева к Анненкову от 28 января 1862 года сообщается, что роман Тургенева будет напечатан «со всею тщательностью» во второй книжке журнала с поправками, сделанными автором [цит. по: 2, с. 393]. Так и произошло.

Позднее в мемуарном труде «Шесть лет переписки с И.С. Тургеневым. 1856–1862» (1885) Анненков запечатлел обстоятельства издательской истории романа, свои встречи и беседы с Катковым о Базарове. По поручению Тургенева Анненков получил рукопись романа в редакции «Русского вестника» от Каткова и «в два дня проглотил» это «грандиозное создание». Он был поражен одной особенностью характера Базарова – одинаково «холодным презрением к собственному своему искреннему чувству» и «к идеям и обществу, между которыми живет», «монотонностью, прямолинейностью отрицания» [5, с. 449]. В ответной записке Тургенев попросил Анненкова встретиться с редактором журнала лично, чтобы «взять обратно у Каткова согласие, данное им на разделение и напечатание его труда в двух или трех частях» [5, с. 450].

Эмоциональный напряженный диалог с Катковым передан Анненковым во всех подробностях. Добродушно приняв его, Катков сразу же обрушился на Тургенева: «Как не стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином» [5, с. 450]. Спокойное возражение Анненкова («этого не видно в романе, Базаров возбуждает там ужас и отвращение») вызвало строгую отповедь Каткова: «в ужас и отвращение может рядиться и затаенное благоволение, а опытный глаз узнает птицу в этой форме» [5, с. 450]. Защищая авторский замысел, Анненков воскликнул: «Неужели вы думаете, М.Н., что Тургенев способен унизиться до апофеозы радикализму, до покровительства всякой умственной и нравственной распущенности?» [5, с. 450]. Для Каткова такой вывод очевиден. «Горячо и, видимо, одушевляясь», он добавил: «Подумайте, только, молодец этот, Базаров, господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора. Даже и смерть его есть еще торжество, венец, коронующий

эту достославную жизнь, и это, хотя и случайное, но все-таки самопожертвование. Далее идти нельзя!» [5, с. 450].

Очевидно, что Анненков оценивает Базарова с художественной стороны («никогда не следует выставлять врагов своих в неприглядном виде, а, напротив, рисовать их с лучших сторон» [5, с. 450]). Катков же «полуиронически и полуубежденно» напоминает о существовании «еще и политического вопроса»: «Кто может знать, во что обратится этот тип?» [5, с. 450]. Он завершает разговор утверждением, ставшим последовательной позицией: «Возвеличивать спозаранку и украшать его цветами творчества значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии» [5, с. 450–451]. Анненкову не удалось переубедить своего оппонента относительно замысла Тургенева, но его суждения несколько смягчили доводы редактора и ускорили прохождение рукописи в печать.

Анненков сообщил Тургеневу о разговоре с Катковым в упомянутом выше письме (от 26 сентября 1861 года): «Катков в ужасе от той силы, мощи, превосходства над толпой и способности покорять людей, которую заметил в Базарове; он говорит, что это “Современник”, возведенный в апотеозу, и отчаивается за дело мысли и науки, когда люди, подобные автору повести – вместо борьбы с растлевающим направлением – спускают перед ним флаг, пасуют перед ним, покоряются, благоговеют мыслью перед его пустым, фосфорическим и обманывающим блеском» [2, с. 110]. В этом же письме Анненков развернуто обозначил и свою позицию, сравнивая Базарова с монголом и Чингисханом: «Зверская животная сила его не только не пленительна, но увеличивает отвращение к нему, и поражена бесплодием. Весь тип целиком есть осуждение дикого общества, где он мог родиться…» [2, с. 110]. По сути, в негативной оценке Базарова собеседники сошлись, но принципиальная разница их позиций состоит в том, что Катков боится «растлевающего» воздействия этого образа на русскую общественность. Анненков же подчеркивает в Базарове правдивое воспроизведение диких нравов современной России, что является типичной оценкой либерала-западника. Катков желает уберечь государственный организм от разрушительной базаровской стихии.

Диалог Анненкова с Катковым положил начало большой литературно-критической полемике вокруг публикации «Отцов и детей» в «Русском вестнике». На прощание Катков пообещал Анненкову изложить свои замечания о Базарове автору романа письменно. Тургенев цитирует неизвестное нам письмо Каткова в «Литературных и житейских воспоминаниях» (1869): «Если и не в апофеозу возведен Базаров, – писал он, – то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. Он действительно подавляет все окружающее. Все перед ним или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатления нужно было желать? В повести чувствуется, что автор хотел характеризовать начало мало ему сочувственное, но как будто колебался в выборе тона и бессознательно покорился ему. Чувствуется что-то несвободное в отношениях автора к герою повести, какая-то неловкость и принужденность. Автор перед ним как будто теряется, и не любит, а еще пуще боится его!» [1, С 11, с. 92–93].

Этот отрывок из письма помещен в сноску к основному тексту воспоминаний Тургенева: «Помнится, один критик, в сильных и красноречивых выражениях, прямо ко мне обращенных, представил меня вместе с г-м Катковым в виде двух заговорщиков, в тишине уединенного кабинета замышляющих свой гнусный ков, свою клевету на молодые русские силы... Картина вышла эффектная! На деле вот как происходил этот “заговор”. Когда г. Катков получил от меня рукопись “Отцов и детей”, о содержании которой он не имел даже приблизительного понятия, – он почувствовал недоумение. Тип Базарова показался ему “чуть не апофеозой «Современника»”, и я бы не удивился, если б он отказался от помещения моей повести в своем журнале» [1, С 11, с. 92–93].

Напряженное эпистолярное общение Каткова и Тургенева продолжалось весь период работы над так называемой парижской рукописью романа и подготовкой ее к печати

с октября 1861 по 1862 год. Тургенев «бомбардирует письмами» Каткова из Парижа, чтобы по возможности сгладить негативное впечатление будущего издателя о Базарове и ускорить выход романа в свет. К сожалению, ответные письма Каткова с замечаниями и рекомендациями не сохранились. Все изменения Тургенева в «парижской рукописи» были установлены А.И. Батюто на основе сопоставительного анализа авторской правки в черновиках и приведены в примечаниях к изданию романа с ссылками на письма Тургенева. Исследователь подытоживает: «Однако с полной уверенностью можно утверждать, что редакторское давление Каткова на писателя в смысле требования ослабить элементы привлекательности в образе Базарова было очень сильно и граничило с прямым нажимом» [6, с. 424]. Действительно, под катковским воздействием Тургенев вынужден был уступать, перерабатывать некоторые эпизоды романа не по своей воле. Но чаще всего он это делал добровольно, прислушиваясь не только к критике друзей, но и идейных оппонентов. Тургенев не мог в полной мере не доверять эстетическому, журналистскому чутью и авторитету Каткова. Поэтому в письмах к Каткову он ссылается на «внутреннюю… недоделанность» (30 октября 1861 года) повести и выражает готовность к сотрудничеству.

Общий тон письма Тургенева от 1 (13) октября 1861 года деловой, сдержанный, подтверждает желание писателя вести конструктивный диалог, идти на компромисс. Он просит Каткова пока «*не печатать отрывка* – а также попридержать рукопись у себя» [1, П 4, с. 373], так как она нуждается в переделке с учетом замечаний Анненкова и В.П. Боткина. Тургенев спешит заверить Каткова, что пришлет полный перечень своих сокращений и прибавлений и тогда: «Я надеюсь, что вследствие моих поправок – фигура Базарова уяснится Вам и не будет производить на Вас впечатление апотеозы, чего не было в моих мыслях» [1, П 4, с. 373].

В конце октября Тургенев получает от Каткова письмо с замечаниями по поводу других характеров романа и тут же пишет ответ. В письме от 30 октября 1861 года он дает отчет по сделанной правке: «Кстати, *спор* между П.П. и Базаровым совсем переделан и сокращен» [1, П 4, с. 378]. Как отмечает А.И. Батюто, «речь тут шла о том месте десятой главы “парижской рукописи”, где Базаров выражает уверенность в сочувствии народа его идеям» [6, с. 424]. Тургенев «почти со всеми» замечаниями Каткова соглашается и обещает заново «пересмотреть», «перепахать» всю «повесть» [1, П 4, с. 379]. По настоянию Каткова он внес изменения в философскую беседу Базарова с Одинцовой в XVI главе романа. После слов «Исправьте общество, и болезней не будет» были сняты призывы главного героя к уничтожению всего старого и внесена авторская ремарка о его безразличии к тому, как его поймут («Верь мне или нет, это мне все едино!»).

Под влиянием Каткова в XXVII главе романа появился отрывок о неудачных попытках Базарова наладить диалог с мужиками, в котором он назван «чем-то вроде шута горохового» [1, С 7, с. 173]. В указанном письме Тургенев лишь однажды открыто возражает редактору: «Не могу согласиться с одним: Ни Одинцова не должна иронизировать, ни мужик стоять выше Базарова, хоть он сам пуст и бесплоден…» [1, П 4, с. 379]. Показательно, что Тургенев не всегда прислушивался к Каткову-редактору, призывавшему усилить ироничную трактовку Базарова в диалогах с Одинцовой, напротив, пригасил эти моменты, вычеркнув некоторые насмешливые фразы героини.

Показательна концовка письма Тургенева к Каткову от 30 октября 1861 года (опять о Базарове), не столько полемичная, сколько горько ироничная: «Может быть, мое воззрение на Россию более мизантропично, чем Вы предполагаете: он – в моих глазах действительно герой нашего времени. Хорош герой и хорошо время, – скажете Вы… Но оно так» [1, П 4, с. 379]. Очевидно, что в ходе письменного диалога Тургенев и Катков пришли к определенному компромиссу относительно художественной трактовки образа Базарова как «героя своего времени». При всей разности политических взглядов и личных противо-

речиях в период работы над подготовкой журнального издания «Отцов и детей» писателя и редактора объединила общая тревога за настоящее и будущее России на фоне нарастания в обществе сочувствия к нигилизму.

Базаров-нигилист и нигилизм в целом глубоко волновали Каткова, вызывали отторжение. Его советы по доработке этого персонажа: большего очеловечивания, изъятия «смягчающих черт», углубления внутренних и внешних противоречий в характере – способствовали успеху образа Базарова у читателей. И Тургенев в письме к А.И. Герцену от 10 (22) апреля 1862 года в этом отчасти признается. Он, конечно, «раскаивается» в том, что поддался уговорам Каткова. Но, «положа руку на сердце», пишет: «Я не чувствую себя виновным перед Базаровым и не мог придать ему ненужной сладости. Если его не полюбят, как он есть, со всем его безобразием – значит я виноват и не сумел сладить с избранным мною типом» [1, П 5, с. 50]. Значит, вмешательство Каткова в редактуру не было тотальным и в целом не повредило авторской концепции романа. Не мог Тургенев-художник ломать себя под давлением Каткова-редактора и навредить своему «детищу». Личная неприязнь Тургенева к Каткову не помешала их плодотворному сотрудничеству в это время.

Свое недовольство ситуацией с Катковым писатель выплескивал в письмах к единомышленникам, друзьям. Неизменно иронично-насмешливая интонация в его адрес звучит в письмах Тургенева к Анненкову («На днях должен был послать успокоительную телеграмму Каткову в ответ на исполненное брани и упреков письмо…» [1, П 4, с. 389]) и Ф.М. Достоевскому («Я по многим причинам хотел отложить печатание до весны; но купец настойчиво требует запроданный товар – нечего делать – приходится его спускать tel quel» [1, П 4, с. 393]).

Издательская история романа позволяет А.И. Батюто сделать однозначный вывод о том, что «уже в 1861 г. между Тургеневым и Катковым не было ни единомыслия, ни тем более тесного идейного союза» [6, с. 434] по поводу переделки рукописи. Вероятно, на современном этапе изучения катковско-тургеневских отношений это утверждение кажется слишком категоричным и тенденциозным. В период работы над «Отцами и детьми» их сближало общее дело, нацеленность на успешный результат, умение слышать друг друга. С утратой писем Каткова, к сожалению, невозможно полноценно воссоздать объективную картину этого творческого сотрудничества. Однако известно, что Тургенев был удовлетворен совместной работой: «Мне приятно слышать, что Вы довольны успехом “О<тцов> и д<етей>” – их будут бранить…» [1, П 5, с. 57].

В период дальнейшего обострения отношений Тургенева и Каткова на политической почве в 1870-х – начале 1880-х годов их высказывания в адрес друг друга становятся все более резкими. По поводу своего редакторского вмешательства в роман «Отцы и дети» Катков и в эти годы продолжал настаивать на том, что все изменения были внесены самим автором с его добровольного согласия и по его собственной инициативе. Тургенев по-прежнему не мог успокоиться, эмоционально и категорично опровергал Каткова, ссылаясь на свое пребывание в Париже (письмо к В.В. Стасову от 13 (25) ноября 1874 года): «Я все-таки виноват был в том, что согласился на урезывания “Русского вестника”, по крайней мере, не протестовал против них – и еще больше в “Дыме”, чем в “Отцах и детях”» [1, П 13, с. 218].

Заметную роль в прояснении позиции Каткова и его участии в судьбе тургеневского романа играют печатные литературно-критические выступления. Обстоятельному анализу «отрицательного направления» нигилизма как общественной болезни современной России Катков посвятил статью «Роман Тургенева и его критики» (Русский вестник. 1862. № 5) и ее продолжение «О нашем нигилизме. *По поводу романа Тургенева*» (Русский вестник. 1862. № 7). В них Катков уже не будет настаивать на «апофеозе» Базарова и выскажется против крайностей в его истолковании критиками. Стоит сопоставить статьи редактора с

признаниями Тургенева в статье «По поводу “Отцов и детей”» (1869), чтобы заметить их невольное созвучие в объективной оценке базаровского типа как «*нового* человека» на фоне критического многоголосья.

В отношении самого Тургенева («первоклассный талант») и характеристики достоинств его романа («ясность идей, мастерство в обрисовке типов, простота в замысле и ходе действия», «уловлен текущий момент», «типически изображена и запечатлена навеки мимолетная фаза нашей жизни» [7, с. 459]) общий тон первой статьи Каткова спокойный, благожелательный, взвешенный. Он становится резким, ироничным, даже язвительным в адрес критиков «Отцов и детей», «милых малюток, которые пишут в наших журналах» [7, с. 466] (Д.И. Писарева, Н.Г. Чернышевского, М.А. Антоновича, Н.Н. Страхова). В центре внимания издателя романа личность Базарова-нигилиста, преломленная в зеркале критики. Катков потешается над раздраженной «судорогой», нелепой попыткой М.А. Антоновича (Асмодей нашего времени // Современник. 1862. № 3) увидеть в главном герое романа «жалкую карикатуру на что-то небывалое», «нелепого хвастунишку», «пустомелю», омерзительную фигуру, «шута» [7, с. 469]. Другая крайность – «восторженные ликования» Д.И. Писарева (Базаров // Русское слово. 1862. № 3) по поводу нигилизма и Базарова как его представителя. В отвлеченную фигуру превращает героя Тургенева Н.Н. Страхов («Отцы и дети» И.С. Тургенева // Время. 1862. № 4). Катков видит в Базарове не отвлеченную идею, а «лицо живое», «с ног до головы живую фигуру» [7, с. 481], которая «производит впечатление сильной натуры» [7, с. 484] и одновременно вызывает «тайную антипатию» [7, с. 485].

Эта антипатия явно усиливается в обращении к Базарову во второй статье Каткова «О нашем нигилизме. *По поводу романа Тургенева*»: «наш ученый», «естествоиспытатель», «серьезный специалист». Критик признает опасность и силу Базарова не в его ученых занятиях, а в приверженности к «религии» нигилизма, порожденной окружающей умственной средой. Нигилисты охвачены страстью к отрицанию и всецело служат этому культу, верят утопии. Базаров, по мнению Каткова, «один из лучших типов нигилизма», принадлежащих «к числу людей *импульсивных*» [8, с. 517]. Нигилисты делятся по происхождению на «баричей» (дилетанты) и разночинцев, «отпрысков духовного сословия» (истинные поборники нигилизма). Нигилизм включает в свои ряды выразителей «простодушной наивности», «пошлой вычуры» и носителей «искреннего чувства». Базаров принадлежит к последним представителям. Он противопоставлен всему «мнимому, сочиненному, фальшиво существующему» [8, с. 524]. В его характере Катковым подмечен важный элемент – «довольно искреннее и неподдельное чувство озлобления» [8, с. 524]. Выделены и другие сильные стороны натуры Базарова – честность, отсутствие подлости, сознание долга.

В заключение Катков предупреждает о расширении среды нигилистов, которой можно противостоять одним способом: «Всякого рода стеснения и преследования, оказывая только паллиативное действие, могут с течением времени усилить болезнь и сделать ее хронической. Есть только одно верное радикальное средство против этих явлений – усиление всех положительных стремлений, религиозных, умственных, политических, экономических…» [8, с. 527]. Сегодня это читается как политическое завещание Каткова.

Его журнал «Русский вестник» продолжил сотрудничество с Тургеневым, который напечатал там еще роман «Дым» (1867) и другие произведения. В письме к А.И. Герцену от 10 (22) мая 1867 года писатель сообщает, что посылает ему экземпляр этого романа: «Единственная вещь, которая меня самого грызет, – это мои отношения с Катковым, как они ни поверхностны» [1, П 7, с. 201]. Катков откровенно раздражает Тургенева даже в качестве редактора «Русского вестника», а свое сотрудничество в этом журнале писатель объясняет сугубо прагматическими причинами. Это «не что иное как сборник и никакого политического колорита не имеет; а в теперешнее время “Русский вестник” есть единствен-

ный журнал, который читается публикой – и который платит. Не скрываю от тебя, что это извинение не совсем твердо на ногах, – но другого у меня нету» [1, П 7, с. 201]. Со временем взаимная неприязнь на политической почве привела к полному разрыву отношений между Катковым и Тургеневым.

Катков внимательно следил за всеми публичными высказываниями Тургенева, которые касались совместной редакционной работы над изданием «Отцов и детей» в «Русском вестнике». И по мере подчеркивания Тургеневым прошлых разногласий Катков защищал свою принципиальную позицию по отношению к Базарову. В статье «По поводу полемики г. Тургенева с “Иногородным Обывателем”» (1880) издатель «Московских ведомостей» упрекал писателя в том, что он «вышел пред публику с изъявлением своего истинного почтения и совершенной преданности господину Базарову, а в доказательство своих чувств к нему выдал издателя журнала, сославшись на свои разногласия с ним во время печатания» [9, с. 697–698].

На Пушкинском юбилее 1880 года Тургенев демонстративно не подал руки Каткову, произнесшему вдохновенную примирительную речь о поэте.

Статья Каткова «Тургенев» (Московский вестник. 20 сентября 1883 года) – один из первых посмертных обзоров «сорокалетнего писательского поприща» [10, с. 720] создателя образа Базарова. Автор статьи видит в Тургеневе «художника по преимуществу», «артистическую натуру» [10, с. 718], но не политического деятеля, имеющего твердую гражданскую позицию. Он прошел путь от ненависти к «грубому радикализму» в юности до попытки «задобрить» идейных противников (Тургенев передал 500 франков для поддержки революционного журнала П. Лаврова «Время»). Так в глазах общества писатель стал символом «какого-то неопределенного либерализма» [10, с. 719][1].

Катков в целом высоко оценивает литературный талант писателя, но не возводит его «во всемирные гении», отмечая в поздних произведениях Тургенева следы постепенного упадка [10, с. 719]. Для объективного беспристрастного осмысления тургеневского наследия должно было пройти время: «Тургенева рядили в чуждый костюм политического деятеля» [10, с. 720]. Катков досадует на тех, кто пытается это делать и после смерти писателя, и призывает освободить его имя от политической тенденциозности.

[1] О политических взглядах И.С. Тургенева см. новейшую работу [11].

Литература

1. *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. Письма: в 18 т. М.: Наука, 1978–2014.
2. *Анненков П.В.* Письма к И.С. Тургеневу. Кн. 1. 1852–1874. СПб.: Наука, 2005. 534 с.
3. *Перевалова Е.В.* Журнал М.Н. Каткова «Русский вестник» в первые годы издания (1856–1862): литературная позиция. М.: Моск. гос. ун-т печати, 2010. 346 с.
4. *Перевалова Е.В.* И.С. Тургенев и М.Н. Катков: начало сотрудничества // Спасский вестник. 2007. № 14. С. 127–133.
5. *Анненков П.В.* Шесть лет переписки с И.С. Тургеневым. 1856–1862 / П.В. Анненков // Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989. С. 379–458.
6. *Батюто А.И.* [Примечания к роману «Отцы и дети»] // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. М.: Наука, 1981. Т. 7. С. 416–469.
7. *Катков М.Н.* Роман Тургенева и его критики / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010. С. 459–485.
8. *Катков М.Н.* О нашем нигилизме. *По поводу романа Тургенева*/ М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010. С. 507–527.
9. *Катков М.Н.* По поводу полемики г. Тургенева с “Иногородным Обывателем” / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010. С. 695–698.
10. *Катков М.Н.* Тургенев/ М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010. С. 716–720.
11. *Китаев В.А.* К характеристике западничества И.С. Тургенева (вторая половина 1850 – начало 1880-х гг.) // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы: сб. научных трудов / отв. ред. А.А. Гапоненков. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2018. Вып. 21. С. 68–77.

Аннотация. При всей разности политических взглядов в период работы над подготовкой журнального издания «Отцов и детей» 1862 года Тургенева и Каткова объединила общая тревога за настоящее и будущее России на фоне нарастания в обществе сочувствия к нигилизму. Базаров-нигилист и нигилизм в целом глубоко волновали редактора «Русского вестника», вызывали отторжение. Его советы по доработке этого персонажа: большего очеловечивания, изъятия «смягчающих черт», углубления внутренних и внешних противоречий в характере – способствовали успеху образа Базарова у читателей. Вмешательство Каткова в редактуру не было тотальным и в целом не повредило авторской концепции романа. Личная неприязнь Тургенева к Каткову не помешала их плодотворному сотрудничеству. В период дальнейшего обострения отношений Тургенева и Каткова на политической почве в 1870-х – начале 1880-х годов их высказывания в адрес друг друга становятся все более резкими. Заметную роль в прояснении позиции Каткова и его участии в судьбе тургеневского романа играют литературно-критические выступления. Катков видит в Базарове не отвлеченную идею, а «с ног до головы живую фигуру», которая «производит впечатление сильной натуры» и одновременно вызывает «тайную антипатию».

Ключевые слова: М.Н. Катков и И.С. Тургенев, «Отцы и дети», журнал «Русский вестник», издательская история, образ Базарова, социально-исторический тип, нигилизм.

Olga A. Khvostova, PhD in Philology; Associate Professor, Saratov State University. E-mail: hvostovaoa@info.sgu.ru

M.N. Katkov and I.S. Turgenev in Disputes about Bazarov

Abstract. Despite all the difference in political views in the time of the preparatory work for the journal publication of “Fathers and Children” in 1862, I.S. Turgenev and M.N. Katkov were equally worried about the present and the future of Russia against the background of increasing sympathy for nihilism in the society. Bazarov as nihilist and nihilism in general made the editor of “Russkiy Vestnik” (“The Russian Messenger”) quite concerned and aroused his rejection of the theory. His advised to refine the character, namely: to reinforce the protagonist humanization, to give up the «softening traits», to deepen the internal and external contradictions of the character, – and as the result those changes contributed to the success of Bazarov's image amongst the readers. Katkov's interference in the process of editing was not embracive and did not impair the author's conception of the novel. Turgenev's personal dislike of Katkov did not intervene with their efficient cooperation. Their mutual animosity on the political ground further increased in the 1870s and the beginning of the 1880s when their comments about each other became more and more fierce. Katkov’s literary-critical publications helped to clarify his views and his participation in the fate of Turgenev's novel. Katkov saw Bazarov not as an abstract idea, but as a “living character from top to toe” who “gave the impression of power” and at the same time aroused “secret antipathy”.

Keywords: M.N. Katkov and I.S. Turgenev, “Fathers and Children”, “Russkiy Vestnik” Journal, Publication History, Bazarov's Image, Socio-historical type, Nihilism.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-358-358

Ирина Логвинова

М.Н. Катков и И.С. Тургенев

С И.С. Тургеневым будущий редактор «Русского вестника» М.Н. Катков познакомился в Берлине, где «будущий классик русской прозы с июля 1840 года жил на одной квартире с приятелем Михаила Никифоровича М.А. Бакуниным и с ним посещал лекции немецких профессоров» [1, с. 15]. Сначала они подружились, а после много лет враждовали. При этом два романа И.С. Тургенева – «Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862) – были опубликованы в «Русском вестнике». После статьи М.Н. Каткова «О нашем нигилизме (По поводу романа Тургенева)» Тургенев становится постоянным сотрудником журнала «Вестник Европы», и начинается их вражда с Катковым.

Прежде всего вспомним, как относился к герою своего романа «Отцы и дети» сам автор. В ответ на критику М.А. Антоновича, Д.И. Писарева и др. он пишет о Базарове как о новом человеке, революционере, родившемся не в свое время, глубоко несчастном в своем одиночестве. Однако с такой оценкой не согласился М.Н. Катков, называвший Базарова апофеозом «Современника» и проводником идей Чернышевского. Тургенев отчасти согласился с требованием Каткова уменьшить привлекательность образа Базарова, но все же учитывал далеко не все его пожелания. Правда, письма М.Н. Каткова к И.С. Тургеневу не сохранились, но существуют письма Тургенева о Каткове к П.В. Анненкову от 11 (23) декабря 1861 года и Ф.М. Достоевскому от 26 декабря 1861 года (7 января 1862 года). В воспоминаниях П.В. Анненкова есть фрагмент разговора с Катковым о романе Тургенева, где Катков говорит, что Базаров «господствует надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора. Даже и смерть его есть торжество, венец, коронующий эту достославную жизнь, и это хотя и случайное, но все-таки самопожертвование. Далее идти нельзя! <…> Возвеличить спозаранку и украшать его цветами творчества значит делать борьбу с ним вдвойне труднее впоследствии <…>» [2, с. 184].

Против образа Базарова выступил также К.Н. Леонтьев, сказавший, что Катков был прав, «обличая Тургенева в жалком потворстве и сочувствии всем стремлениям нашей молодежи…» [2, с. 195].

Вражда М.Н. Каткова и Тургенева продолжалась вплоть до Пушкинских торжеств 1880 года, когда Тургенев отшатнулся от руки Каткова, поданной в знак примирения.

М.Н. Катков в своей статье пишет, что в образе Базарова Тургенев не дает читателю никакого намека на серьезность занятий своего героя: «Если бы с его стороны был какой-нибудь умысел, то умысел этот непременно отозвался бы так или иначе в тоне его рассказа. Подозрительные глаза инквизиторски наблюдали за всеми движениями автора в его произведении и готовы были видеть во всем злонамеренный умысел; но ни одному

Логвинова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры философии, истории, теории культуры и искусства Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. E-mail: lo-grina@yandex.ru

критику не пришло в голову остановиться на этом пункте. Действительно, здесь нет ни малейшей иронии. Автор только взял тот дух науки, какой представила ему наша общественная среда, и пустил его действовать, ни за что не принимая на себя ответственности. Очень может быть, что автору вовсе и на мысль не приходило спросить себя, сериозное ли это дело или нет…» [1, с. 508]. В результате, по мнению Каткова, оказывается, что Базаров – «лишь бойкий школьник, который лучше других вытвердил урок и которого за то поставили в авдиторы» [1, с. 509].

Нигилизм Базарова назван в статье М.Н. Каткова общественной болезнью, связанной с подменой понятий «сомневаться» и «отрицать», что приводит к возможности противоположных решений. Катков пишет: «Сомнение ставит вопрос, возбуждает энергию к исследованию, к критике, к точнейшему определению силы наших понятий, к разграничению того, что мы знаем и чего не знаем <…> Если мы отрицаем, то, значит, дело уже решено нами заранее, решено несомненно; мы только обманываем себя, воображая, будто мы сомневаемся…» [1, с. 511–512]. Нигилизм Базарова заранее обречен на поражение, что показывает и сам Тургенев, когда, умирая, его герой говорит: «Да, поди попробуй отрицать смерть…». Отрицая поэзию, искусство, любовь, Базаров живет двойной жизнью. При этом он сам себе не отдает в этом отчета. И это вполне объяснимо: «Но во всем ли мы можем отдавать отчет из того, что владеет нами и что увлекает нас? Всякая страсть, всякая сменность и даже всякий навык владеют человеком безотчетно, хотя люди, тем не менее, чувствуют побуждение объяснять и оправдывать даже то, чему они слепо покорствуют» [1, с. 516].

Нигилизмом в романе страдает не только Базаров. В разной степени он присущ и Аркадию Кирсанову, и Ситникову, и Кукшиной. «Нигилизм есть милейшее добродушие в молодом Аркадии, ученике и поклоннике нашего героя. То же учение есть отвратительная аффектация и смешная пошлость в мадам Кукшиной и Ситникове, других поклонниках того же героя», а в самом же Базарове нигилизм оказывается пустотой: «Его научные исследования – фраза; его заботы об общественных язвах – фраза; его общие воззрения, его толки об искусстве, о знании, о людях, об общественных учреждениях, о всеобщей несостоятельности, о необходимости повальной ломки, о непризнавании авторитетов, об отрицании всех начал жизни и мысли, – все это совершеннейшее праздномыслие и пустословие» [1, с. 524]. Ни один критик, кроме Каткова, этого в Базарове не заметил, прельстившись его честностью, прямолинейностью, самоутверждением. Однако самое главное в этом образе – отсутствие твердого нравственного стержня. Как отмечает Катков, Базаров не пойдет на подлость только потому, что она не раздута до размера поступка. В Базарове нет чувства положительной нравственности, и в этом корень всех его бед, а, если смотреть шире, то и всех бед современного человека. Ведь Тургенев создал образ своего героя из черт нравственного облика современной ему молодежи.

Таким образом, рассматривая образ Базарова на уроках по творчеству И.С. Тургенева, важно обратить внимание на статьи М.Н. Каткова и на его напутствие в статье «По поводу полемики г. Тургенева с “Инородным обывателем”»: «Ах, господа, оставьте молодое поколение идти своим путем; не ходите к нему и не маните его к себе! Дайте ему созреть и укрепиться в своих силах, не эксплуатируйте его ни в какую сторону. С Божьею помощию, оно даст нам людей, которые не будут походить ни на *отцов*, ни на *детей* г. Тургенева. Учащаяся молодежь должна учиться; ей рано думать о реформах» [1, с. 698].

Литература

1. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. Заслуга Пушкина: О литераторах и литературе / под общ. ред. А.Н. Николюкина. СПб.: Росток, 2010.
2. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. Заслуга Пушкина: О литераторах и литературе / под общ. ред. А.Н. Николюкина. СПб.: Росток, 2016.

Аннотация. В статье речь идет о рецепции образа Базарова в статьях М.Н. Каткова. Известно, что Катков и Тургенев долгое время враждовали после того, как М.Н. Катков опубликовал статью «О нашем нигилизме (По поводу романа Тургенева)». Ни один критик, кроме Каткова, не заметил в Базарове празднословия. Все видели в нем те качества, которые лежат на поверхности, – честность, прямолинейность, самоутверждение. Катков же заметил едва ли не самое главное в этом образе – отсутствие твердого нравственного стержня. Как отмечает Катков, Базаров не пойдет на подлость только потому, что она не раздута до размера поступка. В Базарове нет чувства положительной нравственности, и в этом корень всех его бед. Взгляд Каткова на образ Базарова, которого традиционно в школе изучают как нового, прогрессивного человека, был бы очень полезен для современной молодежи.

Ключевые слова: М.Н. Катков, И.С. Тургенев, «Отцы и дети», Базаров, нигилизм, нравственное воспитание.

Irina V. Logvinova, PhD in Philology, Senior Teacher, Department of Philosophy, History, Theory of Culture and Art, Schnittke Moscow State Institute of Music. E-mail: lo-grina@yandex.ru

M.N. Katkov and I.S. Turgenev

Abstract. The article focuses on the reception of the image of Bazarov in the articles of M.N. Katkov. It is known that Katkov and Turgenev were at feud for a long time after M.N. Katkov published the article “About our nihilism (on the subject of the novel by Turgenev)”. Not a single critic, except Katkov, noticed the empty talk of Bazarov. Everyone saw in him those qualities that were on the surface – honesty, straightforwardness, self-assertion. While Katkov noticed perhaps the most important feature in that image – the lack of the solid moral core. Katkov noted that Bazarov would not resort to meanness only because it was not inflated to the size of the act. Bazarov did not possess the sense of positive morality, and that was the source of all his troubles. Katkov's view on the image of Bazarov, that is traditionally interpreted at school as the image of the new, progressive person, would be very useful for today's youth.

Keywords: M.N. Katkov, I.S. Turgenev, “Fathers and Children”, Bazarov, Nihilism, Moral Education.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-359-364

Кирилл Соловьев

*Н.А. Любимов против течения. Политическая философия контрреволюции**

Понятие «революция» прочно вошло в язык нового времени – сразу после Французской революции конца XVIII столетия [14, с. 521]. Уже тогда его можно было интерпретировать по-разному: это был и текучий процесс радикальных преобразований, и отдельные эпизоды насильственного противостояния широких масс и «старого порядка». Революцией можно было считать и штурм Бастилии, и штурм Тюильри [14, с. 643]. И в России неустойчивость и многогранность термина всякий раз вызывала споры и недоумение. Одни видели в революции результат приготовительной работы мыслящего меньшинства, другие – стихию народного творчества, третьи – торжество анархии и катастрофу государственного порядка, четвертые – радикальную перемену в политическом и социальном строе, которая может свершиться и благодаря решению действующей власти [13, с. 448]. Однако при всем разнообразии интерпретаций революции есть нечто объединяющее их. Само обращение к этой проблематике позволяет выйти за рамки «классической механики» старого порядка. Идея, взрывающая традиционные представления о власти и праве, может оказаться сильнее любых институтов государственного насилия. Таким образом, революция вводит политический режим в пространство исторического времени[1]. Он может оказаться неожиданно для себя конечным – вопреки, казалось бы, нарастающей физической мощи, упрочивающемуся аппарату принуждения. Вместе с тем любая власть предпочитает собственному концу «конец истории», когда количественные изменения только приветствуются, а качественные объявляются невозможными.

Так было и в России, где сложилась традиция отрицать возможность какой-либо революции: весь социальный уклад страны, исторические традиции позволяли с уверенностью говорить, что свой 1789 год никогда не настанет [16, с. 151–153]. Однако ускорявшийся темп жизни 1860–1880-х годов явно колебал эту уверенность. Стремительные метаморфозы русского общества позволяли разглядеть на горизонте признаки надвигавшейся катастрофы. В начале 1880-х годов о революции рассуждал сенатор и будущий государственный секретарь А.А. Половцов [11, л. 136], министр внутренних дел, «диктатор» М.Т. Лорис-Меликов [10, л. 52], жандармские [11, л. 63], судебные чины [12, л. 68]. В 1880 году о «партии» 1789 года в России писал К.Н. Леонтьев [5, с. 8]. Предвещать революцию, ничего не предпринимая, – значит, скорее всего, сочувствовать ей. Деятель-

[1] По словам Ф. Шлегеля, «революционное желание осуществить Царство Божие есть основной вопрос прогрессивного образования и начало современной истории» [цит. по: 14, с. 524]. Иными словами, в европейском интеллектуализме XIX столетия произошло замещение религиозных ожиданий революционными.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ, проект № 17-01-00376.

Соловьев Кирилл Андреевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. E-mail: kirillsol22@yandex.ru

ная контрреволюция не должна была сидеть сложа руки. И все же для начала она должна была себя таковой заявить, озаботившись формулировкой собственной программы действий, и главное – аргументированно доказать, что приближающиеся «призраки» революции – не плоды воображения.

Серия очерков одного из ближайших сотрудников М.Н. Каткова, профессора Московского университета, а в скором будущем высокопоставленного служащего Министерства народного просвещения Николая Алексеевича Любимова (1830–1897) «Против течения» непосредственно посвящена этому вопросу. Любимов сравнивал события в современной ему России с эталоном любой революции, сложившимся во Франции в конце XVIII столетия. Правда, его интересовал не бурный 1789-й, а сравнительно благополучный 1787 год, когда вроде бы ничто не предвещало скорой катастрофы. Историк хорошо знает, как незаметно для современника ускоряется ритм истории, подводя черту целой эпохе. Вроде бы жизнь идет, как прежде. Но за поворотом поджидает пропасть, о которой будущий историк спустя много лет напишет как о некой очевидности. Но, может быть, мы и сейчас накануне великих потрясений, – предлагал задуматься Любимов. Он усматривал симптомы, схожие французским столетней давности, и в современной ему России 1870–1880-х годов. Любимов углядел революцию там, где ее мало кто замечал [4, с. 129–131]. По мнению публициста, это первое, что следовало сделать: обнаружить пока только начинающуюся болезнь – где она может скрываться.

Сам характер государственной власти предусматривал неминуемость революционных встрясок. Любое отношение господства – подчинения строится на насилии, с неизбежностью вступающем в противоречие с настроениями любого свободолюбивого человека. Рано или поздно у него возникает непреодолимое желание стряхнуть с себя эту власть, заменив ее своими избранными представителями. На место монархической воли приходит коллективная. «Верховным законом становится воля большинства, меняющегося, выходящего из междоусобиц, подтасованного, творящего веления скрывающихся за ним безответственных агитаторов». Иными словами, новое не слишком отличается от старого. Власть остается властью, лишь обряжаясь в новые обличья. Место привычного монарха занимает явный или скрытый диктатор – куда больший деспот, чем царствующая особа предыдущей эпохи. Однако и его всевластье лучше безвластья. Государственная власть ценна тем, что несет тот или иной порядок, который важен сам по себе. Когда общество понимает его значение, представляет себе, что стоило купить его – в стране сохраняется спасительный баланс свободы и власти, а подчинение последней воспринимается как нечто естественное, полезное и даже добровольное. В случае же его нарушения в обществе – брожение, в народных массах – ропот, и начинают проглядывать признаки надвигающейся революции [8, с. 422].

Любимов подчеркивает, что прямые аналогии не кажутся ему в полной мере убедительными. Так, характерный для французов стереотип политического поведения не может быть во всем понятным для русского. Например, подданный российского императора не готов «прочувствовать» французский легитимизм, а может лишь аналитически разложить его на части. Вместе с тем политическая борьба во Франции разворачивалась в культурном пространстве, созданном католицизмом. Она реагировала на те очевидности, которые в России таковыми не были. В итоге французский категориальный аппарат, перекочевавший на восток, заметно вульгаризировался. Преломляясь сквозь «линзы» русской культуры, он искажался, обретал своеобразные черты. Складывался культ революционного как победы света над мраком «старого порядка» [6, с. 615–616].

Такого рода искажение коснулось ключевых терминов. Дабы прояснить их значение, Н.А. Любимов предложил вписать и само понятие «революция» в исторический контекст Франции конца XVIII века. Тогда оно не подразумевало насилия, сопровождавшегося многотысячными жертвами. Это был прежде всего масштабный разворот в законодательном

укладе государственности. «Действие революционное значило энергическое исполнение благого закона. Незаконный и революционный казались два понятия, взаимно исключающие друг друга». Значит, революция отнюдь не всегда подразумевает уличное насилие и баррикады. Например, речь может идти и о ненасильственном проникновении новых элементов во власть, правда, с драматическими последствиями для политической системы [6, с. 618]. Героические картины революционной истории, а именно эпизоды титанической борьбы народных масс – в огромной степени плод фантазий последующих историков, которые фактически сконструировали канонический образ революции [7, с. 228–229].

По мнению Любимова, революция – это прежде всего транзитное состояние системы. Важнейший признак начала революционных времен – нарастающая анархия, которая поначалу сказывается не в экономической разрухе, а в неустойчивом состоянии умов, всеобщем колебании и ежеминутном сомнении. Явственное выражение этой ситуации – господствующее общественное мнение, способное подавить любое инакомыслие и в аристократическом салоне, и в бюрократической канцелярии. Любимов отмечал, что эфемерная субстанция общественного мнения, несомненно, существует, хотя поверить в ее наличие непросто. «Она-то направляет и уличную сволочь, и журнальные перья. Ее ощущают, хотят уловить и не могут очевидцы и участники событий. В эпоху революции ее звали то лондонским золотом, то деньгами Орлеанского принца и других честолюбцев, то заговором аристократов, то происками эмигрантов; уловить ее оказывалась бессильна власть законная, ее потом в свою очередь подозрительно разыскивала власть революционная, всюду видя или указывая заговор и измену, практикуя и поощряя донос в никогда небывалых размерах. События разыгрываются перед глазами, но главные вожаки так и остаются обыкновенно в тайне. Явление может быть объяснено только тем, что одной руки, направляющей дело по сознательно определенному плану, обыкновенно нет в революционных движениях» [6, с. 655].

Н.А. Любимов полагал это состояние «скрытой анархией» [9, с. 749]. Неустойчивость общественных отношений обессмысливала любые программные поиски. Правительство даже не задумывалось о стратегии. Оппозиционные силы отвечали на сиюминутные вызовы времени. Бесплодное умствование порождало слабо мотивированное насилие с разных сторон. На произвол сверху отвечали произволом снизу. Однако все же главным виновником в эскалации конфликта были не низы, не интеллигенция, а правительство. «Если бы могло подняться достоинство власти, Франция была бы спасена от революции. Оно поднялось после страшных бедствий, когда на изящные лилии древнего трона королей ступила одетая в ботфорту нога полководца, захватившая власть. Чем более вглядываюсь в события, тем более убеждаюсь, что революция во Франции не была явлением исторической необходимости… Обычный вывод необходимости революции из свойства старого порядка вещей есть система, прилаженная к событиям. Если требуется отыскать виновника совершившегося, то виновник этот – правительственные мероприятия. Можно проследить шаг за шагом, как правительство делало революцию, роняя власть из рук» [9, с. 750].

Иными словами, правительство, способное генерировать новые идеи, формировать «повестку дня» для общества, не только отвечать на вызовы времени, но само по себе быть таким вызовом, – становилось точкой опоры для восстановления порядка[1]. Отсутствие такой власти – важнейший фактор разрастания кризиса. Оно способствует смещению центра тяжести в редакции журналов и газет, в салоны и кружки, университетские аудитории. Отслеживая интеллектуальный процесс эскалации революционного конфликта во Франции, Любимов про-

[1] В этой связи М.Н. Катков писал: «Более всего требуется, чтобы показала себя государственная власть России во всей непоколебимой силе своей, ничем, не смущенная, не расстроенная, вполне в себе уверенная. Боже сохрани нас от всяких ухищрений, изворотов, заискиваний, ото всякой тени зависимости государства от каких-либо мнений. Власть государства не на мнениях основана; или ее нет на деле, или она держится сама собой, независимо от мнений» [3, с. 147].

анализировал социальный состав Генеральных Штатов. Его большинство – это невысокопоставленные служащие на ниве юриспруденции. По мнению Любимова, их многое объединяло с русской интеллигенцией, также готовой стать революционным классом [7, с. 252–253].

Н.А. Любимов констатировал: в России все на всех жаловались. Никто не был доволен. «Послушать – мы все находимся под гнетом какой-то тяжести и движемся в сжатой и густой атмосфере. Но, взглянув внимательнее, не трудно убедиться, что, напротив, всякая тяжесть сложена нами с плеч и мы идем налегке; удушье, несомненно чувствуемое, происходит не от того, что воздух сжат, а оттого что разряжен и мы взапуски стараемся лишить его живительного кислорода. Не в том зло, что трудно у нас жить, а в том, что слишком легко у нас живется» [6, с. 620]. По мысли Любимова, серьезная проблема заключалась в легковесности интеллектуальных конструкций, генерируемых интеллигенцией. Они взвивались вверх, так как не нуждались в сколько-нибудь серьезных несущих основаниях. При идеологическом проектировании не нужно было рассчитывать баланс сил или интересов. Следовало определиться лишь с собственным проектным видением будущего страны.

По оценке Н.А. Любимова, бесплодное проектирование – характерная черта своего времени. На авансцене государственной жизни – сплошные Хлестаковы, лишь дающие «направление» деятельности своим подчиненным, зато преимущественно играющие в вист и в свободное время пишущие программные статьи для журналов. В итоге бесконечные обороты государственной машины оставались бесполезными. Она продолжала стоять на месте [6, с. 620–621]. В то же самое время под давлением общественного мнения расшатывались основы государственности. В итоге само правительство своими неуклюжими действиями подготавливало будущую революцию [8, с. 396].

Любимов полагал, что в 1881 году судьба страны была решена счастливым образом. Вскоре после Манифеста 29 апреля 1881 года он констатировал, что Россия чудом избежала революцию. По его мнению, реализация проекта М.Т. Лорис-Меликова была бы подобна созыву нотаблей во Франции в 1787 году. Тот год был роковым для французской монархии. Тогда она покатилась по наклонной скорости с таким ускорением, что движение вспять было в принципе невозможным. Чем-то подобным могла бы стать и запланированная реформа Государственного совета. Ее готовила «либеральная партия», «партия государственного переворота, попросту – революционная». Это не значит, что все ее сторонники – несомненные революционеры. По мнению Н.А. Любимова, многие сановники империи в силу ограниченности своего образования утратили способность мыслить самостоятельно и находились под неусыпным контролем все того же общественного мнения. Оно складывалось из позиции нелегальных организаций и их легальных покровителей. «Нелегалы» говорили: «Дайте конституцию, и мы стрелять не будем». А «легальные»: «Дайте конституцию, они не стрелять не будут». Впрочем, можно было бы довольствоваться и подобием конституции, которая в любом случае была бы шагом к революции [9, с. 769–770][1]. Теперь, воспользовавшись временной передышкой, следовало работать на ниве образования, пытаясь повернуть вспять общественные настроения, столь пугавшие публициста некоторое время назад [4, с. 132–134].

Слова Н.А. Любимова были многими подхвачены. М.Н. Катков был с ними полностью согласен: «Нечего себя обманывать, мы уже в революции, искусственной и поддельной, но все же в революции» [15, с. 25]. Ф.М. Достоевский писал Любимову: «Такую статью как “Против течения” давно бы надо пустить в “Русском вестнике”. К тому же у нас все до сих пор предания 48 года… Особенно для молодых умов назидательно! [2, с. 215–216][2]».

[1] Эта мысль была созвучна катковской: «Между “нелегальными” и “легальными” служителями крамолы разница только во внешней форме, а не в существе дела» [3, с. 167].

[2] 8 ноября 1880 года он писал Н.А. Любимову: «Не будут ли продолжатся статьи “Против течения”? Они здесь сильно замечены. Если б в ноябре и декабре поместить? Поверьте, они необходимы, ибо решительный успех» [2, с. 228].

Е.М. Феоктистов, в скором будущем начальник Главного управления по делам печати, отмечал: «Статьи “Против течения” производят здесь впечатление, отовсюду слышны расспросы и толки…». Своими впечатлениями делился и будущий министр народного просвещения И.Д. Делянов: «Я с удовольствием читаю в “Русском вестнике” статьи “Против течения”. Желал бы я, чтобы их прочли и наши государственные мужи – в них много поучительного». В то же самое время непримиримые оппоненты А.Д. Градовский (в «Голосе») и И.С. Аксаков (в «Руси») разоблачали любимовские построения – правда, с противоположных точек зрения. Своего рода итог этой дискуссии в 1882 году подвел в «Новом времени» публицист и государственный деятель К.А. Скальковский. Он отметил, что речь идет об авторе «в высшей степени тенденциозной и талантливой книги». «В сочинении этом проводится блестящая параллель между нынешней Россией и Францией в момент возникновения революционного брожения в конце XVIII века и доказывается, что революция у нас началась фактически, пока, к счастью, в умах и убеждениях» [15, с. 26–27][1].

В 1881 году могло показаться, что «история закончилась», Россия вошла в свою колею, не подразумевавшую никаких серьезных политических встрясок. Однако меньше чем через четверть века повестка 1881 года вновь стала актуальной. Вновь обсуждали проект реформы Государственного совета, инициированной министром внутренних дел, – правда, теперь П.Д. Святополк-Мирским, а не М.Т. Лорис-Меликовым. Опять этот документ в своих основных положениях был отвергнут в декабре 1904 года. Правда, месяц спустя в столице произошли роковые события, о революционном характере которых обычно спорить не приходится. Но тогда ли началась революция? Может быть, в декабре, ноябре или в июле 1904 года? Или все же в конце 1870-х годов, как об этом писал Н.А. Любимов?

[1] О статье Н.А. Любимова И.С. Аксаков писал: «Если что нужно раскрывать нашему правительству, так именно… условия истинной силы. Только познавши их сущность и характер, освободится оно не только от положительных революционных призраков, на которые указывает составитель упомянутой нами книги, но и от всяких иных, столь же лживых пугал консервативно-отрицательного измышления. Стоит только сойти с почвы народно-исторической, упустить из виду центр тяжести русской государственной жизни, представляемый русским народом, – и отовсюду пойдут мерещиться разные страшные чудища! Стоит лишь, наоборот, смело стать на эту почву и от бюрократического режима идти к восстановлению нам единственно свойственного, естественно, земско-государственного строя – и одно за другим сокроются чудища!» [1, с. 772].

Литература

1. *Аксаков И.С.* Отчего так нелегко живется в России? / сост., вступ. ст. В.Н. Грекова. М.: РОССПЭН, 2002. 1007 с.
2. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 30. Кн. 1. Л.: Наука, 1988. 456 с.
3. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1881 год. М., 1898. 632 с.
4. *Котов А.Э.* «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб.: Владимир Даль, 2016. 488 с.
5. *Леонтьев К.Н.* Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. / подг. текста, сост. коммент. В.А. Котлельников, О.Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2006. Т. 7. Кн. 2. 969 с.
6. *Любимов Н.А.* Против течения // Русский вестник. 1880. № 148. С. 612–690.
7. *Любимов Н.А.* Против течения // Русский вестник. 1880. № 149. С. 206–247.
8. *Любимов Н.А.* Против течения // Русский вестник. 1881. № 152. С. 363–423.
9. *Любимов Н.А.* Против течения // Русский вестник. 1880. № 153. С. 747–802.
10. *Половцов А.А.* Дневник // ГА РФ. Ф. 583. Оп. 1. Д. 17.
11. *Половцов А.А.* Дневник // ГА РФ. Ф. 583. Оп. 1. Д. 18.
12. *Половцов А.А.* Дневник // ГА РФ. Ф. 583. Оп. 1. Д. 20.
13. *Розенталь И.С.* Революция // Общественная мысль XVIII – начала XX века: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005. С. 447–450.
14. Словарь основных теоретических понятий: Избранные статьи: пер. с нем. К. Левинсона / сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле. М.: Новое литературное обозрение, 2014. Т. 1. 731 с.

15. *Случевский К.А.* Памяти Николая Алексеевича Любимова. СПб., 1897. 100 с.

16. *Цимбаев Н.И.* Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 271 с.

Аннотация. Статья посвящена концепции революции Н.А. Любимова, его оценкам политической ситуации 1870–1880-х годов, а также «рецептам» выхода из революционного кризиса. В центре внимания – получившая широкую известность серия статей Н.А. Любимова «Против течения». Внимательное чтение этого источника позволяет выявить логику изучаемого исторического момента – конца 1870 – начала 1880-х годов, – зачастую недоступную нашему современнику. Прежде всего это обусловливается различием категориального аппарата XIX и XXI веков, наполненностью важнейших терминов различным смыслом. В частности, это замечание относится и к понятию «революция», которое 150 лет назад осмыслялось с учетом совсем иного интеллектуального контекста.

Ключевые слова: революция, М.Н. Катков, общественное мнение, интеллигенция.

Kirill Andreyevitch Solovyov, PhD in History, Senior Researcher, Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences. E-mail: kirillsol22@yandex.ru

N.A. Liubimov Against the Current. Political Philosophy of Counter-Revolution

Abstact. The article is devoted to N.A. Liubimov's concept of Revolution, his understanding of the political situation in 1870–1880 and his "recipe" of overcoming the Revolution crisis. In the center of attention are the series of N.A. Liubimov's famous articles "Against the current". Attentive reading of this historical source allows to reveal the logics of that historical moment – he end of the 1870-ies and the beginning of the 1880-ies – usually beyond the comprehension of our contemporaries. It can be primarily explained by the specific categorical vocabulary of the 19th and 20th centuries, and the differences in the most important terms. In particular, it also refers to the term "revolution" that was interpreted quite differently 150 years ago.

Keywords: Revolution, M.N. Kankov, Public Opinion, Intelligentsia.

Катков: один на один

Раздел шестой

Л.Е. Шапошников
М.Н. Катков и славянофилы

А.А. Тесля
Иван Аксаков vs Михаил Катков: I-я половина 1860-х годов

А.О. Мещерякова
Политический союз поэта и журналиста: Ф.И. Тютчев и М.Н. Катков в период польского восстания

А.В. Репников
Михаил Катков и Лев Тихомиров: созвучия и диссонансы

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-367-384

Лев Шапошников

М.Н. Катков и славянофилы

М.Н. Катков в 60–80 годах XIX века был ключевой фигурой в идейной борьбе в России. Причем его позиция одними поддерживалась и считалась спасительной для отечества, а другими характеризовалась как «проявление мракобесия, ведущего народ к погибели».

Вот как об этом в 1887 году пишет в письме к К.П. Победоносцеву издатель журнала «Русский архив» П.И. Бартенев: «…целые обширные кружки читающего люда <…> и доселе относятся к Каткову с ненавистью», а есть православные люди, которые считают его даже «антихристом за надеваемую якобы постоянную личину». В то же время некоторые его поклонники дошли до того, что «называют его деятельность богослужением» [4, с. 721].

Взгляды М.Н. Каткова за его жизненный путь претерпели сложную эволюцию, и хотя он сам заявлял, что никогда не искал «чести принадлежать к какой-нибудь из наших партий», все-таки по-настоящему его талант публициста раскрылся в рамках охранительного консерватизма. Правда, отчасти можно согласиться с Л.А. Тихомировым, замечавшим, что Катков «был весь век не мыслителем, даже не пропагандистом, а вечным бойцом». Выступая то «адвокатом, то прокурором», он стремился решать чисто практические задачи, а именно добиваться успехов «в целях данного дня» [15, с. 337].

Наконец, еще одна характерная для деятельности М.Н. Каткова черта, на которую обратил внимание В.В. Розанов: он представлял «русское направление», и против него велась не просто полемика, а, «точнее, велась травля». В свою очередь и публицист «знал страстные увлечения и не щадил кличек и марающих обвинений» [12, с. 36]. В этих условиях объективные оценки обсуждаемых проблем часто подменялись «личностными отношениями», и потому снижался научный статус предлагаемых выводов.

Существует мнение, что публицистика М.Н. Каткова во многом определялась конъюнктурными соображениями, диктовалась желанием «угодить властям». Так, исследователь его творчества Р.И. Сементковский в своей работе, вышедшей в 1892 году, утверждал, что Катков не обладал самостоятельной позицией и «почти всегда пел с чужого голоса» [3, с. 356]. Мы думаем, что подобное утверждение не является истинным. Конечно, редактор «Московских ведомостей» реагировал на «настроения высших сфер», но можно согласиться с его мнением, что передовые статьи, «в которых высказывается мнение газеты, пишутся или непосредственно мною самим, или составляются по моим указаниям». Причем в письме к К.П. Победоносцеву он подчеркивал свою независимость, так как «высказывал только то, что считал по своему убеждению и разумению полезным» [4, с. 718].

М.Н. Катков претендовал на создание органической теории, которая призвана дать правильный, непротиворечивый взгляд на формирование общественных отношений и государства, а также на развитие «народного духа». Мы не будем анализировать концепцию мыслителя в целом, остановимся только на его главных методологических установках, которые позволят показать различие славянофильской и его позиций.

Рассматривая пути развития социума, публицист дает свое понимание прогресса. С его точки зрения, движение вперед «может свершиться только на твердой почве и

Шапошников Лев Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, Президент ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина». E-mail: rectornnspu@rambler.ru

лишь в той мере, в какой почва тверда» [5, с. 8]. Следовательно, силы, выступающие с программой разрушения старого, не могут быть названы прогрессивными, и, наоборот, народная жизнь тем прогрессивнее, чем менее «забывала свое происхождение». В силу этого делается вывод, согласно которому «истинно прогрессивное направление должно быть в сущности консервативным» [5, с. 35]. Именно защита «подлинного консерватизма», или «охранительного начала», становится для М.Н. Каткова доминантной целью деятельности. Критерием позитивного, органического развития социума, с этой точки зрения, выступает то, насколько «с приобретением нового не теряется прежде бывшее и вся сила прошедшего сохраняется в настоящем» [5, с. 8].

Для мыслителя является аксиомой тезис о том, что самодержавие выступает фундаментом, на котором в России базируется «охранительное начало», ибо «в основу нашей истории положено единовластие» [6, с. 683]. Поэтому именно самодержавие является главной действующей силой русской истории и ее творцом.

Особую роль в России также играет православие, которое отразилось и в народном духе. Все дело в том, что Русская православная церковь в отличие от католицизма «отреклась от всякой земной власти, а потому и не внесла в нашу жизнь начало двоевластия, которым определяется история Запада» [6, с. 683]. Поэтому социально-политические и религиозные факторы сформировали принцип единовластия как «необходимую и руководящую норму нашего развития».

Славянофильская историософия тоже выступает за необходимость сохранения органических для России начал, более того, она считает возможным в какой-то мере восстановить в современном обществе утраченные традиционные черты. В этой связи понятно, почему славянофилов тоже относят к консервативному лагерю, но их консерватизм существенно отличается от установок М.Н. Каткова.

Для славянофилов не монарх, а именно народ является «единственным и постоянным действователем истории», и потому А.С. Хомяков и К.С. Аксаков выступали с критикой исторических работ Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева, поскольку те воспринимали народ как «пассивный человеческий материал» [см. 17, 1].

Исходя из тезиса о решающей роли народного начала в истории, славянофилы рассматривают и деятельность великих людей. По их мнению, нельзя «все величие многовековых подвигов и трудов народных приписать одному человеку, хотя бы и гениальному» [1, с. 166]. Ни один человек, как бы велик он ни был, не может быть «полным представителем своего народа», то есть выразить все его чаяния и стремления. Значение «исторического деятеля» зависит от того, «какие потребности народа и насколько полно он восполнил». В этом совпадении деятельности великих людей с народными стремлениями и содержится возможность «дальнейшего развития истории».

Такое понимание роли личности в истории приводит славянофилов к своеобразной оценке самодержавия. Они считали, что монархия – лучшая форма правления для России. В то же время, по их мнению, царь получает свою власть не от Бога, а от народа «путем избрания на царство». Например, первый представитель династии Романовых, отмечает А.С. Хомяков, не отличался какими-то особыми способностями, но в Михаиле Россия «видела... человека, которого избрала сама, с полным сознанием и волею» [16, с. 55].

Для того чтобы оправдать свое предназначение, самодержец должен «действовать в интересах всей русской земли». Однако «государь, как и всякий человек, может впасть в заблуждение», тогда политика монарха расходится с народными чаяниями. Подобная ситуация наступает в том случае, когда «не все сословия в равной степени пользуются его покровительством». Высшие слои общества, преследуя свои корыстные интересы, ставят крестьянство «вне закона». В России произошла деформация самодержавного принципа, ибо «дворянство разлучило простой народ с царем» [14, с. 3]. Отмечая особенности сла-

вянофильской трактовки самодержавия, Н.А. Бердяев даже полагает, что она выступает «своеобразной формой отрицания государства» [2, с. 4], содержит определенный анархический элемент.

Однако в действительности славянофилы не были сторонниками анархии, их концепция органического развития общества предполагает опору на базисные основания, среди которых одним из главных является государство. Анархия, как и любая революция, есть не что иное, как «голое отрицание, дающее отрицательную свободу, но не вносящее никакого нового содержания» [16, с. 51]. Итак, понимание самодержавия, его роли в отечественной истории у М.Н. Каткова и славянофилов значительно расходятся.

Другой важнейшей методологической установкой при анализе факторов общественного развития был для М.Н. Каткова рационализм. Он, как известно, увлекался немецкой классической философией, и идеи последней отражаются в его взглядах. Для мыслителя истиной является тезис, согласно которому «в человеческом обществе всякий прогресс есть, в сущности, прогресс в понятиях, в идеях» [6, с. 456]. Никакие перемены в окружающей среде не могут «превозмочь силу понятия в обществе». Отсюда делается вывод о том, что «друзья подлинного прогресса» должны заниматься не «механической деятельностью», а им необходимо добросовестно трудиться «над своими понятиями». Итак, понятия, то есть рациональные представления, первичны, а все остальные социальные явления по отношению к ним вторичны.

Совершенно иная позиция у славянофилов, ибо они понимают мир как результат деятельности «разумной воли», то есть как «образ единого духа». Поэтому познать действительность можно лишь при условии приобщения к «сфере духовного». Главным недостатком гносеологических построений немецкой классической философии, по мнению славянофилов, было то, что она исповедует познание «без действительности, как отвлечение». В этом абстрагировании проявляется рационализм, преувеличение значения схематического познания, которое в итоге сводится к «бесконечной, утомительной игре понятий». Итак, вместо цельного познания западная мысль предлагает в качестве идеала знания абстрактно-логическую схему, которая примитивизирует сложный духовный мир. Тем самым появляется неполное, искаженное представление об истине, ибо «познаваемое в своей полноте есть полный образ духа» [16, с. 273]. Полный «образ духа» во всей полноте человеку в принципе недоступен, так как «дух познаваемый не проникает вполне» в сущность познаваемого, хотя цельное познание и улавливает «элементы Истины». Из этого не следует, что славянофилы находились на позициях агностицизма. Вслед за Кантом Хомяков разделяет познаваемую действительность на мир сущностей и мир явлений, но если у немецкого философа между этими ступенями познания лежит непроходимая граница, то у Хомякова они взаимопроникают друг в друга. Единство сущности и явления обусловлено их единой основой, то есть «духовной силой». На уровне сущности «сила» выступает «в смысле закона изменения явлений», на уровне явления она вторгается в материальный мир, в «мир вещества». Следовательно, в познании человек имеет дело с двумя родами истин: первые характеризуют сущность, вторые – явление. Истины первого порядка находятся «по ту сторону рассудка» и выступают не как итог спекулятивного мышления, а как «непосредственное, живое и безусловное знание». С его точки зрения, подобное знание «следует назвать верою», оно гораздо выше знаний, полученных путем «отвлеченного рационального анализа». Причем славянофилы подчеркивали, что в восточном христианстве вера не может рассматриваться с формальных, утилитарных позиций, она должна преобразовывать «внутреннее состояние» души, вести к «новой жизни в Духе». Христианство пронизывает «быт русского человека, его убеждения», становится «в подлинном смысле жизненным», и в результате побеждает не внешняя правда, а «существенная справедливость», не материальная выгода, а «нравственные требования».

Рационализм М.Н. Каткова проявлялся не только в интерпретации развития общества, но и в понимании веры. Православная церковь характеризуется им прежде всего «в неразрывном единении с единодержавием». Поэтому «государство должно ограждать ее, оберегать ее <…> усиливать и улучшать положение ее служителей, чтоб они могли усиленно и крепко пасти свою паству» [6, с. 638]. Рационализм в делах веры неизбежно сводится к формальным внешним оценкам поведения верующих.

Наконец, еще одна тема, по которой взгляды М.Н. Каткова и славянофилов существенно расходятся, – это образование. Мы уже отмечали, что публицист особое место в развитии общества отводит «разработке и усвоению понятий». Определяющие состояние общества понятия должно сформировать правительство, но одним из главных каналов приобщения к ним граждан является образование. Отсюда понятно значение образования для общественной жизни: именно оно формирует понятия, которыми индивид руководствуется в своей деятельности. Но для того чтобы понятия «развивались с полной ясностью в уме», образовательному процессу необходимо опираться на самые передовые педагогические доктрины. Естественно, что подобные достижения имеются в Европе, а не в России, так как у русских «является мало серьезных деятелей науки». Следовательно, «противники европейских основ нашей педагогической системы» стремятся «подорвать все, что могло бы дать силу и высоту умственному развитию в среде нашего народа» [6, с. 476–477].

Мыслитель явно вопреки логике утверждает, что если в политической сфере «национальное чувство есть дело справедливое и законное», то в «вопросах знания» оно не нужно и «народность не теряет, а выигрывает, когда <…> возвышается над своим самолюбием».

Анализируя историю российского просвещения с позиций вышеобозначенных установок, М.Н. Катков делает вывод об особом значении «европейского, или – что все то же – всемирного», элемента в его развитии. Носителями этого «элемента» после Петра I выступают иностранные ученые и педагоги. С одной стороны, их, по мнению публициста, нельзя упрекнуть в том, что они желают «поддерживать умственную зависимость России от иностранных земель». С другой – М.Н. Катков справедливо утверждает, что иностранная интеллигенция стремится насаждать убеждение, согласно которому нет «настоятельной надобности вызывать умственные и нравственные силы из недр самого русского народа» [6, с. 490]. Однако поскольку «педагогическая часть» отечественного образования «у нас сильно запущена», то без западных ученых и европейских педагогических теорий России не обойтись. Реформирование российского просвещения, с этой точки зрения, и должно привести его к соответствию западным стандартам. Отсюда постоянная апелляция к европейскому опыту как главному аргументу, обосновывающему то или иное нововведение в образовательной сфере.

Особенности предполагаемой «учебной реформы», по мнению мыслителя, заключаются в том, что она как бы начинается с чистого листа. Если в странах Западной Европы образовательные преобразования лишь давали простор «лучшим началам», укорененным «в многовековое плодотворное развитие», то у нас они «должны впервые положить эти начала, не имея ни преданий, ни образцов» [7, с. 337]. С этой точки зрения, Россия оказывается некой «образовательной пустыней» (и эта характеристика относится к 60–70-м годам XIX века!). В этой связи интересно отметить, что временами непримиримый борец с нигилизмом сам демонстрирует приверженность отрицательным и негативным установкам.

В основу реформированного гимназического обучения, как мы уже отмечали, по мнению М.Н. Каткова, должны быть положены европейские образцы, с тем чтобы «еще теснее к ним примкнуть». Характерной же чертой западной школы является «концентрация, сосредоточение, собирание умственных сил, достигаемое древними классическими языками – греческим и латинским». Новый Устав гимназии, принятый в 1864 году, «полон

сочувствия» к этим идеям, но они не выразились «в его учебной программе с должной последовательностью и верностью своей сущности» [7, с. 315]. В этой связи М.Н. Катков предлагает провести пересмотр изучаемых в гимназии наук. Так, следует сократить программу по изучению русского языка, ибо «излишек времени <…> для преподавания своего языка ведет к самому губительному празднословию». Необходимо также уменьшить изучение истории и географии. Особенно это требование относится к истории, так как этот предмет «вредный» при «излишнем распространении в учебном курсе» [7, с. 322]. Наконец, изучение естественных наук гимназистами 10–12 лет тоже «жалкая трата времени», и его нужно сократить. В результате предлагаемых преобразований появится «эффективная учебная программа». Она уже будет отводить на латынь не три часа в неделю, а по образцу европейской школы утвердит «один господствующий предмет» – классические языки, которым отводится 16 часов из 24 часов учебного времени в неделю.

Естественно, такая однополярность вызывала возражения в обществе, против нее решительно выступил, например, Д.И. Менделеев. Да и сам М.Н. Катков соглашался, что многим классические языки кажутся «бесплодными предметами», однако в действительности «они тем не менее приносят великую, неоспоримую пользу». Однако аргументация в защиту этой позиции сводилась к апелляции к западному опыту, к тезису об особом благоприятном влиянии этих дисциплин на «воспитание ума», наконец, к утверждению, что они дают ключ к пониманию всех других областей знания. Если же вспомнить, что изучение древних языков превращалось в зубрежку, механическое воспроизводство мало понятных текстов, не связанных с реальной жизнью, к тому же был недостаток преподавателей, обладающих высокой квалификацией в этой предметной области, то с аргументами мыслителя нельзя согласиться. Авторитетный деятель отечественного образования Б.Н. Чичерин отмечает еще одну особенность проводимых преобразований. Гимназическая реформа насаждалась сверху, без поддержки образовательного сообщества, иначе говоря, ее проводили «бюрократическим способом, тем самым она была обречена на полное бесплодие» [19, с. 556]. В то же время мы считаем, что публицист искренне был убежден в полезности своих начинаний. Одним из факторов, способствующих формированию взглядов Каткова на роль классических языков, безусловно, был его ярко выраженный рационализм. Другой фактор – желание воспитывать гимназистов в правильном духе с помощью «мертвых языков», – последние рассматривались им как «верное средство внушать юношеству консервативные идеи» [19, с. 556].

После назначения министром просвещения Д.А. Толстого взгляды М.Н. Каткова на реформу гимназического образования получили официальную поддержку, и в 1871 году был принят новый гимназический Устав. Он вводил в гимназии преподавание двух древних языков, которые становятся доминирующими предметами.

Совершенно иные установки по отношению к образованию мы видим у славянофилов. Они прежде всего подчеркивают единство образования и воспитания и для этого используют термин «просвещение», который органически сочетает в себе эти два качества. В состав образованности как важный элемент входит наука, но она, во-первых, должна быть «наукой живой», то есть соединенной с жизнью; во-вторых, наукой, свободной от ложных систем и ложных данных. Только в этом случае произойдет подлинный синтез науки и жизни, который и приведет «к созданию просвещения» [16, с. 69]. В славянофильском подходе к просвещению нашла отражение отечественная традиция онтологизации истины, которая была чужда для Запада. Там происходит выдвижение на первый план внешних результатов образованности, в результате само приобщение к знаниям на Западе понимается как «собрание опытов», получение различных сведений, как «беспристрастное наблюдение природы», «развитие техники». В этом случае оно не в состоянии влиять на нравственное развитие личности, дать ей правильную ценностную ориентацию, а значит,

и верно определить смысл ее жизни. Вследствие этого просвещение теряет целостность, становится «односторонне-рассудочным», а поскольку «рассудок в человеке зреет гораздо легче, чем разум [16, с. 69], постольку западное образование замыкается в тесных границах стремления «к земному и благоразумно-обыкновенному», следствием чего становится «отсутствие в нем высших убеждений».

Иная ситуация складывалась на Руси, ибо в основу ее духовных традиций было положено православие. Сотериология восточного христианства исходит из понимания процесса нравственного совершенствования как процесса «обожения», то есть преображения человека. Индивид не просто разумом познает «истины откровения», но «входит в истину».

В связи с этим божественные истины начинают трактоваться не только как «правильное изложение Божественной воли», но и как «жизнь по воле», то есть как «жизнь по правде Божьей». Эти установки отразились и в традициях русского просвещения. Поэтому, по мнению славянофилов, в Древней Руси «собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам». В отличие от западного, это было просвещение «не блестящее, но глубокое, не материальное, имеющее целью удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное» [8, с. 125]. Оно сообщало человеку не просто знания, но глубокие мировоззренческие основы, «живые истины», которые являются «столько же началом ума, сколько началом жизни». Такое просвещение – результат длительного духовного развития личности, «действенное и разумное событие ее внутренней жизни».

Итак, в древнерусском просвещении славянофилы видели образец христианского просвещения, гармоничный синтез религиозной веры, знания и личного духовного опыта человека. Целью такого просвещения является достижение «внутренней цельности разума», того «средоточения умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство» [16, с. 221].

Целостность мировоззрения формирует у русского человека особый нравственный максимализм, тягу к высшему христианскому идеалу и острое переживание несоответствия ему. Причем чем выше восходит личность по лестнице нравственного совершенствования, тем более она видит свои недостатки и тем менее бывает довольна собой. В силу этого духовно-психологический склад европейца, которому свойственна «внутренняя тревожность духа» и в то же время рассудочная уверенность в «своем нравственном совершенстве», и русского, для которого характерно «спокойствие внутреннего самосознания» при постоянной критичности к себе и при максимальной «требовательности нравственного усовершенствования», значительно различаются между собой.

Специфику духовного склада русского человека, по мнению славянофилов, составляет «преимущественное стремление к цельности бытия» – внутреннего и внешнего, частного и общественного, умозрительного и житейского, рационального и нравственного. «Раздвоение и цельность, рассудочность и разумность будут последним выражением западноевропейской и древнерусской образованности» [8, с. 235].

Рассмотрев особенности древнерусского просвещения, А.С. Хомяков и И.В. Киреевский задавали вопрос: «Почему, при гораздо высшем начале, не опередила Русь Запад и не стала во главе умственного движения человечества?» В своей известной работе «По поводу статьи И.В. Киреевского “О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России”» А.С. Хомяков данное обстоятельство объясняет тем, что христианское просвещение, во всей «своей всесторонности и полноте, требовало для своего развития внутренней цельности в обществе, которой не было». Да, русский народ находился под «прямым влиянием» православия, отсюда «цельность его явлений духа», однако и он обладал «неполнотою усвоения просветительного начала» и недостатками «определи-

тельного сознания», то есть такого, которое формирует установки для человеческой деятельности [см. 11, с. 131–133].

Органическое развитие русского просвещения было прервано реформами Петра I. Русское общество «стало лицом к лицу с западною наукою», и оно уверовало, что лишь «теперь началась умственная и духовная жизнь для русской земли» [18, с. 516]. Славянофилы подчеркивали, что есть два пути усвоения знаний: первый – самостоятельный их поиск, требующий «собственной духовной работы», второй – «подражание рабское», основанное на простом приобщении к «чужому», на «заимствовании готового». Правящее сословие избрало второй путь и стало транслятором и носителем чужой образованности, но и народ «без мыслящих деятелей» более сохранял традиции, чем занимался творчеством нового просвещения на основе «коренных русских начал».

В результате после петровских реформ русское общество оказалось расколотым, ибо «просвещение иноземное принадлежит почти исключительно высшему, так называемому образованному классу русского народа», а «первобытное просвещение России хранится, не развиваясь, в нравах, обычаях и внутреннем складе ума так называемого простого народа» [8, с. 276]. Поэтому начиная с XVIII века в России сталкиваются две системы ценностей. Одна ориентирована на европейскую образованность, ее сторонники «живут в России как гости», они в большинстве своем космополиты, лишенные чувства патриотизма, национальной гордости и даже с презрением относящиеся к своему народу и к его истории. Другая ориентируется на самобытные народные начала, то есть на те, которые «народ признает, в которые он верует, к осуществлению которых он стремится, которыми он проверяет себя, по которым судит о себе и о других» [13, с. 151].

Рабское заимствование западноевропейской образованности и культуры в эпоху петровских преобразований еще может быть как-то оправдано, ибо «Запад уже развил свои умственные силы, а мы были в совершенном младенчестве в отношении к знаниям». Конечно, у Хомякова речь идет не об истинах духовных, в познании которых мы всегда превосходили Европу, а о знаниях философских, естественнонаучных, технических и т.п. При нормальном развитии просвещения отечественная мысль должна избавляться «от суеверного поклонения чужому авторитету, без этого не будет доверия к собственной образованности». Современная Хомякову Россия, с его точки зрения, находится на таком уровне развития, когда «дальнейшее самоуничижение перед мыслью иноземною делается уже невозможным для всего народа» [18, с. 516].

В то же время призывы к развитию «коренных начал» отечественного просвещения ни в коем случае нельзя понимать как нигилистическое отношение к западному опыту. В своей работе «По поводу статьи И.В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» А.С. Хомяков специально останавливается на этой проблеме [см. 11, с. 134–135]. По мнению русского мыслителя, «неразумно бы было не ценить того множества полезных знаний, которые мы уже почерпали и еще черпаем из неутомимых трудов западного мира». Более того, для славянофилов ясно, что поскольку человек не может обходиться без этих знаний, то «говорить об них с неблагодарным пренебрежением было бы не только неразумно, но и нечестно» [13, с. 119]. Другое дело, что западное просвещение должно быть подвергнуто критическому анализу с позиций тех «высших начал, которые исстари завещаны православием наших предков». В результате будет преодолен разрыв между образованием и воспитанием, односторонняя рассудочность и «самоубийственное развитие рационализма», господство индивидуализма и утилитарных начал. Тогда произойдет возвышение науки, она получит «целостность и полноту», а Россия в этом случае сможет «заплатить сполна и даже с лихвою долг наш западным нашим учителям».

Итак, и в сфере образования позиции славянофилов и М.Н. Каткова радикально расходятся, так как «сторонник русского пути» фактически капитулирует перед западной

образованностью, отводя России роль «вечной ученицы». М.Н. Катков сам понимает, что его взгляды часто расходятся со славянофильскими идеями.

В связи с этим понятен его критический настрой к «так называемому славянофильскому кружку». Он особенно возмущается тем обстоятельством, что они считают «Россию изобретением и достоянием» своей партии. Поэтому и выступления Каткова воспринимаются ими как покушение на их «специальность»: так, Ю.Ф. Самарин даже считает, что мыслитель временами «сбивается на славянофильский лад». Однако Михаил Никифорович не оставляет никаких сомнений на этот счет, заявляя о «радикальном несогласии наших мнений с их Кораном». Поэтому все его «попреки в славянофильстве» несостоятельны и он не будет «претендовать на честь этого титула» [6, с. 478].

Анализ взглядов М.Н. Каткова и славянофилов показывает, что консерватизм может включать разнообразные ценностные установки, и потому в этом течении могут быть различные направления. Общим для всех направлений в рамках консерватизма является позитивное отношение к традиции, но само ее понимание может быть различно. Сторонники охранительного консерватизма, к которому принадлежал М.Н. Катков, выступают за сохранение некоего «вечного набора» готовых истин как в сфере социально-политической, так и в области идеологических отношений. Это течение фактически внеисторично, оно сохраняет готовое и с принципиальных позиций отказывается от «приобретения нового», созвучного духу времени. Сама традиция понимается с финалистских позиций как раз и навсегда сформулированное, законченное учение или определенные неизменные положения. Задача сторонников традиции в этом случае сводится лишь к ее трансляции и охранению от любых «внешних покушений».

Другое отношение к традиции присутствует у сторонников органического консерватизма, яркими представителями которого были славянофилы. Мы думаем, что их позицию можно охарактеризовать как новаторский (от лат. novatio – обновление, изменение) традиционализм. Они понимают традицию не как мумифицированную, а как живую, развивающуюся, отвечающую на вызов времени. Отстаивая эти фундаментальные принципы, А.С. Хомяков и его сторонники признавали «Церковь развивающуюся», и Россия для них есть «община живая и органическая», и каждый народ и каждая личность являются «живыми лицами», находящимися в развитии. Более того, согласно «всеобщему закону», в социальной сфере «полный застой невозможен, движение необходимо» [16, с. 127]. Естественно, изложенные взгляды были оппозиционны по отношению к охранительному консерватизму. Поэтому не случайно В. Лясковский отмечает, что «подлинные консерваторы всегда их [славянофилов – *Л.Ш.*] считали либералами, только другого сорта» [10, с. 3].

Жизнь, развитие могут происходить только в истории, отсюда такое острое чувство историзма у славянофилов. В этой связи мы никак не можем согласиться с В.И. Кулешовым, который считает, что «религия, можно сказать, освобождала славянофилов от обязанностей иметь дело с историей» [9, с. 75]. Напротив, религиозные принципы понимания истории позволяли русским мыслителям выделить «коренные начала» и личности, и нации и рассмотреть, как они сохраняются и видоизменяются в процессе развития общества. Отсюда понятно, почему у славянофилов именно изучение истории дает ключ к пониманию настоящего.

Итак, новаторский традиционализм, или органический консерватизм, существенно отличается от охранительного консерватизма, так как не признает неподвижность и законченность истории, он выступает за развитие общества и личности при сохранении ряда фундаментальных оснований, обеспечивающих органическую преемственность между старым и новым. Этим и обусловлены различия во взглядах между М.Н. Катковым и славянофилами.

Литература

1. *Аксаков К.С.* Полн. собр. соч. М.: Типогр. П. Бахметева, 1861–1880. Т. 1. 632 с.
2. *Бердяев Н.А.* Судьба России. М.: Философское общество. 1990. 240 с.
3. *Сементковский Р.И.* Михаил Катков: Его жизнь и публицистическая деятельность: Биогр. очерк // Гаррик. Волков. Щепкин. Катков. Салтыков-Щедрин: Биографические повествования. М.: Урал ЛТД, 1998. С. 319–393.
4. К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. М.: Госиздат, 1923. Т. 1. Пол. 2. 1147 с.
5. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. СПб.: Росток, 2011. Т. 2. 896 с.
6. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. СПб.: Росток, 2012. Т. 4. 735 с.
7. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. СПб.: Росток, 2011. Т. 5. 847 с.
8. *Киреевский И.В.* Избранные статьи. М.: Современник, 1984. 383 с.
9. *Кулешов В.И.* Славянофилы и русская литература. М.: Художественная литература, 1976. 288 с.
10. *Лясковский В.* Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения. М.: Университетская типография, 1897. 94 с.
11. О Русь, волшебница суровая. Н. Новгород: ВВКИ, 1991. 254 с.
12. *Розанов В.В.* В нашей смуте / В.В. Розанов // Собр. соч. М.: Республика, 2004. Т. 17. 429 с.
13. *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. М.: Типогр. А.И. Мамонтова и Ко, 1877. Т. 1. 403 с.
14. *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. М.: Типогр. А.И. Мамонтова и Ко, 1887. Т. 2. 444 с.
15. *Тихомиров Л.А.* Монархическая государственность. М.: РОССПЭН, 2010. 752 с.
16. *Хомяков А.С.* Полн. собр. соч. М.: Университетская типография, 1900. Т. 1. 416 с.
17. *Хомяков А.С.* Полн. собр. соч. М.: Университетская типография, 1900. Т. 3. 492 с.
18. *Хомяков А.С.* Сочинения: в 2 т. Т.1. М.: Медиум, 1994. 590 с.
19. *Чичерин Б.Н.* Философия права. СПб.: Наука, 1998. 656 с.

Аннотация. В статье сравниваются взгляды М.Н. Каткова и славянофилов по вопросам самодержавия, общественного развития, а также их подходы к оценке образовательной сферы. Автор отмечает, что и Катков, и славянофилы принадлежали к консервативному лагерю, однако их позиции по анализируемым проблемам существенно друг от друга отличаются, так как первый защищал охранительный консерватизм, а вторые были сторонниками органического консерватизма. Автор предлагает определения специфики этих направлений в отечественной мысли.

Ключевые слова: консерватизм, либерализм, реформы, монархия, традиция, образование, рационализм, развитие.

Lev E. Shaposhnikov, PhD in Philosophy, Professor, President, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University. E-mail: rectornnspu@rambler.ru

M.N. Katkov and Slavophils

Abstract. The paper analyses and compares the views of M.N. Katkov and Slavophils on such issues as: the role of monarchy, prospects for social development and approach to education reforms. It is emphasized that though both Katkov and Slavophils belonged to the “conservative camp”, their views on the socio-political and cultural issues were very different. M.N. Katkov supported the ideas of “protective” conservatism, while the Slavophils advocated “organic” conservatism. The article dwells on the specifics of these two doctrines.

Keywords: Conservatism, Liberalism, Reforms, Monarchy, Tradition, Education, Rationalism, Development.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-340-348

Андрей Тесля

*Иван Аксаков vs Михаил Катков: I-я половина 1860-х годов**

Михаил Никифорович Катков[1] (1818–1887) и Иван Сергеевич Аксаков[2] (1823–1886) – наиболее яркие, известные и, что самое важное, влиятельные публицисты 1860–1880-х годов, условно относимые к консервативному лагерю. Условность этого отнесения связана как со сложностью их собственных позиций, так и со значительной идеологической эволюцией, проделанной каждым из них за годы активной публицистической деятельности. Впрочем, в случае с Катковым с 1856 года, когда он принимается издавать «Русский вестник», и вплоть до его кончины в 1887 году говорить об изменении в целом консервативных воззрений автора не приходится. Эволюция наблюдается скорее в двух плоскостях – в том, где и как именно видит и находит Катков «охранительные начала», как конкретизирует свой консервативный взгляд, а также в изменениях, происходящих как в русской политике, так и в русской общественной мысли.

Если характеризовать изменение воззрений Каткова предельно кратко, то это переход от свойственной многим в первые годы царствования Александра II надежде на «общество» и «общественное развитие» к «государственничеству», под которым в случае Каткова приходится понимать сочетание двух тезисов, непосредственно не связанных друг с другом:

– во-первых, признание и провозглашение ценности государственного начала, связанное с осознанием его хрупкости и необходимости целенаправленно его защищать и поддерживать;

– во-вторых, с видением именно в государстве основного агента и, что принципиально, инициатора перемен.

Для Аксакова движение было гораздо более существенным. Если Катков мигрировал от консервативного «англоманства» второй половины 1850-х к ориентированному сначала на французский, а затем в значительной степени на германский опыт консервативному государственничеству, при этом в его увлечении проектами Пазухина нетрудно увидеть отзвук тридцатилетней давности восхищений английскими шерифами и устройством самоуправления в графствах, то Аксаков перешел от во многом критической позиции по от-

[1] Из новейших работ, посвященных Каткову и кругу публицистов его изданий, см. [9] и приведенную в указанной работе библиографию.

[2] О жизни и воззрениях Аксакова см. [7].

* Работа была выполнена в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете имени И. Канта и поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ имени И. Канта в рамках Проекта 5-100.

Тесля Андрей Александрович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта, г. Калининград. E-mail: mestr81@gmail.com

ношению к славянофильству, свойственной ему в 1850-х годах, не только к полному принятию славянофильского видения, но и – под влиянием разочарования в русском обществе 1860–1870-х годов – во многом к усилению консервативной составляющей своих взглядов и в 1880-х годах – к принятию необходимости государственного вмешательства во многих из тех областей, где он это исключал и отрицал двумя десятилетиями ранее.

Формулируя предельно схематично, Аксакова и Каткова как в 1860-х, так и в 1880-х, разделяло то же самое, что проводило между ними границу и в конце 1850-х. Аксаков был и даже стал в большей мере «славянофилом», чем являлся таковым в 1850-х. Катков был и остался «западником», каковым и являлся со времен кружка Станкевича. Спор между ними определялся этой, уже утратившей свое непосредственное значение к 1850-м годам, но значимой в плане исходных определений противоположностью. Объединяла их общая националистическая повестка, разграничивало принципиально различное представление о русской нации, о критериях включения/исключения из национального сообщества и о том, каким должно быть русское государство.

К середине 1860-х годов имена Каткова и Аксакова уже нередко упоминались рядом, через запятую, как выразителей если не общей, то достаточно близких позиций. Так, А.В. Никитенко, профессор Санкт-Петербургского университета и член Главного управления по делам печати при Министерстве внутренних дел, записывал в дневнике 29 сентября 1864 года: «Катков и Аксаков считают себя настоящими опекунами русского народа. К Петербургу они питают ненависть и презрение и его правительственное значение считают чистой узурпацией. Стоит только жить в Петербурге, чтобы, по их мнению, потерять всякое патриотическое чувство к России. Тот не патриот, кто не орет, не беснуется, не ломает стульев и столов» [11, с. 465].

Дальнейшее движение репутаций не менее любопытно. Если Аксаков в начале 1860-х только делается известен русскому обществу, то для Каткова это период наивысшего общественного признания – с годами в глазах публики он все в большей степени будет восприниматься как «официоз», и его имя для многих станет ругательным, тогда как Аксаков не только сохранит, но и упрочит славу честного публициста. Примечательно, что в 1870-х годах именно апеллируя к честности публициста, будет вести с ним полемику и упрекать в измене собственным принципам Драгоманов – аргумент, практически непредставимый в публичной полемике с Катковым.

Для различия позиций Каткова и Аксакова характерна их полемика с Герценом в 1862–1863 годах. Катков стал первым в пределах Российской империи публицистом, кому было позволено в печати упомянуть имя Герцена. После долгой истории «подразумеваемой» публичной полемики без называния имен Катков в № 6 «Русского вестника» за 1862 год, перепечатав из «Колокола» герценовское «Письмо гг. Каткову и Леонтьеву», напрямую адресуется к Герцену, обличая его как «бойкого остряка и кривляку». Ему не нравится «пророческий тон» статей лондонского эмигранта, он обличает его «социалистические *бредни с того берега*» и т.д.[1]. Показательна ближайшая реакция Аксакова на статью Каткова – 25 июля 1862 года он пишет М.П. Погодину:

> «Катков неправ во многом относительно Герцена: все-таки это благороднейшее и симпатичное лицо; Катков груб и дерзок донельзя. Но во многом он и прав: так выходит, и потому статья для Герцена убийственна. На месте Каткова следовало бы однако ж, нападая на Герцена, дать туза два-три и правительству, чтоб оно не слишком радовалось низвержению своего обличителя» [цит. по: 4, с. 190].

[1] Статья Каткова будет представлена министром народного просвещения А.В. Головниным императору 26 июля 1862 года, а 30 июля состоится распоряжение по цензуре «“не пропускать ни одной статьи” против заметки Каткова без разрешения председателя цензурного комитета» [12, с. 353].

В 1863 году, в ситуации польского восстания, Аксаков сам выступит публично против Герцена – однако и теперь, в третьем «Письме Касьянова», он отграничит Бакунина от Герцена, утверждая: «Конечно, Герцен не действует заодно с Бакуниным и, вероятно не решится, как он, навести ружейное дуло на русского солдата, но он солидарен с Бакуниным, он не отрекся от него <…>» [1, с. 205]. И далее:

> «Но знаете? Вы назовете меня сумасбродом, поэтом, но мне все сдается, что Герцен не вынесет этого противоречия, что ему не удастся заглушить свою русскую совесть и что когда-нибудь, в одно прекрасное утро, он поступит совершенно по-русски. <…> Стоскуется русский человек по правде, надоест ему ложь, опротивеет зло, – и восстановляет он правду наказанием и искуплением! Что-нибудь подобное, верьте мне, случится и с Герценом. Теперь, может быть, он еще будет потешаться над моими словами (а еще более станут глумиться над ними ваши петербургские весельчаки), – но как бы не смеялся Герцен, а слова мои врежутся в его память… Пусть бы только перестал он губить нашу несчастную русскую молодежь, пусть бы внушал он ей истинное уважение к народу, а не деспотизм демократов, считающих себя вправе издеваться над невежеством народа обманами и подлогами!» [1, с. 206–207].

Показательно, что и в начале 1880-х Герцен оставался для Аксакова значимым и важным персонажем, отнюдь не характеризуемым простыми и однозначными суждениями по типу публично провозглашаемых Катковым. Так, в 1882 году Аксаков писал о Герцене: его «жизнь и деятельность находились в постоянном противоречии с его мыслью, подчас озаряемою блистательными откровениями истины» [1, с. 330]. Не вдаваясь в подробности отношения к Герцену со стороны второго поколения славянофилов в целом и Аксакова в частности [см. 8, 18], обратим внимание на ключевой момент различия публичных позиций Каткова и Аксакова, явственно видный в реакции на антигерценовское выступление Каткова летом 1862 года.

Для Аксакова было принципиально – в рамках его концепции «общества» [см. 19] – дистанцироваться от власти, поскольку сам публицистический голос мыслился им как «неполитический». Собственно, эта позиция оставалась неизменной на протяжении всей публичной деятельности Аксакова. Если Катков стремился стать «голосом власти» в том смысле, чтобы в пределе определять ее действия, и никоим образом не старался «растождествиться» с ней, скорее напротив – из этой позиции претендуя в том числе и на критику правительства (то есть совпадая не с «властью» в подчиненном смысле, а с самой «верховной властью»[1]), то в концепции Аксакова именно независимость от власти была необходимым условием «нравственной силы», то есть возможности иметь влияние.

В указанном отношении показательна реакция Каткова и Аксакова на польское восстание 1863 года – если Катков взял на себя смелость занять решительную позицию и стать выразителем общественного мнения, патриотического подъема, решительно выступая против мятежников и не только одобряя, но и требуя самых решительных мер (и в этой связи обрушившись с критикой действий властей Царства Польского, то есть фактически брата императора, великого князя Константина Николаевича, в то время бывшего наместником Царства), то Аксаков замолчал, поскольку его передовицы не пропускались цензурой, – молчание оказалось для него более приемлемой формой действия, чем одно-

[1] Это притязание многими современниками принималось за действительность. Так, в 1883 году, в момент наивысшего влияния Каткова, П.В. Анненков писал И.С. Тургеневу из Баден-Бадена: «Катков в Москве, по крайней мере обращается с министрами, даже с Правитель<ствующим> Сенатом в последнее время, как со своими прикащиками. Он-то и есть настоящий император, а тот, который намерен ныне короноваться, есть его *chargé d'affaires* [поверенный в делах, *фр.*]. Кажется, сей последний еще и гордится своим званием. Изорвите это письмо, чтобы не попасть в беду» [2, с. 174 – 175].

стороннее говорение. Поскольку позиция Аксакова по польскому вопросу не могла быть высказана на тот момент по цензурным условиям вполне (а заключалась она в одновременном утверждении «русских прав» на Западный край – и утверждении прав «польской народности» на политическую независимость), то ограниченное, неполное высказывание представлялось ему невозможным – как подлежащее неверному истолкованию в наличной ситуации.

Собственно, и объединяло, и одновременно разграничивало Каткова и Аксакова то обстоятельство, что они оба были идеологами русского национализма. Осознанная националистическая повестка отграничивала их от массы других изданий.

В первые годы издания «Дня» Аксаков избегал прямого столкновения с Катковым – отчетливое и ясное отграничение своей позиции от катковской будет сделано только в статьях 1864 года «Где органическая сила России?» и «Еще о лженародности». Примечательно, что и в первом из названных текстов Аксаков уйдет от прямого столкновения с Катковым, избрав в качестве основного оппонента петербургские «Биржевые ведомости».

Конкретным поводом для первой статьи становится спор о возможности быть «Русским Моисеева закона» [1, с. 255] или, выходя на принципиальный уровень, о возможности «выделить идею народной (православной) веры из идеи русской народности» [1, с. 255]. Тем самым в центре оказывается ключевой вопрос – о том, как именно конструируется «русскость», что должно выступать в качестве базового критерия идентичности.

Для Аксакова характерно подчеркивание, что вплоть до петровского поворота имперская экспансия России приводила к эффективной ассимиляции инородцев, – так, Казань, взятая войсками Ивана Грозного, спустя шестьдесят лет становится одним из центров русского народного подъема в Смуту. И, напротив, с петровского времени империя, расширяясь, оказывается, на его взгляд, весьма неэффективна как ассимилирующая среда. Предсказуемым образом причину такого различия Аксаков видит в разрыве с «народом».

Катковское видение национального предполагает две составляющие – политическое единство и единство культурное, в первую очередь – языковое. Именно поэтому со стороны Каткова с 1862 года и особенно после польского восстания встречают, с одной стороны, одобрение и поддержку идеи перевода еврейского богослужения на русский язык, преподавания в католических, лютеранских или еврейских школах на русском, а с другой – он демонстрирует предельно жесткую реакцию в отношении украинофильских стремлений вести начальное образование на украинском. Иными словами, в логике Каткова нет никакого противоречия в формулировках «русские Моисеева» или «русские лютеранского закона», равно как и в наличии «русских дворян Остзейского края» (последнее определение принадлежит газете «Весть» и вызвало со стороны Аксакова взрыв негодования [см. 1, с. 322]).

Напряжение, которое возникает в рамках катковского понимания национального, связано с возможностью «русских католического закона», но именно проблематика католицизма ярко демонстрирует модерный характер катковского подхода. В логике национального государства, обладающего суверенитетом, то есть верховной властью на своей территории, невозможно вполне принять принцип, отстаиваемый католической церковью, создающей внегосударственное правовое пространство. Здесь можно вспомнить известный тезис Александра Кожева, что в национальном государстве не может быть терпима коммунистическая партия – коммунистическая идеология находится с ним в непримиримом противоречии, как и католическая доктрина, но острота противостояния с последней в итоге нашла свое примирение на практике, в компромиссах и непоследовательности – в той мере, в какой доктринальные положения перестали иметь определяющее значение для действий групп и индивидов в рамках процесса секуляризации. В непосредственной связи с этим тезисом лежат разнообразные планы как властей, так и добровольных энтузи-

астов 1860-х годов об образовании «российской католической церкви», самостоятельной иерархии и других способах обойти папскую супрематию. С практической точки зрения, однако, гораздо большую роль играли усилия расторгнуть связь между «польскостью» и католицизмом, в частности, разнообразные меры, связанные с языками обучения в католических школах, языком проповеди и т.п. [см. 7].

Напротив, в логике Аксакова устанавливается, опираясь на раннемодерную ситуацию, практически прямая связь между национальной и конфессиональной идентичностью, и оттого идея перевода католической проповеди на русский язык встречает у него принципиальное отторжение, поскольку осмысляется как однозначное орудие не только католической пропаганды, но и полонизации – подобно тому, как распространение православия среди «инородцев» через перевод Священного писания и проповедь на местных языках оказывается орудием русификации (в связи с чем в дальнейшем деятельность Ильминского как для него, так и для Победоносцева будет наилучшим примером расширения «русского»[1]). Обращаясь к ситуации Западного края, Аксаков пишет: там «различие вероисповеданий служит единственным основанием для определения национальности лиц, несмотря на их общее происхождение. Это до такой степени верно, что родные братья и сестры, принадлежа к различным вероисповеданиям, принадлежат в то же время и к различным национальностям» [1, с. 255].

Существенной проблемой для славянофильского проекта, предполагающего конвертацию конфессиональной идентичности в национальную [подробнее см. 16, гл. 6], которую акцентировали издания Каткова и их союзники, заключалась в старообрядчестве. Здесь Аксаков пытается выйти из затруднения прежде всего при помощи указания, что «старообрядцы-то и именуют себя православными по преимуществу», после чего переходит к гораздо более сильному тезису, утверждая, «что они действительно православные и только вследствие разных невежественных недоразумений отвергают общение не с православными вообще, а с внешним проявлением православия в России со времен патриарха Никона» [1, с. 258]. Слабость этой аргументации совершенно очевидна, и, стремясь укрепить собственную позицию, Аксаков далее выдвигает уже другие тезисы:

> «Старообрядцы не еретики, а сектаторы, – народная история их одна с прочими русскими; они воспитались от единой духовной трапезы; их отделило от нас излишнее и суровое отношение к древней обрядовой стороне православия, но они сохраняют, по крайней мере, в принципе, полную верность древнему благочестию и духовному историческому началу русской народности. Что же касается до молокан, хлыстов, духоборцев, то они настолько русские, насколько, во-первых, личное их уклонение от общего вероисповедания не заглушило в них непосредственного чувства русской народности, общего им со всем остальным народом и выработанного веками его долгой исторической православной жизни; во-вторых, насколько их религиозные верования нейдут в разрез с жизненными и гражданскими стремлениями остальной массы русских, – и наконец, насколько они сами последовательны в своих религиозных убеждениях и в жизни» [1, с. 258].

Реконструируя логику Аксакова, можно, на наш взгляд, свести ее к следующей ключевой цепочке рассуждений:

– во-первых, православие есть основной элемент русской народности, определяющий идеалы и во многом выражающийся в конкретных формах народной жизни;

[1] См. [10, с. 500–501], письмо К.П. Победоносцева И.С. Аксакову от 26 июля 1885 года; анализ деятельности Ильминского, специфики его собственного понимания целей и последствий своей деятельности и репрезентации вовне, а также реальной логики процессов см. [6].

– во-вторых, можно оставаться «русским», перестав быть православным – в «сектаторстве» или собственно сектантстве, – в той мере, в какой сохраняешь связь с исторически выработанной «жизнью», не утрачиваешь «непосредственного чувства русской народности». Эти варианты являются либо крайними формами, либо уклонениями от того, что составляет основу «русской народности», но не порывают с ней связи окончательно;

– в-третьих, напротив, иноверие предполагает другие идеалы, другой строй жизни – тем самым, оставаясь иноверным, войти в «русскую народность» невозможно, тогда как целый ряд вариантов, уклоняющихся от православия, остаются в составе «русской народности».

В данном случае видно, что трактовка «православия» во все большей степени начинает склоняться в сторону «русского православия» как исторической культурной традиции, и тем самым противоречие между катковским и аксаковским пониманием «русской нации» в плане критерия идентичности предстает уже не как альтернатива культурного/религиозного, но как разный объем и содержание «культурного» (и при этом гораздо большая эксклюзивность «русской нации» у Аксакова в сравнении с Катковым, поскольку включение извне предполагает непременно смену конфессиональной принадлежности).

Исходная проблематика второго текста – ответ на недоумение, отчего со стороны славянофильской газеты не вызывает одобрения «русский патриотизм», столь расцветший в ситуации 1863 года и символом которого стали «Московские ведомости» Каткова. Н.Н. Страхов писал, оглядываясь на истекшие немногие месяцы, о торжестве славянофильства и о том, что идеи, не так давно осмеиваемые, незаметно сделались достоянием публики [см. 5]. Аксаков и начинает свой текст с воспроизводства стереотипов:

> «Восхищаться каждым проявлением “русского патриотизма”, умиляться при словах “народ”, “земство”, “православные”, кем бы и когда бы они ни были произнесены, при каждом намеке на древнюю Русь, при каждом внешнем признаке русского национального чувства и нежной симпатии к “русскому мужичку”, приходить в ярый восторг – это, казалось бы, по *нашей* части! Так, по крайней мере, давно порешила за нас публика, и русские карикатуристы не иначе изображают так называемого славянофила, как в образе мужичища с усищами, с бородищей, с кулачищем, в сапожищах, в зипунище, с непременными атрибутами капусты, щей, кваса и т.п.» [1, с. 268].

В этом тексте основной тезис заключается в отождествлении «охранительного элемента» с «народом» в смысле противопоставления дворянству, аристократии и т.д. – и в отрицании за последними права говорить от имени, от лица народа:

> «Но разрыва с народом никакого нет, говорят нам, нет фактов этого разрыва, нет доказательств недоверия со стороны народа, а потому и хлопотать о приобретении его доверия нечего. <…>
>
> Пусть <…> оставят народ в покое эти непризванные опекуны! <…> Пусть отойдут от него прочь лицемеры и фарисеи народности, которые, под видом народности, хотят привить к могучему древу народной жизни свои узкие теории, взлелеянные не на нашей земле и не под нашим солнцем, и навязать ему, во имя свободы, тесноту западного социального устройства. Они могут говорить от имени нации, могут создать внешний вид политической организации, но это будет лженарод и лженародность: народ будет не с ними…» [1, с. 274, 275].

Характеризуя этот аспект аксаковских воззрений, Розанов в период своего расставания со славянофильским петербургским кружком писал о «напыщенном народничестве» [цит. по: 13, с. 46].

И тем не менее при всей принципиальной разнице воззрений Каткова и Аксакова 1860-х годов между ними обнаруживалась существенная близость по многим позициям, что и обеспечивало не лишенное конфликтов, но взаимодействие по целому ряду вопросов как в 1860-х, так и в 1880-х годах.

Отметим лишь одно из показательных сближений: хорошо известно, что в ситуации кризиса, вызванного польским восстанием 1863 года, Катков выступал за введение общеимперского представительства [см., в частности, 20]. Позиция основных представителей славянофильства по этому вопросу тоже достаточно хорошо известна – так, Ю.Ф. Самарин в 1861 году выступал против представительства (конституции), видя в этом угрозу для народного дела, поскольку представительство в наличных условиях означало бы сосредоточение власти в руках высших слоев, тогда как неограниченная монархия оказывалась способна проводить реформы, невозможные при представительстве [см.: 14, с. 12; в этом аспекте 3]. Однако в 1863 году Аксаков со своей стороны пытается публично заявить об актуальности земского собора, посвятив этому значительную часть четвертого, не пропущенного цензурой «Письма Касьянова» (впервые опубликовано в 1887 году в посмертном собрании сочинений). При этом если в текстах, которые по меньшей мере надеется опубликовать, Аксаков настойчиво противопоставляет «земский собор» и «парламент», то в письме к Н.П. Гилярову-Платонову от 27 февраля 1863 года он размышляет и о принципиально иной постановке вопроса:

> «Я и сам прихожу к мысли о “Думе”, не только для разрешения Польского вопроса, но и для разрешения всяческих вопросов. Это единственное средство, которое нам остается. У меня сложилась целая статья об этом предмете, но я не писал ее, потому что ее не пропустят. Дело в том, что то нравственное равновесие, которое существовало в До-Петровской Руси между Правительством и Народом, уже не существует; то единство и общение между собою, которые были в древней Руси, – Царя, общества и народа, – нарушены; организм лишился цельности. Народ, земство хранит и до сих пор старые отношения к Власти, но Власть уже не та. Поэтому и выходит постоянный диссонанс, постоянное недоразумение. Оказывается, что любовь, вера, чаяние народа относятся к какому-то историческому воспоминанию или к идеалу, но во всяком случае не к существующему явлению, не к реальности. Вообразите себе, что Православного Царя украли и на место его ночью посадили жида, а народ, сдуру, продолжает его считать православным, благоверным и вверяет его охране интересы православия. Русский народ, конечно, не согласился бы добровольно на неограниченную власть Татарского Хана и оградил бы от басурмана свою народность, по крайней мере. – Когда Русь призвала на престол Польского Королевича Владислава, то она предложила ему условия, – ибо считала, что у поляка-католика иная совесть, иная совесть у русского и православного. *Теперешнее Правительство еще более чуждо нам, чем Владислав и Батый* [выделено нами – *А.Т.*]. Но что же вышло? Русский народ, относясь к власти по-прежнему, как будто с XVII века не произошло никаких перемен, предоставил неограниченную власть – *немцам*; неограниченный произвол – немецкой *бюрократии*; это никогда не входило в его расчеты… Теперь последствия из этого можете сами вывести» [10, с. 235–236].

И тем не менее между Катковым и Аксаковым существовало фундаментальное расхождение, которое сохранялось вплоть до конца их публицистической деятельности: если для Каткова на переднем плане были вопросы «реальной политики» и вопросы государства, для которых моральные соображения явно второстепенны, если за ними вообще признается значение, то для Аксакова имела силу «славянофильская утопия», «патриархально-

дворянская», как характеризовали ее А. Валицкий (1964) и Ю.З. Янковский (1981), со стремлением к освобождению от или минимизации власти бюрократии, с поставлением в центр внимания общества, понимаемого как нравственная сила. Выразительна в этом плане реакция Аксакова на настроения в публике в конце 1863 года – периода высшей славы Каткова. 11 декабря 1863 года он писал Н.С. Соханской (известной в литературе под псевдонимом «Кохановская»): «Прескверное современное настроение общества, при всем его пресловутом патриотизме. Или вернее сказать – много грубого и глупого в этом патриотизме: это какой-то инстинкт силы, проявление натуры большого государства, но мало разума, мало истинной любви к родной земле» [15, с. 215]. В конце концов Катков исходил из примата государства и его задач. Аксаков же не только наследовал общеславянофильские взгляды, но во многом оказывался проникнут, особенно в первой половине 1860-х, идеями своего покойного брата, Константина Сергеевича, по словам Валицкого – «утописта наиболее бескомпромиссного, пытавшегося очистить славянофильскую утопию от дворянских элементов, превращая ее в своего рода христианский популизм» и близкого к своеобразному анархизму [22, ch. 6]. Публицистика Ивана Аксакова и была поиском компромисса между идеальными представлениями и вызовами политической реальности.

Литература

1. *Аксаков И.С.* Отчего так нелегко живется в России? / сост., вступ. ст. В.Н. Грекова; подгот. текста и примеч. В.Н. Грекова, Н.А. Смирновой. М.: РОССПЭН, 2002.
2. *Анненков П.В.* Письма к И.С. Тургеневу: в 2 кн. Кн. 2: 1875–1883 / изд. подгот. Н.Н. Мостовая, Н.Г. Жекулин. СПб.: Наука, 2005.
3. *Бадалян Д.А.* Статьи И.С. Аксакова о дворянстве в газете «День» (декабрь 1861 г. – февраль 1862 г.) // «День» И.С. Аксакова: История славянофильской газеты. Исследования. Материалы. Постатейная роспись / под общ. ред. Н.Н. Вихровой, А.П. Дмитриева и Б.Ф. Егорова. СПб.: Росток, 2017. Серия «Славянофильский архив». Кн. 5. С. 39–51.
4. *Барусков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. XIX. СПб., 1905.
5. *Грибунин В.В., Тесля А.А.* Философские взгляды Н.Н. Страхова 1860–1870-х годов и славянофильство // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2011. № 1. С. 217–222.
6. *Джераси Р.* Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России: авториз. пер. с англ. В. Гончарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
7. *Долбилов М.Д.* Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
8. *Емельянов Е.П., Тесля А.А.* «Единственный голос, к которому прислушивается правительство» // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 3. С. 45–59.
9. *Котов А.Э.* «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов / науч. ред. С.К. Лебедев. СПб.: Владимир Даль, 2016.
10. Люди русской правды: Переписка И.С. Аксакова с государственными и общественными деятелями (1855–1886): Тексты. Комментарии. Адресаты / под общ. ред. А.П. Дмитриева и Б.Ф. Егорова. СПб.: Росток, 2018. Серия «Славянофильский архив». Кн. 4.
11. *Никитенко А.В.* Дневник: в 3 т. Т. 2: 1858–1865 / подгот. текста и примеч. И.Я. Айзенштока. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955.
12. *Птушкина И.Г., Гурвич-Лищинер С.Д., сост.* Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1859 – июнь 1864 / отв. ред. С.Д. Гурвич-Лищинер, И.Г. Птушкина. М.: Наука, 1983.
13. Розановская энциклопедия / сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин. М.: РОССПЭН, 2008.
14. *Самарин Ю.Ф.* Избранные произведения / сост., вступ. ст. Н.И. Цимбаева; примеч. Н.А. Цимбаева и Н.А. Смирновой. М.: РОССПЭН, 1996.
15. Семья Аксаковых и Н.С. Соханская (Кохановская): Переписка (1858–1884) / сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2018. Серия: «Славянофильский архив». Кн. IV.
16. *Тесля А.А.* «Истинно русские люди»: История русского национализма: [Курс лекций]. М.: РИПОЛ классик, 2019.
17. *Тесля А.А.* «Последний из “отцов”»: Биография Ивана Аксакова. СПб.: Владимир Даль, 2015.
18. *Тесля А.А.* Герцен и славянофилы // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12, № 1. С. 62–85.
19. *Тесля А.А.* Концепция общества, народа и государства И.С. Аксакова (Первая половина 1860-х годов) // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз: Журнал политической философии и социологии политики. 2013. № 1. С. 65–79.

20. *Тесля А.А.* «Польский вопрос» в передовицах М.Н. Каткова в «Московских Ведомостях» в 1863 г. // Ученые заметки ТОГУ. 2011. Т. 2, № 2. С. 86–97.

21. *Янковский Ю.З.* Патриархально-дворянская утопия: Страница русской общественно-литературной мысли 1840–1850-х годов. М.: Художественная литература, 1981.

22. *Walicki A.* The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought: transl. by H. Andrews-Rusiecka. New York: Oxford University Press, 1975 [1964].

Аннотация. Имена М.Н. Каткова и И.С. Аксакова с середины 1860-х упоминали столь же часто вместе, через запятую, как и противопоставляли, – и для того, и для другого восприятия были свои вполне глубокие основания. В статье анализируются основные элементы публичного образа и позиций в национальном вопросе двух ведущих публицистов Российской империи конца 1850-х – 1880-х годов, преимущественное внимание уделяется вопросам определения публицистического топоса, противоречиям в определении границ и критериев русской нации. Несмотря на существенную эволюцию, проделанную двумя публицистами на протяжении трех десятилетий их журнально-газетной деятельности, демонстрируется, что фундаментальные линии размежевания между ними остались неизменны, подвергаясь ситуативной конкретизации.

Ключевые слова: западничество, конфессиональная политика Российской империи, национализм, нациестроительство, польский вопрос, славянофильство.

Andrey Teslya, PhD in Philosophy, Senior Research, Academia Kantiana IKBFU (Kaliningrad, Russia), Associate Professor, IKBFU.. E-mail: mestr81@gmail.com

Ivan Aksakov VS Mikhail Katkov: the First Half of the 1860-ies.

A*bstract.* The names of M.N. Katkov and I.S. Aksakov were equally often mentioned together and opposed, and both opinions were equally well-based. The article analyzes the main elements of the public image and views on the nationalist problem of the two major publicists in the Russian Empire in the 1850-ies -1880-ies, and the emphasis here is on the determination of the publicistic topos and the contradictions in determining the limits and criteria of the Russian nation. The article shows that in spite of the considerable evolution of the views of the two publicists in the three decades of their publications in the journals and newspapers, their fundamental controversion remained the same while subject to situational specification.

Keywords: Westernizers, Confessional Policy of the Russian Empire, Nationalism, Forming of the Nation, Polish Problem, Slavophilism.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-385-392

Арина Мещерякова

Политический союз поэта и журналиста: Ф.И. Тютчев и М.Н. Катков в период польского восстания

Польское восстание 1863–1864 годов и начавшаяся в связи с этим эпоха «дипломатического похода» стали временем наиболее плодотворного и активного сотрудничества двух выдающихся представителей консервативной мысли своего времени – Федора Ивановича Тютчева (1803–1873) и Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887). И Ф.И. Тютчев, и М.Н. Катков не просто стремились играть заметную роль в общественной и политической жизни России в царствование Александра II, но и претендовали на место идеологов, определявших направление и содержание государственной политики Российской империи во внутренней и внешней сферах.

Общение и сотрудничество Ф.И. Тютчева и М.Н. Каткова началось задолго до 1863 года – в самом начале правления Александра II. Их объединяли как общие надежды на новое царствование, так и настороженность, с которой они смотрели на веяния зарождавшейся эпохи. Общественно-политическую атмосферу первых лет александровского царствования Ф.И. Тютчев охарактеризовал с помощью многозначительного слова «оттепель» [см. 1, с. 343]. Это определение, связанное, пожалуй, с его прежним представлением о Российской империи как «вечном полюсе» и «вековой громаде льдов» [см. 2, с. 56], сразу получило широкое распространение в русском обществе. И хотя Ф.И. Тютчев в целом с одобрением встретил новые веяния царствования Александра II, он все же не без тревоги ощущал шаткость и непрочность наступившей жизни. «…Вполне очевидно, – писал он в 1858 году, – что теперь мы уже не стоим на прежней твердой и непоколебимой почве и что в одно прекрасное утро можно проснуться на оторванной от берега льдине…» [3, с. 423] (Здесь явно прослеживается аллюзия с «вечным полюсом» и «вековой громадой льдов».)

Начало царствования Александра II – время активной идейной эволюции М.Н. Каткова. Будучи в первые годы нового правления сторонником широкой программы либеральных преобразований внутренней жизни России [4, с. 8], уже в начале 1860-х годов он должен был признать, что истинный прогресс возможен только на твердой почве традиции. «Вырвите с корнем монархическое начало, – писал в 1862 году М.Н. Катков, – оно возвратится в деспотизме диктатуры; уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, место его не останется пусто, оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархией самого дурного свойства» [5, с. 229]. Сам М.Н. Катков был тогда противником политических ярлыков, того, чтобы называть себя консерватором или либералом, считая, что на почве национальных интересов приемлемы, как консервативные, так и либеральные элементы [6, с. 75]. В этом он был очень близок взглядам Ф.И. Тютчева, считавшего «национальный интерес» главным критерием, определяющим всякую государственную и общественную деятельность.

Мещерякова Арина Олеговна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры философии и гуманитарной подготовки Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко. E-mail: arina-m@mail.ru

Польское восстание 1863–1864 годов вызвало не только внутриполитический кризис, но и громко отозвалось на международной арене, породив такое явление, как «дипломатический поход» в Россию европейских держав. В разгар восстания Англия, Франция и Австрия в ультимативной форме потребовали от России «прекратить кровопролитие в Польше» и передать решение польского вопроса западным державам – восьми странам, подписавшим Венский трактат 1815 года [7, с. 430]. Речь шла о непосредственном вмешательстве стран Европы во внутренние дела Российской империи.

На этом внутри- и внешнеполитическом фоне развернулось активное сотрудничество Ф.И. Тютчева и М.Н. Каткова. Оба с начала восстания в Царстве Польском заняли решительную и бескомпромиссную позицию в отношении взбунтовавшихся окраин и ультиматума европейских держав.

Позиция М.Н. Каткова отражена в его статьях, которые регулярно появлялись в этот период в редактируемых им изданиях – «Московских ведомостях» и «Русском вестнике». Университетская газета «Московские ведомости», редактором-арендатором которой с 1863 года был М.Н. Катков, выделялась в то время в русской печати жесткостью своей линии в польском вопросе [8, с. 143]. Именно эта последовательная и решительная позиция в польском вопросе становилась причиной недовольства М.Н. Катковым в правительственных верхах и в то же время его огромной популярности в значительной части русского общества.

Так, причину возникшего кризиса М.Н. Катков видел в особенностях национальной политики, которую в последние годы проводило русское правительство в Царстве Польском. Речь идет об ослаблении центральной власти над регионом и многочисленных уступках, на которые шло правительство в национальном вопросе. Речь идет о дерусификации региона – вытеснении русского национального элемента из всех областей жизни местного населения. Восстание в Царстве Польском и стало, по мнению М.Н. Каткова, следствием подобной политики. Предоставление региону национальных льгот и свобод вылилось в вооруженную борьбу за полную самостоятельность Польши «с пол-Россией в придачу». Успех этой борьбы, по словам издателя «Московских ведомостей», отнимет у России «не только значение великой державы, но и всякое политическое значение», в результате, годовщина ее тысячелетнего существования может превратиться для нее «в похоронную тризну» [9, с. 121–124]. Более того, М.Н. Катков сомневался в том, что «польская национальность» ищет на самом деле свободы, ее цель – преобладание и владычество за счет России [9, с. 125]. Только пожертвовав Россией, считал он, можно удовлетворить желания «польского патриотизма» [10, с. 131].

М.Н. Катков и Ф.И. Тютчев были последовательными сторонниками введения военной диктатуры на мятежных территориях – в Царстве Польском и Северо-Западном крае, на который перекинулось восстание. Они полагали, что только сильная власть, а не очередные уступки, способна решить проблему. Во многом именно издатель «Московских ведомостей» на страницах своей газеты инициировал назначение Виленским генерал-губернатором графа Михаила Николаевича Муравьева. Энергичные действия и успехи М.Н. Муравьева по наведению порядка и русификации края привели, с одной стороны, к появлению и росту популярности военного губернатора у консервативной и националистически настроенной части русского общества и правительственных верхов, но, с другой стороны, породили многочисленных противников и критиков М.Н. Муравьева. Как точно отметила в свое время В.А. Твардовская, отношение к М.Н. Муравьеву в русском обществе было в то время своеобразной политической характеристикой [8, с. 144], маркером, четко определявшим сторонников и противников национально ориентированной внутренней политики России.

Свою оценку личности и деятельности Виленского генерал-губернатора Ф.И. Тютчев выразил в стихах, обращенных к Санкт-Петербургскому генерал-губернатору князю

А.А. Суворову – ярому противнику М.Н. Муравьева. Последний во всеуслышание назвал М.Н. Муравьева «людоедом», отказавшись подписывать поздравительный адрес в честь именин Виленского генерал-губернатора. Он заявил при этом, что «рвет всяческие сношения с людьми, которые имели *низость* подписать названную бумагу» [11, с. 61]. Среди подписавших адрес был и автор стихотворения «Его светлости князю А.А. Суворову» [12, с. 122]:

Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь…

Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя призванью своему –

Кто всю ответственность, весь труд и бремя
Взял на себя в отчаянной борьбе –
И бедное, замученное племя,
Воздвигнув к жизни, вынес на себе?..

Кто избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим –
Назло врагам – их лжи и озлобленью,
Назло – увы – и пошлостям родным. –

Так будь и нам позорною уликой
Письмо к нему от нас, его друзей! –
Но нам сдается, князь, ваш дед великой
Его скрепил бы подписью своей.

Резко негативная оценка деятельности М.Н. Муравьева А.А. Суворовым объяснялась идейными расхождениями между ними и разным характером административного опыта. Известно, что А.А. Суворов, будучи генерал-губернатором Остзейского края (1848–1861), активно поддерживал местную немецкую элиту в ущерб интересам русского православного населения. «Немцы подняли голову, русское купечество повесило нос, бедный архиерей плачет, как ребенок» [13, с. 257], – писал в свое время Ю.Ф. Самарин о начале генерал-губернаторства А.А. Суворова.

Стихотворение Ф.И. Тютчева, распространявшееся в рукописных списках, получило широкую известность в русском обществе. Сам Ф.И. Тютчев мимоходом упоминал в письме родным о том, что о его стихотворении «много судачат в Петербурге» [11, с. 62]. Петербургский чиновник В.Н. Карамзин, посылая тютчевское стихотворение М.Н. Каткову, писал о желательности распространить сочинение в Москве, где, по его мнению, оно «будут иметь еще больший успех» [8, с. 168]. И действительно, редакция «Московских ведомостей» являлась своего рода центром притяжения почитателей Виленского генерал-губернатора [8, с. 144]. Как и Ф.И. Тютчев, М.Н. Катков был настоящим апологетом М.Н. Муравьева. В публикациях периода польского восстания он неоднократно обращался к административному опыту М.Н. Муравьева в Северо-Западном крае, отмечая его позитивную роль в водворении в России порядка. Однако в данном случае интересна характеристика, которую дал М.Н. Муравьеву М.Н. Катков в одной из своих поздних статей (1879). «Он делал свое дело, – писал он, – как считал должным и нужным и не смущался никакими криками. Озлобленные успехами

его действий, противники ославили виленского генерал-губернатора извергом, мучителем, людоедом, а на самом деле, напротив, он прекратил кровопролитие и спас массы людей от гибели» [14, с. 319–320]. Примечательно, что этот поздний отзыв М.Н. Каткова стал вольной или невольной перекличкой со стихотворением «Его светлости А.А. Суворову».

В 1863 году М.Н. Катков неоднократно затрагивал в своих статьях вопрос о внешнеполитическом вызове, который бросили Российской империи западные державы. В мотивах Запада, выступившего в поддержку Польши, М.Н. Катков видел стремление нанести окончательное поражение России на международной арене. «Европейские державы, поколебав наше значение на Востоке [имеются в виду итоги Крымской войны – *А.М.*], были бы не прочь довершить начатое и восстановлением Польши низвести нас со степени великой державы» [9, с. 125]. Издатель «Московских ведомостей» считал, что в подобном отношении иностранцев к России есть и вина самих русских, особенно чиновников, склонных к уступчивости и угодливости, всегда и везде стремившихся казаться «любезными и гуманными» вплоть до ущемления собственных интересов [15, с. 154].

В отношении ультиматума западных держав М.Н. Катков был настроен предельно «воинственно». Он призывал не бояться войны, а готовиться к ней, проявив максимум решимости и твердости. В одной из своих статей этого периода М.Н. Катков высказал парадоксальную на первый взгляд мысль о том, что абсолютная готовность России к войне, к бескомпромиссной борьбе за свои национальные интересы способна ее предотвратить. «Предотвратить войну, – писал он, – мы можем только сознанием наших сил, только полной верой в исторические судьбы нашего народа; предотвратить войну мы можем только энергической решимостью не уклоняться ни от какого вызова. Да, война не должна устрашать нас, какие бы она не приняла размеры. Если она неизбежна, то сопряженные с нею бедствия мы можем предотвратить только энергической готовностью к ней и крепкою уверенностью, что последнее испытание, которому подвергнется наше народное единство, будет окончательным торжеством его» [10, с. 128–129]. Более того, М.Н. Катков заявлял, что для России и русского народа предпочтительнее будет «открытая и честная война», а не та, которая давно ведется против нее с помощью дипломатических интриг, мятежей и заговоров, являясь на самом деле войной более «изнурительной и опасной» [16, с. 137].

Предчувствие большой европейской войны витало весной и летом 1863 года в воздухе, однако везде и всеми оно воспринималось по-разному. И если в Москве на страницах консервативных изданий М.Н. Катков призывал к решительной схватке с Западом, демонстрируя при этом исторический оптимизм, то находившийся в Петербурге в непосредственной близости от правительственных сфер Ф.И. Тютчев не скрывал свою крайнюю тревогу из-за происходящих на европейской арене событий. Весной и летом 1863 года поэт неоднократно делился со своими близкими предчувствием «надвигающейся катастрофы», не скрывая самых мрачных исторических прогнозов. Так, 17 марта 1863 года дочь поэта Мария Федоровна Тютчева записала в своей памятной книжке следующие слова: «Папа все более и более предвидит войну и нашу погибель» [цит. по: 17, с. 202].

К началу лета напряжение возросло. Это было связано с получением в России так называемых июньских депеш, в которых Англия, Франция и Австрия настаивали на передаче решения польского вопроса Европе – восьми странам – участницам Венского конгресса [17, с. 202]. Министерство иностранных дел России готовило ответные ноты. И пока их окончательное содержание не было известно, Ф.И. Тютчев делился своими мрачными предчувствиями с женой – Эрнестиной Федоровной Тютчевой: «Не более чем через четыре недели неприятельские эскадры могут появиться перед Кронштадтом, – писал он в конце июня 1863 года. – Все это ужасно тревожно. Здесь, как по всей России, настроение хорошее, но опасаются слабости и непоследовательности правительства. Нечего обманывать себя. Дело идет о самом существовании России. Я ожидаю всего – всего наихуд-

шего…» [18, с. 24]. Как и для М.Н. Каткова, считавшего «уступчивость» и «угодливость» власть предержащих главной причиной уязвимости России перед Западом, для Ф.И. Тютчева «слабость и непоследовательность правительства» стала поводом сомневаться в удачном разрешении конфликта с европейскими державами. Не в последнюю очередь, вероятно, Ф.И. Тютчева беспокоила склонность к колебаниям и крайняя нерешительность министра иностранных дел А.М. Горчакова [19, с. 83–84].

В летние месяцы 1863 года Ф.И. Тютчев находился в Москве, где по просьбе А.М. Горчакова должен был выполнить возложенную на него миссию – наладить контакт с популярным и влиятельным издателем «Московских ведомостей». А.М. Горчаков, обративший внимание на жесткую и бескомпромиссную позицию М.Н. Каткова по польскому вопросу, стремился использовать «Московские ведомости» в своих целях [8, с. 143]. В Москве, как до этого в Царском Селе и Петербурге, Ф.И. Тютчев оказался в гуще событий и, как он сам выражался, «у источника новостей» [20, с. 29]. В значительной степени этому способствовало дружеское общение с издателем «Московских ведомостей». Так, уже через месяц после приезда в Москву он упоминал в письме жене о своих «близких и постоянных сношениях с М.Н, Катковым», отзываясь о нем как об «очень симпатичной личности» [20, с. 29]. Вообще сохранилось множество отзывов Ф.И. Тютчева об издателе «Московских ведомостей», при этом самые лестные из них относятся к 1863 году. Помимо «симпатичной личности», Ф.И. Тютчев характеризовал его как «прекрасного человека» [21, с. 36], называл «милейшим Катковым» [22, с. 53] и отмечал, к примеру, что в нем «непреклонность духа и большая проницательность ума трогательно сочетаются с превосходным нравом» [22, с. 53].

10 июля 1863 года в Москве были получены и обнародованы в «Московских ведомостях» депеши А.М. Горчакова, в которых содержался ответ России на ультиматум Европы. «Эти ответы, – писал в тот же день М.Н. Катков, – <…> по своему содержанию составят эпоху во внешней и внутренней политике России. Что было до сих пор смутного и неясного в недавно занятом нами положении, разом уяснилось и определилось самым удовлетворительным образом для нашего народного чувства и будущих судеб нашего отечества» [23].

Россия выступала против созыва конференции для решения польского вопроса странами – участницами Венского конгресса, ссылаясь на то, что это может быть или бесполезным, или привести к прямому вмешательству иностранных держав во внутренние дела России, чего не может допустить ни одна великая держава [7, с. 430]. И хотя, судя по письму жене от 20 июня, Ф.И. Тютчев заранее знал о приблизительном содержании депеш («он [то есть ответ – *А.М.*] будет отрицательным») [цит. по: 17, с. 202], но опасался «слабости и непоследовательности», которые русское правительство могло проявить в последний момент [18, с. 24].

Обнародование в Москве депеш А.М. Горчакова вызвало массовый патриотический подъем. О том впечатлении, которое они произвели в Москве, не без лести, но и не без искреннего «ликования в сердце», Ф.И. Тютчев писал в письме А.М. Горчакову: «После всех этих оскорблений, всех этих официальных выговоров извне, после всех этих сомнений и тревог относительно дел внутренних, с души вдруг как будто спал камень, – признавался Ф.И. Тютчев. – Задышалось свободно. Ничто из этих благословенных депеш не осталось здесь без внимания. Каждый оттенок, каждая грань мысли, каждое ударение были по достоинству оценены общественностью – или, вернее, страной. Всякого переполняло счастье и гордость за эту речь, ибо всякий слышал свою собственную сокровенную ноту в том голосе, который говорил от имени всех» [24, с. 26].

В поздравительном послании А.М. Горчакову по поводу его крупной дипломатической победы Ф.И. Тютчев не преминул подчеркнуть, что именно газета М.Н. Каткова

первой в Москве обнародовала его депеши [24, с. 26]. Собственно, с этого момента издание М.Н. Каткова активно включилось в кампанию по созданию образа бесстрашного и решительного защитника национальных интересов России на мировой арене. Именно М.Н. Каткова проницательные современники считали главным «виновником» невероятной популярности А.М. Горчакова в период польского восстания 1863–1864 годов [19, с. 83].

Летом и осенью 1863 года между Ф.И. Тютчевым, М.Н. Катковым и А.М. Горчаковым велась активная переписка по вопросам внешней политики России, дополнением которой стали их личные встречи в Москве и в Петербурге. Ф.И. Тютчев постоянно общался с М.Н. Катковым во время своего двухмесячного пребывания в Москве в июне-июле 1863 года, в октябре того же года он организовал личную встречу М.Н. Каткова с А.М. Горчаковым в Санкт-Петербурге. А.М. Горчаков, как при личной встрече с М.Н. Катковым, так и через Ф.И. Тютчева просил издателя «Московских ведомостей» сменить слишком непримиримый тон его публикаций в отношении западных держав, прежде всего Франции, на более сдержанный. Министр иностранных дел России всячески старался избежать военного столкновения с Наполеоном III, поэтому просил М.Н. Каткова не слишком «дразнить» французского императора [25, с. 55]. В данном случае Ф.И. Тютчев не только передавал просьбу А.М. Горчакова, но и, по всей видимости, выражал свою позицию в этом вопросе. Однако речь здесь идет не столько о разногласиях в представлениях Ф.И. Тютчева и М.Н. Каткова о направлениях русской внешней политики, сколько о частных вопросах тактики России на международной арене. В целом же их представления о роли и месте России в международных делах, прежде всего в отношениях с западными державами были близки. Но если М.Н. Катков, считая Запад естественным и непримиримым врагом России, с противоположными ей интересами и стремлениями, был сторонником конфронтации с Западной Европой и изоляции России [26], то Ф.И. Тютчев как опытный дипломат был более сдержан в проявлении своей позиции. Год спустя он следующим образом выразил свое внешнеполитическое кредо в письме к дочери Анне: «Я конечно не принадлежу к тем, кто в своем мрачном патриотизме хотел бы обречь Россию на систематическое одиночество, обособить и уединить ее на веки. Я допускаю сближения, но с тем, чтобы они были лишь случайными и чтобы, соглашаясь на них, ни на мгновение не забывалась та истина-догмат, что между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, что не существует на Западе ни одного интереса, ни одного стремления, которые бы не злоумышляли против России, в особенности против ее будущности, и которые бы не старались повредить ей. И вот почему единственная политика России по отношению к западным державам это – не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными – по бессилию, разумеется, никогда – по убеждению. Эта суровая истина быть может покоробит чувствительные души, но в конце концов ведь это закон нашего бытия как племени и как империи, и есть лишь один способ устранить его, это – перестать быть русскими» [цит. по: 17, с. 205–206].

С 1864 года, с момента преодоления внутреннего и внешнеполитического кризиса, связанного с польским восстанием, в отношениях Ф.И. Тютчева и М.Н. Каткова наступает охлаждение. Но, несмотря на это, Ф.И. Тютчев и в будущем продолжал поддерживать «Московские ведомости», защищая их по мере возможности от административных санкций. Он считал, что враждебность к «Московским ведомостям» всех «нерусских по происхождению» и «антирусских по направлению» сил закономерна, указывая на особую роль издания в деле формирования «самосознания русского общества» [27, с. 90].

1863 год стал кульминацией в сотрудничестве Ф.И. Тютчева и М.Н. Каткова на идейно-политическом поприще. В М.Н. Каткове как в России, так и за ее пределами, видели едва ли не главного вдохновителя внешнеполитического курса Российской империи в период

польского восстания 1863–1864 годов. Известны слова русского посла при Наполеоне III барона А.Ф. Будберга: «Катков давал всему тон; когда в самый разгар нашего столкновения с державами приходили ко мне из России газеты и деловые бумаги, я принимался прежде всего не за депеши нашего министерства, а за «Московские ведомости»; je préférais toujours l'original à la copie [Я предпочитал всегда оригинал копии (*фр.*)]» [19, с. 83]. Аналогичная роль Ф.И. Тютчева в период польского восстания хотя и не получила широкой огласки, но была значительной. Он стал посредником между правительством и прессой, властью и обществом в судьбоносное для России время. В письмах родным сам Федор Иванович скромно, но многозначительно назвал свою миссию «не более бесполезной, чем многие другие» [28, с. 207–208]. В действительности, и он, и М.Н. Катков в равной мере способствовали формированию национального самосознания власти и общества, «русского начала» [27, с. 90] в государственной политике и «русского чувства» [9, с. 126] в общественной жизни России, то есть предлагали единственно верный ответ на возможные внутриполитические и внешнеполитические вызовы.

Литература

1. А*ксаков И.С.* Письмо С.Т. Аксакову от 8 апреля 1855 г. / И.С. Аксаков // Письма к родным 1849–1856 / изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1994. 653 с. С. 342–344.
2. *Тютчев Ф.И.* 14-ое декабря 1825 / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 1 / сост. В.Н. Касаткина. М.: ИЦ «Классика», 2002.
3. *Тютчев Ф.И.* Письмо Э.Ф. Тютчевой от 5 июня 1858 г. / Ф.И. Тютчев // Русская звезда: Стихи, статьи, письма / сост., вступ. ст. и коммент. В. Кочеткова. М.: Русская книга, 1993. 528 с. С. 423–424.
4. *Секиринский С.С.* Михаил Никифорович Катков // *Катков М.Н.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. С.С. Секиринский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 5–52.
5. *Катков М.Н.* К какой принадлежим мы партии? / М.Н. Катков // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. С.С. Секиринский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 221–232.
6. *Санькова С.М.* Государственные реформы и национальная политика: взгляд из XIX столетия // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. М., 2011. Т. 7. № 22 (115). С. 69–76.
7. *Кузина Л.Н.* Комментарии // *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 6 / сост. Л.Н. Кузина. М.: ИЦ «Классика», 2004. С. 417–558.
8. *Твардовская В.А.* Тютчев в общественной борьбе пореформенной России // Литературное наследство. Т. 97. Кн. I. М.: Наука, 1988. С. 132–173.
9. *Катков М.Н.* По поводу высочайшего манифеста царству польскому и указа Сенату относительно смежных с Царством Польским губерний / М.Н. Катков // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. С.С. Секиринский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 121–126.
10. *Катков М.Н.* Слабы не силы наши, слабы наши мнения. Необходимо подавить восстание / М.Н. Катков // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. С.С. Секиринский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 126–132.
11. *Тютчев Ф.И.* Письмо Эрн. Ф. Тютчевой от 13 ноября 1863 г. / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 6 / сост. Л.Н. Кузина. М.: ИЦ «Классика», 2004. С. 59–63.
12. *Тютчев Ф.И.* Его светлости князю А.А. Суворову / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 2 / сост. В.Н. Касаткина. М.: ИЦ «Классика», 2003.
13. *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 12. М.: Типогр. А.И. Мамонтова, 1911. 477 с.
14. *Катков М.Н.* О мерах по пресечению крамолы / М.Н. Катков // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. С.С. Секиринский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 318–321.
15. *Катков М.Н.* Истинный либерализм, меры, принимаемые властями в Царстве Польском, и старообрядцы в Западном крае / М.Н. Катков // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. С.С. Секиринский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 153–158.
16. *Катков М.Н.* Истинный и разумный патриотизм / М.Н. Катков // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. С.С. Секиринский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 137–147.
17. *Пигарев К.В.* Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России // Литературное наследство. Т. 19–21. М.: Журнально-газетное объединение, 1935. С. 177–219.
18. *Тютчев Ф.И.* Письмо Эрн. Ф. Тютчевой от 27 июня 1863 г. / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 6 / сост. Л.Н. Кузина. М.: ИЦ «Классика», 2004. С. 22–24.
19. *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы (1848–1896): Воспоминания. М.: Новости, 1991. 464 с.
20. *Тютчев Ф.И.* Письмо Эрн. Ф. Тютчевой от 11 июля 1863 г. / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 6 / сост. Л.Н. Кузина. М.: ИЦ «Классика», 2004. С. 24–27.
21. *Тютчев Ф.И.* Письмо А.М. Горчакову от 28 июля 1863 г. / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 6. М.: ИЦ «Классика», 2004. С. 34–37.

22. *Тютчев Ф.И.* Письмо Е.Ф. Тютчевой от 23 октября 1863 г. / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 6 / сост. Л.Н. Кузина. М.: ИЦ «Классика», 2004. С. 48–51.

23. Московские ведомости. 1863. 10 июля.

24. *Тютчев Ф.И.* Письмо А.М. Горчакову от 11 июля 1863 г. / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 6 / сост. Л.Н. Кузина. М.: ИЦ «Классика», 2004. С. 24–27.

25. *Тютчев Ф.И.* Письмо М.Н. Каткову от 1 ноября 1863 г. / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 6 / сост. Л.Н. Кузина. М.: ИЦ «Классика», 2004. С. 54–55.

26. Московские ведомости. 1863. 17 июля.

27. *Тютчев Ф.И.* Письмо А.И. Георгиевскому от 2/14 января 1865 г. / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. Т. 6 / сост. Л.Н. Кузина. М.: ИЦ «Классика», 2004. С. 89–93.

28. [*Тютчев Ф.И.*] Письма Ф.И. Тютчева к его второй жене, урожденной баронессе Пфеффель (1859–1867) // Старина и новизна. Кн. 21. Пг., 1916. С. 155–243.

Аннотация. Статья посвящена взглядам, общественно-политической деятельности и опыту сотрудничества двух выдающихся представителей консервативной мысли своего времени – Федора Ивановича Тютчева (1803–1873) и Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887) в период польского восстания и «дипломатического похода», 1863–1864 годы. Оба консерватора играли заметную роль в общественной и политической жизни России в царствование Александра II и претендовали на место идеологов, определявших направление и содержание государственной политики Российской империи во внутренней и внешней сферах.

Ключевые слова: Российская империя, консерватизм, польское восстание в 1863–1864 годах, Ф.И. Тютчев, М.Н. Катков, внешняя политика.

Arina Meshcheryakova, PhD in History, Senior Lecturer, Chair of Philosophy and Arts Teaching, Burdenko Voronezh Medical University. E-mail: arina-m@mail.ru

Political Union of the Poet and the Journalist: F.I. Tyutchev and M.N. Katkov During the Polish Uprising

Abstract. The article is devoted to the study of views, social and political activities and the experience of cooperation of the two outstanding representatives of conservatism of their time – Fyodor I. Tyutchev (1803–1873) and Mikhail N. Katkov (1818–1887) in the period of the Polish uprising and the “diplomatic campaign” of 1863–1864. Both conservatives played an important role in the social and political life of Russia during the reign of Alexander II and claimed to be the ideologists determining the direction and substance of the Russian Empire policy in the internal and foreign relations.

Keywords: Russian Empire, Conservatism, Polish Uprising of 1863–1864, F.I. Tyutchev, M.N. Katkov, Foreign Policy.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-393-400

Александр Репников

Михаил Катков и Лев Тихомиров: созвучия и диссонансы

Михаил Никифорович Катков ушел из жизни летом 1887 года. Если бы незадолго до его кончины кто-то сказал ему, что его любимое детище газету «Московские ведомости» наследует Лев Александрович Тихомиров, Катков был бы очень удивлен.

В опубликованных статьях они не жаловали друг друга. Тихомиров в статье «Шатание политической мысли», подписанной псевдонимом И. Кольцов и посвященной разбору книги Юзова (литературный псевдоним народника И.И. Каблица) «Основы народничества», безжалостно обрушивался на Каблица за его «уклонение» в сторону либерализма. Тихомиров с нескрываемым сарказмом замечал, что поднятая им тема очень интересная и смелая и «к счастью для г<осподина> Юзова, давно уже стали появляться у нас “народники”, произносящие страшное слово и протягивающие в то же время руку примирения г<осподину> Каткову; стали появляться органы “народничества”, вроде “Недели”; некогда страшное слово перестало пугать и, если не изменяет нам память, удостоилось даже побывать в объятиях самого г<осподина> Суворина» [1, с. 2]. Пройдет несколько лет после публикации этой статьи, и Тихомиров сам публично протянет руку примирения умершему оппоненту.

Когда в Петербурге писали некрологи, и давали ушедшему из жизни Каткову самые противоречивые оценки, находящийся в эмиграции Тихомиров мучился сомнениями, читал Библию и внутренне готовился к тому шагу, который полностью изменил его жизнь. На рубеже 1887–1888 годов в общении с политическими эмигрантами он уже не скрывал своих антиреволюционных взглядов. Первый шаг к официальному разрыву с революционным прошлым был сделан им после появления в феврале 1888 года предисловия ко второму изданию его книги «Россия политическая и социальная», в котором Тихомиров выступил не только против политического террора, но и вообще против революционных форм борьбы. Оказавшись в политической изоляции, он написал брошюру «Почему я перестал быть революционером» (1888) и окончательно порвал с революционным движением.

Брошюра Тихомирова вызвала резкую критику со стороны революционных кругов, в том числе западноевропейских социалистических партий. П. Лафарг, настаивая на приезде Г.В. Плеханова на учредительный конгресс Второго Интернационала, подчеркивал, что его присутствие и выступление будет «ответом на предательство Тихомирова» [2, с. 136–137]. Историей идейного отступничества Тихомирова интересовался Ф. Энгельс, в частности писавший в работе «Внешняя политика русского царизма»: «…Русский, если только он шовинист, рано или поздно падет на колени перед царизмом, как мы это видели на примере Тихомирова» [3, с. 15]. На поступок Тихомирова критически отреагировал Э. Бернштейн и

Репников Александр Витальевич, доктор исторических наук, заместитель начальника отдела Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). E-mail: repnikov@mail.ru

другие видные социалисты. Как полагает исследователь Е.А. Таратута, «именно измена Тихомирова наложила свой отпечаток на то, что в известном романе Джозефа Конрада “На взгляд Запада”, и в рассказе А. Конан-Дойля “Пенсне в золотой оправе”, и некоторых других произведениях западноевропейской литературы, посвященных народовольцам, – основным мотивом является мотив измены, тема ренегатства» [4, с. 376].

Во второй половине 1888 года появилось несколько ответных брошюр-протестов (в том числе Лаврова, Э.А. Серебрякова и др.). В марте 1889 года в сборнике «Социал-демократ» была опубликована статья Плеханова «Новый защитник самодержавия, или Горе г. Л. Тихомирова». Свою трактовку события, дискутируя с Плехановым, предложил П.Б. Аксельрод в письме к Лаврову от 16 августа 1888 года. Он полагал, что Тихомиров «отнюдь не продажный ренегат, а несчастная жертва нашего славянофильского социализма, словом, народничества» и нет нужды доказывать «логическую необходимость этого превращения для человека, преданного народническим “идеалам” и в то же время разочаровавшегося в своей вере в революционный “захват власти”» [5, с. 89]. В письме к Аксельроду от 4 марта 1889 года Плеханов, уточняя свою позицию, подчеркнул, что «нападать на революционеров, как ни заслуженны эти нападки», ему «не хотелось, потому что очень уж гадок сам Тихомиров. Его в Париже охраняли *шпионы* [выделено в оригинале – *А.Р.*], и он таскался каждое воскресенье в церковь (русскую). Хорош гусь?» [2, с. 126]. Н.А. Морозов считал, что у Тихомирова «никогда не было прочных убеждений в необходимости изменения самодержавного образа правления… Нельзя без прочных убеждений вести жизнь бесконечных лишений, бесконечного самоотверждения и самопожертвования, а этого загипнотизировавшая себя публика требовала от Л.А. Тихомирова» [6, с. 684]. А.П. Прибылева-Корба полагала, что поведение Тихомирова «есть последствие его психического заболевания. И у него и было достаточно причин, чтобы сойти с ума!» [7, л. 98].

Характерно, что слухи о том, что Тихомиров переродился и собирается даже занять в России место Каткова, распространялись в среде революционной эмиграции, хотя не все хотели им верить: «Проживши до сорока с лишним лет [ошибка, Тихомирову тогда было тридцать шесть – *А.Р.*] бескорыстным деятелем, вдруг пустить свою душу в продажу, да еще какую. Этого не бывает», – сомневалась В.И. Засулич [8, с. 204]. Слухи о преемственности Каткову возникли не на пустом месте. П.И. Рачковский, который вел против Тихомирова свою «игру», убеждал старого приятеля Тихомирова И.Я. Павловского, который давно отошел от революционного движения, «имея в виду сугубо провокационные цели… убеждал Павловского, что правительство якобы “отнюдь не прочь примириться с Тихомировым” и в случае его полного отказа от революционных убеждений готово даже предоставить ему “место умершего Каткова”» [9, с. 59].

В критическом хоре революционеров, порицавших ренегата, интересно выделить мнение С.М. Степняка-Кравчинского. В мае 1888 года он писал Лаврову: «Несколько дней назад… получил кое-какие сведения о взглядах Л. Тихомирова на М. Каткова и Александра III, которые заставляют меня серьезно задуматься, не сошел ли он с ума» [10, л. 64–65]. Итак, известный революционер, пожалуй, впервые объединил в одном ряду имена Тихомирова и Каткова. Впоследствии, в первой диссертации о Тихомирове, защищенной в СССР в 1987 году[1], историк В.Н. Костылев отмечал, что рассвет русской консервативной мысли 1880-х годов связан «с деятельностью М.Н. Каткова и И.С. Аксакова – публицистов, взгляды которых в годы реакции заметно сблизились… Продолжателем их дела в конце 80-х гг. выступил… Л.А. Тихомиров…» [9, с. 5–6]. Таким образом,

[1] В автореферате диссертации датой защиты значится 31 марта 1987 года. Обращаем на это внимание, поскольку автореферат датирован 1986 годом [см. 11]. Защита диссертации состоялась на Историческом факультете МГУ; научный руководитель д.и.н., проф. М.Г. Седов; оппоненты: д.и.н. Б.С. Итенберг и к.и.н. М.Д. Карпачев.

имена Тихомирова и Каткова были связаны воедино не только их современниками, но и последующими исследователями консервативной мысли.

Для Михаила Никифоровича, ушедшего из жизни до начала всех этих шумных и эмоциональных дискуссий, Лев Александрович навсегда остался *только* революционером и нигилистом, подрывающим устои самодержавия. В статье М.Н. Каткова «Дело о “хождении в народ”» (8 декабря 1877 года) без указания автора упоминается известная брошюра Тихомирова «Сказка о четырех братьях» (другое название «Счастливые встречи, или Любовь к Родине»). Эту брошюру высоко ценили в революционных кругах. Лестно отзывался о «Сказке» известный революционер-эмигрант И.Л. Линев, писавший Л. Гольднбергу, который после В.М. Александрова ведал типографией «чайковцев»: «Честь и хвала вам за новое издание ваше... Форма рассказа бесподобная. Вы издали образцовую штуку» [12, с. 39]. Писатель В.Г. Короленко вспоминал, что тихомировская «Сказка» имела успех среди крестьян и использовалась для революционной пропаганды среди них.

А вот Катков, явно не без удовольствия, приводит в своей статье рассказ участника хождения в народ: «Одному крестьянину Литошенко передал возмутительную “Сказку о четырех братьях”; тот начал было читать ее, но, “убедившись, что она богопротивная, порешил ее уничтожить и стал изводить на сигарки”» [13, с. 348].

В статье «Суд по делу о покушении на жизнь шефа жандармов Дрентельна как пример оскорбления правды в угоду формализму» (28 ноября 1879 года). Тихомиров упоминается Катковым наряду с другими скрывающимися революционерами. Покушение на А.Р. Дрентельна состоялось 13 марта 1879 года. Террорист Л.Ф. Мирский произвел выстрел в окно кареты, в которой ехал шеф жандармов, но генерал остался невредим, а террориста схватили. Дело Мирского и его соучастников слушалось в Петербургском военно-окружном суде с 15 по 17 ноября 1879 года. Мирского приговорили к смертной казни, замененной пожизненной каторгой.

Разбирая этот сюжет, Катков негодует, что «главные деятели, <…> кому Мирский служил орудием, не открыты» [13, с. 389]. Неуловимыми оказались скрывшийся студент Медико-хирургической академии Астафьев и «судившийся еще в 1877 году по большому политическому процессу “Ста девяносто трех” Тихомиров – лица, хлопотавшие по чьему-то приказу о приискании для Мирского в Петербурге надежного помещения в первые дни после покушения и нашедшие таковое…» [13, с. 389–390]. Действительно, Тихомиров, которому по итогам процесса «193-х» в качестве наказания было зачтено его предварительное заключение, не намерен был складывать оружия. Вспоминая этот период своей жизни, Тихомиров писал в октябре 1888 года О.А. Новиковой: «В кружке “чайковцев” я был из молодых, но видных членов, но вскоре (11 ноября 1873 г.) был арестован. В тюрьме меня обозлили. Подумайте – мальчик, полный жажды жизни, и, в сущности, за вздор, за дурацкую брошюру – 4 года заключения. Я не знал жизни. Следователи фактически мне сказали: “Вот какова жизнь в России, вот какова гуманность”. В это время у меня было самое решительное настроение (1878 г.), и я искал людей действия» [14, л. 10]. Выйдя на свободу, Тихомиров был отдан под административный надзор с определением обязательного места проживания. Отметим, не выслан в Сибирь, а отдан на поруки отцу, А.А. Тихомирову, известному в Крыму врачу. Наказание по сравнению с карами для других революционеров не самое жестокое, но свое впечатление от этой санкции Тихомиров впоследствии описывал так: «При моей молодости и жажде широк<ого> наблюдения эта мера поразила меня, как громовый удар. Мне казалось, что я снова попадаю в нечто вроде недавно оставленной тюрьмы, и я немедленно бежал, без денег, без планов… С этого момента начинается моя нелегальная жизнь» [15, с. 241]. Антигосударственная и революционная деятельности Тихомирова делала его в глазах Каткова политическим

врагом и одним из вожаков нигилизма [см. 16, с. 650]. Можно полагать, что с таким убеждением Катков и покинул наш мир.

А вот дальше начинается «преображение» уже самого Тихомирова, через отрицание революционных идей, разрыв с бывшими товарищами и покаянное письмо к Александру III. Он действительно сжег все то, чему поклонялся, и поклонился тому, что сжигал.

На рубеже 1886–1887 годов Тихомиров познакомился в Париже с О.А. Новиковой. Сестра генерала А.А. Киреева, славянофилка, писательница и журналистка, она сотрудничала в «Московских ведомостях» и «Русском обозрении». Среди ее знакомых были: Т. Карлейль, М. Нордау, М.Н. Катков, А.С. Суворин, К.Н. Леонтьев К.П. Победоносцев и др. Большую часть жизни она провела в Англии [см. 17]. Именно туда, на Брук-стрит в Лондон, посылал ей письма Лев Тихомиров с которым Новикову сближали взгляды на русскую историю и национальную самобытность русского народа, выразившуюся, по их мнению, в создании такой своеобразной формы государственности, как самодержавная монархия.

От старой жизни Тихомиров решительно отошел, но какова будет новая жизнь, еще не знал. В этот период ему нужен был надежный и влиятельный советчик. Таким человеком и стала Новикова. Помимо дружеского интереса к Новиковой, он стремился, пользуясь ее связями в высших кругах, убедить власти в искренности своего раскаяния и заинтересовать их возможностью сотрудничества. Сама Новикова старалась повлиять на Тихомирова, настраивая его на то, что он может помочь построению «правильного самодержавного строя», тем более что после смерти М.Н. Каткова место монархического идеолога оставалось вакантным. 26 октября 1888 года Тихомиров пытается в письме к Новиковой определиться со своими мировоззренческими симпатиями: «У меня давно явилось убеждение в безусловной справедливости некоторых основ славянофильства. Точно также, напр<имер>, Катков меня поражал своими глубокими суждениями, еще когда я был революционером» [18, л. 5].

Вместе с тем, в письме к А.С. Суворину от 16 ноября 1888 года Тихомиров подчеркивал: «С тех пор, как я вижу Францию, Швейцарию, отчасти слышу об Америке, я *совершенно* не верю в народное самодержавие. Это идея ложная в принципе, а на практике приводит лишь к господству тех, кто умеет искуснее других обманывать народ. Идея самодержавия народа, я боюсь, погубит Европу, как когда-то погубила Грецию; отрицая эту идею, не могу не вспоминать, что против нее были в конце концов величайшие умы Греции. Со временем то же будет и в Европе, только может быть окажется слишком поздно. В России, таким образом, я дорожу царской властью, как учреждением, которое со временем может быть все передовые люди будут стараться воссоздать, да, может быть будет поздно. Мне жаль, что я часто повторяю мысли Каткова, но, честное слово, я вижу, что это был замечательно умный человек. Я не реакционер, не гасильник и в этом отношении часто порицаю Каткова. Но я смотрю на царскую власть, как на орудие, на редкость хорошо скованное орудие прогресса: она уже была им по всему миру и еще будет повсюду, где жизни суждено развиваться, а не замирать. Я знаю, что цари бывают всякие, но думаю, что никакая личность не может быть ниже толпы. Итак, для меня этот принцип очень дорог. Но само собой – и здесь опять лишь примыкаю к давно существующему лагерю – голос народа составляет, так сказать, душу самодержавия; учреждения, доводящие этот голос до царя, необходимы» [цит. по: 19, с. 62–63]. Характерно, что признание это звучало в письме именно к Суворину, которого Тихомиров считал «немножко либералом».

После возвращения в Россию, Тихомиров публикует в «Московских ведомостях» статью «Очередной вопрос» [20][1]. К его досаде, которую он изливал Новиковой в письме от 10 мая 1889 года, «редакция внесла в статью не мало ретушировки не в моем вкусе,

[1] Положения статьи нашли свое развитие в работе Л.А. Тихомирова «Начала и концы» (М., 1890).

именно внесла туда несколько резких выражений, несколько банально благонамеренных выражений; наконец выкинула решительно повсюду несколько раз повторявшееся имя И.С. Аксакова, выкинула имя Данилевского, вообще все имена, кроме М.Н. Каткова, который таким образом, и без того достаточно много подчеркнутый, является каким-то единственным светлым лучом на черном фоне» [21, л. 50–50 об.].

Тем временем вокруг раскаявшегося революционера, прощенного монархом, шла большая политическая игра. Как отмечал историк А.В. Ремнев «После смерти в 1887 г. М.Н. Каткова консервативный лагерь, малочисленный и всегда испытывавший нужду в талантливых публицистах, – остался без лидера. Поиском преемника Каткову был чрезвычайно обеспокоен обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев» [22, с. 122–123]. Действительно, Константин Петрович еще в марте 1887 года писал Александру III о положении в лагере консервативной журналистики, защищая Каткова и обращая внимание на «то значение, которое приобрели вместе с лицом его “Московские Ведомости”» [23, с. 141]. Он обращал внимание на то, что «вся сила Каткова в нерве журнальной его деятельности, как русского публициста, и притом *единственного*, потому что все остальное – мелочь или дрянь, или торговая лавочка… Все, что происходит с “Московскими Ведомостями”, становится *событием* не только всероссийским, но и европейским. Падение “Московских Ведомостей” есть великое торжество одной партии (к сожалению, именно партии врагов России и порядка) и великое уныние для другой партии, противоположной. Прибавлю еще, что Катков, при всех своих недостатках и увлечениях, очень дорог своей газетой именно теперь, в эпоху смуты, что когда его не будет, решительно *некем* будет заменить его в нашей распущенной и бедной серьезными талантами печати; и, наконец, что эта минута, которой нельзя не опасаться, вероятно, уже недалека, потому что Катков едва ли долго продержится» [23, с. 142][1].

Победоносцев выделял «Московские ведомости» из общего ряда консервативных изданий, выговаривая в письме к Е.М. Феоктистову: «Недоумеваю, что за причина запрещения розничной продажи, постигшая “Московские ведомости”; не странно ли, что газета вполне русская, *единственно* патриотическая и самого благонадежного направления, подвергается каре едва ли не чаще, чем другие газеты, и, напротив того, газеты самого вредного и фальшивого направления, развращающие публику, спокойно и безнаказанно продолжают свою деятельность. Какой Эдип разрешит эту загадку» [24, с. 546]. В этих условиях обер-прокурор, сумевший оценить значение не только покаянной брошюры Тихомирова, но и его острого и талантливого пера в целом, исходил из вполне прагматических интересов и согласился с идеей возвращения опального экс-революционера, сочтя полезным его использование в деле борьбы с оппозиционными существующему строю течениями [25, с. 31]. Растерянность консервативных кругов после смерти Каткова видна и из статьи в мартовском номере журнала «Русское обозрение» за 1891 год: «Еще совсем недавно Катков и Аксаков служили лучшими выразителями русского самосознания, голос которых в важные минуты проникал гораздо глубже обычной поверхности ежедневных газетных читателей. В настоящее время нет уже таких ярких и ясных выразителей национальной идеи, к голосу которых могло бы прислушиваться не только общество, но и правительство» [см. 26, с. 401].

Победоносцев отвадил Тихомирова от интереса к «Гражданину», хотя В.П. Мещерский и был «крайне любезен» с Тихомировым, «предложил сотрудничество и все свои услуги» [27, л. 31–31 об.]. Поддержка Победоносцева привела Тихомирова в «Московские ведомости». Сотрудничество Тихомирова с В.А. Грингмутом оказалось прочным, хотя при необходимости редакция газеты переделывала статьи Тихомирова в нужном ей духе. Тихо-

[1] Письмо Победоносцева датировано 11 марта 1887 года, М.Н. Катков скончался 20 июля того же года.

миров жаловался на это в письмах к друзьям, ворчал на отсутствие свободы творчества, «торгашеский дух» газеты, но приходилось мириться. Главную скрипку в этом оркестре играл отнюдь не бывший революционер. С сентября 1890 года Тихомиров становится сотрудником, в 1909–1913-м – редактором «Московских ведомостей». В ряде его работ имя и идеи Каткова упоминаются в комплиментарном контексте.

Главным трудом Л.А. Тихомирова стало исследование «Монархическая государственность», опубликованное в 1905 году. В нем Каткову посвящен специальный фрагмент в разделе «Самосознание петербургского периода», который называется «Публицистическое сознание. М.Н. Катков». Тихомиров отмечал, что Катков нигде не излагал систематически учения о самодержавии, но в своих полемических статьях неоднократно останавливался на различных сторонах сущности и действия русской монархии. По мнению Тихомирова, Катков в отношении монархии «за всю свою публицистическую деятельность свободен от упреков в разноречии, которые ему делались в отношении народного представительства и самоуправления. Если мы соберем воедино все, что высказывал Катков о русской государственной власти, то получаем картину совершенно стройную» [28, с. 332]. Анализируя наследие Каткова, Тихомиров видел противоречия в ряде его основоположений, объясняя это тем, что «Катков был весь век не мыслителем, даже не пропагандистом, а вечным бойцом, ультрапрактическим адвокатом и прокурором. Он говорил не для того, чтобы раскрыть объективную истину, а чтобы достигнуть победы в целях данного дня. При таком положении объективно-истинной разработки каких бы то ни было принципов не может и быть» [28, с. 336–337]. Вместе с тем, в «Монархической государственности» Лев Александрович воздал Каткову должное.

Если бы незадолго до кончины Михаила Каткова кто-то сказал ему, что народоволец Лев Тихомиров сначала будет активно сотрудничать в «Московских ведомостях», а потом в течение нескольких лет занимать должность редактора этой газеты, то Катков был бы очень удивлен. Сомнительно, что в такое развитие событий поверил бы тогда и сам Тихомиров – революционер-эмигрант, ютившийся «на птичьих правах» во Франции. В итоге история связала линии жизни этих двух людей, соединив их в той точке, которой стала газета «Московские ведомости». Реальная жизнь в ее многообразии, в отличие от написанных на бумаге заумных «проектов», «схем» и «концепций», способна преподносить удивительные сюрпризы. Не будем забывать об этом.

Литература

1. *Кольцов И.* [*Тихомиров Л.А.*] Шатание политической мысли // Дело. 1883. № 3.
2. Из архива группы «Освобождение труда»: Переписка Г.В. и Р.М. Плехановых, П.Б. Аксельрода, В.И. Засулич и Л.Г. Дейча. Вып. 1: 1883–1897 гг. / отв. ред. П.Ю. Савельев. Рабочая группа: Э. Вагенаар, Н.В. Макаров, А.П. Ненароков, М.В. Пронина, И.В. Смирнова, С.В. Тютюкин, Т.И. Филимонова. М., 2009.
3. *Энгельс Ф.* Внешняя политика русского царизма // *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. М., 1962. Т. 22.
4. *Таратута Е.А.* С.М. Степняк-Кравчинский – революционер и писатель. М., 1973.
5. Из архива П.Б. Аксельрода. Вып. 1: 1880–1892 гг. / отв. ред. П.Ю. Савельев. Рабочая группа: Э. Вагенаар, М.Д. Дворкина, Н.В. Макаров, А.П. Ненароков, Ю.В. Романов, И.В. Смирнова, Л. Сорока, С.В. Тютюкин, Т.И. Филимонова. М., 2006.
6. *Морозов Н.А.* Повести моей жизни. М., 1961. Т. 2.
7. РГАЛИ. Ф. 1185. Оп. 1. Ед. хр. 675.
8. Группа «Освобождение труда». Сб. I. М.; Л., 1924.
9. К*остылев В.Н.* Лев Тихомиров на службе царизма (Из истории общественно-идейной борьбы в России в конце XIX – начале XX вв.): Дис. … канд. ист. наук. М., 1987.
10. ГАРФ. Ф. 1762. Оп. 4. Д. 425.
11. *Костылев В.Н.* Лев Тихомиров на службе царизма (Из истории общественно-идейной борьбы в России в конце XIX – начале XX вв.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1986.
12. *Захарина В.Ф.* Голос революционной России: Литература революционного подполья 70-х годов. «Издания для народа». М., 1971.

13. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указатель имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова. СПб., 2011.

14. *Тихомиров Л.А.* Письмо О.А. Новиковой. 1888 г., октябрь // РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Д. 746.

15. [*Тихомиров Л.А.*] Воспоминания Льва Тихомирова. М.; Л., 1927.

16. *Катков М.Н.* Письмо к К.П. Победоносцеву от 1887 г. / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5: Энергия предприимчивости: Экономика. Образование. Письма / под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост., подг. текста, коммент., указатель имен А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова. СПб., 2012.

17. *Токтоньязова Ф.М.* Общественно-политическая и публицистическая деятельность О.А. Новиковой во второй половине XIX – начале XX вв.: Дисс. … канд. ист. наук. М., 2017.

18. *Тихомиров Л.А.* Письмо О.А. Новиковой от 26 октября 1888 года // РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Д. 746.

19. *Бухбиндер Н.А.* Из жизни Л. Тихомирова (по неизданным материалам) // Каторга и ссылка. 1928. № 12.

20. *Тихомиров Л.А.* Очередной вопрос // Московские ведомости. 1889. 4 мая.

21. *Тихомиров Л.А.* Письмо О.А. Новиковой // РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Д. 747.

22. *Ремнев А.В.* Крестный путь Льва Тихомирова // Исторический ежегодник. Омск, 1997. Специальный выпуск: Общественное движение в Сибири в начале XX века.

23. [*Победоносцев К.П.*] Письма Победоносцева к Александру III. С приложением писем к в. кн. Сергею Александровичу и Николаю II. М., 1926. Т. 2.

24. *Победоносцев К.П.* Письмо Е.М. Феоктистову, сентябрь 1891 года // Письма К.П. Победоносцева к Е.М. Феоктистову / вступ. ст. Б. Горева, публ. и коммент. И. Айзенштока // Литературное наследство. 1935. Т. 22/24.

25. *Костылев В.Н.* Выбор Льва Тихомирова // Вопросы истории. 1992. № 6/7.

26. Русское обозрение. 1891. № 3.

27. РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Д. 748.

28. *Тихомиров Л.А.* Монархическая государственность / сост., автор вступ. ст. и коммент. А.В. Репников. М., 2010.

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу и эволюции политических взглядов двух знаковых фигур консервативного дискурса дореволюционной России: М.Н. Каткова и Л.А. Тихомирова. Для Каткова Тихомиров навсегда остался только революционером и нигилистом, подрывающим устои самодержавия. Однако после смерти выдающегося публициста, бывший революционер Тихомиров прошел путь «преображения», порвав с прежним своим кругом и написав покаянное письмо Александру III. В конечном счете Тихомиров возглавил любимое детище Каткова – одну из самых влиятельных консервативных газет «Московские ведомости». А в своем главном труде «Монархическая государственность», Тихомиров посвятил Каткову специальный фрагмент в разделе «Самосознание петербургского периода», который называется «Публицистическое сознание. М.Н. Катков». Тихомиров отмечал, что Катков нигде не излагал систематически учения о самодержавии, но в своих полемических статьях неоднократно останавливался на различных сторонах сущности и действия русской монархии. В результате, по мнению Тихомирова, «Если мы соберем воедино все, что высказывал Катков о русской государственной власти, то получаем картину совершенно стройную».

Ключевые слова: М.Н. Катков, Л.А. Тихомиров, газета «Московские ведомости», «народничество», нигилизм, «Монархическая государственность».

Alexander V. Repnikov, PhD in History, Deputy Supervisor, Documentary Publications Centre Department, Russian National Archives of Social and Political History. E-mail:repnikov@mail.ru

Mikhail Katkov and Lev Tikhomirov: Consonances and Dissonances

Abstract. The article is devoted to the comparative analysis and evolution of the political views of the two prominent figures in the conservative society in pre-revolutionary Russia, M.N. Katkov and L.A. Tikhomirov. For Katkov Lev Tikhomirov always remained only a revolutionary and nihilist who was undermining the foundations of the autocracy. However, after the death of the prominent publicist Tikhomirov followed the path of transformation breaking with his former circle and wrote a penitential letter to Alexander III. In the long run Tikhomirov headed Katkov's favorite creation – one of the most influential conservative journals "Moscovskie Vedomosti". Also in his largest work "On Monarchist Statehood" he devoted a special fragment to M.N. Katkov in the "Self-consciousness of the Petersburg Period" chapter, that he titled "Publicistic Consciousness. M.N. Katkov". Tikhomirov indicated that Katkov had never offered a systematic doctrine of the autocracy, but in his polemical articles he had often dwelled on the various sides of the essence and actions of Russian monarchy. As the result according to Tikhomirov, "if we consider all Katkov's statements about Russian state authorities, we will get the systematic concept of the issue".

Keywords: M.N. Katkov, L.A. Tikhomirov, "Moscovskie Vedomosti" Journal, "Narodniks Movement", Nihilism, "On Monarchist Statehood".

Прикосновенный запас: из неопубликованного и непрочитанного

Раздел седьмой

О.Л. Фетисенко
«Демагог» об «оппортунисте»
(Речь С.Ф. Шарапова на могиле Каткова в контексте «раскола в консерваторах»)

Н.В. Котрелев
Из неизданного и несобранного Владимира Соловьева:
Письмо М.Н. Каткову, 20 июля 1886 года; письмо М.М. Стасюлевичу, до 2/14 сентября 1886 года

А.А. Чемакин
Малоизвестная статья П.Б. Струве об истории русской журналистики

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-403-410

Ольга Фетисенко

«Демагог» об «оппортунисте» (Речь С.Ф. Шарапова на могиле Каткова в контексте «раскола в консерваторах»)

30 июля 1887 года К.П. Победоносцев писал своему другу С.А. Рачинскому: «И вы, конечно, оплакивали вместе со всеми нами Каткова. Место пусто – некому вступить на него. Он умер, можно сказать, от истощения нравственной и нервной силы. Последние его месяцы были для него мучительною, нравственною агонией, чему я был свидетелем. Он чувствовал, что *вера* в державную его опору потрясена и что почва ускользает из-под ног у него. Этого он не мог перенесть. Это был человек, исполненный жизненной силы: ему довелось действовать на среду, преисполненную *евнухами*, и евнухи одолели его. Вечная ему память!» [цит. по: 1, с. 414][1].

De mortius aut bene, aut nihil. Ясно, что эти слова были актуальны и применительно к Михаилу Никифоровичу, и для частных писем в еще большей степени, чем для газетных страниц. Так, Н.Н. Страхов, в 1885 году позволивший Вл.С. Соловьеву приписать к своему письму А.А. Фету слова о борьбе с Катковым «за его отрицание философии и унижение религии», за «непрактичность его консервативного доктринерства» [4, с. 404], через неделю после кончины московского публициста писал тому же корреспонденту: «Катков – блистательный пример того, что может сделать частный человек, – пример, который должен нас ободрять, должен каждому показывать, что нечего жаловаться на невозможность действовать» [5, с. 438, уточнено по автографу: 6]. К.Н. Леонтьев[2], собиравшийся как раз в 1887-м вызвать Каткова на открытое сражение – назвав его «прямо по имени» в статье, где речь шла бы о судьбах Восточного Православия, о необходимости сближения с Вселенской

[1] Неожиданны тут слова о «евнухах». Победоносцев, подразумевая дипломатический корпус, возглавляемый тогда Н.К. Гирсом (адресатом последних «громов» Каткова), не догадывался, что подобное прозвище применяют в Петербурге к нему самому («евнух Миртилл», «скопец с Литейной»). По поводу той же последней политической битвы Каткова за русско-французский союз С.А. Рачинский писал 10 апреля 1887 года одному из своих молодых друзей, В.Н. Лясковскому: «Хотя Вы Каткова и не терпите, согласитесь, что прю с Гирсом он ведет молодецки. По всему видно, что он в ней останется победителем – и это был бы факт, чреватый последствиями» [2, л. 8 об.]. И подлинно чреватый, но не тем, что обрадовало бы «татевского отшельника»: этот «факт» принесет России «неисчислимые беды европейской войны», о чем предупреждал в своей неизданной заметке Н.С. Лесков [3, с. 897].

[2] Кстати, именно он называл Каткова «оппортюнистом», иногда добавляя при этом эпитет «гениальный». Катков в своей политической деятельности – «великий практик» [7, с. 295], «человек минуты», то есть о далеком будущем не задумывается, но знает, что необходимо предпринять в данный момент, и часто это служит ко благу государства, за которое этот деятель ратует. Но, с другой стороны, в последний период деятельности Каткова Леонтьев, думая о нем, пришел к выводу: «Люди не ко времени сильные и даровитые могут наделать еще больше вреда – чем такие скромные и опытные бездарности, как Ник<олай> Карл<ович> Гирс и ему подобные» [1, с. 415, письмо Т.И. Филиппову от 28 марта 1887 г.].

Фетисенко Ольга Леонидовна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела новой русской литературы Института русской литературы РАН. E-mail: betsy98@mail.ru

патриархией [1, с. 402], осенью того же года в цикле «Записки отшельника» уделил много внимания своему бывшему издателю[1] и значительно смягчил тон своих формулировок[2], говоря о намеренных «недомолвках» Каткова и его «самоотверженной хитрости» [7, с. 288]. А.С. Суворин отказался печатать в «Новом времени» негодующую заметку Н.С. Лескова «На смерть М.Н. Каткова». Даже либеральные издания были достаточно сдержанны. Только Т.И. Филиппов неожиданно выступил в «Гражданине» с небольшой статьей, полной намеков на предательство Катковым своего монарха [8, с. 2] и давшей новый повод к полемике «Московских ведомостей» и газеты кн. Мещерского [см. 1, примеч., с. 444, 446, 449].

Тот же самый сюжет, который так огорчил Филиппова, для другого оппонента Каткова послужил поводом к неожиданному действию – произнесению пафосно-панегирического слова над его гробом. Произошло это с издателем газеты «Русское дело» С.Ф. Шараповым, которого уж никак нельзя заподозрить в принадлежности к числу «осиротелых оруженосцев» «московского Талейрана»[3].

Публицист и общественный деятель Сергей Федорович Шарапов (1855–1911), чье имя сейчас уже не нуждается в представлении[4], был постоянным сотрудником газеты И.С. Аксакова «Русь», где главным образом занимался экономическим отделом. После кончины Аксакова в январе 1886 года Шарапов решительно провозгласил себя преемником последнего вождя славянофилов. Издание «Руси» ему возобновить не удалось, но, как он полагал, продолжением «Руси» стала его газета «Русское дело»[5]. Первые цензурные проблемы у этой газеты начались сразу после выступления против «Московских ведомостей».

Не имея возможности обратиться напрямую к Победоносцеву, который мог бы повлиять на Главное управление цензуры, Шарапов 20 июня 1886 года писал С.А. Рачинскому: «…спасите, если можете, “Русское Дело”» (далее пояснялось, каким образом спасти: походатайствовать у Победоносцева). «Теперь царство Каткова – положим, – продолжал он. – Но ведь нельзя же уж совсем не давать голоса никому другому. А раз я только заикнулся о Каткове (в № 2), все отношения сразу повернулись и меня начали душить» [12, л. 211][6]. Ходатайство подействовало, но не на пользу Шарапову (разрешение бесцензурного выхода газеты привело лишь к большим строгостям карающей цензуры).

В момент смерти Каткова газета была под запретом (в декабре 1886 года ее приостановили на три месяца, затем последовала такая же кара)[7]. Но Шарапов, любивший

[1] Леонтьев печатался в «Русском вестнике» с 1867 года.

[2] Интересно, что сразу же после смерти Каткова Леонтьев отмечает, что теперь будет писать о нем «разносторонне, беспристрастно и покойно» [1, с. 443].

[3] Выражения из упомянутой выше статьи Лескова [3, с. 895, 896].

[4] Переизданы некоторые труды Шарапова, защищаются диссертации о нем, его имя появляется в справочных изданиях. См. также посвященные ему исследования М.Д. Суслова, А.В. Репникова и автора этой статьи. Для своих современников Шарапов был фигурой маргинальной, теперь же стараниями В.Ю. Катасонова он провозглашен «классиком русской экономической науки».

[5] Программу газеты см. [9, с. 1]. Шарапов сравнивал себя с пророком Елисеем, поднявшим милоть Илии [см. 10, с. 411]. В.Н. Лясковский зло обыграл это в письме к Рачинскому от 1 октября 1886 года: «По поручению Анны Федоровны [Аксаковой – *О.Ф.*] ездил я браниться с Шараповым, который продолжает размахивать краденою пророческою милотью. Этот мошенник уверяет, что Вы ведете с ним интимную переписку и обещаете ему свои статьи. Кончится тем, что всем, близко стоявшим к покойному Аксакову, придется изобличить этого самозванца и тем очистить память Ивана Сергеевича от соприкосновения с таким непрошеным наследником» [11, л. 10–10 об.].

[6] Никаких прямых упоминаний о Каткове или «Московских ведомостях» в № 2 от 2 мая 1886 года обнаружить не удалось. Вероятно, подразумевались какие-то неясные нам сейчас подтексты передовой статьи, посвященной причинам катастрофы «славянского дела» и содержавшей, в частности, сильные упреки русской прессе.

[7] В этот период Шарапов выпустил «Московский сборник». В редакционных примечаниях к статье О.Ф. Миллера «Спускала ли “Русь” нашим “консерваторам” (По поводу первых нумеров «Русского Дела»)»

произносить речи (ему так недоставало думской трибуны[1]), не упустил возможности произнести надгробное слово в Алексеевском монастыре. Выступил он фактически в «дуэте» с французским гостем, Полем Деруледом (1846–1914), главой реваншистской «Лиги патриотов», привезшим на могилу Каткова венок из желтых иммортелей, перевитых лентами совпадающих цветов русского и французского государственных флагов [см.: 14, с. 20][2]. Поскольку газета Шарапова была закрыта, да и едва ли его речь цензура в то время допустила к печати, опубликована она тогда не была. Шарапов включил ее позднее в свое первое собрание сочинений [15, с. 107–110]. Сохранилось интересное свидетельство современника, зафиксировавшее то, как отразился этот устный некролог в «слухах и отголосках».

Один из ближайших учеников Рачинского в деле устройства воцерковленных народных школ (которые не нужно смешивать с официальными, «синодальными», церковно-приходскими, возникшими значительно позже знаменитой Татевской школы) Н.М. Горбов в письме от 6 августа 1887 года сообщал своему наставнику свежие московские новости, которые сам, впрочем, знал лишь в чьем-то изложении:

«Над могилой Каткова произошел скандал. Шарапов сказал речь о том, что К<атков> один спасал честь России, ибо “ведь не дипломатия наша в самом деле занималась этим”; – К<атков> стоил один 10 департаментов и т.д. Закричали браво, другие зашикали. Теперь, говорят, он выслан из Москвы. Речь Деруледа не разрешена к печати, ибо там был и окровавленный Страсбург, и все прочие[3]. Про издания К<аткова> ничего точного не знаю. Говорят про правительственных кандидатов – Любимова, Циона, издателя Правит<ельственного> Вестника; говорят и про кандидатов частных, Ланина, Пастухова (Москов<ский> Листок) и Гилярова[4]. До января во всяком случае издает Каткова, а редактирует Петровский, теперешний редактор[5]. <…>

Слышал я, что Т. Филиппов затевает журнал, но слышал лишь мельком. О разоблачениях его (а также и В<естника> Евр<опы> и некоторых иностранных газет) по поводу смерти К<аткова> говорят, но никто не знает, в чем дело. Впрочем, на моих хуторках, я как на о. Елены» [16, л. 47–47 об., 48 об.].

Этот эпистолярный документ чрезвычайно важен, поскольку он дает своего рода «эффект присутствия», чего не скажешь о книжном варианте шараповского выступления: нельзя исключить, что при публикации – через пять лет после произнесения – текст речи был отредактирован автором во избежание неприятностей с цензурой. Иначе трудно понять: чему же можно было в такой хвалебной речи «шикать»?

На фоне острых споров о том, с кем из соперничающих держав «дружить» России,

он весьма резко отозвался о «наших “консерваторах”» и о «выдающихся газетах “охранительного лагеря”», с которыми у Аксакова были большие расхождения [13, с. 79–80, 91]. Упомянутые во втором примечании «известные органы» – это, разумеется, прежде всего издания Каткова. Но все эти резкости, следует подчеркнуть, высказаны еще при жизни вождя «наших “консерваторов”».

[1] Напомним, кстати, что он баллотировался в III Государственную думу, но проиграл на выборах.

[2] Снова вспомним посмертно опубликованную заметку Лескова: «…из Парижа на погост Алексеевского монастыря примчался республиканский монархист Поль Дерулед, сия взлелеянная на Страстном бульваре французская ипостась того самого вольного казака Ашинова, кого венчала скороспелыми лаврами героя XIX века властная, но не всегда разборчивая на хулу и на хвалу рука московского громовержца» [3, с. 894].

[3] В следующем письме, от 21 августа, Горбов не преминул рассказать свежеузнанную им сплетню о французском визитере: «Сплетня. На 10-й день после смерти Каткова его сыновья давали Деруледу, в благодарность за его приезд, большой ужин с цыганами, в новом только что выстроенном трактире в Петровском парке, который они таким образом и обновили. За верность не ручаюсь, хотя слышал почти от очевидца» [16, л. 71].

[4] Упомянуты Н.А. Любимов, И.Ф. Цион, не названный по имени Г.П. Данилевский, Н.П. Ланин, Н.И. Пастухов и Н.П. Гиляров-Платонов. Об истории редакторского «междуцарствия» в «Московских ведомостях» см. [17, с. 153–181].

[5] Речь идет о С.П. Катковой (урожд. кнж. Шаликовой) и С.А. Петровском.

осталась незаметной (и в хроникальном письме Горбова она не нашла места) вторая тема, важная для Шарапова, стремившегося соответствовать духу своих высоких наставников – славянофилов. В надгробном слове (ниже мы приведем его целиком, поскольку этот текст оказался забытым, к нему, кажется, ни разу не обращались исследователи) Катков предстает, с одной стороны, как «Государев слуга», первый и последний «государственный публицист»; с другой же – как «независимый журналист», «великий пример независимого борца и публициста». «Каткову, – заявляет Шарапов, – обязаны мы существующей свободой слова в России».

С новой надгробной речью издателю «Русского дела» пришлось выступить осенью того же года – на погребении Н.П. Гилярова-Платонова, которого позднее он назовет «неопознанным гением». В это время его газета выходила вновь, речь была помещена там [, с. 1–2][1]. Как все в те дни, Шарапов снова вспоминал Каткова и так характеризовал ушедший московский газетный «триумвират»: «Если Аксаков был велик, как бескорыстный и доблестный гражданин, как художник и как выразитель великого культурного начала, если Катков был велик, как политический и государственный деятель, могучий и смелый боец за русскую государственную идею, то <…> Гиляров велик, как глубокий и оригинальный <…> как гениальный русский мыслитель» [15, с. 110][2].

Шарапову хотелось сочетать в себе черты всех этих троих великих, и, между прочим, парадоксальным образом, несмотря на его постоянно декларируемое ученичество у Аксакова, можно думать, что фигура Каткова была ему в чем-то ближе. В конце XIX века и в новом столетии – правда, обычно безуспешно – он будет пытаться, совершенно по-катковски, метать громы на целые министерства и доводить «слово русской политической мудрости до Царя».

[1] Вошла она и в упомянутый выше том сочинений [15, с. 110–112].

[2] В 1897 году уже в другой своей газете Шарапов повторит эту формулировку в более афористичном виде в передовой статье, посвященной десятилетию со дня смерти Каткова: «Кем-то была обозначена такая триада в русской журналистике: русский ум нашел своего выразителя в Гилярове-Платонове, *чувство* в Аксакове, *волю* в Каткове. Схема эта довольно верна» [19, с. 1]. Скорее всего, этот «кто-то» – сам Шарапов, и еще через несколько лет он опять использует ту же удачно найденную формулу: «…Катков представлял элемент русской *воли*, Аксаков русского *чувства*, Гиляров русского *ума*» [20, с. 2]. В той же статье Шарапов связал с уходом трех великих публицистов непоправимое падение «нравственного уровня общества», отразившееся и на положении печати, где «<н>а место пророков вышли газетные кулаки, пройдохи», а выше упавшего общего уровня «остались лишь “умеренные российские либералы”, не испускавшие никаких иных звуков, кроме голубиного воркованья или змеиного шипенья на всем надоевшие, избитые темы» [20, с. 2].

С.Ф. Шарапов

Речь при погребении М.Н. Каткова

С Катковым хороним мы не выдающегося русского публициста только, мы провожаем в могилу живую часть великой государственной силы России. Если в спокойное время видели мы в усопшем только главу и представителя известного политического направления, если в новое смутное время на Руси[1] имели мы в нем могучего защитника целости государства и неприкосновенности наших национальных и политических основ, то в переживаемые нами последние тяжелые и мрачные годы, когда мнимые друзья[2] снимают маски и громко вопиют нам гибель и истребление, когда самый воздух напоен угрозами всему, что нам свято и дорого, когда, словно страшный суд, надвигается час последнего расчета между Западом и Востоком, – в эту минуту значение и дело Каткова являются совсем иными. За последние полтора года он едва ли не один во всей русской печати стоял на страже русских интересов, – скажем более, едва ли не один воплощал в себе во всем объеме государственно-политические задачи России, один боролся, не щадя сил, с полчищами врагов, нанося удары, от которых трепетали могущественные империи.

Мы говорим «один», ибо не дипломатии же нашей, призванной к защите интересов России, приписать честь того, что наша родина хоть несколько вышла из немецкой нравственной зависимости, опутавшей ее дружбою и не только парализовавшей ее силы, но помутившей и самое ее историческое сознание! Нет, эта заслуга в наибольшей мере принадлежит Каткову. Как это ни странно, но добрая доля его усилий пошла на борьбу с внутренними, слабыми духом и чуждыми сердцем России невольными союзниками врагов. Только при наших печальных исторических условиях возможно было, что в России существовало как бы две политики: политика нашего дипломатического ведомства, колеблющаяся, слабая, ежеминутно спотыкающаяся и нерешительная – и Катковская, она же и настоящая русская, могучая, смелая, свободная, полная веры в святое призвание России и силы русского народа. И вот перед этой-то политикой трепетали враги! Не тишина дипломатических кабинетов была им страшна, им был страшен независимый журналист, сзади которого чувствовался весь русский народ, журналист – громко и грозно разоблачавший все козни врагов и хранивший русскую дипломатию от обмана и засады.

Могучее, словно меч разящее слово Каткова никогда не раздавалось так громко и грозно, как в последний год его жизни, когда его статьи становились крупными политическими событиями, когда его указания направляли или останавливали события. Гигант-боец выходил один на один на борьбу с умнейшим государственным человеком нашего времени[3], хищную идею которого он умел разгадать и разоблачить, и своей зоркой предусмотрительностью, своим советом и веским словом парализовал деятельность первоклассной дипломатии четырех враждебных нам держав.

Не от меня, принадлежавшего к иному политическому направлению, можно ожидать чрезмерного преувеличения значения и заслуги почившего. Но и эта сторона его деятельности, которую я имею право называть великою и плодотворною, уже одна достаточна, чтобы с благоговейной признательностью проводить в могилу это-

[1] Подразумевается время Польского восстания 1863–1864 годов.

[2] Речь идет о Германии.

[3] Имеется в виду О. Бисмарк.

го великого человека. Каткову обязаны мы существующей свободой слова в России[1], он же поднял на недосягаемую дотоле высоту значение свободной печати, явив нам великий пример независимого борца и публициста.

Знало все русское общество, что, пока перо в руках у Каткова, бессильна чужеземная интрига наверху, доходит слово русской политической мудрости до Царя, не обманет и не перехитрит Россию никто. Почти полвека неутомимой ежедневной деятельности нужно было Каткову, чтобы стать на ту высоту, на которую он взошел, дабы сделать свою мысль и столь действенною, и столь грозною. На склоне дней его увидала в нем Россия своего отважнейшего бойца, а Европа – яркого выразителя русской государственной идеи и русской мощи.

События надвигались. В преддверии великой мировой борьбы, как коренная русская сила, встал Катков во всеоружии своего таланта. Вот когда нужна и могла быть развернута во всю ширь его огромная сила! Вот когда нужен ум, светло и зорко смотрящий в глубину мировых судеб! И в эту минуту Каткова не стало! Страшная пустота остается на его месте! Страшная, зияющая рана на русском государственном теле. Тяжело положение армии, опытный и храбрый вождь которой убит. Не менее тяжело положение государства, потерявшего такого политического вождя и борца, как Катков. Великим и справедливым горем звучит Царское слово[2], и понятно нам это горе! В русской печати не остается никого, кто бы взял Катковское знамя, в русской государственной машине нет более независимого и открыто творящего свой совет Государева слуги, пустым остается место, которое в самодержавном государстве едва ли не важнее нескольких министерств. Более того – Катков был явление совершенно исключительное. Завоеванное им великое право возглашать свою мысль и творить свой суд, не взирая на лица и места – было подчас слишком тяжело для бюрократии, и нужна была прямая поддержка, прямое доверие, вернее – прямой вызов со стороны верховной власти, чтобы мог вырасти и окрепнуть Катков. Подобное явление едва ли повторится другой раз. Со смертью Каткова упраздняется, по-видимому, и его высокое место государственного публициста.

Велика радость врагов России! Велико горе его друзей! Не менее нас чувствуют эти друзья незаменимую потерю. Но будем верить, что Бог хранит Россию, что Он же не даст погибнуть правому делу. За Скобелевым быстро сошел в могилу Аксаков. Едва прошло полтора года, мы хороним Каткова! Больше налицо нет борцов![3] Судьба бьет нас и словно щадит врагов. Их великие люди все живы и бодрствуют наперекор и словно в насмешку над временем и природой человека…

Но судьбы Божии неисповедимы. И из камней творит Он чад Аврааму[4], и на слабых сходит вдохновение и становятся они сильными. Будем верить, что в потребный час Россия найдет на великое дело и новых великих сынов своих!

[1] В 1858 году Катков решительно выступил против Цензурного комитета, отстаивая свои права редактора «частного журнала». Об этом см. [21, с. 262]. Напомним также его статью «Вред предварительной цензуры» (1865).

[2] В телеграмме, адресованной вдове Каткова, Александр III писал: «Вместе со всеми истинно русскими людьми глубоко скорблю о вашей и Нашей утрате. Сильное слово покойного мужа вашего, одушевленное горячею любовью к Отечеству, возбуждало русское чувство и укрепляло здравую мысль в смутные времена. Россия не забудет его заслуги, и все соединяются с Нами в единодушной молитве об упокоении души его» [14, с. 3].

[3] Речь при погребении Н.П. Гилярова-Платонова Шарапов начнет словами: «Сильней и сильней сгущаются сумерки над русским обществом, над русской литературой. За Аксаковым – Катков, за Катковым менее, чем через три месяца, отходит от нас Гиляров! Светильники русской мысли гаснут <…> Да никого и не останется больше, кто бы мог стать в ряд с этими тремя славными и великими русскими именами» [15, с. 110].

[4] Рим. 11: 33; Мф. 3: 9.

Литература

1. Пророки Византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891) / сост., вступ. ст., подгот. текстов и примеч. О.Л. Фетисенко. СПб., 2012.
2. *Рачинский С.А.* Письмо В.Н. Лясковскому от 10 апреля 1887 года // ОР РНБ. Ф. 631. Ед. хр. 10.
3. *Лесков Н.С.* На смерть М.Н. Каткова / с послесл. и примеч. А.Н. Лескова // Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. <Т.> III–IV. М.; Л., 1934.
4. *Страхов Н.Н., Соловьев Вл.* Письмо А.А. Фету от 17 сентября 1885 г. // Переписка <А.А. Фета> с Н.Н. Страховым (1877–1892) / вступ. ст., публ. и коммент. Н.П. Генераловой // Литературное наследство. Т. 103: А.А. Фет и его литературное окружение. М., 2011. Кн. 2.
5. *Страхов Н.Н.* Письмо А.А. Фету от 28 июля 1887 г. // Переписка <А.А. Фета> с Н.Н. Страховым (1877–1892) / вступ. ст., публ. и коммент. Н.П. Генераловой // Литературное наследство. Т. 103: А.А. Фет и его литературное окружение. М., 2011. Кн. 2.
6. *Страхов Н.Н.* Письмо А.А. Фету от 28 июля 1887 г.: автограф // ИРЛИ. 20290. Ч. II. Л. 61 об.
7. *Леонтьев К.Н.* Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. СПб., 2007. Т. 8. Кн. 1.
8. *Филиппов Т.* Памяти М.Н. Каткова // Гражданин. 1887. 26 июля. № 60.
9. От редактора газеты «Русское дело» // Московские ведомости. 1886. № 83. 25 марта.
10. *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012.
11. *Лясковский В.Н.* Письмо С.А. Рачинскому от 1 октября 1886 года // ОР РНБ. Ф. 631. Ед. хр. 37.
12. *Шарапов С.Ф.* Письмо С.А. Рачинскому от 20 июня 1886 года // ОР РНБ. Ф. 631. Ед. хр. 35.
13. Московский сборник. М., 1887.
14. Памяти М.Н. Каткова // Русский вестник. 1887. № 7.
15. *Шарапов С.* Сочинения: в 3 кн. СПб., 1892. Кн. 1.
16. *Горбов Н.М.* Письмо С.А. Рачинскому от 21 августа 1887 года // ОР РНБ. Ф. 631. Ед. хр. 40.
17. *Юшко А.Г.* За кулисами публицистики (Власти и «Московские ведомости» в 1887 г. по смерти М.Н. Каткова) // Никита Петрович Гиляров-Платонов: Исследования. Материалы. Библиография.
18. *Шарапов С.Ф.* Речь на погребении Н.П. Гилярова-Платонова // Русское дело. 1887. № 12/13. 17–24 октября.
19. *Шарапов С.Ф.* Передовая статья // Русский труд. 1897. № 30. 26 июля.
20. [*Шарапов С.*] По-русски // Из последних статей Сергея Шарапова. М., 1900.
21. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1902. Кн. XVI.

Аннотация. Смерть М.Н. Каткова, признанного лидера консервативно-охранительной части российского общества, вызвала широкий резонанс среди видных публичных фигур эпохи. Те из них, кто вступал с покойным в ожесточенную полемику, или, даже будучи представителем сходных взглядов, критиковал его по ряду позиций, посмертно высоко оценили роль М.Н. Каткова в общественном и государственном развитии России той эпохи. Автор статьи приводит полностью забытый документ: надгробное слово публициста и общественного деятеля С.Ф. Шарапова, произнесенное им на похоронах М.Н. Каткова, в котором последний предстает, с одной стороны, как «Государев слуга», первый и последний «государственный публицист»; с другой же – как «независимый журналист», «великий пример независимого борца и публициста».

Ключевые слова: М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, К.Н. Леонтьев, Н.Н. Страхов, А.С. Суворин, Н.С. Лесков, С.Ф. Шарапов, русская публицистика XIX века.

Olga L. Fetisenko, PhD in Philology, Leading Researcher, New Russian Literature Department, Institute of Russian Literature, Russian Academy of Sciences. E-mail: betsy98@mail.ru

"Demagogue" About the "Opportunist" (S.F. Sharapov's Speech at the Grave of M.N. Katkov in the Context of "Split of the Conservatives")

Abstract. The death of M.N. Katkov, the recognized leader of the conservative-protective part of Russian society, aroused broad response among the prominent public figures of the epoch. Even those who argued fiercely with the deceased or criticized some of his postulates, though having basically similar views, posthumously edged up their assessment of M.N. Katkov's role in the contemporary public and national development of Russia. The author of the article quotes the utterly forgotten document of the time: the graveside oration of Russian publicist and public figure S.F. Sharapov at the funeral of M.N. Katkov, when he described M.N. Katkov as the "Sovereign's servant" and "the first and last state publicist" on the one hand, and "the independent journalist" and "the great example of the independent fighter and publicist", on the other hand.

Keywords: M.N. Katkov, K.P. Pobedonostsev, K.N. Leontiev, N.N. Strakhov, A.V. Suvorin, N.S. Leskov, S.F. Sharapov, Russian Publicism of the 19th century.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-411-420

Николай Котрелев

*Из неизданного и несобранного Владимира Соловьева: Письмо М.Н. Каткову, 20 июля 1886 года; письмо М.М. Стасюлевичу, до 2/14 сентября 1886 года**

О том, что печатаемое ниже послание было написано, свидетельствовал сам Соловьев. Впрочем, и это свидетельство в течение почти века оставалось незамеченным для всех, кто интересовался наследием философа и поэта, оно было введено в литературный оборот только к концу XX века[1]. Равно и письмо, десятилетиями бывшее публично доступным в архивохранилище, внимания ученых и поклонников Владимира Соловьева не привлекло. Прежде чем познакомить читателя с его текстом, приведу отрывок из воспоминаний Соловьева, служащий необходимым, но недостаточным к нему комментарием:

«Лето 1886 г. я провел в Загребе, пользуясь радушным гостеприимством того самого каноника Рачки, которого Катков прочил в митрополиты наших католиков[2]. Мой хозяин, получавший “Московские ведомости”, был большим почитателем Каткова, находя у

[1] Я имею в виду статью Вл. Соловьева «Несколько личных воспоминаний о Каткове» [2]. Она была перепечатана мною в издании [3, с. 626–634].

[2] Рачки, Франьо (1828–1894) – католический священник, крупнейший представитель хорватской культуры второй половины XIX века – историк, археолог, член-корреспондент Петербургской Императорской Академии наук. См. некролог Соловьева «Франциск Рачкий» [4–6], а также письма Соловьева к нему [7–9]. О планах Каткова преобразовать католическую иерархию, убрав политически ангажированных поляков, см. в названных в примеч. 1 воспоминаниях Соловьева [2, с. 631]: «Последний раз я видел Каткова в августе 1884 г. в Петербурге. <…> Меня позвал “на Каткова” один наш общий приятель, прикосновенный к Министерству народного просвещения. Кроме меня были позваны приезжий из-за границы известный хорватский историк, каноник Рачки, и его земляк, петербургский академик Ягич. Катков говорил об университетском уставе и обращался больше ко мне. Он настаивал на принципиальной стороне дела. “Исполнение – это понемногу, со временем, само собою! Главное, принцип: установлен принцип – дело выиграно”. Слышался старый шеллингианец, очевидно, было желание сойтись на философской, идеальной почве. Но под конец вдруг сказался Катков 1864 г. Когда Рачки и Ягич, прощаясь с хозяином, сказали, что на завтра они приглашены в римско-католическую академию, Катков горячо воскликнул: “Не в римско-католическую, а в польско-католическую! С римским католичеством мы бы не спорили, но у нас его нет, у нас только одно польское”. Вскоре я узнал, что у Каткова был в это время план преобразования католической иерархии в России через замену епископов-поляков хорватами и чехами; мой друг Рачки был намечен как кандидат на могилевскую митрополию, от чего он уклонился, не желая расставаться со своею родиной». Причиной катковского проекта заменить польскую католическую иерархию на русской территории была глубокая политизация польских иерархов и священства, в связи с этим см., в частности, важнейшую передовую Каткова, помеченную 15 апреля 1885 года: «Ведь нужно же полагать, что церковь, охраняемая законами государства, не проповедует революции и анархии, и признает истину текста: “власти от Бога суть”, а никакие каноны и уставы церкви не могут запретить государственной власти заботиться о том, чтобы в церковном клире не было создаваемо враждебных ей гнезд. Церковь свободна лишь поскольку ее духовенство не переходит в область политических отношений, этой злобы дня человеческого» [2а, с. 179].

* Предварительный краткий вариант этой публикации [1, с. 176–189], подгот. текста и коммент. Н.В. Котрелева.

Котрелев Николай Всеволодович, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Историк русской культуры, специалист по истории итальянской литературы. E-mail: kotrelev-n-v@yandex.ru

него настоящий государственный ум, в отличие от славянофилов, которых считал более риторами, нежели политиками. Он идеализировал взгляды своего любимого публициста, который, по его словам, ничего не имел против самой широкой автономии польского народа в его этнографических пределах. "У Каткова об этом те же самые мысли, как у нас с вами", – уверял он меня. Однажды – это было 20-го июля – я прочел передовую статью "Московских ведомостей" о национально-церковных вопросах; написанную, очевидно, под исключительным действием политической страсти, с полным забвением нравственных требований христианства. Я пошел излить свое негодование перед смущенным Рачки, который на этот раз со мною не спорил, потому что при всем своем крайнем русофильстве и политиканстве он был хорошим, добросовестным священником. Но в то время, как я негодовал на Каткова, вдруг всплыл в моей памяти духовный облик этого человека, каким я знал его в лучшие минуты с его глубоким благочестием, сердечною добротой в личных отношениях и высоким пониманием христианских идей. Я очень сильно почувствовал и желание, и обязанность сделать все от меня зависящее для духовной пользы этого человека, который, очевидно для меня, находился под наваждением злой силы. Я ушел в свою комнату, и мое душевное волнение разрешилось длинным письмом к Каткову, с такою главною мыслью: Вы увлечены политическою идеей, она вам кажется чем-то самым важным; но вообразите себя на смертном одре, при переходе в другой мир: неужели и тогда идея *крайнего* национализма по отношению к инородцам сохранит для вас какую-нибудь важность?[1]. А если не сохранит – то, значит, это есть идея временная, преходящая, недостойная увлекать собою мыслящего человека и христианина... Письмо на эту тему вышло, помнится, большое. Я сам отнес его в загребский почтамт и отправил заказным на имя моего младшего брата, с поручением лично доставить на Страстной бульвар, что и было исполнено» [3, с. 632].

Десять лет спустя Соловьев хорошо помнил основное содержание своего письма – подлинник неизвестен, но вот его копия:

Вл. С. Соловьев – М.Н. Каткову

1886 год, около 20 июля / 1 августа. Загреб

Копия

Милостивый Государь
Глубокоуважаемый Михаил Никифорович.

Да хранит Вас Бог! Пишу Вам второй раз о том же[2]. Не приходил Христос на землю, чтобы основать греческую, русскую, англиканскую церковь, а только единую вселенскую церковь, она же требует единого средоточия. Мне противны безумные латынники, которые хотят все вобрать в свое средоточие, чтобы иметь вместо круга одну только точку. Но если центр без окружности есть только точка, то окружность

[1] Заметим, что тот же аргумент *ad hominem* Соловьев использует в письме от 18 января 1892 года при попытке убедить К.П. Победоносцева отказаться от политики «религиозных преследований и насильственного распространения казенного православия»: «…я отрешаюсь от всякой личной вражды, отношусь к Вам как к брату во Христе и умоляю Вас не только для себя и для других, но и для Вас самих: одумайтесь, обратитесь в себя и помыслите об ответе перед Богом. Еще не поздно. Еще Вы можете перемениться для блага России и для собственной славы. Еще от Вас самих зависит то имя, которое Вы оставите в нашей истории. Говорю по своей совести и обращаюсь к Вашей совести. Словесного ответа мое письмо не требует. Не оставляю надежды, что милость божия Вас тронет и что Вы ответите делом. А если нет, то пусть судит сказавший: Мне отмщение, и аз воздам» [3, с. 418].

[2] Второе письмо «о том же», как и вообще какие-либо другие письма ВС к М.Н. Каткову нам неизвестны.

без центра вовсе не может существовать[1]. И не существует. Вы умнее славянофилов и, отвергая средоточие церкви, Вы отрицаете вместе с тем у церкви всякую самостоятельность и отдаете ее всецело во власть государства (единовластие). Но, положа руку на сердце, неужели Вы думаете, что наша государственная власть способна и призвана быть средоточием, не говорю вселенной, но хотя бы нашей русской жизни? Неужели Вы не видите, что она сама ищет своего средоточия и доселе весьма неудачно.

Две есть всемирно исторические силы: Рим и Русь. Русь есть мір – собор, община. Рим есть начало центральной единящей власти. О Риме в лице камня сказано Богом: ты камень и на этом камне созижду церковь Мою и врата адовы не одолеют ее[2]. О России самой по себе ничего не сказано в Слове Божием. Кто хочет вечного блага России, должен стараться связать ее с тем, что имеет вечные обетования.

Я знаю, что Вы в этом деле придаете значение полякам. Но знаете ли Вы, что для поляков (враждебных к России) соединение церквей есть нож вострый. По поводу возбужденного мною вопроса о соединение и церквей я читал в польских газетах, что конечно это утопия и что никто в России кроме Соловьева об этом не думает, но что если бы per impossibile это совершилось, то все добрые поляки перешли бы в протестантство[3]. То, что страшит наших врагов, должно быть желательно для нас – это, кажется, аксиома.

Все мы под Богом ходим. Прошу Вас об одном. Перенеситесь мыслию в свой смертный час и если Вы при этом почувствуете свой взгляд правильным и несомненным – то Бог с Вами, я Вам не судья.

Душевно преданный Вам
(подп.<исано> Влад. Соловьев).

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут рукопису. Ф. XIII. № 2432.
Писарская копия. Плотная бумага большого размера, верже; двойной лист в четверку.
На л. 1 в левом верхнем углу синим карандашом (рукой К.П. Победоносцева?), наискось: «Папа».
Сугубая парадность копии может служить, в известной мере, разумеется, гарантией достоверности соответствия ее текста подлиннику.

Предположение об авторе надписи на копии вызвано тем, что документ хранится в фонде то ли Святейшего Синода, то ли К.П. Победоносцева. Уточнить сказанное можно было бы только в результате тщательного просмотра других документов этого фонда, сравнения почерков, анализа секретарского стиля изготовления копий – все это, к глубокому сожалению, для меня сейчас невозможно. Появление столь важного персонажа в истории документа открывает новый аспект его содержательности, и к этому мы вернемся ниже.

Датировка письма с точностью до нескольких хотя бы дней оказывается весьма затруднительной. Как мы сейчас увидим, даже указание Соловьева («Однажды – это было 20-го июля – я прочел передовую статью “Московских ведомостей”») подлежит сомнению и проверке и не только в силу отвлеченного императива текстологической критики – сомнения возникают при самом первом чтении письма в сопоставлении с мемуарным автосвидетельством и первой попыткой связать его с известными письмами Соловьева. Уточнение

[1] Не исключено, что образ восходит к словам бога Любви в «Новой жизни» Данте, стихи из которой Соловьев незадолго перед тем переводил [см. 10, с. 748]. Амор говорит: «Ego tamquam centrum circuli, cui simili modo habent circumferentiae partes; tu autem non sic» (VN XII; «Я подобен центру круга, от которого равно отстоят окружающие его части, ты же не таков…» – Пер. А. Эфроса).

[2] Мф 16,18; вольная цитата – смесь русского и церковнославянского языков.

[3] Источник соловьевской ссылки не установлен.

даты письма требует помещения его в череду хорватских писем и биографических фактов, что сделать очень сложно, поскольку до сих пор мы не имеем сколько-нибудь строго упорядоченного их учета. Нас ближайшим образом интересуют пять писем философа к брату, М.С. Соловьеву, опубликованные С.М. Соловьевым под номерами 16–20 [11, с. 58–64][1] и сохранившие эти номера в перепечатке Э.Л. Радлова [12, с. 98–103][2]. Для нас важно, что письмо 16 написано в Загребе, после того как Соловьев прожил десять дней в Штирийских Альпах в курортном местечке, где встречался с епископом Штроссмайером. Письмо 17 также писано в Загребе, у Соловьева нет денег на поездку в Дьяково, куда его нетерпеливо зовет Штроссмайер. И в 16, и в 17-м письме Соловьев, совершенно истратившийся, просит брата прислать ему денег. Наконец, 18-м письмом он извещает брата, что некоторый «билет» он получил и разменял и наконец «сегодня ночью» едет в Дьяково. Письмо 19 написано по возвращении из Дьяково, 20-е письмо правильно стоит под своим порядковым номером, эти два послания мы сейчас оставляем без внимания. Нам важно другое: в 18-м письме Соловьев говорит брату: «Из письма твоего [нам неизвестного – *Н.К.*] я увидел, что ты отвечаешь на мое, посланное от 16 или 17 июля, а дальнейших еще не получал»[3]. Речь идет, несомненно, о письме 16, о первом письме брату из Хорватии. Но о каких «дальнейших» письмах идет речь? Ибо в публикациях С.М. Соловьева и Э.Л. Радлова есть только одно промежуточное, между 16 и 18-м – семнадцатое. В нем, однако, мы читаем: «Я писал тебе дважды и с беспокойством дожидаюсь твоего ответа» [14, с. 99]. Первое письмо из двух упоминаемых Соловьев, по письму 18, считает полученным и отвеченным (это письмо 16), в число пришедших в Москву позже входит единственное письмо 17, для употребления множественного числа – «дальнейших» – нет оснований, равным образом нельзя указать второе из двух, упомянутых в письме 17. Одного письма недостает, однако оно сохранилось и, более того, было напечатано в общем числе писем философа к брату:

Вл. С. Соловьев – М.С. Соловьеву[4]

1886 год, около 20 июля / 1 августа. Загреб

Милый Миша!

Прошу тебя доставить прилагаемое послание верным образом Каткову. Я писал тебе третьего дня и еще повторяю, что я сижу на мели без гроша, в самом неловком положении. Надеюсь, хоть что-нибудь накопилось же для меня в обоих складах за два месяца. Во всяком случае простри поскорее руку помощи. Все письма посылаю заказными. Будь здоров. Целую, кланяюсь.

Твой *Влад*.

Сергей Михайлович неправильно датировал это письмо, он поместил его среди писем 1883–1884 годов и сопроводил примечанием: «Письмо без даты. Упоминание о Каткове побуждает меня отнести письмо к началу 80-х годов, когда Соловьев еще не разошелся

[1] Сопровождающие письма, датирующие замечания С.М. Соловьева, весьма приблизительно верны, с точностью до «лета» или «августа-сентября» 1886 года.

[2] Редактор минимизировал примечания С.М. Соловьева, опустив датирующие, и воспроизвел датировки первого публикатора.

[3] 22 июля / 3 августа 1886 года Соловьев писал из Загреба А.А. Фету: «Из бесписьменности моей не заключайте, что я о Вас не думаю. Напротив, часто и часто Вас вспоминаю. А вот наконец подвигся и написать. Я доселе не приспособился к двум календарным стилям и живу как бы вне времени или в фальшивом времени, ибо руковожусь “Московскими Ведомостями”, которые получаются здесь почти через неделю, на каковой срок и я отстаю от действительности в своих хронологических представлениях» [13]. 16 или 17 июля цитируемого отрывка названы по григорианскому календарю.

[4] Богословский вестник. М., 1915. Сентябрь. С. 45.

с Катковым». Парадоксальным образом письмо на деле сопровождало самое резкое и последнее обращение Владимира Соловьева к М.Н. Каткову. Радлов отнесся к датировке С.М. Соловьева с недоверием, выставил сомнительную дату (1884 г. ?), но изменять местоположение письма не стал [14, с. 88].

По содержанию это письмо хорошо связывается с письмами 16 и 17. Чтобы не отяжелять моей заметки пространными цитатами, я ограничусь предложением читателю провести сравнение самостоятельно и только укажу очевидные тематические связи этих трех писем. В них Соловьев просит брата об экстренной денежной помощи; источник возможного перевода в письме 16 указан тот же, что и в только что приведенном письме: «Не накопилось ли для меня чего-нибудь в московском или петербургском складе», – речь идет о поступлениях от продажи с книжных складов «Истории России с древнейших времен», авторские права на которую С.М. Соловьев завещал младшим сыновьям (этот вполне серьезный источник дохода часто упоминается в письмах Вл. Соловьева).

Первая фраза приведенного выше письма в точности отвечает, тому, что Соловьев написал в воспоминаниях о письме к Каткову: «Я сам отнес его в загребский почтамт и отправил заказным на имя моего младшего брата, с поручением лично доставить на Страстной бульвар, что и было исполнено». Не случайно, несомненно, и совпадение оговорок об отправке писем заказными (как ни много говорит об этом своим корреспондентам Соловьев, всегда недовольный работой почт).

Наконец, если письмо 16, по памяти автора, было послано «16 или 17 июля», то написанное через два дня на третий после него, было написано 20 июля, как и сказано в мемуаре Соловьева, с возможной ошибкой памяти в день-другой.

Все хорошо сходится – кроме главного: я не сумел в «Московских ведомостях» обнаружить «передовую статью “Московских ведомостей” о национально-церковных вопросах; написанную, очевидно, под исключительным действием политической страсти, с полным забвением нравственных требований христианства». Учитывая то, что газета получалась в Загребе с большим опозданием, что Соловьев с середины июня 1886 года перемещался за пределами России и, добравшись до Загреба, мог у каноника Рачки, поклонника Каткова и его газеты, читать разом все пропущенные номера, я просмотрел «Московские ведомости» за июнь и июль 1886 года[1]. И ничего, касающегося церковной и государственной политики, что сколько-нибудь затрагивало проблемы национальной церкви, соединения церквей, положения церкви в России и т.п., так чтобы вызвать у Соловьева конвульсивный, несдерживаемый протест, я не нашел[2]. Есть достаточно едкая статья о взаимоотношениях Ватикана и Франции в связи с их политикой в Китае, в ней иронический упрек русской политике [17, с. 3][3]. Но этот материал должен был попасть в руки Соловьева уже к середине

[1] За исключением номера 207 от 29 июля, оказавшегося мне недоступным при подготовке настоящей публикации. Однако искомого материала нет и в посмертном собрании газетных статей Каткова за 1886 год [15]. В этом собрании воспроизведены не только собственно передовые Каткова, но и его статьи, помещенные в газете. При перепечатке газетных материалов были опущены небольшие прибавки, формально связанные с основной статьей, но гетерогенные по отношению к ее теме, – об этом в моей заметке далее.

[2] При этом с легкостью обнаружилась ссылка на катковскую газету из письма Соловьева Ф. Рачки. «Катков пишет в “Московских Ведомостях”, – сообщал Соловьев из Загреба своему хозяину, в это время уехавшему на встречу с епископом Штроссмайером, – что посещения нашими сановниками князя Бисмарка похожи на поездки русских князей в Золотую Орду к татарским ханам, и что мы поставили себя в вассальные отношение к Германии, тогда как она гораздо более нуждается в нас, чем мы в ней». Это точная цитата передовой Каткова [см. 16, с. 3]. Между прочим, в памяти Соловьева именно эта реплика на катковскую газету как конкретный отклик могла сохраниться под «20 июля» (увидеть номер Соловьев, разумеется, мог только с опозданием приблизительно на неделю – см. выше, примеч. 10 – в письме к А.А. Фету).

[3] В конце этой передовой Катков едва касается русской и православной темы – отнюдь не в ключе соединения церквей и устроения национальной церкви: «…Один ли дальний Восток предоставляется Ватикану с оттеснением Франции? Для Ватиканского владыки это было бы слишком мало. Что ему Китай? И что ему за

августа. И ничего другого, что сколько-нибудь явным образом касалось бы тем соловьевского письма, я не увидел. Может быть, это удастся сильнейшему.

Неудача поисков повода к письму в газете заставляет меня вернуться к началу соловьевского письма: «Глубокоуважаемый Михаил Никифорович. Да хранит Вас Бог! Пишу Вам *второй раз* о том же». Курсив в цитате мой. Мы не знаем первого письма «о том же». Несомненно, что повод к нему явился много прежде поездки Соловьева за границу летом 1886 года. Скорее всего, Катков не ответил Соловьеву, что само по себе могло раздражить философа. Если же Катков отвечал и Соловьев получил его ответ в Загребе – или вспомнил о нем по более или менее случайному поводу, – тем более ответ Каткова никак не мог успокоить Соловьева или оставить равнодушным. Но здесь я уже вступаю на путь неконтролируемых предположений…

Важно другое. Катков, долгое время относившийся к Соловьеву более чем дружески, пожалуй, с отеческой заботой, печатаемое письмо воспринял как весьма значимый *общественный* жест, важный в видах дальнейшего поведения публициста, уже создавшего себе, в том числе и при сильной поддержке самого Каткова, влиятельное положение в русском обществе. И Каткову потребовалось обсудить письмо с К.П. Победоносцевым, какое-то время тоже Соловьева привечавшего. Катков либо распорядился изготовить копию письма, которая напечатана выше, либо в одну из встреч с обер-прокурором показал ему подлинник, а Победоносцев изготовил копию для себя. Об этом мы имеем свидетельство под 6 декабря 1888 года в дневнике А.А. Киреева, еще одного друга и покровителя Владимира Соловьева в начале его пути, с которым Соловьев в это время вел уже острейшую полемику: «Получаю письмо от Соловьева, жалуется, что его притесняют за то, что он отстаивает религию; на меня восстали православные атеисты, пишет он мне, и мои оппоненты не могли его побороть иначе как закулисной клеветой. Цензура из-за этого мне пакостит, м<ежду> пр<очим>, не пропускает ни одной статьи, направленной и против Вас. Защитите. Я отправился к Победоносцеву и усиленно хлопотал за Соловьева, но ни в чем не успел. Я объяснил Победоносцеву, что из-за того, что Соловьев несет чепуху относительно католицизма, нельзя ставить ему преграду вообще. <...> Поб<едоносцев> утверждает, что он сошел наполовину с ума, произвел соблазн вообще между всеми православными, ни о какой личной злобе тут нет речи (н<а>пр<имер>, Колаковский из Варшавы писал об этом Победоносц<еву>)[1]. Катков показывал Поб<едоносцеву> письмо,

особенная выгода вытеснить оттуда Францию, которая там покорно служила всем потребностям папской курии? Ватиканская политика не так благодарна, как наша Российская. Она за бесценок ничего не дает, а германский политик привык расплачиваться всегда на счет других. Ватикану всего ценнее свобода действовать в сфере Восточной православной церкви и стало быть в пределах ближнего Востока, в Турции, с оттеснением России; а заправителю европейского концерта [то есть Бисмарку – *Н.К.*] не только ничего не стоит, но и очень выгодно оказывать здесь Ватиканскому владыке всякое содействие. Австро-Венгрии предоставляется пролагать ему пути, а России при участии ее в концерте подписывать протоколы». На следующий день (№ 212 от 3 августа) эта тема получила продолжение в виде приписки к очередной передовой (именно приписки, не связанной с основным текстом, посвященным английским университетам): «…все католические церковные вопросы в Германии полюбовно улажены, причем папа пожертвовал и Поляками, что же касается Австро-Венгрии, то там никакого вопроса относительно “святого престола” не поднималось. О чем же по отношению к этому престолу могло быть совещание между князем Бисмарком и графом Кальноки? [Упомянут граф Густав Кальноки (1831–1898), тогдашний министр иностранных дел Австро-Венгерской империи, кстати, потерявший свой пост в 1895 году по обвинению в русофильстве – *Н.К.*] Очень вероятно о стесненном положении «святого престола» на Востоке, где господствует “схизма”. Недоставало только присутствия русского министра для подписания протокола о оказании Ватиканскому владыке надлежащей поддержки против восточной схизмы. Папа, как сообщает телеграмма, повелел благодарить кого следует. Как бы и нам не заслужить этой благодарности… Папская пропаганда <…> уже успешно действует на Балканском полуострове». Достаточная ли тут мотивация к печатаемому письму Соловьева Каткову?

[1] Я не знаю этого письма П.А. Кулаковского (1848–1913), профессора Императорского Варшавского университета, слависта, долго работавшего в Сербии и поддерживавшего тесные отношения со многими представителями славянской культуры, в том числе с Ф. Рачки.

в котор<ом> Соловьев уговаривает его (Каткова) “припомнить о своем смертном часе и <прекратить> восставать на наместника Христа”! Действительно бедный Соловьев, по-видимому, в анормальном состоянии. Победоносцев наотрез отказался что-нибудь сделать в пользу Соловьева» [18, с. 211–212, 244].

Обстоятельное и вдумчивое изучение личных и духовных отношений Владимира Соловьева и М.Н. Каткова – настоятельная задача, несомненно, более важная в плане восстановления образа младшего из двух совопросников, ибо в его жизнеописании встреча со старшим значила больше, нежели приобретение и потеря старшим младшего. Напечатанное письмо всего лишь первый финал в этой истории, тогда как черту под нею подводят воспоминания Соловьева о Каткове, которые должно читать не только в контексте взаимоотношений, прекратившихся со смертью Каткова в 1887 году, но и в контексте творчества Соловьева в последние годы жизни, наполненного поминаниями ушедших в стихах, некрологах, мемуарах.

Летом 1885 года Владимир Соловьев принял решение, о котором писал брату Михаилу: «…я вызываю на смертный бой Голиафа, обитающего на Страстном бульваре. А вызов ищи в ближайших №№ “Руси” под заглавием “Государственная философия в программе Министерства Народного просвещения” [19, с. 5–8]. Если бой не будет принят, то я буду считать себя победителем. Подпись П. Б. Д. желающим не возбраняется принять за сокращенную фамилию Победоносцева» [20, с. 51]. Библейский великан со Страстного бульвара – М.Н. Катков, априорный Давид-победитель – Владимир Соловьев (в шутку летроним подписи можно было понимать «ПоБеДоносцев», но в шуточных рамках шутки его первое чтение – «ПоБеДитель», так, вероятно, подпись и родилась). Под тем же именем 19 октября напечатан и второй соловьевский выпад [21, с. 5–6]1, эти камни из пращи положили конец литературному сотрудничеству Соловьева и Каткова – последними публикациями Соловьева в катковском журнале были лирические стихотворения [см. 22, с. 308–309; 23, с. 834; 24, с. 890–896][2]. Затем последовали два письма Соловьева Каткову, одно из которых теперь нам известно, положившие конец личным отношениям.

В высшей степени знаменательно, символично то, что практически одновременно с последним посланием Каткову Соловьев из Дьяково, где гостил у епископа Штроссмайера, обратился, предлагая перевод лирических стихов, с первым нам известным письмом к М.М. Стасюлевичу, дружба и сотрудничество с которым наполнили следующие пятнадцать лет жизни философа и поэта.

Вл.С. Соловьев – М.М. Стасюлевичу

1886 год, до 2/14 сентября. Дьяково

Милостивый Государь
Михаил Матвеевич,

Дабы Вы не думали, что я намерен постоянно угощать Вас длинными и сентиментальными стихами[3], посылаю Вам стихотворение краткое и простое по лирическому мотиву[4]. – Живя теперь в Хорватии, я думаю перевести кое-что из здешнего превос-

[1] Авторская датировка: Москва, 15 октября.

[2] Заметим, что речь идет о важнейших поэтических произведениях Соловьева, таких, в частности, как «В тумане утреннем неверными шагами...», «Восторг души расчетливым обманом...», «Под чуждой властью знойной вьюги...».

[3] О сотрудничестве Соловьева в журнале Стасюлевича «Вестник Европы» см. в статье ниже.

[4] Имеется в виду стихотворение П. Прерадовича «Моя ладья». Стасюлевичу перевод очень понра-

ходного лирика Прерадовича. В России из него было переведено только 8 стихотворений (которых я и не буду трогать) в сборнике Гербеля[1].

Происшествия в Болгарии возбуждают здесь величайшее недоумение по отношению к России. – Да здравствует «национальная политика!» Вся сия бысть да сбудется реченное: «велика Федора да дура». Кажется наконец и здешние политики и политиканы начинают постигать всю знаменательность сего изречения[2].

Остаюсь с совершенным почтением

Ваш покорный слуга
Влад. Соловьев

В настоящую минуту я нахожусь в Дьякове на границах Славонии и Боснии, но постоянный мой заграничный адрес:

Autriche. Hongroie. *Agram*
A M. le Président de l'Acad.<émie> des sciences
Dr F. Rački (Kaptol, 13) Pour le dr. V.S.
Впрочем к Октябрю полагаю вернуться в Россию.

Печатается по автографу: ПД. Ф. 293.1.1341. Л. 1–2.
Датируется по помете М.М. Стасюлевича об ответе (см. ниже).
Текст в кавычках (пословица) подчеркнут синим карандашом, вероятно, М.М. Стасюлевичем.
В левом верхнем углу помета М.М. Стасюлевича об ответе на письмо: «Динар || 2/14 сент.<ября 18>86». Этот ответ, пока не напечатанный, процитирован в примеч. 19.

Чтобы смысл соловьевского жеста – приведенного письма к М.М. Стасюлевичу – воспринимался ярче и четче, напомню, что весна 1886 года ознаменовалась публикацией блистательного цикла его юмористических стихотворений, который открывал ставший знаменитым, признанный автопортретом «Пророк» («Угнетаемый насилием...»), – в «Новом времени» [28–30][3]. Эта газета к тому времени уже получила репутацию ante litteram «черносотенной». Интереснее, однако, то, что вся публикация велась через благожелательное посредство пресловутого В.П. Буренина, как это видно из писем к нему Соловьева[4]. И более того, направляясь к еп. Штроссмайеру, Соловьев, по-видимому, договорился с «Новым временем» о путевых корреспонденциях из Хорватии, первая из которых в этой газете и появилась [33, с. 2][5].

Письмо к М.М. Стасюлевичу знаменовало переход Владимира Соловьева в лагерь либералов. Несомненно, где-то в начале 1886 года произошла встреча философа со Ста-

вился («С величайшим удовольствием прочел Ваши несколько строф, прелестных по простоте и музыкальности ; особенно симпатична и в высшей степени грациозна – последняя строфа» [25]), однако почему-то в его журнале оно напечатано не было. Выбор Соловьевым стихотворения для перевода отражает его радужные боевитые настроения от общения с епископом Штроссмайером, вот его последняя строфа, которая пришлась по вкусу и Стасюлевичу: «Во власть ветров себя отдай, || На волю бурных волн, || Гляди вперед, не унывай, || И к небу стяг, мой челн». Вероятно, тогда же свой перевод Соловьев послал С.П. Хитрово [см. 26] (в письме, содержавшем стихотворение, Соловьев печалится о смерти А.М. Бутлерова, умершего 5 августа 1886 года).

[1] Имеется в виду [27]. На самом деле в нем помещены переводы девяти стихотворений П. Прерадовича.

[2] Речь идет о пертурбациях, связанных с изгнанием и возвращением на болгарский престол первого правителя самостоятельной Болгарии князя Александра Баттенберга (1857–1893).

[3] Стихотворения печатались под слегка от номера к номеру менявшимся псевдонимом, соответственно: Князь Эспер Гелиотропов, К. Гелиотропов. Князь Гелиотропов.

[4] Фрагменты напечатаны З.Г. Минц в комментариях к вышеуказанным стихотворениям [32]. Полный текст этих писем готовится к печати мною.

[5] Других путевых очерков не было, ни в «Новом времени», ни где-либо еще – в каком-то смысле повторилась история с корреспонденциями Соловьева в катковские «Московские ведомости» с турецкого фронта в 1877 году [см. 34, с. 309–310, 385 (коммент. А.А. Носова)].

сюлевичем, предопределившая их сотрудничество, начало которому положило появление в мартовском номере «Вестника Европы» соловьевских стихотворений, далее печатавшихся там постоянно [35–38][1]. Речь шла, разумеется, не просто о смене партийных органов в видах печатания поэтических произведений, занимавших все более важное место в творчестве Соловьева, а о реальном союзе политического единомыслия. На проходное, казалось бы, восклицание о дурости России в болгарских делах Стасюлевич откликнулся сугубо политическим посланием 2/14 сентября 1886 года: «…Мы везде оказываемся детьми – и детьми дурного характера: все нам кажется, что нам мешают, а сами мы не умеем ничего сделать, и как дети жалуемся на других. <…> Конечно, все, что до сих пор произошло, это – только начало конца; но я ничего не жду хорошего для нас и от самого конца, если он когда-либо наступит: нельзя, при нынешней нашей внутренней политике рассчитывать на что-нибудь прочное в политике внешней, как нельзя одной ногой итти вперед, а другой назад. Очень рад буду в октябре встретиться, наконец, с Вами» [41, л. 1–2]. 12 октября 1886 года Соловьев отвечал в унисон: «…то, что Вы говорите о наших делах, кажется мне совершенною правдою, и мне приходилось то же самое толковать (с осторожностью) нашим добрым друзьям Хорватам, которые издали лучше видят историческое величие России, нежели те практические условия, при которых все это величие должно оставаться мертвым капиталом. <…> Ваше (и мое) неверие в успехи нашей внешней политики вполне подтверждается историческою аналогией: с тех пор как сложилось русское государство, только при прогрессивных и либеральных (для своего времени) правительствах Россия распространяла свое международное значение и влияние. – Тем не менее, я не унываю; ибо то, что у нас теперь величают “национальной политикою”, и что я, с Вашего позволения, называю “политикою замороженного г . . . на”, держится только зловредным триумвиратом из лжецерковника П.<обедоносцева К.П.>, лже-государственного человека Т.<олстого Д.А.> и лжепророка К.<аткова М.Н.>, который, т.е. триумвират, несмотря на недавнее увенчание последнего из них оффициальными лаврами, видимо, дряхлеет и близится к концу» [14, с. 29–30].

Взаимопонимание неизбежно влекло за собою единение и сотрудничество.

[1] За комментируемым письмом последовали публикации [39, 40].

Литература

1. Литература и религиозно-философская мысль конца XIX – первой трети XX века: К 165-летию Вл. Соловьева / отв. ред. и сост. выпуска: Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2018.
2. *Соловьев Вл.* Несколько личных воспоминаний о Каткове // Кавказ. Тифлис, 1897. № 299. 11 ноября; № 300. 12 ноября.

2а. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1885 год. М.: Изд-е С.П. Катковой, 1898.

3. *Соловьев В.С.* Сочинения: в 2 т. Т. 2: Чтения о богочеловечестве; Философская публицистика / сост., подгот. текста и примеч. Н.В. Котрелева и Е.Б. Рашковского. М.: Правда, 1989.
4. *Соловьев В.С.* Франциск Рачкий: 1/13 февраля 1894 г. // Вестник Европы. СПб., 1894. Март. С. 416–418.
5. [*Соловьев Вл. С.*] Собр. соч. Владимира Сергеевича Соловьева. СПб.: Общественная польза, 1903. Т. VIII: 1897–1900. С. 432–434.
6. [*Соловьев Вл. С.*] Собр. соч. Владимира Сергеевича Соловьева. : в 10 т. 2-е изд. / под ред. и с примеч. С.М. Соловьева и Э.Л. Радлова. СПб.: Просвещение, 1911–1914. Т. IX: 1897–1900. С. 409–411.
7. [*Соловьев Вл. С.*] Письма Владимира Сергеевича Соловьева: в 3 т. / под ред. Э.Л. Радлова. СПб., 1908–1911. Т. I. С. 164–179.
8. *Strémooukhoff D.* Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique. Paris, 1935. P. 301–307.
9. [*Соловьев Вл. С.*] Собр. соч. Владимира Сергеевича Соловьева: в 14 т. Фототип. изд-е. Брюссель: Жизнь с Богом, 1966–1970. Т. 11. С. 372–379.
10. *Соловьев В.С.* Из “Vita nuova” Данте (Все в мыслях у меня мгновенно замирает...) // Вестник Европы. СПб., 1886. Июнь.
11. [*Соловьев В.С.*] Письма Владимира Соловьева к брату Михаилу / сообщил С.М. Соловьев // Богословский вестник. 1915. Сентябрь.

12. С*оловьев Вл. С.* Письма / под ред. Э.Л. Радлова. СПб.: Время, 1923.

13. [*Соловьев Вл. С.*] Письма Владимира Сергеевича Соловьева: в 3 т. / под ред. Э.Л. Радлова. СПб., 1908–1911. Т. III. С. 113.

14. *Соловьев Вл. С.* Письма / под ред. Э.Л. Радлова. СПб.: Время, 1923.

15. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1886 год. М.: Изд-е С.П. Катковой, 1898.

16. *Катков М.Н.* Передовая статья // Московские ведомости. 1886. № 197. 19 июля.

17. *Катков М.Н.* Передовая статья // Московские ведомости. 1886. № 21. 2 августа.

18. С*оловьев В.С.* Письма А.А. Кирееву / сост., публ. и коммент. Александра Носова // Символ. Париж, 1992. № 27.

19. [*Соловьев Вл.С.*] *П. Б. Д.* Государственная философия в программе Министерства Народного Просвещения // Русь. М., 1885. № 11. 14 сентября.

20. Богословский вестник. 1915. Сентябрь.

21 [*Соловьев Вл.С.*] *П. Б. Д.* Как пробудить наши церковные силы? Открытое письмо к С.А. Рачинскому // Русь. М., 1885. № 16. 19 октября.

22. Русский вестник. 1884. Ноябрь.

23. Русский вестник. 1885. Февраль.

24. Русский вестник. 1885. Июнь.

25. *Стасюлевич М.М.* Письмо Вл.С. Соловьеву // РГАЛИ. Ф. 446.2.59. Л. 1.

26. [*Соловьев Вл. С.*] Письма Владимира Сергеевича Соловьева: в 3 т. / под ред. Э.Л. Радлова. СПб., 1908–1911. Т. II. С. 195.

27. Поэзия славян: Сборник лучших поэтических произведений славянских народов // под ред. Ник. Вас. Гербеля. СПб., 1871.

28. Новое время. СПб., 1886. № 3582. 16 февраля.

29. Новое время. 1886. № 3601. 9 марта.

30. Новое время. 1886. № 3608. 16 марта.

31. *Соловьев Вл.С.* Письма В.П. Буренину // ИРЛИ. Ф. 36.2.437.

32. *Соловьев Вл.С.* Стихотворения и шуточные пьесы / вступ. ст., сост. и примеч. З.Г. Минц. Л. : Сов. писатель, 1974.

33. *Соловьев Вл.С.* Из Загреба: Письмо первое // Новое время. 1886. № 3738. 27 июля.

34. *Соловьев В.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. М.: Наука, 2000–2001. Соч.: в 15 т. Т. 2: 1875–1877 / отв. ред. А.А. Носов; сост. А.П. Козырев, Н.В. Котрелев; пер. с фр. А.П. Козырева. М., 2001.

35. Вестник Европы. 1886. Март. С. 114–115.

36. Вестник Европы. 1886. Июнь. С. 748.

37. Вестник Европы. 1886. Июль. С. 372.

38. Вестник Европы. 1886. Август. С. 613–617.

39. Вестник Европы. 1886. Октябрь. С. 549.

40. Вестник Европы. 1886. Ноябрь. С. 269.

41. *Стасюлевич М.М.* Письмо Вл.С. Соловьеву от 2/14 сентября 1886 года // РГАЛИ. Ф. 446.2.5.

Аннотация. Впервые печатаются два письма русского философа Вл. Соловьева – к М.Н. Каткову и М.М. Стасюлевичу, ведущим представителям, соответственно, национально-консервативного и либерального лагерей в русском обществе 1880-х годов. Письма были написаны и посланы одновременно в конце лета 1886 года и знаменовали переход Вл. Соловьева в лагерь либеральной публицистики.

Ключевые слова: Вл.С. Соловьев, М.Н. Катков, М.М. Стасюлевич, русская журналистика XIX века.

Nikolai V. Kotrelev, Senior Researcher, Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences; Russian Culture Historian; Expert, History of Italian Literature. E-mail: kotrelev-n-v@yandex.ru

From the Unpublished Works of Vladimir Solovyov: Letter to M.N. Katkov dd. July 20, 1886; Letter to M.M. Stasyulevich dd. September 2/14, 1886.

Abstract. The author offers here the first publication of the two letters of Russian philosopher V. Solovyov - the letters to M.N. Katkov and M.M. Stasyulevich, who were, correspondingly, the major representatives of the national-conservative and liberal camps of the Russian society in 1880-ies. The letters were written and sent concurrently in the summer of 1886 and signified V. Solovyov's transition into the camp of liberal publicism.

Keywords: V.S. Solovyov, M.N. Katkov, M.M. Stasyulevich, Russian Journalism of the 19th century.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-421-426

Антон Чемакин

Малоизвестная статья П.Б. Струве об истории русской журналистики

Русский экономист, философ, историк, общественный и политический деятель, один из виднейших интеллектуалов начала XX века Петр Бернгардович Струве (1870–1944) оставил богатое публицистическое наследие, к сожалению, разбросанное по множеству периодических изданий. Значительная часть его работ эмигрантского периода опубликована в 2004 году в сборнике «Дневник политика» [6], но многие статьи до сих пор не знакомы широкой публике. Одной из таких редких и малоизвестных статей Струве является его публикация, посвященная истории русского журнала и русской газеты, напечатанная в 1935 году в белградской газете «Россия».

После переезда в Югославию Струве 23 декабря 1928 года вступил в белградский Союз русских писателей и журналистов в Югославии и с 8 июля 1930 года по 9 июня 1931 года был председателем данного Союза [3, с. 51, 55]. Еще в 1926–1927 годах Союз издавал еженедельную газету «Россия», закрывшуюся из-за недостатка средств. Несмотря на это, Союз сохранил права на газету и издавал время от времени специальные выпуски. Одним из таких выпусков стал специальный номер «России» (№ 33 от 3 ноября 1935 года), посвященный десятилетнему юбилею Союза русских писателей и журналистов в Югославии. Кроме статьи Струве, в номере были напечатаны материалы А.И. Ксюнина, И.Л. Солоневича, И.В. Гессена, А.А. Аргунова, В.И. Немировича-Данченко, В.В. Шульгина, А.В. Амфитеатрова, Б.А. Суворина, Н.З. Рыбинского. Все материалы так или иначе были посвящены проблемам свободы слова, прессы, журналистского труда. Струве предоставил для юбилейного номера краткий очерк, посвященный истории русского «толстого» журнала и русской газеты [7]. В редакционной статье была дана следующая характеристика этому материалу: «Сжат, насыщен точными хронологическими справками и, тем не менее, крайне рельефен исторический очерк П.Б. Струве. Живая энциклопедия разнообразнейших знаний, маститый академик и на этот раз оказался на высоте своей памяти и эрудиции» [4]. В.В. Шульгин много лет спустя вспоминал про своего приятеля Петра Бернгардовича: «Про него сохранился анекдот, что он переезжал из одной столицы Европы в другую по мере того, как прочитывал все книги, существовавшие в данной стране. Так как он помнил все проглоченные книги с совершенной ясностью, то его называли ходячая библиотека. Вот это была голова!» [8]. Обе приведенные характеристики как нельзя лучше отражают особенности публицистического стиля Струве.

Единственное упоминание об этой статье можно найти в библиографии работ П.Б. Струве, составленной Р. Пайпсом [5, с. 668]. В соответствующий том собрания сочинений Струве, подготовленного тем же Пайпсом [10], она не вошла. В библиографии, составленной О.А. Жуковой, факт сотрудничества Струве в белградской «России» вообще

Чемакин Антон Александрович, кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: a.chemakin@spbu.ru

обойден вниманием [1, с. 305–306]. В сборниках работ Струве данная статья тоже никогда не воспроизводилась. Таким образом, хотя и нельзя сказать, что совершенно никто не знал о ней, в научный оборот она де-факто так введена и не была. Специальные выпуски белградской «России» относятся к достаточно редким изданиям Русского зарубежья, № 33 в российских библиотеках вообще отсутствует[1]. Вероятно, сохранилось всего два экземпляра данного номера. Один из них хранится в Славянской библиотеке в Праге (Slovanská knihovna), другой в Библиотеке современной международной документации (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, BDIC) Университета Париж X – Нантер. Текст статьи воспроизводится по второму экземпляру, обнаруженному нами благодаря упоминанию в каталоге Т.А. Осоргиной-Бакуниной [9, p. 250].

Петр Струве

Журнал и газета в русском культурном и политическом развитии

И там я был, и мед я пил.

В России культурное развитие шло в некоторых отношениях особыми путями, в значительной мере отличающимися от развития в других странах.

Однако, это самобытное русское развитие совсем не соответствует ни «чужеземному», ни «самобытному» представлению о нем. Величайшим и самобытнейшим русским писателем явился и, надо думать, останется навсегда Пушкин, писатель из всех русских самый европейский, представляющий к тому же в истории мировых гениев самую причудливую смесь кровей и рас. Рядом с Академией и университетами русская жизнь создала культурную силу, подобной которой, в ее исключительной значительности и в ее своеобразном значении, не знал Запад. Эта сила – русский *толстый журнал* и сложившийся, благодаря этой своеобразной форме, образ в одно и то же время и разносторонне образованного и не только чуткого, но прямо-таки сотканного из нервов и боевого русского журналиста.

Я вовсе не собираюсь писать здесь ни апологии, ни панегирика этому старшему и самому могучему богатырю русской журналистики. За ним есть не только большой актив, но и большой пассив. Но русский толстый журнал с его носителем и выразителем, – журналистом, распространяющим знания, проповедующим «гражданские» начала, притязающим быть идейным вдохновителем и практическим руководителем читателей, есть во всяком случае огромное явление русской культурной истории, объективно едва ли не самое крупное создание русской интеллигенции, как таковой. Оно ей, этой интеллигенции, должно быть всецело приписано и, так сказать, вменено.

Духовными предками этой русской журналистики были Николай Иванович *Новиков* (1744–1818) и Николай Михайлович *Карамзин* (1766–1826). В изумительной культурно-просветительной деятельности Новикова журнализм сам по себе отнюдь не может быть поставлен на первое место. Но Новиков все-таки первый явил в своем лице ту своеобразную духовную стихию, из которой родился русский толстый журнал. Это – стихия энциклопедического и в то же время этически вдохновленного и граждански устремленного журнализма. Эту стихию Карамзин первый воплотил в своих двух журналах. Они носили характерные названия, которые оба указуют на всю сложность заданий русского журнала,

[1] По всей видимости, именно поэтому В.Б. Кудрявцев, автор фундаментального справочника периодических изданий русской эмиграции, не смог освидетельствовать это издание de visu, в итоге сотрудничество П.Б. Струве в «России» в данной энциклопедии отражено не было [2, с. 672].

тогда еще не ставшего «толстым»: «Московский Журнал» и «Вестник Европы». Карамзин в одном лице был и литератор и гражданин, беллетрист и публицист, и именно это сочетание определило собой и содержание, и судьбу русского толстого журнала.

Дальнейший шаг сделал *Николай Алексеевич Полевой* (1796–1846) со своим «*Московским Телеграфом*» (1825–1834). Полевой создал первый настоящий русский журнал, причем он первый внес в это дело ту предпринимательскую (в широчайшем смысле слова) хватку, которая уже стала необходима в журнальном деле. Дух современности давал себя знать уже в самом названии журнала. Эта особенность вовсе не мешала журналу Полевого давать подбор не только занимательного и образовательного, но даже философского, будящего и пленяющего мысль, чтения. Энциклопедизм и умственность обрели в талантливом сибирском купеческом сыне, первый – яркого выразителя, второй – умелого пособника. Полевой нашел журнальный рынок и с необыкновенным умением завоевал его. Так создан был русский журнал, где рядом с самим издателем и с такими учеными сотрудниками, как П.И. Кеппен (впоследствии академик), М.А. Максимович (первый ректор Киевского Университета) выступали А.С. Пушкин и кн. П.А. Вяземский. Журнал Полевого потерпел цензурное крушение, и тогда центр русского журнализма, его дух и его «нерв» из Москвы переместились в С.-Петербург.

В том же 1834 году возникла в сев<ерной> столице «*Библиотека для чтения*», основанная профессором-ориентелистом, поляком Осипом Ивановичем *Сенковским* (1808–1858). Сенковский вовсе не был просто предпринимателем-издателем. Еще менее он был педантом-ученым. Сенковский был, рядом с не получившим никакого систематического образования помещиком-мыслителем А.С. Хомяковым, в ту эпоху самым образованным в России человеком. Самовластный редактор (всякий редактор должен быть немного деспотом!), он имел, подобно Полевому, *предпринимательскую хватку* и огромную *редакторскую работоспособность*. В лице «Библиотеки для чтения» русский журнализм завоевал окончательно провинцию, приохотил и приучил ее к чтению, став для нее своего рода вольным университетом.

В лице *А.А. Краевского* (литератора, цензора, педагога и городского деятеля) предпринимательская хватка вступает в союз с «направлением», и этот союз окончательно создает тот тип русского толстого журнала, в котором энциклопедизм и занимательность неразрывно сочетаются с «направленством». Этот этап русской журналистики объективно воплощается в «Отечественных Записках», субъективно – в фигуре «неистового Виссариона» (В. Григорьевича *Белинского*) и его ловкого и холодного предпринимателя-редактора, почти эксплуататора, Андрея Александровича Краевского. По части энциклопедизма материал поставляла растущая и усложняющаяся русская наука, по части занимательности, кроме переводов, все более и более обильную количественно и в среднем качественно все совершенствующуюся пищу давала отечественная «беллетристика».

Гению Пушкина не удалось создать журнал: великому поэту были чужды и предпринимательская хватка, и «направленство», т.е. прикрепленность к направлению, или секте. Славянофилы имели направление и были сектой, но у них не было никаких деловых способностей. И потому ни Пушкин с Гоголем и кн. Вяземским, ни славянофилы не имели успеха и влияния как журнальные руководители и предприниматели.

Эпоха великих реформ внесла в русскую журналистику, в ту пору окончательно отлившуюся в тип толстого журнала, разнообразие, одно время почти доходившее до пестроты, но ничуть не изменила ни ее типа, ни ее духа. Рядом с радикальными и славянофильскими по направлению журналами появились подлинно либеральные: сперва «Русский Вестник» *М.Н. Каткова* (впоследствии вместе со своим редактором далеко передвинувшийся направо) и «Вестник Европы» *М.М. Стасюлевича*. Самый тип был твердо установлен, и он просуществовал не только до 1905 г., но и удержался после него, хотя именно с

этого революционного года былое значение русского толстого журнала начало уже падать. М.Н. Катков, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Ф.М. Достоевский, Д.И. Писарев, Аполлон Григорьев, Н.Н. Страхов, Н.К. Михайловский, Н.В. Шелгунов, К.К. Арсеньев, Владимир С. Соловьев, – вот те наиболее крупные писательские фигуры, которые выдвинула русская «толстая» журналистика в эпоху царствования Александра II и Александра III. В царствование Николая II основной темой и самым ярким содержанием толстых журналов, непосредственно и в многоразличных отражениях, была борьба между «народниками» и «марксистами», причем было бы совершенно неверно марксизм той эпохи отождествлять с большевизмом и даже с социализмом вообще.

Эпоха реформ создала русскую газету. Русская газета, как технический, политически и общественно индифферентный факт, гораздо старше русского журнала. Но как общественно-политическое явление она более чем на 50 лет моложе русского журнала. И любопытно: первым крупным русским газетным журналистом был не западник и не радикал, а славянофил: *Иван Сергеевич Аксаков* (1823–1861). Это был первый и до сих пор самый крупный русский газетный публицист. Возникновение русской газеты стало возможно только с частичным освобождением печати, закрепленным законом 1865 г., отменившим для некоторой части печати предварительную цензуру и давшим в силу этого возможность народиться «бесцензурной» печати. Однако, и при новых условиях положение газеты (ежедневной и еженедельной), вынужденной немедленно откликаться на «злобы дня», говорить конкретным языком о политических событиях и делах, было гораздо труднее, чем положение ежемесячного толстого журнала. История публицистической деятельности именно Ивана С. Аксакова необычайно отчетливо и ярко иллюстрирует это положение.

Рядом с «легальной» и «внутренней» печатью эпоха реформ вызвала к жизни печать «нелегальную» и «заграничную». Возник в Лондоне «*Колокол*» Герцена, роль и значение которого с 1857 по 1861 г. были весьма велики. Большое писательское дарование *Герцена* (1812–1870) столкнулось с неменьшим чисто публицистическим дарованием *Каткова* (1820–1887). Столкновение и состязание этих двух больших и блестящих дарований есть самый яркий факт истории русской газетной публицистики в 60-х гг., даже несколько затмивший и субъективно человечески и объективно духовно более значительную деятельность Ивана Аксакова, патриотическая страстность и публицистическая энергия которого натыкалась все время на препоны и даже шиканы[1] тогдашней правящей бюрократии.

В 60-тые годы «Московские Ведомости» Каткова стали крупной политической силой; позже получили известное, тоже политическое, значение основанный А.А. Краевским «*Голос*» и «*С.-Петербургские Ведомости*» Валентина Феодоровича *Корша*. Валентин Корш (1828–1883) поставил «СПБ Ведомости» (1863–1874) на большую высоту и вывел на широкий литературный путь двух весьма даровитых литераторов – Алексея Сергеевича *Суворина* и Виктора Петровича Буренина. И «Московские Ведомости» Каткова – своим влиянием в эпоху Польского восстания, и «С.-Петербургские Ведомости» Корша и «Голос» Краевского и Бильбасова – своей судьбой показали, что ежедневная газета стала в России политической силой, возможным фактором государственного влияния. Это значение газеты обнаружилось и на успехе «Нового Времени», связанном с движением в пользу освобождения славян и с победоносною русско-турецкой войною (1877–1878 гг.). А.С. Суворин явил в своем лице сочетание, в России еще невиданное: блещущего остроумием писателя, превосходного стилиста с необычайно умелым предпринимателем – как писатель Суворин был гораздо даровитее, чем Полевой, а как предприниматель он превосходил Краевского и выдумкой и размахом.

[1] *Шикана* (от *фр*. chicaner – мучить из-за раздутых мелочей) – злоупотребление правом.

Эпоха реакции после цареубийства 1-го марта 1881 г. похоронила умеренно-либеральный «Голос» и смела другие газетные предприятия «либерального» направлении, а «Московские Ведомости» и «Новое Время» превратились в органы политически консервативные и близкие к правительству, хотя литературно и независимые.

На не столько тусклом, сколько мрачном фоне первого пятилетия 80-х гг. XIX века особенно ярко блистает, как первоклассная и совершенно независимая публицистическая сила, *Иван Аксаков*. Медленно за эту эпоху вырастают в большую коллективную культурную силу «*Русские Ведомости*» (основаны в 1863 г.). Эта газета, ставшая органом «московских профессоров», своеобразна тем, что по своему культурно-общественному содержанию и значению она была изданием, выполнявшим одновременно функции и ежедневной газеты, и толстого журнала. Это стало в особенности ясно после закрытия в 1884 г. самого влиятельного толстого журнала конца 60-х годов и всего последующего десятилетия – «*Отечественных Записок*» Николая Алексеевича Некрасова, Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина и Николая Константиновича Михайловского. Рядом с «Русскими Ведомостями» в Москве продолжали выходить «Московские Ведомости» Каткова и его литературно и политически мало значительных преемников (значителен на свой лад был только бывший террорист Лев Тихомиров) и основанные несколько позже «Русских Ведомостей» «*Современные Известия*» (1867–1887) самобытного и в то же время глубоко образованного публициста-мыслителя (богослова и философа по образованию) Никиты Петровича *Гилярова-Платонова* (1824–1887). Но этот большой ум и крупный писатель, писавший и об антиминсах, и об онтологии Гегеля, и о расколе, и о социализме, человек, продержавшийся на посту редактора-издателя газеты ровно 20 лет, вовсе не был «газетчиком».

Русская газета в своем внутреннем облике сложилась в значительной мере под влиянием русского толстого журнала, и лишь постепенно – и в конечном итоге не к своей выгоде – она освобождалась от влияния и обаяния своего старшего брата. Освобождение это было естественно: газета по своему основному заданию есть «однодневка», а толстый журнал естественно хочет быть существом более длительным и прочным – в идеале и мечте русского писателя он часто бывал чем-то вроде станции на пути к «вечности». Пушкин (который печатался в «Библиотеке для чтения» Сенковского), Лермонтов (который печатался в «Отечественных Записках» Краевского), Гончаров, Тургенев, Достоевский, Лев Толстой, все они так или иначе прошли через толстый журнал.

Но в культурном и политическом развитии есть своя неумолимая логика: освобождение печати в 1905 г., шаг огромной принципиальной и культурно-общественной важности, шаг, соответствовавший той высокой степени общечеловеческой культуры, которой Россия достигла в начале XX века, имел и свои невыгодные стороны. Свободою печати русский толстый журнал был сведен со своего исторического «престола», на который его возвели Полевой, Вяземский, Надеждин, Сенковский, Белинский, Чернышевский, Катков, Салтыков, Михайловский, Шелгунов, Стасюлевич, Владимир Соловьев. В то же время произошла неизбежная демократизация всей печати, которая внешне чрезвычайно подняла значение и влияние в России ежедневной газеты. Но – сказать правду – за этот внешний и количественный рост газеты было заплачено значительным внутренним оскудением. До высоты Ивана Аксакова, боровшегося за свободу печати, русская, освобожденная от уз цензуры, ежедневная печать уже никогда не подымалась, точно так же как влияния Чернышевского и даже Шелгунова (эпохи Лавровско-Гольцевской «Русской Мысли») ни один наш толстый журнал, выходивший не только без всякой цензуры, но и без всякой оглядки на цензуру, никогда уже не достигал. Все это было психологически и социологически неизбежно и в сущности имело в прошлой истории русской периодической печати свои недвусмысленные предзнаменования. Не только самый гениальный, но и самый умный русский

человек, Пушкин, как журналист, в сущности был неудачником: своим невниманием он утопил погодинский «Московский Вестник», а как основатель и редактор «Современника» он не умел, да и не хотел, «потрафлять» публике. Такой глубокий и оригинальный философ культуры, как Феодор Михайлович Достоевский, был тоже в роли журналиста неудачником. А – на вершине своей прижизненной славы в качестве художника – он должен был изобрести для себя особую журнальную скорлупу в форме чисто личного органа – «*Дневника Писателя*». Очевидно, редакторский деспотизм М.Н. Каткова не мог допустить на страницах «Русского Вестника», который печатал романы Достоевского, его своеобразной философской публицистики.

Литература

1. *Жукова О.А.* Библиография // Петр Бернгардович Струве / под ред. О.А. Жуковой, В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2012. С. 300–316.
2. *Кудрявцев В.Б.* Периодические и непериодические коллективные издания русского зарубежья: 1918–1941: Журналистика. Литература. Искусство. Гуманитарные науки. Педагогика. Религия. Военная и казачья печать: Опыт расширенного справочника: в 2 ч. М.: Русский путь, 2011. 936 с.
3. На страже России: Десять лет Союза русских писателей и журналистов в Югославии. Белград, 1935. 68 с.
4. От редакции // Россия. 1935. 3 ноября. № 33. С. 1.
5. *Пайпс Р.* Струве: правый либерал, 1905–1944. Т. 2. М.: Московская школа политических исследований, 2001. 680 с.
6. *Струве П.Б.* Дневник политика (1925–1935) / вступ. ст. М.Г. Вандалковской, Н.А. Струве; подгот. текста, коммент., указ. А.Н. Шаханова. М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2004. 872 с.
7. *Струве П.* Журнал и газета в русском культурном и политическом развитии // Россия. 1935. 3 ноября. № 33. С. 1, 4.
8. *Шульгин В.В.* Мука // РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 4. Д. 58. Л. 52.
9. L'émigration russe en Europe. Catalogue collectif des périodiques en langue russe. 1855–1940 / établi par Tatiana Ossorguine-Bakounine. 2e éd. revue et complétée. Paris: Institut d'études slaves, 1990. 355 p.
10. *Struve P.B.* Collected works. Vol. 13. In emigration: Belgrade, 1928–1936 / ed. by Richard Pipes. Ann Arbor, Mich.: University Microfilms, 1970.

Аннотация. Видный русский экономист, философ, историк и политический деятель П.Б. Струве сотрудничал во множестве газет и журналов, но многие из его публицистических работ до сих пор неизвестны даже специалистам. Одной из таких работ является его статья «Журнал и газета в русском культурном и политическом развитии», напечатанная в 1935 году в белградской газете «Россия», органе Союза русских писателей и журналистов в Югославии, и посвященная истории русского «толстого» журнала и русской газеты. По сути, это краткий исторический очерк, написанный в энциклопедическом стиле, в котором перечислены основные русские печатные органы и журналисты XIX века, а также дана оценка их деятельности. Публикатором приводится полный текст данной статьи, а также описываются обстоятельства, при которых она появилась на свет.

Ключевые слова: П.Б. Струве, русская журналистика XIX века, Союз русских писателей и журналистов в Югославии, газета «Россия».

Anton Chemakin, PhD in History, Senior Lecturer, Institute of History, Saint-Petersburg State University. E-mail: a.chemakin@spbu.ru

Little-Known Article by P.B. Struve on History of Russian Journalism

Abstract. The Russian economist, philosopher, historian, public and political figure, P.B. Struve left a rich publicistic heritage, however many his works have not been introduced into scientific circulation yet. One of such works is his article "Journal and newspaper in Russian cultural and political advancement" published in 1935 in the Belgrade newspaper "Russia" and dedicated to the history of the Russian "thick" journal and newspaper. It represents short historical essay listing main Russian journalists of the XIX century and assessing their activities. The publisher presents the full text of this article and also describes circumstances when and where it was written.

Keywords: P.B. Struve, Russian journalism of the XIX century, Union of Russian Writers and Journalists in Yugoslavia, newspaper "Russia".

Самодержавие и Россия: было и прошло?

Раздел восьмой

Заседание Консервативного клуба, состоявшееся в Фонде ИСЭПИ 17 июля 2018 года, в день 100-летия мученической кончины царской семьи

Модератор Л.В. Поляков

Вопросы к обсуждению

1. Генезис и своеобразие русского самодержавия – кто и что повлияло на специфику и особенности русского самодержавия:
– Орда;
– Европа;
– и то, и другое;
– ни то, ни другое, а собственные особенности (наши пространства, культурно-цивилизационный код и т.д.).

2. Роль самодержавия в истории России – двигатель или тормоз развития?
– самодержавие как творческая сила;
– самодержавие как «тормоз» развития – в какой момент это случилось и возможна ли вообще такая постановка вопроса.

3. Русское самодержавие и современность:
– дискурс политики памяти;
– политический псевдоморфоз;
– проекция будущего;
– Россия самодержавная, по сути, страна при любой форме правления.

Ведущий: Всем добрый день!
Коллеги, спасибо, что вы откликнулись на наше приглашение. Мне кажется, что на общем фоне чествований и поминовений, упоминаний всех этих столетий начиная с февраля 1917 года и вплоть до сегодняшнего дня и, вероятно, до будущих каких-то дат, фоне, который можно охарактеризовать как политически мотивированное, наверное, оправданное такое полузабвение, в реальности острота всех этих трагических событий очень велика. Она чревата расколами в обществе, в том числе и по современной повестке. Действительно, любой отскок в сегодняшний день чреват дополнительными расколами в и так непростых очень обстоятельствах. Не буду упоминать все эти реформы, которые вызывают очень много проблем. Скорее всего, мотивация такого приглушенного исторического фона понятна и оправданна, но это не означает, что люди, которым небезразлична и история страны, и, самое главное, ее будущее, а будущее неизбежно вырастает из прошлого, не должны собираться и отмечать такие вот тяжелые, но важные вехи в нашей истории. И, конечно же, расстрел царской семьи – такая дата, такое событие, по поводу которого нельзя было не собраться. Но собраться таким образом, чтобы подумать над не скажу чтобы проклятым, но вопросом, который никуда не уходит: «Самодержавие и Россия: было и прошло?». Действительно, мы озаглавили так. Было и прошло навсегда или все-таки что-то из того, что было, может остаться, существовать и будет иметь смысл в дальнейшем. Маленькое предисловие, а потом мы начнем уже саму дискуссию. Я наблюдал визит Дональда Трампа в Великобританию и его встречу с королевой. При том несколько комическом эпизоде, когда Трамп «потерял» королеву, а она заходила с разных сторон, пытаясь его обойти, – в основном этот эпизод прокручивался везде в масс медиа – мне показалось, что сам институт монархии в Британии (именно в Британии, в отличие от всех остальных монархий европейских, где монархи ездят на велосипедах и так далее) – это нечто весьма показательное и характерное для

страны, в прошлом тоже имевшей богатую имперскую историю и продолжающей так или иначе оставаться что называется в глобальных лидерах XXI века. Монархия не мешает Великобритании, а, напротив, составляет часть вот той самой soft power, которая очень важна в современности и которая в таком дефиците у нас. Мне подумалось, что наше, я бы сказал, радикальное отношение к монархии, которое проявилось в 1917 году, когда буквально за несколько месяцев от великой империи остались рожки да ножки, а сама монархия была волевым жестом Керенского переименована в республику, действительно нуждается в продумывании сто лет спустя. И поэтому мы с Родионом, продумывая вторую встречу в нашем Консервативном клубе, подготовили для вас три вот таких блока. Первый блок – «Генезис и своеобразие русского самодержавия» – вообще, что это такое, откуда взялось, европо-азиатчина это, европейство или то и другое, ни то ни другое, и каковы его особенности. Второй блок – «Роль самодержавия в истории России». Двигала эта институция нашу страну или постоянно тормозила? Как вы знаете, прямо противоположные точки зрения существуют и в исторической литературе, и в философско-исторической, и в публицистике. И последний блок, по поводу которого мы должны сегодня порассуждать, – «Самодержавие и современность», собственно говоря, что это такое, такой дискурс в рамках политики памяти. Если Шпенглера вспоминать, то это политический псевдоморфоз который ни к чему не приведет, или все-таки какая-то возможная проекция будущего.

Еще раз огромное спасибо за ваш отклик и готовность участвовать. Мы можем проделать по опыту нашего первого заседания три круга, предлагая выступить каждому участнику. Регламент пять – семь минут. Если нет возражений…

Итак, по первому блоку «Генезис и своеобразие русского самодержавия», что это такое и откуда. Борис Вадимович, пожалуйста. Как вы себе это представляете?

Б.В. Межуев: Мне кажется, за пять минут очень трудно сказать, как я себе это представляю. Думаю, у этого явления есть два аспекта: один аспект религиозный, который, наверное, за пять минут не расскажешь, это будет профанацией. А есть аспект политологический, который за пять минут рассказать можно. Политологический аспект есть точка зрения – ее, я знаю, разделяет мой хороший знакомый, публицист Александр Кустарев, – и заключается в том, что русское самодержавие носит бонапартистский характер, то есть это харизматический тип правления, основанный в первую очередь на харизме удачливых полководцев, государственных деятелей и военачальников. Причем в первую очередь это была харизма Петра Великого, потому что по большому счету самодержавие в России начинается именно с Петра, с момента прекращения земских соборов, с момента окончательной европеизации России (в этом смысле, я думаю, Европа здесь является центральным фактором) и с того момента, когда харизма фактического основателя империи становится важнейшим фактором политической стабильности в стране. И в дальнейшем трагедия русского самодержавия заключается в том, что всех монархов начинают сравнивать с Петром Великим. Помните, Пушкин пытался у Николая I и Александра I увидеть черты Петра Великого, и так далее. То есть во всех пытаются видеть такого же мощного сильного победителя, якобы победителя, каким был Петр I (он не был таким уж совсем победителем, но именно образ победителя остался в истории), и не обнаруживают этого. Харизма естественным образом рутинизируется, обюрокрачивается, и к началу XX века возникает ситуация, что на троне появляется прямая противоположность Петру Великому в лице Николая II. Любопытным образом у обоих сыновья Алексеи, только мы видим, как по-разному они себя ведут по отношению к своим сыновьям. Петр убивает своего сына Алексея, а Николай II фактически ради него прекращает легитимное развитие династии, отрекаясь из-за него от престола. Один заточил свою жену в

монастырь, и женился неизвестно на ком, а другой был верным семьянином и до конца оставался верен супружескому долгу. И оба хотели возглавлять армию. Петр возглавлял армию, и в общем ему что-то удалось сделать под Полтавой. Николай II пытался повторить подвиг своего великого предка – и совершенно другой результат.

Если смотреть с секулярной точки зрения, то это конечно знак того, что самодержавие может привести страну к великим победам, но необходимым образом завершается катастрофой, потому что харизма рано или поздно завершается и рано или поздно переходит в свою противоположность. С религиозной точки зрения, наверное, здесь можно видеть что-то большее, какое-то, наверное, искупление, что ли. В общем, что-то связанное с самой сущностью христианства в этой истории. Но об этом действительно говорить сложно.

Вот с политической точки зрения, мне кажется, первое – исток самодержавия, безусловно, европейский, его век продемонстрировал, что оно может принести России огромные достижения. Но продемонстрировал и то, что стабильную мощную государственность на таком основании держать невозможно. Рано или поздно это приводит к финалу, рано или поздно люди начинают, так сказать, хотеть Пугачева, так как видят, что на троне находится не победитель, то есть человек, который не приносит победы. И поскольку глубинного монархического содержания у самодержавия не было, то есть мы оказываемся верными монарху просто потому, что он монарх и традиционно имеет легитимность, просто потому, что он сакральная фигура, вот такая сильная, так называемая традиционная легитимность по сути дела отсутствовала, то харизматическая легитимность была сильнее. Другими словами, если он побеждает, то он монарх, а если не побеждает, то уже не монарх, а кто-то еще, самозванец. И тогда самозванец оказывается настоящим монархом, потому что он может победить. Разумеется, такая государственность всегда зависит от случая. Мы что-то подобное видели в бонапартистских режимах XIX века.

Ведущий: Борис, спасибо. Замечательное вступление, как мне кажется. Александр, пожалуйста. Готовы? Хотя это экспромт для вас.

А.Е. Коньков: Мне кажется, когда мы говорим о монархии, о самодержавии, очень важно смотреть не только в прошлое, но и в будущее, и в этом смысле обратить внимание на то, какой статус имеют ушедшие монархии в других государствах, в других странах Европы в первую очередь, и то, какое отношение к династии, к самодержавию есть на сегодняшний день в России. Например, если мы взглянем на Сербию, где Карагеоргиевич имеет свою резиденцию и там проживает, его воспринимают просто как часть нынешнего общества. Недавно нынешний король Румынии Михай, один из немногих известных выдающихся личностей, был награжден орденом Победы. Болгарский король не так давно был премьер-министром. Собственно говоря, недавно прозвучала идея со стороны Романовых о том, что можно было бы выделить какую-то территорию в Крыму, для того чтобы там была их резиденция, и таким образом они бы делали из этого витрину, приглашали туда коллег своих, сородичей в какой-то степени. Мне кажется, это один из пробных камней для дискуссии о том, каким образом можно было бы формировать отношение к самодержавию в современной России, поскольку когда говорят о политике примирения, чаще всего речь идет не столько о Российской Империи, Советском Союзе и новой России, сколько о тенденции 1917 года, то есть примирении между белыми и красными, между февральской и октябрьской революцией, нежели между огромным пластом прошлого России и ее настоящего и советского прошлого. Поэтому мне кажется, это очень интересный момент, каким образом российское настоящее, особенно российское будущее будет воспринимать самодержавие не столько как часть вот этой древней истории, сколько как реальность, имеющую продолжение в современном мире. Безусловно, Россия – это республика, безусловно Россия – это демократическое государство, но в то же

время у нее есть наследие, которое может выражаться в каких-то современных формах. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Действительно, монархия как инструмент легитимности Крыма, да? Хорошая идея. Михаил Витальевич, пожалуйста, ваши пять минут.

М.В. Ремизов: Та антиномия, на которую Борис обратил внимание, между харизматической и традиционной легитимностью, в принципе ведь в природе монархии во многом заложена – и всех европейских монархий, и нашей как таковой. Даже посмотрим цезаризм. Цезаризм – тот же бонапартизм, то есть антиномия, которую вы описали, когда власть должна создаваться и удостоверяться победами, успехами. Но дальше мы видим какое-нибудь строгое легитимистское мышление, которое начинает придумывать себе родословные и в лице Ивана Грозного возводит себя к кесарю, то есть к выскочке, который захватил власть. Вот и весь легитимизм, ему не к чему апеллировать в своем основании, кроме как к цезаризму. Кстати, на мой взгляд, это одна из причин, по которой легитимизм является мышлением, нечестным в своих основаниях. И рутинизация харизмы – это нормальный процесс, это не трагедия. Наоборот, хорошо, если она происходит. Действительно интересно подумать, покрутить, проанализировать, почему (и вы правы, у меня тоже есть такое ощущение) до начала XX века были какие-то элементы харизматической легитимности в монархах. Было хорошее о русской идее интервью с Репниковым, который говорил о том, что Николай II оказался девальвирован потому, что общество ждало харизматической фигуры. Ну, отчасти это можно связать уже с наступавшей «эпохой масс», которая требовала другого типа лидерства, а отчасти, действительно, с петровской традицией и несоответствием этому образу. Но все-таки, мне кажется, генезис самодержавия – это не Петр, а Иван Калита и его наследники, более давняя, понятно, что еще незрелая форма. Тем не менее зерно где-то там, и в этой связи, если комментировать первое слово – «Орда», то есть дискуссия относительно того, было ли создано самодержавие через имитацию ордынских механизмов, – совершенно точно нет. Есть какие-то нюансы отдельные, где эта ориентация была, но в главном, безусловно, нет. Но совершенно точно так же можно сказать, что это было создано и сформировалось как адаптационный механизм к Орде, и решающим рубежом здесь стало то, что монголы стали работать с Русью по принципу «одного окна»: Великий князь Московский стал собирать дань со всех и дальше уже в одном сундуке ее отвозил. Это изменило сделочную позицию Московского великого князя по отношению к удельным князьям и боярам, и в целом постепенно самодержавие формируется через это изменение отношений между государем и окружающей его знатью в пользу государя.

Следующий важный смысловой рубеж связан, наверное, с самоощущением Руси и ее государя в качестве единственного представителя христианского православного мира. И здесь можно отметить, комментируя уже второе слово – «Европа», – то, что если в Европе суверенитет возникал по мере секуляризации власти, а не эмансипации власти государя, который концентрирует в своих руках разные типы ресурсов, налоги, войско и так далее, эмансипации и ухода символического универсума христианского мира от власти папы, от универсума Священной Римской Империи, то в России скорее становление суверенитета связано с некоторой теологизацией власти. Изначально в отношении к христианской вере и великий Тверской князь, и великий Московский князь находятся в абсолютно одинаковой позиции. И тот и другой – православные государи, и тот и другой могут апеллировать к общехристианским принципам понимания власти, но не более того, а по мере осознания себя Русью как последним островом истинной веры важным аспектом восприятия власти становится ее результативная способность в религиозной категории.

Ведущий: Это особенно, Москва – Третий Рим, да, начало XVI века?

М.В. Ремизов: Да, а Новый Иерусалим – то же самое. Там с опозданием возникают концепции, которые это артикулируют, но они артикулируют и ощущение, не только Третий Рим, действительно. Ну, а поскольку я должен откланяться, не буду занимать сильно много времени.

Ведущий: Пожалуйста, по второму и третьему.

М.В. Ремизов: Вопросы серьезные и большие, и было бы интереснее отреагировать на то, что я услышу. Очевидно, что самодержавие имело некую уникальность по сравнению с европейским абсолютизмом, и здесь с точки зрения вообще нашей историографии, нашей политики памяти возникает вопрос о том, должны ли мы идти по пути нормализации восприятия российской истории в европейском контексте или по пути подчеркивания ее исключительности. Есть сторонники и того, и другого пути. Мне кажется, в общем и целом, с точки зрения опять же политики памяти, имеет больший потенциал нормализация русской истории в европейском контексте, то есть поиск параллелей с европейским абсолютизмом и поиск скорее моментов, из-за которых у нас не произошло той же трансформации, что произошла у них. Вот эти моменты можно выяснить, в них найти какую-то уникальность.

Ведущий: То есть тормозящая роль нашего самодержавия, в отличие от этих самых абсолютных монархий Европы…

М.В. Ремизов: Ну, не обязательно. Просто констелляция факторов, из-за которых не произошло той же аналогичной трансформации, либо через буржуазную революцию (победившую буржуазную революцию, удержавшую власть), либо через национализацию и перетолкование монархии. Потому что монархии, которые выжили, это же не те монархии, это монархии республиканские, в рамках которых государь оказался просто представительным лицом, а не помазанником. Что касается современности, я думаю, что любая успешная форма правления (банальность, о которой многие говорят) должна содержать элементы монархические, аристократические, и демократические. И с этой точки зрения, самое слабое звено в нашей политической культуре – среднее, аристократическое, поэтому, по большому счету, монархическую концепцию можно несколько достроить, элементы, прототипы или аналоги монархических институтов современности, как институт президентства, его конфигурации можно достроить, а тут понятно, слабое звено – механизм преемственности, потому что опять же возникает харизматическая ловушка. Она как тогда, так и сейчас есть – та же самая харизматическая ловушка: то есть мы должны выстроить восприятие института уклада государства, института президентства вне контекста харизматической легитимности. Сегодня есть, завтра нет, и если нет, то все, у нас государство кончается, расходимся? И это вопрос преемственности власти. Но самое слабое звено – все-таки это аристократия. Вообще обсуждать монархию без аристократии, наверное, неправильно, но вопрос, что делать с этим феноменом. Наверное, надо как-нибудь обсудить отдельно. Спасибо.

Ведущий: Михаил Витальевич, спасибо большое. Жаль, что вам приходится уходить, потому что тему вы подняли очень важную. Насколько я помню, Борис Николаевич Чичерин, обсуждая проблемы реформы России в середине XIX века, как раз писал о том, что единственная ставка может быть сделана именно на аристократию, на дворянство, потому что это носитель личного достоинства и свободы, единственный гарант того, что не срастется самодержавие с бюрократией и народными массами, которые, по сути дела, все реформы затормозят. Так что действительно это проблема очень важная. А с другой стороны, помните, Карамзин, который постоянно говорил, что он боится вот этого боярского восстания против самодержавия. В общем, интересный сюжет, спасибо большое. Александр Сергеевич, пожалуйста, ваш черед.

А.С. Ципко: Я не занимался этой проблемой, только вспомнил тексты на эту тему и хотел бы их озвучить. Ну, во-первых, Тихомиров, 1902 год, он объясняет, как утрата религиозности и утрата способности к сакрализации мира сказывается на отношении к монарху. Уже тогда он предсказывает в общем то, что произошло: утрата веры в царя. Тихомиров, 1902 год. То есть русская монархия была органично связана со способностью русского человека к сакрализации личности, к способности его к религиозному чувству, она умирает, и, как вы помните, у Деникина: он описывает, как в 1917 году полковую церковь превратили в отхожее место. Вот это умерло. Второе, то, что я сейчас услышал, и мне пришла мысль: этого у Мережковского много. Да, Петр, самодержавие. Но Петр убил глубинные истоки этой легитимности, о чем ты говоришь, внутренней, потому что самодержавие уже олицетворяет другую нацию. А это разделение и появление двух наций: с одной стороны, дворянской, во французской одежде, говорящей на французском языке, и, с другой стороны, эта нищая невежественная Россия, – это два народа, и поэтому в этих условиях нет той органики, которая характерна для Запада. Ну, и третье – наверное, в этой связи вы, конечно, вспомните Трубецкого – наследство Чингисхана, где он объясняет эту особенность. Это действительно нечто навязанное, идущее снизу и под себя подтягивающее людей, поэтому это коренным образом отличается от власти и особенности монаршей власти в Европе, о чем ты говорил. Это действительно уже элемент жесткого всевластия. И кстати, если говорить, понимание власти как всевластия, в этом смысле самодержавие вот в нынешний год абсолютно точно русское классическое сверхвластие, оно вернулось в силу специфики и так далее, и он сам в этом не виновен, просто в этом была потребность. Поэтому я заканчиваю, мне кажется, чисто методологически. Говоря о судьбе русского самодержавия, надо учитывать его качественную специфику, качественное отличие русского самодержавия и способа его легитимности от народов Европы. Поэтому, наверное, там было легко трансформировать, придать какой-то легитимный характер, ввести это в закон. И здесь эти процессы не были невозможны. Могло, но по крайней мере сорвалось. Все, спасибо.

Ведущий: Прости, секундочку, у тебя еще три минуты есть. Все-таки где сорвалось-то, что пошло не так?

А.С. Ципко: Вот эта история, 1905–1906 год, все-таки уже появилась возможность, вся эта полемика между Милюковым и окружением царя по поводу правительства, которое непосредственно уже подчиняется… Ответственное правительство, кстати, до сих пор у нас нет ответственного правительства. Помните, Примаков при Ельцине вдруг заговорил о том, что нужно, чтобы правительство… до сих пор же нет. Вот это был какой-то шанс. Но революция и переход от монархическ монархической русской системы всевластия к советской системе всевластия абсолютной убил и навсегда, по-моему, эту возможность. Я не вижу вообще, как в нынешней России, при нынешних настроениях, возможно, появилось бы какое-то разделение властей, какой-то независимый генеральный прокурор или что-то подобное. И поэтому, мне кажется, погибло это как раз именно, если действительно считать, что все-таки октябрь и 1917 год – случайность, погибло потому, что вместо самодержавия, которое несло в себе какие-то внутренние гуманистические способности к эволюции, саморазрушению, появилось вот это уникальное самодержавие, основанное на коммунистической идее, и все.
Ведущий: Понятно. Я так резюмирую для себя, что в принципе самодержавие было, есть и будет.

А.С. Ципко: Так мы и живем в эпоху абсолютно путинского уникального самодержавия.

Ведущий: По этому пункту нечего переживать.

А.С. Ципко: По этому – нет. Другое дело, все зависит от его ответственности, от его

понимания национальных интересов, от его совести и так далее. Все же от этого зависит.

Ведущий: Понятно, спасибо Саша. Очень важное выступление, будем продолжать. Пожалуйста, у нас следующий Александр Юрьевич, прошу вас.

А.Ю. Полунов: Спасибо большое. Значит, я ограничиваюсь только первым блоком сейчас?

Ведущий: Да, конечно.

А.Ю. Полунов: Мы изучали эпоху происхождения самодержавия. Видимо, я тоже буду вращаться немножечко в рамках таких абстракций, хотя я историк и изучал и изучаю самодержавие в последний период его существования. Но если говорить об эпохе происхождения самодержавия, я считаю и склонен присоединиться к прозвучавшему ранее мнению о том, что Орда здесь, скорее всего, ни при чем. Она если и при чем, то скорее как косвенный фактор, как то обстоятельство, от которого надо было защищаться, как наиболее грозная опасность, но не единственная, поскольку геополитические, природно-климатические условия России – то, что объективно обусловлено, неизбежно, создавали обстановку, в которой, наверное, было предопределено появление такой системы власти. То есть альтернатива была грустная – погибнуть, или сформировать вокруг такую систему власти, или выдвинуть из себя такую систему власти, которая не очень симпатичная, прямо скажем, но, видимо, не было другого выбора: или погибайте, или отправляйтесь в составе вашего населения на торговые рынки Средней Азии, Ближнего Востока, или как орудие защиты создавайте такую систему.

Опять-таки я не специалист, но работы последних лет показывают, что не было никакого заимствования из Орды. Ведь в средние века, когда все кодировалось через религиозные принципы, религиозные тексты, какое заимствование из мусульманского в христианское государство вообще могло быть. Это невозможно. Поэтому сходство какое-то было, но чисто внешнее. Основные несущие конструкции того, что мы называем самодержавием, прежде всего система служилых чинов, так называемого всеобщего закрепощения на службу у государства. Возникает то самое великолепное оружие, с помощью которого самодержавие решало внешнеполитические задачи. Это, конечно, система чисто московская по происхождению, здесь сложно говорить о заимствованиях. Что касается Петра, то это не рождение самодержавия, а трансформация самодержавия в новую систему, абсолютизм, которая была в чем-то с самодержавием сходна, а в чем-то с ним расходилась. Конечно, самодержавие – это идеократическая система, здесь можно много рассуждать, каким образом это произошло, скорее всего, это как-то придало власти особое измерение.

Кстати, интересно, что специфика периода, переживаемого нами последние тридцать лет, в том, что мы все это время живем с внеидеократической властью. Такого никогда не было. То есть наша власть последние тридцать лет, может, и самодержавная, но она неидеократична, поскольку Борис Николаевич изобретал-изобретал национальную идею, да так ничего и не изобрел, может быть, и слава Богу. Но я с самого начала объявил: я прагматик, никаких национальных идей, технологий, безидеологические эти механизмы, эффективные менеджеры и так далее. Хотя это тоже, можно сказать, утопия, это тоже можно считать идеологией. Но, по большому счету, тридцать лет власти без идеологии – это уникальная для нашей страны ситуация.

И если говорить о харизме, то я поспорил бы, здесь это и так, и не так, потому что система самодержавия классического и абсолютизма, существовавшего в XVIII веке, показывала примеры того, как правитель… Ну, какая там харизма была у Анны Иоанновны? Никакой. Да и у Елизаветы Петровны тоже не очень большая. Победы какие за ними были? Да никаких. Пугачев появился не как реакция на поражение, до Пугачева была победоносная русско-турецкая война, и

вообще с точки зрения военных побед в самодержавии было все неплохо до этого момента, а с Екатерины вообще стало все очень хорошо и прекрасно. Поэтому я бы не уподоблял… Бонапартизм, я согласен с классическим ленинским определением – это баланс, постоянное балансирование между разными силами. Самодержавие по природе, в том числе абсолютизм, все-таки другое, здесь структурные были основы, когда действительно не очень яркий правитель сохранял свою самодержавную власть потому, что механизм так складывался, и эта власть сохранялась. Поэтому данный вопрос является дискуссионным, и на эту тему, я думаю, стоит поговорить, и подумать об этом.

Ведущий: Спасибо, Александр Юрьевич.

А.С. Ципко: Наверное, действительно понятие возникает в совершенно других условиях, когда на самом деле исчезает вообще самодержавие как таковое. Оно совершенно из другой сферы.

Ведущий: В общем да, скорее всего. То, о чем говорили: когда нет традиционной легитимности, приходится ее замещать случайной харизматикой одного-единственного человека, которая потом рутинизируется, и в целом дискредитируется сам институт.

А.С. Ципко: Да, совершенно верно.

Ведущий: Максим Михайлович, пожалуйста, ваши пять минут.

М.М. Шевченко: Спасибо, Леонид Владимирович. Значит, я правильно понял: первый блок, второго и третьего пока не касаемся. Касательно методологии анализа русского самодержавия как феномена здесь уже веберовские идеи высказывались – три вида господства: харизматическое, легальное, и традиционное. Я бы напомнил еще один хороший методологический источник – это концепция монархического и республиканского правосознания Ивана Ильина. На мой взгляд, самый глубокий документ, самый глубокий материал для использования в аналитических целях.

Теперь что касается истории. На мой взгляд, я бы подчеркнул эндемичность происхождения русского самодержавия и самодержавной монархии. Прежде всего хорошо известно все, что касается природно-географического фактора, есть хороший афоризм британского историка современного: «В России климат и география берут налог с любого вида деятельности». Это верно по настоящее время и, судя по всему, будет верно всегда. Второй фактор – это открытость пространства, отсутствие у России на всех этапах ее развития ярко выраженных естественных границ, разреженность населения. В совокупности с первым фактором это и создает условия на протяжении веков. Когда Европа попадает в более благоприятные исторические условия, находясь в более благоприятном климате, пространстве, естественном расчленении, удобных морских путях, континентальная Русь, а затем Россия постепенно остается при всем этом ущербе, и любая серьезная военная угроза требует, в отличие от Запада, максимального сосредоточения всех сил. Это достигается путем единовластия, другого выхода нет. И в России самодержавие одновременно имеет два смысла (об этом уже говорили) – суверенитет и единовластие. Эти вещи неразделимы и сливаются в одно правосознание. Таким образом Россия развивается на протяжении веков.

Теперь что касается харизматики и традиции. Я бы подчеркнул, что все-таки в XIX веке русская монархия остается традиционной. Лишенный харизмы Николай II – это совершенно традиционный образ, он ведет себя традиционно, он спокоен, он фаталистичен традиционно, понимаете. Я занимаюсь николаевской эпохой, изучал материалы и был в свое время поражен. Русские монархи проигрывали много войн. Известно, что в Тильзите Наполеон говорил Александру: «Это вы можете проиграть войну, явиться в Петербург, и ничего с вами не случится, а я потеряю Францию, если явлюсь перед французской нацией проигравшим». Вот вам два сравнения, вот харизматик и представитель

традиции, и все. Николай I проиграл войну, которая нанесла очень тяжелую рану русскому национальному самосознанию. Но я столкнулся с материалом, что оппозиция Николая внутри России, критика его – это кружки профессорско-преподавательские, немножко литераторов, профессоров, а огромная Россия хоронит Николая как великого императора. Это факт, это материал, который у нас остался с боку припеку, литература традиционно на нем не акцентирует, но я его видел, знаю и берусь это утверждать. Вот этот фактор.

И наконец, еще один момент очень важный: исторически все неблагоприятные условия развития создавали еще одну важную особенность в России, – ее отмечали историки, в частности наиболее интересные – компаративизм западный, – это слабость в России аристократического начала. Русская земельная аристократия в большей степени легче, сильнее зависит от самодержавия, и в таких условиях, при такой географии, быстро расширяющемся пространстве и угрозах ею гораздо легче манипулировать. И русские монархи после Петра Великого, когда они вводят туда остзейцев, финляндцев, создают себе такие возможности для маневра, что русский монарх продолжает обладать властью намного большей, чем любой представитель западноевропейского абсолютизма, – и в прошлом, и в тогдашней современности. Это безусловно.

Зачем – это видно, на пальцах можно посчитать. Зачем нужны бароны, допустим, зачем нужно шведское дворянство? Совершенно ясно – это конкурентная среда. Недавно мне довелось слышать доклад, посвященный происхождению, примерному анализу русской аристократической элиты конца XVIII века – это богатейшие люди, самые чиновные, заслуженные, орденоносцы, кавалерственные и так далее. И вот посмотреть список – это на 85–90% московский «служилый» список XV века. Что все это значит? Что Петр Великий не проводил ничего – ничего похожего на социальную революцию в его действиях не было. Да, он в два раза увеличил дворянство. Это был средний слой дворянства. Пропорционально росту численности населения в империи – так и продолжается в XVIII веке. Фактически Петр Великий с помощью новых людей простимулировал традиционную аристократию. Она великолепно служила весь XVIII век.

Внутри этого нерасчлененного монархического господствующего правосознания, длительное время, пока оно раскрывается рационалистическими направлениями под влиянием идей Просвещения, и несмотря ни на что, у нас даже в современных условиях все это присутствует, я к этому во втором-третьем блоке вернусь… Но тогда, безусловно, серьезные предпосылки для развития личной автономии, корпоративной автономии внутри нашего государственного устройства, традиционной России, минимальные и очень слабо развиваются. На это есть глубокие объективные исторические причины, которые действуют весь XIX век и начало XX века. Спасибо!

Ведущий: Спасибо, Максим Михайлович! Очень важное дополнение к картине. Очень важное, и очень точный анализ. Что на самом деле сделал Петр? Потому что идея о том, что Петр расколол страну пополам, была в свое время блестяще аранжирована Герценом, – помните, когда он писал, что Петр расколол Россию. В общем, там две цивилизации – очень узкий круг дворянства, который ориентировался на Запад, и вся остальная крестьянская Россия, которая вообще ничего не понимала. Этот тезис, мне кажется, до сих очень серьезный мандат, и это не только на популярном уровне, но и в научной среде тоже присутствует.

Дмитрий Александрович Юрьев, пожалуйста, пять минут ваши. По первому блоку, если возможно.

Д.А. Юрьев: Я задумался прежде всего вот о чем. Тут, по-моему, сегодня прозвучало – мы как раз с Виктором перемолвились на эту тему – про самодержавие и абсолютизм, про абсолютизм и республику. Виктор сказал: «Да, у нас не республика, а демократия».

На самом деле, я хочу начать с темы «Демократичность и самодержавие» и с того, все-таки Орда это, Европа или то и другое. Конечно, не то и не другое, а все с точностью до того, что означает одно и то же слово. По-латыни оно значит «республика», а по-гречески – «демократия». Собственно, конечно – это мое ощущение, не историческое даже, а скорее эмоциональное, внутреннее – это ощущение русского самодержавия как вытекающего из византийского мировосприятия. Я говорю сейчас именно о духовной природе. Опять же трижды осмеянная и всеми презираемая формула графа Уварова на самом деле, с моей точки зрения, выражает главную суть самодержавия как систему власти в христианской стране, которой была Русь, систему власти, в которой народность режима обеспечивается через православие. Царь, ничем не сдерживаемый, не подчиняющийся парламентам своих буржуа и феодалов, неограниченный в принятии решений, ограничен Богом и сам это признает. Даже такой совершенно экстраординарный персонаж, как Иван Грозный, признает свою богоограниченность. И в этом смысле русский царь, русский самодержец ограничивает себя и народом тоже, потому что он по евангельскому принципу должен служить народу – малым сим, чтобы послужить Христу.

Мне кажется не случайным и такое чисто звуковое греческое совпадение. Но самодержец, автократор, родствен пантократору. И русские цари воспринимали себя как самодержавно служащие Вседержителя. Что в этом смысле поджидало русское самодержавие, и где оказалась под ударом его демократическая часть, демократическая составляющая и способность к обратной связи, к реализации своей власти? Я сейчас исключаю религиозную составляющую в религиозном смысле и говорю о чистой политике. Что обеспечивало сонаправленность, некую синергию действий самодержца и страны – прежде всего это самоосознание и всего народа, и элиты, как себя и всего вокруг, как подлежащего Божию управлению? Где это начало рушиться?

На самом деле, мы тут говорили очень правильные вещи про Петра и его роль в сломе того, что было, и в продолжении того, что было, но, с моей точки зрения, синодальный период положил конец тому элементу реальной триады, который был всегда. Это произошло не сразу, не мгновенно, но, введя синодальную систему, Петр обеспечил на долгие годы вперед постепенную десакрализацию режима. И в результате этой десакрализации мы в конце концов пришли на предреволюционном этапе (революция 1905 года) к попытке бюрократии сакрализировать саму себя и тем самым полностью превратить эту систему, в чем-то устойчивую и в чем-то учитывающую интересы своих подданных, в систему, закрытую не только для конкретики и реформ, но и для самосохранения. На этом я бы хотел закончить эту часть.

Ведущий: Спасибо, Дмитрий Александрович! Остается еще пара минут. Такой момент – Столыпин в это время выступает как кто, как воплощение всемогущества демократии?

Д.А. Юрьев: Нет. Столыпин… Я бы сказал так. Мне кажется, Столыпин выступает как республиканец, носитель западных ценностей. Как буржуазный республиканец. При этом он не является ни однозначным злом, ни однозначным добром. Это человек, который некую живую линию, живую тенденцию попытался привнести на выморочное поле, которое вокруг себя сеяла российская бюрократия. Он и не прижился на этом поле, потому что в чем-то был чужд почве, извините за такое примитивное словоупотребление.

Ведущий: Понятно, спасибо! Виктор Юрьевич, пожалуйста, пять минут.

В.Ю. Милитарев: Перед ответом на первый вопрос, я считаю, нужно сначала сделать некий перформатив, самоопределиться к вопросу. И потом чуть-чуть расширить постановку первого вопроса. Самоопределиться. Я лично, при рассмотрении истории нашей страны, исхожу из двух базовых

для меня ценностей: социальной справедливости и гражданских свобод, выделяя среди этих гражданских свобод прежде всего свободу высказывания и обсуждения, хотя бы частного. То есть отсутствие этого делало меня оппозиционным советской власти, а отсутствие первого делает меня оппозиционным существующей власти начиная с 1992 года, хотя сейчас этой оппозиционности меньше. Второй перформатив – я по своим взглядам скорее монархист.

То есть я равнодушен к демократии, хотя вовсе не враг ее. Но я по-тихомировски, или, если брать другие фигуры в духе Бориса Никольского или Ивана Солоневича, считаю, что для нашей страны монархия органична, если она отвечает некоторым условиям. Теперь по существу. Дополнение к постановке вопроса. В вопросе мне не хватает «и к каким известным из истории типологическим классам принадлежит наше самодержавие». Поэтому я начну с типологии, а потом перейду к генеалогии.

Я придерживаюсь такой историософии, что большая часть писаной истории человечества – это монархии, за редкими исключениями олигархических плутократических городов-государств, независимых или встроенных в монархии. И два типа монархии. Изначально первый тип монархии – монархия завоевательная. Собственно, в русской историософии, историографии об этом с Хомякова начинается разговор. В конечном счете завоевательная становится сословной. Она основывается на природном неравенстве разных сословий как человеческих типов и, как правило, на слабой вертикальной мобильности.

Второй тип монархии редко возникает как первичная. На Востоке он возникал, как правило, начиная с больших социальных революций – это то, что можно назвать «социально ориентированное самодержавие». Тип этого самодержавия мы можем видеть почти во всей истории Китая. В значительной мере таковые – из близких к нам – это государство Великих Моголов, государство Османов, до того, когда за двести лет до своего конца стало разлагаться, Сефевидов. Но вообще-то такой монархией был и доминат начиная с Диоклетиана, и он продолжал ею быть все время в православной Римской империи, то есть до 453 года.

Земля принадлежит государю, то есть она национализирована. Земля передается в пользование крестьянским общинам, и это значит, что это народная монархия, потому что элементы феодализма, свойственные сословной монархии, в такой монархии сильно ограничены. И это в некотором смысле монархическая демократия. Скажем, в Вавилоне революции происходили под криком «Справедливость!» и обозначали прощение долгов, включая долговое рабство, и национализацию земли, и передел ее поровну между общинами, а в общинах – между надельщиками.

Что имеем мы? Происхождение нашего самодержавия – при том, что я совершенно согласен со всем, что говорили и Александр, и Максим, они единственные, с кем я почти не спорю, – безусловно, самобытно, но образцы, конечно, были. В общем-то, китайская модель через одну до нас доходила, она, конечно, осмыслялась. Разумеется, образцом была православная Римская империя, которая у нас неприлично именуется Византией, что равносильно тому, если нас назвать Москальской империей. Разумеется, и Константинополь, и болгарские образцы вполне осознавались.

Но при этом я поспорю. Насколько и Иоанн III, и Василий, и Иоанн IV вполне сознательно – это мы можем видеть и из литературы, ходившей в их время, – относились к опыту Османов и, выстраивая свою самобытную поместную систему, вполне понимали, что аналогичная система у Османов и Сефевидов делала их монархии гораздо более-менее народными, чем западные монархии. Хотя, заметим в скобках, что поначалу те же самые французские короли двигались в сторону социально ориентированной модели. То, что на Западе потом стали называть «восточный деспотизм», – это понятно, это такой язык ненависти, так же, как «азиатский способ производства».

Однако регулярное государство Петра – это, скорее, контрреволюция и возврат от попыток некоторых полулиберальных

реформ при Алексее Михайловиче к монархии Калитичей, только упакованной в западную форму.
Переход к абсолютизму и завоевательному государству произошел у нас при Екатерине II, когда всеобщее закрепощение превратилось в обычное буржуазное закрепощение на грани рабовладения.
И это конкретное помещичье, буржуазное крепостное право (новое крепостное право) вместе с крайне неудачным освобождением от него при Александре II привело к постепенной потере традиционной легитимности у русского народа, то есть у его крестьянского большинства – извините, у 80%, – а по совершенно другим причинам, которые я считаю крайне негативными, связанными с развитием негативного просвещения, к злобному, тупому и идиотскому антимонархизму либерально-демократической интеллигенции, начиная с 1860-х годов.
Сочетание этих двух факторов – разочарования народа в обуржуазившемся самодержавии и тупой, замечательно изображенной в романах Марка Алданова как феерия идиотизма (потом Поляков повторяет это уже про позднесоветскую и послесоветскую интеллигенцию) и чудовищно идиотской антинациональной пропаганды либералов – привело к позору нашей страны, к февральской катастрофе. Спасибо!

Ведущий: Спасибо! Пожалуйста, Александр Васильевич.

А.В. Буренков: Мне, конечно, было бы удобнее говорить, если бы второй раздел был первым.

Ведущий: А вы сначала про второй, а в следующий раз про первый.

А.В. Буренков: Да. Но я попробую изложить частично свои мысли через первый и придерживаться повестки.
Орда или не Орда? Конечно, Орда повлияла. Нам необходимо от полных абстракций уходить, но все-таки понятие категории философии и истории состоит из историософских абстракций.
Что такое монархия и самодержавие? Это всего лишь одна из форм государственного управления обществом, и все. Не более того. И влияние Орды – Данилевский это очень хорошо показал в ряде других работ – конечно, колоссальное.
Государство не приходит извне. Одни народы имеют дар государственности, а другие не имеют. Или течения времени не хватает проявиться этому дару. Он пишет и доказывает в своей монографии, что это некая великая тайна. И необходимо видеть взращивание, исторический путь народа – как он проходит из этнографического состояния, родоплеменного, отстаивает свою государственность, потом достигается эта фаза и нисходит. Данилевский очень хорошо показал, на многих исторических примерах, по всем культуристическим типам, что просто так народы не освобождаются, только в силу какого-то внешнего толчка очень сильного, или это феодализм внутренний, или внешняя зависимость.
Конечно же, Орда дала такой толчок, дала эту внешнюю зависимость. Но она должна быть достаточно сильной, чтобы народ захотел платить подати центру, и достаточно слабой, чтобы не подавить полностью народное начало, национальную основу данного народа. Поэтому Орда явилась, как Данилевский пишет, тем примером строгого отца, волю которого надо народу выполнять. А Москва благодаря, конечно же, особенности, смекалке, дарованию московских князей играла роль доброй матери – он очень хорошо это описал, – которая требовала исполнения роли отца: «платите подати», то есть собирайтесь в единое централизованное государство. И, конечно же, московские князья этим хорошо воспользовались, просто гениально.
Солоневич в «Народной монархии» показывает, как они сделали ставку на низинных людей, на простонародье, и со всей Руси, и Киевской (или Руси Киевского периода – правильно говорить), Москва собирала и народы (силу народную), и земли потом. Поэтому, конечно же, это сыграло.
Влияние Европы, как здесь уже звучало – для меня как директора Института русско-славянских исследований имени

Данилевского это очень отрадно, – конечно же, негативное. Петр I совершил контрнародные действия. Период его царствования совпал с тем временем, когда необходимо было заимствовать технические достижения западной цивилизации, потому что отстоять политическую независимость при низком уровне промышленности, одним холодным оружием, невозможно. Уже в то время и пушки, и огнестрельное оружие, и навигация, и так далее.

Поэтому вместо того чтобы брать только технические достижения, а развитие построить на основе мобилизации, как мы сейчас говорим, народа на основе своих традиционных начал, того же крепостного права, которое постепенно развивалось, и Юрьев день уже был, и необходимо было закрепощать, как это и было сделано вначале и при Петре, и дворянство, и крестьянство на крепость государству. Получалась такая форма мобилизации народа, когда и все были крепки государству в лице царя, и всех одновременно можно считать свободными. И на купечество это распространялось.

А вот то, что получилось потом, в результате этой «европейской прививки», когда система западных учреждений была импортирована, быт, одежда и так далее – до сих пор это все пожинаем. Я один пример приведу. У Данилевского есть работа, которую мало кто знает. Ему государство, царь поручил исследовать причины обнищания населения в Архангельской губернии. Он исследовал. И вывод просто чудовищный: крестьянам запрещают рубить лес, добывать смолу, потому что действуют указы еще елизаветинских времен. Поэтому от Европы, конечно же, негативные последствия, как он сказал... Остальное во втором разделе.

Ведущий: Спасибо, Александр Васильевич! Сергей Феликсович, пожалуйста.

С.Ф. Черняховский: Спасибо! Мне больше всего понравилось выступление Бориса Вадимовича, и концептуально я как раз с ним в первую очередь согласен. И точно так же Ремизов – там были определенные моменты – одно дополняло другое. Уже говорилось, что, по существу, мы используем многозначный термин, из-за этого постоянно уходим в разные стороны. В частности, девиз XX века «Долой самодержавие!» не означал «Долой суверенность!», он означал «Долой самовластие!».

Третья увязка – это монархия. Причем сама монархия бьется на три понимания: монархия как единовластие, монархия как наследственное правление и монархия как пожизненное правление. Если все это анализировать, пяти минут не хватит точно. Но я думаю, что в этом отношении самодержавие как суверенность должно быть – это естественность для нормальной страны и, слава Богу, будет и дальше. Самодержавие как самовластие – именно как самовластие – в какие-то эпохи полезно, в какие-то вредно. И, безусловно, для самодержца как для самовластного правителя нужен еще подходящий правитель. Потому что если правитель не самовластный, особенно если наследственная, пожизненная монархия, – способ ротации один. Поэтому, вообще говоря, памятовать казнь семьи Николая – сколько убили Романовых, претендентов, и каким русским императрицам, убившим иногда по два императора, ставят памятники и они до сих пор национальные героини – это норма жизни монарха.

Но если брать некие истоки, на мой взгляд, русское самодержавие, во-первых, воспроизводило, в силу общеисторических закономерных причин нечто вроде римского – классического римского, имперского – самодержавия, если брать этот термин «Римская империя». То есть когда на смену сначала правлению царей, потом правлению знати приходит правление воинских начальников. Потому что первоначально император – это временный командующим конкретным фронтом действий.

Есть такое понятие – «революция Цезаря – Мария». То есть что такое были солдаты Римской империи? Это были свободные крестьяне, которые за свою службу получали наделы. И было противостояние крестьянства и низовых римских граждан к римской знати. И император отождествлял власть низов над властью аристократии.

Понятно, чем это иногда могло закончиться, и в конечном счете он выражал больше волю аристократии, но замысел был такой. В принципе, во-первых, до определенного момента русское самодержавие в этом отношении глубоко демократично. Во всяком случае, на уровне восприятий и верований народа. Во-вторых, это всегда легитимизация через успешного военачальника. И главное назначение русского царя как первого защитника России было одерживать победы и отражать нашествия врагов. Когда это сбивалось, то не всегда тут же вело катастрофе, но, так или иначе, вело к делегитимизации. Причем – Ключевский об этом писал и так далее – русский народ царя любил, но царь должен был иметь какое-то подтверждение, что он царь. Поэтому русский народ всегда очень быстро мог сказать, что «царь-то ненастоящий, подменили». Это было многократно в разных формах.

И еще я хочу в этом отношении обратить внимание на то, что все три правившие летописные русские династии – я не беру сейчас потомков Кия и всю эту, к сожалению, запрещенную Дорюриковую историю нашу, которая была, – они призывались народом. Здесь не было – пришел правитель, хан Аспарух, цивилизовал некую территорию. Здесь, так или иначе, всегда призывал народ. И народ внутри себя всегда ощущал право как призвать, так и отозвать. И проявлялось это тоже очень по-разному. В конечном счете он решил отозвать до конца. Я считаю, что начиная с великих все-таки деяний Петра на Руси… и вообще все эти триста лет романовских было две разные династии. Это была династия Романовых и была династия «Петровичей», скажем так. Было наследование по традиции крови и было наследование по духу Петрову. Примеры не буду приводить, чтобы не отнимать время. Но когда казнят Павла I, он не говорит: «Я прапраправнук Михаила, призванного всенародно», он говорит: «Я правнук Петра Великого, и я не отрекусь». Это для него главное.

И самая удачная императрица на Руси – все-таки Екатерина, убившая двух императоров, имевших кровное родство, не имевшая никаких прав на престол, но по духу продолжившая этот восход.

Но в Римской империи, вообще в империи, какая есть особенность? Здесь всегда все-таки есть ограничитель власти. Этот ограничитель власти – гвардия. Поэтому как в Римской империи, как в Османской (янычары опрокинули котлы), так и здесь, – если гвардия решала, что у государя, кажется, намечается апоплексический удар, никто с этим не спорил, никто не задумывался, был там удар или нет. «Ну, гвардия же сказала. Ей виднее».

И в этом отношении гвардия играла – обратите внимание, и XVIII век, и декабристы, и, между прочим, роль в 1917 году именно гвардейских частей. Хотя там спорят, что запасные части были и так далее. Это было гражданское общество, которое призывало и ограничивало власть самодержца до уровня его служения.

Реплика: Преторианцы.

С.Ф. Черняховский: Преторианцы, да.

Ведущий: Гвардейский экипаж, действительно, в февральские дни повел себя очень странно. Спасибо, Сергей!

С.Ф. Черняховский: Не только. Волынский полк, гвардейский полк.

Ведущий: Павел Вячеславович, ваши пять минут, пожалуйста.

П.В. Святенков: Спасибо большое! Марк Твен, кажется, писал, что надо выступать в середине или в конце любого мероприятия, потому что можно почерпнуть идеи из выступлений предшественников. Я, собственно говоря, намерен так и поступить, потому что на меня действительно большое впечатление произвело выступление Бориса Межуева, Михаила Ремизова и других здесь участвующих. И рефлексия Сергея Феликсовича тоже.

Мне кажется, достаточно продуктивен тезис о том, что русское самодержавие, во всяком случае, после Петра, действительно имело харизматический характер. Но, как говорит наш общий знакомый Константин, эта идея немножко недокручена. Почему?

Действительно, как тут уже отмечалось, многие русские монархи не были харизматиками лично.

То есть совершенно понятно, что «Веселая царица была Елисавет: поет и веселится, порядка только нет», – как Алексей Константинович Толстой писал про Елизавету Петровну. Лично она, конечно, была очень хорошим, приятным человеком. И тот факт, что двадцать лет при ней не было смертной казни, во всяком случае, официально, это, наверное, доказывает. Но она не была харизматическим вождем вроде Мао Цзэдуна, Сталина и Наполеона Бонапарта, это достаточно очевидно.

Поэтому, мне кажется, что харизматическую составляющую на самом деле несла политическая программа русского самодержавия, и эта программа была вполне понятна – это программа европеизации, над которой или, может быть, которая существовала благодаря совмещению с сакральным статусом царской власти. То есть фактически, вместе с реформой Петра, у нас в России восторжествовал модерн, и царская власть, самодержавие выступало неким сакральным гарантом модерна, будучи результатом смешения этого сакрального статуса царя, который, в сущности, принял на себя роль верховного жреца (потому что именно в этот период упраздняется власть патриарха) и одновременно, парадоксальным образом, гаранта модернизации. То есть царь как бы стоял одной ногой в архаике, очень условно архаике – в религии (был упомянут институт религии), а другой ногой – в прогрессе. Та же Екатерина активно общалась с Ломоносовым. Точнее – ее окружение. У нее, скорее, было качественное окружение. Хотя обычно качественное окружение, конечно, многое о правителе говорит, потому что глупый правитель, как правило, не способен подобрать компетентных министров.

Аналогичные процессы, кстати, происходили и во Франции после периода Ришелье. То есть диктатура Ришелье открыла путь к тому, что французский король сосредоточил в своих руках и власть над церковью – так называемое галликанство, когда фактически король назначал епископов и кардинала, была процедура вручения кардинальской шапки, которая только потом утверждалась в Риме римскими папами.

И как и во Франции, так и у нас, происходит очень интересное объединение фигуры монарха и фигуры главы правительства. Во многих европейских странах всегда существовал институт премьер-министра, на которого в случае чего можно было сбросить ответственность. Например, знаменитые австрийские канцлеры – Меттерних, Кауниц и так далее. То есть это люди, которые правили Австрией, зачастую при нескольких монархах. Меттерних, по-моему, при Франце, забыл преемника Франца, потом… Короче говоря, очень часто период правления такого канцлера мог захватывать период правления нескольких монархов.

У нас – наоборот – царь был одновременно главой исполнительной власти и главой правительства, и министры могли к формальному председателю комитета министров, то есть к координирующему органу, даже не обращаться, если имели возможность получить подпись, согласие на какое-то решение у царя.

Поэтому Петровская монархия, Петровское самодержавие работало, пока оно выполняло программу модернизации и программу европеизации России. Те цари, которые отходили от этой программы, исторически у нас признаются неудачными. Например, очевидно, Екатерина I не была никакой харизматической личностью, тем не менее поскольку она жена Петра I и ее выбрало окружение Петра I – это хорошая, правильная царица, хотя она не имела никакого отношения к Романовым, только благодаря браку.

Петр II под большим вопросом, потому что хотя он сын царевича Алексея, он хотел вернуть, будто бы, столицу в Москву и так далее. Претензии.

Анна Иоанновна – непонятно. Скорее, нет (…) неудачная экспедиция в Крым. Модернизация под большим вопросом, хотя, извините, ее фаворит – герцог Бирон, который после смерти императрицы стал регентом при малолетнем Иоанне Антоновиче. Казалось бы, опять-таки, Иоанн Антонович из европейской династии – Брауншвейг-

ской, которая даже не Романовы. Романовы и не признавали Иоанна Антоновича своим. Можно посмотреть на стелу, которая стоит у нас в Александровском саду, – там же нет имени Иоанна Антоновича.

Реплика: Хотя он чистый Романов все-таки.

П.В. Святенков: Но там его нет. Соответственно, мы видим, что Петр III – Гольштейн-Готторпская династия – казалось бы, европейский монарх, но он воспринимался не как европеизатор, как это ни смешно, а как такой самодур. А Екатерина воспринималась как европеизатор, она им и была. Переписка с французскими просветителями, попытки (и даже удачные) бороться с оспой, по-моему. Она же прививки от оспы?.. И так далее, и так далее.
Сбой произошел, видимо, в правление Николая I, когда возник образ отсталого, замшелого самодержавия, которое тянется назад. И этот сбой, фактически развиваясь, привел к краху монархии, к краху самодержавия. То есть в какой-то момент часть общества стала считать, что монархия не выполняет свою роль, что она является не европеизатором, модернизатором, а тормозом. Именно это и вызвало претензии. Живи Николай II веком раньше, скорее всего, он был бы вполне удачливым правителем.
Там, условно, Александр I – опять к вопросу о харизматических фигурах – не был харизматической фигурой в стандартном смысле этого слова. Он не был удачливым полководцем. Как считается, именно он проиграл при Аустерлице, стоя, управляя за спиной Кутузова.

Реплика: Но Париж-то он взял.

П.В. Святенков: Взял. Скажем так, он был выдающимся дипломатом и государственным деятелем, безусловно, но как полководец он был слабым и неоднократно проигрывал, в отличие от Наполеона.

Реплика: Может, он и проигрывал.

П.В. Святенков: Там всего одно или два сражения, в сущности. Правда, очень больших – Лейпцигская битва народов и Ватерлоо. Ватерлоо – чистое поражение Наполеона. Оно чуть ли не единственное чистое поражение.
Соответственно, проблема самодержавия в поздние годы – в годы Александра III и Николая II – заключалась в том, что модернизация замедлилась и тут-то на самодержавие и посыпались все шишки. То есть если бы Николай II стал во главе модернизации, такой американизации России, в том смысле, в котором это подавалось в начале XX века, – в комнату вошел молодой человек в хороших ботинках, и все посмотрели на хорошие ботинки, потому что американцы носят хорошие ботинки. Так вот, я думаю, что никаких бы претензий ни к характеру его не было, ни к образу жизни, ни к семьянин/не семьянин и так далее.
К сожалению, модернизация очень хорошо пошла только в последние годы правления Николая II и очень удачно. Если бы ее удалось продлить, я думаю, Николай II у нас бы воспринимался совершенно иначе. К сожалению, война, которую начал кайзер, видимо, понимая, что эта модернизация, эта волна модернизации может быть успешной, привела к краху монархии. Потому что по ситуации на 1916 год (на конец), когда Николай уже договорился с союзниками, уже прошла (конец 1916 – начало 1917 года), по-моему, Петербургская конференция о переделе послевоенного мира, когда был подписан договор с Японией о разграничении сфер влияния в Китае. То есть был шанс, что Россия одержит победу в Первой мировой войне, обеспечит свои интересы как – конечно, не мировой, на тот момент державы, но евразийской.

Ведущий: Дарданеллы и Босфор – наши.

П.В. Святенков: Дарданеллы и Босфор – там, по-моему, интересы были в Сирии, определенные гарантировались даже на территории Палестины. И мне приходилось читать, надо историков поспрашивать, насколько это достоверно, что ходили слухи о том, что там прообраз

еврейского государства мог возникнуть, под патронатом России. Во всяком случае, были такие планы. Я думаю, дальше планов не пошло.
То есть Россия, если бы она победила в Первой мировой войне, если бы не произошел этот срыв, может быть, она бы вполне удачно продолжила эту модернизацию, и тогда мы имели бы совершенно иной образ Николая II, где все те обвинения в его адрес, которые звучат – отличный семьянин, скромный тихий человек, безвольный, – подавались бы с плюсом. Не безвольный, а дипломатичный; прекрасный семьянин в значении, что верный хороший человек; не блестящие таланты, зато отличный администратор и так далее. То есть практически в любой черте характера можно найти плюсы и минусы. Может быть, мы теперь это все видели бы по-другому. Сорвалась программа модернизации, рухнуло самодержавие – имеем то, что имеем. Но – последний тезис – в сущности, коммунисты повторили тот же прием, который существовал при Петровской монархии. Фигура, в сущности, была сакральная по тем же параметрам, по каким была сакральная фигура императора. То есть программа уже не европеизации, а строительства коммунизма, которая сакрализовалась за счет марксистского учения, которое фактически играло роль псевдорелигии. И причины падения коммунистической власти примерно те же самые – когда в 1970-х годах они схватились за голову, сначала начали приводить религиозные аргументы, что «это не марксизм, это был естественный марксизм». А потом просто махнули рукой и систему казнили.

Ведущий: Спасибо, Павел! Особенно по поводу 1970-х годов, которые я очень хорошо помню. И Александр Сергеевич тоже. Коллеги, я специально не останавливал Павла, он получил свои десять минут, потому что уже фактически начал второй круг, четко обозначив момент…

А.С. Ципко: Я единственное скажу как человек даже старше тебя – с 1941 года – вырос в Одессе. Один только факт. Когда говорят, что погиб СССР, и люди перестали верить в идею социализма, я в своем родном городе, общаясь со всеми, ни разу не встретил человека, убежденного в социализме, верящего в социализм. Меня в техникуме доцент Захарьев учил, не боялся, мне было шестнадцать лет: «Александр, это мертвая система. Без рынка ничего не будет». Это завкафедрой металловедения.

С.Ф. Черняховский: То есть вы хотите сказать, что враги народа были?

А.С. Ципко: Вся Одесса была врагами народа. Это бред – о том, что люди верили в коммунизм, социализм. Вы верите?..

С.Ф. Черняховский: Таких людей было много…

Ведущий: Пожалуйста, Борис!

Б.В. Межуев: Что касается тех конкретных замечаний, которые были сказаны по поводу того, что я говорил. Во-первых, с отсутствующим здесь Михаилом Витальевичем я более чем согласен относительно харизматического истока монархии как таковой, тем более русской. И русской в первую очередь, потому что… Я еще скажу почему. Во-первых, царизм он и есть цесаризм, это вообще просто от одного и того же слова образованные термины, можно даже не вспоминать историю про князей Владимирских, просто вспомнить о титуловании русского монарха.
Дальше конкретно по пунктам. Меня даже как-то удивили исторические возражения. Анна Иоанновна и Елизавета Петровна. Анна Иоанновна – помните оду Ломоносова на взятие Хотина. Все-таки это классическое… где же там какие поражения были? Взятие, разгром Крымского ханства, если я не ошибаюсь, в 1736 году. Елизавета Петровна, конечно, не может похвастаться такими победами, но все-таки Семилетнюю войну она начала выигрывать, и мы действительно разгромили Фридриха.

Реплика: И она ее выиграла.

Б.В. Межуев: Да. И она ее выиграла. Как минимум Елизавета Петровна. То есть как раз обе эти дамы настолько не являются опровержением того, что я сказал, а подтверждением, что даже это было странно. Екатерина Великая, которая, как уже говорилось, убила двух законных монархов, должна была вообще восприниматься как узурпаторша с логической точки зрения, тем не менее ее великая победоносность, в первую очередь в Турции и раздел Польши, безусловно, оправдала ее в глазах русского монархизма на будущее. И критика ее уже пошла с другой точки зрения, когда началась критика вообще всего этого государственного проекта в целом.

Александр I, относительно Тильзита – что Бонапарт не мог проиграть, а Александр мог. Это как сказать. Потому что после Тильзита начался кризис всей внутренней программы, внутренней реформы Сперанского, отставка Сперанского и возникновение консервативной оппозиции. Именно в результате Тильзита эта консервативная оппозиция и появилась, и вообще русский консерватизм появился в результате этого поражения, если вспомнить записку 1811 года Карамзина, в которой явно, по большому счету, в «подкладке» этой записки лежала идея, что Россия при новых либеральных реформах начала проигрывать войны. А самодержавие является палладиумом России, то есть тем самым оселком сохранения государственности, магическим оселком, который и держит государственный порядок.

Наконец Николай I, Крымская война. Я понимаю, что, может быть, великая темная Россия любила этого великого императора, но отрицать тот факт, что все российское общество восприняло крымское поражение как поражение всей системы – это вообще отрицать всю русскую публицистику и литературу середины XIX века, которая вся, в один голос говорила именно это и продолжала говорить до февраля 1917 года. Поэтому я просто даже как-то был удивлен возражениями.

Кстати, начнем с того, что это не является абсолютным фактом. Потому что не все монархические режимы во всех европейских странах носят такую зависимость от фактора победы. Например, если вы бывали, в Вене и помните этот культ императора Франца Иосифа, традиционного монарха, который, по-моему, вообще не выиграл ни одной войны, хотя процарствовал чуть ли не восемьдесят лет – я сейчас точно не помню.

Реплика: 1848–1916.

Б.В. Межуев: В общем, очень долго. Проиграл и Германии, уступил лидерство, и проиграл Франции, и проиграл… в общем, в особенности этим странам. То есть абсолютно не харизматический правитель в этом смысле слова, тем не менее это никак не повлияло на его репутацию, в отличие от того, что мы видим в России.

С чем это связано? Связано это с тем, что в России, к сожалению, важным фактором, и негативным фактором нашей политической культуры является магическое восприятие религиозности. Для нас во многом сакральное – это победоносное, сакральное – то, что несет с собой победу, то, что несет с собой силу победы.

Я когда-то проанализировал военные доктрины советского времени и обнаружил там потрясающий факт, что для советского сознания времен Сталина в первую очередь идея всепобеждающего учения, то есть идея мировоззрения, исповедуя которую (…) называлась доктрина постоянно действующих факторов. То есть существует некий постоянно действующий магический фактор в виде исповедования правильной системы идеологии, разделяя который мы победим несмотря ни на что. Если у нас будет правильное мировоззрение, то даже если мы плохо подготовлены к войне, в любом случае это нас вынесет к победе.

Я честно говорю, это, безусловно, фактор негативный, магического сознания, подмены магического религиозным, который до сих пор является важнейшим фактором российской политической культуры. Мы можем посмотреть сегодня, не хочу просто указывать на очевидные факты, как наши лидеры не хотят ассоциироваться

с поражением. Я не буду недавний пример из футбольной истории, но это у нас очевидный факт, и факт, безусловно, негативный.

Ведущий: На этот счет есть такой термин – победобесие.

Б.В. Межуев: Победобесие. Вообще, слава Богу, появился этот термин. Это очень хорошо. Потому что наконец-то то, о чем я довольно давно говорил, будучи человеком вполне лояльным и уверенным, не желая это превращаться в источник какой-то серьезной критики власти, что уязвимое место нынешнего режима – это постоянная, какая-то наркотическая зависимость от побед, успеха и так далее, проявляющаяся, в частности, в выборе наших потрясающих совершенно сюжетов для кинокартин, когда мы показываем, как мы гениально победили канадцев в хоккейном соревновании, и не показываем, как потом канадцы победили нас в ответном соревновании. Когда показывают фильм про Гагарина, и даже не говорится о финале его жизни и так далее. И так далее. Это поразительно…
Кстати, постсоветский режим в этом смысле действительно прорыв нутра такого, из-под всех этих европейских, петровских надставок, связанных со многими другими факторами, прорыв этого магического сознания. И чем дальше, тем больше.
Я думаю, мы понимаем, что это уже – как во втором вопросе говорится – является не столько двигателем, сколько тормозом развития. Потому что рано или поздно, но возникнут какие-то серьезные проблемы. Конечно, скорее всего, это произойдет в будущем. Я имею в виду, в будущем при каком-то новом, возможно… При необходимости, мягко скажем, рутинизации харизмы нынешнего руководителя государства.

Ведущий: Спасибо вам большое! Дело в том, что ты уже зашел на территорию третьего блока. По сути дела, ты предсказываешь ситуацию, когда самодержавная традиция перерождается из сакральной в магическую, и это то, что нас неизбежно ждет. И институт самодержавия в этом смысле не просто тормоз, а что-то апокалиптическое.

Б.В. Межуев: Я бы так сказал. Можно я единственную вещь добавлю? Я считаю, что с религиозной точки зрения – это очень глубокий вопрос. Не хочу его примитивизировать и уж точно превращать в демократическую пошлость. Потому что проблема последнего монарха – это действительно в какой-то степени русское отношение к Христу. Это действительно, в этом смысле, некоторая еще верность поражению, верность монарху, который просто отрекся, действительно, и был убит, был уничтожен, и все от него отвернулись, и ни один человек не остался с ним, кроме небольшого окружения, которые полегли в этом Ипатьевском доме. Это не в смысле, что я уравниваю фигуры Богочеловека и царя, но то, что в этом проявляется какая-то подлинная русская религиозность, и даже в некоторых сумасшедших заявлениях некоторых странных фигур, в этом что-то есть. Действительно, это и есть религиозное отношение к свергнутому монарху.
Но, с другой стороны, на это накладывается магическая составляющая, которая является тем, с чем мы живем постоянно, с чем сталкиваемся буквально каждый день.

Ведущий: Боря, спасибо большое! Действительно, эта тема смысла большой жертвы, которая перебрасывает нас из столетнего прошлого в настоящее и будущее, причем в таком жестком варианте, что это было не зря, что это как-то символично, что это обращается к нам сегодня, кто мы на самом деле – просто магические язычники или подлинные христиане. В этом смысл трагического конца царской семьи.
Спасибо большое за эту подачу! Александр Сергеевич, пожалуйста. Самодержавие – тормоз или все-таки двигатель русской истории? И в будущем что-то от самодержавия останется или как?

А.С. Ципко: Я не знаю. Я бы очень поддержал мысль, что это победобесие, в котором мы сейчас живем, когда средства массовой информации сосредоточены

только – кстати, этого не было даже в советском периоде – на актуализации каких-то реальных достижений власти, и абсолютно снят фон осмысления, критики, мыслей о последствиях, он действительно абсолютно прав, оно чрезвычайно опасно. Потому что держится на каких-то глубинных чувствах, но все-таки иррационально. А иррациональное может в любую секунду, как бывало в русской истории, работать против власти. Мгновенно. И тогда крах. И как нынешняя элита этого не понимает? Все эти разговоры, что для русского человека доллар ничего не стоит, для нас только наша моральная правда и так далее, и так далее, без учета того, что это очень легко исчерпывается.
Поэтому я абсолютно с этим согласен, но, мне кажется, единственное, с чем я не согласен, – когда мы говорим о важности победы, о харизматичности лидера и так далее, мы переносим механизмы связи между властью и простым народом, характерные для нашего времени, для средств массовой информации совсем на другую страну. Невежественные темные массы, нет ни газет, ничего. Конечно, сам факт победы влияет, но такой связи между действиями царя и настроением людей, в прямой какой-то форме нет ее.
По крайней мере если взять все, что написано в русской литературе о русском человеке, – «Письма» Энгельгардта, Успенского, «Деревня» Бунина, мужики и так далее – Горький перечисляет все эти произведения, которые рассказывают о реальном русском человеке, но там нет этого человека, о котором вы говорите. Там совершенно другой человек.

Ведущий: Саша, а как насчет «Скажи-ка, дядя…»?

А.С. Ципко: Но все равно. Возьмите русского человека у Посошкова – 1724 год – когда он описывает. Это несчастный человек, который боится в лес выходить, грабят на краю деревни, и никто не подойдет спасать эту деревню. Посмотрите Посошкова.
И это к советскому времени. Когда вы говорите о советском человеке, верящем в идеал… Боже мой, миллионы людей – крепостные – чувствуют как крепостные. Вы забыли, я в 1965 году поехал читать в деревню лекцию. Я читал там «Сновидения» Фрейда. Перед этим было собрание, где бригадир собрал колхозниц и обвинял их, что они аморальные. И одна ему кричит: «Я не жинка, я – рабыня! Мы здесь все рабы!» И вы мне рассказываете сказки об этом. И это говорила украинка. Но в России, наверное, так не говорили. А это 1965 год.

П.В. Святенков: А это где было?

А.С. Ципко: Винницкая область. «Мы все рабы!» – она кричала.

Реплика: Так она права была.

А.С. Ципко: А вы говорите о каком-то таком советском человеке... Поэтому методологически очень важно, на мой взгляд, не переносить те механизмы и те социальные механизмы, которые характерны для общества информации, телевидения на совершенно другую Россию. Там другие были механизмы.
Хотя, в целом, другое дело, что есть элита, и есть, действительно, царь. Здесь взаимодействие прямое, и действительно отношения элиты и этой гвардии, которая охраняла, – это важно, да. И это решало судьбу монарха и целой страны.
Трагедия России состоит в том, что этот замученный, необразованный, невежественный народ, эти миллионы людей не были субъектами, только в редких случаях – появились Разин, Пугачев и так далее – они становились субъектами своей национальной истории.

Реплика: И в 1917-м тоже.

Ведущий: Спасибо, Александр Сергеевич! Я думаю, это обращение к тому, что там было на самом деле, – очень правильно сейчас у нас идет.

С.Ф. Черняховский: Только все было не так на самом деле.

Ведущий: Александр Юрьевич и Максим Михайлович как профессиональные историки сейчас оценят ваш заход на эту тему и попробуют нас вернуть на землю. Александр Юрьевич, пожалуйста, как вы думаете, самодержавие все-таки это двигатель или тормоз? И заодно, насчет будущего.

А.Ю. Полунов: Я просто хотел сказать Александру Сергеевичу по поводу того, что «мы все здесь рабы». Зайдите сейчас в любой офис, вам офисные работники тоже, скорее всего, скажут: «Мы все рабы, мы все рабыни!». Так что то, что кричат, и то, что о себе описывают – «мы все несчастные, мы все замученные, мы не субъекты» и так далее…

В.Ю. Милитарев: Это западноукраинские.

А.С. Ципко: Это не Запад, это Винница. Это Подол, конечно, Правобережье.

А.Ю. Полунов: Этим преувеличениям, я думаю, не надо давать слишком много веры. Если все из поколения в поколение были бесправными, как же существовало государство, как оно добивалось успехов, как оно могло отбиваться от врагов? Неужели толпы рабов гнали бичами и так далее?
Я согласен с тем, что военные победы играли очень большую роль для монархов, начиная с Петра, хотя не сказал бы, что они играли очень уж маленькую роль для монархов до Петра. Те тоже воевали.

С.Ф. Черняховский: А это никто не говорил, конечно. Это всегда было.

А.Ю. Полунов: Был тезис Бориса о том, что начиная с Петра появляется самодержавие, начиная с Петра оно держится на харизме, которая, в свою очередь, держится на военных победах. Ломоносов мог писать все, что угодно, – он был придворным баснописцем. При Анне Иоанновне Миних зашел в Крым, массу народа положил, угробил, прямо скажем, трупами закидал – это в данном случае правильно – и ушел. А Крымское ханство как существовало, так и существовало, и набеги благополучно на границы совершало вплоть до Екатерины II.
Хотя я опять-таки повторю, согласен с тем, что харизма и военные победы для монархов играли очень большую роль, но не абсолютную. Этот фактор не надо абсолютизировать. Все-таки не был таким уж харизматическим бонапартистом русский монарх, как был, собственно, Бонапарт во Франции. Это все-таки другое.
Что касается победы, этого словца «победобесие» – я что-то не знаю режимы, которые пропагандировали бы поражение. Любой режим стремится акцентировать внимание на своих победах.

С.Ф. Черняховский: В 1990-х годах акцентировали внимание на поражениях.

А.Ю. Полунов: Когда?

С.Ф. Черняховский: В 1990-х годах.

А.Ю. Полунов: По-моему, и в двадцатых годах – в первое десятилетие большевиков – тоже очень любили копаться в черных пятнах истории. Зачем же мы будем ориентироваться на эти ужасные периоды нашей истории?

С.Ф. Черняховский: Это другой вопрос. Двадцатые достаточно светлые были.

А.Ю. Полунов: Тут проблема, я думаю, не в том, что делается акцент на победе. Любой режим – возьмите массовую идеологию США – она триумфалистская, вся пронизана культом побед, которые в случае США в значительной степени мнимые.

Реплика: Очень милитаризованная.

А.Ю. Полунов: Да, и очень милитаризованная. Другое дело, что тогдашние победы нужно дополнять нынешними. Тогдашние победы, которые мы вспоминаем, нужно дополнять теми, которые есть в теперешней реальности. Не обязательно победами в милитаристском плане, а достижениями. С этим плоховато.

А.С. Ципко: Но у тебя в Штатах есть возможность выступить против войны во Вьетнаме и так далее.

А.Ю. Полунов: Естественно, когда начали приходить гробы – десятками, сотнями, тысячами, – они начали выступать против войны во Вьетнаме.

А.С. Ципко: Но есть.

А.Ю. Полунов: Когда поражение стало очевидным. А когда это можно было интерпретировать, как победу, так упивались победой.
К вопросу: самодержавие – это тормоз или двигатель?
Если бы сейчас я выступил против того, чтобы отменить крепостничество, то меня бы забросали камнями, побили камнями.
Другая ситуация в XIX веке. Про эту ситуацию можно сказать так и сяк. Самодержавие до известной степени, было двигателем, или пыталось становиться двигателем. Вспомним министерства, университеты Александра I, свод законов Николая I, вспомним, конечно, отмену крепостного права – это вообще уникально. Россия – единственная крупная европейская страна, которая провела в XIX веке аграрные преобразования такого масштаба без революции.
Но в XIX веке, тем более в начале XX века, ситуация, конечно, очень усложняется. Получается такой исторический «тяни-толкай» – определенные проблемы решаются, а потом ситуация так усложняется, что самодержавная авторитарная система власти перестает быть эффективной и запутывается в массе противоречий. И опять-таки мы можем вспомнить, что финалы всех царствований XIX – начала XX века, за исключением царствования Александра III, который умер безвременно, а другие царствования – физический срок жизни правителя совпадал с исчерпанием их политического режима. Конец царствования – это кризис, либо внешнеполитический, как Крымская война, либо внутриполитический, как декабристы и 1 марта 1881 года. Александр III умер преждевременно, но если отсчитывать от 1881 года двадцатипятилетний срок, то мы получаем 1904–1905 годы, то есть внешне- и внутриполитический кризис в одном флаконе – Русско-японская война и первая революция. Что было, конечно, свидетельством кризиса того режима, который при Александре III был создан и при Николае II в его первое десятилетие продолжался. Поэтому и так, и сяк в XIX веке, особенно к концу срока царствования, самодержцы начинали запутываться в противоречиях. И с этой точки зрения критика самодержавной системы со стороны либеральной оппозиции была правильной, но проблема, я бы даже сказал – величайшая трагедия – русской истории заключалась в том, что, отобрав у этих плохих, реально не выполнявших свои функции самодержцев власть, оппозиция ее бы удержать не смогла.
Она ее и не смогла удержать и так далее.
Она ее, наконец, перехватила.
То есть власть нужно было отбирать или по крайней мере модифицировать, но ее и нельзя было отбирать, и очень опасно модифицировать.

Ведущий: Тем более во время войны. Александр Юрьевич, все-таки буквально пару слов. Перспектива темы монархии сегодня и в будущей России. Или это уже совершенно отживший дискурс?

Реплика: В третьем вопросе же это будет.

Ведущий: А мы уже, по сути дела, говорим и второй, и третий блок вместе.

А.Ю. Полунов: Напомню еще раз то, о чем я говорил: монархия – это власть идеократическая, монарх – это помазанник Божий. Действительно, здесь можно согласиться в том, что когда вера в монарха как в помазанника, как в сакральную фигуру выветрилась, тогда монархия окончательно пала. А как мы сейчас эту веру возродим? Кстати, соглашусь, что и советская власть… хотя генсек – это совсем не царь, тем более что некоторые советские лидеры вовсе и не были генсеками, как Сталин с 1930-х годов не имел полномочий генсека и такой пост вообще не существовал. И все же советский лидер… ладно, советский лидер – это не царь, но система все равно идеократическая. Но сейчас какая

идеократия? Традиционная религиозная – немыслима, а какую-то новую систему на место идеологии коммунизма мы не выдумали, и я думаю, что вряд ли уже выдумаем.

Ведущий: Спасибо! То есть идея очень простая: до тех пор, пока не будет нового идеологического драйва, про монархический институт можно забыть. Да?

А.Ю. Полунов: Да. Мне кажется, так.

Ведущий: Максим Михайлович, пожалуйста. Вы напоминали нам про Ильина.

М.М. Шевченко: Спасибо, Леонид Владимирович! Я на последнем позволю себе развить идею Александра Юрьевича. Я бы внес одно маленькое-маленькое уточнение. Это не просто идеократическая система, а здесь устойчивость монархии определяется глубиной религиозной основы, а религиозность – это не только идеи, это нечто большее, охватывающее иррациональную и эмоциональную сферу человека, какую-то особую глубину.
Здесь, если просто сделать: давайте возьмем работу Ильина «О монархии и республике» и посмотрим сквозь призму того, что он пишет, на современную Россию. Вы видите, что они похожи. Мы ушли уже на сто лет в другую сторону от того, что писал Ильин.

А.С. Ципко: Абсолютно верно.

М.М. Шевченко: Если когда-нибудь эти предпосылки на горизонте нашей современной истории вдруг начнут мерцать огоньками, мы можем заговорить о том, что, может быть, когда-то где-то. Но, отдавая себе отчет, не впадая в какой-то экстаз и эйфорию, оставаясь на почве гармонии между чувством, рассудком, исследованием, интуицией и проницательностью. Я думаю, надо быть трезвыми, отдавать себе отчет, что дискурс о монархии важен, он будет оставаться у нас как элемент нашего просвещения, элемент воспитания, элемент духовного и интеллектуального развития – это обязательно.
Наше современное политическое устройство, наша история XX века показывает, что в глубине столетий у нас история монархии. И мы не поймем мир, в котором мы живем, – наш с вами отечественный мир, так сказать, русский мир, – если об этом постоянно не будем вспоминать…
…И посмотреть роль поражения в критике Александра, она принципиально звучит эпизодом на фоне общей оппозиции, нарастающей на протяжении всего первого десятилетия его царствования, если мы возьмем консервативный салон великой княгини Екатерины Павловны, куда приходит Карамзин. Давайте возьмем записку Карамзина о древней России. Там какой финал? Он говорит: «Ваше величество, Россия еще очень, у вас еще огромная опора, вы еще, простите, глупостей можете много наделать. И Россия еще это выдержит. Но она будет… – если переводить на современный язык, язык нашего сегодняшнего собрания, – ваша легитимность будет колебаться и иметь тенденцию к ослаблению. Но у вас еще большой ресурс. Другое дело – стоит ли только из-за этого его так глупо тратить».
Я сейчас пытаюсь интерпретировать то, что сказал Карамзин в конце своей записки. Теперь что касается Николая I. Мы смотрим, у нас есть традиция, то меньшинство, называемое Герценом «образованное меньшинство», это был пишущий и говорящий глас общества. У него были профессорские кафедры, они написали мемуары, оставили интеллектуальные школы, породили множество тенденций, отпочковали целые направления в лице интеллигенции после себя. И наша историография смотрит на николаевскую эпоху их глазами.
Но есть огромное большинство России – я брал мемуары простых чиновников, офицеров, только-только людей образованных, но не слишком книжных и пишущих, для которых Николай был великим императором. Он был велик… И они отлично понимали, и даже ошибки царствования готовы были понять, но с их точки зрения, ни его личные качества, ни его заслуги перед Россией не перечеркивались Крымской войной.

Вот это понимание у нас сейчас утрачено, его нет. На мой взгляд – сейчас я над этим работаю, – это отчасти предмет моих исследований.

Теперь что касается перспектив в дальнейшем. Проблема модернизации монархии – ее озвучивали те, кто за нее боролся, в каком-то смысле. И так называемая либеральная бюрократия, братья Милютины, Александр – те, кто развивал идеи инициативной монархии, продолжали в каком-то смысле карамзинский стиль, тот, который он сформулировал: «по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным Царя Русского».

«Для нас, русских, источник прогресса – в самодержавной власти и государе-императоре», – Александр Генрихович Жомини, директор Азиатского департамента. «Я берусь за это, – говорил Николай Милютин, – но только при полном доверии ко мне государя». Право на отставку, право сказать правду в последнюю очередь, эта обязательная, драгоценная автономия, которую Ильин считал основной опорой для возможного сохранения, удержания и даже возрождения монархии.

Другое дело, что сама история, накопленные противоречия реформ – реформы накопили массу изъянов. Они скомпрометировали те концепции, которые развивал Михаил Христофорович Рейтерн в экономическом развитии России. Там были серьезные возражения. О военных реформах Милютина отдельный разговор. Там было очень много серьезных системных ошибок, которые не были изжиты и сыграли огромную роль в крахе, в катастрофе, постигшей императорскую Россию, именно связанные с военными неудачами русской армии. И Русско-японская – это уже после смерти Милютина сказавшиеся. Не изжитые вплоть до мировой войны и тянущиеся ниточкой как раз от реформ 1860–1870-х годов.

Попытка выйти на какой-то уровень, включая консервативную мысль при Александре III, найти формы какого-то национального стиля (…) государственной и общественной жизни, и личного творчества. Это была попытка, имеющая и западноевропейские аналоги в чем-то, и какие-то отечественные особенности. Она оказалась неудачной, ибо не получила преемства и не имела достаточной смычки с интеллигенцией.

Та версия интеллигентного, которое вобрал в себя Александр III и его сын Николай II, – это так называемое консервативное народничество. А народничество – это всегда идеализация народа. В данном случае, идеализация его справа, то есть как носителя христианских добродетелей, народа-богоносца и так далее.

Эти идеи, этот стиль ощущаются в лице и Николая II, и его супруги, и его семьи вплоть до самых последних их дней. Для них это открытие, что тот самый народ-богоносец… В конце концов они с ним столкнутся в 1917–1918 годах. Это и было для них самым большим потрясением и в конце концов очистило христианскую веру от иллюзий этого самого антуража (…).

Харизматические тенденции уступали очень медленно. Если бы они плавно трансформировались, то традиционное господство у нас имело шанс из XIX перейти в XX век и монархия имела бы шанс на модернизацию. Но именно потому, что она осталась в традиции, ее образы остались больше верны традиции, поэтому она уступила место XX веку, эпохе масс, диктатуре партийных лидеров, опирающихся на массовую, тоталитарно организованную партию.

Ведущий: Спасибо, Максим Михайлович! Характерно, ни разу сегодня не упомянута фигура Распутина. Я не к тому, что Дмитрий Александрович нам напомнит, но если вдруг, потому что эта тема подрыва легитимности, оппозиция монархии справа, она ведь была персонифицирована в царской семье именно в фигуре Григория, ставка на которого делалась…

Д.А. Юрьев: Спасибо тебе за этот подброс, потому что я сейчас думал, как начать говорить о главном, что мне в этом всем видится. Очень хороший заход. У нас речь

идет про яркий тормоз общественного развития или наоборот.

Ведущий: И будущее сразу.

Д.А. Юрьев: Да. Слушая всех, я как раз сосредоточился на мысли, что слова «религиозность» и «магия», которые здесь звучали, что на самом деле здесь зарыта та самая собака, здесь лежит ответ на вопрос: тормоз самодержавие или не тормоз?
Первый мой ответ – конечно, не тормоз. Речь идет о системе, о той самой уваровской триаде, в которой разные элементы могут существовать только вместе.
И торможение начинается, когда что-то не так с каким-то из этих элементов.
Теперь про религию и магию. Что такое Распутин, с точки зрения всех этих обсуждений? Распутин – это типичнейший пример глобальной битвы с кусачей закалякой-бякой. Это нарисовывание чудовища с десятью ногами и десятью рогами и превращение этого чудовища в символ всего, с чем ты борешься.
Я говорил, что мы можем теперь издать десять тысяч миллионов томов об истинной роли Распутина, обо всех аспектах его роли, но негры непреклонных годов, выплясывая на сцене, пели: «-Ra- Rasputin, Lover of the Russian queen». Ничего ты с этим не поделаешь. И ничто другое уже не интересует миллионы, десятки миллионов американцев, которые посмотрели мультик «Анастасия». «Кто такой Распутин?» – «Известно, кто – страшный злой волшебник». Причем эта история, магическая мифологизация происходит на наших глазах. Но я о более серьезных вещах – про религию и магию.

Ведущий: Секундочку, а на самом деле Распутин все-таки другой?

Д.А. Юрьев: Как сказать – все другое. Теперь немножечко назад. В чем разница между религией и магией? Религия – я имею в виду христианство. Кстати, в триаде, православие…

Ведущий: Борис объяснил, в чем разница. Магия – это потребительское отношение, а религия – это самопожертвование.

Д.А. Юрьев: Это очень светское восприятие. Я все-таки хочу хотя бы на уровень ветхозаветных заповедей обратить внимание. Там есть вторая заповедь. С моей точки зрения, вся история нашего времени – это история варварского нарушения второй заповеди – несотворения себе кумира.
И о том, что мы начинаем воспринимать в качестве религиозных ценностей ценности совершенно нерелигиозные – злого Распутина или, например, прекрасный Советский Союз, в котором все было замечательно. Это тот миф, который сейчас мы видим, который льется со всех экранов, преимущественно от людей более чем 1975 года рождения и дальше. Но тем не менее Советский Союз, в котором все было так хорошо, производит на меня такое же обескураживающее впечатление, как и слова Александра Сергеевича о том Советском Союзе, в котором все его ненавидели дружно, начиная с крестьян.
Я все-таки могу позволить себе об этом судить, потому что побывал везде – и в интеллигентских московских кругах физтехов, и в Харьковской физико-математической школе, и общался и с интеллигенцией не диссидентской, и с диссидентской, и со всеми. И я знаю, что все было вот так намешано. Была и эта история – «а по-настоящему Ленин имел в виду то-то», было и отторжение на уровне народа, с самого простого, «этих клятых коммунистов», было у умных, тонких, интеллигентных людей абсолютно сакральное отношение к ленинизму и коммунизму. Все это было. Потому что как только мы начинаем мифологизировать что-то, мы тут же превращаем это из мифа в идола и становимся, соответственно, вероотступниками.
Теперь про важнейшее слово, прозвучавшее сегодня, которое, с моей точки зрения, имеет отношение к этой теме. Извините, что я, может быть, сейчас немножко отвлекся, но тем не менее. Это пресловутое победобесие. И сейчас будет выход на тему о том, что же является ярким тормозом общественного развития.
Что такое победобесие? Это термин, запущенный в общественную практику, как я недавно узнал с удивлением, протоиереем

Георгием Митрофановым в его битве, в его, так сказать, великом походе за реабилитацию Власова. Потому что в его, в том числе и разумных исторических рассуждениях, ему было важно уничтожить столь идолопоклонническое отношение к Власову как к абсолютному злу, поэтому он «бесием» объявил победу.
Но, с моей точки зрения, сегодня слово «победобесие» и попытка использовать нами это слово в рационально-позитивном ключе – это все равно как, например, в разговоре о Холокосте или хотя бы просто о еврейских погромах говорить, что евреи на самом деле во многом ошибались и у них есть очень много негативных черт. Потому что сегодня я вижу победобесие очень маленьким, а огромным, тотальным я вижу победобешенство. Это тотальная абсолютно, идеологическая, фанатическая ненависть к победам. Это то, что заставляет каких-то бессмысленных девочек-пиарщиц постить тэг «победобесие» под новостями о радости людей на улице в честь футбола. Победобешенство, с моей точки зрения, сегодня – это та живая, искренняя, хотя абсолютно черная, темная энергетическая реакция со стороны определенного круга людей, к которому я перейду. И это реакция не на те правильные вещи, о которых говорил Борис. Это реакция на саму возможность народной субъектности. Это реакция на саму возможность того, что народ может радоваться по своей собственной инициативе. Чему угодно – хорошей погоде, футболу, победе. Это попытка взять под свое управление эту тему – заставить людей или стыдиться назло себе, или гордиться победами и не обращать внимание на поражения.
Я сейчас говорю о том самом слое, который Восленский в свое время гениально, с моей точки зрения, определил, что в советских социологических справочниках номенклатуры не было, она была внесена вся в одну группу – в интеллигенцию. Две составные части вот этого служивого класса, с советской точки зрения, интеллигенции. Я все-таки очень люблю слово «опричнина» для обозначения этого круга. Это круг опричь, и это два крыла одной и той же едреной матери, к которой хотел все это отправить. Это наша воинствующая либеральная интеллигенция и это наша воинствующая реакционная бюрократия, которая, в конце концов вдвоем только – одно без другого не бывает – гробят нашу страну уже несколько раз на протяжении долгого времени.

Ведущий: Дима, у опричнины был свой царь.

Д.А. Юрьев: Нет, опричнина – это слово, это хороший штамп.

А.С. Ципко: Оно имеет другой смысл.

Реплика: Кромешники.

Д.А. Юрьев: Да. Это кромешники. Нет, слово опричнина – оно такое же, как интеллигенция. Оно несет какие-то коннотации. Мне кажется, слово опричнина – хорошее для этого всего.
Мы видели, как – тут рассказывалось, была очень интересная история про то, как Николай II не смог довести свой грандиозный модернизаторский проект, чуть-чуть бы еще, и ему удалось перетянуть это. Но почему не удалось? Из-за страшных поражений в войне? Нет, эти поражения были пройдены. От чудовищных экономических трудностей и крахов? Нет. С двух сторон хлопало две ладони: одна ладонь запрещала царю вообще слушать какое бы то ни было что-то, настаивала на том, что он и есть фактически Бог, что царская власть – это власть Бога непосредственно, а не дарованная ему. С другой стороны – вот это победобешенство, абсолютно похожее на сегодняшнюю истерику. Только сегодняшняя истерика отличается в том, что она сейчас выходит на международный уровень, и сегодняшняя ненависть к «проклятому Путину» уже совершенно на международном уровне переходит в ненависть к «проклятому Трампу». Но все вместе взятое – это отказ в субъектности кому бы то ни было, кроме опричнины. Отказ Богу в субъектности, в существовании, отказ царю в его праве (ну, царю – самодержцу) осуществлять

свою роль, и отказ народу – он же быдло, он же пролетариат и так далее – в праве на субъектность и в действие по своей собственной воле.
Собственно, с моей точки зрения, крах самодержавия и та страшная угроза, которая сегодня находится перед нами, состоит не собственно в самодержавии, не в авторитарности власти, не в воинственности самой по себе. А она состоит в том, что солипсизм становится главной действующей практической философией государства и образованной общественности.
Про самодержавие сейчас и самодержавие как движущую силу. В русской истории царь – идеальный образ царя – это разделение функций путем совмещения постов, двуглавый орел в одной голове. Царь, с одной стороны, это лидер элиты, это император, это руководитель сената (в римском смысле). С другой стороны – это главный народный трибун.

Реплика: Главный враг элиты.

Д.А. Юрьев: Царь, с одной стороны, как бы представитель народной воли, против элитной, с другой стороны, он – глава элиты, и элита подчиняется ему вот так, и он ее сам формирует.
Это очень сложная для гармонии ситуация. Без религиозности она выдерживать не может. И так или иначе, царь сильный у нас, самодержавие сильное, император сильный, силен только тогда, когда он воспринимается народом как народный трибун, а бюрократия – как абсолютный свой автократор. И рано или поздно он начинает обманывать или тех, или других. Или он во главе народных интересов уничтожает на фиг всех своих верных ленинцев, потом просто строит вторую бюрократию, которая уже уничтожает его самого. Или, наоборот, он, говоря народу, что «я ваш», радостно начинает чморить его и игнорировать, полностью становясь на сторону своей знати. Все.

С.Ф. Черняховский: Я хочу сказать, что это титулы императора, консула, диктатора, понтифика и трибуна.

Д.А. Юрьев: Да-да-да.

Ведущий: Ну что ж, понятно, спасибо. Виктор, второй и третий блок вместе. Тормоз или, наоборот, двигатель прогресса?

В.Ю. Милитарев: Для того чтобы правильно ответить на второй вопрос, мне необходимо различить несколько планов, в каждом из которых ответ на этот вопрос будет разный. Прежде всего это два очевидных плана – геополитический, касающийся страны в целом, и внутреннеполитический, касающийся социально-экономических и связанных с ними нравственных отношений. И то, как оценивать самодержавие, – по тем же критериям, что и Иосифа Виссарионовича Сталина. В первом плане он однозначно позитивную роль сыграл в истории нашей страны. Во втором плане – есть вопрос. Точно так же, исходя из таких же критериев, я хочу рассмотреть наше самодержавие. В плане геополитическом оно было прогрессивно почти всегда. То есть начиная с Иоанна III наша страна расширялась и шла от победы к победе. Практически у нас почти не было поражений. Единственным значимым поражением, возможно, была Крымская война, хотя и это не вполне ясно. По-настоящему серьезное поражение у нас было одно – это Русско-японская война, которая стала поражением по-настоящему, потому что в этот момент против царя уже шла гибридная война, превзошедшая в своем безумии войну, которая сейчас идет против Трампа или Путина. И в этом плане российское самодержавие, естественно, русское самодержавие – чрезвычайно положительное явление для нашей страны.
Второй план (а потом я буду говорить о третьем и перейду к ответу на третий вопрос) гораздо более сложен. Я, уже отвечая на первый вопрос, говорил о двойственности нашей истории. Она была с самого начала. Еще до всякой поместной системы, еще в киевские времена земля все равно считалась национализированной, то есть принадлежащей великому князю, и в его лице – княжескому дому. Земля передавалась общинам в пользование. Общины были уже тогда, они просто не были переделенными, так как земли было много. Общины были и город-

скими. То есть мы имеем некую константу нашей истории. Но одновременно с этим у нас уже тогда возникли вотчины – совершенно классическая, частнособственническая феодальная земельная собственность. И вот дальнейшая история (а настоящая наша история, действительно, на мой взгляд, начинается с самодержавия) – это борьба поместной системы с системой вотчинной. Мне кажется, это основной нерв нашей истории, он-то и позволяет поразному оценивать самодержавие.

Ведущий: Одну секундочку. Поместное – в смысле, право помещать помещика на земле?

В.Ю. Милитарев: Поместная – это классическая, свойственная исламу или Дальнему Востоку традиция давать землю офицеру или государственному служащему, для того чтобы он мог выполнять свои обязанности. Это универсальная система – вообще я все-таки, может, модернизатор, но я считаю, полусоциалистическая. Поместная система гомологична меритократическому принципу властного отбора.

Ведущий: Заслугам, да.

В.Ю. Милитарев: Да. Вотчинная система гомологична сословному обществу и кровной аристократии. Кровная аристократия, которая, хочешь не хочешь, имеет большое родство с плутократией, потому что чисто военная аристократия, ограничиваемая настоящей честью, уже много столетий не так часто встречается. Русские цари из династии Калитичей или из династии святого князя Александра Невского и святого князя Дмитрия Донского строили линию на победу поместной системы над вотчинной. Но они пришли к большому кризису. В общем-то после смерти Иоанна Грозного возникла ситуация дворянского безземелья, когда дворянство стало давить на Бориса Годунова, требуя запретить крестьянам переходить из поместья в поместье, и возник элемент частного собственничества. Он продолжался в таком неопределенном советском виде (когда что-то официально существует, но при этом как бы его не существует) до Петра. Формально крепостное право укреплялось, реально люди переходили. Реально старая русская поместная система продержалась до Петра, хотя ее подрывали крупные земельные собственники – они же крупные политические интриганы, хотя, конечно, и большие государственные деятели. Мы видели при Алексее Михайловиче попытку гайдаровских реформ (…). Об этом можно долго говорить, но не сейчас.

Петр I попытался в немецко-голландско-шведском соусе регулярного государства совершить контрреволюцию к старому режиму. Он, по сути, пытался сделать всех помещиками, сделать всех государственными служащими. И его деятельность робко продолжала Анна Иоанновна. И дальше, через промежуточный период Елизаветы, возникла дворянская контрреволюция, следующая. Дворянство окрепло. Ведь что имела в виду Екатерина II, что ее бы не поддержали? Ведь она же не сволочь была. Она же не просто так провела эту грандиозную приватизацию земли в пользу дворянства, отдавая им в том числе и государственные земли, отдавая им государственных крестьян и практически делая крестьян почти в частной собственности дворян. Она приведена к власти дворянами и была вынуждена на них опираться. То есть тут подтекст, что, совершив госпереворот, ей нужен был мощный слой. Но это привело к трагедии.

По-настоящему мы не знали крепостного права до 1860-х годов, когда формально крепостного права уже не было. Но этот балтийский феодализм, то есть капиталистический феодализм, когда практически крепостные крестьяне производили в качестве периферии для рынка миросистемы, у нас возник по-настоящему как раз после 1861 года, вместе с железными дорогами. Но тенденция была именно эта. Эта тенденция привела к реальному ухудшению условий жизни крестьян, лишению их свобод. Об этом можно говорить долго. Я об этом не хочу сейчас говорить, но это тема, которую обсуждать надо.

Ведущий: Витя, уточняю. Момент, когда началось именно торможение, – это Екатерина?

В.Ю. Милитарев: Во внутреннеполитическом плане – при Екатерине.

Ведущий: Замена поместной системы на вотчинную.

В.Ю. Милитарев: Да. Указ о вольности дворянской она пробила еще при жизни супруга, по сути.

Ведущий: 1762 год. В 1785 году еще дополнительно.

В.Ю. Милитарев: Да. Но она же кадастр провела, она же реально делала фантастические вещи. Она реально переделила землю, увеличила поместья за счет своих царских и государственных земель. Там долгий разговор, но он просто сейчас уведет в сторону. Но реально, она много земли и людей отдала дворянам и сделала крестьян сопоставимыми во многом с плантационными работниками южных штатов Соединенных Штатов. И уж в любом случае с польскими крепостными хлопами, с польскими и прибалтийскими. Это не привело поначалу к беде наверху. То есть дворянство было блестящим и оно привыкло служить. Но это привело к разложению дворянства. А, с другой стороны, мы имели крестьян – мы имели фольклор, мы традиционный народ, очень злопамятный, с сильной устной культурой, которая касалась не только той части наших крестьян, которые придерживались старого обряда, но и той части наших крестьян, которые поддерживали, как тогда говорили, российскую православную церковь. Но они точно помнили… Ведь когда они говорили: «Земля Божья» – это что, миф какой-то? Нет, это, извиняюсь, в точности обращение к памятным прадедам, временам Иоанна III, Василия и Иоанна IV, временам, отчасти бывшим.

Ведущий: Так вот кого цитировал Геннадий Андреевич Зюганов, когда говорил, что земля Божья?

В.Ю. Милитарев: Да.

Ведущий: Все понятно.

В.Ю. Милитарев: Это мощный крестьянский афоризм. Но обозначал он то, что земля государева, то есть национализирована и передается крестьянам в пользование.

Ведущий: Есть что в будущем? На что смотреть надо?

В.Ю. Милитарев: Все-таки нельзя забыть… Третий план, о котором я говорить не буду, а то ругаться начну, – это, еще раз повторю, традиция либерального критиканства самоубийственного типа.

Теперь о будущем. Все-таки, вспоминая злодейское убийство царской семьи, надо сказать и о сакральной теме русской монархии – это политика памяти. Все-таки когда Святейший Патриарх ведет от Ипатьевского дома сегодня к Ганиной яме стотысячный крестный ход… это говорит о том, что элемент традиционной когнитивности в культе царя-страстотерпца продолжает существовать. Он является одним из меньшинств, да, но он существует. Так же, как и сильно существовал, но тоже не как всеобщий, а как элемент некоторого течения, реального течения в нашей православной культуре и в нашей православной вере, он существовал все время. До революции существовал и в советское время потаенно, но существовал.

Я говорю пока о чисто формальном монархизме в духе Тихомирова, по сути, совместимом с формационной теорией. Но есть все-таки специфическая – не только православная, а вообще церковно-христианская – теория монархии. Я говорю не о том, что всякого царя Бог назначил, и он тебе скажет: «Руку отрубите». Я говорю о том, что царь – это удерживающее, царь, наследующий Римской империи, – это катехон. И в некотором смысле все-таки династия Калитичей, династия Романовых, династия Габсбургов, династия Гогенцоллернов (с меньшими правами, но тем не менее она перехватила их у Габсбургов) и даже в некотором роде – вы будете смеяться –

династия Османов на стамбульском престоле – все-таки это наследники Римской империи. И это одна большая мистическая, историософская тема, касающаяся конца света, которую наметить надо, хотя мы ее не будем сейчас обсуждать.
Теперь по существу. Последнее, что я хочу сказать о будущем. Никто – и я в том числе – не сказал, что все-таки Хомяков и братья Аксаковы сформулировали еще при здравствовании Николая I этот основной тезис, что мы – народ не политический.
То есть все-таки – о чем я на прошлом заседании много говорил – наш народ по некоторым причинам не хочет заниматься властью и передоверяет ее монаршей фигуре. И в некотором смысле, естественно, можно научить наш народ самоорганизации и солидарности. Но, боюсь, никто кроме монарха – неважно, сакрального или просто рационального, как у нас сейчас, по сути, скрытая монархия с элементами репрессивной демократии – никто этого сделать не может, хотя, конечно, некоторые процессы самоорганизации идут.

Ведущий: В основном в лагере опричнины, да?

В.Ю. Милитарев: Да нет. Наш русский народ, к сожалению, столетиями был сторожевой собакой государя. Обнаружив, что государь его кинул, – я сейчас говорю не о православном государе, а об абстрактной инстанции государя и государства – наш народ с 1991-го, если не с 1988 года, решил попробовать пожить для себя. Должен же быть какой-то – я как верующий человек говорил – провиденциальный смысл в том безумии гадости, которую мы переживаем с того времени. И он учится все-таки быть хуторянином, а не общинником. Хотя все равно мы остаемся общинниками и монархистами, мы никуда деваться не можем.
И все же учимся быть хуторянами.
Все-таки простой русский человек становится сильно более скептичен, сильно более недоверчив, сильно менее лоховат, сильно более эгоистичен в хорошем смысле слова (…). Лет за тридцать из этого может родиться самоорганизация. Но без помощи царя сверху, я боюсь, мы проиграем по дифференциальным уравнениям – скорость процесса хаотического распада будет быстрее, чем процессы самоорганизации.

Ведущий: Опередим, да? Это очень напоминает, Виктор, знаешь что? Идею Ильина, когда он говорил, что после падения режима большевиков потребуется национальная либеральная воспитывающая диктатура.

В.Ю. Милитарев: Диктатура, да, я об этом и говорю.

Реплика: Простите, слова «либеральная» там не было.

Ведущий: В одном из вариантов есть.

В.Ю. Милитарев: Почему я поэтому при всех жесточайших возражениях, касающихся социальной справедливости, поддерживаю Путина? Отдельно от того, что я восхищен присоединением Крыма. Вот даже не было бы Крыма. Но именно то, что вместо царя-людоеда, царя-разрушителя, каким я вижу Бориса Николаевича покойного, появился нормальный русский, скажем, нейтральный государь, который что-то делает – удерживает в целостности, не разрушает, – да, поэтому я его и поддерживаю. И в будущем попытки удержать некоторый диалог. То есть нам нужно единство – я заканчиваю – вот вам формула: нормальный, не сволочь, не Ельцин, русское первое лицо, то есть скрытый царь или открытый царь; прогрессивный, то есть не принадлежащий к либеральной сволочи, образованный слой, так сказать, консервативно-патриотически образованное общество; и те процессы в нашем большом народе, о которых я говорил прямо до того. Если эти три вещи синхронизируются (а для этого нужна организационная работа), мы спасемся. Но в целом, как я многократно говорил, спасти нас может только чудо, и я, как человек верующий, в это чудо верю. Спасибо!

Ведущий: Спасибо большое, Виктор! Получается, все проблематично. У Димы тоже

там триада, которая должна сойтись, у тебя тоже три компонента. Александр Васильевич, пожалуйста, ваше время!

А.В. Буренков: Самодержавие как творческая сила или тормоз? Чтобы ответить на этот вопрос, надо определиться вообще, считаем ли мы нашу страну, русский народ страной цивилизации, или мы всего лишь часть европейской цивилизации, западной? Это самое главное.

Ведущий: Вы по Данилевскому, конечно, считаете нас особой цивилизацией, правильно?

А.В. Буренков: Русско-славянской цивилизацией, конечно, и больше ничего. Вот если с этой точки зрения посмотреть на нашу историю, то самодержавие – большое благо было, когда мы придерживались самобытной точки зрения развития, и даже исходили из него.
Но, к сожалению, этот период заканчивается, наверное, в первую половину царствования Ивана Грозного, Алексея Михайловича с вопросом, когда Малороссия была присоединена, к царствованию которого есть вопрос только, может быть, в связи с церковным расколом. Это отдельная тема.
А дальше – конечно же, Россия уже после Екатерины окончательно вошла в политическую систему западных государств, Европы, и полностью выполняла служебную роль по отношению к ней. И отсюда, конечно же, большие минусы.
Во внешней политике – параллельно буду придерживаться двух планов – были плюсы всегда, когда мы исходили из своих национальных интересов. Но это заканчивается, пожалуй, Екатериной. Дальше мы уже участвуем в европейских войнах, и даже войны Суворова совершенно не имеют никакого отношения к нашим национальным интересам. И это один минус.
Даже войны 1812 года, если бы мы придерживались интересов как страны цивилизации, Россия вполне могла избежать. Известно, что Наполеон хотел дружбы с Александром. То же касается и Первой мировой, что никакими проливами, если бы успешно закончили войну, мы бы не владели, исходя из полной самобытности Англии (Великобритании), которая, конечно, кинула бы нас сразу, и ввела бы корабли и войска в проливы. Это можно было получить только в союзе с Германией. А вот могло быть или не быть – это уже другой вопрос.
Такая точка зрения, что самодержавие как организационная форма управления обществом – всегда плюс, если самодержец исходит из национальных интересов. К сожалению, пример такой мы можем видеть только на примере истории Великобритании – последовательный, жесткий. Вот как у Англии нет партнеров, друзей, есть интересы.

Реплика: Нет постоянных друзей и постоянных планов.

А.В. Буренков: Мы постоянно служанкой Европы себя мыслим. К сожалению, сегодня в культурном отношении это точно. Некоторый прорыв, конечно, сегодняшний президент сделал во внешней политике. Но Данилевский назвал такую политику внешнеполитический патриотизм – когда во внутреннем плане, о чем сейчас говорилось, исходят полностью из приоритетов чужой культуры, европейской, а во внешнем пытаемся сохранять свой суверенитет. В краткосрочном периоде это может приносить пользу (как при Екатерине), а в долгосрочном это всегда будет поражение. Потому что мы таким образом отказываемся от энергии своего народа, от созидательных начал своего государствообразующего народа.
Это можно посмотреть по триаде «православие, самодержавие, народность». Что получилось в результате того, что народная монархия, по Солоневичу, выродилась в абсолютистскую?
Православие. Смысл православия полностью сведен к понятию церкви. Церковь была лишена своего канонического правления и стала подчиняться государственному чиновнику – обер-прокурору, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Характерный пример – когда Поместный собор наконец-то собрался после отречения царя, еле-еле, усилиями некоторых только вы-

дающихся иерархов удалось избрать патриарха. То есть Собор был склонен оставить синод. Это факт нашей истории.
Народность. Династия Романовых полностью обязана воцарением Земскому собору. То есть народность аккумулируется в понятие земского самоуправления и в церкви, в православии. Народность была уничтожена полностью при династии Романовых, от самоуправления ничего не осталось. При отмене крепостного права пришлось делать и вторые реформы – по возрождению местного самоуправления, земства.
И самодержавие само вырождается в абсолютистскую монархию.
То есть вся триада была нарушена, поэтому и 1917 год… Вообще бы я, исходя из историософии Данилевского, поставил бы вопрос (марксистской теории он не поддается) – действительно какой-то пассионарный взрыв произошел в целях освобождения от этой европейской прививки. Это бич Божий – 1917 год и октябрь, который сохранил нашу государственность. Потому что если бы мы шли дальше этим темпом, то, по всей видимости, «Макдональдсы» были бы уже в 1920-х годах. И от России могло ничего не остаться.
Мы очень глубоко заблуждаемся…
Да. Заблуждаемся, как бы канонизируем, что ли, святую Русь до 1917 года. Это совершенно не так. Вот мы с Дмитрием Борисовичем занимаемся темой новомучеников. Есть гигантский пласт свидетельств иерархов церкви, которые стали потом святыми, мучениками, о состоянии дел внутри церкви как раз. Они все – даже с 80-х годов XIX века, с 90-х еще в большей степени – прогнозировали революцию, крах монархии, потому что она выродилась в абсолютистскую.

Ведущий: Кто именно? Церковные деятели прогнозировали крах монархии?

А.В. Буренков: Да, да, да. Будущие новомученики. Все. Это священномученик Андроник Пермский, это Владыка Фаддей, Петр (митрополит Воронежский). Это все, кто был в зрелом возрасте и писали, они все указывали на падение духовно-нравственного состояния, расцерковление общества и на то, что между царем и народом образовалось средостение в виде высших европеизированных чужеродных, инородных уже сословий по культуре и по крови. Для Ленина это было удивительно, что революция случилась в России, а для элиты русского народа в церковной среде это не было сенсацией никакой.
Касательно третьей части…

Ведущий: Исходя их этих ваших исторических наблюдений, сегодня какая перспектива?

А.В. Буренков: Перспектива? Это, конечно же, мысли только для дискуссии. Пора уже не просто прошлое анализировать, но и что-то предлагать для сегодняшней жизни. Я в своих статьях об этом пишу, сборник я вам оставлю, на сайте можно посмотреть. Конечно же, сознание русского народа монархическое в глубине души. Я совершенно с вами согласен, что народ – и Данилевский об этом пишет – в вопросах, в которых он не разбирается, прежде всего политических, делегирует это государству. Вспомним 1990-е годы, когда на заводы люди ходили по полгода без зарплаты. Как ни хотел Запад, чтобы народ с голодухи разнес страну, он не разнес. У нас не было никаких самобытных движений среди русского народа. Шахтеры касками стучали за деньги, Чечня – это отдельный вопрос. Народ не поднялся, не вышел на улицы, не снес государство. Он перетерпел. Потому что главная нравственная черта русского народа – это не стремление к справедливости, которое есть, а стремление к благости, к доброте. Опять же, Данилевский хорошо об этом написал. Поэтому народ простил власти это хулиганство 1990-х годов и перетерпел, переждал и дождался сегодняшней ситуации, когда страна начала собираться, то есть сосредотачиваться.
К сожалению, опять же во внешнеполитическом вопросе, во внутреннем мы сегодня полностью повторяем экономическую политику Николая II. Мы можем опираться на мнение современников, если хотим понять тот или иной период. При Николае II

в результате реформы Витте мы полностью отказались от эмиссии своего рубля, прибегнув к свободной эмиссии искусственно привязанного к серебру. А фактически государство могло эмитировать денег столько, сколько надо экономике.

Или у нас индустриализация страны, конечно, шла без участия Николая II, шла естественным путем, так как после крепостного права настоящее крестьянство оказалось в городах, импорт достижений научно-технической революции Запада просто к этому привел. Но Шарапов Сергей Федорович (известное такое имя) в своих трудах (…) показал, что эта индустриализация шла при сокращающейся денежной массе, в результате обнищания. Отсюда и роман «Мать» Горького – это правда, и Гиляровского – описание Москвы. И это все, конечно, смело в 1917 году самодержавие – не русское, а уже абсолютистское, европейское, западное.

Но надо обратить внимание – где есть оптимизм в этом событии. В это же время собирается Поместный собор, и через две недели после Октябрьской революции избирают патриарха. С участием этой триады русская государственность начинает возрождаться. И как бы ни хотели потом большевики, ни ЧК, НКВД, МВД, КГБ и так далее, патриарх остался. Его заменил Местоблюститель митрополит Петр (Полянский), он был просто не духовным лицом, а мирским человеком. Его патриарх Тихон попросил (это уже при советской власти): «Давай-ка, мы тебя рукоположим, и будешь моим заместителем в случае чего». То есть он из мира человека взял. Полянский семнадцать лет отсидел в тюрьмах, и в конце концов его расстреляли. И так шла целая волна людей заменять погибших священников, рукополагались и вставали на их место.

Поэтому 1917 год – это и возрождение русской государственности. Много, может быть, в экономической части элементов есть, о которых говорили и Данилевский, и Шарапов.

Поэтому сегодня можно говорить, в принципе, исходя из нашей истории, что к свободной демократии западного типа у нас нет никаких оснований. Если самоуправление начало возрождаться с 1990-х годов – и, кстати, оно в благополучных регионах, как Московская область, Москва, могло бы идти и идти, но сегодня оно уничтожено. Сегодня закон о самоуправлении полностью изменен, и в принципе все на местах назначается. Самоуправление может опираться только на сильный средний класс – этого уже нет, он уничтожается на глазах. Поэтому сегодня уместно ставить два вопроса, только одновременно. Это в экономической части – комплекс реформ, чтобы образовывался средний класс, исчезала нищета, бедность и все эти пороки, которые сегодня уже надоели, местное самоуправление – земства. И касательно элементов самодержавия – возможно, только вместе с этим – ставить вопрос о пожизненном выборе президента. Ни о какой наследственной монархии, как путешествующие Романовы мечтают, конечно, речи быть не может.

Ведущий: То есть выборная монархия.

А.В. Буренков: Да, выборная пожизненная. Об этом нужно ставить вопрос в дискурсе научном и это обсуждать. Это уместно, потому что де-факто она существует, существует с 1917 года – Ленин, Сталин, за некоторым исключением (Хрущева убрали), Брежнев, Ельцин умудрился… Тоже, кстати, подвиг человек совершил. То есть он негативно передал власть. Путин сегодня. А те выборы, которые они вынуждены сегодня на западных нормах делать, – это, конечно, фарс, и он уже надоел, и народу это претит, конечно.

Ведущий: Спасибо, Александр Васильевич! Давайте действительно признавать реальность. Пожалуйста, Сергей Феликсович! Символически завершайте наш разговор на эту тему. В качестве постскриптума.

С.Ф. Черняховский: По существу обсуждения замечания. Во-первых, я полностью согласен с точкой зрения, что термин «победобесие» – это некая идеологическая диверсия, разрушающая способность людей верить в себя, в свои победы, и направлен-

ная на повторение морального разложения в конце перестройки, когда тоже говорили: «А чего нам гордиться? Ничего у нас великого нет, лучше колбаса, чем космос». Не получили ни космоса, ни колбасы в результате – и разрушили страну. Тот, кто между строительством дворца и куском мяса выбирает кусок мяса, – не достоин ни дворца, ни куска мяса.

Второй момент. Не хочу, чтобы не уходить в некоторые дополнительные нюансы, может быть, болезненные, в качестве алаверды к Виктору, который говорил о «злодейском убийстве» Николая Романова – и в альтернативу его экзотической оценке говорить «о светлом дне доблестного торжества справедливости и казни злодейской семьи палача-царя» – и на этом выстраивать свою антитезу.

В.Ю. Милитарев: Ну, я же не поклонник вовсе Николая, совсем не поклонник.

С.Ф. Черняховский: Слава Богу, я знаю.

В отношении темы и лозунга самодержавия. Все зависит от того, что мы под ним понимаем. Если то, что понималось изначально – то есть собственно суверенность, то суверенитет, стране нужен был всегда и всегда нужен будет. И он не должен оканчиваться строго сегодняшними границами. Россия – продолжатель СССР, а потому несет ответственность за все народы и государственные образования на его территории и обладает латентным суверенитетом над этой территорией. Если нам для обеспечения суверенности будет нужна большая географическая зона, мы должны и другие субъекты включать в нашу суверенную зону. Но наш суверенитет должен быть сохранен всегда.

Другое понимание – самодержавие как всевластие. И это другая тема: есть периоды мобилизационные, когда это необходимо, есть периоды, когда, во-первых, этого время не требует, а во-вторых, нет достойной кандидатуры для осуществления этого всевластия. Тем более, что оно, как известно, развращает.

И встает вопрос: если даже мы имеем человека, который оказался на своем месте в свое время и решил вставшие перед ним задачи, проблемой оказывается то, что в этом случае власть после него передается тому, кто воспринимается как его самый сильный и самый верный сторонник. Но ни его наследник по крови, ни тот, кто при жизни воспринимался как его правая рука и сама надежная опора, на практике обычно не оказывается не только его воспроизведением, но и не может часто сохранить то, что сам создавал вместе с предыдущим лидером, и, умея быть верным сторонником и помощником, то есть надежным оруженосцем, оказывается не готов в к роли «рыцаря», потому что умеет помогать и следовать, но не умеет вести и направлять.

И третье понимание самодержавия. Сосредоточение власти в одних руках оказывается великолепным, когда тот, кто ее сосредотачивает, знает, как ею эффективно распорядиться. И оказывается ужасным, когда попадает в руки безграмотного авантюриста, подобного Горбачеву.

То же и с пожизненным правлением. Потому что если пожизненный правитель оказывается либо бездарным, либо пережившим свое время, то у страны оказывается лишь один способ его ротации – дворцовый переворот.

Монархия как престолонаследование – это, в конце концов, правление по обычаю. Но оно и эффективно в эпоху господства обычая, то есть традиционного общества с относительно низкой скоростью протекания общественных и политических процессов. Когда рушатся полновластные монархии, – в эпоху Модерна с его новой скоростью развития общества – на место правления по обычаю приходит обретение власти на легально-рациональных основах, по избранию на ограниченный срок: ситуация меняется слишком быстро, приходится часто менять политику и часто менять правителей. И даже преемственность обеспечивается иначе – через избрание представителя той или иной тенденции.

То есть монархия как наследование изжила себя просто потому, что в историю ушло правление обычая как такового, как не успевающего за изменениями жизни.

И каким будет форма обретения власти в

эпоху, следующую за Модерном (будь это Постмодерн либо Сверхмодерн), – это отдельный интересный вопрос.
Идея выборной пожизненной власти имеет свои плюсы, если носитель власти оказался ее достоин. Только встает вопрос – что делать, если не оказался…

Реплика: Перетерпеть, он же сказал.

С.Ф. Черняховский: Нет, вы знаете, как-то не хочется. Как-то не хочется терпеть, а то иногда и очень долго будет.

Реплика: Тогда вы не разделяете базовые принципы нашей цивилизации.

С.Ф. Черняховский: Я не поклонник теории Данилевского…

Ведущий: Сережа, здесь акцент не столько на пожизненной, сколько выборной. Это ответственность тех, кто выбирает.

С.Ф. Черняховский: Выборы правителя – нормальная демократическая процедура.

В чем мы видим монархизм? Опять-таки согласны, что не наследственный, согласны, что не пожизненный. Полнота власти – с этим я согласен. Опять-таки, в каких условиях? Мы можем говорить, что в известном плане Курчатов, Королев – это самодержцы в своей сфере. В этом отношении при проектном развитии, при прорывах и рывках концентрация власти в одних руках, безусловно, необходима.
В отношении линейных периодов – она во многих случаях не нужна, нужна скорее коллективная власть. Просто они пластами чередуются. Но для того чтобы появилась возможность для коллективной власти, нужны периоды единовластных прорывов.
Вместе с этим, если говорить об исторических этапах, как творческая сила и тормоз развития самодержавие или монархия, которая у нас существовала в историческом плане, прошла период традиционной монархии, который, я считаю, закончился в XVII веке с Алексеем Михайловичем, и потом наступила действительно харизматическая монархия, петровская монархия.
В принципе, традиционное правление и правление обычая нужны в доиндустриальную эпоху, когда скорость общественных процессов такова, что их может регулировать обычай и корректировка со стороны монарха. В период, когда бурное развитие индустрии, ускоряется все развитие, появляется конструкт правового государства и диктата закона. Для чего? Для того чтобы иметь возможность оперативно менять и в системе относительного согласия в рамках элиты.
Индустриальная эпоха меняет власть обычая на власть закона, власть традиции – на власть рациональной легальности. Только, судя по ходу событий, индустриальная эпоха закончилась, наступает некая новая, которую очень условно называют постиндустриальная. В этом отношении умирает как традиция, господствовавшая в доиндустриальную эпоху, так и право, похоже, вместе с правовым государством. И здесь возникает эпоха некоего лабораторного правления – того, о чем я говорил, в частности, на примере Курчатова, Королева. Сталин – это тоже лабораторное правление, кстати, но в другой сфере.
В чем во многом была особенность России. Русское самодержавие, Россия не вступила, не начала вступать в индустриальную эпоху тогда, когда начала вступать западная цивилизация, выходя из своей эпохи архаики.
Кстати, и Россия из эпохи архаики при Петре вышла (а в чем-то – при Никоне), а в индустриальную эпоху тогда еще не вступила. На этот период для развития страны потребовался вот этот русский абсолютизм, кстати, не слишком отличающийся от абсолютизма западного. Он играл сугубо прогрессивную роль, на мой взгляд, в XVIII веке.
Екатерина Великая умирает почти в унисон с тем, когда генерал Бонапарт из пушек расстреливает мятеж французских роялистов. Эпоха монархии в ее собственной форме заканчивается, и попытка ее консервировать в правление Павла завершается одним: не просто его свержением, а прямым отказом от властвования по обычаю.

В истории страны и падении монархии как правления традиционного типа мы имеем две развилки, которые могли бы направить это в рациональном плане некоей мобилизационной традициональности. Это если были бы осуществлены проекты Палена, если бы Александр выполнил то, что, как считается, ему обещал – с Конституцией и переходом к некой форме представительного правления. Но как Павел пытался воспроизвести подобие Петровского тиранического самодержавия, но получил лишь пародию на него, так и Александр попытался воспроизвести подобие Екатерининского просвещенного абсолютизма – что ему удалось лучше, поскольку люди той эпохи еще не ушли в прошлое, – но лишь продлил старую эпоху, так ее и не продолжив в развитии, что кончилось бюрократическим абсолютизмом Николая, который уже был не столько его правлением, сколько правлением столоначальников. И альтернативой которому была несостоявшаяся модернизирующая диктатура Пестеля.

Вторая из двух названных развилок была через сто лет, при Столыпине. И могла состояться, если бы Столыпин мог сделать то, чего он объективно по ряду причин, в частности, по личному складу и понятиям чести сделать не мог, а именно – отстранить царя, провозгласить себя военным диктатором на двадцать лет и проводить модернизацию примерно по плану Пестеля.

Но исторически и цивилизационно в этом был бы огромный минус – тогда не было бы Октябрьской революции. Поэтому, слава Богу, что оно пошло так, как пошло.

В XIX веке самодержавие с чем-то справляется, с чем-то нет. Но в чем я не согласен с Витей? Что в геополитическом плане оно всегда прогрессивно. Не всегда. В XIX веке не всегда. Абсолютно согласен, что война 1812 года не отвечала национальным интересам России. И внутри – я не хочу сейчас развивать эту тему, просто в созвучие сказал... Ее в первую очередь не надо было провоцировать.

Именно Александр Первый сознательно выстраивал политику таким образом, чтобы вынудить Наполеона начать войну с Россией. Все это было продиктовано интересами экспортеров зерна, потому что после Тильзита и включения России в континентальную блокаду с ограничением экспорта зерна в Англию цена закупки зерна с сорока копеек упала до двадцати двух из-за его избытка. Это означало падение стоимости рабочей силы, и если бы так продолжалось дальше, открывало дорогу широкому использованию наемного труда, а в результате, на фоне прекращения импорта английской техники, могло обернуться промышленным прорывом и промышленной революцией в России. Выиграв геополитически, мы на сорок лет отстали в своем развитии и за свое доминирование в Европе заплатили торможением экономики и унижающим поражением в Крымской войне. Нашим цивилизационным национальным интересам война с Наполеоном вообще не отвечала.

Реплика: А наполеонским интересам?

С.Ф. Черняховский: А наполеоновским тоже, кстати, не отвечала. И если на то пошло, в XIX веке геополитическая роль России, конечно, сугубо реакционная. Это торговое доминирование Британии в Европе, утверждение ее правил экономической жизни, постнаполеоновская политическая реакция в Европе. И в результате даже тогда, когда русское самодержавие в международных отношениях играло, выступало с попыткой каких-то позитивных решений, все те, ради кого она это делала, и кого спасала, ее предавали. Та же самая Крымская война была войной спасенных Россией против России с одной мотивацией – не допустить ее усиления. Россию предали именно те монархи, чьи троны она перед этим спасла. Понятно, о чем речь идет. Хотя Николай I, которого я, в общем-то, не люблю, подходил к попытке решить вот этот древневосточный вопрос с учетом интересов всех сторон и всех стран – и Англии, и Франции, и Австрии. Он все время говорил: «Слушайте, вам же нужны вот эти решения – давайте все решим с учетом ваших национальных интересов». И все ответили: «Сегодня наш главный интерес –

помешать осуществлению национальных интересов России». Все уперлись в одно: чтобы не усилилась Россия. Вопреки, собственно… Поэтому в этом отношении XIX век шаг за шагом вел русское самодержавие к падению и банкротству.
Если говорить о неких традиционных формах самодержавия, – ушла эпоха традиционного общества. И попытки его карнавального возвращения, как в случае с ересью николаепоклонства, лишь оказываются неким артефактом трупофилии – не в смысле поклонения умершему, а в смысле поклонения смерти как таковой.
В отношении будущего я еще раз говорю, что использование механизмов харизматического лидерства, концентрация воли и ресурсов на ключевом направлении необходимы и востребованы.
И тем более они востребованы в условиях обеспечения прорыва в развитии страны. И особо будут нужны, если мы хотим сейчас осуществить все эти прорывы, о которых говорил Путин в мартовском послании и майском указе. Я только боюсь, что после реформы пенсионного возраста никакой прорыв уже окажется невозможен – для прорыва нужна готовность общества к прорыву и определенная уверенность и энтузиазм.

Ведущий: Юлия Сергеевна, пожалуйста.

Ю.С. Черняховская: Что мне кажется интересным и что привлекает в образе монархии: идея и образ монарха. Монарха как рыцаря. Первого рыцаря страны – носителя и защитника ее чести. Сложно сказать, насколько мифологические воспоминания о временах рыцарства отвечают действительности, но в случае с мифами как надеждой, наполняющей смыслом коллективное действие, это и не важно. Важно то, что некая та действительность оставляет нам нечто, что мы, может быть, достраиваем своими ожиданиями и видениями и в таком достроенном состоянии создаем некий свой образ, который нас увлекает, заставляет подражать и его образцу следовать. В образах монархов-рыцарей таким был образ Ричарда Львиное Сердце, ставший отправной точкой для многих куда более поздних легенд. Но романы, по которым мы его знаем – «Айвенго» и «Талисман», – были написаны Вальтером Скоттом совсем в иную эпоху и в иной стране, когда и где рыцарство могло существовать только в качестве воспоминания о том, чего больше нет. Вот тут интересно: романы о нем пишет в Англии ее утилитаристского рассвета шотландец, заканчивающий свой жизненный и творческий путь примерно тогда, когда его начинает Чарльз Диккенс, которого, может быть, и можно заметить в сентиментализме, но реализм которого абсолютно чужд любым началам рыцарственности. Просто потому, что в Англии XIX века ей уже не было места. Но именно потому, что ей там не было места, о ней тоскуют шотландец Скотт и потомок Плантагенетов Альфред Теннисон, вспоминая о временах, связанных легендами с благородными дамами, гордыми носителями чести – королями, и верными и первым, и вторым рыцарями. Социум вспоминает о том, чего нет тогда, когда этого отсутствующего ему не хватает. И неслучайность этой эпохи романтизма подчеркивается созданием именно в эту эпоху другого свода легенд, о другом короле, становящемся своего рода абсолютизированно-романтизированным образом идеального правителя, – легенд о Короле Артуре.
Как писала в своей работе А.А. Шарапкова, миф об Артуре – это как раз миф об упрочении власти, о справедливом правителе и защитнике народов. Часто актуализируемый в тех или иных вариантах, он наполнен архетипическими чертами человеческой психики и связывает «Артуриану» с мифологией и мифологическим мышлением в целом.
Авторы специальной энциклопедии «Артуриана» подчеркивают непрерывность и преемственность развития каждой последующей работы, посвященной артуровской тематике, которые представляют собой «два процесса – акт сохранения прошлого и разговор о будущем», включающих в контакт и установку раннего Средневековья – фигуру учителя, духовного наставника,

что продолжает функционировать в общественном имагинарном даже после падения античных ценностей – в утопическом конструкте «Артурианы», где одно из центральных мест занимает учитель «идеального короля» Мерлин. Что, собственно, воспроизводит уже не мифологическую, а классическую пару Аристотеля и Александра Македонского.

В любом идеальном конструкте идеального монарха, как правило, присутствует это начало: мудрец-наставник при гордом и смелом монархе, воодушевленном идеями последнего. Даже в, казалось бы, сугубо прагматической книге Макиавелли, освобождающей государя от обязательств чести, видна та же надежда и претензия автора: передать свою мудрость тому, кто сможет ее реализовать. И в этом ряду можно увидеть и Сергия Радонежского рядом с Дмитрием Донским, и Томаса Мора рядом с Генрихом Восьмым Тюдором, а в чем-то даже Томазо Кампанеллу рядом с кардиналом Ришелье.

Романтический миф о короле Артуре жил отдельно от Артура, но жил некой надеждой на его образ, став объектом мифологического и литературного, культурного процесса и в Англии, и на Европейском континенте, и позже – в, казалось бы, антимонархической Америке. В последней, может быть, именно в силу того, что она, своих королей не имея, о них втайне мечтала, может быть, именно в силу этой ущемленной утилитаризмом протестантской тоски о романтике так полюбив католика Джона Кеннеди. Фигура Артура, по сути, интегрировала и артикулировала слой смыслов, которые мерцали в корпусе артуровских текстов, героев, которые присоединялись к мифу, представлялись им и исчезали, постоянно меняя, но постоянно сохраняя воспоминание и надежду на возвращение и появление короля прошлого и грядущего.

В этом отношении можно предположить, что в некоторой тоске о Короле (Артуре, Ричарде, Петре и, как ни парадоксально, Сталине) живет надежда на приход того, кого нет, но кого не хватает и про кого как минимум кажется, что он когда-то был. Вот эта надежда на то, что он еще придет, и находит некое свое подтверждение в том, что он, как помнится, действительно был. Тут можно вспомнить и еще об одной «мифокоролевской легенде-надежде» – легенде о короле (и императоре Германии) Фридрихе Втором Гогенштауфене, который в первой половине XIII века сумел создать на Сицилии уникальную цивилизацию с расцветом наук, искусств и нравственности, где на равных правах жили христиане, иудеи и мусульмане. Который, выполняя данный Римскому папе обет, совершил Шестой крестовый поход для освобождения Иерусалима – и без единой битвы, путем переговоров, вернул Иерусалим, Назарет и Вифлеем христианам, а через три года утвердил и опубликовал Мельфийские конституции: первый в истории христианской Европы светский юридический комплекс. Который всю жизнь боролся с папами за объединение Италии и загадочно умер. По легенде, на деле смерти его не было. Он то ли скрылся в горах, ожидая, когда люди будут готовы к гармонии, которую он нес в мир, то ли, по более распространенной легенде, спит в хрустальном саркофаге в горах и проснется и вернется к людям, когда придет час принести им добро и справедливость.

Итак, спящий в хрустальном саркофаге, охраняемый народной памятью мудрый, добрый и честный правитель, который еще вернется к людям, – не кажется ли, что здесь из дальних романтических веков проступает что-то более современное и близкое для нас…

Схожие легенды существуют и в отношении короля Артура.

Легенды, возникшие в эпоху рождения романтизма, своими надеждами ответившего на неудачи и жесткость отказавшегося от чувственности рационализма, во многом обернувшегося вполне бездушным утилитаризмом И. Бентама…

Именно антитезой последнему выглядит романтизм А. Теннисона (как уже говорилось, потомка династии Плантагенетов), как считается, писавшего свои «Идиллии» именно об Артуре. Так же следует уделить внимание фигуре наставника/ученого/предсказателя, которая стоит за троном

правителя в идеальном политическом конструкте А. Теннисона. Наличие такой фигуры, во-первых, отражает реальную политическую практику XIX века, когда особое влияние на монарха имел его наставник (Александр I и Жуковский как пример), во-вторых, выглядит как признание роли знания или мудрости как одной из важнейших добродетелей, наравне с другими, свойственными рыцарскому сословию.
Для этического идеала А. Теннисона особенно важны благородство в значении благородства души, честь, верность сюзерену, готовность умереть за свои идеалы.
В этом, как кажется, некая причина временами возникающей ностальгической тяги к монархии не столько даже как форме правления: ностальгирующие по ней мало задумываются о ее реальных политических плюсах либо минусах, для них это лишь то пространство, где есть благородный король.
И в этом, как кажется, сплетаются два ожидания. Одно – массовое ожидание чувства, тянувшегося к благородному идеалу рыцарской чести как системе отношений между людьми. Другое – элитарное интеллектуальное ожидание носителя рацио: того же интеллектуала, который, исходя из представления о несовершенстве мира и надеясь, что его разум – его главное богатство и оружие – может найти или нашел план разрешения и устранения этого несовершенства, но сам не верит в возможность овладеть властью и использовать ее для реализации своего плана, надеется найти того, кто окажется достаточно силен, чтобы такой план осуществить, но и достаточно послушен и честен, чтобы последовать наставлениям своего учителя.
Мы, конечно, не знаем, были ли правители давних времен столь благородны и честны, какими их рисуют создатели романтической литературы. Возможно, кстати, в значительной мере и были: в отсутствие кодифицированного права лишь честь являлась гарантией исполнения обязательств, и лишение ее было равносильно лишению кредита в последние два-три века.
Проблема заключается в том, что подобные рыцари на троне оказываются слишком уязвимы в эпоху, когда кроме них уже никто понятия чести не соблюдает. И заканчивают свое правление достаточно печально, рождая разочарование в самой возможности королевского рыцарства, либо, напротив, следуя совету Макиавелли – приносят честь в жертву своему пусть не личному, но государственному интересу. Заодно подчас, подобно Генриху Восьмому, отправляя на плаху своего мудрого наставника.
Ведь и знаменитую «Утопию» Томас Мор написал, надеясь, что его Король примет ее как руководство к действию и создаст в Англии описанное им справедливое общество.
А в ответ и мудрец, и рыцарь приходят к тому выводу, который у гробницы Людовика Святого граф де ла Фер, озвучивал виконту де Бражелону: «Будьте всегда верны в своей службе королю, сын мой! Но всегда умейте отличить Принцип Короля, от Личности короля: и когда вам приходится сделать выбор между службой Принципу и службой Личности – всегда делайте выбор в пользу Принципа Короля».

Ведущий: Павел, пожалуйста.

П.В. Святенков: Специфика русского самодержавия состояла в том, что оно представляло собой сплав модернизации и традиции. С одной стороны, русская монархия, самодержавие – это ситуация правления святого. Конечно, с формальной точки зрения так сказать нельзя. Но царь был фигурой религиозной. Помазанник Божий обладал особыми правами, в частности, во время коронации причащался в алтаре, что могли делать только епископы, священники и диаконы. Император как Помазанник Божий обладал харизмой. Харизма и есть «Божий дар».
Самодержавный монарх – это монарх харизматический. Будучи религиозно-харизматической фигурой, самодержавный монарх был одновременно агентом модернизации и Просвещения. Особый статус русской монархии был результатом именно этого сплава. Русское самодержавие – харизматическо-просвещенческая монархия. Особый дар, которым обладали

русские монархи, – это просветительская миссия.
Петр I создал этот особый сплав религии и просвещения. Он упразднил патриаршество, тем самым создав близкую к протестантизму модель управления церковью. Но одновременно он стал активно внедрять в России просвещенческие институты. Они еще не были наполнены содержанием. Их кадровый костяк составляли иностранцы, многие из которых покинули страну после смерти Петра.
Подлинный рывок начинается после прихода к власти Елизаветы Петровны, когда усилиями монархии знамя модернизации подняли русские. Именно Елизавета Петровна создала условия для того, чтобы Просвещение прижилось на русской почве. Именно с ее правления начинается чреда побед русского оружия, которая превратила Россию в одну из великих держав Европы. Внедрение достижений Просвещения и европейской науки позволило резко повысить статус России в Европе. Ведь что такое была Россия по состоянию на начало правления Екатерины II? Политически зависимой от Австрии и Франции страной. Население Австрии составляло 40 млн человек. А России? Примерно 18 млн.
Главный успех Екатерины II – это не выигранные войны с Турцией и не победа в войне со Швецией, а увеличение почти вдвое населения империи. С 18 до 36 млн человек. Россия из окраины Речи Посполитой, какой она была в начале правления Петра I, превратилась в ведущую европейскую державу, по населению сопоставимую с Австрией и Францией. Вспомним, что многие столетия до Петра для России Европой была Польша, и даже русское дворянство еще во времена Анны Иоанновны именовало себя шляхетством.
Когда самодержавие начинает запаздывать, когда становится тормозом развития страны? Видимо, в правление Николая I. Хотя с точки зрения развития культуры, влияния в Европе, Николай I – это наш король-солнце, наш Людовик Четырнадцатый. Именно при нем наступает золотой век русской культуры, пишут Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Грибоедов и многие другие писатели, создается первоклассная литература, известная всей Европе.
В книге Киплинга «Сталки и компания», посвященной жизни интерната, готовящего будущих военных, есть интересный эпизод. Мальчишек-хулиганов вызывают к директору, и они видят у него на полке в числе европейских переводных классиков книги Пушкина и Лермонтова.
Как и у Людовика XIV, у Николая I была своя война за испанское наследство: Крымская война. Как и в случае с Людовиком, результаты войны нельзя считать однозначным проигрышем. Но с этого момента начинается закат – как «старого порядка» во Франции, так и самодержавного правления в России.
Были ли альтернативой правлению Николая I декабристы? В интеллектуальном смысле, конечно же, нет. Конституция Пестеля списана с одной из революционных французских конституций. Конституция Муравьева – плагиат с Конституции США. Только там президент США заменен на императора. Исследователи удивляются? что это за тринадцать держав, на которые должна была быть разделена Россия? Изначально США, как известно, делились на тринадцать штатов. Отсюда тринадцать держав. Это прямой перевод слова «штат» (буквально – «государство»). Декабристы могли построить у нас не США, а скорее северный вариант Бразильской империи.
Политическое сознание граждан России до сих пор хранит образ успешной модернизации, осуществленной просвещенным абсолютизмом XVIII–XIX веков. До сих пор есть представление о том, что только сосредоточивший всю власть в своих руках император способен на преобразование страны.
С этим связана традиционная слабость в России поста премьер-министра. В Европе довольно рано возникла фигура первого министра как лица, ответственного за политику. В случае неудач султан казнил великого визиря, австрийский император отправлял в отставку канцлера, французский король – первого министра.
В России такого института никогда не было. Император был главой и государ-

ства, и правительства. Это связано с бесконечной чредой успехов XVIII–XIX веков, к которым привыкли.
Должность премьер-министра пытались создавать. Например, был пост председателя Государственного совета и Комитета министров. Потом – отдельная должность председателя Комитета министров. Но эти чиновники никогда не обладали реальной властью. Дошло до того, что подлинными премьер-министрами считали министров внутренних дел. Которые, конечно, были очень сильными фигурами, но все же не полноправными премьерами. Лишь Столыпину удалось ненадолго достичь ранга реального премьера, потом восстановилась прежняя традиция.
Точно так же развивались события и в XX веке. Ленин и Сталин были председателями Совета министров (или Совета народных комиссаров – СНК), но воспринимались как правители монархического толка. Титул Сталина «великий вождь» – калька с официального титула царя, «державного вождя» российской армии.
Объем полномочий Сталина не менялся в зависимости от того, был он главой Совмина или нет. Молотов, бывший председателем СНК одиннадцать лет (1930–1941), не воспринимался как отдельная фигура, могущая проводить независимый курс или хотя бы имеющая автономию. Хрущеву пост председателя Совмина был нужен для того, чтобы легитимно председательствовать на заседаниях Президиума ЦК. В поздний период ни Косыгин, ни Тихонов, ни Рыжков не могли претендовать на то, чтобы встать вровень с генсеками в роли соправителей. В России правитель всегда один.
Иначе говоря, советские генсеки продолжили монархическую традицию – в сущности, были выборными монархами.
Кризис в России происходит тогда, когда верховная власть перестает выполнять просвещенческую и модернизационную функцию. Тогда возникает сбой. Одна религиозная харизма правителя не в состоянии удержать ситуацию. Сразу возникает представление о стране как отсталой и темной, после чего правительство разваливается. Так было и в 1917-м, так было и в 1991 году. Вопрос состоит в том, соответствует ли такая модель потребностям XXI века. Может ли правление просвещенческого святого, а именно таким и был русский царь, дать ответы на современные вызовы.

Б.В. Межуев: Логически из того, что я говорил, но не подвел итог, я бы различил монархию и самодержавие. Одно есть действительно некая характерная черта именно отчасти России. Я думаю, там много общего. По сути дела, это такой прорыв магического сознания, описанного Фрайзером, или известное – победитель сменяет жертву, несет на себе этот элемент. И он существует. Самодержавие никуда не делось. Мы живем вместе с ним, мы мыслим им и, надо думать, будем жить им, если хотим действительно не модернизации как вестернизации, а говорим о смысле национального существования в XXI веке.
Но как раз монархии у нас нет. Монархическое сознание – это сознание, которое нам надо бы приобрести. Это сознание безусловной верности лидеру страны. Смысл заключается не в том, конечно, чтобы отказаться от политической роли и передоверить все главе государства, а самому терпеть все несправедливости. Смысл его заключается в том, чтобы быть верным главе государства, а не лидерам парламентов, не лидерам всяких меньшинств, не лидерам бандитских групп. Вот тут особая верность главе символическому, главе страны, освобождает человека от кучи всяких других рабств, которые на самом деле у людей есть и которые гораздо сильнее, чем на самом деле власть Путина, Николая II и так далее. Вот это безусловная верность лидеру, публичному лидеру государства – это действительно глубокое монархическое сознание, это то, чего у нас нет, что надо в себе воспитывать, в чем я надеюсь на Россию. А без этого тоже нет государства.
И поэтому я считаю – и это действительно основано на глубоком религиозном переживании – я готов на имена ссылаться, и на Тихомирова, и на кого угодно, но это именно то, что убило в себе самодержавие.

Самодержавие убило монархов. Самодержавие с его культом победы, культом военных успехов и вообще успехов как таковых является той силой, которая, конечно, оказывается теневой стороной монархического заговора. Вот я бы на этом, собственно говоря, свой позитивный тезис сформулировал. Как это институционализировать, как проецировать на монархические персоналии, как вписать в современную политическую систему, это серьезный глубокий вопрос. Но я считаю, что это, безусловно, надо делать.

Ведущий: Спасибо, Борис. Сейчас Виктор.

В.Ю. Милитарев: Да. В общем, для меня дело монархии возникает в контексте, как я уже говорил, во-первых, моих личных ценностей, которым я привержен. А во-вторых, моей приверженности нашему народу. Можно называть это национализмом, можно называть народничеством. Но наш народ склонен к общинности, склонен к социальной справедливости в том смысле, что признает право каждого на жизнь и на минимально достойную жизнь, а все остальное, считает, должно доставаться ему в наследство и не по бартеру, а по достоинству, достойными трудами или достойными деяниями.
И хотя это не столь выражено в нашем народе, а больше говорит о моих личных ценностях, да, в советское время я истосковался, чтобы мне не заливали в уши бездарный пиар и не затыкали рот, и давали читать, знаете, что я хочу. Данте что говорил? Что монарх нужен для того, чтобы людям было хорошо. В частности, для того, чтобы философы могли достойно жить. Если бы наш народ научился жить в полицентрическом обществе, я бы перестал поддерживать монархическую идею. Но пока наш народ предпочитает моноцентрическое государство. Пока он это предпочитает и пока у меня нет никаких возможностей его переучить, даже если это нужно, предположим, то пусть будет лучше монархия. Но тогда вопрос о том, и я обращаюсь к тому, что сказал Шевченко, как сделать так, чтобы правящее первое лицо соблюдало некоторые права и некоторые вольности своих подданных. Собственно, вопрос об этих правах и вольностях является для меня наиболее принципиальным. Спасибо.
А, последняя фраза. И даже для того, чтобы это сделать, нам нужно соединить ценности двух наших династий, то есть православной династии Романовых и коммунистической династии генеральных секретарей. Если мы не научимся такому культурному синтезу, как те же китайцы, которые нормально сочетают коммунизм, буддизм и конфуцианство, если мы будем продолжать устраивать гражданскую религиозную войну, ничего хорошего не будет. Спасибо.

Ведущий: Коллеги, еще раз вам огромное спасибо.

Альманах

Тетради по консерватизму

№ 3 2018

Редактор
Е.М. Кострова

Художественное оформление
В.И. Кучмин

Компьютерная верстка
А.В. Талалаевский

http://www.essaysonconservatism.ru/
tetradipokonservatizmu@gmail.com

Подписано в печать 21.11.2018. Формат 60x90 1/8. Усл. печ. л. 59,0
Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282 Москва, Полярная ул., д. 31В, стр. 1.
Тел. 8 (495) 685-93-18